

БОЛЬШИЕ И КНИГИ



Вильгельм
Гауф

СКАЗКИ,
РАССКАЗАННЫЕ
НА НОЧЬ

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Вильгельм
Гауф

СКАЗКИ,
РАССКАЗАННЫЕ
НА НОЧЬ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44
Г 24

Перевод с немецкого
Э. Ивановой, Н. Касаткиной, И. Татариновой, С. Шлапоберской

Серийное оформление В. Пожидаева

Оформление обложки В. Гореликова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-09445-1

© Э. Иванова, перевод, 2005
© Н. Касаткина (наследники), перевод, 2015
© И. Татаринова (наследник), перевод, 1988
© С. Шлапоберская (наследник), перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство ИНОСТРАНКА®

АЛЬМАНАХ СКАЗОК
НА 1826 ГОД
ДЛЯ СЫНОВЕЙ
И ДОЧЕРЕЙ
ОБРАЗОВАННЫХ
СОСЛОВИЙ



СКАЗКА ПОД ВИДОМ АЛЬМАНАХА

В далекой прекрасной стране, о которой гласит предание, будто в ее вечнозеленых садах никогда не заходит солнце, царствовала, с незапамятных времен и до наших дней, королева Фантазия. Щедрой рукой наделяла она с давних пор своих подданных всяческими благами и была любима и почитаема всеми, кто ее знал. Но королева обладала слишком любвеобильным сердцем, чтобы довольствоваться благодеяниями у себя в стране; она сама, в царственной красе своей вечной молодости и прелести, слетела на землю, ибо она слышала, что там обитают люди, которые проводят жизнь в суровой печали, среди забот и трудов. Им принесла она прекраснейшие дары из своего царства, и с тех пор, как прекрасная королева прошла по земным долам, люди стали радостней за работой, беззаботней в своей печали.

Своих детей, не менее прекрасных и приветливых, чем сама царственная мать, она тоже послала на землю дарить счастье людям. Однажды Сказка, старшая из дочерей королевы, возвратилась с земли. Мать заметила, что Сказка грустна, мало того, ей даже показалось, будто у той заплаканы глаза.

— Что с тобой, душенька Сказка, — обратилась к ней королева, — отчего со времени путешествия на землю ты так печальна и грустна? Доверься своей матери, скажи, что с тобой?

— Ах, милая мама! — отвечала Сказка. — Конечно, я не стала бы так долго молчать, если бы не знала, что эта печаль — также и твоя.

— Нужды нет, говори, дочь моя, — сказала прекрасная королева, — горе — это тяжесть, которая не под силу одному и с которой легко справиться вдвоем.

— Ну так слушай же, — отвечала Сказка, — ты знаешь, как охотно я провожу время среди людей, с какой радостью присаживаюсь я у хижины бедняка, чтобы после работы поболтать с ним часок; люди обычно очень радостно приветствовали меня, когда я приходила, и, весело улыбаясь, глядели мне вслед, когда я шла дальше; но в последний раз все было по-иному!

— Бедная Сказка! — сказала королева и погладила ее по мокрому от слез щеке. — Но может быть, тебе так только показалось?

— Верь мне, я не заблуждаюсь, — возразила Сказка, — они меня разлюбили. Повсюду, куда я прихожу, меня встречают холодные взгляды; нигде мне не радуются; даже дети, которые меня ведь всегда любили, смеются надо мной и с серьезным не по летам видом отворачиваются от меня.

Королева склонила голову на руку и умолкла в задумчивости.

— Но чем же объяснить, Сказка, — спросила королева, — что люди там, на земле, так изменились?

— Видишь ли, они расставили повсюду мудрых сторожей, которые зорко следят за всем, что появляется из твоего царства, о королева Фантазия! И если тот, кто приходит, им не по душе, они поднимают громкий крик и убивают его или так порочат его перед людьми, которые верят им на слово, что у тех не остается уже ни любви, ни искорки доверия. Ах! Хорошо моим братьям, снам; не обращая никакого внимания на тех мудрецов, весело и легко слетают они на землю к спящим людям и навевают им все, что радует сердце и веселит взор.

— Твои братья — встрогоны, — сказала королева, — и тебе, любимица моя, нечего им завидовать. А сторожей тех я знаю хорошо; люди вовсе не так уж не правы, поставив их; не один бойкий проходимец делал вид, будто прямым путем явился из моего царства, а на самом деле он разве что заглянул к нам с какой-нибудь горы.

— Но почему же они наказывают за это меня, твою настоящую дочь? — плакала Сказка. — Ах, если бы ты знала, как они со мной поступили! Они обозвали меня старой девой и пригрозили в следующий раз совсем не впустить меня.

— Как! Не впустить мою дочь? — воскликнула королева, и гнев залил краской ее щеки. — Однако мне ясно, откуда это исходит: нас оклеветала злая тетка!

— Мода? Неужели? — воскликнула Сказка. — Она ведь всегда такая приветливая!

— Я ее, лицемерку, хорошо знаю! — отвечала королева. — Но сделай ей назло еще одну попытку, дочь моя; кто творит добро, тому не пристало унывать.

— Ах, мама! А если они меня просто прогонят или так опорочат, что люди на меня и глядеть не станут, а то еще с презрением забросят и позабудут в углу?

— Если взрослые, обольщенные Модой, пренебрегут тобой, обратись к детям — вот поистине мои любимцы; твои братья, сны, приносят им от меня самые светлые видения; да и сама я часто слетала к ним, ласкала и целовала их, затевала с ними веселые игры; они хорошо меня знают, хотя имя мое им незнакомо, но я часто замечала, как по ночам они улыбаются моим звездам, а утром, когда сияющие барашки тянутся по небу, они от радости хлопают в ладоши. И, подрастая, они все еще любят меня; я помогаю милым девушкам плести пестрые венки, а резвые юноши задумываются, когда я подсаживаюсь к ним на высокой вершине скалы, воздвигаю из туманного мира далеких синих гор высокие замки и блистательные дворцы и создаю из пурпурных вечерних облаков отряды отважных всадников и причудливые шествия пилигримов.

— О милые детки! — растроганно воскликнула Сказка. — Будь по-твоему, попытаюсь обратиться к ним.

— Да, дорогая моя дочка, — сказала королева, — пойди к ним; только я тебя как следует приодену, чтобы ты понравилась малюткам и чтобы взрослые тебя не прогнали; знаешь, я наряжу тебя альманахом.

— Альманахом, мама? Ах! Мне стыдно в таком виде щеголять перед людьми.

Королева кивнула, и служанки принесли изящный яркий наряд альманаха, затканый прекрасными узорами. Прислужницы заплели в косы чудные волосы девочки; они подвязали ей к ногам золотые сандалии, а затем набросили на нее прекрасное одеяние. Скромная Сказка не смела поднять глаза, но мать оглядела ее с удовлетворением и заключила в объятия.

— Ступай, — сказала она дочке, — благословляю тебя. А если они станут глумиться и насмехаться над тобой, вернись ко мне;

может быть, позднейшие поколения, более близкие к природе, снова обратятся сердцем к тебе.

Так говорила королева Фантазия.

И Сказка спустилась на землю. Сердце колотилось у нее, когда она подходила к месту, где распоряжались мудрые стражи; она низко склонила головку, плотнее запахнулась в свой прекрасный наряд и робкими шагами приблизилась к воротам.

— Стой! — крикнул хриплый грубый голос. — Стража, сюда! Явился новый альманах!

Услышав это, Сказка задрожала; навстречу ей, потрясая остро отточенными перьями, ринулась толпа пожилых мужчин мрачного вида. Один из них подошел к Сказке и схватил ее за подбородок.

— Голову кверху, господин альманах! — закричал он. — Мы по глазам прочтем, чего ты стоишь.

Покраснев, подняла Сказка голову кверху и раскрыла темные глаза.

— Сказка! — закричали стражи и громко расхохотались. — Сказка! А мы-то думали, невеста какое чудо явилось. Откуда на тебе этот костюм?

— Его надела на меня мать, — отвечала Сказка.

— Вот как? Она хочет протащить тебя к нам контрабандой? Нет, шалишь, убирайся отсюда! — закричали стражи и подняли острые перья.

— Я хочу только к детям, — умоляюще произнесла Сказка, — ведь к ним вы можете меня пустить?

— И без того довольно сброда шатается по земле, — воскликнул один из стражей, — и вбивает нашим детям в голову разный вздор.

— Посмотрим, что она знает на этот раз, — сказал другой.

— Верно! — воскликнули все. — Расскажи-ка, что ты знаешь, но поторопись, мы не станем терять на тебя время.

Сказка вытянула руку и принялась указательным пальцем чертить в воздухе какие-то знаки. И перед зрителями замелькали пестрые картины: караваны, прекрасные кони, разряженные всадники; бесчисленные шатры в песках пустыни; птицы и рыбы в бурных морях; тихие леса и многолюдные площади и улицы; битвы и мирные кочевья, — все они пестрой вереницей, в живых образах, пронеслись мимо. Сказка с таким усердием вызывала

к жизни легкие видения, что и не заметила, как стражи, охраняющие ворота, уснули один за другим. Но когда она собралась чертить новые знаки, к ней подошел какой-то приветливый человек и схватил ее за руку.

— Взгляни-ка, милая Сказка, — сказал он, указывая на спящих, — им твои пестрые картинки не нужны; проскользни скорей в ворота; они не узнают, что ты на земле, и ты мирно и незаметно пойдешь куда пожелаешь. Если хочешь, я поведу тебя к своим детям; у меня в доме я дам тебе тихое и уютное местечко, там ты можешь поселиться и жить спокойно. Если мои дети будут прилежно учиться, они после занятий станут приходить к тебе со своими сверстниками и слушать тебя. Хочешь?

— О, как охотно последую я за тобой к твоим деткам, как я буду стараться доставить им порой веселый часок!

Добрый человек ласково кивнул ей и помог перешагнуть через ноги спящих стражей. Улыбаясь, оглянувшись Сказка и быстро скользнула в ворота.

КАРАВАН

Однажды по пустыне шел большой караван. На беспредельной равнине, где видишь только небо да песок, издалека уже слышались колокольчики верблюдов и серебристые бубенцы лошадей; густое облако пыли, предшествовавшее ему, возвещало о его приближении, а когда порыв ветра рассеивал облако, блеск оружия и пестрота одежд слепили глаза.

Так предстал караван всаднику, приблизившемуся к нему сбоку. Под всадником был прекрасный вороной конь, которому попоной служила тигровая шкура, алую сбрую унизывали серебряные колокольчики, а над головой развевался прекрасный султан. Сам всадник был статен, и наряд его отвечал великолепию коня: чело ему обвивал белый тюрбан, богато затканый золотом; кафтан и широкие шаровары были пунцового цвета; у пояса висела кривая сабля с богатой рукояткой. Тюрбан, надвинутый низко на лоб, блеск черных глаз из-под густых бровей, длинная борода, спускавшаяся из-под горбатого носа, — все это придавало ему мрачный и грозный вид. Когда всадник очутился шагах в пятидесяти от начала каравана, он прищепил коня и вмиг

подскакал к переднему ряду. Так диковинно было видеть посреди пустыни одинокого всадника, что стража каравана, испугавшись нападения, выставила ему навстречу копья.

— Что с вами? — вскричал всадник в ответ на столь воинственную встречу. — Неужто, по-вашему, один человек вздумает напасть на ваш караван?

Пристыженная стража отвела копья, а ее начальник подъехал к незнакомцу и спросил, чего он желает.

— Кто хозяин каравана? — спросил всадник.

— У него не один хозяин, — отвечал тот, — здесь несколько купцов возвращаются на родину из Мекки, а мы сопровождаем их через пустыню, потому что в этих краях всякий сброд частенько тревожит путешественников.

— Тогда проводите меня к купцам, — потребовал незнакомец.

— Сейчас это невозможно, — возразил глава стражи, — нам нужно без задержки продолжать путь, а купцы отстали от нас по меньшей мере на четверть часа пути; если же вам угодно проехать со мной до привала на полуденный отдых, то я исполню ваше желание.

Незнакомец ничего не ответил; он достал длинную трубку, которая была у него привязана к седлу, и принялся курить, глубоко затягиваясь, а сам продолжал ехать подле предводителя каравана. Тот не знал, как ему быть с незнакомцем; он не решался напрямик спросить его имя, а сколь искусно ни пытался он завязать разговор, незнакомец на его замечания вроде: «Недурной вы курите табак» или: «У вашего вороного славный ход», отвечал кратким: «Да-да!» Наконец они достигли места, назначенного для полуденного отдыха. Предводитель расставил стражу из своих людей, а сам вместе с незнакомцем стал ждать караван. Тридцать верблюдов с тяжелой поклажей, в сопровождении вооруженных погонщиков, прошли мимо них. Далее на красивых конях следовали пятеро купцов, которым принадлежал караван. То были по большей части люди преклонного возраста, суровые и степенные на вид, один лишь казался много моложе остальных, а также живее и веселее. Множество верблюдов и вьючных лошадей замыкали шествие.

Тотчас же были разбиты шатры, а верблюды и лошади поставлены возле них.

Посредине помещался большой шатер из голубого шелка. Туда повел начальник стражи незнакомца. Когда они откинули занавес у входа, то увидели пятерых купцов, сидевших на затканых золотом подушках; черные рабы подавали им кушанья и напитки.

— Кого это вы к нам привели? — крикнул молодой купец предводителю. Но не успел тот ответить, как заговорил незнакомец:

— Меня зовут Селим Барух, я родом из Багдада; на пути в Мекку я был захвачен шайкой разбойников и три дня тому назад тайком бежал из плена. По милости великого Пророка я издалека услышал звон колокольчиков вашего каравана и явился к вам. Дозвольте мне путешествовать вместе с вами. Ваше покровительство не будет оказано недостойному, а когда вы приедете в Багдад, я щедро вознагражу вашу доброту, ибо я племянник великого визирия.

Ответил ему старший из купцов.

— Селим Барух, — сказал он, — мы с радостью берем тебя под свою защиту и охотно поможем тебе, но сперва садись, ешь и пей с нами.

Селим Барух сел подле купцов и стал есть и пить с ними. После трапезы рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий шербет. Купцы долго сидели молча, выпускали голубоватые облачка дыма и следили, как те свиваются, расходятся и наконец улетучиваются. В конце концов молодой купец прервал молчание.

— Вот так мы сидим уже три дня, — сказал он, — и на коне, и за столом, не пытаюсь никак скоротать время. Меня порядком одолевает скука, ибо я привык после трапезы смотреть на танцовщиков либо слушать музыку и пение. Друзья мои, не придумаете ли вы, чем бы нам скоротать время?

Четверо старших купцов продолжали курить, не на шутку, по-видимому, задумавшись, незнакомец же заговорил:

— Позвольте мне сделать предложение. Хорошо, если бы на каждом привале один из нас что-нибудь рассказывал остальным. Это, уж конечно, помогло бы нам скоротать время.

— Селим Барух, твоя правда, — сказал Ахмет, старший из купцов, — нам следует принять это предложение.

— Я рад, что мое предложение пришлось вам по вкусу! — произнес Селим. — И дабы показать вам, что требование мое бескорыстно, я возьму почин на себя.

Пятеро купцов с воодушевлением придвинулись ближе, а незнакомца усадили посредине. Рабы опять наполнили чаши, наново набили своим господам трубки и принесли горящих углей, чтобы зажечь их. Селим освежил горло добрым глотком шербета, расправил длинную бороду и произнес:

— Итак, слушайте рассказ о калифе-аисте.

РАССКАЗ О КАЛИФЕ-АИСТЕ

I

Багдадский калиф Хасид благодушествовал однажды под вечер у себя на диване; он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркий, и теперь, после дремы, казался весьма в духе. Он курил длинную трубку розового дерева, время от времени отпивал глоток кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, смакуя напиток, с довольным видом поглаживал бороду. Словом, ясно было, что калиф настроен превосходно. Именно в этот час он бывал сговорчивее, мягче и милостивее всего; потому-то его великий визирь Мансор являлся к нему ежедневно об эту пору. Тут он тоже пришел, но был, против своего обыкновения, очень озабочен. Калиф на минуту вынул трубку изо рта и произнес:

— Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь?

Великий визирь сложил руки крестом на груди, поклонился своему господину и ответил:

— Господин мой! Озабоченный ли у меня вид, я не знаю, но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами, что меня досада берет, отчего у меня нет лишних денег.

Калиф, которому давно хотелось чем-нибудь порадовать своего великого визиря, послал черного раба вниз за разносчиком. Вскоре раб вернулся с разносчиком. То был толстый человечек, очень смуглый лицом и одетый в лохмотья. При нем был ларь, вмещавший всевозможные товары — жемчуга и кольца, богато оправленные пистолеты, чаши и гребни. Калиф со своим визирем

пересмотрели все, и калиф купил в конце концов для себя и для Мансора красивые пистолеты, а для жены визиря — гребень. Когда разносчик собрался уже запирасть ларь, калиф заметил в нем еще ящичек и спросил, нет ли и там товаров. Разносчик выдвинул ящик и вынул из него табакерку с черноватым порошком и бумажку со странными письменами, которых не могли разобрать ни калиф, ни Мансор.

— Я получил как-то эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке, — сказал разносчик, — я не знаю, что в них содержится; вам я уступлю их за самую низкую цену, мне-то ведь они ни к чему.

Калиф, который охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты, хоть и не умел читать их, купил рукопись и коробочку и отпустил разносчика.

Однако калифу очень хотелось узнать, что сказано в рукописи, и он спросил визиря, не знает ли тот, кто бы мог разобрать ее.

— Милостивый господин и повелитель, — ответил визирь, — при большой мечети проживает человек, которого зовут Премудрый Селим, он знает все языки, вели позвать его, быть может, он поймет эти таинственные начертания.

Премудрый Селим вскоре был приведен.

— Селим, — обратился к нему калиф. — Селим, говорят, ты большой мудрец; взгляни-ка в эту рукопись, разберешь ты ее или нет; если разберешь, то получишь от меня новую праздничную одежду, а не разберешь, то получишь дюжину пощечин и две дюжины ударов по пяткам за то, что зря зовешься Премудрым.

Селим поклонился и сказал:

— Да будет воля твоя, о господин мой!

Долго разглядывал он рукопись и вдруг вскричал:

— Пусть меня повесят, если это не по-латыни, о господин мой!

— Скажи же, что там написано, — приказал калиф, — раз это по-латыни.

Селим принялся переводить: «Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость! Кто понюхает порошок из этой коробки и при этом произнесет „мутабор“, тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и произнесет то же слово; однако,

будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти и ты останешься зверем».

Когда Премудрый Селим кончил читать, восторгу калифа не было пределов. Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его.

Затем калиф обратился к своему визирию:

— Вот уж поистине удачная покупка, Мансор! До чего весело будет стать зверем! Завтра с утра приходи ко мне; мы вместе отправимся в поле, понюхаем малую толику из моей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, в лесу и в поле!

II

На следующее утро, не успев калиф Хасид позавтракать и одеться, как уже, исполняя приказ, явился великий визирь, чтобы сопутствовать ему на прогулке.

Калиф заткнул за пояс табакерку с волшебным порошком и, приказав свите не сопровождать его, вдвоем с великим визирем пустился в путь. Они пошли сперва по обширным садам калифа, но тщетно искали они там живых существ, чтобы испробовать свой фокус. Тогда великий визирь предложил пройти к пруду, где ему частенько случалось видеть множество птиц, а именно аистов, привлекавших его внимание величавостью повадок и неустанной трескотней.

Калиф согласился на предложение своего визиря и вместе с ним отправился к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который степенно шагал взад и вперед, отыскивая лягушек и что-то треща себе под нос. Одновременно они увидели высоко в небе второго аиста, летевшего к тому же месту.

— Готов бороду свою прозакладывать, милостивейший господин мой, — сказал великий визирь, — что эти две длинноножки поведут сейчас между собой преинтересный разговор. Что, если бы нам обратиться в аистов?

— Умно придумано, — отвечал калиф. — Но сперва надо еще раз припомнить, как опять стать людьми. Правильно — три раза поклониться на восток и произнести «мутабор», тогда я снова буду калифом, а ты визирем. Но только боже упаси нас рассмеяться, не то мы погибли!

Пока калиф говорил, второй аист пронесся у них над головами и медленно спустился на землю. Быстро достал калиф из-за пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который нюхнул тоже, и оба вскричали: «Мутабор!»

И сейчас же ноги у них съезжились и стали тонкими и красивыми; красивые туфли калифа и его спутника стали неуклюжими аистинными лапами, руки стали крыльями, шея вытянулась и стала в локоть длиной, борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями.

— Недурной у вас клюв, господин великий визирь, — произнес, едва оправившись от изумления, калиф. — Клянусь бородой Пророка, ничего подобного я в жизни не видывал.

— Покорнейше благодарю, — отвечал великий визирь, кланяясь, — но осмелюсь заметить, что вашему величеству еще более к лицу быть аистом, чем калифом. Однако не угодно ли вам пойти послушать наших сотоварищей и узнать, на самом ли деле мы разумеем по-аистинному?

Тем временем второй аист успел спуститься на землю; он почистил себе клювом ноги, пригладил перья и направился к первому аисту. Оба новоявленных аиста поспешили поближе и, к изумлению своему, услышали следующий разговор:

— Доброе утро, госпожа Долгоног, — чуть свет уже на лугу?

— Благодарствую, душечка Трещотка! Я промыслила себе кой-чего на завтрак; не угодно ли четвертушку ящерики или лягушачий филейчик?

— Чувствительно благодарна, но нынче у меня нет ни малейшего аппетита. Я совсем по другому делу явилась на луг. У отца сегодня гости, мне придется танцевать перед ними, вот я и хочу немного поупражняться на досуге.

И юная аистиха зашагала по лугу, выкидывая удивительнейшие коленца. Калиф и Мансор изумленно глядели ей вслед, но, когда она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не могли сдержаться, из их клювов вырвался неудержимый хохот, от которого они нескоро отдышались. Калиф первый овладел собой.

— Такой потехи ни за какие деньги не купишь! — вскричал он. — Жаль, что глупые твари испугались нашего смеха, а не то бы они, наверное, еще и запели!

Но тут великому визирю пришло на ум, что смеяться во время превращения не дозволено. Он поделился своими страхами с калифом.

— Клянусь Меккой и Мединой, плохая была бы потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка это дурацкое слово, у меня оно что-то не получается.

— Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести: му-му-му...

Они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть не касаясь клювами земли, но — увы! — волшебное слово выскользнуло у них из памяти, и сколько ни кланялся калиф, сколько его визирь ни выкликал при этом с тоской «му-му-му», слово исчезло, и бедняга Хасид вместе со своим визирем как были, так и остались аистами.

III

Печально плелись заколдованные калиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде. Аистинное обличье сбросить они не могли, в город вернуться, чтобы назвать себя, тоже не могли: кто бы поверил аисту, что он калиф? А если бы кто-нибудь и поверил, разве жители Багдада пожелали бы себе в калифы аиста?

Так они бродили много дней, скудно питаясь злаками, которые им нелегко было жевать длинными клювами. Ящерицы же и лягушки не внушали им аппетита; они боялись испортить себе пищеварение подобными лакомствами. Единственной их отрадой в бедственном положении была способность летать, и они частенько летали над крышами Багдада, желая увидеть, что там происходит.

В первые дни они замечали на улицах великую тревогу и печаль; но приблизительно на четвертый день после своего превращения сидели они на дворце калифа, как вдруг увидели внизу на улице пышное шествие: звучали трубы и барабаны, на разукрашенном коне сидел человек в затканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой, пол-Багдада бежало ему вослед, и все кричали: «Слава Мицре, повелителю Багдада!»

Аисты на крыше дворца переглянулись между собой, и калиф Хасид произнес:

— Догадываешься ты теперь, отчего я заколдован? Этот самый Мицра — сын моего заклятого врага, могущественного вол-

шебника Кашнура, который в недобрый час поклялся жестоко отомстить мне. Но надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный товарищ моих бед, мы отправимся к гробу Пророка, — быть может, волшебство рассеется в святых местах.

Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь было трудно, у обоих аистов не хватало сил.

— Господин мой, — простонал аист через два великих визира, — с вашего позволения, сил моих больше нет, вы летите слишком быстро! И вечер уже спускается, нам следует подыскать себе прибежище на ночь.

Аист выслушал мольбу своего слуги; внизу в долине он как раз заметил руины, которые, по-видимому, могли дать им приют, и они полетели туда. Развалины, куда они спустились на ночлег, очевидно, были некогда замком. Прекрасные колонны высились над горами камней; многочисленные покои, достаточно сохранившиеся, свидетельствовали о былом величии здания. Аист со своим спутником бродили по галереям в поисках сухого местечка; внезапно аист Мансор остановился.

— Господин мой и повелитель, — пролепетал он чуть слышно, — хотя великому визирю, а тем паче аисту нелепо бояться привидений, однако меня берет жуть, ибо тут рядом что-то явно вздыхает и стонет.

Теперь остановился и калиф и тоже отчетливо услышал тихий стон, скорее человеческий, нежели звериный.

Полный надежды, он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны, но визирь ухватился клювом за его крыло и слезно молил не бросаться навстречу новым, неизвестным опасностям. Но тщетно! У калифа и под оперением аиста билось отважное сердце, он вырвался, пожертвовав несколькими перышками, и бросился в один из темных переходов. Вскоре он очутился перед дверью, которая, казалось, была лишь притворена и откуда доносились стоны с легкими подвываниями. Он толкнул дверь клювом и в растерянности застыл на пороге. В полуразрушенном покое, куда падал скудный свет из решетчатого оконца, он увидел сидящую на полу ночную сову. Обильные слезы катились у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырывались хриплые стенания. Но, увидав калифа и его визира, который успел тем временем тоже пробраться сюда, сова подняла радостный крик. Грациозно смахнув с глаз слезу коричневым, в крапинку,

крылом, она, к изумлению калифа и его визиря, вскричала по-человечьи на чистом арабском языке:

— Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо через аистов ко мне придет большое счастье, как было мне некогда предсказано!

Когда калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею, поставил тощие ноги в грациозную позицию и произнес:

— Ночная сова! Судя по твоим словам, мы обрели в тебе товарку по несчастью. Но увы! Ты тщетно надеешься, что мы несем тебе спасение, и сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю.

Ночная сова попросила рассказать ей все, и калиф принялся за рассказ, который уже нам известен.

IV

Когда калиф изложил сове свою историю, сова поблагодарила его и сказала:

— Послушай также мою историю и узнай, что я не менее несчастна, чем ты. Мой отец — владыка Индии; я его единственная, злосчастная дочь, зовусь Лузой. Тот самый волшебник Кашнур, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватать меня для своего сына Мицры. Но отец мой, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Злодей изловчился пробраться ко мне в другом обличье, и, когда я у себя в саду пожелала как-то утолить жажду прохладительным напитком, он, переодевшись рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо: «Оставайся тут уродом, презираемым даже зверями, до конца твоих дней или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле не пожелает сделать тебя своей супругой даже в этом отвратительном обличье. Такова моя месть тебе и твоему высокомерному отцу».

С тех пор протекли долгие месяцы. Одиноко и печально живу я отшельницей в этих развалинах, отринутая всем миром, мерзкая даже зверям; красоты природы недоступны мне, ибо я слепа днем, и лишь когда бледный свет месяца озаряет эти развалины, пелена спадает у меня с глаз.

Сова закончила и опять отерла крылом глаза, ибо повесть ее страданий исторгла у нее новые слезы.

Во время рассказа принцессы калиф погрузился в глубокое раздумье.

— Либо я ничего не смыслю, — произнес он, — либо между нашими несчастьями имеется тайная зависимость; но где мне найти ключ к этой загадке?

Сова отвечала ему:

— О господин мой, у меня тоже такое предчувствие, ибо когда-то, в ранней юности, одна мудрая женщина предсказала мне, что большое счастье придет ко мне через аиста, и мне кажется, я знаю способ, как нам спастись.

Калиф был очень удивлен и спросил, каков же этот способ.

— Волшебник, принесший несчастье нам обоим, каждый месяц является сюда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией. Я не раз уже подслушивала их. Они рассказывают друг другу свои гнусные деяния, — быть может, на этот раз он произнесет то слово, что вы забыли.

— О бесценная принцесса, — вскричал калиф, — поведай же, когда он является и где та зала.

Сова помолчала минутку и затем произнесла:

— Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить ваше желание.

— Говори же! Говори! — вскричал Хасид. — Приказывай, я готов на все.

— Дело в том, что и мне бы тоже хотелось освободиться, но это возможно, лишь если один из вас возьмет меня в жены.

Аисты были, по-видимому, несколько смущены таким предложением, и калиф кивнул своему слуге, чтобы тот вышел с ним из комнаты.

— Великий визирь, — произнес калиф за дверь, — дельце не из приятных, но вы бы все-таки могли согласиться.

— Ах так? — возразил тот. — Чтобы жена, когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза? К тому же я старик, а вы человек молодой и холостой — скорей уж вам подобает жениться на молодой и прекрасной принцессе.

— То-то и есть, — вздохнул калиф, печально опустив крылья, — откуда ты взял, что она молода и прекрасна? Это называется — сделка вслепую!

Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда калиф увидел, что его визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решился сам выполнить условие. Сова была весьма обрадована. Она открыла им, что явились они в самое подходящее время; по всей вероятности, именно в эту ночь состоится сборище волшебников.

Она вместе с аистами покинула комнату, чтобы провести их к той зале; они долго шли темной галереей, пока навстречу им из полуразрушенной стены не блеснул свет. Когда они приблизились туда, сова наказала им не шуметь. Через отверстие в стене, подле которого они стояли, им была видна вся обширная зала. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяло дневной свет. Посреди залы находился большой круглый стол, уставленный изысканными яствами. Вокруг всего стола тянулся диван, на котором сидели восемь человек. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать последние его похождения. И он, наряду с другими, рассказал также историю калифа и его визиря.

— Что же за слово ты им задал? — спросил один из волшебников.

— Очень трудное латинское слово — *мутабор*.

V

Услышав это через щель в стене, аисты прямо обезумели от радости. Они помчались к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги, и сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, калиф прочувствованно произнес, обращаясь к сове:

— Спасительница моей жизни и жизни моего друга, в знак вечной признательности за то, что ты сделала для нас, позволь мне быть твоим супругом!

Вслед за тем он повернулся на восток, и трижды склонили оба аиста длинные шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из-за горной гряды.

— Мутабор! — вскричали они, мигом обернулись людьми, и, преисполненные великой радости от вновь дарованной жизни, господин и слуга, плача и смеясь, бросились в объятия друг другу. Но каково было их изумление, когда они оглянулись. Прекрас-

ная дама, пышно разодетая, стояла перед ними. Улыбаясь, протянула она руку калифу.

— Разве вы не узнаете свою ночную сову? — спросила она.

То в самом деле была она; калиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье.

Все трое тут же отправились в Багдад. Калиф обнаружил у себя за поясом не только коробочку с волшебным порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшем селении приобрел он все, что требовалось им для путешествия, и, таким образом, они вскоре прибыли к воротам Багдада. Там прибытие калифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован, вновь обретя своего возлюбленного повелителя.

Тем живее возгорелся народный гнев против обманщика Мицры. Толпы народа бросились во дворец и захватили старого волшебника вместе с сыном. Старика калиф отправил в ту самую горницу разрушенного замка, где обитала принцесса, будучи совой, и велел его там повесить. Сыну же, ничего не смыслившему в колдовском искусстве отца, калиф предложил на выбор — либо смерть, либо поношку. Когда тот избрал последнее, великий визирь поднес ему коробочку. Он нюхнул хорошенько и, по волшебному слову калифа, превратился в аиста. Калиф приказал запереть его в железную клетку и поставить у себя в саду.

Долго и радостно жил калиф Хасид; самые для него веселые часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визирь; они частенько вспоминали свои приключения в бытность аистами, а когда калифу случалось очень развеселиться, он снисходил до того, что изображал великого визиря в образе аиста. Степенно, не сгибая ног, шагал он по комнате, трещал что-то, размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как тот тщетно кланялся на восток и выкликал «му-му». Госпожу калифшу и ее деток это представление всегда немало развлекало; но, если калиф чересчур долго трещал, и кланялся, и кричал «му-му», визирь, улыбаясь, грозил ему рассказать госпоже калифше, о чем шел спор за дверью принцессы ночной совы.

Когда Селим Барух закончил свой рассказ, купцы выразили полное удовлетворение.

— В самом деле, день прошел совсем для нас незаметно! — сказал один из них, откидывая полотнище шатра. — Вечерний

ветер навевает прохладу, мы успеем пройти еще порядочный кусок пути.

Спутники его согласились с ним; шатры были сложены, и караван, выстроившись в том же порядке, в каком пришел сюда, тронулся в путь.

Они ехали чуть не всю ночь напролет, потому что днем их одолевала жара, ночь же была свежа и сияла звездами. Наконец они достигли удобного для привала места, разбили шатры и улеглись на покой. О незнакомце купцы заботились так, словно он был им желаннейшим гостем. Один одолжил ему подушки, другой покрывала, третий дал рабов, — словом, он был устроен не хуже, чем у себя дома. Когда они поднялись, наступило уже самое жаркое время дня, и они единодушно порешили дожидаться здесь вечера. После совместной трапезы они снова сдвинулись теснее, и молодой купец, обращаясь к самому старшему, сказал:

— Селим Барух помог нам вчера приятно скоротать день; что, если бы и вы, Ахмет, рассказали нам либо какую-нибудь историю из своей долгой жизни, которая наверняка насчитывает немало приключений, либо просто забавную сказку?

В ответ на это обращение Ахмет некоторое время молчал, словно выбирая, на чем остановиться, и наконец заговорил:

— Дорогие друзья! Во время этого нашего путешествия вы показали себя верными товарищами, да и Селим тоже заслужил мое доверие; посему я поведаю вам одно событие из моей жизни, о котором я обычно говорю неохотно и не со всяким: это будет рассказ о корабле привидений.

РАССКАЗ О КОРАБЛЕ ПРИВИДЕНИЙ

Мой отец держал в Бальсоре маленькую лавочку; не будучи ни бедным, ни богатым, он принадлежал к тем людям, которые неохотно идут на риск, из страха потерять то малое, что имеют. Он воспитал меня в простоте и прямоте и добился того, что я с юных лет мог стать ему помощником. Как раз когда мне исполнилось восемнадцать лет, он решился на первую крупную торговую сделку, но вскоре умер, вероятно от тревоги, что доверил морю тысячу золотых. Спустя несколько недель пришла весть о гибели корабля, на который отец мой погрузил свои товары,

и мне осталось только порадоваться, что отца нет в живых. Но моей юношеской отваги эта беда не сломила. Обратив в деньги все имущество, оставшееся после отца, я в сопровождении верного слуги, который, по старой привязанности, хотел до конца разделить мою судьбу, пустился в путь искать счастье на чужбине. С попутным ветром отплыли мы из Бальсорской гавани. Корабль, на котором я приобрел себе место, направлялся в Индию. Около двух недель мы плыли по спокойному морю, как вдруг капитан сообщил нам о приближающейся буре. Вид у него был озабоченный, в этой местности он явно недостаточно хорошо знал фарватер, чтобы спокойно идти навстречу буре. Он приказал убрать все паруса, и мы медленно поплыли по течению. Наступила ночь, ясная и холодная, и капитан подумал было, что ошибся, предсказывая бурю. Вдруг, совсем близко от нас, пронесся корабль, которого мы раньше не видали. С его палубы к нам долетели крики дикого веселья, которые меня в этот страшный час перед бурей изрядно удивили. Но капитан, стоявший подле меня, смертельно побледнел. «Мой корабль погиб! — воскликнул он. — То плывет сама смерть!» Не успел я попросить у него объяснения этого странного возгласа, как к нам с воем и криком бросились матросы. «Видели вы его? — кричали они. — Теперь нам крышка». Капитан же велел читать душеспасительные изречения из Корана и сам взялся за руль. Но тщетно! Откуда ни возьмись налетела буря, и не прошло даже часа, как корабль наш затрещал и застыл на месте. Тотчас же на воду были спущены лодки, и едва успели все до единого матроса спастись, как на наших глазах корабль затонул, и я совершенно нищим очутился в открытом море. Но бедствия этим не кончились. Буря бушевала все сильнее, и управлять лодкой оказалось невозможным. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы поклялись держаться друг за друга до последней минуты. Наконец забрезжил рассвет; с первым проблеском зари ветер подхватил нашу лодку и опрокинул ее. Так я больше и не видал никого из экипажа корабля. От падения я лишился чувств; я пришел в себя в объятиях моего верного старого слуги, который спасся на опрокинутой лодке и втащил меня за собой. Буря утихла. Нашего корабля не было и в помине, но мы увидели неподалеку другой корабль, к которому нас несло волнами. Когда мы подплыли ближе, я узнал в нем тот самый корабль, который ночью промчался мимо нас и привел в такой ужас капитана. При

виде этого корабля меня охватил неизъяснимый трепет; предсказание капитана, столь ужасно оправдавшееся, безлюдье на корабле, откуда при нашем приближении, несмотря на все оклики, никто не отзывался, внушали мне страх. Но то была единственная возможность спастись, и мы возблагодарили Пророка, который послал нам столь чудесное избавление. С носа корабля свисал длинный канат. Работая изо всех сил ногами и руками, подплыли мы к нему, чтобы за него ухватиться. Наконец нам это удалось. Я возвысил голос до крика, но на корабле по-прежнему царила тишина. Тогда мы стали взбираться вверх по канату — я, как младший, впереди. Но, о ужас! Что за зрелище представилось моим взорам, когда я взошел на палубу! Весь пол был залит кровью, двадцать или тридцать трупов в турецких одеждах лежали распростертые на полу; у грот-мачты стоял богато одетый человек с ятаганом в руке, но лицо у него было бледное и искаженное; воткнутом в лоб большим гвоздем он был приколот к мачте и тоже мертв. Испуг сковал мне ноги, я не смел вздохнуть. Наконец наверх взобрался и мой спутник. И его поверг в ужас вид палубы, где не было ничего живого, — всюду одни лишь страшные трупы. Затем, обратившись в своем смятении с молитвой к Пророку, мы решились идти дальше. После каждого шага мы оборачивались, не покажется ли что-нибудь новое, еще более страшное, но все оставалось по-прежнему: куда ни глянь, вокруг ничего живого, только мы да океан. Даже говорить громко мы не смели из страха, что пригвожденный к мачте мертвый капитан обратит к нам взгляд своих неподвижных глаз либо один из убитых повернет голову в нашу сторону. Наконец мы добрались до лестницы, ведущей в трюм. Мы невольно остановились и взглянули друг на друга: ни один из нас не решался высказать свои мысли вслух.

«О господин! — заговорил наконец мой верный слуга. — Здесь случилось нечто ужасное. Но если даже там внизу полно убийц, я скорее готов сдаться на их милость, чем оставаться дольше тут с мертвецами». Так же думал и я. Мы собрались с духом и, трепеща от ожидания, стали спускаться по лестнице. Но и внизу была мертвая тишина, только гулко отдавался звук наших шагов. Мы остановились перед дверью в каюты. Я приложил ухо к двери и прислушался, но все было тихо. Я отворил дверь. В каюте царил беспорядок. Повсюду вперемешку валялись одежда, оружие и другие предметы. Все было расшвырено как попало. По-види-

тому, экипаж или по меньшей мере капитан недавно бражничал здесь, потому что даже со стола не было убрано. Мы пошли дальше из каюты в каюту, из одного помещения в другое — всюду мы находили обильные запасы шелка, жемчуга, сахара и прочего. Я не помнил себя от радости при виде такого богатства, ибо, раз на корабле никого не было, я полагал, что могу все считать своим. Однако Ибрагим напомнил мне, что мы, по всей вероятности, находимся еще очень далеко от земли и что одним нам, без посторонней помощи, до нее не добраться.

Мы подкрепились яствами и напитками, которые нашлись здесь в изобилии, и вернулись на палубу. Но тут нас снова мороз продрал по коже при жутком зрелище трупов. Мы решили избавиться от них, выбросив их за борт, но какой ужас охватил нас, когда мы убедились, что ни одного из них сдвинуть с места нельзя! Они были точно прикованы к полу, и, чтобы их удалить, пришлось бы выломать доски из палубы, но для этого у нас не было инструментов. И капитана тоже не удалось оторвать от его мачты; даже вынуть у него из застывшей руки ятаган мы не могли.

День мы провели в печальных размышлениях о нашей доле, а когда стала приближаться ночь, я позволил старику Ибрагиму лечь спать, сам же решил оставаться на палубе, высматривая, не появится ли помощь. Но когда взошел месяц и я по звездам высчитал, что время приближается к одиннадцати, меня стал одолевать сон, и я помимо своей воли свалился за бочку, стоявшую на палубе. Но то было скорее забытие, нежели сон, потому что я отчетливо слышал, как билось море о борта корабля, а паруса скрипели и свистели под ветром. Вдруг мне послышались на палубе мужские голоса и шаги. Я хотел приподняться и выглянуть, но незримая сила сковала мне члены — даже глаза я не мог приоткрыть. А голоса становились все отчетливей; мне чудилась веселая возня матросов на палубе, сквозь шум я различал чей-то громкий повелительный голос, кроме того, я отчетливо слышал, как подтягивались канаты и крепились паруса. Но мало-помалу сознание мое помутилось, я впал в глубокий сон, сквозь который мне мерещился лязг оружия; проснулся я, только когда солнце стояло уже высоко в небе и жгло мне лицо. С удивлением озираясь я по сторонам; буря, мертвецы и все, что я слышал этой ночью, представилось мне сном; но, когда я вгляделся, все было по-вчерашнему. Неподвижно лежали мертвецы, неподвижно стоял при-

гвожденный к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы отыскать моего старика.

Он сидел в каюте, погруженный в размышления. «О господин, — воскликнул он, когда я вошел туда, — я предпочел бы лежать на самом дне моря, чем провести еще одну ночь на этом бесовском корабле!» Я спросил его о причине такого отчаяния, и он ответил мне: «Проспав несколько часов, я проснулся и услышал над головой какую-то беготню. Сперва я подумал было, что это вы, но нет — там топталось не меньше двадцати человек, и, кроме того, ко мне доносились оклики и крики. Наконец тяжелые шаги раздались и на лестнице. Тут в голове у меня все смешалось; лишь минутами сознание возвращалось ко мне, и я видел, как тот самый человек, что пригвожден наверху к мачте, сидел здесь за столом, пел и пил вино, а тот, в пунцовом кафтане, что лежит на палубе неподалеку от него, сидел рядом и пил вместе с ним». Так рассказывал мой старый слуга.

Вы легко поймете, друзья, каково было у меня на душе, — обмана чувств тут быть не могло, ведь и я отчетливо слышал возню мертвецов. Плыть на корабле в такой компании казалось мне ужасным. А Ибрагим мой снова погрузился в глубокие думы. «Вспомнил!» — наконец вскричал он. Ему пришло на ум заклинание, которому научил его дед, человек бывалый и много путешествовавший, и которое помогало против колдовства и наваждений; кроме того, мой старый слуга уверил меня, что, усердно читая молитвы из Корана, мы одолеем на следующую ночь тот неестественный сон, который охватывал нас. Предложение старика пришлось мне по душе. С тревогой ждали мы приближения ночи. Подле каюты капитана был чуланчик; там мы решили спрятаться. Мы просверлили в дверях несколько дыр, достаточно больших, чтобы видеть сквозь них всю каюту; затем мы крепко-накрепко заперли дверь изнутри, и Ибрагим написал на всех четырех углах имя Пророка. Так мы стали дожидаться ужасов ночи. И опять около одиннадцати часов меня неудержимо стало клонить ко сну. Мой слуга посоветовал мне прочесть несколько молитв из Корана, что мне действительно помогло. Вдруг наверху проснулась жизнь; канаты заскрипели, на палубе раздались шаги, и до нас явственно долетели голоса. Некоторое время мы просидели в напряженном ожидании, как вдруг услышали, что кто-то спускается по лестнице в каюту. Тут старик начал произ-

носить заклятие против привидений и колдовства, которому научил его дед:

Летаете ль вы на просторе,
Скрываетесь ли под землей,
Таитесь ли в недрах вы моря,
Кружит ли вас вихрь огневой —
Аллах ваш творец и властитель,
Всех духов один повелитель.

Должен сознаться, что я не очень верил в это заклинание, и, когда дверь раскрылась, волосы у меня встали дыбом. В каюту вошел тот высокий статный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь и теперь торчал у него посреди лба, но ятаган он вложил в ножны; за ним вошел еще один, одетый менее богато, и его я видел лежащим наверху. Первый был, бесспорно, капитан, бледное лицо его обрамляла длинная черная борода; дико вращая глазами, оглядывал он каюту. Я хорошо рассмотрел его, когда он проходил мимо; он же, по-видимому, не обращал никакого внимания на дверь, за которой мы скрывались. Он и его спутник уселись за стол посреди каюты и заговорили на незнакомом нам языке громким, почти доходящим до крика голосом. Голоса их становились все громче и яростней, пока наконец капитан не ударил кулаком по столу так, что стены задрожали. С диким хохотом вскочил его собеседник и кивнул капитану, чтобы тот следовал за ним. Капитан поднялся тоже, выхватил ятаган из ножен, и оба покинули каюту. Мы вздохнули свободней, когда они ушли; но страхам нашим долго еще не суждено было кончиться. На палубе становилось все шумней и шумней. Оттуда доносилась беготня, слышались крики, смех и вой. В конце концов шум перешел в адский грохот, казалось, словно палуба со всеми парусами обрушивается на нас; раздался звон оружия, крик — и внезапно опять наступила мертвая тишина. Когда спустя несколько часов мы решились подняться наверх, то все было по-прежнему: мертвецы лежали, как и раньше, неподвижные и одеревенелые.

Так провели мы на корабле несколько дней; корабль двигался в направлении к востоку, где, по моему расчету, должна была находиться земля, но если за день он и проходил порядочное расстояние, то ночью, видимо, возвращался вспять, ибо при вос-

ходе солнца мы оказывались всегда на прежнем месте. Объяснить себе это мы могли только одним: что мертвецы по ночам плыли на всех парусах обратно. Чтобы это предотвратить, мы до наступления ночи подвязали паруса и применили уже испытанное однажды средство — мы написали на пергаментном свитке имя пророка, прибавили к этому дедовское заклинание и обернули свитком связанные паруса. С трепетом ждали мы у себя в каморке, что будет дальше. Призраки в эту ночь неистовствовали еще сильнее, но, глядь! На следующее утро паруса были подвязаны так же, как мы их оставили. Теперь, в течение дня, мы стали распускать столько парусов, сколько требовалось, чтобы корабль не спеша двигался вперед, и таким образом за пять дней прошли порядочное расстояние.

Наконец утром шестого дня мы увидели невдалеке землю и возблагодарили Аллаха и его Пророка за наше чудесное спасение. Весь этот день и следующую ночь мы плыли вдоль берега, а на седьмое утро обнаружили невдалеке город. С большим трудом нам удалось бросить якорь, который тотчас же укрепился; затем мы спустили на воду стоявшую на палубе лодку, налегли на весла и поплыли к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, впадавшую в море, и поднялись на берег. У городских ворот мы осведомились, как называется город, и узнали, что город этот индийский; находится он поблизости от той местности, куда я первоначально собрался плыть. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего необычайного путешествия. Там же я поспешил разузнать, как мне найти мудрого и ученого человека, и при этом дал понять хозяину, что нужен мне такой человек, который сведущ в колдовстве. Он привел меня в отдаленную улицу, к невзрачному домику, постучался, а когда меня впустили, наказал мне спросить Мулея.

В доме меня встретил седобородый старичок с длинным носом и спросил, чего я желаю. Я сказал, что ишу мудрого Мулея, и он мне ответил, что он и есть Мулей. Тут я спросил у него совета, как мне поступить с мертвецами и каким способом убрать их с палубы.

Он ответил мне, что матросы, верно, осуждены плавать по морю за какое-нибудь злодеяние. Он полагает, что чары рассеются, как только мертвецов перенесут на землю, но снять их можно лишь вместе с досками, на которых они лежат. Корабль же со

всеми его богатствами принадлежит мне перед Богом и законом, ибо я его как бы нашел; но все это я должен хранить в глубокой тайне; и если я ему сделаю маленький подарочек от своих излишков, то он вместе со своими рабами поможет мне вынести мертвецов. Я обещал щедро наградить его, и мы отправились в путь, взяв с собой пятерых рабов, снабженных пилами и топорами. По дороге колдун Мулей не мог надивиться, как удачно мы придумали перевить паруса изречениями из Корана. Он сказал, что это для нас было единственным средством спасения.

Солнце стояло еще высоко, когда мы добрались до корабля. Мы все дружно принялись за работу, не прошло и часа, как четверо мертвецов лежали уже в челноке. Рабам было приказано перевезти их на землю и там похоронить. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили их от трудов погребения, ибо, будучи положены на землю, они тотчас же обратились в прах. Мы продолжали выпиливать доски и к вечеру перевезли на землю всех мертвецов. Наконец на борту остался лишь тот, что был пригвожден к мачте. Тщетно старались мы вытащить гвоздь из дерева, никакой силой не удалось выдвинуть его хотя бы на волосок. Я не знал, как быть, нельзя же было срубить мачту, чтобы перенести капитана на землю. Но из этой беды меня тоже выручил Мулей. Он спешно отправил одного из рабов на берег, приказав ему привезти горшок с землей. Когда горшок был принесен, колдун пошентал над ним какие-то таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Тот немедленно открыл глаза, глубоко вздохнул, и рана от гвоздя у него на лбу стала кровоточить. Теперь мы без труда вынули гвоздь, и раненый упал на руки одного из рабов.

— Кто привел меня сюда? — спросил он, очнувшись. Мулей указал на меня, и я подошел к нему поближе. — Благодарю тебя, неведомый чужестранец, ты спас меня от долгих мучений. Уже пятьдесят лет мое тело плавает по этим волнам, а дух мой был осужден возвращаться в него каждую ночь. Но теперь головы моей коснулась земля, я получил отпущение и могу удалиться к праотцам.

Я просил его рассказать нам, в чем причина его мытарств, и он заговорил:

— Пятьдесят лет тому назад я был влиятельным, именитым человеком и жил в Алжире; страсть к наживе побудила меня

снарядить корабль и заняться пиратством. Я промышлял этим ремеслом уже некоторое время, когда в Занте на корабль ко мне сел один дервиш, которому хотелось проехать бесплатно. Мы с товарищами были люди грубые и ни во что не ставили святость дервиша; я даже позволял себе насмехаться над ним. Однажды он в благочестивом рвении осудил мой греховный образ жизни; ночью, во время выпивки с моим штурманом, я вспомнил его слова и вскипел от гнева. Разъяренный тем, что какой-то дервиш осмелился сказать мне слова, которых я не потерпел бы даже от султана, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж, сказав, что нам не дано ни жить, ни умереть, пока мы не коснемся головой земли. Дервиш умер, мы бросили его в море и посмеялись над его угрозами. Но слова его сбылись в ту же самую ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Произошла яростная схватка; мои приверженцы были побеждены, и мятежники пригвоздили меня к мачте. Но и они погибли от полученных ран, и скоро весь мой корабль представлял собой большую могилу. У меня тоже помутилось в глазах, дыхание остановилось, я думал, что умираю. Но то было лишь оцепенение, сковавшее меня. На следующую ночь, в тот самый час, когда мы бросили дервиша в море, все мы пробудились. Жизнь вернулась, но говорить и делать мы могли лишь то, что говорили и делали в роковую ночь. Так мы плаваем уже целых пятьдесят лет — не можем ни жить, ни умереть, ибо как нам было достичь земли? С безумной радостью распускали мы все паруса каждый раз, как начиналась буря, надеясь разбиться об утесы и пайти усталой голове покой на дне моря. Но это нам не удавалось. Теперь же наконец я умру. Еще раз благодарю тебя, мой неведомый спаситель! Если сокровища могут тебя вознаградить, возьми мой корабль в знак моей признательности.

Сказав это, капитан поник головой и испустил дух. Тотчас и он превратился в прах, как его спутники. Мы собрали прах в ящичек и закопали его в землю; в городе я нашел рабочих, которые починили мой корабль. С большой прибылью выменяв те товары, что имелись у меня на борту, на другие, я нанял матросов, щедро одарил моего друга Мулея и направился к себе на родину. Однако плыл я не прямым путем, а приставал к разным островам и странам, продавая свои товары. Пророк благословил мое начинание.

Спустя девять месяцев я прибыл в Бальсору, удвоив наследство, полученное от умершего капитана. Мои сограждане немало удивились моим богатствам и моей удаче и полагали, что я, наверное, нашел алмазную пещеру знаменитого морехода Синдбада. Я не стал разубеждать их; но с тех пор все бальсорские юноши, едва достигнув восемнадцати лет, пускались в странствия, чтобы, подобно мне, найти свое счастье. А я жил спокойно и мирно и каждые пять лет совершал путешествие в Мекку, дабы возблагодарить в святых местах Господа за Его милости и умолить Его, чтобы Он принял к себе в рай капитана и его товарищей.

На следующий день караван беспрепятственно продолжал свой путь, и, когда все хорошенько отдохнули на привале, чужестранец Селим обратился к Мулею, младшему из купцов, с такой речью:

— Хоть вы годами и моложе нас всех, но вы всегда веселы и, наверное, храните в памяти не одну забавную историю. Угостите нас ею, дабы мы освежились после дневного зноя.

— Я охотно потешил бы вас каким-нибудь рассказом, однако молодости приличествует быть скромной во всем; и посему я не хочу опережать своих старших спутников. Цалевкос всегда так мрачен и замкнут — почему бы ему не рассказать нам, что омрачило его жизнь? Если у него есть горе, может статься, мы придем ему на помощь, ибо мы всегда готовы служить брату, будь он даже чужой веры.

Тот, к кому обращалась эта речь, был греческий купец, человек средних лет, красивый и здоровый, но очень сумрачный. Хоть он и был неверным (немусульманином), однако сумел внушить спутникам доверие и уважение к себе. Между прочим, у него была только одна рука; некоторые из его спутников подозревали, что именно это несчастье настраивает его на мрачный лад.

На участливый вопрос Мулея Цалевкос отвечал:

— Ваше участие очень лестно для меня; горя у меня нет, по крайней мере такого, в котором вы, при самых благих намерениях, могли бы помочь мне. Однако, раз Мулей как будто ставит мне в упрек мой мрачный вид, я расскажу вам нечто, могущее объяснить, почему я кажусь мрачнее других людей. Вы видите, что я потерял левую руку: я лишен ее не от рождения, а запла-

тился ею в самые тягостные дни моей жизни. Моя ли в том вина и прав ли я, что стал с тех пор мрачнее, чем подобает моему положению, — вы рассудите сами, когда услышите рассказ об отрубленной руке.

РАССКАЗ ОБ ОТРУБЛЕННОЙ РУКЕ

Родился я в Константинополе. Отец мой был драгоманом при Порте и попутно вел довольно прибыльную торговлю ароматическими маслами и шелками. Он дал мне хорошее воспитание, отчасти сам обучая меня, отчасти поручив мое образование одному из наших священнослужителей. Вначале он прочил меня в свои преемники по торговле, но, когда я стал проявлять недюжинные способности, он, по совету друзей, решил сделать из меня врача, ибо врач, когда он менее невежествен, чем обычные шарлатаны, легко преуспевает в Константинополе. У нас в доме бывало много франков, и один из них уговорил отца послать меня к нему на родину, в город Париж, где этому ремеслу обучают лучшие всего, и притом даром; сам он, возвращаясь домой, брался бесплатно отвезти меня туда. Мой отец, тоже путешествовавший в молодости, изъявил согласие, и франк сказал мне, чтобы я был готов в путь через три месяца. Я не помнил себя от радости, что увижу чужие края, и не мог дожидаться минуты, когда мы погрузимся на корабль. Наконец франк закончил свои дела и собрался в дорогу. Вечером, накануне отъезда, отец повел меня к себе в спальню; там я увидел прекрасную одежду и оружие, разложенные на столе. Но еще более привлекала мой взор большая куча червонцев — я никогда до той поры не видал их в таком множестве.

Отец обнял меня и сказал:

— Взгляни, сын мой, какую я приготовил тебе в дорогу одежду. И оружие тоже предназначается тебе. Это самое оружие твой дед надел на меня, когда я отправлялся на чужбину. Я знаю, ты умеешь владеть им; но никогда не пускай его в ход иначе как для защиты — но тогда бей всюю. Состояние мое невелико; взгляни — я поделил его на три части: одна принадлежит тебе, вторая пойдет мне на обеспечение в случае нужды, третья же будет для меня священна — пусть она хранится про черный день тебе. —

Так говорил мне старик-отец, и слезы стояли у него в глазах, — быть может, он предчувствовал, что мы не увидимся более.

Путешествие прошло благополучно; вскоре мы прибыли в страну франков, а через шесть дней пути очутились в большом городе Париже. Здесь мой франкский друг нанял мне комнату и посоветовал бережно расходовать мой капитал, составлявший в общем две тысячи талеров. Я прожил в том городе три года и учился всему, что надлежит знать искусному врачу, однако я бы солгал, сказав, что пребывание там было мне приятно, ибо тамошние нравы не пришлись мне по вкусу, а настоящих друзей я приобрел немного, но это были весьма достойные молодые люди.

Тоска по родине под конец совсем одолела меня, за все время я ничего не слыхал о своем отце и потому поспешил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы возвратиться домой.

Дело в том, что из страны франков в Оттоманскую Порту отправлялось посольство. Я поступил в качестве хирурга в свиту посла и счастливо добрался до Стамбула. Но отеческий дом мой был заперт; соседи очень удивились, увидав меня, и сказали мне, что отец мой умер два месяца тому назад. Тот священник, что обучал меня в мои юные годы, принес мне ключ; одинокий и осиротелый, поселился я в пустынном доме. Все оказалось на тех же местах, как было при отце, — только денег, которые обещал оставить мне отец, я не нашел. Я спросил о них священника, и тот с поклоном ответил: «Отец ваш скончался святым человеком, завещав свое состояние церкви». Это было и осталось для меня непостижимым, но что мог я поделать? Свидетелей против священника я выставить не мог, и мне приходилось только радоваться, что он не забрал заодно также и дом, и товары моего отца. Это было первое несчастье, поразившее меня. Но вслед за тем посыпался удар за ударом. Как врач я не мог завоевать известность, потому что стыдился быть шарлатаном и не имел поддержки отца, который ввел бы меня в самые знатные и богатые дома, закрытые теперь для горемыки Цалевкоса. И товары отца тоже не находили сбыта, ибо покупатели рассеялись после его смерти, а новые скоро не приобретаются. Однажды я горько призадумался над своей участью, и тут мне пришло в голову, что в стране франков я нередко видел моих соотечественников, которые бродили из края в край, предлагая свои товары на городских базарах; я припомнил, что покупали у них, как у иноземцев, охотно и что при

такой торговле нетрудно нажить огромные барыши. Мое решение было тотчас принято. Я продал отеческий дом, часть вырученных денег отдал на хранение надежному другу, а на остальные закупил редкостные в стране франков товары, как то: шали, шелковые ткани, притирания и масла; приобрел себе место на корабле и пустился во второе плавание к стране франков. Едва дарданелльские укрепления остались позади, как счастье, по-видимому, вновь улыбнулось мне. Путь наш был краток и благополучен. Я пошел бродить по большим и малым городам франков и всюду находил покладистых покупателей. Друг мой все время слал мне из Стамбула новые товары, и я день ото дня становился богаче. Скопив наконец достаточно, чтобы отважиться на более крупное предприятие, я отправился со своими товарами в Италию. Тут я должен признаться, что добывал деньги еще другим путем, а именно своим врачебным искусством. Едва я приезжал в какой-нибудь город, как оповещал объявлениями, что прибыл греческий врач, исцеливший множество больных; и, надо сказать, мой бальзам и мои снадобья принесли мне немало цехинов. Так я в конце концов добрался до итальянского города Флоренции. Я решил подольше пожить в этом городе, отчасти потому, что он пришелся мне по вкусу, отчасти же потому, что мне хотелось отдохнуть от утомительных странствий.

Я нанял себе лавку в квартале Санта-Кроче и в трактире, неподалеку оттуда, две хорошие комнаты с балконом. Немедленно же я разослал людей с объявлениями, оповещающими обо мне как о купце и целителе. Не успел я открыть свою лавку, как покупатели хлынули толпой, и хотя цены у меня были довольно высокие, но торговал я лучше других, потому что держал себя обходительно и приветливо с покупателями. Так я счастливо прожил уже четыре дня во Флоренции, как однажды вечером, собираясь запирать лавку и, по своему обыкновению, проверяя запасы притираний в банках, я обнаружил в одной из них записку, которую сам я туда не клал. Я развернул записку и нашел там приглашение явиться в ту ночь ровно в двенадцать часов на мост, называемый *Ponte Vecchio*¹. Я долго размышлял, кто бы это мог звать меня туда, но ведь я не знал ни души во Флоренции и поэтому подумал, что меня, наверное, хотят повести тайком к боль-

¹ Старый мост (*ит.*).

ному, как это уже бывало не раз. Итак, я решил отправиться туда, захватив из предосторожности саблю, которую некогда подарил мне отец.

Когда время приблизилось к полуночи, я собрался в путь и вскоре очутился на Ponte Vecchio. Мост был совсем пустынен, но я решил ждать того, кто меня звал.

Ночь стояла холодная, луна сияла ярко, и я глядел на воды Арно, уносившие вдаль отражение лунного света. На городских колокольнях пробило двенадцать; я оглянулся и увидел перед собой высокого человека, наглухо закутанного в красный плащ, краем которого он прикрывал себе лицо.

Сперва я очень испугался оттого, что он так внезапно очутился подле меня, но тотчас овладел собой и заговорил:

— Коли это вы позвали меня сюда, так скажите, что вам угодно?

Человек в красном повернулся и медленно произнес:

— Следуй за мной!

Тут уж мне показалось немного страшновато идти куда-то вдвоем с незнакомцем; я остановился и сказал:

— Подождите, сударь, извольте мне сперва сказать, куда надо идти; сообразуйте также открыть мне свое лицо, дабы я знал, что вы не замышляете против меня плохого.

Но красный человек не внял моим словам.

— Как тебе угодно, Цалевкос, не хочешь идти, оставайся! — ответил он и пошел дальше.

Тут я вспылил:

— Я не из тех, что позволяют любому дураку водить себя за нос; выходит, что я напрасно торчал здесь холодной ночью?

В три прыжка нагнал я его, схватил за плащ и, крича еще громче, взялся другой рукой за саблю; но плащ остался у меня в руке, а незнакомец исчез за ближайшим углом. Гнев мой мало-помалу остыл — ведь плащ остался у меня, и с его помощью я, уж конечно, найду ключ к этой необычайной загадке. Я накинул плащ на себя и отправился домой. Едва я отошел шагов на сто, как кто-то проскользнул вплотную мимо меня и прошептал на франкском языке:

— Берегитесь, граф, нынче ночью ничего нельзя предпринять.

Но не успел я оглянуться, как неизвестный был уже далеко, и я увидел лишь тень, мелькавшую вдоль домов. Я сразу понял,

что обращение относилось не ко мне, а к плащу, но разъяснить оно мне ничего не могло. На следующее утро я принялся размышлять, как быть. Сперва я собирался объявить о находке плаща, но тогда незнакомец мог бы прислать за ним третье лицо, и я не получил бы желаемой разгадки. Обдумывая дело, я внимательно разглядывал плащ.

Он был из тяжелого генуэзского бархата пурпурного цвета, оторочен каракулем и богато заткан золотом. Великолепие плаща навело меня на мысль, которую я решил тотчас же привести в исполнение. Я отнес его к себе в лавку и выставил на продажу, но назначил за него такую высокую цену, какую никто, я был уверен, не согласится дать. Моим намерением было внимательно приглядываться ко всякому, кто пожелает купить его, ибо фигуру незнакомца, хоть и мимолетно, но явственно представшую передо мной без плаща, я бы узнал из тысячи. Охотников приобрести плащ такой необычайной красоты нашлось немало, но никто и отдаленно не походил на незнакомца, и никто не хотел платить за него огромную цену в двести цехинов. Удивило меня также, что все, кого я спрашивал, есть ли еще такой плащ во Флоренции, отвечали отрицательно и уверяли, будто никогда не видели столь искусной и изящной работы.

Начинало смеркаться, когда наконец в лавку вошел молодой человек, не раз бывавший у меня и уже предлагавший в тот день большую цену за плащ; он швырнул на стол кошелек с цехинами и вскричал:

— Клянусь Богом! Цалевкос, я готов разориться, только бы купить у тебя плащ. — И тут же принялся отсчитывать монеты.

Я был в сильном замешательстве; я выставил плащ лишь для того, чтобы привлечь к нему взоры незнакомца, а тут вдруг явился молодой глупец, который согласен выложить за него назначенную мной несуразную цену. Что мне было делать? Я согласился, ибо, с другой стороны, меня радовала мысль получить столь блестящее возмещение за ночное беспокойство. Юноша накинул плащ и ушел, но с порога вернулся вновь и бросил мне бумажку, которая была приколоты к плащу, сказав:

— Смотри, Цалевкос, здесь прицеплено что-то, должно быть не имеющее отношения к плащу.

Я равнодушно взял записку, но что я увидел! На ней стояло: «Нынче ночью в тот же самый час принеси плащ на Ponte Vecchio;

четыреста цехинов ждут тебя». Я стоял как громом пораженный. Итак, я сам упустил свое счастье и совершенно не достиг своей цели; недолго думая, я сгреб те двести цехинов, догнал юношу, купившего плащ, и обратился к нему:

— Заберите свои цехины, дружище, а мне оставьте плащ, я никак не могу отдать его.

Тот сперва принял все за шутку, но, увидав, что я не шучу, рассердился, обозвал меня дураком, и дело в конце концов дошло до драки. Однако мне посчастливилось вырвать у него в потасовке плащ, и я собрался уже пуститься наутек, когда юноша принялся звать полицию и потащил меня в суд. Судья был очень удивлен такого рода жалобой и присудил плащ моему противнику. Тогда я стал предлагать юноше двадцать, пятьдесят, восемьдесят и, наконец, сто цехинов сверх его двухсот, только бы он отдал мне плащ. Чего я не мог добиться просьбами, того достиг деньгами. Он забрал мои кровные цехины, я же торжествующе удалился с плащом, прослав сумасшедшим на всю Флоренцию. Но людская молва не трогала меня, ведь я-то лучше знал, что выгода на моей стороне.

Нетерпеливо ждал я ночи. В то же время, что и вчера, отправился я с плащом под мышкой на Ponte Vecchio. С последним ударом часов из мрака вынырнула фигура и направилась ко мне.

То был бесспорно вчерашний незнакомец.

— Плащ при тебе? — спросил он меня.

— Да, сударь, — отвечал я, — но он обошелся мне в сто цехинов наличными.

— Знаю, — заметил тот. — Получай, тут четыреста.

Мы подошли вместе к широкому парапету моста, и он отсчитал мне монеты; их было четыреста; блеск их радовал мое сердце — увы! — не подозревавшее, что то будет его последняя радость. Я спрятал деньги в карман и собрался внимательно разглядеть щедрого незнакомца, но он был в маске, из-за которой на меня грозно сверкали темные глаза.

— Благодарю вас за вашу доброту, сударь, — обратился я к нему, — что вам теперь угодно от меня? Однако скажу заранее: на дурное дело я не пойду.

— Напрасная тревога, — возразил он, накидывая себе на плечи плащ. — Мне нужна ваша помощь как врача, но только не для живого, а для мертвеца.

— Как это возможно? — вскричал я в изумлении.

— Я прибыл с сестрой из дальних стран, — начал он, кивком приказав мне следовать за ним, — тут мы жили у одного из друзей нашей семьи. Моя сестра вчера скоростижно скончалась, и родные хотят завтра похоронить ее. Но, по нашему старому семейному обычаю, всем нам надлежит покоиться в фамильном склепе; многие, умершие в чужих краях, все же были набальзамированы и перевезены туда. Родне я согласен оставить ее тело, но отцу я хочу привезти хоть голову его дочери, чтобы он в последний раз взглянул на нее.

Обычай отрезать головы близким родственникам, правда, покорибил меня, но я не осмелился возражать из страха обидеть незнакомца. Поэтому я сказал только, что хорошо умею бальзамировать мертвецов, и попросил его проводить меня к покойнице. Однако я не удержался от вопроса — почему все это происходит ночью и облечено такой тайной? Он отвечал мне, что родных его намерение приводит в ужас и днем они стали бы препятствовать ему, но, когда голова уже будет отнята, им поневоле придется смириться; он бы мог прямо принести мне голову, но вполне понятное чувство не позволяет ему самому отрезать ее.

Тем временем мы подошли к большому великолепному дому. Спутник мой указал мне на него как на цель нашей ночной прогулки. Мы миновали главный портал дома, вошли в маленькую дверцу, которую незнакомец тщательно затворил за собой, и поднялись в темноте по узкой винтовой лестнице. Она вела в скудно освещенную галерею, через которую мы достигли комнаты, где горела одна лампа под потолком.

В этом покое стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернулся, видимо скрывая слезы. Он указал мне на кровать, велел быстро и хорошо исполнить порученное мне дело и вышел из комнаты.

Я достал свои инструменты, которые в качестве врача всегда имел при себе, и приблизился к кровати. Видно было только лицо трупа, но оно показалось мне таким прекрасным, что меня невольно охватила глубокая жалость. Волосы ниспадали длинными прядями, щеки были бледны, глаза сомкнуты. Сперва я сделал надрез по коже, как принято у врачей при ампутации какого-нибудь члена, затем взял самый свой острый нож и одним взмахом перерезал горло. Но — о ужас! — покойница открыла глаза и вновь

с глубоким вздохом сомкнула их, словно лишь сейчас испутив дух. И одновременно из раны на меня брызнула струя горячей крови. Мне стало ясно, что бедняжку умертвил я, ибо в том, что она мертва, сомневаться не приходилось: от такой раны спасения быть не может. Несколько минут простоял я неподвижно, трепеща от содеянного. Значит, красный человек обманул меня? Или же сестра была в летаргическом сне? Последнее показалось мне вероятнее. Но я не решился бы сказать брату, что менее глубокий разрез мог разбудить ее, не убив, и потому решил совсем отнять голову от туловища; но умирающая застонала еще раз, судорожно вытянулась и умерла; тут страх одолел меня, и я в смятении кинулся вон из комнаты. Снаружи в галерее было темно: лампа погасла, спутник мой исчез, и мне пришлось на ощупь продвигаться вдоль стены, чтобы добраться до винтовой лестницы. В конце концов я набрел на нее и, скользя, спотыкаясь, спустился по ней. Внизу тоже не оказалось ни души. Дверца была лишь притворена, и я вздохнул с облегчением, очутившись на улице, ибо там, в доме, мне было совсем немого. Подгоняемый страхом, бросился я к себе на квартиру и зарылся в постель, стремясь забыться после совершенного мной страшного дела. Но сон не приходил, и лишь утро принудило меня собраться с мыслями. Я предполагал, что человек, толкнувший меня на такое страшное злодеяние, меня не выдаст. Я решился не мешкая отправиться к себе в лавку и заняться своим делом, приняв по возможности беспечный вид. Но увы! — новое обстоятельство, которое я обнаружил лишь сейчас, усугубило мою тревогу. Я не находил ни своей шапки, ни пояса, ни пожей и не мог припомнить, оставил ли я их в комнате убитой или растерял во время бегства. К несчастью, первая догадка была более правдоподобна, и, значит, меня легко могли уличить в убийстве.

В обычное время я открыл лавку. Сосед, как и каждое утро, не замедлил явиться ко мне, ибо он был человек общительный.

— Ну, что вы скажете, — начал он, — какое ужасное событие приключилось нынче ночью! — (Я сделал вид, будто ничего не знаю.) — Неужели вы не слышали того, о чем толкует весь город? Не слышали, что прекраснейший цветок Флоренции, Бианка, дочь губернатора, убита нынче ночью? Ах! Вчера еще я видел, как она, веселая, проезжала по улицам вместе с женихом, ведь на сегодня назначена их свадьба.

Каждое слово соседа, как острый нож, вонзалось мне в сердце, и пытка повторялась беспрерывно, ибо каждый покупатель пересказывал мне эту историю, уснащая ее подробностями, которые были одна ужаснее другой; но до того ужаса, который видел я сам, никто додуматься не мог. Среди дня ко мне в лавку вошел судейский чиновник и попросил меня удалить покупателей.

— Синьор Цалевкос, — произнес он, доставая потерянные мною вещи, — эти вещи принадлежат вам?

Я собрался было отказаться от них, но, увидав в полуотворенную дверь своего хозяина и нескольких знакомых, которые могли бы свидетельствовать против меня, решил не отягощать своей вины еще и ложью и признал предъявленные мне вещи. Судейский чиновник предложил мне следовать за ним и привел меня в большое здание, оказавшееся тюрьмой. Там он до поры до времени оставил меня в отдельном помещении.

Поразмыслив в одиночестве, я понял весь ужас своего положения. Мысль, что я убийца — хоть и против воли, — не давала мне покоя; не мог я также утаить от себя, что блеск золота отуманил мне разум, иначе я так слепо не поддался бы обману.

Через два часа после ареста за мной пришли. Меня повели куда-то вниз по бесконечным лестницам, пока мы не очутились в большой зале. Там, вокруг длинного, покрытого черным стола, сидели двенадцать человек, преимущественно стариков. Вдоль стен залы шли скамьи, сплошь занятые именитыми флорентийцами; вверху, на галереях, теснились обыватели. Когда я подошел к черному столу, из-за него поднялся человек с мрачным и скорбным лицом — то был губернатор. Он обратился к собранию со словами, что ему, как отцу, нельзя быть судьей в этом деле и потому он на сей раз уступает свое место старейшему из сенаторов. Старейший из сенаторов был старец, по меньшей мере девяностолетнего возраста; он стоял совсем согбенный, остатки седых волос ниспадали ему на виски, но глаза еще пылали огнем, и голос был тверд и уверен. Он начал с вопроса, признаюсь ли я в убийстве. Я попросил его выслушать меня; откровенно и внятно изложил я все, что сделал, и все, что знал. Я заметил, что во время моего рассказа губернатор то бледнел, то краснел, а когда я закончил, он вскочил в бешенстве.

— Как, негодяй! — крикнул он мне. — Ты еще хочешь свалить на другого злодеяние, совершенное тобою из корысти?

Сенатор поставил ему на вид его вмешательство, ибо он добровольно отказался от своих прав, да, кроме того, ничем пока не доказано, что злодейство совершено мной из корысти, ведь, по его собственному показанию, у покойницы ничего украдено не было. Мало того, он заявил губернатору, что ему следует дать отчет о прежней жизни своей дочери. Ибо лишь таким путем можно вывести заключение, говорю ли я правду или нет. Вслед за тем он прекратил на сегодня разбор дела, дабы, сказал он, поискать разгадки в бумагах покойной, которые вручит ему губернатор. Меня снова отвели в тюрьму, где я провел печальный день, мечтая о том лишь, чтобы как-нибудь отыскались нити, связующие покойницу с человеком в красном плаще. Преисполненный надежд, переступил я на другой день порог залы суда. На столе лежало много писем; старик-сенатор спросил меня, моя ли то рука. Я взглянул на них и узнал почерк тех двух записок, которые получил я. Я заявил об этом сенаторам, но слова мои не встретили доверия; мне возразили, что как та, так и другая бесспорно писаны мною, ибо подпись повсюду начинается с Ц, первой буквы моего имени. Письма же содержали угрозы и предостережения против брака, в который покойница намеревалась вступить. Повидимому, губернатор успел дать какие-то неблагоприятные сведения обо мне, ибо в этот день со мной обращались подозрительнее и строже. Дабы оправдаться, я сослался на бумаги, которые должны быть у меня в комнате. Мне ответили, что там уже искали, но ничего не нашли. Так, к концу этого судебного заседания всякая надежда покинула меня, и, когда на третий день я снова был приведен в залу, мне прочитали приговор, в котором меня, как уличенного в преднамеренном убийстве, приговаривали к смертной казни. Такова, значит, моя доля; вдали от родины, разлученный со всем, что мне дорого на земле, я осужден был безвинно, во цвете лет, кончить жизнь под топором!

Вечером этого ужасного дня, решившего мою участь, я сидел в своей одинокой темнице; надежды мои угасли — все помыслы сосредоточились на смерти; как вдруг дверь моей тюрьмы растворилась и вошел какой-то человек. Долго и молча вглядывался он в меня.

— Вот как привелось мне увидеть тебя вновь, Цалевкос! — заговорил он наконец.

Я не узнал его в тусклом свете лампы, но при звуке его голоса воспоминания воскресли во мне; то был Валетти, один из немно-

гих друзей, приобретенных мною во времена моего учения в городе Париже. Он сказал, что случайно приехал во Флоренцию, где проживает его отец, человек почтенный; услыхав мою историю, он явился в последний раз повидаться со мной и от меня самого узнать, каким образом я дошел до столь тяжкого преступления. Я рассказал ему всю историю. Он был явно поражен и заклинал открыть ему, моему единственному другу, все без утайки — чтобы не уйти из этого мира с ложью на совести. Я поклялся ему всем святым, что говорю правду и что на мне лежит одна вина: ослепленный блеском золота, я не усмотрел несправдоподобности в рассказе незнакомца.

— Итак, ты прежде не знал Бианки? — спросил он меня.

Я заверил его, что ни разу в жизни не видал ее. Тогда Валетти рассказал мне, что тут кроется глубочайшая тайна и что губернатор очень торопился с моим осуждением; а по городу теперь ходит молва, будто я давно знал Бианку и убил ее из мести, потому что она выходит замуж за другого. Я заметил в ответ, что все это весьма подходит к человеку в красном, но я не в силах доказать его причастность к преступлению. Валетти в слезах обнял меня и пообещал сделать все, чтобы по крайней мере спасти мне жизнь. Я не слишком надеялся, однако знал, что Валетти человек разумный и сведущий в законах и что он все сделает для моего спасения. Два долгих дня прошло в неизвестности, наконец явился Валетти.

— Я приношу утешение, хотя и нерадостное. Тебе будет дарована жизнь и свобода, но ты лишишься одной руки.

Прочувствованно поблагодарил я друга за спасение жизни. Он сообщил, что губернатор никак не желал разрешить пересмотр дела, но под конец, боясь показаться несправедливым, пошел на уступку, согласившись, если в летописях Флоренции найдется подобный случай, наложить на меня такую же кару, какая была наложена тогда. Мой друг со своим отцом дни и ночи рылись в старых книгах и наконец нашли случай, совершенно сходный с моим. Приговор там гласил: надлежит у него отрубить левую руку, отобрать в казну имущество, его же самого подвергнуть вечному изгнанию. Такова теперь и моя кара, и мне нужно приготовиться к предстоящим тяжким минутам. Я не стану рисовать вам те тяжкие минуты, когда мне пришлось посреди площади положить руку на плаху и когда собственная кровь фонтаном обдала меня!

Валетти взял меня к себе, пока я не поправился, а затем щедро снабдил меня деньгами на дорогу, ибо все, что я скопил своими трудами, стало добычей суда. Я отправился из Флоренции в Сицилию и оттуда первым попавшимся кораблем в Константинополь. Все надежды у меня были на тот капитал, что я оставил на хранение другу; кроме того, я просил его приютить меня; но как я изумился, когда друг спросил, отчего я не хочу поселиться в своем доме. Он рассказал мне, что какой-то неизвестный человек приобрел на мое имя дом в греческом квартале, а соседям объявил, что вскоре явлюсь я сам. Я тотчас отправился туда вместе с другом и был радостно встречен всеми знакомыми. Один пожилой купец вручил мне письмо, которое оставил человек, совершивший за меня покупку дома.

Я прочел: «Цалевкос! Две руки готовы трудиться без устали, дабы ты не ощущал потери одной. Дом, который ты видишь, и все его содержимое принадлежат тебе, а каждый год ты будешь получать столько, сколько нужно, чтобы считаться человеком богатым. Прости тому, кто несчастней тебя!» Я догадывался, кем оставлено это письмо, а купец на мой вопрос ответил, что человек тот показался ему чужеземцем и одет был в красный плащ. После этого рассказа я принужден был признать, что незнакомец мой не вполне лишен душевного благородства. Я оказался владельцем дома, устроенного наилучшим образом, а кроме того, еще и лавки с такими прекрасными товарами, каких у меня никогда не бывало. С тех пор протекло десять лет; больше по привычке, чем из нужды, разъезжаю я по торговым делам, но в той стране, где мне пришлось столько претерпеть, я больше не был ни разу. С тех пор я каждый год получал по тысяче золотых, но хоть меня и радует благородство того злополучного человека, однако ему не окупить скорбь моей души, где вечно жив душераздирающий образ убитой Бианки.

Цалевкос, греческий купец, окончил свой рассказ. С глубоким участием слушали его все остальные; особенно взволнован, казалось, был чужестранец: он неоднократно глубоко вздыхал, и Мулею раз даже почудилось, будто на глазах у него слезы. Долго толковали они об этой истории.

— Вы, надо думать, ненавидите незнакомца, что так подло лишил вас благороднейшей части тела и чуть было не лишил самой жизни? — спросил гость.

— Прежде в самом деле случались минуты, когда я в сердце своем винил его перед Господом за то, что он навлек на меня такое горе и напоил ядом мою жизнь, — отвечал грек, — но я нашел утешение в вере отцов, которая повелевает мне возлюбить врага; да и он, конечно, несчастнее меня.

— Вы благороднейший человек! — вскричал гость, с чувством пожимая руку Цалевкоса.

Но тут начальник стражи прервал их беседу. С озабоченным видом вошел он в шатер и доложил, что надо быть начеку, ибо в этих местах чаще всего совершаются нападения на караваны, а его стража как будто заметила вдали отряд всадников.

Купцов сильно встревожило это известие, но чужестранец Селим подивился их тревоге, заметив, что при такой охране нечего бояться кучки арабских разбойников.

— О да, господин мой! — отвечал ему начальник стражи. — Будь это простой сброд, можно бы без страха расположиться на покой, но с некоторых пор снова появился грозный Орбазан, а при нем надо держать ухо востро.

Гость спросил, кто такой Орбазан, и Ахмет, старший из купцов, ответил ему:

— В народе рассказывают много чудес об этом человеке. Одни полагают, что он одарен сверхъестественной силой, ибо нередко он один поражает сразу пять-шесть человек; другие считают его смельчаком-франком, которого несчастья занесли в здешние края, — кто бы, однако, он ни был, ясно одно — он нечестивец, злодей и разбойник.

— Это вы не можете сказать, — возразил ему Леза, один из купцов. — Хоть он и разбойник, но тем не менее благородный человек, что испытал на себе мой брат и чему я мог бы привести вам доказательства. Все свое племя он держит в подчинении, и, пока он кочует по пустыне, никакое другое племя не смеет показаться в этих местах. Да он и не грабит, как другие, а только взимает с караванов дань, и кто беспрекословно выплачивает ее, тот может без помехи совершать свой путь, ибо Орбазан — повелитель пустыни.

Так беседовали между собой путешественники, сидя в шатре; тем временем среди стражи; охранявшей место стоянки, поднялась сильная тревога. Порядочная кучка вооруженных всадников показалась на получасовом расстоянии; они явно направля-

лись напрямик к стоянке. Один из стражников явился в шатер сообщить, что нападение готовится в самом деле. Купцы принялись совещаться, как быть — выступать ли навстречу или ждать нападения. Ахмет и двое других купцов постарше предпочитали второе, но пылкий Мулей, а также Цалевкос настаивали на первом и обратились к гостю с просьбой поддержать их. Но тот спокойно достал из-за пояса синий платочек с красными звездами, привязал его к копыю и велел одному из рабов водрузить его над шатром; он ручается головой, сказал он, что всадники, увидав этот знак, спокойно проедут мимо. Мулей не верил в успех, но раб все же водрузил копые над шатром. Между тем все успели вооружиться и с волнением смотрели навстречу всадникам. Но те, по-видимому заметив знак, круто изменили направление, обогнули место стоянки и поскакали в другую сторону.

Изумленные путешественники несколько минут молча переводили взгляд со всадников на своего гостя. Тот же как ни в чем не бывало стоял перед шатром и смотрел вдаль. Наконец Мулей прервал молчание.

— Кто же ты, могущественный незнакомец, чьему знаку покорны дикие кочевники пустыни? — вскричал он.

— Вы переоцениваете мое могущество, — возразил Селим Барух. — Я захватил этот знак, убегая из плена. Что он означает, я не знаю и сам; одно мне известно — что он служит могущественной защитой тому, кто путешествует с ним.

Купцы благодарили гостя, называя его своим спасителем. И в самом деле, число всадников было так велико, что караван вряд ли мог бы обороняться против них.

Успокоенные, отправились все почивать; когда же солнце начало склоняться, а вечерний ветерок подул над песчаной равниной, караван снялся и пустился в дальнейший путь.

На следующий день он расположился примерно лишь на расстоянии дня пути от конца пустыни. Когда путешественники вновь собрались в большом шатре, купец Леза повел такую речь:

— Я сказал вам вчера, что страшный Орбазан — благородный человек; позвольте мне нынче подтвердить вам это рассказом о приключениях моего брата. Отец мой был кади в Акаре. Нас у него — трое детей. Я — старший, а брат и сестра много моложе меня. Когда мне минуло двадцать лет, один из братьев отца призвал меня к себе. Он назначил меня наследником своего

имущества с тем, чтобы я находился при нем до его смерти. Однако он достиг преклонного возраста, так что я лишь два года тому назад возвратился на родину, ничего не зная о том, какая ужасная судьба постигла между тем моих близких и какой благодетельный оборот дал ей Аллах.

СПАСЕНИЕ ФАТЬМЫ

Мой брат Мустафа и сестра Фатма были почти в одном возрасте — брат был старше всего года на два. Они горячо любили друг друга и дружно старались облегчить нашему немощному отцу бремя его лет. В день шестнадцатилетия Фатмы брат устроил празднество. Он созвал всех ее подруг, приготовил для них в отцовском саду самое изысканное угощение, а когда наступил вечер, предложил им покататься по морю на лодке, которую он нанял и по-праздничному разукрасил. Фатма и ее подружки с радостью согласились; вечер выдался прекрасный, а вид с моря на город, особенно ночью, был поистине великолепен. Но девушкам так понравилось кататься в лодке, что они уговаривали брата выплыть подальше в море; Мустафа согласился, но нехотя, потому что за несколько дней до того поблизости был замечен корсар. Неподалеку от города в море выступает мыс; девушкам вздумалось добраться до него, чтобы оттуда смотреть, как солнце погружается в море. Когда они огибали мыс, то увидели на недалеком расстоянии лодку с вооруженными людьми. Предчувствуя недоброе, брат мой приказал гребцам повернуть обратно и грести к берегу. В самом деле, его опасения подтвердились; вторая лодка, на которой было больше гребцов, нагнала лодку моего брата, опередила ее и дальше все время норовила держаться между берегом и нашей лодкой. Девушки, поняв грозившую им опасность, вскочили с мест, подняли крик и плач; Мустафа тщетно старался их успокоить, тщетно убеждал сидеть смирно, ибо из-за их беготни лодке угрожает опасность опрокинуться; но слова его были напрасны; в конце концов, когда вторая лодка приблизилась вплотную, они все сбились к одному краю лодки и она опрокинулась. Между тем с берега уже давно наблюдали за маневрами незнакомой лодки, а так как в последнее время надвинулась угроза корсарского налета, то незнакомая лодка пробудила подозрение;

несколько лодок отплыли на помощь нашей. Они едва успели спасти утопающих. В сумятице неприятельская лодка исчезла, а на тех лодках, которые подобрали тонувших, не знали, всех ли удалось спасти, и лишь когда лодки приблизились друг к другу, на беду, обнаружилось, что недостает моей сестры и одной из ее подруг: одновременно на одной из лодок заметили человека, которого никто не знал. Угрозы Мустафы вынудили его сознаться, что он — с неприятельского корабля, который стоит на якоре в двух милях на восток от города, и что его спутники, поспешно спасаясь бегством, бросили его, пока он помогал вылавливать девушек; еще он рассказал, что видел, как двух из них втащили на судно.

Скорбь моего престарелого отца не имела пределов, да и Мустафа был совсем убит, и не только потому, что исчезла его любимая сестра и что он считал себя виновником ее несчастья; та самая подруга Фатьмы, которая разделила ее горькую участь, была обещана родителями ему в жены, и он только не осмелился еще сознаться в этом нашему отцу, ибо ее родители были люди бедные, и притом низкого происхождения. Мой же отец был человек строгий; когда скорбь его немного улеглась, он призвал к себе Мустафу и сказал ему:

— Твоя глупость отняла у меня утешение моей старости и радость очей моих. Я проклинаю тебя и твое потомство, ступай навеки прочь с глаз моих, и, только когда ты вернешь мне Фатьму, отцовское проклятие будет снято с главы твоей.

Этого мой бедный брат не ожидал; он уже и сам решил отыскать сестру и ее подругу и хотел только испросить благословения отца, и вот теперь ему приходится пускаться в путь с бременем отцовского проклятия. Но если прежняя беда сломила его, то избыток горя, которого он не заслужил, укрепил его дух.

Он пошел к пленному морскому разбойнику, расспросил его, куда держал путь корабль пиратов, и узнал, что они ведут обширную торговлю невольниками и обычно для этой цели выбирают Бальсору.

Когда он вернулся домой, чтобы собраться в путь, гнев отца как будто несколько улегся, ибо он прислал ему на дорогу кошель с золотыми. Мустафа же, в слезах, простился с родителями Зораиды, так звали его похищенную невесту, и пустился в путь к Бальсоре.

Он не мог ехать морем, ибо из нашего городка ни один корабль не шел в Бальсору. Поэтому ему пришлось совершать за день большие переходы, чтобы прибыть в Бальсору вслед за пиратами; но конь у него был хороший, поклажи никакой, и потому он рассчитывал добраться туда к концу шестого дня. Однако вечером четвертого дня, когда он в одиночестве совершал свой путь, на него напали три всадника. Заметив, что они хорошо вооружены и сильны и посягают больше на его коня и кошелек, чем на жизнь, он крикнул им, что сдается. Они слезли с лошадей, связали ему ноги под брюхом его коня, окружили его и поскакали рысью, не говоря ни слова, причем один из них держал его коня за поводья.

Мустафа предался глубокому отчаянию, проклятие отца, видно, уже начинало сбываться, и где ему, несчастному, было надеяться спасти свою сестру и Зораиду, когда сам он, лишенный всяких средств, мог отдать для их освобождения только свою жалкую жизнь! Мустафа и его безмолвные спутники, проехав около часа, свернули в тесную боковую долину. Полянка, куда они попали, была окаймлена высокими деревьями; мягкая темно-зеленая трава, быстро бегущий посредине ручей — все манило к отдыху. И в самом деле, Мустафа увидел, что там разбито около двадцати шатров; к колыям шатров были привязаны верблюды и великолепные кони; из одного шатра неслись веселые звуки цитры и двух прекрасных мужских голосов. Мой брат подумал, что люди, выбравшие такое приветливое местечко для привала, не могут замысливать против него недоброе, и без страха последовал зову своих проводников, которые, распутав связывавшие его веревки, велели ему слезть с лошади. Его повели в шатер, который был больше других и внутри убран красиво, почти изысканно. Превосходные, шитые золотом подушки, узорные ковры, позолоченные курильницы где-либо в ином месте служили бы признаком богатства и благополучия, здесь же они свидетельствовали о дерзких грабежах.

На одной из подушек сидел маленький старичок; лицо у него было безобразное, очень смуглое и лоснящееся, а печать злобно-го коварства вокруг глаз и рта придавала ему отталкивающий вид. Хотя этот человек и старался приосаниться, однако Мустафа скоро смекнул, что не для него шатер убран так богато, а разговоры спутников только подтвердили это предположение.

— Где атаман? — спросили они у старика.

— Он выехал поохотиться, — ответил тот, — а меня посадил на свое место.

— Это он неладно придумал, — возразил один из разбойников, — нужно скорей решить, убить ли этого пса или взять с него выкуп, а это атаман знает лучше, чем ты.

Карлик поднялся с полным сознанием своего достоинства и, желая отомстить за обиду, вытянулся, сколько мог, чтобы кончиками пальцев достать ухо противника; видя, что усилия его напрасны, он начал браниться, другие тоже не остались в долгу — так что от их криков дрожал весь шатер.

Но тут внезапно дверь шатра открылась и вошел высокий стройный мужчина, молодой и прекрасный, как персидский принц; его одежда и оружие, кроме богато отделанного кинжала и блестящей сабли, были скромны и просты, а строгий взгляд и осанка внушали уважение, не вызывая при этом страха.

— Кто осмеливается заводить ссоры в моем шатре? — воскликнул он, обращаясь к испуганным спорщикам.

Некоторое время царило глубокое молчание, наконец один из тех, что привели Мустафу, рассказал, какова причина ссоры. Лицо атамана, как они его называли, вспыхнуло от гнева.

— Когда это я сажал тебя на мое место, Гассан? — закричал он грозным голосом, обращаясь к карлику. Тот совсем съежился от страха, так что стал еще меньше, чем прежде, и шмыгнул к двери, ведущей из шатра. Увесистым пинком атаман подогнал его, и он кубарем вылетел из шатра.

Когда карлик исчез, трое людей, приведших Мустафу, подвели его к хозяину шатра, который успел между тем улечься на подушки.

— Вот тот, кого ты нам повелел поймать.

Атаман долго смотрел на пленника и наконец заговорил:

— Зулейкский паша, собственная совесть подскажет тебе, почему ты стоишь перед Орбазаном!

Услышав это, брат мой упал на колени, вскричав:

— О господин! Ты, по-видимому, впал в заблуждение, я несчастный горемыка, а не паша, которого ты ищешь!

Все присутствующие были удивлены подобной речью. А хозяин шатра сказал:

— К чему отпираться, я сейчас призову сюда людей, которые хорошо тебя знают. — И он приказал привести Зулейму.

В шатер ввели старуху, которая на вопрос, признает ли она в моем брате зулиэйкского пашу, отвечала:

— Конечно! Клянусь гробницей Пророка, что это и есть не кто иной, как паша.

— Видишь, презренный человек, как твоя хитрость пошла прахом? — гневно начал атаман. — Я не стану марать свой кинжал в крови такой мрази, как ты: я привяжу тебя к хвосту коня завтра, когда взойдет солнце, и буду скакать с тобой по лесам, пока солнце не скроется за холмами Зулиэйки!

Тут бедный мой брат совсем пал духом.

— Значит, проклятие жестокого отца обрекает меня на позорную смерть! — со слезами воскликнул он. — Теперь погибла и ты, возлюбленная сестра, и ты, Зораида, тоже!

— Притворство тебе не поможет, — сказал один из разбойников, связывая ему за спиной руки, — проваливай из шатра, а то атаман закусил уже губы и поглядывает на свой кинжал. Выходи скорее, если хочешь прожить еще хоть ночь.

Только разбойники собрались увести моего брата из шатра, как столкнулись с тремя другими, которые гнали перед собой пленника. Они вошли с ним в шатер.

— Мы привели пашу, как ты приказал, — сказали они и потащили пленника к ложу атамана.

В то время как пленника тащили, мой брат успел его разглядеть и заметить сходство этого человека с собою, только тот был смуглее лицом и борода у него была темнее.

Атаман, по-видимому, очень удивился появлению второго пленника.

— Кто же из вас настоящий? — спросил он, переводя взгляд с моего брата на того.

— Если ты подразумеваешь пашу из Зулиэйки, — горделиво отвечал пленник, — так это я!

Атаман долго смотрел на него строгим и мрачным взглядом, затем молча подал знак увести его. После этого он приблизился к моему брату, разрезал своим кинжалом связывавшие его путы и жестом пригласил его сесть рядом с собой на подушки.

— Я сожалею, чужеземец, что принял тебя за то чудовище, — сказал он, — но припиши неисповедимой воле Неба случай, отдавший тебя в руки моих братьев именно в час, назначенный для гибели того нечестивца!

Тут мой брат попросил оказать ему единственную милость и позволить немедленно продолжать путь, ибо всякая отсрочка может стать для него пагубной. Атаман осведомился, что за спешное у него дело, и, когда Мустафа все рассказал, убедил брата провести эту ночь тут в шатре, ибо и Мустафа, и его конь нуждаются в отдыхе; а на завтра он сам покажет ему дорогу, по которой в полтора дня можно доскакать до Бальсоры. Брат мой согласился и мирно проспал до утра в шатре радушного разбойника.

Проснувшись, он увидел, что, кроме него, в шатре никого нет, но перед завесой шатра он услышал голоса, которые, по-видимому, принадлежали хозяину шатра и темнолицему человеку. Он прислушался и, к своему ужасу, уловил, что карлик настойчиво уговаривает атамана убить чужеземца, ибо, если отпустить его на волю, он выдаст их всех.

Мустафа понял, что карлик питает к нему злобу как к виновнику вчерашней взбучки; атаман, видимо, размышлял несколько мгновений.

— Нет, — ответил он, — он мой гость, а гостеприимство свято для меня, да и, на мой взгляд, он не из тех, что способны выдать.

Сказав это, он откинул занавеску и вошел.

— Мир тебе, Мустафа, — произнес он, — подкрепимся сперва утренним напитком, а затем собирайся в путь.

Он протянул моему брату чашу с шербетом; выпив, они взнуздали коней, и надо сказать, что Мустафа вскочил на коня с более легким сердцем, чем приехал сюда. Вскоре шатры остались позади, и они свернули на широкую тропу, ведущую к лесу. Атаман рассказал моему брату, что паша, когда они захватили его на охоте, обещал не преследовать их в своей стране; но несколько недель тому назад он поймал одного из самых храбрых их товарищей и, после жесточайших пыток, велел его повесить. Они долго выслеживали его, и вот сегодня он будет казнен. Мустафа не осмелился возражать, радуясь, что ему самому удалось спасти свою шкуру.

При выезде из леса атаман придержал своего коня, объяснил моему брату дорогу, протянул ему на прощание руку и сказал:

— Мустафа, ты чудесным случаем оказался гостем разбойника Орбазана; я не стану просить тебя не выдавать того, что ты видел и слышал. Ты незаслуженно испытал страх смерти, и я у тебя в долгу. Возьми на память этот кинжал; когда будешь нуждаться

в помощи, пришли мне его, и я поспешу к тебе на выручку. Кошелек же этот может тебе пригодиться в пути.

Мой брат поблагодарил его за великодушие, взял кинжал, а от кошелька отказался. Но Орбазан пожал ему еще раз руку, бросил кошелек наземь и, как вихрь, умчался в лес. Когда Мустафа убедился, что его все равно не нагнать, он слез с коня, поднял кошелек и даже испугался щедрости своего гостеприимного хозяина, ибо в кошельке оказалось очень много золота. Возблагодарив Аллаха за спасение, он поручил благородного разбойника его милосердию и бодро продолжал свой путь в Бальсору.

Леза умолк и вопросительно взглянул на Ахмета, старшего из купцов.

— Ну, если это так, я охотно изменю свое мнение об Орбазане, ибо что правда, то правда: с твоим братом он поступил хорошо.

— Он поступил как истый мусульманин! — воскликнул Мулей. — Но — я надеюсь, что ты на этом своего рассказа не кончишь, ибо всем нам, надо думать, любопытно узнать, что произошло дальше с твоим братом и освободил ли он твою сестру Фатьму и прекрасную Зораиду.

— Если вам не наскучило слушать, я охотно расскажу, что было дальше, — ответил Леза, — ибо история моего брата в самом деле изобилует чудесными приключениями.

В полдень седьмого дня пути Мустафа въехал в ворота Бальсоры. Остановившись в ближайшем караван-сарае, он спросил, когда открывается невольничий рынок, который бывает здесь ежегодно. Но — о ужас! — в ответ он услышал, что опоздал на два дня. При этом ему еще сказали, что он много потерял, ибо в самый последний день торга привезли двух невольниц такой поразительной красоты, что они привлекли к себе взоры всех покупателей. Люди прямо дрались за них и набили такую высокую цену, какая не отпугнула только их теперешнего хозяина. Он подробно расспросил об этих невольницах, и у него не осталось сомнения, что это и были бедняжки, которых он искал. Он узнал также, что человек, купивший их обеих, живет в сорока часах езды от Бальсоры и зовется Тиули-Кос; человек это знатный, богатый, но уже пожилой, раньше он был капудан-пашой султана, а теперь удалился на покой с накопленными богатствами.

Сперва Мустафа решил немедленно вскочить на коня и поспешить вслед за Тиули-Косом, который мог опередить его не больше чем на один день. Но когда он сообразил, что одному ему не совладать с могущественным противником, а тем паче не отбить у него добычи, то стал придумывать другой способ, на который вскоре и набрел. Сходство с зулиэйским пашой, едва не оказавшееся для него роковым, навело его на мысль проникнуть в дом Тиули-Коса под этим именем и таким путем попытаться спасти несчастных девушек. Тотчас же он нанял нескольких слуг и лошадей, на что ему чрезвычайно пригодились деньги Орбазана, приобрел для себя и для слуг великолепные одежды и пустился в путь к замку Тиули. Он добрался туда в пять дней. Замок, расположенный в прекрасной долине, был окружен стенами почти одной вышины с самими строениями. Прибыв к замку, Мустафа окрасил волосы и бороду в черный цвет, а лицо смазал соком одного растения, что придало ему смугловатый оттенок, совсем как у того паши. Вслед за тем он послал одного из своих слуг во дворец, приказав ему просить о ночлеге от имени зулиэйского паши. Слуга вскоре вернулся, а с ним четверо богато одетых рабов, которые взяли под уздцы коня Мустафы и повели его во двор замка. Там они помогли ему самому слезть с коня, а четверо других проводили его по мраморной лестнице к Тиули.

Этот старый весельчак принял моего брата с почетом и велел потчевать его всем самым лучшим, что только умел изготовить его повар. После трапезы Мустафа постепенно навел разговор на новых невольниц, Тиули принялся расхваливать их красоту и посоветовал только, что они всегда печальны, однако выразил надежду, что это скоро пройдет. Мой брат был очень доволен приемом и лег спать, исполненный радостных упований.

Он проспал не более часа, как вдруг его разбудил свет лампы, направленный прямо на него. Поднявшись, он подумал, что продолжает грезить, — перед ним стоял черномазый человечек из шатра Орбазана с лампой в руке; отвратительная улыбка кривила его широкую пасть. Мустафа ущипнул себя за руку, дернул за нос, желая убедиться, что не спит, но явление не исчезало.

— Что тебе нужно у моего ложа? — воскликнул Мустафа, оправившись от изумления.

— Не волнуйтесь так, господин, — сказал карлик, — я сразу смекнул, зачем вы сюда явились. Ваше досточтимое лицо мне

хорошо запомнилось, но, право же, если бы я не собственноручно помогал вешать пашу, то, может быть, вы и меня провели бы. А теперь я здесь, чтобы задать вам один вопрос.

— Прежде всего скажи, как ты попал сюда, — заявил Мустафа, взбешенный тем, что обман его не удался.

— Сейчас расскажу, — ответил тот, — я не мог ужиться с атаманом, а потому бежал; но ведь ты, Мустафа, собственно, и был причиной нашей ссоры, а потому ты должен выдать за меня свою сестру, я же помогу вам бежать; если же ты не выдашь ее за меня, я пойду к моему новому хозяину и расскажу ему кое-что о новом паше.

Мустафа был вне себя от страха и гнева; теперь, когда он считал, что находится на верном пути к достижению своей цели, вдруг является этот негодяй, чтобы все расстроить. У него оставалось одно средство не загубить свой план — прикончить этого уродца; одним прыжком бросился он с постели на карлика, но тот, видимо, предчувствовал такую возможность: он уронил лампу, которая погасла, а сам отскочил в темноту, во все горло зовя на помощь.

Что тут было делать? От спасения девушек Мустафе пока приходилось отказаться и думать только о собственной голове; он подошел к окну, чтобы посмотреть, нельзя ли выпрыгнуть из него. Окно находилось довольно далеко от земли, а дальше была высокая стена, через которую нужно перелезть. Размышляя, стоял он у окна, как вдруг услышал множество голосов, приближающихся к его комнате, — вот они уже у самой двери, тогда он в отчаянии схватил свой кинжал и одежду и прыгнул из окна. Удар оказался сильным, но он чувствовал, что кости у него все целы, и поэтому вскочил на ноги, подбежал к стене, окружавшей двор, к удивлению своих преследователей, вскарабкался по ней и скоро очутился на воле. Он бежал, пока не достиг лесочка, где в изнеможении свалился на землю. Тут он стал раздумывать, как быть дальше. Лошадей и слуг ему пришлось бросить на произвол судьбы, зато деньги, которые были у него за поясом, оказались при нем.

Его изобретательный ум вскоре указал ему новый путь к спасению. Он пошел лесом дальше, пока не достиг деревни, где за сходную цену купил лошадь, на которой вскоре добрался до города. Там он стал спрашивать о враче, и ему указали искусного

в своем деле старика-лекаря. Ценой нескольких золотых монет он убедил старика дать ему такое лекарство, которое вызывало бы сон, похожий на смерть и могущий быть мгновенно прерванным с помощью другого лекарства. Получив такое средство, он купил себе длинную фальшивую бороду, черную мантию и множество разных банок и склянок, так что действительно стал похож на странствующего врача, погрузил свои пожитки на осла и поехал обратно в замок Тиули-Коса. Теперь он мог не опасаться быть узнанным, ибо борода настолько изменила его, что он сам себя почти не узнавал. Приехав к Тиули, он приказал доложить о себе как о враче Хакаманкабудибабе, и как он предполагал, так и случилось: пышное имя произвело на старого дурака огромное впечатление, так что он сразу же пригласил гостя к столу. Хакаманкабудибаба предстал перед Тиули, и после того, как они проговорили около часа, старик решил подвергнуть всех своих невольниц лечению мудрого врача. Тот с трудом скрывал свою радость, что наконец снова увидит любимую сестру, и с бьющимся сердцем последовал за Тиули в сераль. Они пришли в богато убранную комнату, в которой, однако, не было никого.

— Хамбаба, или как там тебя зовут, любезный врач, — сказал Тиули-Кос, — взгляни-ка вон на то отверстие в стене; в него каждая из моих рабынь будет просовывать руку, а ты по пульсу сможешь судить, здорова она или нет.

Как Мустафа ни протестовал, но увидеть невольниц ему не удалось; однако Тиули согласился сообщать о каждой, как она себя чувствует обычно. Тиули вынул из-за пояса длинную записку и начал громким голосом выкликать своих невольниц одну за другой, после чего всякий раз в отверстии появлялась рука, и лекарь щупал пульс. Уже были выкликнуты шесть невольниц и все объявлены здоровыми, когда Тиули назвал седьмой Фатьму, и маленькая белая ручка скользнула в отверстие; Мустафа схватил ее, дрожа от радости, и заявил с озабоченным видом, что эта невольница не на шутку больна. Тиули весьма встревожился и приказал своему мудрому Хакаманкабудибабе поскорее приготовить для нее лекарство. Лекарь вышел, написал на клочке бумаги: «Фатьма! Я спасу тебя, если ты отважишься принять лекарство, которое лишит тебя жизни на два дня; однако у меня есть средство снова вернуть тебе жизнь. Если ты согласна, скажи лишь, что питье не помогло, и это будет мне знаком твоего согласия!»

Вслед за тем он вернулся в комнату, где его ожидал Тиули. Он принес безвредное питье и, щупая еще раз пульс у больной Фатмы, засунул ей за браслет записку, питье же открыто подал через отверстие в стене. Тиули был крайне озабочен болезнью Фатмы и отложил осмотр остальных до более благоприятного времени. Покидая вместе с Мустафой комнату, он сказал печальным голосом:

— Хадибаба, скажи откровенно, что ты думаешь о болезни Фатмы?

Хакаманкабудибаба отвечал с глубоким вздохом:

— Ах, господин мой! Да ниспошлет тебе Пророк утешение — у нее изнурительная лихорадка, которая может ее доконать.

Тиули вспылил:

— Что ты говоришь? Поганый ты пес после этого, а не врач! Я заплатил за нее две тысячи золотых, и чтобы она издохла, как корова? Так и знай, если ты не спасешь ее, я отрублю тебе голову!

Тут мой брат понял, что сделал глупость, и поспешил обнадёжить Тиули. Во время их разговора из сераля пришел черный раб сказать врачу, что питье не помогло.

— Употреби все свое искусство, Хакамдабабельба, или как там тебя зовут, — я заплачу тебе сколько хочешь! — взывал Тиули-Кос от страха, что может потерять такие деньги.

— Я дам ей лекарство, которое избавит ее от всяких мук, — ответил врач.

— Да-да, дай ей лекарство, — причитал старик Тиули.

Радостно поспешил Мустафа за своим сонным напитком и, отдав его черному рабу, показал, сколько принимать, а сам пошел к Тиули и объявил, что ему нужно собрать у моря кое-какие целебные травы, после чего пустился наутек из замка. Невдалеке, у моря, он сбросил свою мантию и бороду, швырнул их в воду, а сам спрятался в кустах и, дождавшись ночи, прокрался к усыпальнице при замке Тиули.

Не прошло и часа после ухода Мустафы, как Тиули принесли прискорбную весть, что его невольница Фатма при смерти. Он послал людей к морю за врачом, но его посланцы вскоре вернулись одни и рассказали, что бедный врач упал в море и утонул, его черная мантия плавает по морю и то тут, то там из волн показывается его великоленная борода. Когда Тиули убедился, что спасения нет, он стал проклинать себя и весь мир, рвать свою

бороду и биться головой об стенку. Но гнев его был бессилен, и Фатьма испустила дух на руках у других женщин. Когда Тиули принесли весть о ее смерти, он приказал спешно изготовить гроб, ибо не терпел в доме мертвецов, и велел снести труп в усыпальницу. Носильщики отнесли гроб, поспешно сбросили на землю и убежали — им почудилось, будто из других гробов раздаются стоны и вздохи.

Мустафа, укрывшийся за гробами и оттуда обративший в бегство носильщиков, вышел из своего убежища и зажег лампу, которую предусмотрительно захватил с собой. Затем он вынул склянку, содержащую средство для пробуждения, и приподнял крышку гроба Фатьмы. Но какой ужас обуял его, когда при свете лампы обнаружились совсем незнакомые черты. В гробу лежала не моя сестра и не Зораида, а какая-то чужая женщина. Он долго не мог оправиться от нового удара судьбы, но под конец сострадание пересилило гнев. Он открыл склянку и влил лекарство в рог незнакомки. Она вздохнула, открыла глаза и, казалось, долго не могла понять, где она. Наконец она вспомнила все происшедшее, встала из гроба и упала к ногам Мустафы.

— Как мне благодарить тебя, добрая душа, — воскликнула она, — за то, что ты освободил меня из ужасного плена!

Мустафа прервал ее излияния вопросом: как случилось, что спасена она, а не его сестра Фатьма? Та с удивлением посмотрела на него.

— Только теперь мне понятно мое спасение, которое сперва было для меня загадкой, — ответила она. — Знай же, что меня в замке Тиули называли Фатьмой и свою записку и спасительный напиток ты вручил мне.

Брат мой попросил спасенную сообщить ему что-либо о его сестре и Зораиде и узнал, что обе они находятся в замке, но, по обычаю Тиули, им даны другие имена: их теперь зовут Мирза и Нурмагаль.

Когда Фатьма, спасенная невольница, увидела, что мой брат так угнетен происшедшим недоразумением, она принялась утешать его и пообещала открыть средство, как снова попытаться спасти тех двух девушек. Ободренный ее словами, Мустафа вновь воспрянул духом; он попросил ее указать ему это средство, и она заговорила:

— Хотя я только пять месяцев в неволе у Тиули, однако с самого начала я стала думать о спасении, но одной мне оно было

не под силу. Во внутреннем дворе замка ты, вероятно, заметил фонтан, вода в котором бьет из десяти труб, — этот фонтан привлек мое внимание. Я помню, в доме моего отца был точно такой же фонтан, и вода в него притекала по широкому водопроводу. Чтобы узнать, построен ли этот фонтан точно так же, я один раз в присутствии Тиули похвалила красоту фонтана и спросила, кто его строил. «Я сам построил его, — отвечал он, — и то, что ты видишь снаружи, сущие пустяки; вода подведена к нему из ручья по меньшей мере за тысячу шагов отсюда, и течет она по сводчатому водопроводу, вышиной в человеческий рост, и все это я придумал сам». После того как я это услышала, я не раз мечтала хоть на минуту обрести силу мужчины, чтобы поднять один из камней сбоку фонтана, — тогда бы я убежала на свободу. Я тебе покажу, откуда идет водопровод, через него ты можешь ночью пробраться в замок и освободить их. Но тебе нужно иметь с собой самое меньшее еще двух человек, чтобы одолеть рабов, которые ночью охраняют сераль.

Так говорила она, а брат мой Мустафа, хотя уже дважды обманутый в своих надеждах, еще раз собрался с духом и понадеялся с помощью Аллаха осуществить план невольницы. Он дал ей слово позаботиться о ее возвращении на родину, если она поможет ему пробраться в замок. Но еще одна мысль тревожила его: где ему взять двух или трех верных помощников? Тут он вспомнил про кинжал Орбазана и про обещание, данное тем, прийти ему на помощь, когда он будет в ней нуждаться. Он поспешил с Фатьмой из склепа, чтобы отыскать Орбазана.

В том же городе, где он превратился в лекаря, он на последние деньги купил себе коня, а Фатьму поселил у одной бедной женщины в предместье; сам же отправился в ту долину, где впервые встретил Орбазана, и через три дня добрался туда. Скоро нашел он те же шатры и неожиданно предстал перед Орбазаном, который дружески его приветствовал. Мустафа рассказал о своих неудавшихся попытках, причем суровый Орбазан не мог в некоторых местах удержаться от смеха, особенно когда представил себе врача Хакаманкабудибабу. Но, узнав о предательстве карлика, он сильно разгневался и поклялся собственноручно повесить его, где бы тот ему ни попался. Вслед за тем он пообещал не мешкая снарядиться на помощь моему брату, при условии, что тот сперва отдохнет с дороги. Поэтому Мустафа провел еще одну

ночь в шатре Орбазана; но едва забрезжила заря, как они двинулись в путь, причем Орбазана сопровождали трое его самых храбрых, хорошо вооруженных людей на лихих конях. Они скакали во всю прыть и спустя два дня прибыли в тот городок, где Мустафа оставил спасенную Фатьму. Затем они отправились вместе с ней к леску, откуда недалеко виден замок Тиули, там они расположились в ожидании ночи. Как только стемнело, Фатьма провела их к ручью, откуда начинался водопровод. Отыскав его, они оставили Фатьму и одного из слуг с лошадьми, а сами начали спускаться; но, прежде чем они спустились, Фатьма еще раз повторила им все подробно, а именно — что через фонтан они проникнут во внутренний двор замка. Там, справа и слева, по углам, находятся две башни; за шестой дверью, считая от правой башни, помещаются Фатьма и Зораида под охраной двух черных рабов. Захватив оружие и ломы, Мустафа, Орбазан и двое других спустились в водопровод; хотя они оказались по пояс в воде, однако это не помешало им храбро продвигаться вперед. Спустя полчаса они достигли самого фонтана и немедленно пустили в ход ломы. Стена была толстая и крепкая, но соединенным усилиям четырех человек она долго противостоять не могла, и скоро они проломили отверстие, достаточное для того, чтобы свободно пролезть в него. Орбазан пролез первым и помог остальным. Очутившись во дворе, они принялись в поисках указанной им двери разглядывать ту сторону замка, что была прямо перед ними. Но столкнуться, которая же это из дверей, они никак не могли, ибо, если они считали от правой башни к левой, им попадалась замурованная дверь, и они не знали, пропускала ли ее Фатьма или считала тоже. Но Орбазан не стал долго колебаться. «Мой добрый меч откроет мне любую дверь!» — воскликнул он и подошел к шестой двери, остальные последовали за ним. Открыв дверь, они увидели шестерых черных рабов, спавших на полу; они собрались уже потихоньку уйти, ибо поняли, что попали не туда, куда нужно, как вдруг в углу приподнялась какая-то фигура и хорошо знакомым голосом стала звать на помощь. То был карлик из шатра Орбазана. Но не успели черные рабы опомниться, как Орбазан ринулся к карлику и, разорвав свой пояс надвое, заткнул ему рот и связал за спиной руки, потом принялся за рабов; некоторых из них Мустафа и двое других уже успели связать — Орбазан помог справиться с остальными. Рабам приставили кинжал к груди

и стали их допрашивать, где Нурмагаль и Мирза, и те сознались, что они в соседнем покое. Мустафа бросился туда и увидел Фатьму и Зораиду, которых разбудил шум. Они поспешно собрали свои украшения и одежды и последовали за Мустафой; оба разбойника предложили между тем Орбазану награть всего, что попадется, но Орбазан запретил им это, присовокупив: «Пусть никто не посмеет сказать про Орбазана, будто он ночью проникает в дома, чтобы красть золото».

Мустафа и спасенные девушки быстро скользнули в водопровод, куда за ними обещал вскоре последовать и Орбазан. Когда те скрылись в водопроводе, Орбазан и один из разбойников взяли карлика и вывели во двор; там они набросили ему на шею шелковый шнур, захваченный ими для этой цели, и повесили его на самой верхушке фонтана. Покарав таким образом предательство негодяя, они в свою очередь спустились в водопровод и последовали за Мустафой. Со слезами на глазах благодарили обе девушки своего великодушного избавителя Орбазана; но он торопил их бежать, полагая, что Тиули-Кос разошлет погоню во все стороны. Тронутые до глубины души, Мустафа и спасенные девушки распрощались на завтра с Орбазаном; и правда — они не забудут его никогда. А Фатьма, освобожденная невольница, отправилась переодетой в Бальсору, чтобы оттуда морем добраться к себе на родину.

После краткого и приятного путешествия прибыли мои близкие на родину. Нашего престарелого отца едва не убила радость свидания; на следующий день после их возвращения он устроил большое празднество, в котором принимал участие весь город. Брата моего заставили рассказать перед целым собранием родственников и друзей о его приключениях, и все единогласно хвалили и его, и благородного разбойника.

Когда же мой брат закончил рассказ, встал отец и подвел к нему Зораиду.

— Итак, — произнес он торжественным голосом, — я снимаю проклятие с твоей головы! Возьми эту девушку как награду, которую ты заслужил своим неутомимым рвением. Прими также мое родительское благословение, и пусть в нашем городе никогда не будет недостатка в людях, равных тебе по уму, усердию и братской преданности!

Караван достиг конца пустыни, и путешественники радостно приветствовали зеленые луга и густолиственные деревья, приятного лицезрения коих они были лишены столько дней. Караван-сарай, который они избрали себе для ночлега, был расположен в прекрасной долине, и хотя удобств и прохлады он сулил немного, но вся компания была веселее и благодушнее, чем когда-либо, ибо сознание, что опасности и трудности, которые влечет за собой путешествие через пустыню, счастливо миновали их, раскрыло все сердца и настроило умы на веселье и забавы. Младший из купцов, весельчак Мулей, протанцевал комический танец, сопровождая его песенкой, которые вызвали улыбку даже у сумрачного грека Цалевкоса. Но мало того что Мулей развлекал своих спутников танцами и песнями, напоследок он преподнес им еще историю, которую обещал раньше, и, отдохнув от пляски, начал рассказ о Маленьком Муке.

РАССКАЗ О МАЛЕНЬКОМ МУКЕ

В родном моем городе Никее жил-был человек по прозвищу Маленький Мук. Хотя я был тогда совсем ребенком, однако помню его очень хорошо, в особенности потому, что однажды отец мой избил меня из-за него до полусмерти. Дело в том, что в те времена Маленький Мук был уже старичок, ростом же не больше трех-четырех футов. Притом сложен он был весьма странно: на туловище его, маленьком и хрупком, сидела голова размером куда объемистее, чем у других людей. Жил он совсем один в большом доме и даже стряпал себе сам, на улицу показывался всего раз в месяц, и в городе никто бы не знал, жив он или умер, если бы в обеденное время из трубы его дома не валил дым; правда, по вечерам он нередко прогуливался по крыше, а с улицы казалось, будто по крыше катается одна его огромная голова. Мы с товарищами были злые мальчишки, готовые всякого высмеять и поддразнить, потому для нас каждый раз бывало праздником, когда Маленький Мук выходил из дому. В определенный день мы толпились перед его домом и поджидали, пока он выйдет; когда же растворялась дверь и сперва показывалась большая голова в еще большем тюрбане, а затем и все тельце, облаченное в потрепанный халатик, пышные шаровары и широкий пояс, за которым

торчал длинный кинжал — такой длинный, что неизвестно было, кинжал ли прицеплен был к Муку или Мук к кинжалу, — так вот, когда он показывался, навстречу ему раздавались веселые возгласы, мы подбрасывали в воздух шапки и откалывали вокруг него бешеный пляс. Маленький Мук в ответ спокойно кивал нам и медленным шагом направлялся вдоль по улице, при этом он шаркал ногами, ибо туфли на нем были такие длинные и широкие, каких я больше не видывал. Мы, мальчишки, бежали следом, крича без устали: «Маленький Мук, Маленький Мук!» Кроме того, мы сочинили забавные стишки, которые пели в его честь. Вот эти стишки:

Крошка Мук, крошка Мук,
Сам ты мал, а дом — утес;
В месяц раз ты кажешь нос.
Ты хороший карлик-крошка,
Голова крупна немножко,
Обернись-ка на наш стук
И поймай нас, крошка Мук.

Так мы развлекались частенько, и, к стыду своему, должен признаться, что я озорничал пуще всех: дергал его за халатик, а как-то раз наступил ему сзади на огромные туфли, так что он упал. Это меня рассмешило, но охоты смеяться как не бывало, когда я увидел, что Маленький Мук направляется к нашему дому. Он вошел туда и пробыл там некоторое время. Я спрятался за дверь и видел, как Мук выходил в сопровождении моего отца, который почтительно поддерживал его и у двери распрощался с ним, отвесив множество поклонов. Мне было очень не по себе, и я долго не решался выбраться из своего укромого уголка, но под конец голод, который казался мне страшнее побоев, выгнал меня наружу, и я, смиренно склонив голову, предстал перед отцом.

— Я слышал, что ты издевался над добрейшим Муком? — начал он очень строгим тоном. — Я расскажу тебе историю этого самого Мука, и ты наверняка перестанешь дразнить его, но до и после ты получишь обычную порцию.

Обычная порция — это были двадцать пять ударов, которые он всегда отсчитывал точно. Итак, он взял свой длинный чубук, отвернул янтарный мунштук и отделал меня сильнее, чем всегда.

Когда все двадцать пять были отсчитаны сполна, он приказал мне слушать внимательно и принялся рассказывать о Маленьком Муке.

Отец Маленького Мука, которого зовут по-настоящему Мук-ра, был у нас в Никее человеком почтенным, хоть и бедным. Он жил почти так же замкнуто, как нынче его сын. Сына этого он недолюбливал, стыдясь его малого роста, и не дал ему никакого образования. На шестнадцатом году Маленький Мук был все еще резвым ребенком, и отец, человек положительный, вечно корил его за то, что он давно вышел из младенческого возраста, а между тем глуп и дурашлив, как дитя.

Однажды старик упал, сильно расшибся и умер, оставив Маленького Мука в нищете и невежестве. Жестокосердая родня, которой покойный задолжал больше, чем мог заплатить, выгнала бедняжку из дома, посоветовав ему идти искать счастья по свету. Маленький Мук отвечал, что он уже собрался в путь, и попросил только отдать ему одежду отца, что и было исполнено. Но одежда его отца, человека плотного и рослого, не пришлась ему впору. Однако Мук, недолго думая, подрезал, что было длинно, и нарядился в отцовское платье. Но он, как видно, забыл, что следует урезать и в ширину, и вот откуда получился его необычайный наряд, в котором он щеголяет и поныне: большой тюрбан, широкий пояс, пышные шаровары, синий халат; все это — наследство отца, которое он носит с тех самых пор. Заткнув за пояс дамасский кинжал отца и взяв посошок, он пустился в путь.

Бодро шагал он целый день — ведь отправился-то он искать счастья; заметив блестящий на солнце черепок, он, должно быть, подобрал его в надежде, что тот превратится в алмаз; увидев вдали купол мечети, сияющий, точно зарево, увидев озеро, сверкающее, словно зеркало, он радостно спешил туда, ибо думал, что попал в волшебную страну. Но, увы! Те миражи исчезали вблизи, а усталость и голодное бурчание в животе тотчас напоминали ему, что он все еще в стране смертных. Так шел он два дня, терзаясь голодом и горем, и уже отчаивался найти счастье; злаки служили ему единственной пищей, голая земля — постелью. Наутро третьего дня он увидел с холма большой город. Ярko сиял полумесяц на его кровлях, пестрые флаги реяли над домами и словно манили к себе Маленького Мука. Он замер в изумлении, оглядывая город и всю местность. «Да, там крошка Мук найдет свое

счастье! — сказал он про себя и даже подпрыгнул, невзирая на усталость. — Там или нигде». Он собрался с силами и зашагал к городу. Но хотя расстояние казалось совсем небольшим, добрался он туда лишь к полудню, ибо маленькие ножки его отказывались служить и ему не раз приходилось присаживаться в тени пальмы и отдыхать. Наконец он очутился у городских ворот. Он одернул на себе халатик, красивей повязал тюрбан, расправил пояс еще шире и еще больше вкось засунул за него кинжал, затем смахнул пыль с туфель, взялся за посошок и храбро миновал ворота.

Он прошел уже несколько улиц, но нигде не растворилась дверь, ниоткуда не крикнули, как он ожидал: «Маленький Мук, войди сюда, поешь, попей и отдохни».

Только он загляделся с тоской на один большой красивый дом, как там растворилось окно, из него выглянула старушонка и закричала нараспев:

Сюда, сюда!
Поспела всем еда,
Стол давно уже накрыт,
Кто придет, тот будет сыт.
Соседи, все сюда,
Поспела вам еда!

Двери дома раскрылись, и Мук увидел, как туда вбежало множество собак и кошек. Он стоял, не зная, принять ли ему тоже приглашение, но затем собрался с духом и вошел в дом. Впереди шли две кошечки, и он решил следовать за ними, потому что они, наверное, лучше его знали дорогу на кухню.

Когда Мук поднялся по лестнице, ему навстречу попала та старушка, что выглядывала в окно. Она сердито посмотрела на него и спросила, чего ему нужно.

— Ты ведь всех звала к себе поесть, — отвечал Маленький Мук, — а я очень голоден, вот я и решил тоже прийти.

Старуха расхохоталась и сказала:

— Откуда ты взялся, чудак? Весь город знает, что я готовлю только для своих милых кошечек, а иногда приглашаю им для компании соседских животных, как ты сам видел.

Маленький Мук рассказал старушке, как туго ему пришлось после смерти отца, и попросил ее позволить ему разок пообедать

с ее кошками. Старуха, смягчившись от его чистосердечного рассказа, разрешила ему побывать у нее и обильно накормила и напоила его. Когда он насытился и подкрепился, старуха внимательно оглядела его и затем молвила:

— Маленький Мук, оставайся у меня в услужении, работать тебе придется мало, а жить будешь хорошо.

Маленькому Муку пришлось по вкусу кошачья похлебка, а потому он согласился и стал слугой госпожи Агавци. Работа у него была нетрудная, но странная. Госпожа Агавци держала двух котов и четырех кошек — Маленькому Муку приходилось каждое утро расчесывать и умащать им шерсть драгоценными притираниями; когда старуха уходила из дому, он ублажал кошек во время еды, подставляя им мисочки, а на ночь укладывал их на шелковые подушки и покрывал бархатными одеялами. Кроме того, в доме водилось несколько собачек, за которыми ему тоже веле-но было ходить, правда с ними не так нянчились, как с кошками, которые были для госпожи Агавци все равно что родные дети. Здесь Мук вел такую же замкнутую жизнь, как и в отцовском доме, потому что, кроме старухи, по целым дням видел одних кошек да собак.

Некоторое время Муку жилось отлично: у него всегда было вдоволь еды и не много работы, и старуха, казалось, была довольна им; но мало-помалу кошки разбаловались: когда старуха уходила, они как бешеные метались по комнатам, опрокидывали все и били дорогую посуду, попадавшуюся им на пути. Но, заслышав шаги старухи по лестнице, они забивались к себе в постельки и как ни в чем не бывало виляли ей навстречу хвостами. Находя свои комнаты в беспорядке, старуха злилась и сваливала все на Мука; и как он ни оправдывался, она больше верила невинному виду своих кошечек, чем речам слуги.

Маленький Мук был очень опечален, что здесь ему не удалось найти свое счастье, и задумал бросить службу у госпожи Агавци. Но, помня, по первому своему путешествию, как трудно приходится без денег, он решил каким-нибудь способом добыть свое жалованье, которое хозяйка ему все обещала, но ни разу не заплатила. В доме госпожи Агавци имелась комната, которая всегда была под замком и куда он ни разу не заглядывал, но часто он слышал, как старуха возится там, и дорого бы дал, чтобы узнать, что она там хранит. Когда он задумался, как добыть денег на до-

рогу, ему пришло в голову, что в той комнате хранятся сокровища старухи; но дверь всегда была на запоре, и ему никак не удавалось добраться до сокровищ.

Как-то утром, когда госпожа Агавци вышла из дому, одна из собачонок, для которой старуха была сущей мачехой и которая привязалась к Муку за ласковое обращение, дернула его за складку шаровар, как будто показывая ему, чтобы он следовал за ней. Мук, охотно игравший с собаками, пошел за ней следом, и — что вы думаете? — собачонка привела его в спальню госпожи Агавци, прямо к дверце, которой он до сих пор не замечал. Дверь была полуоткрыта. Собачка вошла туда, Мук следом — и какова же была его радость, когда он увидел, что находится в комнате, куда стремился так давно! Он стал шарить в поисках денег, но ничего не нашел. Вся комната была полна старой одежды и сосудов причудливой формы. Один из этих сосудов особенно привлек его внимание: он был из граненого хрусталя с прекрасным рисунком. Мук взял его и принялся вертеть во все стороны; но — о ужас! — он не заметил, что там была крышка, которая держалась очень слабо: крышка упала и разбилась вдребезги.

Маленький Мук оцепенел от страха — теперь его судьба решалась сама собой, теперь ему приходилось бежать, иначе старуха забьет его до смерти. Он мигом решил, но на прощание поглядел еще раз, не пригодится ли что-нибудь из добра госпожи Агавци ему в дорогу; тут на глаза ему попала пара огромных туфель; правда, они не были красивы, но его старые уже не выдержали бы путешествия, а кроме того, эти привлекали его своей величиной; ведь когда он их наденет, все увидят, что он уже давно вышел из пеленок. Итак, он поспешно скинул свои шлепанцы и влез в новые; ему показалось, что палочка с красиво вырезанной львиной головой зря пропадает в углу, он захватил и ее и поспешил вон из комнаты. Быстро сбегал он к себе в каморку, накинуд халатик, нахлобучил отцовский тюрбан, заткнул за пояс кинжал и со всех ног бросился прочь из дома и из города. Он убегал все дальше от города, боясь гнева старухи, пока совсем не изнемог. Так быстро он не ходил никогда в жизни, мало того, он как будто не мог остановиться, словно какая-то незримая сила гнала его. Наконец он заметил, что с туфлями дело обстоит нечисто: они мчались все вперед и увлекали за собой его. Он всячески пытался остановиться, но тщетно. Тогда он в отчаянии закричал самому

себе, как кричат лошадям: «Тпру, стой, тпру!» И туфли остановились, а Мук без сил свалился наземь.

Он был в восторге от туфель; значит, он все-таки приобрел за свою службу нечто, с чем ему легче будет искать по свету счастья. Несмотря на радость, он уснул от утомления, ибо тельце Маленького Мука, которому приходилось носить такую тяжелую голову, было не из выносливых. Во сне ему явилась собачка, которая помогла ему добыть туфли в доме госпожи Агавци, и повела такую речь: «Милый Мук, ты еще не научился обращаться с туфлями; знай, что, надев их и трижды перевернувшись на каблуке, ты полетишь куда пожелаешь, а палочка поможет тебе находить клады, ибо там, где зарыто золото, она будет стучать оземь трижды, где серебро — дважды». Вот что увидел во сне Маленький Мук; проснувшись, он припомнил чудесный сон и решил сделать опыт. Он надел туфли, поднял одну ногу и принялся вертеться на каблуке; но кто пробовал проделать подобный фокус три раза подряд в непомерно больших туфлях, тот не удивится, что Маленькому Муку это удалось не сразу, особенно если принять в расчет, что тяжелая голова перевешивала его то на одну, то на другую сторону.

Бедняжка несколько раз больно стучался носом об землю, но мужественно продолжал попытки, пока наконец не добился своего. Колесом завертелся он на каблуке, пожелал очутиться в ближайшем большом городе, и глядь — туфли поднялись на воздух, вихрем помчались сквозь облака, и не успел Маленький Мук прийти в себя, как оказался на большой базарной площади, где было разбито множество палаток и сновало бесчисленное количество людей. Он побродил в толпе, но потом решил, что благоразумнее направиться в одну из уединенных улиц, ибо на базаре ему то и дело кто-нибудь наступал на туфли, так что он едва не падал, либо он сам толкал кого-нибудь своим торчащим кинжалом и еле увертывался от побоев.

Маленький Мук призадумался всерьез, как бы ему заработать немножко денег; у него была, правда, палочка, указывающая клады, но как сразу найти место, где зарыто золото или серебро? На худой конец, он мог бы показываться за деньги, но тут гордость мешала ему. И вдруг он вспомнил о проворстве своих ног. «Быть может, туфли мои помогут мне прокормиться», — подумал он и порешил наняться в скороходы. Но ведь такая служба, наверное,

лучше всего оплачивается у короля, а потому он отправился разыскивать дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила его, чего ему здесь надобно. Когда он ответил, что ищет службы, его послали к надсмотрщику над рабами. Он изложил тому свою просьбу устроить его королевским гонцом. Надсмотрщик смерил его взглядом с головы до пят и произнес: «Как это ты задумал стать королевским скороходом, когда ножонки у тебя не больше пяди? Убирайся поживее, мне недосуг балагурить с каждым дураком». Но Маленький Мук принялся клясться, что он не шутит и готов поспорить с любым скороходом. Надсмотрщик нашел, что такое предложение позабавит хоть кого; он велел Муку приготовиться до вечера к состязанию, отвел его на кухню и распорядился, чтобы его как следует накормили и напоили; сам же отправился к королю и рассказал ему о маленьком человечке и его бахвальстве. Король был по природе весельчак, поэтому ему очень понравилось, что надсмотрщик для потехи оставил Маленького Мука; он приказал так устроить все на большом лугу за королевским замком, чтобы двору удобно было следить за бегом, а о карлике велел иметь особое попечение. Своим принцам и принцессам король рассказал, какое развлечение ждет их вечером; те же рассказали об этом своим слугам, и, когда наступил вечер, нетерпеливое ожидание стало всеобщим — все, кого носили ноги, устремились на луг, где были устроены помосты, откуда двор мог следить за бегом хвастливого карлика.

Когда король с сыновьями и дочерьми расположился на помосте, Маленький Мук выступил на середину луга и отвесил знатному обществу грациознейший поклон. Веселые возгласы встретили малыша — такого уродца никто еще не видывал. Тельце с огромной головой, халатик и пышные шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножонки в больших туфлях — право же, при виде такой комичной фигурки нельзя было сдерживать смех. Но хохот не смутил Маленького Мука. Он приосанился, опершись на палочку, и ждал противника. По настоянию самого Мука надсмотрщик над рабами выбрал лучшего скорохода; тот выступил тоже, подошел к малышу, и оба стали ждать знака. Тогда принцесса Амарца, как было условлено, махнула покрывалом, и точно две стрелы, пущенные в одну цель, помчались бегуны по лугу.

Поначалу противник Мука был заметно впереди, но малыш устремился за ним на своих туфлях-самоходах, нагнал его, опе-

редил и давно уже достиг цели, когда тот подбегал, еле переводя дух. Зрители застыли на миг от изумления и неожиданности, но, когда король первый захлопал в ладоши, толпа разразилась восторженными криками: «Да здравствует Маленький Мук, победитель в состязании!»

Маленького Мука подвели к помосту, он бросился в ноги королю со словами:

— Великий государь, я показал тебе сейчас лишь скромный образчик своего искусства; соблаговоли повелеть, чтобы меня приняли в число твоих гонцов.

На это король возразил ему:

— Нет, ты будешь состоять гонцом лично при моей особе, милый Мук, жалованья ты будешь получать сто золотых в год, и есть ты будешь за одним столом с первыми моими слугами.

Тут Мук решил, что нашел наконец долгожданное счастье, обрадовался и возликовал в душе. Король оказывал ему особую милость, посылая через него самые срочные тайные поручения, которые он исполнял с величайшей старательностью и непостижимой быстротой.

Но прочие слуги короля не питали к нему расположения; они не могли перенести того, что ничтожный карлик, только и умевший, что быстро бегать, занял первое место в милостях государя. Они затевали против него всяческие козни, дабы погубить его, но все было бессильно против неограниченного доверия, которое питал король к своему тайному обер-лейб-курьеру (ибо таких чинов он достиг в короткий срок).

Мук, от которого не укрылись все эти хитросплетения, помышлял не о мести — он был слишком добр для того, — нет, он думал о средствах заслужить благодарность и любовь своих врагов. Тут он вспомнил о своей палочке, о которой удача заставила его позабыть. Если ему удастся найти клад, решил он, вся эта челядь сразу станет благосклоннее к нему. Ему не раз приходилось слышать, что отец нынешнего короля зарыл многие из своих сокровищ, когда на страну его напал враг; по слухам, он умер, не успев открыть свою тайну сыну. Отныне Мук всегда брал с собой палочку в надежде, что ему случится пройти теми местами, где зарыты деньги покойного короля. Как-то вечером он случайно забрел в отдаленную часть дворцового парка, где редко бывал до того, и вдруг почувствовал, что палочка дрогнула у него в руке и трижды стукнула оземь. Он сразу смекнул, что это значит.

Он вытащил из-за пояса кинжал, сделал зарубки на ближних деревьях и поспешил назад во дворец; там он добыл себе лопату и подождал ночи, чтобы приступить к делу.

Добраться до клада оказалось труднее, чем он думал. Руки у него были слабые, а лопата большая и тяжелая; за два часа он вырыл яму не более двух футов в глубину. Наконец он наткнулся на что-то твердое, зазвеневшее, как железо. Он стал рыть еще усерднее и вскоре докопался до большой железной крышки; он влез в яму посмотреть, что было под крышкой, и в самом деле обнаружил горшок, полный золотых монет. Но у него не хватило силенок поднять горшок, и потому он набрал в шаровары и за пояс сколько мог донести монет, наполнил также халатик и, тщательно прикрыв оставшееся, взвалил халатик себе на спину. Но не будь на нем его туфель, он ни за что бы не сдвинулся с места — так оттягивало ему плечи золото. Однако ему все же удалось незаметно пробраться к себе в комнату и спрятать золото под подушками дивана.

Оказавшись владельцем таких богатств, Маленький Мук решил, что отныне все пойдет по-новому и что теперь многие его враги из числа придворных станут его рьяными защитниками и покровителями. Из этого одного ясно, что добряк Мук не получил тщательного воспитания, иначе бы он не мог вообразить, будто деньгами приобретаются истинные друзья. Ах! Отчего он тогда не надел своих туфель и не улетучился, прихватив халатик, наполненный золотом!

Золото, которое Мук раздавал теперь пригоршнями, не замедлило пробудить зависть остальных придворных. Главный повар Аули сказал: «Он фальшивомонетчик»; надсмотрщик над рабами Ахмет сказал: «Он выклянчил золото у короля»; казначей Архаз же, злейший его враг, сам время от времени запускавший руку в королевскую казну, сказал напрямик: «Он его украл». Они столковались, как вернее повести дело, и вот однажды кравчий Корхуз предстал пред королевские очи с печальным и унылым видом. Он всячески старался показать свою печаль; под конец король в самом деле осведомился у него, что с ним.

— Увы! — отвечал он. — Я опечален тем, что утратил милость своего повелителя.

— Что ты ерунду городишь, голубчик Корхуз, — возразил ему король, — с каких пор солнце моей милости отвортилось от тебя?

Кравчий отвечал, что обер-лейб-курьера он осыпает золотом, а своим верным и бедным слугам не дает ничего.

Короля очень удивило такое известие; он выслушал рассказ о щедротах Маленького Мука; попутно заговорщики без труда внушили ему подозрение, что Мук каким-то образом похитил деньги из королевской сокровищницы. Особенно приятен был такой оборот дела казначею, который вообще не любил отчитываться. Тогда король приказал следить за каждым шагом Маленького Мука и постараться захватить его с поличным. И когда в ночь после этого злополучного дня Маленький Мук, чрезмерной щедростью истощивший свои запасы, взял лопату и прокрался в дворцовый парк, чтобы добыть новые средства из своего потайного хранилища, за ним, на расстоянии, следовала стража под начальством главного повара Аули и казначея Архаза, и в ту минуту, когда он собирался переложить золото из горшка в халатик, они набросились на него, связали и повели к королю. Король был уже не в духе, оттого что его разбудили; он весьма немилостиво принял своего злосчастного тайного обер-лейб-курьера и тотчас приступил к расследованию. Горшок был окончательно вырыт из земли и вместе с лопатой и халатиком, набитым золотом, принесен к ногам короля. Казначей показал, что он с помощью стражи накрыл Мука, как раз когда тот зарывал в землю горшок с золотом. Тогда король обратился с вопросом к обвиняемому, правда ли это и откуда у него взялось золото, которое он зарывал.

Маленький Мук, в полном сознании своей невинности, показал, что горшок он нашел в саду и что он откапывал его, а не закапывал.

Все присутствующие встретили такое оправдание смехом; король же, крайне разгневанный мнимой лживостью карлика, закричал:

— Ты еще смеешь, негодяй, так глупо и подло обманывать своего короля после того, как ты же обокрал его? Казначей Архаз! Я повелеваю тебе сказать, признаешь ли ты это количество золота равным тому, какого недостает в моей казне?

И казначей отвечал, что для него сомнений нет, в королевской казне с некоторых пор недостает даже еще больше, и он готов присягнуть, что именно это и есть краденое золото.

Тогда король повелел заковать Маленького Мука в цепи и отвести в башню, а золото отдал казначею, чтобы тот отнес его на-

зад в казну. Радуюсь счастливому исходу дела, отправился казначей восвояси и там принялся пересчитывать блестящие монеты; но злодей скрыл, что на дне горшка лежала записка, гласившая: «Враг заполонил мою страну, а посему я укрываю сюда часть своих сокровищ. Кто найдет их и не вручит без промедления моему сыну, на голову того да падет проклятие его государя. Король Сади».

У себя в темнице Маленький Мук предавался грустным размышлениям; он знал, что хищение королевского имущества карается смертью, и все-таки не хотел открыть королю тайну волшебной палочки. ибо справедливо опасался, что у него отберут и ее, и туфли в придачу. Туфли, к несчастью, тоже не могли выручить его, ведь он был цепями прикован к стене, и как ни бился, а все ему не удавалось повернуться на каблук. Но после того как ему на другой день объявили смертный приговор, он решил, что все же лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с ней: он попросил, чтобы король выслушал его с глазу на глаз, и открыл ему свою тайну. Сперва король не поверил его признанию, но Маленький Мук посулил проделать опыт, если король обещает сохранить ему жизнь. Король дал ему в том слово и велел без ведома Мука зарыть в землю немного золота, а затем приказал ему взять палочку и искать. Тот мигом нашел золото, ибо палочка явственно трижды стукнула о землю. Тут король смекнул, что казначей обманул его, и, по обычаю восточных стран, послал тому шелковый шнурок, дабы он сам удавился. А Маленькому Муку король объявил:

— Правда, я обещал сохранить тебе жизнь, но мне сдается, что ты знаешь не только тайну палочки; а посему ты останешься в вечном заточении, если не откроешь секрета своей быстротходности.

С Маленького Мука было довольно и одной ночи в башне, а потому он признался, что все его искусство скрыто в туфлях, но утаил от короля, как с ними обращаться. Король сам влез в туфли, желая проделать опыт, и, точно полоумный, заметался по саду; временами он пытался передохнуть, но не знал, как остановить туфли, а Маленький Мук из злорадства не помог ему, пока тот не добегался до обморока.

Король, придя в себя, рвал и метал на Маленького Мука, из-за которого ему пришлось бегать до бесчувствия.

— Я дал слово даровать тебе жизнь и свободу, но, если в течение двух суток ты не будешь за пределами моей страны, я велю тебя вздернуть. — А туфли и палочку он велел отнести к себе в сокровищницу.

Беднее прежнего, побрел Маленький Мук прочь, кляня свою глупость, внушившую ему, будто он может стать персоной при дворе. Страна, из которой его изгоняли, к счастью, была невелика, и уже спустя восемь часов он очутился на ее рубеже, хотя идти без привычных его туфель было несладко.

Очутившись за пределами той страны, он свернул с большой дороги, чтобы углубиться в лесную глушь и жить в полном одиночестве, ибо люди опостытели ему. В чаще леса набрел он на местечко, которое показалось ему пригодным для намеченной им цели. Светлый ручей, осененный большими смоковницами, и мягкая мурава манили его к себе; тут опустил он на землю, решив не принимать пищи и ждать смерти. Печальные думы о смерти усыпили его, а когда он проснулся, мучимый голодом, то рассудил, что голодная смерть — дело опасное, и принялся искать, не найдется ли чего-нибудь поесть.

Чудесные спелые фиги висели на дереве, под которым он уснул; он взобрался наверх, сорвал несколько штук, полакомился ими и отправился к ручью утолить жажду. Но каков был его ужас, когда он увидел в воде собственное отражение, украшенное длинными ушами и мясистым длинным носом! В смятении схватился он руками за уши, и в самом деле — они оказались длиной с пол-локтя.

— Я заслужил ослиные уши, — вскричал он, — за то, что, как осел, растоптал свое счастье!

Он принялся бродить по лесу, а когда снова проголодался, ему еще раз пришлось прибегнуть к фигам, ибо больше ничего съедобного на деревьях не нашлось. Поглощая вторую порцию фиг, он надумал запрягать уши под тюрбан, чтобы не казаться таким смешным, и вдруг почувствовал, что уши у него уменьшились. Мигом бросился он к ручью, чтобы убедиться в этом, и в самом деле — уши стали прежними, исчез и безобразный длинный нос. Тут он сообразил, как это произошло: от плодов первой смоковницы у него выросли длинные уши и уродливый нос, поев плодов второй, он избавился от напасти; с радостью понял он, что милосердная судьба снова дает ему в руки средство стать

счастливым. Сорвав с каждого из деревьев столько плодов, сколько мог донести, он отправился в ту страну, которую недавно покинул. В первом же городишке он переоделся в другое платье, так что стал неузнаваем, а затем отправился дальше к тому городу, где жил король, и вскоре прибыл туда.

Время года было такое, когда спелые плоды еще довольно редки, и потому Маленький Мук уселся у ворот дворца, помня по прежним временам, что главный повар является сюда закупать редкостные лакомства для королевского стола. Не успел Мук расположиться, как увидел, что главный повар идет через двор к воротам. Он оглядел товары разносчиков, собравшихся у ворот дворца, и вдруг взгляд его упал на корзиночку Мука.

— Ого! Лакомое блюдо, — сказал он, — его величеству оно, уж конечно, придется по вкусу: сколько хочешь за всю корзинку?

Маленький Мук назначил невысокую цену, и торг состоялся. Главный повар отдал корзинку одному из рабов и пошел дальше, а Маленький Мук поспешил улизнуть, боясь, как бы его не поймали и не наказали за продажу плодов, если беда постигнет уши и носы королевского двора.

Во время трапезы король был в превосходном расположении духа и не раз принимался хвалить главного повара за вкусный стол и за усердие, с которым тот всегда старается раздобыть изысканные яства, а главный повар, помня, какой лакомый кусочек имеется у него в запасе, ухмылялся умильно и лишь кратко изрекал: «Конец — делу венец» или «Это цветочки, а ягодки впереди», — так что принцессы сгорали от любопытства, чем он их еще попотчует. Когда же были поданы великолепные, соблазнительные фиги, у всех присутствующих вырвалось восторженное «Ах!».

— Какие спелые! Какие аппетитные! — вскричал король. — Ты прямо молодчина, главный повар, ты заслужил нашу высочайшую милость.

Сказав это, король, весьма бережливый в отношении подобных лакомств, собственноручно оделил фигами присутствующих. Принцы и принцессы получили по две штуки, придворные дамы, визири и аги по одной, остальные король придвинул к себе и стал их уплетать с величайшим удовольствием.

— Господи, какой у тебя странный вид, папа! — вскричала вдруг принцесса Амарца.

Все обратили к королю удивленные взоры; по обоим сторонам головы у него торчали огромные уши, длинный нос свешивался до самого подбородка; тогда присутствующие стали с изумлением и ужасом оглядывать друг друга — у всех головы оказались, в большей или меньшей степени, украшенными тем же странным убором.

Легко вообразить себе смятение двора! Тотчас были разосланы гонцы за всеми врачами города; те явились толпой, прописали пилюли и микстуры, но уши и носы остались, какими были. Одному из принцев сделали операцию, но уши отросли снова.

Вся история достигла убежища, куда укрылся Мук; он понял, что настала пора действовать. На вырученные от продажи фиг денги он заранее запасся одеждой, в которой мог выдать себя за ученого; длинная борода из козьей шерсти дополняла маскарад. Захватив мешочек с фигами, он направился во дворец, назвался чужеземным лекарем и предложил свою помощь. Вначале к нему отнеслись весьма недоверчиво, но, когда Маленький Мук накормил фигой одного из принцев и тем возвратил его ушам и носу прежние размеры, все наперебой устремились за исцелением к чужеземному лекарю. Но король молча взял его за руку и повел к себе в опочивальню; там он отпер дверцу, ведущую в сокровищницу, и кивком позвал Мука.

— Вот все мои сокровища, — произнес король, — ты получишь все, чего бы ни пожелал, если избавишь меня от этой позорной напасти.

Слаще всякой музыки прозвучали эти слова в ушах Маленького Мука; он еще с порога увидел свои туфли, а рядом с ними лежала и палочка. Он принялся бродить по комнате, словно дивясь на сокровища короля, но когда дошел до своих туфель, то поспешно скользнул в них, схватил палочку, сорвал с себя накладную бороду и предстал перед изумленным королем в образе старого знакомого, бедного изгнанника Мука.

— Вероломный король, — заговорил он, — ты платишь неблагодарностью за верную службу, да будет тебе заслуженной карой уродство, которым ты поражен. Я оставляю тебе длинные уши, дабы они изо дня в день напоминали тебе о Маленьком Муке.

Сказав так, он стремительно перевернулся на каблуке, пожелал очутиться где-нибудь подальше, и не успел король позвать на помощь, как Маленький Мук исчез. С тех пор Маленький Мук живет здесь в полном достатке, но совсем одиноко, ибо он пре-

зирает людей. Житейский опыт сделал его мудрецом, который, невзирая на несколько странную наружность, больше заслуживает уважения, нежели насмешки.

Вот что рассказал мне отец. Я выразил искреннее сожаление о том, что был груб со славным человеком, после чего получил от отца вторую половину назначенного мне наказания. Я в свою очередь поведал товарищам о чудесных приключениях карлика, и мы все так полюбили его, что никто и не думал больше насмехаться над ним. Даже наоборот, мы оказывали ему всяческое почтение до самой его смерти и кланялись ему так же низко, как муфтию или кади.

Путешественники решили остаться на день в этом караван-сарае, чтобы и люди, и животные запаслись силами на дальнейший путь.

Вчерашняя веселость сохранилась и сегодня, и они не устали предаваться всяческому забавам. Но после трапезы они обратились к пятому из купцов, Али Сиза, требуя, чтобы он, по примеру других, исполнил свою обязанность и рассказал какую-нибудь историю. Он возразил, что жизнь его бедна интересными событиями и ему нечего почерпнуть из нее, а посему он и расскажет им нечто иное, а именно сказку о мнимом принце.

СКАЗКА О МНИМОМ ПРИНЦЕ

Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан, и учился он своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан искусно владеет иглой, наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу, и несправедливо было бы назвать его лентяем, но какой-то был в нем изъян: то он часами шил не отрываясь, так что игла накалялась у него в руке и начинала дымиться нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. А в другой раз, и, к сожалению, это случалось чаще, он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль, и вид у него был такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него, не иначе как: «Лабакан опять напустил на себя знатный вид!»

По пятницам же, когда люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам, Лабакан, в красивом наряде, кото-

рый он приобрел ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно гордой поступью прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему: «Мир тебе!» или «Как поживаешь, друг Лабакан?» — он милостиво махал рукой или в крайнем случае важно кивал головой. Если тогда хозяин шутя говорил ему: «В тебе, Лабакан, погиб принц», — он радовался и отвечал: «Вы тоже это заметили?» или «Я сам давно так думаю!».

Так скромный портновский подмастерье Лабакан вел себя долгое время, но хозяин терпел его дурость, ибо в общем он был человек хороший и работник искусный. Но вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки, и хозяин дал ее Лабакану, ибо тот обычно выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяин и подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лабакана обратно в мастерскую, где висела одежда государева брата. Долго стоял он в раздумье перед ней, любуясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение ее примерить, и глядь — она была словно по нему сшита. «Ну, чем я не принц? — вопрошал он себя, шагая взад и вперед по комнате. — Разве сам хозяин не говорил, что я рожден быть принцем?» Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и царственные повадки; он не на шутку вообразил себя самым подлинным принцем и в качестве такового решил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди, по глупости своей, не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденное достоинство. Великолепная одежда словно была ниспослана ему доброй феей, поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и вышел под покровом темной ночи из ворот Александрии.

Повсюду на своем пути новый принц возбуждал всеобщее удивление, ибо великолепная одежда и строгая, величавая осанка совершенно не подходили для пешехода. Когда его об этом спрашивали, он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины. Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил по дешевке старую клячу, которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием и кротостью, никогда не вынуждая

казаться искусным наездником и тем попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был силен.

Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своем Мурфе — так назвал он старую клячу, — к нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе — ведь дорога в беседе всегда кажется короче. Всадник, веселый юноша, был красив собой и приятен в обхождении. Он завязал с Лабаканом разговор о том о сем, и вскоре выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Омаром и что он племянник несчастного каирского паши Эльфи-бея и путешествует, дабы выполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре. Лабакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что происхождения он высокого и путешествует ради собственного удовольствия.

Молодые люди пришли друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и, к своему удивлению, услышал следующее: Эльфи-бей, каирский паша, воспитывал Омара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. Но вот когда на Эльфи-бея напал неприятель и он, после трех неудачных битв, смертельно раненный, вынужден был бежать, он открыл своему питомцу, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который, из страха перед предсказаниями своих звездочетов, удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда ему исполнится двадцать два года.

Эльфи-бей не назвал имени его отца, а только строго наказал ему: в четвертый день будущего месяца Рамадана, в день, когда ему исполнится двадцать два года, явиться к знаменитой колонне Эль-Зеруйя, в четырех днях езды на восток от Александрии; там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфи-беем кинжал, сказав: «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят: «Хвала Пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними, и они приведут его к отцу.

Портновский подмастерье Лабакан был очень удивлен этим рассказом; отныне он стал смотреть на принца Омара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба даровала Омару еще и звание государева сына, хотя он уже считался племянником могущественного паши, меж тем как его, обладавшего всем, что от-

личает принца, она, словно в насмешку, наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем. Он сравнивал себя с принцем и скрепя сердце признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое, приветливое обхождение — словом, все внешние достоинства, способные подкупить каждого. Но, даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как он, Лабакан, может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц.

Подобные размышления преследовали Лабакана целый день, с ними он и уснул на очередном привале; когда же он утром пробудился и взгляд его упал на спящего подле него Омара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить об уготованном ему счастье, у него зародилась мысль хитростью или силой добиться того, в чем ему отказала неблагосклонная судьба; кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был заткнут за пояс спящего. Лабакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь владельца. Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья; он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца; и, когда Омар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, вероломный спутник успел опередить его уже на много миль.

Ограбление принца свершилось как раз в первый день священного месяца Рамадана, так что Лабакану оставалось еще четыре дня, чтобы в назначенный срок явиться к колонне Эль-Зеруйя, хорошо ему известной. Хотя до местности, где находилась колонна, было теперь никак не более двух дней пути, он все-таки поспешил туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит.

К концу второго дня Лабакан издали различил колонну Эль-Зеруйя. Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии двух-трех часов пути. При виде ее сердце Лабакана забилось сильнее; хотя в последние два дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собрался играть, однако нечистая совесть вселяла в него некоторое смущение; но мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его, и в конце концов он уверенно направился к цели.

Местность вокруг колонны Эль-Зеруйя была необитаема и пустынна, и новому принцу пришлось бы туго с пропитанием,

если бы он не запасся едой на несколько дней. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами, возле своей лошади.

Назавтра, около полудня, он увидел, что вверх по долине к колонне Эль-Зеруйя движется целая процессия на лошадях и верблюдах. Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна, и все расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привал караваны богатых пашей или шейхов. Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы им уже сегодня их будущего повелителя; однако он обуздал свое нетерпение выступить в роли принца, решив ждать до следующего утра, когда его смелые вождения будут удовлетворены.

Восходящее солнце засияло над самым торжественным днем в жизни счастливец-портного и разбудило его к новой высокой доле государева сына взамен известного прозябания.

Правда, когда он взнуздывал коня, собираясь ехать к колонне, ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка; правда, ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына — однако жребий был брошен, что сделано, того не изменишь, а сомнение нашептывало ему, что с виду он достаточно величав и смело может явиться пред очи могущественного государя в качестве его сына. Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом, и в четверть часа достиг подножия холма. Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику, в изобилии росшему на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Омара и стал взбираться на холм; у подножия холма шестеро мужчин стояли вокруг важного старца царственной осанки; великолепный парчовый кафтан, опоясанный белой кашемировой шалью, белый тюрбан, осыпанный драгоценными камнями, — все свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца.

Лабакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал:

— Я тот, кого вы ищете.

— Хвала Пророку, сохранившему тебя! — отвечал старик со слезами радости. — Обними твоего старого отца, мой возлюбленный сын Омар!

Чувствительный портной был очень растроган этими торжественными словами; он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом.

Но ему суждено было лишь один миг наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения; высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный; не то от усталости, не то из упрямства лошадь не хотела идти; ежеминутно спотыкаясь, она тащилась не то рысцой, не то шагом, а всадник подгонял ее и руками и ногами. Лабакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Омара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана, и он порешил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права.

Уже издали было видно, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу коня Мурфы, достиг подножия холма, спрыгнул с лошади и бросился вверх по холму.

— Остановитесь! — кричал он. — Кто бы вы ни были, остановитесь и не поддавайтесь обману подлого лгуна! Я Омар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем!

При таком неожиданном обороте дела лица всех, стоящих у колонны, выразили глубокое изумление, особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недоуменный взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил с деланым спокойствием:

— Милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский подмастерье из Александрии, по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева.

Слова эти привели принца в неистовство; кипя яростью, хотел он кинуться на Лабакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его, а государь сказал:

— Да, это верно, возлюбленный сын мой, бедняга действительно не в своем уме! Свяжите его и посадите на одного из наших дромадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному.

Ярость принца улеглась; рыдая, обратился он к государю:

— Сердце подсказывает мне, что вы мой отец; во имя матери моей, заклинаю вас выслушать меня!

— Нет, боже избави, — отвечал тот, — он опять начинает заговариваться; и откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор!

С этими словами он взял руку Лабакана и, опираясь на него, спустился с холма; оба они сели на прекрасных, покрытых дорогами попонами коней и двинулись во главе шествия по долине. А несчастному принцу скрутили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившие за каждым его движением.

Царственный старец был Саауд, султан Вехабитов. Он долго не имел детей; наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал; но звездочеты, у которых он спросил о грядущей судьбе мальчика, высказались так: «Вплоть до двадцать второго года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом». Посему, для вящего спокойствия, султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу Эльфи-бею и двадцать два томительных года ожидал лицезреть его.

Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением.

Когда они прибыли во владения султана, жители повсюду их встречали радостными кликами, ибо слух о прибытии принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко воссылали хвалу Богу и Его Пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Все это наполнило восторгом тщеславное сердце портного — тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Омар, который в немом отчаянии, по-прежнему связанный, следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося собственно к нему. Тысячи голосов без конца выкликали имя Омара, но на него, по праву носившего это имя, не обращал внимания никто — разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут так крепко связанным, и ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной, мучительно отдавался в ушах принца.

Наконец процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были еще пышнее, чем в дру-

гих городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца. Пол этой залы был покрыт гигантским ковром, стены украшены полотнищами голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями и повешенными на серебряных крюках.

Было уже темно, когда прибыла процессия, а потому в зале горело множество цветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцвечивали они глубину зала, где на троне восседала султанша. К трону, сплошь покрытому золотом и усыпанному крупными аметистами, вели четыре ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шелковый балдахин, а шейх Медины обвевал ее опахалом из павлиньих перьев.

Так ожидала султанша супруга и сына; она тоже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его, долгожданного, из тысячи. Вот послышался гул приближающегося шествия; звуки труб и барабанов сливались с ликованием толпы; вот отзвучал стук копыт промчавшихся по двору лошадей, все ближе и ближе раздавались шаги, наконец двери залы распахнулись, и сквозь ряды павших ниц слуг султан об руку с сыном поспешил к трону султанши.

— Вот, — промолвил он, — я привел тебе того, по ком ты так давно тоскуешь.

Султанша прервала его.

— Это не мой сын! — воскликнула она. — Это не те черты, которые во сне мне показал Пророк!

Едва только султан собрался упрекнуть ее в суеверии, как дверь распахнулась и в залу ворвался принц Омар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался неимоверным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона.

— Здесь я хочу умереть! Прикажи меня убить, жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такое поношение!

Слова эти озадачили всех; несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона.

— Остановитесь! — воскликнула она. — Это и есть настоящий! Это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце!

Стражники невольно отступили от Омара, однако султан, запыхав яростным гневом, приказал им связать безумца.

— Здесь решаю я, — произнес он повелительным тоном, — и здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и непреложных признаков. Вот это, — и он указал на Лабакана, — мой сын, ибо он принес мне условный знак моего друга Эльфи — кинжал.

— Он украл его! — закричал Омар. — Он во зло употребил мою простодушную доверчивость!

Но султан не внял голосу своего сына, ибо привык во всех делах упрямо следовать лишь собственному суждению; посему он приказал силой вытащить несчастного Омара из залы, сам же с Лабаканом проследовал к себе в покои, полный злобы на султаншу, свою супругу, с которой, однако, в мире и согласии прожил целых двадцать пять лет.

Султанша же была в жестоком горе от случившегося; она не сомневалась, что наглый обманщик овладел сердцем султана, ибо в вещих снах она видела своим сыном того несчастного.

Когда скорбь ее несколько улеглась, она стала обдумывать средство, как убедить супруга в его неправоте. Это было, конечно, нелегко, ибо у того, кто выдавал себя за ее сына, оказался условный знак — кинжал, и, как она узнала, он столько расспрашивал Омара о его прежней жизни, что играл свою роль не сбиваясь.

Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к колонне Эль-Зеруйя, чтобы подробно услышать обо всем, а затем решила обсудить это дело с самыми приближенными невольницами. Они придумывали то одно, то другое средство; наконец заговорила Мелихзала, умная старуха-черкешенка:

— Если я не ошибаюсь, высокочтимая повелительница, человек, вручивший кинжал, назвал Лабаканом, сумасшедшим портным, того, кого ты считаешь своим сыном?

— Да, верно, — ответила султанша, — но почему ты об этом спрашиваешь?

— А не думаете ли вы, что тот плут навязал ему свое собственное имя? — продолжала невольница. — Если это так, я знаю прекрасное средство уличить плута, но скажу его вам только на ухо.

Султанша подставила рабыне ухо, и та шепотом дала ей совет, видимо пришедшийся султанше по вкусу, потому что она собралась немедленно идти к султану.

Султанша была женщина умная, хорошо знавшая слабые стороны султана и умевшая пользоваться ими. Посему она сделала вид, что уступает ему и соглашается признать сына, но только спрашивает себе одно условие; султан, который сожалел уже о своей вспышке, согласился принять ее условие, и она заговорила:

— Мне хотелось бы испытать ловкость обоих. Другая, может быть, заставила бы их скакать верхом, фехтовать и метать копья, но это умеет всякий; а я хочу дать им такую задачу, для которой требуется сообразительность. Пусть каждый из них сошьет по кафтану и паре штанов, а мы посмотрим, кто сделает лучше.

Султан засмеялся и ответил:

— Нечего сказать, умную штуку вы придумали! Чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьет лучше кафтан? Нет, это не дело!

Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на ее условие, и султан, который всегда держал слово, наконец сдался, поклявшись, впрочем, что, какой бы прекрасный кафтан ни изготовил сумасшедший портной, он все-таки не признает его своим сыном.

Султан сам пошел к сыну и попросил его подчиниться причуде матери, которая непременно желает видеть кафтан, изготовленный собственноручно им. У простодушного Лабакана сердце взвырвало от радости. «Если только дело за этим, — подумал он, — то я уж сумею угодить султанше».

Во дворце отвели две комнаты: одну для принца, другую для портного, — там должны были они испытать свое искусство, причем каждому было выдано только потребное количество шелка, ножницы, игла и нитки.

Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын, но и у султанши тревожно билось сердце: удастся ли ее хитрость или нет? Для работы обоим был дан двухдневный срок. На третий день султан повелел призвать свою супругу, и, когда она явилась, он послал за кафтанами и их мастерами. Торжествуя, вошел Лабакан и развернул свое изделие перед изумленными взорами султана.

— Посмотри-ка, отец, — сказал он, — посмотри-ка, глубоководная матушка, разве это не образец всех кафтанов? Я побьюсь об заклад с самым искусным придворным мастером, что лучше ему не сшить.

Султанша усмехнулась и обратилась к Омару:

— А что ты смастерил, сын мой?

С негодованием бросил тот об пол шелк и ножницы.

— Меня учили обуздывать коня и владеть саблей, а копье мое попадает в цель за шестьдесят шагов, но портняжное ремесло мне неведомо, оно не подобало бы воспитаннику Эльфи-бея, повелителя Каира.

— О, ты истинный сын моего господина! — воскликнула султанша. — Ах! Дай мне обнять тебя, дай назвать тебя сыном! Простите, мой супруг и повелитель, — обратилась она затем к султану, — что я прибегла к этой хитрости. Разве вы не видите теперь, кто принц, а кто портной? Воистину, кафтан, изготовленный вашим сыном, великолепен, и мне бы очень хотелось узнать, у какого мастера он обучался.

Султан сидел погруженный в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на жену, то на Лабакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя.

— И этого доказательства недостаточно, — сказал султан, — однако, хвала Аллаху, я нашел средство узнать, обманут я или нет.

Он приказал оседлать своего самого быстрого коня, вскочил на него и поскакал к лесу, который начинался неподалеку от города. Там, по старому преданию, жила добрая фея по имени Адолзаида, которая часто и раньше в тяжелые минуты приходила своим советом на помощь многим государям его рода, — к ней и поспешил султан.

Посреди леса была полянка, окруженная высокими кедами. По преданию, там жила фея, и редко смертный отваживался проникнуть туда, ибо с давних пор страх перед тем местом передавался по наследству от отца к сыну.

Прибыв на то место, султан слез с коня, привязал его к дереву, стал посреди полянки и произнес громким голосом: «Если это правда, что ты в трудную минуту не отказывала моим предкам в добром совете, то не презри просьбы их внука и помоги мне в таком деле, где бессилен человеческий разум!»

Едва он произнес последние слова, как один из кедров раскрылся и оттуда вышла окутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии.

— Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Саауд! Намерения твои чисты, посему я не отрину твоей просьбы. Вот две шкатулки. Возьми их, и пусть те двое, что называют себя твоими сыновьями, сделают выбор; я знаю, что твой настоящий сын сделает выбор надлежащий. — Так сказала женщина под покрывалом и протянула султану две маленькие шкатулочки из слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугами; на крышках, которые султан тщетно пытался открыть, были надписи из вделанных в них алмазов.

На обратном пути султан ломал себе голову, что бы могло быть в шкатулочках, которые ему никакими силами не удавалось открыть, и надписи тоже не помогали разгадке, ибо на одной шкатулочке стояло: «Честь и слава», а на другой: «Счастье и богатство». Султан подумал про себя, что и для него самого выбор между этими двумя надписями оказался бы нелегок, ибо обе они одинаково заманчивы, обе одинаково соблазнительны.

Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей решение фен; она преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла ее душа, выберет шкатулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении.

Перед тронем султана были поставлены два стола; на них султан собственноручно водрузил обе шкатулки, затем поднялся на трон и подал знак одному из своих рабов открыть двери залы. Блестящая толпа пашей и эмиров страны, которых созвал султан, хлынула в залу сквозь раскрытые двери. Они расположились на великолепных подушках, разложенных вдоль стен.

Когда все уселись, султан вторично подал знак, и в залу ввели Лабакана; горделивой поступью прошел он по зале, пал ниц перед тронем и спросил:

— Что угодно моему отцу и господину?

Султан приподнялся на троне и заговорил:

— Сын мой, справедливость твоих притязаний на это имя подвергнута сомнению! В одной из этих шкатулочек содержится доказательство твоего высокого происхождения! Выбирай! Я не сомневаюсь, что ты выберешь верно!

Лабакан поднялся с колен и подошел к шкатулочкам; он долго обдумывал, какую взять, наконец сказал:

— Глубокочтимый отец мой, что может быть выше счастья называться твоим сыном; что благороднее, чем богатство твоего

благоволения? Я выбираю эту шкатулочку, на которой написано: «Счастье и богатство».

— Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал; а пока садись вот туда на подушки рядом с мединским пашой, — сказал султан и подал знак рабам.

Тогда ввели Омара; взгляд его был мрачен, лицо печально, и вид его возбуждал единодушное сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед троном и спросил, что повелевает султан.

Султан приказал ему выбрать одну из двух шкатулочек. Он поднялся и подошел к столу.

Внимательно прочитав обе надписи, он заявил:

— В последние дни я познал, сколь непрочно счастье и сколь преходяще богатство; но в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием — честью и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придется лишиться короны — все равно, жребий брошен: «Честь и слава», я выбираю вас!

Омар положил руку на выбранную им шкатулочку, но султан приказал ему остановиться; он подал знак Лабакану в свою очередь подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкатулочку.

Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Земзем в Мекке, омыл руки для молитвы, обернулся к востоку, пал ниц и стал молиться: «Бог отцов моих, Ты, столетиями сохранявший наш род чистым и незапятнанным, не допусти недостойного посрамить имя Аббасидов! Возьми под свою защиту моего истинного сына в этот час испытания!»

Султан встал с колен и снова взошел на трон; все присутствующие замерли в ожидании, не смеядохнуть, — было бы слышно, если бы по зале пробежал мышонок, такая царила напряженная тишина; стоящие позади вытягивали шеи, чтобы видеть шкатулочки.

Тогда султан изрек: «Откройте шкатулочки!» — и шкатулочки, которые раньше никакими силами нельзя было открыть, внезапно распахнулись сами собой.

В шкатулочке, выбранной Омаром, на бархатной подушке лежали золотая корона и скипетр, в шкатулочке же Лабакана — большая игла и моток ниток! Султан приказал обоим поднести

к нему шкатулочки. Он взял с подушечки маленькую корону — что за чудо! — пока он держал ее, она в его руках становилась все больше, пока не достигла размеров настоящей короны. Он возложил корону на голову своего сына Омара, преклонившего перед ним колени, поцеловал его в лоб и повелел ему сесть по правую свою руку.

Затем повернулся к Лабакану и сказал:

— Есть такая старая поговорка: знай сверчок свой шесток! И тебе, видимо, надо знать свою иглу. Хотя ты и не заслужил моей милости, но за тебя просил тот, кому я сегодня ни в чем не могу отказать. Посему я дарю тебе твою жалкую жизнь, но если хочешь внять моему совету, то поспеши покинуть мою страну!

Посрамленный, уничтоженный, бедный портновский подмастерье не мог ничего ответить. Он упал в ноги принцу, и слезы полились у него из глаз.

— Простите ли вы меня, принц? — спросил он.

— Верность другу, великодушие к врагу — вот чем славятся Аббасиды, — отвечал принц, поднимая его с пола. — Иди с миром!

— О, ты истинный сын мой! — воскликнул растроганный султан и склонился на грудь сына.

Эмиры и паши и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу новому царскому сыну. Под всеобщее ликование Лабакан потихоньку прокрался из залы со своей шкатулочкой под мышкой.

Он спустился в конюшню султана, оседлал свою клячу Мурфу и выехал из городских ворот, держа путь на Александрию. Вся его жизнь в роли принца показалась ему сном, и только чудесная коробочка, богато украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон.

Возвратившись в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина, слез на землю, привязал свою лошаденку к двери и вошел в мастерскую. Хозяин сразу не узнал его и церемонно спросил, чем может ему служить, но когда он ближе всмотрелся в посетителя и узнал своего старого знакомого Лабакана, то позвал своих подмастерьев и учеников, и все они яростно набросились на несчастного Лабакана, который не ожидал такого приема; они толкали и колотили его утюгами и аршинами, кололи иглами и пыряли острыми ножницами, пока он в изнеможении не опустился на кучу старой одежды.

Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду; напрасно клялся Лабакан, что он и воротился-то с целью возместить все, напрасно предлагал возмещение убытков в трехкратном размере — хозяин и подмастерья опять накинулись на него, еще сильнее исколотили и вышвырнули за дверь. Избитый и истерзанный, сел он на своего Мурфу и поплелся в каравансарай. Там он приклонил свою усталую, разбитую голову и стал размышлять о земной юдоли, о заслугах, столь часто непризнаваемых, и о ничтожности и непостоянстве всех благ мирских. Он уснул с намерением отказаться от высоких устремлений и стать честным ремесленником.

И на следующий день он остался при своем намерении, — должно быть, тяжелые кулаки хозяина и подмастерьев выбили из него всякие кичливые бредни.

Он продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл портняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибавив над домом вывеску: «Лабакан, портняжных дел мастер», он уселся, взял ту иглу и нитки, что оказались в шкатулочке, и принялся штопать кафтан, который так жестоко изодрал на нем хозяин. Кто-то отвлек его от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за удивительное зрелище представилось ему!

Игла усердно шила дальше, без всякой посторонней помощи, и делала такие тонкие искусные стежки, каких не делал и сам Лабакан в свои вдохновеннейшие минуты!

Поистине, самый малый дар доброй феи обладает великой ценностью! Но дар этот имел еще и другую ценность, вот какую: моток ниток никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла.

У Лабакана появилось много заказчиков, и скоро он прослыл по всей округе самым знаменитым портным; он кроил одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе стали шить у мастера Лабакана, ибо он работал прекрасно и брал очень дешево, и только одно смущало жителей Александрии, а именно — что он обходился без помощников и работал при закрытых дверях.

Итак, надпись на шкатулочке, сулившая счастье и богатство, оправдалась; счастье и богатство, хотя и в скромных пределах, сопровождали шаги простака-портного, а когда он слышал о славе

молодого султана Омара, которая была на устах у всех, когда он слышал, что этот храбрец стал любимцем и гордостью своего народа и грозой врагов, то прежний принц думал про себя: «А ведь лучше, что я остался портным, потому что честь и слава далеко не безопасны». Так жил Лабакан, довольный собой, уважаемый согражданами, и если игла за это время не потеряла своей силы, то она шьет и по сию пору вечной ниткой доброй феи Адолзаиды.

На восходе солнца караван снялся с места и вскоре достиг Биркет-эль-Гада, или Колодца Пилигримов, откуда до Каира оставалось всего три часа пути. Его прибытия поджидали, и купцы наши были очень обрадованы, увидев друзей, выехавших им навстречу из Каира. Они вступили в город через Бебельфальхские ворота, ибо считается добрым знаком при возвращении из Мекки вступать в город через те самые ворота, через которые вступил в него Пророк.

На базарной площади четверо турецких купцов распрощались с чужестранцем и греческим купцом Цалевкосом и отправились вместе с друзьями по домам. Цалевкос же указал чужестранцу хороший караван-сарай и пригласил его к себе отобедать. Чужестранец согласился, пообещав прийти, как только сменит одежду.

Грек позаботился о том, чтобы как можно лучше попотчевать чужестранца, к которому привязался за время дороги, и, когда все яства и напитки были поданы, сел, поджидая гостя.

Наконец по галерее, ведущей к его покоям, раздались медленные и тяжелые шаги. Он встал, чтобы по-дружески приветствовать гостя на пороге, но, отворив дверь, отпрянул в ужасе, ибо перед ним стоял прежний страшный человек в красном плаще. Он еще раз взглянул на него — сомнений быть не могло: та же величавая, повелительная осанка, та же маска, из которой на него сверкали темные глаза, и тот же затканый золотом красный плащ, столь памятные ему по самым тяжким часам его жизни.

Разноречивые чувства бушевали в груди Цалевкоса; он давно уже примирился с этим образом, который сохранил в памяти, и все простил ему, но вид его растравил старые раны — все долгие часы предсмертной тоски, вся скорбь, что отравила цвет его молодости, вихрем пронеслись перед его духовным взором.

— Что надобно тебе, страшный человек? — вскричал грек, меж тем как видение не двигалось с порога. — Поспешి прочь, пока я не проклял тебя!

— Цалевкос! — произнес из-под маски знакомый голос. — Так-то ты принимаешь своего гостя?

Говоривший снял маску, откинул плащ — то был Селим Барух, чужестранец.

Но Цалевкос не мог прийти в себя: его пугал чужестранец, в котором он так явственно увидел незнакомца с Ponte Vecchio, но привычное гостеприимство взяло верх; он жестом пригласил чужестранца к столу.

— Я читаю у тебя в мыслях, — заговорил тот, когда они уселись, — взгляд твой вопрошает меня; я мог бы смолчать и навеки скрыться с глаз твоих, но мне должно оправдаться перед тобой, и потому я решился явиться к тебе в прежнем своем облике, под страхом навлечь на себя твое проклятие. Ты как-то сказал мне: «Вера отцов повелевает мне возлюбить его, ибо он, конечно, несчастнее меня». Поверь, что это так, и выслушай мое оправдание.

Мне надо начать издалека, дабы ты мог до конца понять меня. Я появился на свет в Александрии, от родителей-христиан. Отец мой, младший сын старинного и славного французского рода, был консулом своей страны в Александрии. С десятилетнего возраста я воспитывался во Франции у одного из братьев моей матери и лишь через несколько лет после начала Революции вместе с дядей, не чувствовавшим себя в безопасности на родине, отправился искать пристанища за морем, у моих родителей. Упоная обрести покой, отнятый у нас восставшим французским народом, прибыли мы в отчий дом. Но увы! В родном моем доме не все было ладно. Внешние бури того беспокойного времени, правда, еще не докатились сюда, но тем неожиданнее поразило несчастье внутренний мир нашей семьи. Брат мой, подающий большие надежды юноша, первый секретарь моего отца, незадолго до того женился на дочери одного флорентийского вельможи, жившего по соседству с нами; за два дня до нашего приезда молодая жена внезапно исчезла, и, несмотря на все старания, ни нашей семье, ни ее отцу не удалось напасть на ее след. Пришлось предположить наконец, что она во время прогулки забрела слишком далеко и попала в руки разбойников. Эта мысль была бы, пожалуй, отрадней моему несчастному брату, чем истина, не замедлившая обнаружиться. Изменница уехала за море с молодым неаполитанцем, которого встречала в доме своего отца. Брат мой, до крайности возмущенный ее поступком, приложил все усилия, чтобы привлечь к ответу преступницу, но тщетно: хлопоты его, наделав

много шуму в Неаполе и во Флоренции, лишь навлекли на нас еще большее несчастье. Флорентийский вельможа отправился к себе на родину, якобы затем, чтобы защитить права моего брата, на деле же — чтобы погубить нас. Он пресек во Флоренции все розыски, предпринятые братом, и всяческими кознями добился того, что отец мой и брат попали в немилость к своему правительству, были захвачены с помощью постыднейших уловок, отвезены во Францию и там обезглавлены. Несчастливая моя мать лишилась рассудка и только после десяти месяцев мучений нашла избавление в смерти, придя, однако, в полное сознание за несколько дней до кончины. Итак, я остался одинок в целом мире, но лишь *одна* мысль наполняла мне душу, одна мысль заставляла меня забывать даже скорбь: то было мощное пламя, что зажгла во мне мать в свой последний час.

В последние часы, как я уже говорил тебе, сознание к ней возвратилось, она позвала меня и спокойно говорила со мной о нашей участи и о своей кончине. Но потом она велела всем уйти из комнаты, с торжественным видом поднялась на своем убогом ложе и сказала, что я получу ее благословение, лишь поклявшись совершить то, что она завещает мне. Потрясенный словами умирающей матери, я дал священный обет сделать то, что она мне укажет. Тогда она стала поносить флорентийца и его дочь и, под страшной угрозой своего проклятия, приказала мне отомстить ему за нашу несчастную семью. Она испустила дух у меня на руках. Жажда мести давно таилась в моей душе; теперь она вспыхнула с огромной силой. Я собрал остатки отцовского наследства и поклялся либо отомстить, либо умереть.

Вскоре я приехал во Флоренцию и жил там, скрываясь от всех. Замыслам моим отчасти препятствовало то положение, которое занимали мои враги. Старик-флорентиец стал губернатором, а значит, располагал всеми средствами погубить меня при малейшем подозрении. Случай пришел мне на помощь. Однажды вечером мне на улице повстречался человек в хорошо знакомой ливрее. По неверной походке, по мрачному виду и по срывавшимся у него с уст вполголоса «*Santo sacramento*», «*Maledetto diavolo*»¹ я узнал слугу флорентийца, старика Пьетро, которого помнил еще по Александрии. Я не сомневался, что гнев его от-

¹ Итальянские ругательства, означающие: проклятие, проклятый черт. (Здесь и далее примеч. переводчиков.)

носится к хозяину, и решил воспользоваться его недовольством. Он был очень удивлен, увидав меня, выложил мне свои обиды на хозяина, которому, с тех пор как он стал губернатором, ничем не угодишь; и мое золото в сочетании с его гневом не замедлило привлечь его на мою сторону. Самое трудное было сделано. Я нашел человека, который за плату в любую минуту готов был открыть мне двери в дом врага, — теперь план мести стал быстро близиться к осуществлению. Жизнь старого флорентийца не могла, по моему разумению, окупить гибель моей семьи. Смерть самого дорогого для него существа — дочери его Бианки — вот что надлежало ему испытать. Ведь именно она так подло надругалась над моим братом, ведь именно она была главной виновницей наших бед. Весть, что Бианка как раз собирается вторично замуж, оказалась желанной для моего алчущего мести сердца — решено: она *должна* умереть. Но у меня самого рука не подымалась на убийство, от Пьетро я тоже не ждал решимости; поэтому мы стали подыскивать человека, который взялся бы за это дело. Я даже не пытался подкупить кого-нибудь из флорентийцев, ибо никто из них не пошел бы против губернатора. Тут Пьетро набрел на мысль, которую я и осуществил впоследствии, а в исполнители ее он предложил тебя, как врача и чужестранца. Дальнейшее тебе известно. Лишь щепетильная честность твоя и осторожность едва не разрушили моего замысла. Вот откуда приключение с плащом. Пьетро впустил нас во дворец губернатора и столь же незаметно вывел бы нас оттуда, если бы мы с ним не убежали, ужаснувшись зрелища, которое увидели в полуоткрытую дверь. Гонимый страхом и раскаянием, я пробежал шагов двести и в изнеможении опустился на ступени какой-то церкви. Там лишь я овладел собой, и первая моя мысль была о тебе и о твоей ужасной участи, если тебя застигнут там, в доме.

Я прокрался назад ко дворцу, но не нашел ни тебя, ни Пьетро, однако дверца была отворена, и я понадеялся, что ты воспользовался возможностью бегства. Но с наступлением дня страх преследования и непреодолимое раскаяние погнали меня прочь, за пределы Флоренции. Я поспешил в Рим. Вообрази мое потрясение, когда там через несколько дней стали повсюду рассказывать об этом событии, добавляя, что убийца, греческий врач, пойман. В томительной тревоге поспешил я назад во Флоренцию: если уж раньше месть моя казалась мне чрезмерной, то теперь я прокли-

нал ее, ибо считал, что жизнь твоя — слишком дорогая за нее цена. Я приехал в тот самый день, когда ты лишился руки. Не стану говорить о своих чувствах при виде того, как ты взошел на эшафот и мужественно претерпел страдание. Но когда кровь твоя хлынула потоком, во мне созрело решение скрасить остаток твоих дней. Что было потом, ты знаешь сам — мне остается досказать, зачем я совершил с тобою этот путь.

Мысль, что ты все еще не простил меня, тяжким гнетом лежала на мне, и вот я решился провести подле тебя несколько дней и наконец-то дать тебе отчет в том, чем я грешен перед тобой.

Молча выслушал грек своего гостя и, когда тот закончил, с кротким видом протянул ему руку.

— Я так и знал, что ты несчастней меня, ибо то жестокое деяние, подобно грозовой туче, навеки повисло над тобой. Прощаю тебя от души. Но дозвожь мне задать тебе вопрос: как ты очутился в таком облике среди пустыни? Чем занялся ты после того, как купил мне в Константинополе дом?

— Я возвратился в Александрию, — отвечал гость, — ненависть против всего рода человеческого бушевала у меня в груди — жгучая ненависть, в особенности против тех народов, которые именуются просвещенными. Поверь мне, в среде мусульман мне дышалось вольнее! Не успел я пробыть в Александрии нескольких месяцев, как соотечественники мои полонили ее.

Для меня они были только палачами моего отца и брата, поэтому я собрал нескольких единомышленников из знакомой молодежи, и мы примкнули к тем отважным мамелюкам, что не раз наводили страх на французское войско. Когда кампания закончилась, я не мог решиться приступить к мирным трудам. Вместе с кучкой друзей-единомышленников я вел беспокойную, бродячую, посвященную борьбе и охоте жизнь; мне хорошо живется с этими людьми, которые почитают меня как своего владыку, ведь мои азиаты — народ хоть и не такой просвещенный, как ваши европейцы, зато они чужды зависти и клеветы, тщеславия и себялюбия.

Цалевкос поблагодарил гостя за откровенность, однако не скрыл от него, что человеку его происхождения и образования более приличествовало бы жить и трудиться в христианских, европейских странах. Он взял руку гостя, прося последовать за ним и жить с ним до самой смерти.

Тот обратился к нему растроганный взор.

— Теперь я вижу, — сказал он, — что ты до конца простил мне и что ты любишь меня. Прими же мою глубочайшую признательность. — Он вскочил с места и выпрямился во весь рост перед греком, которого даже уstraшили воинственный вид, мрачно сверкающий взор и глухой таинственный голос чужестранца. — Твое приглашение очень лестно, — продолжал тот, — оно показалось бы заманчивым всякому другому — я же не могу принять его. Конь мой уже оседлан, слуги мои уже ждут меня; прощай, Цалевкос!

Эти чужие друг другу люди, которых столь странно свела судьба, обнялись на прощание.

— Как же мне назвать тебя? Как имя моего гостя, который навеки останется жить у меня в памяти? — спросил грек.

Чужестранец пылливо взглянул на него, еще раз пожал ему руку и произнес:

— Меня зовут повелителем пустыни. Я разбойник Орбазан.

АЛЬМАНАХ СКАЗОК
НА 1827 ГОД
ДЛЯ СЫНОВЕЙ
И ДОЧЕРЕЙ
ОБРАЗОВАННЫХ
СОСЛОВИЙ



АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ШЕЙХ И ЕГО НЕВОЛЬНИКИ

Станным человеком был александрийский шейх Али Бану. Когда утром он шел по улицам Александрии в дорогом кашемировом тюрбане, в праздничной одежде и богатом поясе, стоимостью в пятьдесят верблюдов; когда он выступал медленно и важно, нахмурив лоб, сдвинув брови, потупив глаза и каждые пять шагов задумчиво поглаживая свою длинную черную бороду; когда он шествовал так в мечеть, чтобы, как того требовал его сан, толковать правоверным Коран, — тогда встречные останавливались, глядели ему вслед и говорили друг другу: «Ведь какой красивый, осанистый человек». — «И богат, богат и знатен, — прибавлял другой, — очень богат: у него и замок у Стамбульской пристани, у него и поместья, и угодья, и много скота и рабов». — «Да, — замечал третий, — а тот татарин, которого недавно послал к нему из Стамбула сам повелитель правоверных — да благословит его Пророк! — говорил, что наш шейх в большом почете у рейс-эфенди, у капудан-паши — у всех, даже у самого султана». — «Да, — восклицал четвертый, — каждый его шаг благословен Небом! Он богат и знатен, но — вы знаете, что я имею в виду!» — «Да, да, — шептались в толпе, — что правда, то правда — у каждого свое горе; не желал бы я поменяться с ним долей; он богат и знатен, но, но...»

На самой красивой площади Александрии у Али Бану был великолепный дом. Перед домом раскинулась широкая терраса, выложенная мрамором, осененная пальмами. Вечером он часто сидел там и курил кальян. Двенадцать богато одетых невольников, стоя в почтительном отдалении, ловили его взгляд — одного был для него наготове бетель, другой держал зонтик, тре-

тий — золотые сосуды с вкусным шербетом, четвертый опахалом из павлиньих перьев отгонял мух от своего господина, певцы, с лютнями и флейтами, ждали, когда он пожелает усладить свой слух музыкой, а самый ученый из невольников приготовил свитки, дабы развлечь его чтением.

Но напрасно ждали они от него знака: ему не угодны были музыка и пение, ему не хотелось внимать изречениям и стихам мудрых поэтов былых времен, не хотелось отведать шербета, пожевать бетеля, — даже раб с опахалом из павлиньих перьев старался напрасно — господин не замечал, когда около него жужжала муха.

И часто прохожие останавливались и дивились на великолепие дома, на невольников в роскошных одеждах, на все окружавшие его приятности; но затем, когда они переводили взгляд на сидевшего под пальмами шейха, серьезного и хмурого, не отводившего глаз от голубоватого дымка кальяна, они покачивали головой и говорили: «Поистине, этот богатч — бедняк. Он, имущий, бедней неимущего, Пророк не дал ему разумения, дабы наслаждаться своим богатством». Так говорили прохожие, смеялись и шли своей дорогой.

Как-то вечером, когда шейх, окруженный всей земной роскошью, сидел, как обычно, в тени пальм на пороге своего дома и в одиночестве печально курил кальян, неподалеку собралось несколько юношей; они глядели на него и смеялись.

— Поистине шейх Али Бану глупец, — сказал один из них. — Мне бы его сокровища, я распорядился бы ими иначе. Что ни день, шло бы у меня веселье и роскошество. В обширных хоромах пировали бы друзья, и радость и смех оглашали бы эти унылые своды.

— Да, оно бы неплохо, — возразил другой, — да только с многочисленными друзьями, пожалуй, быстро проживешь все имение, будь оно хоть столь же несметно, как у султана, да благословит его Пророк. Довелось бы мне сидеть вечерком здесь под пальмами, на этой красивой террасе, я приказал бы рабам петь и играть, я позвал бы танцовщиков, и они бы плясали, и прыгали, и проделывали всякие замысловатые штуки. А я важно покуривал бы кальян, смаковал вкусный шербет и наслаждался всем, словно король Багдада.

— Шейх, — молвил третий юноша, бывший писцом, — шейх, как говорят, человек ученый и мудрый, да и правда, его толкова-

ние Корана свидетельствует о его начитанности и глубоком знании всех поэтов и мудрых писаний. Но разве жизнь, которую он ведет, подобает разумному мужу? Вот стоит невольник с целой охапкой свитков; я отдал бы свою праздничную одежду за возможность прочитать хоть один из них, ведь все они, конечно, большая редкость. А он! Он сидит и курит, а до книг ему и дела нет. Будь я шейхом Али Бану, невольник читал бы мне до хрипоты или до наступления ночи. Но и тогда он должен был бы мне читать, пока я не засну.

— Ишь ты! Нечего сказать, вы знаете, как устроить приятную жизнь, — засмеялся четвертый. — Есть и пить, петь и плясать, читать изречения и слушать стихи жалких поэтов! Нет, я бы устроил свою жизнь совершенно иначе. У него прекрасные кони и верблюды и куча денег. На его месте я пустился бы в путь и ехал бы, ехал до края света, до самой Московии, до франкской земли. Что-бы поглядеть на чудеса света, я не побоялся бы самой дальней дороги. Вот как бы я поступил, будь я на его месте.

— Юность — прекрасная пора, в этом возрасте все радует, — молвил невзрачный с виду старик, стоявший неподалеку и слышавший их речи. — Но позвольте мне сказать, что юность неразумна и болтает зря, сама того не понимая.

— Что вы хотите сказать, старичок? — с удивлением спросили юноши. — Уж не нас ли вы имеете в виду? Какое вам дело, порицаем мы образ жизни шейха или нет?

— Если один человек знает что-либо лучше другого, пусть он исправит его заблуждение, так повелел Пророк, — возразил старик. — Правда, Небо благословило шейха богатством, у него есть все, чего пожелает душа; но хмур и печален он не без причины. Вы полагаете, он всегда был таким? Нет, я видел его пятнадцать лет тому назад; тогда он был весел и бодр, как газель, жил радостно и наслаждался жизнью. В ту пору у него был сын, радость его очей, красивый и образованный; и всякий, кто его видел и слышал, завидовал шейху, владевшему таким сокровищем, — сыну шел всего десятый год, а учен он был, как другой и в восемнадцать вряд ли будет.

— И он умер? Бедный шейх! — воскликнул молодой писец.

— Для шейха было бы утешением узнать, что сын его вернулся в отчий дом, в обитель Пророка, где ему жилось бы лучше, чем здесь, в Александрии. Но то, что пережил он, гораздо хуже.

В те дни франки, как голодные волки, напали на нашу землю и начали с нами войну. Они покорили Александрию и отсюда совершали набеги все дальше и дальше вглубь страны и воевали с мамелюками. Шейх был умным человеком и умел с ними ладить. Но то ли они позарились на его богатство, то ли он помог своим единоверцам, точно не скажу, — словом, как-то они пришли к нему и обвинили его в том, что он тайно снабжает мамелюков оружием, лошадьми и провиантом. Как он ни доказывал свою невиновность, ничто не помогло; франки народ грубый и жестокосердый, они идут на все, когда дело касается денег. Итак, они забрали заложником его сына, по имени Кайрам. Шейх предложил за него много денег, но франки хотели вынудить шейха повысить выкуп и не отпустили его сына. Тут вдруг их паша, или как там его зовут, неожиданно отдал приказ готовиться к отплытию. В Александрии об этом никто не знал, и они уплыли в открытое море, а маленького Кайрама, сына Али Бану, они, верно, увезли с собой, так как с тех пор о нем ничего не слышно.

— Ах, несчастный отец, как покарал его Аллах! — единодушно воскликнули юноши и с сожалением посмотрели на шейха, который при всем окружающем его великолепии, грустный и одинокий, сидел под пальмами.

— Жена, которую он очень любил, умерла с горя. А он купил корабль, снарядил его и уговорил франкского лекаря, что живет там внизу у колодца, отправиться с ним в Франкистан на поиски пропавшего сына. Они сели на корабль и долго плыли по морю, пока наконец не прибыли в землю тех гяуров, тех неверных, что были в Александрии. Но там, говорят, как раз творилось что-то неладное. Франки свергли своего султана и пашей, и богатые и бедные рубили друг другу головы, и в стране не было порядка. Тщетно расспрашивали они во всех городах о мальчике Кайраме — никто не слышал о нем, и франкский лекарь посоветовал наконец шейху плыть обратно, не то, чего доброго, им самим не сносить головы.

Так и вернулись они домой, и с приезда по сей день шейх ведет все ту же жизнь, что сейчас, ибо он скорбит по сыну, и он прав. Разве, когда он ест и пьет, он не думает: «А мой сынок Кайрам, может быть, томится голодом и жаждой»? А когда он облачается в дорогие шали и праздничные одежды, как того требуют его сан и достоинство, разве он не думает: «А ему, верно, нечем прикрыть

наготу»? А когда его окружают певцы, плясуны и чтецы — его невольники, — разве он не думает: «А мой бедный сын, верно, сейчас пляшет или играет в угоду своему франкскому повелителю»? Но больше всего печалит его мысль, что вдали от отчизны, среди неверных, терпя их насмешки, его милый Кайрам позабудет веру отцов и им не придется обнять друг друга в райских садах! Вот потому-то он так милосерд к своим рабам и щедро оделяет нищих; он думает, что Аллах воздаст ему за это и смягчит сердца франков, повелителей его сына, и они будут ласковее к нему. И каждый раз, как наступает день, когда у него похитили сына, он отпускает на волю двенадцать рабов.

— Об этом я тоже слышал, — ответил писец. — Но каких только чудес не наговорят! О его сыне при этом не упоминали, зато, правда, рассказывают, будто шейх странный человек и особенно падок на сказки, будто каждый год он устраивает состязание между своими рабами и того, чей рассказ лучше, отпускает на волю.

— Не верьте людской молве, — сказал старик, — все так, как я говорю, я уж верно знаю; возможно, что в этот печальный день ему хочется приободриться и он велит рассказывать себе сказки; но отпускает он рабов в память сына. Однако свежее, мне пора. Салем алейкум, мир с вами, молодые люди, и в будущем судите получше о нашем добром шейхе.

Юноши поблагодарили старика за сведения, еще раз взглянули на скорбящего отца и пошли своей дорогой, повторяя: «Да, не хотелось бы мне быть на месте Али Бану».

Вскоре после того, как юноши разговаривали со стариком о шейхе Али Бану, случилось им проходить по той же улице в час утренней молитвы. Им вспомнился старик и его рассказ, и они пожалели шейха и взглянули на его дом. Но каково же было их удивление, когда они увидели, что весь дворец разубран на славу! На кровле, по которой прохаживались нарядные невольницы, развевались знамена и флаги, сени утопали в дорогах коврах, с широких ступеней спускались шелковые ткани, даже улицу устилало прекрасное тонкое сукно, на которое многие позарились бы для праздничной одежды или для покрывала.

— Ишь как переменился шейх за несколько дней! — сказал молодой писец. — Уж не хочет ли он задать пир? Уж не хочет ли он, чтоб потрудились для него певцы и танцовщики? Посмотрите

только на ковры! Пожалуй, ни у кого во всей Александрии не сыскать таких! А сукно-то какое на голой земле, просто даже жалко!

— Знаешь, что я думаю? — молвил другой. — Он, верно, ждет знатного гостя. Такие приготовления делаются по случаю приема повелителя могущественной страны или эфенди султана, когда они осчастливливают дом своим посещением. Кого-то ждут здесь сегодня?

— Смотри-ка, кто это там идет, — уж не наш ли старик? Он ведь все знает и, верно, нам все растолкует. Эй, старичок! Нельзя ли вас попросить на минутку сюда! — окликнули они его; старик заметил их знаки и подошел, признав в них тех юношей, с которыми беседовал несколько дней тому назад. Они обратили его внимание на приготовления в доме шейха и спросили, не знает ли он, какого знатного гостя там ожидают.

— Вы думаете, Али Бану задает сегодня веселый пир или знатный гость оказал честь его дому? Это не так, — сказал он, — но сегодня, как вы знаете, двенадцатый день месяца Рамадана, а в этот день увели в заложники его сына.

— Но, клянусь бородой Пророка, — воскликнул один из юношей, — все убрано так, словно здесь свадьба и пиршество, а ведь это для него памятный день скорби. Как это понять? Согласитесь, у шейха все-таки несколько помутился рассудок.

— Не судите ли вы по-прежнему слишком поспешно, мой молодой друг? — улыбаясь, спросил старик. — И на этот раз стрела у вас острая и хорошо отточенная тетива на луке натянута туго, и все же вы бьете далеко мимо цели. Знайте же — сегодня шейх ждет своего сына.

— Так он найден? — воскликнули юноши и обрадовались за отца.

— Нет, и, верно, еще долго не будет найден, но знайте: лет восемь-десять тому назад, когда шейх в скорби и печали справлял этот день по своему обычаю — отпускал рабов и кормил и поил нищих, — случилось ему послать пищу и питье одному дервишу, в изнеможении прилегшему в тени его дома. А дервиш этот был святым человеком, прорицателем и звездочетом. Подкрепившись от щедрот милостивого шейха, он приблизился к нему и сказал: «Мне известна причина твоего горя; ведь сегодня двенадцатое число месяца Рамадана, а в этот день ты лишился сына. Но утешься, день скорби превратится для тебя в день ликования, знай: в этот день вернется к тебе сын». Так сказал дервиш. Усомниться

в речах такого человека было бы грехом для мусульманина. Правда, скорбь Али не утихла, но все же каждый раз в этот день он ожидает возвращения сына и украшает дом, сени и лестницы так, словно тот может вернуться в любую минуту.

— Чудеса! — воскликнул писец. — А все-таки хотелось бы мне поглядеть на великолепное убранство и на шейха, как он грустит среди всего этого великолепия, но главное — хотелось бы мне послушать рассказы его невольников.

— Нет ничего легче, — ответил старик. — Надсмотрщик над его рабами с давних пор мне приятель и всегда в этот день устраивает мне местечко в зале, где, в толпе слуг и друзей шейха, один человек пройдет незамеченным. Я поговорю с ним, может быть, он впустит и вас. Вас ведь всего четверо; думаю, как-нибудь устроим; приходите в девятом часу сюда на площадь, и я передам вам его ответ.

Так говорил старик; юноши поблагодарили его и удалились, снедаемые любопытством посмотреть, как будет шейх справлять этот день.

К назначенному часу они пришли на площадь перед домом шейха и встретили старика, тот сказал, что надсмотрщик над рабами позволил провести их. Он пошел вперед, но не по богато устланным лестницам и не через главные ворота, а через боковую калиточку, которую тщательно запер за собой. Потом он повел их по разным галереям, и наконец они попали в большую залу. Здесь было полно народу: тут были и именитые мужи в богатых одеждах, и друзья шейха, пришедшие утешить его в его скорби, тут были и невольники разного возраста и разных народностей. И у всех на лицах была печаль, ибо они любили своего господина и скорбели вместе с ним. В конце залы на роскошном диване восседали самые знатные друзья Али, и невольники прислуживали им. Около них на полу сидел шейх: скорбя по сыну, он не хотел сидеть на праздничном ковре. Он подпер голову рукой и, казалось, мало внимал словам утешения, которые нашептывали ему друзья. Напротив него сидели несколько старых и молодых мужчин в невольничьей одежде. Старик поведал своим юным друзьям, что это рабы, которых сегодня отпускает на волю Али Бану. Среди них было и несколько франков, и старик обратил особое внимание юношей на одного из них, отличавшегося писаной красотой и еще очень молодого. Всего несколько дней тому назад шейх купил его у тунисского работорговца за большие деньги

и, однако, уже сегодня отпускал его на волю: он верил, что чем больше франков отправит он обратно на родину, тем скорее вызовет Пророк из неволи его сына.

После того как всем разнесли прохладительные напитки, шейх подал знак надсмотрщику над рабами. Тот поднялся, и в зале воцарилась глубокая тишина. Он стал перед невольниками, которых должны были отпустить на свободу, и громко произнес: «Слушайте, рабы, отпускаемые ныне на волю по милости моего господина Али Бану, александрийского шейха, пусть каждый, как полагается в этот день у него в доме, соблюдет обычай и что-нибудь расскажет».

Они пошептались между собой. Затем заговорил старик-невольник и повел свой рассказ.

КАРЛИК НОС

— Господин! Думаю, не правы те, кто считает, что времена Гарун аль-Рашида, владыки Багдада, времена фей и волшебников давно прошли, и утверждает, будто в рассказах об изгнаниях гениев и их повелителей, что можно услышать на городских базарах, нет правды. Да-да, и сегодня возможно повстречаться с феей, не так давно я сам был свидетелем одного происшествия, в котором явно были замешаны духи. Об этом я и хочу вам поведать.

В одном из крупных городов моей любимой отчизны Германии многие годы жил в спокойствии и мире скромный сапожник со своею женой. Целыми днями он сидел на углу улицы и латал поношенные башмаки и туфли и даже тачал новые, когда кто-нибудь доверял скромному мастеру эту работу; в таких случаях ему приходилось покупать кожу, потому как был он беден и не мог иметь запасов. Жена его торговала овощами и фруктами, которые выращивала в небольшом садике за городскими воротами. Люди охотно покупали у нее земные плоды, потому что она одевалась опрятно и чисто и умела показать свой товар с выгодной стороны.

У супружеской пары был красивый сын, высокий для своих двенадцати лет и стройный. Обычно он сидел подле матери на овощном рынке и охотно помогал поварихам и хозяйкам донести купленный у его матери товар до дому, после чего возвращался

с красивым цветком, мелкой монеткой или куском пирога, так как господам нравилось, что кухарки приводили с собой симпатичного парнишку, и они его щедро одаривали.

Однажды жена сапожника сидела по обыкновению на рынке, перед нею стояли корзины с капустой и другими овощами, разными травами и семенами, в маленьких корзиночках лежали ранние груши, яблоки и абрикосы. Маленький Якоб, так звали сына, звонким голосом зазывал покупателей: «Пожалуйте сюда, господа! Взгляните на отменную капусту, душистые приправы! Ранние груши, яблоки-скороспелки и абрикосы! Покупайте, господа, покупайте! У моей матушки низкие цены!»

Так выкрикивал мальчик. И тут на рынке появилась древняя старуха в лохмотьях. У нее было остренькое лицо, сморщенное от старости, красные глаза и острый нос крючком чуть ли не до самого подбородка. Она шла, опираясь на длинную клюку, скорее даже не шла, а ковыляла, хромя и спотыкаясь, как будто ноги ей отказывали и она могла в любую минуту шлепнуться длинным носом о мостовую.

Торговка овощами внимательно оглядела старуху. Уже шестнадцать лет она ежедневно сидела с товаром на рынке и ни разу не видела такую странную фигуру. Она невольно вздрогнула, когда старуха заковыляла к ней и остановилась у ее корзин.

— Вы ведь Ханна, торговка овощами? — спросила старуха неприятным каркающим голосом, тряся головой.

— Да, это я, — ответила жена сапожника. — Что вам угодно?

— Посмотрим, посмотрим, прежде всего траву, да-да, травку, есть ли у тебя то, что мне надобно, — ответила старуха, склонилась над корзинами и принялась в них рыться коричневыми уродливыми руками.

Длиннющими паучьими пальцами хватала она травы, подносила к длинному горбатому носу и обнюхивала со всех сторон. У жены сапожника сжималось сердце при виде того, как старуха ощупывает редкие травы, но она не осмеливалась сделать замечание, ведь выбор товара — святое право покупателя; кроме того, она испытывала какой-то непонятный страх перед этой женщиной. Перерыв всю корзину, та пробормотала:

— Дрянь, а не товар, ничего подходящего из того, что мне нужно, пятьдесят лет назад куда как лучше было. Теперь же сплошная дрянь!

Ее ругань возмутила маленького Якоба.

— Послушай, бессовестная старуха! — сердито крикнул он. — Сначала ты копаешься своими противными коричневыми пальцами в корзине, мнешь зелень, потом суешь пучки себе под длинный нос — кто это видел, уже их не купит, — а потом еще ругаешь наш прекрасный товар, обзываешь его дрянью, а ведь у нас закупает овощи повар самого герцога.

Старуха покосилась на храброго парнишку, противно хихикнула и мерзким голосом прохрипела:

— Ах, сыночек, сыночек! Значит, тебе нравится мой нос, мой красивый длинный нос? погоди, у тебя появится такой же и вытянется до подбородка.

Говоря эти слова, она уже рылась в другой корзине, в которой лежала капуста. Выбирала самые красивые белые кочаны, давила, жала их, так что они трескали, затем в беспорядке бросала обратно, приговаривая: «Скверный товар, не капуста, а дрянь!»

— Не трясись так противно головой! — испуганно вскричал мальчик. — Шея у тебя такая тоненькая, вроде капустной кочерыжки, того и гляди надломится, и твоя голова полетит прямо в корзину! Кто у нас тогда купит такой товар!

— О, тебе нравится тонкая шея? — усмехаясь, пробормотала старуха. — Так у тебя вовсе ее не будет, голова уйдет в плечи, чтобы не свалиться с жалкого тельца!

— Не болтайте всякого вздора парнишке, — проговорила наконец в сердцах жена сапожника, рассердившись на долгое осматривание и обнюхивание ее товара. — Если вам что-то надо, поторопитесь, иначе вы разгоните других покупателей.

— Ладно, будь по-твоему! — со злобой сверкнула глазами старуха. — Куплю у тебя эти шесть кочанов, но ты видишь, я хожу с палочкой и не могу носить тяжести, позволь сынишке отнести покупку до моего дома, я его отблагодарю.

Мальчику не хотелось с ней идти, и он заплакал, потому что испытывал страх перед отвратительной старухой, но мать строго приказала ему помочь, так как считала грехом взваливать на слабую старую женщину подобную тяжесть. Плача, он завязал отобранные кочаны в котомку и пошел по рынку за старухой. Передвигались они медленно, понадобилось добрых три четверти часа, чтобы дойти до отдаленной части города, где покупательница остановилась перед древней развалюхой. Тут она вынула старый ржавый крючок, ловко вставила его в крохотное отверстие, дверь

с громким треском растворилась. Как же удивился маленький Якоб, войдя в дом! Внутри все отличалось необыкновенной роскошью: стены и потолок были облицованы мрамором, мебель изготовлена из редкого черного эбенового дерева с инкрустацией из золота и граненых камней, пол из стекла был такой гладкий, что мальчик поскользнулся и упал.

Старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала в нее насвистывать. Тут же мигом по лестнице спустились морские свинки. Якоб подивился тому, что они ходят на задних лапках, что башмаки им заменяют ореховые скорлупки, что одеты они в одежду человеческую, а на головах носят шляпы по последней моде.

— Куда вы подевали мои туфли, несносные твари? — раскричалась старуха и швырнула в них клюкою, да так, что зверюшки с визгом подпрыгнули. — Долго мне еще ждать?

Морские свинки помчались наверх и вернулись с двумя скорлупками кокосового ореха, обшитыми внутри мягкой кожей, и ловко надели их старухе на ноги.

Хромота тут же исчезла. Старуха отбросила палку и быстро заскользила по стеклянному полу, таща за руку Якоба. Наконец остановилась в комнате, в которой было много мебели, хотя она и походила на кухню, несмотря на то что там стояли столы красного дерева и диваны, застланные роскошными коврами, более подходящими для гостиной.

— Присаживайся-ка, сынок, — почти ласково проговорила старуха, подталкивая его к уголку софы и задвигая столом, чтобы он не смог выбраться. — Садись, садись, тебе было тяжело, человечьи головы не такие уж легкие, да-да, совсем не легкие.

— Что это такое странное вы говорите, госпожа? — воскликнул мальчик. — Я и вправду устал, но нес-то кочаны капусты, вы их купили у моей матушки.

— Ну, ты ошибаешься, — рассмеялась женщина, развязала котомку и вынула за волосы человеческую голову.

Мальчик ошеломлен, от страха он не мог понять, что случилось, но сразу же подумал о матери: если прознают про человечесьи головы, то непременно обвинят во всем матушку.

— погоди немного, я тебя отблагодарю за старание, — пробормотала старуха, — потерпи, я сварю тебе сейчас такого супчика, что ты его на всю жизнь запомнишь.

Проговорив это, она снова свистнула. На ее зов сбегалось много морских свинок, одетых по-человечьи, с подвязанными кухонными фартуками, половниками и ножами, заткнутыми за пояс; за ними прискакали белочки в широких турецких шароварах, на головах — зеленые бархатные шапочки. Они ходили на задних лапках и, должно быть, были поварами, судя по тому, как быстро взбирались по стенам и спускались вниз со сковородками и горшками, с яйцами и маслом, пряностями и мукой и подносили все это к очагу. Там взад и вперед сновала старуха в своих туфлях из скорлупы кокосовых орехов, мальчик видел, что она старается сварить что-то отменное.

Огонь затрещал веселей, на сковородке что-то зашкворчало, кухню заполнил необыкновенно приятный запах. Старуха все еще бегала туда-сюда, белки и морские свинки носились вслед за ней. Каждый раз когда она проходила мимо очага, то непременно совала свой длинный нос в горшок. Наконец варево закипело и заклокотало, повалил пар, поднявшаяся пена брызнула на огонь. Тогда старуха сняла горшок, вылила содержимое в серебряную чашку и поставила ее перед Якобом.

— Так вот, сынок, — проговорила она, — отведай-ка супчика, и тогда получишь все, что тебе во мне понравилось! Кстати, можешь и сам стать искусным поваром, но вот травки, да-да, травки тебе нипочем не найти. Отчего ее не было в корзине у твоей матери?

Якоб не понимал, о чем она говорит, но усердно орудовал ложкой, суп ему очень понравился. Матушка тоже нередко варила лакомые кушанья, но ничего подобного он не едал. От супа исходил пленительный дух зелени и кореньев, он был кисло-сладким и необыкновенно наваристым. Пока мальчик доедал последние капли вкуснейшего угощения, морские свинки зажгли арабские благовония, от которых по комнате пошли голубоватые клубы дыма. Кольца приторных благовоний сгущались и сгущались, аромат курений усыплял мальчика. Когда он приходил в себя, ему хотелось сказать, что пора возвращаться к матери, пытался встать, но снова погружался в дурман, а под конец и вовсе заснул на диване у старухи.

Причудливые сны привиделись мальчику. Снилось ему, что старуха сняла с него одежду и обрядила в беличью шкурку. Теперь он мог прыгать и лазить почище белки, он познакомился

с другими белками и морскими свинками, народцем весьма ловким и учтивым, они вместе несли службу при старухе.

Сначала он исполнял обязанности чистильщика сапог, то есть должен был смазывать маслом и начищать до блеска кокосовые скорлупки, которые их госпожа носила вместо туфель. С этим делом он отлично справлялся, так как в отцовском доме не раз занимался подобной работой. Спустя год, снилось ему дальше, его допустили к более ответственному делу: вместе с белочками пришлось ловить солнечные пылинки, потом, когда они скапливались, просеивать их через тонкое сито. Хозяйка почитала солнечные пылинки нежнейшей материей на свете и потому, не имея больше зубов, приказывала печь из них для нее хлеб.

Еще через год его перевели в разряд слуг, собирающих питьевую воду. Не подумайте, что для этого закопали цистерну или поставили во дворе бочку, где скапливалась дождевая вода, все было гораздо сложнее — белки, а с ними и Якоб, собирали росу из роз, она-то и служила питьевой водой. А пила старуха непомерно, потому и водоносам приходилось туго.

Минул год, и его отправили выполнять работу по дому: главной заботой теперь стало содержать в чистоте полы, а так как они были стеклянными, то на них видно было даже дыхание. Приходилось натирать полы щеткой, скользить по ним взад-вперед для пушего блеска, привязав к ногам суконки.

На четвертом году он был наконец допущен к кухне. Это была почетная должность, к которой можно пробиться, лишь пройдя долгие испытания. Якоб из поваренков дослужился до старшего мастера-паштетника и приобрел колоссальный опыт в кулинарном деле, чему он сам в душе дивился, так как научился быстро и вкусно готовить самые изысканные блюда: паштеты, в состав которых входили двести ингредиентов, нежнейшие питательные бульоны и наваристые супы, приправленные зеленью и кореньями всех существующих на свете трав.

Так пролетели на службе у старухи семь лет. Как-то раз она собралась уходить, сняла свои кокосовые башмаки, взяла клюку и корзинку, а ему приказала ощипать курочку, начинить ее зеленью и, слегка подрумянив, зажарить к ее возвращению. Он проделал это по всем правилам кулинарного искусства: свернул курочке шею, ошпарил кипятком, ловко ощипал, поскоблил кожу, чтобы та стала нежной и гладкой, наконец выпотрошил, затем стал собирать зелень для начинки.

В кладовке, где хранились травы, Якоб увидел шкафчик с приоткрытыми дверцами, которого раньше не замечал. Полюбопытствовав, заглянул внутрь и увидел много корзиночек, от которых исходил приятный крепкий запах. Открыл одну из них и нашел траву необыкновенного цвета и странной формы. Стебель и листья были голубовато-зелеными, их венчал огненно-красный, с желтой каймой маленький цветочек. В раздумье он разглядывал этот цветок, нюхал его и в конце концов узнал аромат, исходивший от супа, сваренного ему некогда старухой. Запах был настолько крепким, что он невольно расчихался, чихал и чихал, пока не проснулся.

Якоб лежал на старухином диване и с удивлением оглядывал комнату. «Надо же такому привидеться! Казалось, будто это вовсе не сон, а все происходило наяву! — проговорил он сам себе. — Могу поклясться, что я — жалкая белочка, приятель морских свинок и прочих мелких тварей, при всем при том стал еще искусным поваром. Как же посмеется матушка, когда я ей обо всем этом расскажу! Только, пожалуй, она меня отругает за то, что я заснул в чужом доме, вместо того чтобы помогать ей на рынке!»

При этой мысли он поднялся, собираясь покинуть старухино жилище, но тело его затекло, будто одеревенело от сна, особенно шея — он не мог как следует повернуть головой и даже сам над собой посмеялся, что такой сонный, никак не может очнуться и прийти в себя, то и дело натывается носом на шкаф либо упирается в стену, а то и задсваивает дверной косяк. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, будто собрались его сопровождать. Уже стоя на пороге, он позвал их с собой — они были славными зверюшками, однако не вняли его призыву, а покатались на своих ореховых скорлупках обратно в дом, сопровождая его уход громким плачем и визгом.

Старуха завела его в удаленную часть города, ему стоило большого труда выбраться из узких незнакомых переулков, на которых к тому же царила толчея из-за какого-то карлика-цверга. То и дело со всех сторон раздавались крики: «Ой, вы только посмотрите, какой ужасный цверг! Откуда взялся этот карлик? Ай, ну и длинный же у него нос, а голова совсем ушла в плечи, а руки-то, руки — темные и страшные!» В другое время он бы и сам побежал за зеваками, потому что любил поглазеть на великанов и карликов или на чужеземные диковинные наряды, но сейчас надо было торопиться к матери.

Когда Якоб подходил к рынку, на него напал страх. Мать сидела еще там, и в корзинке у нее было полно непроданного товара, значит, он проспал не очень долго. Однако мальчик уже издали заметил, что матушка сидит, печально подперев голову рукой, и не зазывает, как обычно, покупателей, а когда подошел поближе, ему показалось, что она бледнее обычного. Он помедлил, не зная, как поступить; наконец собрался с духом, подкрался к ней сзади, положил ласково руку на плечо и с нежностью проговорил:

— Матушка, тебе нехорошо? Ты на меня сердишься?

Женщина обернулась и тут же в ужасе отпрянула.

— Чего тебе от меня надобно, гнусный цверг? — воскликнула она. — Ступай прочь! Я терпеть не могу глупых шуток!

— Что это с тобой, матушка? — в испуге спросил Якоб. — Наверное, тебе нездоровится, раз ты прогоняешь своего сына.

— Я уже сказала тебе: ступай своей дорогой! — раздраженно ответила Ханна. — У меня ты не получишь ни гроша за свои проделки, мерзкая уродина!

«Должно быть, Бог лишил ее разума! — пробормотал себе под нос Якоб. — Как мне теперь довести ее до дому?»

— Милая мамочка, приди в себя, посмотри на меня внимательно, это ведь я, твой сын Якоб.

— Нет, это уж слишком! — вскричала Ханна, обращаясь к соседке. — Вы только посмотрите на этого мерзкого цверга, который стоит здесь и отпугивает покупателей, да еще смеется над моим несчастьем! Только подумайте, он заявляет: я твой сын Якоб! Какое бесстыдство!

Тут всполошились все торговки и принялись ругаться — вы сами знаете, с каким пылом ругаются на рынке, — они кляли его почем зря, выговаривали, что он издевается над чужим горем, насмехается над несчастной женщиной, у которой семь лет тому назад украли сына, красивого, как с картинки, и грозили напасть на него всем скопом и исцарапать до крови, если он не уберется подобру-поздорову.

Несчастный Якоб не знал, что и подумать. Ведь он сегодня утром пришел, по обыкновению, с матерью на рынок, помог ей разложить фрукты, затем пошел со старой женщиной к ней домой, поел супчика, немножко вздремнул и вернулся обратно, а мать и торговки говорят о семи годах! Да еще называют его мерзким цвергом! Что тут с ними в его отсутствие приключилось?

Когда он понял, что мать и слышать о нем не хочет, слезы вернулись у него на глаза и он печально побрел к сапожной будке, где целый день чинил башмаки его отец. «Посмотрим, — думал он, — узнает ли меня отец. Стану у двери и заговорю с ним».

У двери сапожника он заглянул в лавчонку. Мастер прилежно трудился, ничего вокруг не замечая. Но, случайно взглянув на дверь, он уронил на пол башмак, дратву и шило и в ужасе вскричал:

— Господи боже мой, что это? Кто это?

— Добрый вечер, мастер! — проговорил Якоб, входя в лавчонку. — Как вы поживаете?

— Плохо, очень плохо, маленький господин, — ответил отец, к большому удивлению Якоба, видимо, тоже его не узнав. — У меня все валится из рук, ничего не ладится. Я один, старость не за горами, уже с работой не справляюсь, а панять подмастерье мне не по карману.

— Но ведь у вас есть, кажется, сынок, разве он вам не помогает?

— Был у меня сынок, звали его Якоб, сейчас бы ему шел двадцатый годок. Конечно, он бы мне усердно помогал. Уже в двенадцать лет сынишка показал себямышленным и ловким помощником, а уж какой красавчик был и как учтиво обходился с клиентами! Он привлек бы к нам новых заказчиков, и мне бы не пришлось латать старье, шил бы я новые красивые башмаки! Вот как бывает на свете!

— А где же ваш сын? — дрожащим голосом спросил Якоб отца.

— Бог его ведает, — ответил тот. — Семь лет назад, да-да, минуло уже семь лет с тех пор, как его украли на рынке.

— Семь лет! — в ужасе воскликнул Якоб.

— Да, маленький господин, семь лет; как сейчас помню, вернулась моя жена домой, вся в слезах, рыдая, сообщила мне, что весь день напрасно его прождала, повсюду разыскивала мальчика, но так и не нашла. Я всегда ей говорил, что такое может случиться: Якоб был красивым ребенком, это все признавали, жена им гордилась, ей даже льстило, когда его хвалили, и она часто посылала сыночка с овощами и фруктами в дома важных господ. Ничего в том не было плохого, каждый раз его щедро одаривали, но я все равно предупреждал жену: будь внимательна! Город

у нас большой, немало здесь обретается недобрых людей, смотри же за Якобом! Так оно, к несчастью, и вышло. Как-то раз пришла на рынок старая уродливая женщина, долго перебирала овощи и фрукты, наконец накупила столько, что не смогла унести домой. Моя жена — добрейшая душа — отпустила с ней сынишку и с той минуты больше его не видела.

— И вы говорите, с тех пор минуло семь лет?

— Весной будет ровно семь. Мы объявили об этом, ходили из дома в дом, всех расспрашивали, многие знали красивого парнишку и любили его, поэтому помогали нам в розыске — все напрасно. Старую женщину, купившую овощи, тоже никто не знал. Правда, одна древняя старушка, прожившая уже девяносто лет, сказала, что это, похоже, злая волшебница по имени Травница, которая раз в пятьдесят лет наведывается в наш город за покупками.

Так говорил отец Якоба и при этом громко стучал молотком и обеими руками тянул дратву. Маленькому человечку мало-помалу становилось ясно, что произошло: он вовсе не грезил, а наяву служил белкой у злой волшебницы целых семь лет. Сердце его чуть не разорвалось от гнева и боли. Семь лет жизни, цветущие годы юности похитила у него ненавистная старуха, а что получил он взамен? Научился наводить блеск на кокосовых скорлупках да натирать зеркальный пол! Правда, еще выведал у морских свинок все тайны кулинарного искусства! Он простоял еще какое-то время, раздумывая над своей несчастной судьбой, в конце концов отец его спросил:

— Может, вам хочется что-то у меня заказать, молодой человек? Скажем, пару новых туфель или же, — прибавил он, усмехнувшись, — футляр для своего носа?

— При чем тут мой нос? — удивился Якоб. — Зачем мне футляр для него?

— Кому что нравится, — заметил сапожник, — однако должен вам сказать: будь у меня такой ужасный нос, я бы непременно заказал для него футляр из тонкой розовой лакированной кожи. Взгляните, у меня как раз есть под рукой подходящий лоскут; понадобится, верно, не меньше локтя. Но зато футляр убережет вас, маленький господин, от всяческих неприятностей! Уверен, вы постоянно натываетесь на дверные косяки и повозки, уступая им дорогу.

Маленький человек онемел от страха, затем ошупал свой нос, тот был толстым, длиной не менее двух ладоней! Та-ак! Значит, старуха изменила его внешность, потому-то матушка и не признала в нем своего сына и обзывала мерзким цвергом!

— Мастер, — обратился он, чуть не плача, к сапожнику, — нет ли у вас под рукой зеркала, чтобы мне поглядеть на себя?

— Молодой господин, — серьезно ответил отец, — у вас не та внешность, чтобы ею любоваться и заглядывать в зеркало. Надо отвыкать от смехотворной привычки!

— Ах, дело не в кокетстве, — воскликнул Якоб, — мне нужно просто глянуть в зеркало!

— Оставьте меня в покое, нет у меня зеркала; у жены, конечно, имеется маленькое, только я не знаю, где она его прячет. А если уж вам непременно хочется посмотреться, то через улицу живет Урбан, цирюльник, у него есть зеркало в два раза больше вашей головы, поглядитесь в него, и на том прощайте!

С этими словами отец осторожно выпроводил его из лавки, запер за ним дверь и вернулся к работе. Якоб, совсем убитый, перешел улицу и направился к цирюльнику Урбану, которого помнил с прежних времен.

— Доброе утро, Урбан, — сказал он, входя, — окажите любезность, позвольте мне глянуть в зеркало!

— С удовольствием, вон оно стоит! — воскликнул, смеясь, Урбан, и его клиенты, ожидавшие, когда им подстригут бороды, тоже громко расхохотались. — Вы — пригожий парнишка, стройный и складный, шея — как у лебедя, руки — как у королевы, а уж носик — курносик, каких свет не видавал! Наверно, вы им гордитесь. Ну да ладно! Ступайте к зеркалу, пусть не говорят люди, что я из зависти не дал вам собою полюбоваться!

Так разглагольствовал цирюльник, а посетители держались за животы от смеха. Якоб между тем подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Слезы выступили у него на глазах. «Да, милая матушка, — подумал он, — разумеется, ты не могла узнать своего сына — он не был таким, когда ты им хвасталась перед людьми!»

Глаза у него сделались маленькими, как у свиньи, нос чудовищно вытянулся и нависал над ртом и подбородком, шеи не было видно, потому что голова ушла глубоко в плечи, ворочать ею из стороны в сторону было невозможно. А вот ростом он остался таким же, что и семь лет назад, будучи двенадцатилетним мальчишкой. В то время когда другие люди с двенадцати до двадцати

тянутся вверх, он рос в ширину, спина и грудь у него выпятились и выглядели как туго набитые мешки. Толстое туловище громоздилось на маленьких слабеньких ножках, подгибавшихся от такой тяжести. Но зато руки были длинными, такой же длины, что и у взрослых мужчин, кисти огрубели от работы и почернели, пальцы вытянулись по-паучьи — расправив их, он мог, не нагибаясь, достать до пола. Вот каким стал маленький Якоб — безобразным, уродливым карликом.

Теперь он отчетливо припомнил то утро, когда зловещая старуха подошла к корзинкам его матери. Всем, что он тогда осудил в ней — длинным носом, скрюченными пальцами, — она наделила его, кроме длинной трясущейся шеи, шею она вовсе убрала.

— Ну что, вы собою налюбовались, мой принц? — спросил цирюльник, подходя к нему и с усмешкой его рассматривая. — Право слово, такую комическую внешность не увидишь даже во сне. Но у меня есть к вам предложение, маленький господин. Ко мне в цирюльню заходит много народу, однако в последнее время чуть меньше, чем прежде. Дело в том, что мой сосед — цирюльник Шаум — откопал где-то великана, который и привлекает к нему посетителей. Ну, чтобы вырасти великаном, большого искусства не требуется, а вот стать таким, как вы, человечком, дело другое. Поступайте ко мне на службу, маленький человечек, будете жить у меня, я стану вас кормить, поить, изрядно одевать и обувать — словом, обеспечу всем необходимым, а за это вы должны стоять с утра у моих дверей и зазывать клиентов, потом взбивать мыльную пену и подавать полотенце. Уверяю вас, дела пойдут у нас как по маслу, клиентов будет больше, чем у соседа с великаном, да еще вы будете получать почти с каждого чаевые.

В глубине души карлик возмущился из-за предложения служить зазывалой вроде приманки у цирюльника. Но может, лучше проявить терпение? Он спокойно ответил цирюльнику, что не располагает временем, и отправился дальше.

Хотя злобная старуха испортила его внешность, но изменить его душу не смогла, это он отлично осознавал, поскольку думал и чувствовал не так, как семь лет тому назад, нет, он сделался умнее и рассудительнее, его не печалила утраченная красота, уродливая внешность не волновала. Много хуже то, что отец прогнал его от родного порога, словно бродячую собаку, потому карлик и решил еще раз погытать счастья у матушки.

Он подошел к ней на рынке и попросил спокойно его выслушать, затем напомнил ей тот день, когда ушел с покупками старой женщины, припомнил некоторые эпизоды своего детства, потом рассказал, как белкой прослужил семь лет у колдуньи, описал, в кого она его превратила только за то, что он порицал ее внешность.

Жена сапожника не знала, что и подумать. Все, что карлик рассказал о своем детстве, так и было на самом деле. Но когда он стал ее уверять, будто был в течение семи лет белкой, она возразила:

— Этого не может быть, да и злых волшебниц не существует.

Внимательно поглядев на уродца, несчастная женщина почувствовала к нему отвращение и не могла поверить, что это и есть ее сын. В конце концов она решила посоветоваться обо всем с мужем, собрала корзинки и позвала карлика с собой. Так и пришли они к будке сапожника.

— Послушай, — сказала Ханна мужу, — этот человек утверждает, что он — наш потерянный сын Якоб. Он мне рассказал, как его увела с собой семь лет назад и заколдовала злая волшебница.

— Вот как! — взъярился сапожник. — Он это тебе рассказал? Ну, погоди, негодник! Час назад я ему открыл наше горе, так он отправился к тебе морочить голову! погоди, я тебя расколдую! Нашелся мне сыночек!

С этими словами он схватил связку ремней, только что нарезанных, подскочил к карлику и отхлестал его по высокому горбу и длинным рукам. Избитый человек, закричав от боли, с плачем убежал.

В том городе, как, впрочем, и везде, жило мало сердобольных людей, способных посочувствовать несчастному человеку, особенно если он дает повод позабавиться.

Так вышло, что бедный карлик целый день не ел и не пил. Вечером пришлось ему примоститься для ночлега на церковных ступеньках, хотя они были твердые и холодные.

Когда его утром разбудили первые лучи солнца, он всерьез задумался над своею жизнью, раз уж отец с матерью прогнали его со двора. Он был слишком горд, чтобы наниматься зазывалой к цирюльнику и играть роль шута за деньги. Но на что же жить? И тут несчастному пришло в голову, что в бытность его белкой он овладел всеми премудростями поварского искусства,

в этом деле нет ему равных, и он может любому доказать, на что способен.

Как только утро вступило в свои права и улицы оживились, карлик вошел в церковь и помолился Богу. Затем направился к дворцу. Герцог, правитель той страны, о мой господин, был большой гурман и лакомка, он любил обильные застолья и выписывал поваров со всех концов света. Когда карлик подошел к воротам двора, стражники спросили его, по какой надобности он здесь очутился, и принялись его вышучивать. Он же потребовал, чтобы к нему вышел главный герцогский повар.

Стражники, смеясь, повели пришельца через ворота, и всюду, где он появлялся, слуги оставляли работу, пялились на него, громко хохотали и шествовали следом, так что под конец по лестнице шагала огромная процессия всех мастей: конюхи бросали скребины, посыльные бежали со всех ног, чистильщики ковров кидали щетки и метелки — все толкались и спешили; поднялась такая давка, будто у ворот появилось неприятельское войско, в воздухе стоял крик: «Цверг! Цверг! К нам явился карлик! Вы видели карлика?»

Тут появился недовольный дворцовый смотритель с кнутом в руках.

— Побойтесь Бога, проклятые собаки! Отчего это поднялся такой шум? Неужели вы не знаете, что герцог еще почивает? — При этих словах он немилосердно прошелся кнутом по спинам конюхов и стражников.

— О господин, — закричали те, — разве вы не видите? Мы ведь привели карлика, видывали ли вы в своей жизни карлика?

Обнаружив маленького человечка, смотритель еле сдержался, чтобы не рассмеяться, так как полагал, что смех унизит его достоинство. Поэтому он разогнал кнутом всех слуг, а человечка повел в дом, попутно расспрашивая о цели его прихода. А когда услышал, что тот желает видеть главного повара, мгновенно возразил:

— Сынок, ты ошибаешься, тебе нужен я, смотритель дворца, ведь ты намерен стать придворным карликом, разве не так?

— О нет, господин, — ответил Jakob. — Я искусный повар, способный приготовить самые изысканные и редкие кушанья, отведите меня к главному кулинару, вдруг ему пригодится мое умение.

— Как тебе будет угодно, маленький человечек, но, кажется, ты заблуждаешься. Ишь чего удумал: на кухню! Если будешь придворным карликом, то работать тебе не придется, есть и пить будешь в свое удовольствие, одежду носить красивую. Впрочем, посмотрим, хватит ли твоего умения, чтобы стать придворным поваром, а для поваренка ты слишком хорош.

С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в покои главного повара.

— Высокоуважаемый господин, — начал свою речь карлик и поклонился так низко, что коснулся носом ковра на полу, — требуется ли вам искусный повар?

Главный повар оглядел пришельца с головы до ног и разразился хохотом.

— Как, ты повар? — воскликнул он в изумлении. — Думаешь, у нас такие низкие печи, что ты сможешь заглядывать в горшки и кастрюли, даже если станешь на цыпочки и вытянешь шею? О малыш! Тот, кто послал тебя в повара, должно быть, над тобой пошутил.

Так говорил главный повар дворца и громко смеялся, вместе с ним хохотали и смотритель дворца, и все слуги, бывшие в комнате.

Однако карлик не смутился.

— Вы не обеднеете, если выдадите мне пару яиц, немного сиропа и вина, горстку муки и пряностей, — сказал он. — Дозвольте мне изготовить одно лакомство, и я на глазах состряпаю такое, что вы пальчики оближете и скажете: «Да, он всем поварам повар!»

Такие и подобные речи вел маленький человечек. Странное впечатление оставляли его сверкающие крохотные глазки, качавшийся из стороны в сторону длинный нос и движения тонких паучьих пальцев, сопровождавшие слова.

— Так и быть! — произнес наконец главный повар и взял под руку смотрителя дворца. — Согласен, пойдем шутки ради на кухню!

Они прошли через многочисленные залы и галереи и наконец добрались до кухни. Это было просторное помещение, замечательно обустроенное: в двадцати печах там постоянно пылал огонь; посередине находился источник с чистой водой, служивший одновременно садком для свежей рыбы; в шкафах из мрамора

и редких пород дерева хранились запасы, которые всегда должны быть под рукой; по правую и по левую стороны располагались кладовые, где было припасено все, что только знали в краях Франкистана и в восточных странах для ублажения живота своего. Кухонная челядь сновала взад и вперед, гремела кастрюлями и сковородками, бренчала ложками и шумовками, но, когда на кухню зашел главный повар, все замерли, слышно было только потрескивание огня да журчание воды в источнике.

— Что сегодня заказал на первый завтрак господин герцог? — спросил главный повар старого мастера, отвечающего за первые завтраки.

— Герцог изволил выбрать датский суп с красными гамбургскими кнедлями.

— Хорошо, — продолжал главный повар. — Ты слышал, что угодно откусать владыке? Дерзнешь ли ты приготовить эти замысловатые блюда? Предупреждаю: с кнедлями тебе не справиться, это кушанье — наш секрет.

— Нет ничего проще, — ответил, к общему удивлению, карлик, так как в бытность свою белкой он часто варил это. — Да-да, ничего нет легче, выдайте мне для супа такую-то и такую зелень, такие-то и такие пряности, кабаньего сала, яиц и кореньев, а вот для кнедлей, — он понизил голос так, чтобы его слышали только главный повар и повар, отвечающий за завтраки, — для кнедлей потребуются мясо разных сортов, немножко вина, гусиный жир, имбирь и некая трава под названием «утеха для желудка».

— Вот это да! Клянусь святым Бенедиктом! У какого волшебника ты обучался? — с удивлением воскликнул повар. — Ты назвал все до последней травки, а про ту, что зовется «утехой для желудка», мы здесь и слыхом не слыхали; должно быть, она придает особо приятный вкус! О, ты мастер из всех мастеров!

— Такого я никак не ожидал, — сказал главный повар, — что ж, приступим к испытанию. Выдайте ему все необходимое — посуду и все остальное, пусть готовит герцогский завтрак.

Как он приказал, так и поступили, принесли все нужное, но тут оказалось, что карлик едва достает носом до печи. Придвинули тогда два стула, положили на них мраморную доску и предложили чудо-крошке продемонстрировать свое искусство. Повара, поварята, кухонные работники и прочая прислуга окружили его широким кольцом, они стояли и дивились, как проворно

и с какой легкостью он управляется с делом, как аккуратно делает заготовки.

Когда все было подготовлено, карлик приказал поставить оба горшка на огонь и варить их содержимое, пока он не скажет, затем принялся считать: раз, два, три — и, досчитав до пятисот, крикнул: «Довольно!» Горшки сняли с огня, маленький человечек пригласил повара отведать герцогские блюда.

Главный повар велел поваренку принести ему золотую ложку, тот ополоснул ее в источнике и передал главному повару, который с торжественным видом приблизился к плите, зачерпнул, отведал, затем, закатив глаза и прищелкнув от удовольствия языком, восхищенно вымолвил:

— Очень вкусно! Восхитительно! Клянусь жизнью герцога! Не хотите ли и вы отведать, господин смотритель дворца?

Тот поклонился, зачерпнул ложечку и пришел в восхищение.

— Вы умелый повар, — проговорил он, обращаясь к старому специалисту по завтракам, — но, при всем моем уважении к вам, должен признать, что ни датский суп, ни кнедли по-гамбургски никогда еще не были так отменно приготовлены!

Наконец попробовал кушанья и старый повар, после чего почтительно пожал карлику руку и признал его превосходство:

— Да, маленький человечек, вы, несомненно, мастер своего дела. Действительно, травка «утеха для желудка» придает всему особую прелесть.

В этот миг на кухню явился камердинер и возвестил, что герцог требует завтрак. Кушанья поставили на серебряный поднос и понесли его светлости. Тем временем главный придворный повар повел карлика к себе и завел с ним беседу. Но не прошло даже столько времени, сколько нужно, чтобы прочитывать молитву «Отче наш» (это такая молитва у франков, о господин, она вдвое короче молитвы правоверных), как прибежал гонец и позвал к герцогу главного повара. Тот быстро переоделся в парадное одеяние и последовал за посланцем.

Герцог сидел с довольным видом. Он уже откушал и как раз утирал бороду.

— Послушай, мой главный повар, — сказал он, — я всегда был доволен твоими мастерами, но скажи же, кто сегодня приготовил завтрак? С тех пор как я унаследовал трон моих предков, я еще не вкушал ничего подобного. Скажи мне, как зовут этого повара, и мы даруем ему несколько золотых дукатов.

— О господин, произошла удивительная история, — ответил главный придворный повар и рассказал, как сегодня спозаранку к нему привели карлика, который хотел быть только поваром, и никем иным, его испытали, и вот что из всего этого получилось.

Герцог подивился рассказу, призвал к себе карлика и принялся его расспрашивать, кто он и откуда явился. Несчастный Якоб не мог, конечно, признаться, что был заколдован, служил белкой в доме злой волшебницы, но он не погрешил против истины, открывшись, что остался без матери и отца, а кулинарному искусству обучился у одной старой женщины. Герцог не стал выпытывать подробности, он забавлялся диковинной внешностью своего нового повара.

— Если хочешь остаться у меня, — проговорил он спустя какое-то время, — то будешь ежегодно получать пятьдесят дукатов, кроме того, парадное платье да еще пару штанов в придачу. За это ты обязан ежедневно собственноручно готовить мне завтрак, наблюдать, как стряпают обед другие повара и вообще присматривать за моей кухней. Каждый у меня во дворце получает новое имя, тебя будут отныне звать Нос, с сегодняшнего дня ты возведен в чин младшего придворного повара.

Карлик Нос пал ниц перед могущественным правителем франкской земли, облобызал ему ноги и поклялся служить ему верой и правдой.

Словом, маленький человечек был пристроен на почетную должность. Так получилось, что герцог сделался совсем другим человеком с тех пор, как карлик Нос появился у него во дворце. Прежде он часто с раздражением швырял в головы поваров подносы и горшки, даже как-то запустил в главного придворного повара пережаренной телячьей ногой с такой силой, что тот свалился и три дня пролежал в постели. Правда, герцог обычно искупал свой гнев пригоршней дукатов, тем не менее повара с опаской подавали ему блюда.

Однако с той поры, как карлик поселился в его доме, все изменилось будто по мановению волшебной палочки. Герцог кушал вместо трех пять раз в день, чтобы всласть насладиться искусством самого маленького из своих слуг, на его лице теперь никогда не появлялось гримасы недовольствия.

Да-да, герцог стал обходительным и приветливым и день ото дня жирел.

Часто во время обеда он призывал к себе главного придворного повара и карлика Носа, сажал одного слева от себя, другого — справа и собственноручно клал им в рот лакомые кусочки. Эту милость оба чрезвычайно высоко ценили.

Карлику дивился весь город. Важные господа спрашивали разрешения у главного придворного повара посмотреть, как кашеварит малютка, а особо важным вельможам удалось добиться дозволения для своих слуг обучаться на кухне у чудо-повара приемам кулинарного дела, что давало тому немалый доход, так как каждый платил ежедневно по полдуката. Чтобы не испортить настроения другим поварам и не вызывать в них зависти, карлик отдавал им деньги, которые платили ему господа за обучение своих поваров.

Так прожил карлик Нос почти два года в уважении и почете. Внешне все было прекрасно, и только мысль о родителях угнетала его душу. Все шло своим чередом, пока не случилось удивительного происшествия. Надобно сказать, что карлик Нос нередко ходил за покупками. Он умел выбрать товар и приносил во дворец отменные продукты, поэтому, если удавалось выкроить время, сам отправлялся на рынок за птицей и овощами.

Однажды утром пошел он в гусиный ряд поискать жирных, откормленных гусей, каких особенно любил кушать герцог. Несколько раз прошелся он взад и вперед, осмотрел весь выставленный товар. Здесь его появление не вызывало смеха и шуточек, напротив, Нос внушал всем глубокое уважение, так как торговки знали, что это знаменитый герцогский повар, и каждая из них была счастлива, когда он поворачивал свой нос в ее сторону.

Карлик увидел в самом конце ряда женщину с гусями, которая не нахваливала свою птицу и не зазывала покупателей. Он подошел, пощупал ее гусей, попробовал их на вес. Ему требовались как раз такие, и он купил всех трех вместе с клеткой, взвалил ее на свои широкие плечи и отправился во дворец. По дороге ему показалось странным, что только две птицы гоготали, как настоящие гуси, третья же сидела смирно, только печально вздыхала и охала по-человечьи.

— А ведь гусыня-то, должно быть, больна, — проворчал карлик себе под нос, — надо поторопиться поскорей ее зарезать и приготовить.

Вдруг гусыня громко ему ответила:

Коль уколешь ты меня,
Ущипну в сердцах тебя.
Если шею мне свернешь,
Сам в могилу попадешь.

Карлик в испуге поставил на землю клетку, а гусыня поглядела на него умными выразительными глазами и вздохнула.

— Черт побери! — воскликнул карлик Нос. — Госпожа гусыня умеет разговаривать? Вот уж не думал! Однако не извольте беспокоиться. Я умудрен жизнью и, конечно же, не погублю такую редкостную птицу. Готов биться об заклад, вы не всегда носили птичье оперенье. Да и сам я некогда был жалкой белочкой.

— Ты прав, — ответила гусыня, — я не родилась в этой личине. Ах, мне, Мими, дочери великого волшебника Веттербока, не пели у колыбели, что моя жизнь завершится на герцогской кухне!

— О, не извольте беспокоиться, милая госпожа Мими, — утешил ее карлик. — Поверьте, я — честный человек, и, пока состою на службе у его светлости в должности младшего придворного повара, никто не посмеет свернуть вам шею. Я отведу вам место в собственных покоях, обеспечу пропитанием и буду проводить с вами все свободное время. Всей кухонной челяди я скажу, что откармливаю для герцога гусыню особыми травами. При первом же удобном случае я отпущу вас на свободу.

Гусыня со слезами на глазах рассыпалась в благодарностях. Карлик все сделал, как и обещал: резал двух гусей, а для Мими устроил уютное гнездышко под тем предлогом, что собирается ее откармливать особым способом.

Он и не давал ей обычного гусяного корма, а приносил печенье и сладкие лакомства. Как только у него выдавалась свободная минута, он шел к Мими, беседовал с нею и, как мог, утешал. Они рассказали друг другу истории своей жизни, и карлик Нос узнал, что гусыня была дочерью волшебника Веттербока, живущего на острове Готланд. Чародей поссорился со старой феей, та своим коварством и хитростью взяла над ним верх и, жестоко ему мстя, превратила его дочь в гусыню и перенесла ее в этот город.

Когда же карлик поделился с нею своим горем, она вымолвила:

— Я сведуща в подобных делах, отец наставлял меня и моих сестер по этой части, насколько, конечно, мог. Рассказ о ссоре у корзины с травами, твое внезапное превращение, когда ты по-

нюхал некую травку, а также некоторые слова старухи убеждают меня в том, что ты заколдован с помощью травы. Следовательно, если ты отыщешь траву, о которой думала волшебница во время колдовства, то сможешь освободиться от злых чар.

Ее слова были хоть каким-то утешением для карлика. Но где искать эту траву? Тем не менее он поблагодарил гусыню за проблеск надежды.

В эту пору герцога посетил его друг, соседний влиятельный князь. Герцог призвал к себе карлика и сказал ему:

— Пришло время доказать, что ты мне служишь верой и правдой и что ты мастер своего дела. Князь, мой гость, — большой гурман, не такой, как я, конечно, но все же он — знаток изысканной кухни и человек мудрый. Постарайся, чтобы мой стол ежедневно был уставлен яствами, вызывающими у него удивление, но упаси тебя боже дважды подать одно и то же блюдо. Разрешаю требовать от моего казначея все, что тебе угодно, даже если понадобится зажарить в масле золото и бриллианты. Я скорее соглашусь разориться, нежели краснеть перед своим гостем.

Так сказал герцог. Карлик, низко поклонившись, заверил его:

— Все будет так, как ты повелел, о господин! Видит бог, я постараюсь угодить этому королю гурманов.

Маленький повар пустил в ход все свое умение, не жалея соковок владыки. Еще меньше щадил он себя, хлопотал весь день у огня, окутанный облаком дыма. Как истинный повелитель, распоряжался он поварами и поварятами, под сводами кухни немолчно звучал его громкий голос.

О господин! Я мог бы, по примеру погонщиков верблюдов из сирийского города Алеппо, рассказывать путешественникам о том, как вкусно едят герои их сказок. Целый час перечисляют они все блюда, что там подаются, тем самым возбуждая аппетит у своих слушателей так, что те невольно достают свои припасы, устраивают трапезу и щедро угощают погонщиков. Но я поступлю иначе.

Чужеземный князь уже две недели гостил у герцога и жил на широкую ногу. Они кушали не менее пяти раз в день, герцог был доволен искусством карлика, так как по лицу гостя видел, что тот удовлетворен.

Но на пятнадцатый день герцог позвал маленького человечка к столу, представил его своему гостю и спросил, угодил ли ему повар.

— Ты замечательный мастер своего дела, — ответил чужеземный князь, — и понимаешь, что такое настоящая еда. За все время, что я здесь, мне не подавали одно и то же блюдо дважды, все было прекрасно приготовлено. Но скажи же мне, почему ты не изобразишь королевское угощение — паштет Сюзерен?

Карлик насмерть перепугался, потому что в первый раз слышал о короле паштетов, тем не менее, собравшись с духом, ответил:

— О господин, я был уверен, что ты еще долго будешь освещать своим присутствием наш дворец, потому и не торопился, ибо чем может отметить повар день прощания, как не королем паштетов?

— Вот как, — смеясь, возразил герцог. — А если вспомнить обо мне, то ты, верно, ждал моей смерти, дабы ознаменовать этот день отменным угощением? Ведь и мне ты никогда не готовил такого паштета. Так что подумай, как отметить день расставания с гостем, и уже завтра подай к столу этот паштет.

— Как прикажете, мой повелитель! — С этими словами карлик откланялся.

Вышел он из парадного зала нерадостный, ибо пришел день его позора и несчастья. Он не знал, как готовится паштет Сюзерен, поэтому отправился к себе в покои, где стал оплакивать свою судьбу. Тут подошла к нему гусыня Мими, которой разрешалось ходить по комнате, и спросила, отчего это он так печалится.

— Утри свои слезы, — успокоила она его, услышав о паштете. — У моего отца его часто подавали, я приблизительно знаю, что для него требуется. Возьми то-то и то-то, положи столько-то и столько, и если это будет не совсем то, что нужно, — не беда, у твоих господ не такой уж тонкий вкус.

Так говорила Мими. Карлик подпрыгнул от радости и благословил день, когда купил гусыню, затем принялся за изготовление короля паштетов. Сначала сделал небольшую порцию для пробы. Какое счастье! Все вышло удачно, главный повар, которому он предложил отведать, расхваливал его на все лады.

На другой день он запек паштет в большой форме и, украсив его гирляндой цветов, теплым, прямо из печи, отослал к столу. Сам же надел парадное платье и отправился в обеденный зал. Когда он входил, дворецкий разрезал паштет на части и подавал

их на серебряной лопатке герцогу и его гостю. Герцог откусил изрядный кусок и, проглотив его, возвел глаза к небу.

— Ах, ах, по праву его называют королем паштетов! Но и мой карлик — король поваров, не так ли, дорогой друг?

Гость взял несколько кусочков в рот, тщательно прожевал и улыбнулся насмешливо и загадочно одновременно.

— Блюдо приготовлено отлично, — ответил он, отодвигая тарелку, — но это все-таки не настоящий Сюзерен, как я, собственно, и предполагал.

Герцог гневно нахмурил лоб и покраснел от стыда.

— Паршивая собака! Гнусный цверг! — воскликнул он. — Как ты посмел огорчить меня, своего повелителя? Уж не хочешь ли ты, чтобы я в наказание за такую дерзость велел отрубить твою большую голову?

— О мой господин! Ради всего святого, я приготовил паштет по всем правилам кулинарного искусства, невозможно, чтобы там чего-то недоставало! — дрожа, взмолился карлик.

— Ты лжешь, парень! — прикрикнул герцог и отпихнул его от себя ногой. — В таком случае мой гость не сказал бы, что чего-то не хватает. Сейчас прикажу изрубить тебя на куски и запечь вместо паштета!

— Сжалюсь! — воскликнул маленький человечек, подполз на коленях к гостю и обнял его колени. — Скажите, чего не хватает в паштете и почему он вам не по вкусу? Не дайте мне умереть из-за горстки муки и кусочка мяса.

— Это тебе мало поможет, карлик Нос, — смеясь, ответил чужеземец, — я уже вчера знал, что тебе не приготовить это кушанье так, как его делает мой повар. Знай, тут недостает одной травки, о которой в ваших краях и не слыхивали, это что-то вроде чемерицы, она придает остроту, без нее твоему господину никогда не едать такого паштета, какой вкушаю я.

Владыка земли франков пришел в ярость.

— И все же я буду его есть, — воскликнул он, сверкая глазами, — ибо, клянусь герцогской честью, либо я завтра утром получу паштет по вашему рецепту, либо вы увидите голову этого негодника, торчащую на пике у ворот моего дворца. Ступай прочь, паршивая собака, даю тебе еще раз двадцать четыре часа срока.

Так повелел герцог. Карлик же, плача, пошел к себе и принял-ся жаловаться гусыне на свою печальную участь, ибо не миновать

ему смерти, так как он никогда не слышал о траве, которую называл чужеземец.

— Если только за этим дело стало, — сказала она, — то я в силах тебе помочь. Отец научил меня распознавать все травы. Правда, в другое время тебе бы не миновать смерти, но сейчас, на твое счастье, как раз новолуние, в эту пору и цветет нужная тебе трава. Скажи-ка мне, есть ли поблизости от дворца старые каштаны?

— О да! — с облегчением вздохнул карлик Нос. — У озера, в двухстах шагах от дома, растет много каштанов, но почему нужны именно эти деревья?

— Только у корней старых каштанов цветет эта трава, — пояснила Мими, — поэтому не будем терять зря времени, поищем то, что тебе нужно. Бери меня на руки, а там опусти наземь, и я ее отыщу.

Он сделал так, как было велено, и отправился к воротам. Но там стражник преградил ему путь:

— Дорогой карлик, для тебя настали тяжелые времена, я получил строжайший приказ не выпускать тебя из дворца.

— Но в сад-то мне пройти можно? — возразил несчастный. — Будь так добр, пошли кого-нибудь к смотрителю дворца, чтобы спросить, можно ли мне поискать траву в саду.

Стражник так и поступил, разрешение было получено, поскольку сад был обнесен высокой стеной, удрать отсюда не представлялось возможным. Когда маленький человечек с Мими оказались на воле, он бережно опустил гусыню на землю, и та быстро побежала к озеру, где росли каштаны. Сердце у него щемило, ведь то была последняя надежда. Он твердо решил: если гусыня не отыщет нужной травы, лучше броситься в озеро, нежели сложить голову на плахе. Поиски гусыни оказались безрезультатными, она бродила от дерева к дереву, перебирала клювом все травинки, но ничего не находила. От жалости и страха за своего друга гусыня начала плакать. Тем временем совсем стемнело, что-либо различать во мраке стало совсем трудно. Взоры карлика обратились на другую сторону озера, и он крикнул:

— Погляди-ка, погляди, за озером тоже растет развесистое старое дерево, пойдем туда и поищем, может, там цветет мое счастье.

Гусыня запрыгала и полетела впереди него, а он пустился за нею вприпрыжку на своих коротеньких ножках. Старый каштан

отбрасывал огромную тень, вокруг царил мрак, почти ничего нельзя было разобрать. Но вдруг гусыня остановилась и захлопала от радости крыльями, затем зарылась клювом в траву, что-то сорвала и грациозно протянула удивленному карлику в клюве.

— Вот та самая травка, — сказала она, — здесь ее полным-полно, тебе надолго хватит.

Карлик в раздумье разглядывал травку, от нее исходил пряный запах, который напомнил ему о его превращении. Стебель и листья у травы были голубовато-зеленого цвета, а цветок с желтой каймой отливал огненно-красным.

— Слава тебе господи! — воскликнул он наконец. — Какое чудо! Кажется, это та самая трава, что превратила меня из белки в мерзкого уroda. Может, стоит попытаться счастья?

— Погоди! — взмолилась гусыня. — Возьми с собой горсть травы и давай вернемся в твои покои, там собери деньги и все свое добро и тогда уж испытай силу этой травы.

Так они и поступили и отправились обратно во дворец. Сердце карлика колотилось от нетерпения. Он завязал в узел пятьдесят или шестьдесят дукатов, которые успел скопить, одежду и обувь.

— Если Богу будет угодно, — проговорил он, — я избавлюсь от своей тяжелой обузы, — и с этими словами сунул нос глубоко в травы и вдохнул пряный аромат.

Тут он почувствовал, как у него вытягивается шея, трещат суставы, а когда покосился на нос и увидел, что тот укорачивается, сразу ощутил, как выпрямляются спина и грудь, а ноги удлиняются. Гусыня наблюдала за всем этим с изумлением.

— Ой, какой же ты большой и красивый! — воскликнула она. — Слава богу, теперь никаких следов не осталось от тебя прежнего!

Якоб очень этому обрадовался, он сложил руки и горячо помолился. Но при всей своей радости, однако, не позабыл, что всем обязан гусыне Мими. Хотя сердце его влекло к родителям, благодарность все-таки пересилила, и он проговорил:

— Кому, как не тебе, я обязан тем, что стал вновь самим собой. Без тебя я никогда бы не нашел эту траву и навсегда бы остался в мерзком обличье либо сложил бы свою голову на плахе. Постараюсь не остаться у тебя в долгу. Я доставлю тебя к твоему отцу, он силен в чародействе и без труда снимет с тебя колдовские чары.

Гусыня заплакала от радости и приняла его предложение. Якобу с гусыней удалось неузнанным выскользнуть из дворца, и они пустились в путь к берегу моря, на родину Мими...

О чем мне стоит еще рассказать? О том, что они счастливо завершили свое путешествие. Веттербок снял с дочери злые чары и, щедро одарив Якоба, отпустил его домой. Якоб вернулся в родной город, родители с радостью признали в красивом юноше своего пропавшего сына. На подарки, полученные от Веттербока, он купил себе лавку и зажил спокойно и счастливо.

Еще добавлю, что после исчезновения Якоба из дворца там поднялась страшная тревога. Когда герцог на следующий день пожелал исполнить свою клятву и отрубить голову карлику, если он не нашел нужную траву, того и след простыл. Чужеземный князь утверждал, что-де герцог сам помог ему тайком улизнуть, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и обвинил его в нарушении клятвы. Из-за этого разгорелась великая война между двумя властителями, которая вошла в историю под названием «Травяной войны»; состоялось немало сражений, в конце концов был заключен мир, и этот мир называют «Паштетным миром», потому что на праздничном пиршестве в ознаменование перемирия княжеский повар приготовил Сюзерен, который считается королем паштетов. Сюзерен пришелся герцогу по вкусу.

Так незначительные события приводят к крупным происшествиям. Такова, о господин, история карлика Носа.

Вот что рассказал старый невольник родом из земли франков. Когда он окончил, шейх Али Бану велел подать ему и остальным невольникам фрукты, чтобы они подкрепились, и, пока те ели, беседовал со своими друзьями. Юноши, которых привел сюда старик, расхваливали на все лады шейха, его дом и убранство.

— Поистине, нет ничего приятнее, чем слушать всевозможные истории, — сказал молодой писец. — Я мог бы целыми днями сидеть, поджав ноги, облокотившись на подушку, подперев лоб рукой, а другой, если это возможно, поддерживать кальян и слушать, слушать без конца — такой я представляю себе жизнь в садах Магомета.

— Пока вы молоды и полны сил, — возразил старик, — трудно поверить, чтобы вас прельщала праздная жизнь, однако вы правы — слушая сказки и рассказы, испытываешь особое очарова-

ние. Несмотря на то что я стар — а мне уже пошел семьдесят седьмой год — и я за свою жизнь много чего наслушался, никогда не пройду мимо, если на углу улицы сидит рассказчик в окружении слушателей, и непременно подсяду к ним. Ведь когда слушаешь, то сам переживаешь все приключения, о которых идет рассказ, наяву видишь людей, духов, фей и весь окружающий их волшебный мир, который так отличается от обыденной жизни, а потом в одиночестве наслаждаешься воспоминаниями, как запасливый странник в пустыне, которому есть чем утолить свой голод.

— Я никогда не задумывался над тем, — вступил в разговор другой юноша, — в чем именно состоит очарование подобных историй. Но я испытываю то же, что и вы. Еще ребенком, когда я капризничал, меня унимали сказкой. Поначалу мне было безразлично, о чем идет речь, только бы там что-то происходило, мне не надоедали басни, которые придумали умные люди, вложив в них крупицу собственной мудрости, — басни о лисе и глупой вороне, о лисе и волке, дюжина историй о льве и прочем зверье. Когда я подрос и стал чаще бывать на людях, меня уже не удовлетворяли коротенькие побасенки, мне хотелось рассказов подлиннее, повествующих о необыкновенных человеческих судьбах.

— Да, мне тоже помнится та пора, — прервал его один из друзей, — именно ты приохотил нас к рассказам всякого рода. Один ваш невольник мог нарасказать столько, сколько наговорит погонщик верблюдов за путь от Мекки до Медины. Помнится, как только он кончал работу, то сразу усаживался на лужайке перед домом, и мы до тех пор приставали к нему, пока он не начинал рассказывать. И это длилось долго, долго, до наступления ночи.

— И разве тогда перед нами не открывалась неведомая страна, — отозвался писец, — царство гениев и фей, где в изобилии растут редкостные деревья и травы, возвышаются роскошные дворцы из смарагдов и рубинов, населенные невольниками-великанами, которые являются по первому зову, стоит только повернуть кольцо, потерять волшебную лампу или вымолвить заветное слово царя Соломона, и подносят дивные яства на золотой посуде? Мы невольно оказывались в той стране, пускались с Синдбадом-мореходом в чудесные плаванья, вместе с Гарун аль-Рашидом, мудрым повелителем правоверных, бродили вечерами по улицам, знали его визиря Джафара, как самих себя; словом, мы жили в сказках, подобно тому как ночью живут в снах, и не было

для нас лучшей поры, чем вечера, когда мы собирались на лужайке и старый невольник заводил свой рассказ. Но скажи нам, старец, в чем кроется причина того, что мы в детстве охотно слушали всякие истории и поныне нет для нас занятия приятней? В чем, собственно, очарование сказки?

Движение в комнате и призыв к вниманию надсмотрщика над невольниками помешали старику ответить. Юноши не знали, радоваться ли им новой истории или огорчаться по поводу прерванного увлекательного разговора со старцем. Тем временем встал второй невольник и начал свой рассказ.

ЕВРЕЙ АБНЕР, КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ

— Господин! Сам я из Могадора, что расположен на берегу моря. Эта история произошла во время правления могущественного короля Марокко Мулея Исмаила, она повествует о еврее Абнере, который ничего не видел.

Абнер был еврей как еврей, хитрый, лукавый, с глазами сокола, высматривающими свою выгоду. То, что хитрость и плутовство приносят вред, доказывает эта история.

Однажды вечером Абнер вышел прогуляться за городские ворота. На нем была остроконечная шапка, скромное, не совсем чистое платье. Время от времени он украдкой вынимал понюшку табака из золотой табакерки, которую никому не показывал, и поглаживал жиденькую бородку. Несмотря на бегающие глазки, выражавшие страх и озабоченность и высматривавшие, чем бы поживиться, лицо его выражало удовлетворение от прожитого дня. Все сегодня складывалось удачно: он побывал врачом, показал себя и как купец, то есть продал невольника со скрытым изъяном, на вырученные деньги приобрел целую меру каучука и изготовил одному состоятельному больному питье, которое поможет тому не выздороветь, а, напротив, отправиться на тот свет.

Только он дошел до пальмовой рощицы, как услышал крики бегущих людей. Это были королевские конюхи во главе с конюшим. Они на бегу оглядывали окрестности, как люди, что-то выискивающие.

— Эй, дружище, — крикнул, едва отдышавшись, конюший, — не видел ли ты королевского жеребца с седлом и уздечкой?

— Лучшего скакуна из королевской конюшни? — вместо ответа спросил Абнер. — С изящными копытами, подковы у него из чистого серебра, грива отлиывает золотом, как субботние огни в синагоге, хвост длиной в три с половиной фута, удила из золота двадцати трех каратов?

— Да-да, это он! — вскричал конюший.

— Он, он! — подтвердили конюхи.

— Разумеется, это Эмир, — согласился старый барейтор. — Я много раз говорил принцу Абдалаху, чтобы он был повнимательней с Эмиром, я его хорошо знаю и не раз предупреждал, что он вырвется на волю, мне же придется за это расплачиваться своею головой. О, я предвидел такое! Говори же скорей, куда он поскакал?

— Но я не видел никакого жеребца, — улыбаясь, ответил Абнер. — Почему мне знать, куда отправился королевский конь?

Удивленные таким противоречием, конюхи обступили Абнера, и тут случилось непредвиденное.

По странному совпадению, как это порою бывает, в то же самое время из гарема сбежала любимая собачонка королевы. Толпа черных рабов кинулась на ее поиски. Уже издалека они кричали:

— Вы не встречали любимого песика королевы?

— Это вовсе не песик, уважаемые, — проговорил Абнер, — а собачка.

— Какая разница! — воскликнул главный евнух. — Алина! Где она?

— Маленькая собачка, недавно родившая щенков, у нее длинная шерстка, пушистый хвост, она хромот на правую переднюю лапку.

— Это она, она! Алина жива! — хором закричали черные рабы. — Королева в обмороке, она не успокоится, пока ее любимица не вернется! Где же ты, Алина? А что будет с нами, если мы воротимся в гарем с пустыми руками? Говори же скорей, куда она побежала?

— Я не видел никакой собаки и даже не знал, что у моей королевы, да хранит ее Бог, есть маленькая Алина.

Конюхов и черных рабов из гарема привело в ярость бесстыдство, с каким Абнер подшучивал над королевскими любимцами. Они ни минуты не сомневались, что именно он украл разыскиваемых животных. Пока часть слуг продолжала поиски, конюший

с главным евнухом схватили Абнера, который продолжал то ли лукаво, то ли испуганно ухмыляться, и поволокли его пред светлые королевские очи.

— Введите! — повелел Мулей Исмаил, выслушав сообщение на придворном совете, который, ввиду важности происходящего, сам же и возглавлял.

Для установления истины виновнику назначили полсотни ударов по пяткам. Абнер мог кричать или визжать, признавать свою вину или отрицать ее, излагать подробности или приводить изречения из Священного Писания либо Талмуда, кричать: «Немилость короля все равно что рычание юного льва, а его милость — роса на траве!», «Да не отрубят тебе руку, когда твои глаза не видят, а уши не слышат!» — все равно Мулей Исмаил подал знак и поклялся бородой Пророка вкупе со своей собственной, что негодай заплатит головой за страдания принца Абдалаха и обморок королевы, если беглецов не вернут домой.

Еще звучали под сводами дворца марокканского короля крики несчастного, как пришло известие, что собака и жеребец найдены. Алина поразила приличных людей появлением в обществе мопсов, к счастью, они ее, как придворную даму, не прогнали прочь, а Эмир, вволю набегавшись, нашел свежую траву на берегу ручья и предпочел ее королевскому овсу, когда его увидел утомленный охотой высокородный вельможа, забывший в домишке крестьянина за куском черного хлеба с маслом все лакомства придворного стола.

Мулей Исмаил потребовал от Абнера объяснений по поводу его поведения, и тот, хотя и посчитал это запоздалым, тем не менее, трижды облобызав подножие королевского трона, повел такую речь:

— О всемогущий владыка, король королей, правитель Востока, яркая звезда справедливости, символ мудрости и зеркало правды, блеск твоего существования подобен золоту, а твое сияние равно бриллиантам, твердость твоя крепче железа, выслушай же раба, осмелившегося подать свой голос перед твоим сиятельным лицом! Клянусь всемогущим Богом и Его Пророком Моисеем, что никогда не видел жеребца твоего благословенного наследника и собачки твоей высокородной королевы!

Я прогуливался, чтобы немного отдохнуть от дневных забот, ни о чем не думая, когда в маленькой рощице встретил конюшего

твоей милости и черных служителей гарема твоей сиятельной супруги. А на мелком песке между пальмами я разглядел следы животного. Так как я прекрасно разбираюсь в следах, то сразу определил, что здесь прошлись лапки маленькой собачки. Нежные, длинные бороздки, маленькие неровности между следами говорили о том, что это была самочка, а то, что у нее длинные сосцы, показывало, что она недавно ощенилась. Возле отпечатков передних лап я обнаружил, что слой песка несколько сдвинут в сторону, это означало: у собачки длинные уши. А когда я углядел, что песок между отпечатками лап немного взрыхлен, то сразу понял: у малышки красивый пушистый хвост и ей нравится им помахивать. Кроме того, мне пришло в голову, что одна лапка меньше других проваливается в песок; к сожалению, от меня не укрылось, что собачка нашей многоуважаемой повелительницы, да будет мне позволено это произнести, чуть-чуть хромает.

Что же касается жеребца твоей милости, то осмелюсь доложить следующее: прогуливаясь между пальмами, я обратил внимание на конские следы. Заметив отпечатки маленьких копыт, я про себя подумал: «Он несомненно принадлежит к породе арабских скакунов, самой благородной на свете. Не прошло и четырех месяцев, как наш высокочтимый король продал нескольких жеребцов этой породы одному князю из земли франков, мой брат Рубен при сем присутствовал, так как принимал участие в сделке, на том многоуважаемый король выгадал столько-то и столько». Когда я увидел, что следы идут равномерно, в четкой последовательности, я подумал, как прекрасно галопирует этот жеребец, он достоин принадлежать самому королю, и вспомнил, что говорил о боевом коне Иов: такой конь радуется своей силе и устремляется навстречу вооруженному человеку, он пренебрегает опасностью и ничего не боится, не уклоняется от меча, даже когда звенят колчаны и сверкают копыта и пики. Тут я наклонился, как всегда это делаю, заметив на земле что-нибудь блестящее, обнаружил на камешке след, оставленный подковой благородного жеребца, и определил, что она из чистого серебра, ведь я даже по царапине могу распознать, сделана она благородным металлом или нет.

Расстояние между деревьями, где я прогуливался, было около семи футов, с некоторых листьев там была сбита пыль. «Это сделал жеребец своим хвостом, — сказал я себе, — сам он длиной

в три с половиной фута». Под деревьями, крона которых началась примерно в пяти футах от земли, я обнаружил свежесорванные листья, кроме того, на тех же деревьях увидел золотистые клочки шерсти. Ага, это жеребец рыжей масти!

Только я вышел из зарослей, как мне бросилась в глаза золотая нить на камне. «Тебе знакома эта нить, — подумал я, — ее оставил от своих удил проскакавший жеребец». Может ли при твоей любви к роскоши, о король из королей, даже самый худший из твоих коней грызть уздечку не из золота? Раз так, значит...

— Черт побери! — вскричал в нетерпении Мулей Исмаил. — Ну и глаза у тебя! Такие глаза будут нелишними при твоём штате, мой главный охотничий, они заменят целую свору легавых, а для тебя, министр безопасности, он дороже всех соглядатаев и шпионов. Ну, дружище, хочу отблагодарить тебя за проницательность. Пятьдесят ударов, что ты получил, стоят пятьдесят цехинов, следовательно, ты сэкономишь столько же, остальные заплатишь наличными. Развязывай свой кошель, а в будущем остерегайся насмеяться над королевской собственностью и не забывай мою милость!

Весь королевский двор удивлялся проницательности Абнера, его величество король поклялся, что никогда еще не встречал такого ловкого малого, однако не утешил его за перенесенную боль и утрату дорогих цехинов. Когда Абнер со стоном и вздохами вынимал их один за другим из своего кошель и на прощание ощупывал кончиками пальцев, над ним издевался Шнури, королевский шут, и спрашивал, проверены ли цехины на том камне, где испробовал свою челюсть рыжий жеребец принца Абдалаха.

— Сегодня ты заслужил славу своею мудростью, — говорил он, — давай поспорим на пятьдесят цехинов, что лучше бы ты промолчал. Как говорит Пророк, вырвавшееся слово догонит повозку, даже запряженную четвериком. Да и какую-нибудь левретку тоже, господин Абнер, если она, конечно, не хромает.

Какое-то время спустя после этого печального события Абнер вновь отправился в зеленую долину в предгорье Атласных гор.

Как и в первый раз, его догнала толпа вооруженных людей, и их предводитель вскричал:

— Эй, дружище, ты не видел здесь Горо, сбежавшего черного телохранителя нашего короля? Он, должно быть, хочет скрыться в горах.

— Ничем не могу помочь, господин генерал, — ответил Абнер.

— А разве ты не тот хитрый еврей, который не видел жеребца и собаки? Давай обойдемся без лишних хлопот! Здесь должен был пройти один раб. Принюхайся, не чувствуется ли в воздухе запах его пота? Не видны ли в высокой траве следы его ног? Повторяю тебе, здесь должен был пробежать черный раб, он единственный удачливый стрелок по воробьям из трубочки, а это любимое занятие короля. Говори же, или мы тебя мигом свяжем!

— Не могу я ничего сказать. Я видел то, что я ничего не видел.

— Ах ты, проклятый! Предупреждаю в последний раз! Куда побежал раб? Подумай о своих пятках, подумай о своих цехинах!

— Боже мой, боже! Ну, раз вы уверены, что я видел стрелка по воробьям, то и бегите туда, а если его там не окажется, то он где-то в другом месте.

— Так, значит, ты его видел? — прорычал разъяренный солдат.

— Да, господин офицер, если вам так хочется.

Солдаты побежали в указанном направлении. А Абнер, довольный своею хитростью, возвратился домой. Но не успел он постареть на двадцать четыре часа, как в его дом ввалилась толпа стражников из дворца и осквернила жилище, поскольку как раз наступила суббота, и потащила несчастного пред государевы очи.

— Ах ты, презренная собака! — вскричал вне себя от ярости король. — Ты осмелился направить королевских слуг, преследующих беглого раба, по неверному следу в горы, в то время как беглец устремился к морю и чуть уже не сел на испанский корабль? Хватайте его, солдаты! Он заслужил сотню плетей по пяткам! И сотню цехинов в мою казну! Сколько ударов выдержат его пятки, на столько же цехинов опустеет его кошель.

Ты знаешь, о господин, что владыка Марокко был скор на расправу. Так бедный Абнер был избит и обобран, не успев дать на то согласие. Сам он проклинал свою судьбу, которая его обрекла на то, чтобы страдали собственные пятки и кошель, когда его величество что-либо теряет.

Когда он, вздыхая и ворча, уходил, хромя, под смех дворцовых грубиянов, королевский шут Шнури ему сказал:

— Будь доволен, Абнер, неблагодарный Абнер! Разве это не честь для тебя, когда любая потеря высокочтимого короля, да хранит его Бог, ввергает тебя в ощутимую печаль? Пообещай мне хорошие чаевые, и я каждый раз за час до того, как владыка

Востока что-либо потеряет, буду появляться в твоей лавчонке в еврейском квартале и говорить: «Не выходи из своей лачуги, Абнер, сам знаешь почему. Закрой на задвижку окна и двери до самого захода солнца».

Вот мой рассказ, о господин, об Абнере, который ничего не видел.

Когда невольник умолк и в зале наступила тишина, юный пи-сец напомнил старику, на чем остановилась их беседа, и попросил объяснить, в чем, собственно, состоит очарование сказки.

— Сейчас скажу, — ответил старик. — Дух человеческий еще легче и подвижнее воды, принимающей любую форму и постепенно проникающей в самые плотные предметы. Он легок и свободен, как воздух, и, как воздух, делается еще легче и чище, когда парит над землей. Поэтому в каждом человеке живет стремление вознестись над обыденностью и витать в горних сферах, как и во сне. Вы сами, мой юный друг, сказали: «Мы жили в тех рассказах, мы думали и чувствовали вместе с теми людьми», — в том-то и состоит очарование, которое они имели для вас. Внимая рассказам раба, которые были его вымыслом, его фантазией, вы сами творили вместе с ним. Ваше внимание не задерживалось на окружающих предметах, на обычных ваших мыслях, нет, вы всему сопереживали, это с вами случались чудеса — такое участие вы принимали в том, о ком шел рассказ. Так ваш дух, следуя за нитью повествования, возносился над существующим, которое казалось вам не столь прекрасным и увлекательным, так ваш дух витал вольней в неведомых высших сферах, сказка становилась явью или, если угодно, явь превращалась в сказку, ибо вы творили и жили в сказке.

— Я не вполне вас понимаю, — заметил юный купец, — но вы правы, говоря, что мы жили в сказке или сказка жила в нас. Я еще помню ту блаженную пору, когда все свободное время мы грезили наяву, мы воображали, что будто бы нас прибило к пустынным, необитаемым островам, мы совещались, что предпринять ради спасения собственной жизни, и часто сооружали хижины в зарослях ивняка, из жалких плодов готовили себе скудную пищу, хотя в сотне шагов находился наш дом, где мы могли получить все самое лучшее. Да, была пора, когда мы ожидали появления доброй феи или чудесного гнома, которые подойдут к нам и скажут: «Сей-

час разверзнется земля, не откажите мне в любезности сойти тогда в мой хрустальный дворец и отведать тех яств, что подадут вам мои слуги — мартышки!»

Молодые люди рассмеялись, хотя и согласились, что их друг говорит правду.

— Еще и поныне, — сказал один из них, — я время от времени поддаюсь волшебству. Так, например, я сильно бы рассердился на брата за глупую шутку, если бы он ворвался ко мне и сказал: «Слыхал о несчастье с нашим соседом, толстым пекарем? Он повздорил с волшебником, и тот из мести превратил его в медведя, так вот он теперь лежит у себя в комнате и отчаянно ревет». Я бы здорово разозлился и обозвал брата вралем. Но совсем другое дело, кабы мне рассказали, что толстяк-сосед отправился в дальнее путешествие в чужие, неведомые края, там угодил в руки волшебника, а тот превратил его в медведя. Я постепенно перенесся бы в рассказ, странствовал бы вместе с соседом, переживал бы чудеса, и меня бы не очень удивило, если бы мой толстяк оказался в медвежьей шкуре и ходил на четвереньках.

— И все же, — улыбаясь, сказал старик, — существуют весьма занимательные рассказы, где не появляются ни феи, ни волшебники, ни гении, ни хрустальные дворцы с чудесным угощением, ни птица Рок, ни волшебный конь.

— Вы хотите устыдить нас, — воскликнул юный купец, — потому что мы с таким жаром вспоминали сказки нашего детства. Они нас так очаровывали, что мы буквально жили ими, вы на это намекаете, не правда ли?

— О нет, нет, мне и в голову не приходило порицать вас за любовь к сказкам, напротив, это говорит о вашем неиспорченном сердце, вашей способности переноситься в сказку, не воспринимая ее как детскую игру. Но меня радует то, что существует другой вид рассказов, которые привлекают и очаровывают совсем по-другому.

— Что вы имеете в виду? Объясните получше! — попросили юноши.

— Я думаю, надо делать известное различие между сказками и историями, которые в обычной жизни называются рассказами. Если я вам скажу, что собираюсь рассказать вам сказку, то вы будете рассчитывать на приключение, далекое от повседневной жизни, которое происходит в мире, отличном от земного. Или, говоря ясней, в сказке вы можете рассчитывать на появление дру-

гих существ, а не только смертных людей. В судьбу героя, о которой повествует сказка, вмешиваются неведомые силы, чародеи и феи, духи и повелители духов. Все повествование облекается в необыкновенную, чудесную форму и выглядит как наши ковры или картины наших лучших художников, которые франки называют арабесками. Правоверному мусульманину запрещено воссоздавать образ человека — творение Аллаха, поэтому на мусульманских тканях мы видим замысловато переплетающиеся деревья и ветви с человеческими головами, людей, переходящих в куст или рыбу, — словом, фигуры, напоминающие обычную жизнь, и тем не менее все же необычные. Вы меня понимаете?

— Мне кажется, я догадываюсь, — ответил писец, — однако продолжайте.

— Такова и сказка: чудесная, необычная, неожиданная, так как она далека от повседневной жизни и переносит в чужие края или давно прошедшие времена. У каждой страны, у каждого народа есть такие сказки — у турок и у персов, у китайцев и у монголов. Даже в стране франков, как говорят, много сказок, по крайней мере так мне рассказывал один ученый гяур. Но они не столь хороши, как наши, потому что прекрасных фей, обитающих в великолепных дворцах, у них заменяют волшебницы, которых именуют ведьмами: это злобные уродливые существа, живущие в жалких лачугах, они носятся вскачь через туман верхом на помеле, вместо того чтобы плыть по небесной лазури в раковинах, запряженных грифонами. Еще у них водятся гномы и подземные духи, крохотные нескладные уродцы, вытворяющие злые шутки. Таковы сказки. Совсем иное дело истории, которые обычно зовутся рассказами. Действие их происходит на земле, в обыденной жизни, чудесной в них бывает только запутанная судьба героя, который делается богатым или бедным, счастливым или несчастным не при помощи волшебства, заклęcia или проделок фей, как это бывает в сказках, а благодаря самому себе или особому стечению обстоятельств.

— Правильно, — подтвердил один из юношей. — Такие истории, без примеси чудесного и волшебного, встречаются в прекрасных рассказах Шахерезады, известных под названием «Тысяча и одна ночь». Большинство приключений султана Гарун аль-Рашида и его визиря именно такого рода. Они покидают дворец, переодевшись, и переживают случаи, которые в дальнейшем разрешаются вполне естественно.

— И тем не менее вам придется признать, — продолжал старик, — что эти истории — не худшая часть «Тысячи и одной ночи», а между тем как они отличаются самым ходом действия, деталями, всей своей сутью от сказок о принце Бирибинкере, или о трех одноглазых дервишах, или о рыбаке, вытащившем из моря кубышку, запечатанную печатью царя Соломона! Но в конечном счете очарование сказки и рассказа проистекает из одного основного источника: мы переживаем нечто необыкновенное, выдающееся. В сказках это необычное заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную человеческую жизнь, а в рассказах происходит нечто, правда, по естественным законам, но поразительным, необычным образом.

— Удивительно! — воскликнул писец. — Удивительно, что естественный ход вещей в рассказах привлекает нас так же, как и сверхъестественное в сказках. В чем тут дело?

— Все дело в изображении отдельного человека, — ответил старик. — В сказках бывает такое нагромождение чудесного, человек так мало действует по собственной воле, благодаря своим побуждениям, что отдельные образы и характеры могут быть лишь бегло обрисованы. Иное в обычных рассказах, где самое важное и привлекательное — то искусство, с каким переданы речь, поступки каждого в соответствии с его характером.

— Поистине, вы правы! — ответил юный купец. — Я ни разу не удосужился об этом подумать, смотрел и слушал, не сосредоточиваясь, порою забавляясь, порою скучая — словом, особо не задумываясь, собственно, почему. Но вы даете нам ключ к загадке, своего рода пробный камень, чтобы мы испробовали ваше заключение и вынесли правильное суждение.

— Всегда так и поступайте, — заключил старик. — Тогда вы будете больше наслаждаться, ибо научитесь размышлять над тем, что слышали. Но глядите, поднимается новый рассказчик.

Так оно и было. И другой рассказчик начал.

МОЛОДОЙ АНГЛИЧАНИН

Господин мой! Я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало, вот почему я не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей.

А потому я прошу позволения рассказать о том, что случилось у меня на родине, — может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь благородны, как ваши, в них рассказывается не о султанах или наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками или еще как-нибудь в этом роде, нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если только не повествуют о солдатах.

В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади — дома мирового судьи и именитых купцов, а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, где что творится, и когда у пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обеденную пору это известно уже всем. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами — как принято говорить у нас — и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие, а в результате выясняют, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра «подмазали» или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтобы впредь выписывал рецепты подороже. Вы можете себе представить, о господин, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был приезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет, что ему надобно. Бургомистр, правда, видел его паспорт — бумажку, которую у нас всякий обязан иметь при себе.

Бургомистр изучил паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал свое мнение: хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, все же за этим что-то кроется, вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением — чему ж удивляться, если с тех пор на приезжего стали смотреть косо, как на лицо подозрительное! А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан. Приезжий снял за несколько золотых дом, до того пустовавший, привез туда целую фуру со странной утварью: печками, горнами, большими тиглями — и зажил там в полном одиночестве. Он даже стряпал сам, у него не бывало ни души, за исключением од-

ного грюнвизельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и тому разрешалось входить только в сени, и там приезжий принимал от него покупки.

Я был десятилетним мальчуганом, когда приезжий появился у нас в городе, но и сейчас еще, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвел в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру прочих мужчин, в кегельбан, по вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как другие, выкурить трубку и потолковать о том, что пишут в газетах. Напрасно бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкушать чашку кофе; он всякий раз отговаривался под тем или иным предлогом. Поэтому одни считали его ненормальным, другие — евреем, третьи упорно и настойчиво твердили, что он чародей и волшебник. Мне минуло восемнадцать, двадцать лет — и все еще этого человека называли у нас «приезжим».

Вот как-то случилось, что в город к нам пришли люди с заморскими зверями. Такие бродячие комедианты, с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведем, потешными, наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, обученными разным штукам, проходят обычно по городу, останавливаются на перекрестках и площадях, извлекают из дудочки и барабана весьма неблагозвучную музыку, под которую их труппа пляшет и прыгает, а затем собирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грюнвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и вытворявшим всякие забавные кунштыки. Собачья и обезьянья труппа очутилась также и перед домом приезжего господина. Вначале, когда раздались звуки барабана и дудки, он сердито глянул через потускневшее от времени окно. Но затем подобрел, высунулся, к общему удивлению, из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом.

Наутро звериная труппа тронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно сидели собаки и обезьяны, а поводыри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почтовую станцию и, к великому удивлению станционного смотрителя, спешно потребовал каре-

ту и почтовых лошадей, выехал через те же ворота и двинулся по тому же тракту, что и звери. Весь городишко был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился.

Было уже темно, когда приезжий подъехал к тем же городским воротам. В карете сидел еще кто-то, надвинув шляпу на самый лоб, а уши и рот повязав шелковым платком. Писарь при заставе почел своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт; но тот ответил весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке.

— Это мой племянник, — вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет, — это мой племянник, и пока что он плохо понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на своем родном диалекте по поводу задержки.

— Ну, ежели это племянник вашей милости, — ответил писарь, — то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?

— Разумеется, — сказал приезжий, — и, должно быть, пробудет здесь сравнительно долго.

У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город досадовали на писаря. Мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы, уроженцами какой страны были они с дядей. Писарь уверял, будто он говорил не по-французски и не по-итальянски, а скорее по-английски, речь его звучала как-то растянуто, и, если он не ошибается, молодой человек сказал: «Goddam!»¹ Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести национальность. Теперь в городишке только и разговору было что о молодом англичанине.

Но молодой англичанин тоже не показывался ни в кегельбаче, ни в пивном погребке; зато он, правда другим способом, давал много пищи людским толкам. Так, часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего подымались страшные крики и возня, вот почему люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин, в красном фраке и зеленых штанах, взлохмаченный и страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну, а дядюшка-приезжий в красном шлаф-

¹ Английское ругательство, обозначающее проклятие.

роке гонялся за ним с арапником; чаще всего он промахивался, но несколько раз любопытным, собравшимся перед домом, почудилось, будто он задел юношу, они слышали жалобные, испуганные стоны и шелканье кнута. Дамы нашего городка приняли близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и в конце концов упростили бургомистра вмешаться в это дело. Он послал приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, буде такие сцены не прекратятся и впредь, взять молодого человека под свою защиту.

Но каково было удивление бургомистра, когда, впервые за десять лет, у него в доме появился приезжий господин! Он оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него родителями юноши, которые поручили ему его воспитание; в общем, это умный, смысленный мальчик, уверял он, но языки даются ему с большим трудом; он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюнвизельское общество; между тем язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остается ничего другого, как выпороть его надлежащим образом. Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтивого, как приезжий. «Жаль только, что он так мало бывает в обществе, — прибавлял он, — но, как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он, я полагаю, будет часто посещать мои журфиксы».

Этого было достаточно, чтобы общество в корне изменило свое мнение. О приезде теперь отзывались как о человеке учтивом, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. «Он преподает племяннику немецкий язык», — говорили грюнвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца обучение немецкому языку как будто закончилось; дядюшка принялся теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам. Приезжий призвал его и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что хотя тот и очень понятлив, но, что касается танцев, несколько своеволен; он уже брал уроки у другого танцмейстера, и тот обучил его таким рискованным антраша, что вы-

ступать с ними в обществе неудобно; племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором, хотя в его танцах нет даже отдаленнейшего сходства с вальсом или галопом, нет даже сходства с экосезом или франсезом. Впрочем, приезжий обещал по талеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши.

Француз уверял потом «по секрету», что не видел ничего более необычного, чем эти уроки танцев. Племянник, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй только несколько коротконогий, всегда являлся на урок тщательно завитой, в красном фраке, широких зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом, сначала бывал довольно благонаправлен и понятлив, но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывал лихие пируэты и выкидывал такие антраша, что танцмейстер терял голову; когда же он пробовал его образумить, тот стаскивал с ног изящные туфли, запускать ими французу прямо в голову и принимался прыгать по всей комнате на четвереньках. На шум прибежал из спальни старик-дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове и не очень ласково гладил племянника арапником по спине. Тогда племянник раздражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на оконные карнизы и говорил на чужом, непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, лупил что есть мочи и пряжкой стягивал ему потуже шейный платок, после чего племянник каждый раз становился благонаправленным и чинным и урок танцев продолжался без новых помех.

Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился. Подрядили скрипача из городского оркестра и усадили его на стол. Танцмейстер изображал даму, для чего дядюшка нарядил его в шелковую юбку и индийскую шаль; племянник приглашал его и принимался с ним танцевать и вальсировать; а танцором он был неутомимым, рьяным, он не выпускал учителя из своих длинных рук, сколько бы тот ни охал и ни кричал, и танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстера эти уроки чуть не свели в могилу, но талер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино, которым потчевал

его приезжий, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступить порог безлюдного дома.

Но грюнвизельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы испытывали большой недостаток в кавалерах и посему радовались, что к зимнему сезону получат такого лихого танцора.

Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысак-ками, и лакей в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оттуда: один был старик приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек, с таким трудом научившийся немецкому языку и такой рьяный танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запятки, и карета — вы только представьте себе! — покатила прямо к бургомистрову дому.

Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя не отличавшиеся безупречной чистотой кухонные передники и чепцы и привели себя в надлежащий вид. «Совершенно ясно, — говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, — совершенно ясно, что приезжий решил вывезти племянника в свет. Старый дурак за десять лет ни разу не счел нужным побывать у нас в доме; но ради племянника, как говорят, молодого человека с большим шармом, ему можно это простить». Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали — всех по очереди объезжали дядюшка с племянником, стараясь снискать благоволение каждого семейства.

Всюду только и разговору было что о них, и все жалели, что не приобрели уже раньше столь приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, правда разговаривая, он улыбался, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет, а разговаривал он о погоде, о нашей местности, о приятности в летнюю пору погребка на горе — говорил так разумно и рассудительно, что грюнвизельцы были очарованы. О племяннике и говорить нечего! Он очаровал всех, завоевал

все сердца. Правда, что касается наружности, с лица его нельзя было назвать красивым; подбородок и особенно нижняя челюсть слишком выдавались вперед, и цвет лица был чересчур смугл, да еще он подчас корчил уморительные рожи, закрывал глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную, более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем, но все ему замечательно шло; он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, вытягивал ноги; но то, что у другого молодого человека сочли бы нарушением хорошего тона и в высшей степени вульгарным, в данном случае признавали гениальностью. «Он англичанин, — говорили окружающие, — а они все таковы: англичанин может растянуться на канapé и заснуть в присутствии десяти дам, которым некуда сесть, так что они принуждены стоять около него; на англичанина за это нельзя сердиться». А старика-дядю он слушался беспрекословно: достаточно было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался вприпрыжку по комнате или втягивал ноги на стул, что делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке: «Племянник мой еще несколько дик и невоспитан, но я крепко надеюсь на общество: оно его отшлифует и образует как следует, и именно вашим заботам я поручаю его особенно настоятельно».

Итак, племянника вывезли в свет. И в этот, и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговору было что об этом событии. Но дядюшка на том не остановился; казалось, он совершенно переменил и образ мыслей, и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями грюнвизельская знать. Племянник играл мастерски — он никогда не сшибал меньше пяти или шести кеглей зараз; правда, время от времени на него как будто что накатывало: вдруг ни с того ни с сего сорвется вслед за шаром и учинит среди кеглей сущий погром или, сшибив короля, станет на голову, не щадя своей изящно завитой прически, и дрыгает в воздухе ногами; в другой раз не успеешь и оглянуться, как он уже сидит на крыше проезжающей мимо кареты и строит оттуда рожи; проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу.

Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, дядюшка усердно извинялся перед бургомистром и прочими за озорство племянника; они же смеялись, приписывали все его молодости, уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством, и обожали «молодого повесу», как они его называли.

Случалось им и порядком на него сердиться, однако они не решались выражать свое недовольство, ведь молодой англичанин слыл за образец начитанного и разумного юноши. По вечерам старик с племянником хаживали и в местную гостиницу «У золотого оленя». Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, держал он себя стариком, усаживался за столик, надевал невероятные очки, вытаскивал длинную трубку, закуривал и дымил пуще всех. А когда разговор заходил о том, что пишут в газетах, о войне и мире и доктор высказывал одно мнение, бургомистр другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познаниям, то племяннику могло вдруг прийти в голову проявить совершенно противоположное мнение; он ударял по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять бургомистру и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышал совсем иное и понимает в этих делах гораздо больше. Затем он выражал на странном ломаном немецком языке свое мнение, которое, к великой досаде бургомистра, все признавали совершенно правильным, ведь он же англичанин, как же ему не знать все гораздо лучше прочих.

Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать свое недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и критиковал тот или иной ход, говорил доктору, что ему надлежало бы пойти так-то и так-то, и оба игрока втайне приходили в ярость. Когда же затем бургомистр ворчливо предлагал ему сыграть с ним партию, чтобы по всем правилам объявить ему мат, ибо он считал себя вторым Филидором¹, то дядя потуже стягивал племяннику шейный платок, после чего тот становился послушным и чинным и делал бургомистру мат.

До тех пор грюнвизельцы чуть не каждый вечер развлекались картами, по полкрейцеру за партию; племянник счел эту ставку

¹ *Филидор* (1726–1795) – французский композитор и шахматист.

мизерной, стал ставить кроненталеры и дукаты, утверждал, будто никто не играет столь искусно, как он, но затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примиряло с ним разобидевшихся было партнеров. И они ни капли не совестились, забирая у него столько денег. «Ведь он же англичанин, а значит, богат от рождения». — говорили они и клали дукаты себе в карман.

Итак, племянник приезжего господина в скором времени стал пользоваться незаурядным уважением в городе и во всей округе. Старожилы не запомнили, чтобы в Грюнвизеле когда-нибудь видели подобного молодого человека; он был самым оригинальным явлением на свете. Нельзя сказать, чтобы племянник чему-либо обучался — разве только танцам. Латынь и греческий были для него, как принято говорить, китайской грамотой. Однажды во время какой-то игры в доме у бургомистра ему пришлось написать несколько слов, и оказалось, что он не умеет подписать даже собственную фамилию; в географии делал он самые удивительные ошибки: ему ничего не стоило пересадить немецкий город во Францию или датский в Польшу; он ничего не читал, ничему не учился, и пастор часто задумчиво качал головой, сокрушаясь о неведении молодого человека; тем не менее все, что он делал и говорил, находили прекрасным, а он был таким наглым, что всегда считал себя правым и все свои речи заканчивал словами: «Я это лучше знаю!»

Так подошла зима, вот тут-то слава племянника расцвела еще пуще. Любую компанию без него считали скучной; когда разумный человек высказывал свое мнение, все зевали; когда же племянник изрекал на плохом немецком языке нелепейший вздор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек вдобавок еще и поэт: редкий вечер не вытаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто одни его стихотворения плохи и бессмысленны, а другие они уже где-то читали в напечатанном виде; но племянник, нисколько не смущаясь, продолжал декламировать, а затем обращал общее внимание на красоту своих стихов, и всякий раз имел шумный успех.

Но настоящим триумфом были для него грюнвизельские балы. Он не знал усталости в танцах, никто не танцевал так быстро, как он, никто не проделывал столь рискованных и необычно-

венно грациозных антраша. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и, хотя костюм обычно сидел на нем как-то нескладно, все находили, что одет он прекрасно и очень к лицу. Правда, остальные кавалеры были несколько обижены заведенным им новым порядком. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а затем распоряжаться танцами предоставлялось молодым людям из лучших семей; но с появлением приезжего молодого человека все изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал все, как ему заблагорассудится, и оказывался хозяином, распорядителем и королем бала. Дамы находили такую манеру превосходной и весьма приятной, мужчины не смели возражать, и племянник оставался в том сане, в который возвел себя сам.

Казалось, дядюшке балы доставляли особое удовольствие: он глаз не спускал с племянника и все время тихонько посмеивался, а когда гости спешили к нему, рассыпаясь в похвалах учтивому, благовоспитанному юноше, он не мог совладать с собой от радости, разражался веселым смехом и вел себя как безумный. Грюнвизельцы приписывали такие бурные проявления веселости его большой любви к племяннику и находили это вполне естественным. Но время от времени дяде приходилось прибегать к отеческому внушению: молодой человек во время изящнейшего танца мог ни с того ни с сего одним прыжком очутиться на помосте, где восседал городской оркестр, вырвать контрабас из рук капельмейстера и отчаянно запиликовать на нем; или он вдруг переворачивался и танцевал на руках, а ногами дрыгал в воздухе. Тогда дядя обычно отводил его в сторону, строго журнил, ту же стягивал ему шейный платок, и племянник опять становился шелковым.

Так вел себя племянник в обществе и на балах. Но, как это обычно бывает, дурные привычки прививаются куда легче хороших, и в новой оригинальной моде, как бы она ни была нелепа, всегда есть что-то притягательное для молодежи, еще не задумывающейся над собой и жизнью. Так обстояло дело и в Грюнвизеле. Увидев, что племянника не бранят, а даже превозносят его нелепые манеры, неучтивый смех и болтовню, за грубые ответы старшим, что это даже находят гениальным, молодые люди решили: «Стать таким гениальным повесой не трудно». Прежде это были прилежные, дельные юноши; теперь они думали: «К чему уче-

ность, когда невежество дает куда больше?» Они отложили в сторону книги и стали слоняться по улицам и площадям. Прежде они были учтивы и вежливы со всеми, дожидались, пока их не спросят, и отвечали пристойно и скромно, теперь они становились на одну доску со взрослыми, болтали вместе с ними, высказывали свое мнение, смеялись в лицо самому бургомистру, когда он что-нибудь говорил, и утверждали, будто знают все лучше других.

Прежде грюнвизельская молодежь терпеть не могла грубости и бессмысленного времяпрепровождения. Теперь молодые люди распевали озорные песни, курили огромные трубки и шатались по кабакам. Они купили себе также большие очки, хотя видели отлично, нацепили их на нос и считали себя взрослыми, потому что теперь уподобились хваленому племяннику. Дома и в гостях они растягивались в сапогах и шпорах на канаве, раскачивались на стуле в хорошем обществе или, подперев кулаками щеки, ставили локти на стол, что представляло весьма приятную картинку. Напрасно твердили им матери и друзья, сколь все это глупо, сколь неприлично, — они же ссылались на блестящий пример племянника. Напрасно доказывали им, что племяннику, как англичанину, приходится прощать некоторую грубость, свойственную его нации, грюнвизельская молодежь утверждала, что не меньше любого англичанина имеет право быть невоспитанной на гениальный манер, — коротко говоря, жалко было смотреть, как под влиянием дурного примера совершенно исчезли в Грюнвизеле добрые нравы и обычаи.

Но недолго радовалась молодежь такой грубой, разгульной жизни. Следующее событие сразу все изменило. Зимние увеселения должны были закончиться большим концертом, исполненным частично музыкантами городского оркестра, частично искусными грюнвизельскими любителями музыки. Бургомистр превосходно играл на виолончели, а доктор на фаготе, аптекарь, хотя и не обладал настоящим дарованием, играл на флейте, несколько грюнвизельских девиц разучили арии, — словом, программа была составлена прекрасно. Но, по мнению приезжего, концерту такого рода, хотя и превосходному, явно недостает дуэта, потому что в каждом порядочном концерте необходим дуэт. Эти слова вызвали некоторое замешательство; правда, дочь бургомистра пела как соловей, но где раздобыть кавалера, который

мог спеть с ней дуэт? В конце концов вспомнили о старом органисте, в свое время певшем роскошным басом, но приезжий уверял, будто все эти хлопоты излишни, — его племянник превосходно поет. Все были поражены вновь открывшимся замечательным талантом юноши; ему пришлось спеть кое-что для пробы, и, если не считать некоторых странных повадок, которые сочли за английские, пел он как ангел. Итак, спешно разучили дуэт, и вот наконец настал вечер, во время которого грюнвизельцам предстояло усладить свой слух концертом.

К сожалению, дядюшка заболел и не мог присутствовать при триумфе своего племянника, но он передал бургомистру, навестившему его за час до концерта, кое-какие распоряжения относительно своего питомца.

— Племянник мой — добрая душа, — сказал он, — но время от времени в голову ему приходят странные мысли, и тогда он ведет себя нелено; именно поэтому я весьма сожалею, что не могу присутствовать на концерте, меня-то он побаивается, и сам знает почему! К чести его, я должен сказать, что эти проказы не духовного, а скорее физического порядка, они свойственны его природе; не будете ли вы, господин бургомистр, так любезны, если ему ни с того ни с сего взбредет на ум усесться на нотный пюпитр, или во что бы то ни стало провести смычком по контрабасу, или еще что-нибудь в том же роде, не соблаговолите ли вы несколько ослабить его шейный платок, а если и это не поможет, снимите платок вовсе. Вот увидите, каким он сразу станет послушным и чинным!

Бургомистр поблагодарил болящего за доверие и обещал, если понадобится, поступить по его совету.

Зал был переполнен, на концерт явились не только грюнвизельцы — гости съехались со всей округи. Охотники, пасторы, чиновники, помещики и все прочие, живущие на расстоянии трех часов езды, прибыли с чадами и домочадцами, дабы разделить с грюнвизельцами редкое наслаждение. Музыканты из городского оркестра не ударили в грязь лицом; вслед за ними выступил бургомистр, исполнивший партию на виолончели под аккомпанемент аптекаря, который играл на флейте; после них органист с шумным успехом пропел басовую арию; немало также хлопали и доктору, который играл на фаготе.

Первое отделение закончилось, и все с нетерпением ждали второго, в котором молодой приезжий и бургомистрова дочь

должны были исполнить дуэт. Племянник явился в шикарном костюме и уже давно привлекал внимание присутствующих. Недолго думая, развалился он на великолепном кресле, предназначенном для некоей графини, проживающей по соседству, вытянул ноги и, не довольствуясь большими очками, рассматривал всех в невероятных размеров бинокль, да еще возился с огромным меделянским псом, которого захватил с собой, несмотря на запрещение вводить в зал собак. Графиня, для которой было приготовлено кресло, вошла в зал, но племянник и не подумал встать и уступить ей место — наоборот, уселся еще удобнее, и никто не решился сделать молодому человеку замечание; а знатной даме пришлось сидеть на самом обыкновенном соломенном стуле среди прочих женщин нашего города, чем, как говорят, она осталась весьма недовольна.

Во время отменной игры бургомистра, во время превосходной басовой арии органиста, даже во время фантазии, исполненной доктором на фаготе, когда все слушали, затаив дыхание, племянник приказывал собаке приносить ему носовой платок или громко болтал с соседями, так что те, кто его не знал, поражались странному поведению молодого человека.

Поэтому нет ничего удивительного, что все с любопытством ждали, как он исполнит дуэт. Началось второе отделение; музыканты городского оркестра сыграли небольшой номер, бургомистр в сопровождении дочки подошел к молодому человеку, передал ему ноты и сказал:

— Мосье! Не угодно ли вам выступить в дуэте?

Молодой человек расхохотался, оскалил зубы, вскочил и вместе с ними последовал к юпитру, а все общество замерло в ожидании. Капельмейстер взмахнул палочкой и кивнул племяннику, чтобы он начинал. А тот глянул сквозь свои большие очки на ноты и испустил отвратительные, жалкие звуки. Капельмейстер крикнул ему:

— На два тона ниже, уважаемый! *До*, вам надо взять *до*!

Но вместо того чтобы взять *до*, племянник снял с одной ноги ботинок и запустил им капельмейстеру в голову, да так, что взвилось облако пудры. Увидя такое, бургомистр подумал: «Ах, вот опять нашли на него его причуды физической природы»; он подскочил, схватил его за шею и немножко ослабил его шейный платок, но теперь молодой человек разошелся пуще прежнего.

Он запрыгал и заговорил, но не по-немецки, а на каком-то странном, никому не понятном языке. Бургомистр был в отчаянии от такой досадной помехи; он подумал, что с молодым человеком творится нечто совсем непонятное, и поэтому решил снять с него шейный платок. Но не успел он это сделать, как окаменел от ужаса; вместо человеческой кожи нормального цвета шея молодого человека была покрыта темно-коричневой шерстью, а сам он тут же запрыгал еще выше и чуднее, запустил свои лайковые перчатки в волосы, потянул, и — о чудо! — его прекрасные волосы оказались париком, который он швырнул бургомистру в физиономию; теперь голова его предстала в новом виде — покрытая такой же коричневой шерстью, что и шея.

Он пустился вскачь по столам и скамьям, опрокинул юкитры для нот, переломал скрипки и кларнеты и вел себя как безумный.

— Держи, держи его! — вне себя кричал бургомистр. — Он с ума сошел, держи его!

Но сделать это было не так-то просто — он снял перчатки и показал когти, которыми пребольно царапался. Наконец одному отважному охотнику удалось с ним справиться. Он так сжал ему длинные руки, что теперь тот только дрыгал ногами и хохотал и кричал хриплым голосом. Вокруг толпилась публика и с недоумением глядела на странного юношу, теперь уже совсем непохожего на человека. Но один проживавший по соседству ученый, у которого был настоящий музей предметов натуральной истории и целая коллекция чучел животных, подошел поближе, внимательно посмотрел на него и с удивлением воскликнул:

— Господи боже мой, милостивые государины и милостивые государи, как допустили вы это животное в порядочное общество? Да ведь это же обезьяна, *Homo Troglodytes Linnaei*. Уступите его мне, я тут же дам вам шесть талеров, сдеру с него шкуру и набью его чучело для своей коллекции.

Кто опишет удивление грюнвизельцев, когда они услышали эти слова!

«Как? Обезьяна, орангутанг в нашем обществе? Молодой приезжий просто-напросто обезьяна?» — восклицали они и глядели друг на друга, отупев от неожиданности. Они не могли понять, не могли поверить собственным глазам, мужчины подверг-

ли его более тщательному осмотру. Но он как был, так и остался самой обыкновенной обезьяной.

— Но как же это возможно, — воскликнула бургомистерша, — ведь он же часто читал мне свои стихи! Ведь он не раз обедал у меня, как и прочие люди!

— Что? Как же так, ведь он пивал у меня кофе, часто и помногу, и по-ученому разговаривал с моим мужем и курил? — всполошилась докторша.

— Как! Разве это возможно, — подхватили мужчины, — ведь он же катал с нами шары в кегельбане и спорил о политике, как нам подобный?

— Ну как же так! Ведь у нас на балах он вел танцы! — жаловались все. — Обезьяна! Обезьяна! Это чудеса, колдовство!

— Да, это колдовство и дьявольское наваждение, — сказал бургомистр, показывая шейный платок племянника или, если хотите, обезьяны. — Глядите! Это волшебный шарф, с его помощью он нас околдовал. В платок вшита широкая полоса эластичного пергамента, на которой выведены какие-то диковинные письмена. Мне даже сдается, будто это по-латыни. Кто-нибудь может прочитывать?

Пастор, ученый человек, проигравший обезьяне не одну партию в шахматы, поглядел на пергамент и сказал:

— Нет, только буквы латинские, а написано здесь:

Смешно смотреть, как обезьяна
За яблоко берется рьяно.

Да, это адский обман, — продолжал он, — своего рода колдовство и заслуживает примерного наказания.

Бургомистр был того же мнения и тотчас же отправился к приезжему, который, несомненно, был волшебником, а шесть полицейских несли обезьяну, собираясь тут же приступить к допросу.

В сопровождении несметной толпы подошли они к безлюдному дому, ведь всякому хотелось посмотреть, что произойдет дальше. Принялись стучать в дверь, звонить в звонок — все напрасно, никто не показывался. Тогда бургомистр, разозлившись, приказал высадить двери и отправился наверх, в дядюшкину спальню. Но там нашли только старую домашнюю утварь. При-

езжего и след простыл. Но на его письменном столе лежало адресованное бургомистру большое припечатанное печатью письмо, которое тот тут же и вскрыл. Он прочитал:

«Милые грюнвизельцы!

Когда вы вскроете это письмо, меня уже не будет в вашем городе, а вам уже давно будет известно, какого роду-племени мой милый племянник. Отнеситесь к шутке, которую я позволил себе сыграть с вами, как к хорошему уроку и впредь не навязывайте приезжему, желающему жить по-своему, ваше общество! Я знаю себе цену и потому не хотел вместе с вами погрязнуть в вечных сплетнях, усвоить ваши глупые обычаи и смешные манеры. Вот почему я и воспитал себе в заместители молодого орангутанга, столь вам полюбившегося. Будьте здоровы и используйте по мере сил сей урок».

Грюнвизельцам было очень стыдно перед всей округой. Утешались они только тем, что это случилось при помощи сверхъестественных сил; но больше других стыдилась грюнвизельская молодежь того, что переняла дурные привычки и повадки обезьяны. Отныне они уже не клали локтей на стол, не качались на стуле, молчали, пока их не спросят; они сняли очки и стали по-прежнему вежливы и благонравны, а если кому случалось снова вспомнить те нелепые манеры дурного тона, то грюнвизельцы говорили: «Вот так обезьяна!» А обезьяну, так долго игравшую роль молодого человека, сдали на руки тому ученому, у которого был кабинет предметов натуральной истории. Орангутанг и поныне разгуливает у него по двору; ученый кормит его и как диковинку показывает всякому гостю.

Когда невольник закончил, зала огласилась смехом, и юноши тоже смеялись вместе со всеми.

— Должно быть, странные люди эти франки, и, правду говоря, я предпочту жить здесь, в Александрии, с шейхом и муфтием, чем в Грюнвизеле в обществе пастора, бургомистра и их глупых жен!

— В этом ты прав, — подхватил молодой купец. — Не хотелось бы мне умереть в Франкистане. Франки — грубые, дикие варвары, и для образованного турка или перса жить среди них было бы очень тягостно.

— Об этом вы сейчас кое-что услышите, — пообещал старик. — Насколько я знаю от надсмотрщика над рабами, вон тот красивый юноша расскажет нам много о Франкистане, хотя по рождению он мусульманин, но прожил он там долго.

— Как? Вон тот, что сидит последним в ряду? Поистине, грех шейху отпускать его на волю! Это самый красивый раб во всем краю. Посмотрите, какое у него мужественное лицо, какой смелый взгляд, какая стройная стать. Шейх мог бы повелеть не назначать его на тяжелую работу. Пусть отгоняет от шейха мух или подает ему трубку. Нести подобную службу — одно удовольствие; а такой невольник поистине украшение для дома. Он тут всего три дня, и шейх уже отпускает его? Это безумие, грех!

— Не осуждайте того, кто мудрей всех в Египте! — с особой выразительностью сказал старик. — Ведь я вам уже говорил — он отпускает его на волю, думая заслужить тем милость Аллаха. Вы говорите: раб красив и статен, и это правда. Но сын шейха — да возвратит его Пророк в отчий дом! — сын шейха был красивым мальчиком и теперь тоже вырос бы в высокого и статного юношу; что же, по-вашему, шейху следует приберечь деньги и отпустить на волю дешево стоящего, скрюченного от старости раба, а самому рассчитывать получить за это обратно сына? Кто хочет что-либо сделать на этом свете, пусть делает это хорошо или не делает вовсе!

— Глядите-ка, шейх не спускает глаз с этого раба. Я уже давно это заметил. Слушая рассказчиков, он часто бросал в ту сторону взгляд и задерживал его на благородных чертах молодого раба, что будет сегодня отпущен на волю. Наверное, ему все-таки жалко отпускать его!

— Не думай так о шейхе! Ты полагаешь, ему жалко тысячи туманов, когда ежедневно он получает вдвое больше? — сказал старик. — Верно, взгляд его с горестью покоится на молодом рабе потому, что шейху вспоминается сын, изнывающий на чужбине; он, верно, думает: быть может, там найдется сострадательный человек, который выкупит его и вернет отцу.

— Возможно, вы правы, — ответил молодой купец. — Да будет мне стыдно, что я всегда приписываю людям мелочные и неблагородные помыслы, в то время как вы предпочитаете во всех их деяниях усматривать благие намерения. И все же, как правило, люди плохи; разве вы не пришли к тому же убеждению?

— Именно потому, что я не пришел к такому убеждению, я охотно думаю о людях хорошее, — ответил тот. — Со мной было так же, как с вами. Я жил каждодневными заботами; мне пришлось наслушаться много плохого про людей, самому на себе испытать много дурного, и я начал считать всех людей злыми. Но я подумал, что Аллах — столь же справедливый, сколь мудрый, — не потерпел бы на нашей прекрасной земле порочного рода человеческого. Я начал размышлять о том, что видел, о том, что пережил, — и что же оказалось? — я помнил только зло, а добро забывал! Я не замечал, когда кто-либо творил дело милосердия, я считал вполне естественным, когда целые семьи вели добродетельную и праведную жизнь. Но всякая весть о злом и дурном западала мне в сердце. Теперь я иными глазами смотрю на окружающее. Меня радует, когда добрые всходы не так скудны, как я полагал раньше; я меньше замечаю зло, или же оно не так бросается мне в глаза, и я научился любить людей, научился считать их хорошими и за свою долгую жизнь реже ошибался, когда хорошо отзывался о человеке, чем когда считал его скупым, глупым и безбожным.

На этих словах старца прервал подошедший к нему надсмотрщик над рабами.

— Господин мой, александрийский шейх Али Бану, — сказал он, — с благосклонностью заметил ваше присутствие в зале; он приглашает вас занять место подле него.

Юноши считали старика нищим и потому немало подивились чести, выпавшей ему на долю, и, когда он отошел, чтобы занять свое место около шейха, задержали надсмотрщика, и писец спросил:

— Заклинаю тебя бородою Пророка, скажи, кто этот старик, с которым ты говорил и которого так почитает наш шейх?

— Как! — воскликнул надсмотрщик и от удивления даже руками всплеснул. — Вы не знаете этого человека?

— Нет, мы не ведаем, кто он.

— Но ведь я не раз видал, как вы беседовали с ним на улице, и шейх, мой господин, тоже это приметил и только недавно еще сказал: «Должно быть, это достойные юноши, раз такой человек почтил их своей беседой».

— Так скажите же, кто это! — в крайнем нетерпении воскликнул молодой купец.

— Полноте, вы потешаетесь надо мной, — ответил надсмотрщик. — В этот покой допускаются только по приглашению, а сегодня старик просил меня узнать у шейха, не соизволит ли шейх разрешить привести сюда несколько юношей, и Али Бану повелел ему передать, что он может располагать его домом.

— Не оставляйте нас дольше в неведении! Клянусь жизнью, я не знаю, кто этот человек, мы с ним случайно встретились и заговорили.

— В таком случае вы можете почитать себя счастливыми: вы говорили с прославленным ученым мужем, и теперь все присутствующие чтут вас и завидуют вам. Это не кто иной, как Мустафа, ученый дервиш.

— Мустафа, наставник сына нашего шейха, мудрый Мустафа, написавший много ученых книг, побывавший в далеких странах во всех частях света? Мы беседовали с Мустафой? И беседовали так, словно он нам равный, без должной почтительности?

Юноши все еще вели разговор о слышанных сказках и о старике, оказавшемся дервишем Мустафой. Они были немало польщены, что такой прославленный старец удостоил их своим вниманием и даже не раз с ними беседовал и спорил. Тут к ним неожиданно подошел надсмотрщик над рабами и пригласил их следовать за собой к шейху, который желал с ними поговорить. У юношей екнуло сердце. Ни разу еще не говорили они со столь знатным человеком даже наедине, не то что в таком многолюдном обществе. Однако, не желая показаться глупцами, они взяли себя в руки и последовали за надсмотрщиком. Али Бану восседал на роскошной подушке и кушал шербет. По правую руку от него на дорогой подушке сидел старик в своей убогой одежде, скрестив на богатом ковре персидской работы ноги в жалких сандалиях, но его благородная голова, его взгляд, полный достоинства и мудрости, свидетельствовали, что его место поистине рядом с таким человеком, как шейх.

Шейх был очень хмур, а старик, казалось, старался утешить и ободрить его. В том, что их позвали пред очи шейха, юноши тоже усмотрели хитрость старика, вероятно думавшего, что беседа с ними, может быть, разгонит тоску Али Бану.

— Приветствую вас, о юноши, — сказал шейх, — приветствую вас в доме у Али Бану. Мой старый друг, что сидит здесь, заслу-

жил мою благодарность, приведя вас сюда; но я немножко сердит на него за то, что он не привел вас ко мне раньше. Который же из вас писец?

— Я, о господин! Рад услужить вам, — сказал молодой писец, скрестив руки на груди и низко кланаясь.

— Итак, вы очень охотно слушаете сказки и охотно читаете книги с прекрасными стихами и изречениями?

Юноша покраснел и ответил:

— О господин! Я не знаю более приятного развлечения и охотно провожу так свой досуг. Это обогащает ум и коротает время. Но у каждого свой вкус, и я, конечно, не осуждаю того, кто...

— Знаю, знаю, — перебил его шейх, смеясь, и подозвал второго. — А ты кто? — спросил он.

— Господин, я работаю подручным у лекаря и сам уже врачую больных.

— Так, — молвил шейх. — Так вот он, любитель хорошо пожить! Вам бы попировать и повеселиться с добрыми друзьями? Не правда ли, я угадал?

Юноша был пристыжен, он чувствовал, что его выдали и что старик, должно быть, пересказал и его слова. Все же он собрался с духом и ответил:

— О да, господин, я считаю одной из житейских радостей возможность скоротать время с хорошими друзьями. К сожалению, кошелька моего хватает только на то, чтобы предложить друзьям арбузы и другое столь же дешевое угощение; однако это не мешает нам веселиться, и можно себе представить, насколько бы веселее мы были, будь у меня побольше денег.

Смелый ответ пришелся по вкусу шейху, и он не мог удержаться от смеха.

— А который же из вас — купец? — продолжал он расспросы.

Молодой купец ответил:

— Я вижу, о повелитель, что старец, дабы развлечь вас, пересказал вам все наши глупости. Если ему удалось развеселить вас, я рад, что послужил вам утехой. Что же касается музыки и пляски, то, признаюсь, нелегко отыскать другую забаву, которая так же пришлась бы мне по душе. Но не подумайте, о повелитель, что я порицаю вас, ежели вы...

— Довольно, не продолжайте! — молвил шейх, улыбаясь и подняв руку. — Вы хотите сказать: каждому свое. Но там я вижу еще одного. Вы, верно, тот, что стремится к странствиям? Кто вы?

— Я художник, о господин, — ответил юноша, — я расписываю красивыми видами стены покоев или изображаю их на холсте. Поглядеть чужие края — моя заветная мечта, там можно пови-
дать много чудесных местностей и потом воспроизвести их, а как правило — в рисунке виденное всегда выходит красивей, чем то, что выдумал сам.

Шейх смотрел на статных юношей, и взгляд его был строг и утрюм.

— Когда-то у меня тоже был любимый сын, — сказал он, — теперь он был бы того же возраста, что и вы. Вы бы могли быть ему товарищами и спутниками, и все ваши желания удовлетворялись бы сами собой. С одним он читал бы, с другим внимал музыке, с третьим пировал бы и веселился с друзьями, а с художником я отпустил бы его в прекрасные страны и был бы спокоен, что он возвратится домой. Но Аллах судил иначе — я подчиняюсь Его воле и не ропщу. И все же в моей власти исполнить ваши желания, чтобы вы с радостным сердцем покинули дом Али Бану. Вы, мой ученый друг, — продолжал он, обращаясь к писцу, — отныне будете жить у меня и ведать моими книгами. Вы можете, ежели захотите, приобретать все, что сочтете стоящим; единственной вашей обязанностью будет рассказывать мне то интересное, что вы вычитаете в книгах. Вы же, любитель веселых пиров с друзьями, будете ведать в моем доме увеселениями. Сам я, правда, живу уединенно и безрадостно, но мой долг и сан требуют, чтобы время от времени я созывал многочисленных гостей. Вы будете распоряжаться всем вместо меня и, когда захотите, приглашать своих друзей и, само собой, угощать их кой-чем получше арбузов. Купца я, правда, не могу отвлекать от его дела, приносящего ему деньги и почет; но каждый вечер, молодой мой друг, в вашем полном распоряжении будут мои танцовщики, певцы и музыканты. Наслаждайтесь игрою и танцами всласть. А вы, — обратился он к художнику, — должны повидавать чужие края, дабы опыт придал остроту вашему зрению. Мой казначей выдаст вам для первого странствия, к которому можете приступить завтра же, тысячу золотых, двух лошадей и раба. Отправляйтесь, куда влечет вас сердце, и зарисуйте для меня то прекрасное, что увидите.

Юноши не могли опомниться от изумления, онемели от радости и благодарности. Они хотели облобызать пол у ног великодушного шейха, но он не допустил этого.

— Благодарите не меня, — сказал он, — а мудрого мужа, мне о вас поведавшего. Знакомством с четырьмя такими веселыми юношами, как вы, он меня тоже порадовал.

Но и дервиш Мустафа отклонил благодарность юношей.

— Вот видите, — сказал он, — никогда нельзя судить слишком поспешно: разве я преувеличивал, говоря о благородстве шейха?

— Послушаем последнего раба, из тех, что я отпускаю сегодня на волю, — прервал Али Бану, и юноши направились на свои места.

Теперь встал тот молодой невольник, что привлек всеобщее внимание ростом, красотой и мужественным взглядом; он поклонился шейху и звучным голосом начал так:

ИСТОРИЯ АЛЬМАНСОРА

О господин! Те, что говорили передо мной, рассказали диковинные истории, слышанные ими в чужих краях; к стыду своему, должен сознаться, что не могу рассказать ничего достойного вашего внимания. Но ежели вам не покажется скучным, я поведаю о чудесной судьбе одного моего друга.

На том корабле алжирских пиратов, откуда вызволила меня ваша щедрость, находился юноша моего возраста, как мне казалось, рожденный не для невольничьей одежды, которую он носил. Остальные несчастные на нашем корабле были либо людьми грубыми, водить компанию с которыми мне не хотелось, либо чужеземцами, языка которых я не понимал; поэтому, когда выпадала свободная минутка, я охотно проводил ее с тем юношей. Звали его Альмансор, и, судя по выговору, он был родом из Египта. Мы услаждали себя беседами и вот однажды напали на мысль поведать друг другу свою судьбу, и история моего товарища по несчастью оказалась гораздо интересней моей.

Отец Альмансора был знатным вельможей и жил в Египте, в городе, которого он мне не назвал. Дни детства Альмансор провел в довольстве и радости, окруженный вниманием и всей земной роскошью. Но изнежен он не был и рано воспитал свой ум, отец его, человек мудрый, наставлял его в добродетели, а учителем его был знаменитый ученый, преподававший ему все, что необходимо знать юноше. Альмансору шел десятый год, когда из-за моря пришли франки и напали на его народ.

Отец мальчика, верно, чем-то не угодил им, потому что однажды, когда он собирался на утреннюю молитву, пришли франки и сначала потребовали у него в залог его преданности франкскому народу жену, а когда он не захотел отпустить ее, силой увели к себе в лагерь его сына.

Во время рассказа молодого невольника шейх прикрыл лицо, а по зале пробежал ропот недовольства. «Как смеет, — восклицали друзья шейха, — как смеет этот юнец говорить столь необдуманно и своими рассказами не врачевать, а растравлять рану Али Бану, как смеет он не уменьшать, а увеличивать его скорбь?» Надсмотрщик над рабами тоже разгневался на дерзкого юношу и велел ему умолкнуть. Но молодой невольник с удивлением спросил шейха: неужели он мог вызвать его недовольство своим рассказом? При этих словах шейх выпрямился и молвил:

— Успокойтесь, друзья, как может этот юноша знать о моей горькой доле, ведь под этой кровлей он провел всего три дня! Разве при тех ужасах, что чинили франки, разве та же судьба, как моя, не могла постигнуть и другого, разве сам Альмансор не мог быть... но рассказывай дальше, милый юноша!

Молодой невольник поклонился и продолжал:

— Итак, юного Альмансора отвели в лагерь к франкам. В общем, жилось ему там неплохо, один из военачальников позвал его к себе в палатку и забавлялся его ответами, которые ему переводил толмач; он позаботился, чтоб Альмансор не терпел недостатка в одежде и пище, но тоска по отцу с матерью снедала Альмансора. Он проплакал много дней, однако слезы его не тронули франков. Затем франки снялись с лагеря, и Альмансор думал, что теперь ему будет позволено вернуться домой, но не тут-то было: войска передвигались, воевали с мамелюками, а Альмансора таскали повсюду за собой. Когда же он молил полководцев и военачальников отпустить его домой, они не соглашались и говорили, что он взят в залог верности его отца. И так он много дней провел с ними в походе.

Но вдруг по войскам прокатилось волнение, не ускользнувшее от мальчика; всюду толковали о свертывании, о возвращении домой, о посадке на корабли, и Альмансор был вне себя от радости, ведь теперь, когда франки возвращались к себе на родину,

теперь-то отпустят и его. Войско с обозом потянулось к берегу моря, наконец показались и суда, стоящие на якоре. Солдаты стали грузиться на корабли, но уже стемнело, а погрузиться успела только небольшая часть войска. Как ни боролся Альмансор с дремотой — ведь каждую минуту он ждал, что его отпустят домой. — все же под конец на него напал глубокий сон, и он думает, что франки подмешали ему чего-нибудь снотворного в воду. Когда он проснулся, яркое солнце светило в комнатку, в которой он не был, когда засыпал. Он вскочил со своего ложа, но не успел ступить на пол, как тут же упал, пол качался у него под ногами, кругом все вертелось и ходило ходуном. Он поднялся и, держась за стены, побрел из комнаты.

Вокруг стоял странный рев и свист; он никогда не видал и не слышал ничего подобного и потому не знал, сон это или явь. Наконец добрался он до узенькой лестницы, с трудом поднялся наверх, и — о ужас! — со всех сторон обступило его небо и море: он был на корабле. Тут принялся он жалобно плакать, хотел домой, хотел броситься в море и вплавь добраться до родины; но франки удержали его, а один из полководцев позвал к себе, обещал, если он будет послушным, скоро вернуть его на родину и объяснил, что отправить его домой было невозможно, а если бы его оставили одного на берегу, он пропал бы с голоду.

Но франки не сдержали слова; корабль плыл много дней и наконец пристал к берегу — но не Египта, а Франкистана! За пребывание в лагере и за долгий путь Альмансор научился понимать и немножко говорить на языке франков, что очень пригодилось ему в стране, где никто не знал его языка. Много дней вели его вглубь страны, и всюду по пути сбегался народ, чтоб поглазеть на него, так как спутники его говорили, будто он сын владыки Египта, приславшего его в Франкистан для окончания образования.

Но солдаты говорили это, чтоб уверить народ, будто они победили Египет и заключили с этой страной крепкий мир. После многодневного пути по стране франков дошли они до большого города, цели их странствия. Там его передали лекарю, который взял его к себе в дом и обучил всем нравам и обычаям Франкистана.

Прежде всего облачили Альмансора во франкскую одежду, узкую и тесную и далеко не столь красивую, как египетская. Затем

запретили кланяться, скрестив руки; теперь, чтобы засвидетельствовать кому-либо свое почтение, ему следовало одной рукой снять с головы огромную черную фетровую шляпу, которую там носят все мужчины и поэтому надели и ему на голову; другую руку следовало отвести в сторону и шаркнуть правой ножкой. Запретили ему также сидеть поджав ноги, по доброму восточному обычаю, — теперь ему приходилось сидеть на высоких стульях, свесив ноги на пол. Еда тоже доставляла ему немало огорчений, теперь, раньше чем поднести кусок ко рту, следовало проткнуть его железной вилкой.

Лекарь был человеком суровым и злым и мучил мальчика; так, если тому по оплошности случалось сказать гостю: «Салем алейкум!» — он бил его палкой, ибо следовало говорить: «*Votre serviteur*»¹. Ему было запрещено думать, говорить, писать на родном языке, — пожалуй, он мог на нем только грезить; возможно, он и совсем позабыл бы свой язык, если бы в том городе не жил один человек, оказавший ему большую поддержку.

Это был весьма ученый старик, понимавший многие восточные языки — арабский, персидский, коптский, даже китайский, — все понемножку; в том краю его почитали чудом учености и за обучение этим языкам платили ему большие деньги. Этот человек звал к себе Альмансора по несколько раз на неделе, потчевал его редкостными плодами и другими лакомствами, и юноше казалось, будто он дома. Старик был очень странным человеком. Он заказал Альмансору одежду, какую носят в Египте знатные вельможи. Эту одежду хранил он в особом покое. Когда к нему приходил Альмансор, он посылал его со слугой в тот покой, и там юноша переодевался согласно обычаю своей родины. Затем они отправлялись в «Малую Аравию», так назывался один покой в доме ученого.

Покой был уставлен искусно выращенными деревьями — пальмами, бамбуками, молодыми кедрами — и цветами, встречающимися только в странах Востока. Пол был устлан персидскими коврами, у стен лежали подушки, а франкских стульев и столов не было вовсе. На одной из подушек восседал старик-ученый; вид у него был совсем не тот, что обычно: голова вместо тюрбана была обмотана тонкой турецкой шалью; седая привязная

¹ «Ваш покорный слуга» (фр.).

борода спускалась до пояса и ничем не отличалась от настоящей почтенной бороды любого достойного мужа. Облачен он был в мантию, переделанную из парчового утреннего халата, в широкие шаровары и желтые туфли и, хотя вообще он отличался миролюбивым нравом, в эти дни нацеплял турецкую саблю, а за кушак затыкал ятаган, украшенный поддельными камнями. Он курил трубку в два локтя длиной, а прислуживали ему слуги, также одетые в персидское платье, и у многих из них лицо и руки были вымазаны черной краской.

Сперва все это казалось юному Альмансору очень странным, но затем он понял, что те часы, которые он проводил у старика, принаравливаясь к его желаниям, пошли ему на пользу. Если у лекаря он не смел и слова сказать по-египетски, то здесь запрещалась франкская речь. Входя, Альмансор произносил приветствие, на которое старик-перс отвечал с большой торжественностью; затем он делал знак юноше, чтоб тот сел рядом, и начинал болтать на персидском, арабском, коптском и на других языках попеременно, это он называл ученой восточной беседой. Около стоял с большой книгой слуга, или, если хотите, раб, как он звался в эти дни; книга же эта была словарем, и, когда старику не хватало слов, он делал знак рабу, листал книгу, быстро находил нужное слово и затем продолжал свою речь.

Рабы же приносили в турецких сосудах шербет и другие лакомства; и, чтобы угодить старику, Альмансору достаточно было сказать, будто все у него заведено по восточному обычаю. Альмансор прекрасно читал по-персидски, а в глазах старика это было великим достоинством. У него было множество персидских рукописей; он приказывал юноше читать их вслух, сам внимательно повторял за ним каждое слово и таким образом примечал правильное произношение.

Для бедного Альмансора эти дни были праздниками, старик-ученый не отпускал его без подарка, часто весьма ценного, — он дарил Альмансору деньги, полотно или другие нужные вещи, в которых отказывал ему лекарь. Так прожил Альмансор несколько лет в столице Франкистана, но тоска его по родине не улеглась. Когда же ему минуло пятнадцать лет, случилось событие, имевшее большое влияние на его судьбу.

Дело в том, что франки избрали своего главного полководца — того, который в Египте так часто беседовал с Альмансо-

ром, — своим королем и повелителем. По торжествам и пышным празднествам в столице Альмансор, правда, понял, что происходит нечто подобное, но он и думать не мог, что король и есть тот самый человек, которого он видел в Египте, ведь тот полководец был еще очень молод. Однажды Альмансор шел по мосту, перекинутому через широкую реку, протекающую по тому городу; тут увидел он человека в простой солдатской одежде, облокотившегося о перила моста и глядевшего на воду. Черты его лица показались ему знакомыми, и он вспомнил, что раньше уже видал его. Поэтому он быстро порывлся в кладовых своей памяти, и, когда постучался в дверь, ведущую в египетскую кладовую, разум его вдруг прояснился, и он вспомнил, что человек этот — тот франкский полководец, который часто беседовал с ним в лагере и всегда проявлял добрую заботу о нем; он не знал точно его имени и теперь, собравшись с духом, подошел и окликнул его так, как прозвали его солдаты; скрестив на груди руки по обычаю своей страны, он молвил:

— Салем алейкум, *Petit Caporal*!¹

Тот с удивлением оглянулся, окинул юношу внимательным взглядом, подумал минутку, а затем сказал:

— Господи, возможно ли это! Ты здесь, Альмансор? Как поживает твой отец? Что делается в Египте? Что привело тебя к нам?

Тут Альмансор не выдержал, он горько зарыдал и сказал:

— Так ты, *Petit Caporal*, не знаешь, что учинили со мной эти собаки, твои соотечественники? Ты не знаешь, что я уже много лет не видел земли моих отцов?

— Не могу поверить, — сказал тот, и чело его омрачилось, — не могу поверить, что они потащили тебя за собой.

— Ах, так оно и было, — ответил Альмансор, — в тот день, когда ваши солдаты погрузились на корабли, я в последний раз видел свою отчизну; они увезли меня с собой, и один военачальник, тронутый моими несчастьями, платит за мое содержание окаянному лекарю, который колотит меня и морит голодом. Слушай-ка, *Petit Caporal*, — продолжал он в простоте душевной, — как хорошо, что я повстречал тебя, ты мне поможешь.

Тот, к которому он обратился с такими словами, улыбнулся и спросил, чем он может ему помочь.

¹ Маленький капрал (*фр.*).

— Видишь ли, — сказал Альмансор, — стыдно мне что-либо просить у тебя; правда, ты всегда был добр ко мне, но я знаю, ты тоже человек бедный и, когда был полководцем, одевался всегда хуже других; судя по твоему сюртуку и по шляпе, дела твои и сейчас не блестящи. Но франки недавно выбрали себе султана, и ты, конечно, должен знать кого-нибудь из его приближенных — может быть, агу его янычаров, или его рейс-эфенди, или его капудан-пашу. Так ведь?

— Ну да, — согласился тот, — а дальше что?

— Ты мог бы замолвить за меня словечко, *Petit Caporal*, пусть они попросят франкского султана, чтоб он отпустил меня на волю, — тогда мне только нужно будет немножко денег на обратный путь; но, главное, общай мне не проговориться ни лекарю, ни арабскому ученому.

— А что это за арабский ученый? — спросил тот.

— Ах, это странный человек, но о нем я расскажу тебе в другой раз. Если они что-нибудь проведает, мне не выбраться из Франкистана. Но согласен ли ты замолвить за меня словечко аге? Скажи откровенно!

— Пойдем со мной, — сказал тот, — может быть, я смогу уже сейчас быть тебе полезен.

— Уже сейчас? — в испуге воскликнул юноша. — Сейчас невозможно, не то лекарь изобьет меня, я тороплюсь домой.

— А что у тебя тут в корзине? — спросил тот, не отпуская его.

Альмансор покраснел и сперва не хотел показать; наконец он сказал:

— Видишь ли, *Petit Caporal*, мне приходится выполнять ту же работу, что и последнему рабу у моего отца. Лекарь — человек скаредный и что ни день гоняет меня на овощной и рыбный рынок, до которого от нашего дома добрый час ходьбы, и, чтобы выгадать несколько медяков, мне приходится все покупать у грязных торговков, там ведь все немного дешевле, чем в нашем квартале. Вот гляди, из-за паршивой селедки, из-за горсти салата, из-за кусочка масла мне приходится ежедневно ходить два часа. Ах, знал бы об этом мой отец!

Человек, с которым беседовал Альмансор, был тронут его горькой участью и сказал:

— Идем со мной, и будь спокоен, лекарь не посмеет тебя обидеть, даже если останется сегодня без селедки и салата. Не беспокойся, идем!

С этими словами он взял Альмансора за руку и повел за собой, и столько уверенности было в его словах и движениях, что Альмансор, хотя у него и щемило сердце при мысли о лекаре, все же пошел с тем человеком. Итак, с корзинкой на руке, шагал он бок о бок с солдатом по разным улицам, и странным казалось ему, что встречные снимали шляпы, останавливались и глядели им вслед. Он сказал своему спутнику, как это его удивляет, но тот засмеялся и ничего не ответил.

Наконец дошли они до великолепного замка, куда и направился тот человек.

— А ты здесь живешь, *Petit Caporal*? — спросил Альмансор.

— Здесь моя квартира, — ответил тот, — а тебя я отведу к своей жене.

— Ну, живешь ты богато! — продолжал Альмансор. — Султан, должно быть, предоставил тебе даровые покои?

— Ты прав, эту квартиру я получил от императора, — ответил его спутник и повел его в замок.

Там они поднялись по широкой лестнице, и он приказал Альмансору оставить корзину в нарядном зале, а затем прошел с ним в великолепный покой, где на диване сидела женщина. Он заговорил с ней на чужом языке, и оба смеялись от души, а потом женщина на языке франков принялась расспрашивать Альмансора о Египте. Под конец *Petit Caporal* сказал юноше:

— Знаешь, лучше всего я сейчас же сам сведу тебя к императору и замолвлю ему за тебя словечко.

Альмансор сильно перепугался, но он подумал о своей горькой доле и о родине.

— Аллах, — обратился он к обоим, — Аллах придает несчастному мужество в минуту крайней нужды, Он не оставит и меня, горемычного. Да, я поступлю, как ты советуешь: я пойду к нему. Но скажи, *Caporal*, что мне делать — пасть ниц, коснуться лбом земли?

Они снова расхохотались и стали уверять, что этого делать не нужно.

— А вид у него страшный и величественный, — расспрашивал он, — борода длинная? Глаза мечут молнии? Скажи, каков он?

Спутник его снова расхохотался, а затем сказал:

— Лучше я не буду его описывать, Альмансор — сам догадайся, который он. Укажу тебе только одну примету: когда император

в зале, все почтительно снимают шляпы; тот, кто не снимет шляпы, и есть император.

С этими словами он взял его за руку и повел в императорский зал. Чем ближе они подходили, тем сильнее колотилось у Альмансора сердце, а когда они приблизились к дверям, у него задрожали колени. Слуга распахнул двери; там стояли полукругом человек тридцать — все при звездах, в великолепных одеяниях, шитых золотом, как обычно ходят в стране франков самые знатные королевские аги и паши. И Альмансор подумал, что его спутник, одетый так скромно, верно, самый незначительный среди них. Все они обнажили головы, и тогда Альмансор огляделся: у кого на голове шляпа, тот и есть император. Но искал он напрасно. Все держали шляпу в руке, значит, императора среди них не было; тут он случайно взглянул на своего спутника — и что же: шляпа была у него на голове!

Юноша был поражен, потрясен. Он долго глядел на него, а затем сказал, тоже сняв шляпу:

— Салем алейкум, *Petit Caporal!* Насколько мне известно, султан франков не я, значит, мне не пристало покрывать голову; ты же, *Petit Caporal*, в шляпе, уж не ты ли император?

— Ты угадал, — ответил тот, — но, кроме того, я твой друг. Припиши свои невзгоды не мне, а несчастному стечению обстоятельств и будь уверен, что первым же кораблем ты поплывешь к себе на родину. Ступай теперь к моей жене, расскажи ей про арабского ученого и все, что ты знаешь. Салат и селедку я отошлю лекарю, ты же впредь до отъезда оставайся у меня во дворце.

Так говорил человек, бывший императором; Альмансор же пал ниц перед ним, облобызал его руку и просил прощения за то, что не признал его сразу, ведь в его глазах он совсем не походил на императора.

— Твоя правда, — ответил тот, смеясь, — ежели ты императором всего несколько дней, то на лбу у тебя этого не написано. — Так сказал он и сделал ему знак удалиться.

С того дня Альмансор зажил в счастье и довольстве.

У арабского наставника, о котором он рассказал императору, он побывал еще несколько раз, лекаря же больше не видел. Несколько недель спустя император призвал его к себе и объявил, что корабль, на котором он хочет отправить его в Египет, готов сняться с якоря. Альмансор был вне себя от радости; он собрал-

ся в несколько дней и, с чувством благодарности в сердце, щедро одаренный императором, отправился к морю и пустился в путь.

Но Аллаху было угодно продлить его испытания, невзгодами закалить его мужество, и Он не дал ему увидеть берега его родины. Англичане, другой франкский народ, вели в ту пору морскую войну с императором. Они отбирали у него все захваченные корабли; и случилось, что на шестой день пути корабль, на котором плыл Альмансор, обстреляли окружившие его английские суда; он вынужден был сдаться, и весь экипаж пересел на суденышко, которое поплыло вслед за остальными. Но на море так же беспокойно, как в пустыне, где на караваны неожиданно нападают разбойники, убивают и грабят. Тунисские пираты напали на их суденышко, во время бури отбившееся от больших кораблей, захватили его, а весь экипаж отвезли в Алжир и продали в рабство.

Правда. Альмансор, правоверный мусульманин, попал не в столь тяжелую неволю, как христиане, но все же последняя надежда увидеть родину и отца исчезла. Так прожил он пять лет у одного богатого человека, где работал в саду и поливал цветы. Но богатый человек умер, не оставив прямых наследников; добро его растащили, невольников поделили, и Альмансор попал в руки работорговца. Тот как раз снарядил корабль, чтобы перепродать своих невольников подороже в других краях. Судьбе угодно было, чтобы я тоже оказался невольником этого работорговца и попал на тот же корабль, что и Альмансор. Там мы узнали друг друга, и там поведал он мне о своей необычной судьбе. Но когда мы пристали к суше, я опять убедился, что пути Аллаха неисповедимы, — мы высадились на его родном берегу. нас выставили на продажу на невольничьем рынке в его родном городе, и — о господин! — скажу тебе кратко: он был куплен своим родным, своим любимым отцом!

Шейх Али Бану глубоко задумался над этой повестью; она невольно увлекла его, грудь его вздымалась, глаза сверкали, и часто он был готов прервать молодого невольника, но конец рассказа, казалось, не удовлетворил его.

— Ты говоришь, ему теперь было бы около двадцати одного года? — так начал он свои вопросы.

— Мы с ним примерно одного возраста, о господин, двадцать один — двадцать два года.

— А какой город называл он своей родиной, об этом ты ничего не сказал.

— Если не ошибаюсь, — ответил тот, — это Александрия!

— Александрия! — воскликнул шейх. — Это мой сын; где он? Ты не говорил, что он звался Кайрамом? Какие у него глаза — темные? А волосы — черные?

— Да, такие, а в минуты откровенности он называл себя Кайрамом, а не Альмансором.

— Но, заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, отец купил его у тебя на глазах, ты говоришь, он сказал, что это его отец? Значит, это не мой сын!

Невольник ответил:

— Он сказал мне: «Благословен Аллах после столь долгих невзгод; это рыночная площадь моего родного города». А немного спустя из-за угла показался вельможа — тогда он воскликнул: «О, наши глаза поистине драгоценный дар небес! Мне привелось еще раз увидеть своего почтенного отца!» Человек же тот подошел к нам, оглядел всех и купил под конец того, с кем все это случилось; тогда он призвал Аллаха, горячо возблагодарил Его и шепнул мне: «Вот я опять возвращаюсь в обитель счастья: меня купил мой родной отец».

— Стало быть, это не мой сын, не мой Кайрам! — молвил шейх, исполняясь печали.

Тогда юноша не мог дольше сдерживать свое волнение, слезы радости брызнули у него из глаз, он пал ниц перед шейхом и воскликнул:

— И все же это ваш сын — Кайрам-Альмансор, ведь это вы сами купили его.

«Аллах, Аллах! Чудо, великое чудо!» — восклицали вокруг, и все старались протиснуться поближе. А шейх, онемев, глядел на юношу, который поднял к нему свое красивое лицо.

— Мустафа, друг мой, — наконец обратился шейх к старому дервишу, — глаза мне застилает пелена слез, и я не могу разглядеть, запечатлелись ли у него на лице черты его матери, в которую мой Кайрам уродился лицом, подойди и взглядишь в него.

Старик подошел, долго глядел на него, наконец положил руку на чело юноше и сказал:

— Кайрам, как гласит изречение, которое в тот скорбный день ты унес с собой в лагерь франков?

— Дорогой учитель, — ответил юноша, прикасаясь губами к его руке, — оно гласит: «Кто любит Аллаха и чист душой, тот не одинок и в пустыне горестей, ибо с ним двое спутников, они поддержат и утешат его».

Тогда старик с благодарностью возвел очи к небу, поднял юношу, прижал его к груди и передал шейху со словами:

— Возьми его! Как верно то, что ты тосковал по нем десять лет, так верно и то, что это твой сын Кайрам.

Шейх не помнил себя от радости и счастья. Он не мог наглядеться на вновь обретенного сына, из черт которого явственно проступал образ бывшего Кайрама. И все присутствующие радовались вместе с ним, ибо они любили шейха, и каждому казалось, будто в этот день ему самому судьба подарила сына.

Песни и ликование снова огласили покои, как в дни счастья и радости. Юноше пришлось повторить свой рассказ, теперь уже более обстоятельно, и все восхваляли арабского ученого, и императора, и тех, кто был участлив к Кайраму. Гости разошлись только поздно ночью, и шейх щедро одарил всех своих друзей, дабы они сохранили память об этом дне радости.

Четырех же юношей он представил своему сыну и пригласил их посещать его, и было решено, что Кайрам будет читать с писцом, пускаться в недалекие странствия с художником, развлекаться пляской и пением в обществе купца, а четвертый будет ведать увеселениями при дворе шейха. Их щедро одарил шейх, и, радостные, покинули они его дом.

— Кого нам благодарить, — рассуждали они, — кого, как не старца? Кто мог бы это подумать, когда мы стояли тут у дома и судачили о шейхе?

— А ведь легко могло случиться, что мы пропустили бы мимо ушей речи старика, — молвил другой, — или, чего доброго, подняли бы его на смех. Он был в жалком рубище, и кто мог подумать, что это мудрец Мустафа?

— Как странно! — сказал писец. — Вот на этом самом месте мы громко выразили свои желания. Один мечтал о странствиях, другой — о пенье и плясках, третий — о веселых пирах с друзьями, а я — о чтении и сказках, и вот все наши мечты осуществились. Ведь я могу читать все книги шейха и приобретать любые, какие захочу.

— А я могу украшать его стол, распоряжаться всеми увеселениями и сам принимать в них участие, — молвил другой.

— А я? Как только западет мне на сердце желание послушать пение и игру на лютне или посмотреть на пляску, я могу пойти к нему и попросить отпустить со мной его рабов.

— А я до сего дня был беден, — воскликнул художник, — и не мог и шагу ступить из города, теперь же я могу пуститься в далекий путь!

— Да, — подхватили все вместе, — хорошо, что мы последовали за старцем, — кто знает, что иначе случилось бы с нами?

Так сказали они и, радуясь и ликуя, разошлись по домам.

АЛЬМАНАХ СКАЗОК
НА 1828 ГОД
ДЛЯ СЫНОВЕЙ
И ДОЧЕРЕЙ
ОБРАЗОВАННЫХ
СОСЛОВИЙ



ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ

Много лет тому назад, когда дороги в Шпессартском лесу были еще плохи и малоезжены, шли по лесу два молодых ремесленника. Одному было лет восемнадцать, и был он машинный мастер, другому, обученному ювелирному делу, с виду никак нельзя было дать больше шестнадцати, и, надо думать, он впервые пустился в странствие.

Уже за вечерело, и от исполинских елей и буков на узкую дорогу, по которой они шли, легла густая тень. Машинный мастер шагал браво, насвистывал песенку, разговаривал с Резвым, своей собакой, и как будто не очень-то беспокоился, что скоро уже совсем стемнеет, а до ближней харчевни дойдешь не так-то скоро. А Феликс, золотых дел мастер, часто боязливо оглядывался. Когда ветер шелестел в листве, ему слышались шаги у него за спиной. А когда от ветра колыхались придорожные кусты, ему чудилось, будто за ветками кто-то притаился и следит за ними.

Вообще-то юный ювелир был не суеверен и не труслив. В Вюрцбурге, где прошли годы его ученичества, он слыл в среде учеников безбоязненным, храбрым малым, но сегодня он что-то трусил. Про Шпессартский лес он всего наслышался. Говорили, будто там хозяйничает большая разбойничья шайка, будто за последнее время ограблено много путешественников, рассказывали даже о зверских убийствах, не так давно имевших там место. Вот он и робел, ему было страшно за свою жизнь — ведь их-то всего двое, против вооруженных разбойников они бессильны. Он уже раскаивался, что послушался своего спутника и не заночевал на опушке.

— Это ты, мастер, будешь виноват, если сегодня ночью меня убьют и я лишусь жизни и всего, что у меня с собой, ведь это ты своими уговорами заманил меня в этот страшный лес.

— Нечего труса праздновать, — возразил мастер, — чего, собственно, бояться ремесленнику? Ты что думаешь? Думаешь, господа разбойники нападут на нас и убьют, окажут нам эту честь? Чего ради им утруждать себя? Может, ради воскресной одежды, что у меня в ранце, или ради тех грошей на харчи, что остались у меня от талера? Нет, надо ехать в карете четверней, быть в шелках да кружевах, вот тогда им, разбойникам, есть ради чего убивать.

— Подожди! Слышишь, в лесу кто-то свистит? — боязливо шепнул Феликс.

— Это ветер свистит в листве, прибавь шагу, теперь уже недалеко.

— Да, тебе хорошо, — опять заговорил юный ювелир. — Они спросят, что у тебя с собой, обыщут и заберут воскресную одежду, гульден и тридцать крейцеров. А меня — меня они сразу убьют, и только потому, что у меня с собой всякие золотые вещицы и ожерелье.

— А чего ради им тебя убивать? Вот, представь себе, выходят сейчас из-за тех вон кустов четверо или пятеро с заряженными ружьями, наводят дуло на нас и вежливо спрашивают: «Господа, что у вас есть? Не стесняйтесь, мы поможем вам донести ваши вещи», и так далее, все в том же приятном тоне. Ну, ты, конечно, не станешь дурака валять, откроешь свой ранец, любезно выложишь на землю желтый камзол, синий кафтан, ожерелье, браслеты, гребенки и все прочее да еще поблаговаришь за то, что они не покусились на твою жизнь.

— Да? Так, по-твоему, я должен отдать украшения, что изготовил для моей крестной матери, любезной моему сердцу графини? — горячо возразил Феликс. — Нет, я лучше расстанусь с жизнью, лучше дам изрубить себя на кусочки. Ведь она заменила мне мать, а когда мне пошел десятый год, позаботилась о моем воспитании! Все то время, что я жил в учениках, она платила и за учение, и за мою одежду, и за все прочее. А теперь, когда я имею возможность навестить ее и когда при мне драгоценные украшения, которые она заказала золотых дел мастеру, а изготовил я, теперь, когда она могла бы на деле убедиться, чему я вы-

учился, теперь я должен все это отдать, да в придачу еще и желтый камзол, подаренный ею? Нет, лучше умереть, чем отдать дурным людям драгоценности моей крестной матери.

— Не глупи! — крикнул мастер. — Если тебя убьют, графиня все равно не получит своих драгоценностей. Значит, лучше отдать украшения и сохранить жизнь.

Феликс ничего не ответил. Теперь уже совсем стемнело, и при слабом свете молодого месяца в пяти шагах почти ничего не было видно. Феликс все больше и больше трусил, он ни на шаг не отходил от товарища и никак не мог решить, соглашаться или нет с его словами и доводами. Так шли они около часа, и наконец вдали блеснул огонек. Но Феликс боялся идти на свет; а ну как это вертеп разбойников, думал он, однако мастер разъяснил ему, что разбойники живут в пещерах или землянках, а это, конечно, харчевня, о которой говорил им на опушке какой-то встречный.

Харчевня оказалась длинным, низким строением, перед ней стояла повозка, а рядом в конюшне ржали лошади. Мастер поманил Феликса к окну, не закрытому ставнями. Став на цыпочки, можно было заглянуть внутрь. У печки спал в кресле мужчина, судя по одежде — возчик, он же, вероятно, и хозяин повозки, что стояла во дворе. По другую сторону печки пряли женщина и девушка. За столом у стены сидел человек, перед которым стоял стакан вина, он сидел, подперев голову руками, так что лица его не было видно. Однако мастер решил, что, судя по одежде, он должен быть из благородных.

Они все еще подглядывали в окно, но тут в доме залаяла собака. Резвый, собака мастера, отозвалась, и в дверях появилась служанка посмотреть, что за люди пришли.

Их обещали покормить ужином и устроить на ночлег. Они вошли, сложили в угол тяжелые узлы, шляпы и палки и подсели за стол к господину.

Они поздоровались с ним, он поднял голову, перед ними был изящный молодой человек; с приветливой улыбкой выразил он им признательность за их учтивый поклон и сказал:

— Ишь до какого позднего часа вы в дороге! И не побоялись в такую темь идти по Шпессартскому лесу? — сказал он. — А вот я предпочел поставить лошадь в конюшню и переночевать на заезжем дворе, только бы лишний час не быть в пути.

— И вы были правы, сударь, — ответил мастер. — Топот копыт хорошего коня — желанная музыка для этой разбойничьей

сволочи, они слышат ее на расстоянии доброго часа пути. Но когда лесом шагают два бедных малых вроде нас, с которых и взять-то нечего, так ради них разбойники и пальцем не пошевелият.

— Так-то оно так, с бедного человека не много возьмешь, — согласился возчик, разбуженный приходом новых постояльцев и тоже подошедший к столу. — Но бывали случаи, что они убивали бедных просто из жадности крови, а не то принуждали их вступить в свою шайку и тоже заниматься разбоем.

— Ну, если эти люди так хозяйничают в лесу, — заметил золотых дел мастер, — то, по правде говоря, и здешний дом плохая для нас защита. Нас всего четверо, да работник — пятый; а вдруг им вздумается напасть на нас вдсятером, что нам тогда делать? Да и кто поручится, что здешние хозяева — честные люди? — шепотом прибавил он.

— Этого бояться нечего, — возразил возчик. — Я здешний заезжий двор больше десяти лет знаю и ни разу не приметил ничего подозрительного. Хозяин редко бывает дома; говорят, он торгует вином; хозяйка — женщина тихая и безобидная, нет, вы, юноша, зря ее опасаетесь.

— И все же, — вступил в разговор молодой человек аристократического вида, — все же я не отмахнулся бы просто-напросто от его слов. Вспомните слухи о людях, что вдруг бесследно пропали в этом лесу. Многие из них перед тем говорили, что переночуют тут в харчевне, а когда две-три недели спустя о них ничего не было слышно и их начинали разыскивать, то наводили справки и в харчевне, и выходило, что никого из них здесь не видали; согласитесь: это как-никак внушает подозрение.

— Бог его знает, — воскликнул мастер, — может, оно и вправду разумнее переночевать в лесу, под первым попавшимся деревом, а не здесь в четырех стенах; ведь убежать отсюда и думать нечего, ежели они будут сторожить у дверей, на окнах-то решетки.

Эти разговоры навели всех на размышления. Теперь уже не казалось невероятным, что хозяева лесной харчевни, то ли по принуждению, то ли по доброй воле, стакнулись с разбойниками. Ночь внушала опасение, ведь не раз доводилось им слышать о путниках, застигнутых во время сна и убитых; некоторые из остановившихся сейчас на ночлег в лесной харчевне были очень ограничены в средствах, и, даже если бы дело не шло о жизни, потерять хоть часть добра было бы для них весьма чувствительно.

Помрачнев, расстроившись, усталились они в свои стаканы. Молодой человек думал: вот хорошо было бы скакать теперь на коне по спокойной, открытой долине; мастер думал о десятке своих подмастерьев, дюжих малых: было бы хорошо, если бы они, вооружившись дубинками, охраняли его; Феликс, золотых дел мастер, больше опасался за украшения своей благодетельницы, чем за свою жизнь; возчик, задумчиво попыхивая трубкой, сказал полголоса:

— Господа, знаете, нельзя, чтобы они напали на нас спящих. Что до меня, я готов всю ночь не смыкать глаз, если только кто-нибудь составит мне компанию.

— И я, и я готов! — отозвались остальные.

— Заснуть я бы все равно не заснул, — добавил молодой человек.

— Ну, тогда, чтобы не заснуть, давайте чем-нибудь займемся, — предложил возчик. — Я думаю, раз нас четверо, мы могли бы сыграть в карты, за картами не заснешь, и время пройдет незаметно.

— Я в карты не играю, — сказал молодой человек, — так что составить вам компанию не могу.

— А я и вовсе не умею играть, — прибавил Феликс.

— А если мы не будем играть, чем же нам тогда заняться? — раздумывал мастер. — Петь? Нет, не годится, пением можно привлечь эту сволочь. Забавляться поговорками? Задавать и отгадывать загадки? Этого надолго не хватит. Знаете что? Не заниматься ли нам рассказами? Веселыми или серьезными, правдой или вымыслом, не все ли равно, мы и не заснем, и время скоротаем не хуже, чем за игрой в карты.

— Я согласен, только начинайте вы, — с улыбкой заметил молодой человек. — Вы, господа ремесленники, бродите по всему свету, вам есть о чем рассказать, ведь что ни город, то свои предания, свои истории.

— Как же, как же, чего только не наслышишься, — заметил мастер. — Зато такие господа, как вы, усердно читают ученые книжки, где много всего интересного понаписано, и поумнее и позанимательнее того, что может рассказать наш брат, простой ремесленник. Если я не ошибаюсь, вы студент, ученый?

— Ученый не ученый, — улыбнулся молодой человек, — но все же студент и еду на вакации домой. Но то, что написано в на-

ших книгах, не очень-то перескажешь; и порой приходится слышать куда более любопытные истории. Так что начинайте свой рассказ, если остальные не возражают.

— По мне, слушать интересную историю куда занимательнее, чем играть в карты, — отозвался возчик. — Часто я еле-еле тащусь проселочной дорогой, только бы послушать человека, который шагает рядом и рассказывает что-нибудь интересное. Бывает, в дурную погоду я подсажу к себе в повозку того или иного прохожего, а он за это, глядишь, что-нибудь и расскажет. А одного своего приятеля я, верно, только потому так люблю, что он может рассказывать битых семь часов, а историй — все еще конца не видно.

— Вот так же и я, — добавил юный ювелир, — до смерти люблю слушать, когда рассказывают. Мой хозяин в Вюрцбурге строго-настрого запретил мне заглядывать в книжки, чтобы я не зачитывался и не забывал о работе. Ну так расскажи нам что-нибудь хорошенькое, мастер, я знаю, ты можешь всю ночь до утра рассказывать, у тебя запаса хватит.

Мастер выпил для смелости и начал так:

СКАЗАНИЕ О ГУЛЬДЕНЕ С ОЛЕНЕМ

В Верхней Швабии и по сей день еще высится остов старинного замка, когда-то не знавшего себе равных в целом крае, — это Вышний Цоллерн. Он стоит на вершине круглой крутой горы, и с его дерзкой высоты открываются взору окрестные дали. И повсюду, откуда виден был замок, и еще намного дальше, люди в старину лобавались воинственных рыцарей фон Цоллерн, имя это знали и почитали во всех немецких землях. Так вот, много сотен лет тому назад — сдается мне, что тогда еще только-только изобрели порох, — жил в этой твердыне один из Цоллернов, человек по натуре весьма странный. Нельзя сказать, чтобы он жестоко притеснял своих подданных или враждовал с соседями, однако никто не хотел с ним знаться из-за его мрачного взгляда, нахмуренного лба и бранчливой, отрывистой речи. Немногие, кроме слуг в его замке, сподобились слышать, чтобы он говорил связно, как все прочие люди. Когда он скакал верхом по долине и какой-нибудь простолюдин, встретясь с ним, срывал с головы

шапку, кланялся и говорил: «Добрый вечер, ваше сиятельство, хороша нынче погодка!» — то граф отвечал: «Вздор!» или «Сам знаю!». А если кто, бывало, не угодит ему самому или не так обиходит его лошадей или он встретит в ушелье крестьянина с возом и тот не сразу уступит дорогу его коню — граф давал выход своему гневу, разражаясь громом проклятий, однако никому не случалось видеть, чтобы он когда-нибудь при подобной оказии ударил крестьянина. В округе его прозвали Цоллерн Грозовая Туча. Цоллерн Грозовая Туча был женат, и жена его являла собой полную противоположность супругу — она была кротка и приветлива, как майский день. Не раз приходилось ей добрым словом и ласковым обхождением примирять с графом людей, которых он обидел своей грубостью. Она, где только могла, помогала бедным и не считала за труд в летний зной или в злейшую стужу спуститься с крутой горы в долину, чтобы навестить бедняков или больных детей. Когда ей доводилось встречать на пути графа, он бурчал: «Вздор! Сам знаю!» — и скакал дальше.

Всякую другую женщину столь угрюмый нрав мужа остановил бы или запугал. Одна подумала бы: «Что мне за дело до бедных, ежели мой муж их ни во что не ставит!» У другой оскорбленная гордость и досада, пожалуй, вытеснили бы всякую любовь к гневливому супругу; но не такова была Гедвига фон Цоллерн. Она продолжала по-прежнему любить мужа, старалась своей прекрасной белой рукой разгладить морщины на его смуглом челе; да, она любила и почитала его. Когда же со временем небо даровало этой чете юного графа фон Цоллерн, графиня и тогда не перестала любить супруга, хотя и посвящала свои заботы маленькому сыну, как истинно любящая мать. Минуло три года; все это время граф фон Цоллерн видел мальчика только по воскресеньям после обеда, когда кормилица приносила ему ребенка. Он угрюмо смотрел на сына, бормотал что-то себе под нос и отдавал ей ребенка обратно. Однако, когда мальчик впервые произнес слово «отец», граф подарил кормилице гульден, но ребенку даже не улыбнулся.

Когда же малышу исполнилось три года, граф велел в первый раз надеть на него штанишки, нарядить в бархат и шелк, затем приказал вывести во двор своего коня и еще одну красивую лошадь, взял сына на руки и, звеня шпорами, стал спускаться с ним по винтовой лестнице. Графиня Гедвига немало удивилась, уви-

дев это; не в обычае у нее было спрашивать графа, куда и зачем он едет, но на сей раз страх за ребенка заставил ее разомкнуть уста.

— Вы намерены проехаться верхом, граф? — спросила она. — Зачем вам брать с собой дитя? — продолжала она. — Куно погуляет со мной.

— Сам знаю! — отвечал, не останавливаясь, Цоллерн Грозовая Туча.

Спустившись во двор, он быстро, за ножку, посадил мальчика в седло, крепко привязал его шалью, вскочил сам на своего коня и пустил обеих лошадей шагом к воротам, при этом он крепко держал поводья второй лошади.

Сперва ребенку как будто очень нравилось скакать вместе с отцом вниз по склону. Он хлопал в ладоши, смеялся и трепал гриву лошади, чтобы она бежала быстрее, так что граф не мог на него нарадоваться и даже несколько раз воскликнул:

— Удалой будет малый!

Но как только они выехали на равнину и граф, до сего времени ехавший шагом, перевел лошадей на рысь, у малыша занялся дух; сначала он робко попросил отца ехать потише, но, когда лошади пустились вскачь и у маленького Куно перехватило дыхание от встречного ветра, он сперва тихо заплакал, потом стал нетерпеливо хныкать и наконец заревел во всю мочь.

— Вздор, сам знаю! — вскричал граф. — Экий мальчонка — чуть сел на коня и уже ревет! Замолчи, не то...

Однако в тот миг, когда он собирался подбодрить сына крепким ругательством, конь его взвился на дыбы, и, пытаясь укротить непокорное животное, он выпустил из рук поводья второй лошади. Когда же он наконец утихомирил своего скакуна и боязливо оглянулся в поисках сына, то увидел одну только лошадь, которая бежала к замку без своего маленького всадника. Как ни суров и сумрачен был граф фон Цоллерн, но и его сердце дрогнуло при этом зрелище; решив, что его мальчик лежит на дороге с разможженными костями, он застонал и принялся рвать на себе бороду. Но, проскакав довольно большое расстояние обратно, он нигде не обнаружил следов сына и уже вообразил себе, что лошадь, испугавшись, сбросила его в наполненный водой ров, тянувшийся вдоль дороги. Вдруг он услышал позади себя детский голосок, звавший его по имени, — он мигом обернулся и — гляди-ка! — недалеко от дороги сидела под деревом старая женщина и держала на коленях его ребенка.

— Как очутился у тебя мальчик, старая ведьма? — закричал граф в неистовом гневе. — Сию же минуту отдай его мне!

— Потихе, потихе, ваша милость, — засмеялась безобразная старуха. — Не ровен час, вы и сами слетите с этого гордого коня. Как очутился у меня маленький юнкер, спрашиваете вы? Ну так вот: его лошадь понесла, он повис, привязанный только за ножку, почти касаясь волосиками земли, — я и подхватила его в свой передник.

— Сам знаю! — рявкнул фон Цоллерн. — Сейчас же давай его сюда — я не могу слезть с коня, он у меня норовистый, как бы не зашиб дитя!

— Подарите мне гульден с изображением оленя! — смиренно попросила старуха.

— Вздор! — вскричал граф, швыряя ей под дерево несколько пфеннигов.

— А мне бы очень пригодился гульден с оленем, — твердила старуха.

— Ишь чего захотела! Гульден с оленем! Ты и сама его не стоишь! Сейчас же подай ребенка, не то я спущу на тебя собак!

— Ах вот как? Я, значит, не стою гульдена с оленем? — ответила старуха с насмешливой улыбкой. — Ну что же, посмотрим, *что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем!* А эти пфенниги оставьте себе! — Сказав это, она бросила графу обратно три медные монетки, да так метко, что все они угодили как раз в кожаный кошелек, который он все еще держал в руке.

Подобная ловкость так изумила графа, что несколько минут он не мог слова вымолвить, но потом его удивление сменилось яростью. Он схватил ружье, взвел курок и прицелился в старуху. Та продолжала как ни в чем не бывало ласкать и миловать маленького графа, но держала его перед собой так, что пуля первым делом попала бы в него.

— Ты добрый, смирный мальчик, — говорила она. — Оставайся таким всегда, и счастье не обойдет тебя! — С этими словами она отпустила мальчика, а графу погрозила пальцем. — Цоллерн, Цоллерн, гульден с оленем — за вами! — воскликнула она и побрела, опираясь на буковую палку, вглубь леса, не обращая ни малейшего внимания на брань графа.

Оруженосец Конрад, дрожа от страха, спрыгнул с лошади, посадил на нее своего маленького господина, вскочил в седло позади него и поскакал следом за графом.

То был первый и последний раз, когда Цоллерн Грозовая Туча брал с собой маленького сына на прогулку верхом, ибо из-за того, что он кричал и плакал, когда лошади перешли на рысь, граф стал считать его изнеженным мальчиком, из которого уже ничего путного не выйдет, взирал на него с неудовольствием, а если мальчик, искренне любивший отца, радостно подбегал к нему и ласково обхватывал его колени, граф гнал его прочь и восклицал:

— Сам знаю! Вздор!

Графиня Гедвига готова была терпеть все дикие выходки своего супруга, но такое неласковое обхождение с ни в чем не повинным ребенком глубоко ранило ее, и не раз случалось ей тяжело занемочь от страха, когда граф-нелюдим за малую провинность жестоко наказывал ребенка, и в конце концов она умерла в расцвете лет, оплакиваемая слугами и всеми окрестными жителями, а горше всех — ее собственным сыном.

С той поры сердце графа окончательно отвернулось от мальчика; он отдал его на воспитание кормилице и замковому капеллану и редко о нем вспоминал, тем более что вскорости снова женился на богатой барышне, которая спустя год подарила ему двух мальчиков-близнецов.

Куно с большой охотой навещал добрую старушку, когда-то спасшую ему жизнь. Она всякий раз подолгу рассказывала ему о его покойной матери и о том, сколько добра сделала графиня ей самой. Слуги и служанки не раз предостерегали Куно, чтобы не ходил он часто к Фельдгеймерше — так звали старуху, ибо она не кто иная, как ведьма, но мальчика это не испугало: капеллан внушил ему, что никаких ведьм на свете нет, а предания о том, что некоторые женщины умеют колдовать, летают по воздуху верхом на ухватах и скачут на Брокен, не что иное, как досужие выдумки. Правда, в доме у старой Фельдгеймерши он видел всевозможные вещи, назначение которых было ему непонятно, а фокус с тремя пфеннигами, которые она некогда столь ловко метнула прямо в кошелек его отца, был ему еще хорошо памятен; кроме того, старуха искусно приготавливала всякие целебные мази и настойки, которыми она пользовала людей и скот, но в рассказни о том, что у нее-де есть волшебная сковорода — стоит подвесить ее над огнем, как начинается страшная гроза, — он не верил. Она научила юного графа многому, что могло ему пригодиться, — например, объяснила, что давать больным лошадям, как варить питье, из-

лечивающее собак от бешенства, или готовить приманку для рыб и прочие полезные вещи. Вскоре Фельдгеймерша и вовсе стала единственной его собеседницей, ибо кормилица его умерла, а мачеха не обращала на него внимания.

По мере того как подрастали его братья, жизнь Куно становилась все несносней: им посчастливилось при первом выезде верхом не свалиться с лошади, по этой причине Цоллерн Грозовая Туча считал их толковыми и стоящими парнями, всю свою любовь отдал им, ежедневно выезжал с ними верхом и учил всему, что знал сам. Но ничему доброму они при этом не научились; читать и писать он не умел и сам, да и незачем было его дельным сыновьям тратить время на такое пустое занятие; зато к десяти годам они уже умели так же страшно ругаться, как их отец; с каждым встречным затевали ссору, друг с другом ладили как кошка с собакой, а объединялись и становились друзьями, лишь когда намеревались сыграть какую-нибудь злую шутку с Куно. Их мать это нисколько не тревожило, в том, что мальчишки дерутся, она видела признак здоровья и силы, но один старый слуга однажды сказал об этом графу; и хотя тот, по обыкновению, отвечал: «Сам знаю, вздор!» — он все же решил измыслить средство, чтобы помешать сыновьям перебить друг друга. Угроза Фельдгеймерни, которую он в душе считал настоящей ведьмой: «Посмотрим, что из вашего наследства будет стоять гульдена с оленем!» — все еще звучала у него в ушах.

В один прекрасный день, когда он охотился в окрестностях своего замка, на глаза ему попались две горы, которые словно бы самой природой предназначены были служить подножием для замков, и он немедленно решил их построить. На одной он выстроил замок Шальксберг, названный так в честь младшего из близнецов, ибо за свои злые шутки тот давно уже получил от отца прозвание Маленький Шальк, то есть плутишка, что касается второго замка, то поначалу он собирался назвать его Хиршгульденберг¹, по имени гульдена с оленем, в насмешку над ведьмой, которая предрекла ему, что все его наследство не будет стоять и гульдена с оленем, — но удовольствовался более простым названием — Хиршберг; так обе эти горы называются и по сей день, и кому случится ехать по Альбу, пусть попросит, чтобы ему их показали.

¹ От нем.: Hirsch — олень.

Поначалу граф намеревался отказать по завещанию старшему сыну Цоллерн, Маленькому Шальку — Шальксберг, а третьему — Хиршберг; но жена до тех пор не давала ему покоя, пока он не изменил своего решения. «Глупый Куно, — так называла она бедного мальчика за то лишь, что он не был таким грубым и необузданным, как ее сыновья, — глупый Куно и без того богат, ибо немало унаследовал от матери, и ему же еще достанется прекрасный, богатый Цоллерн? А мои сыновья получают только замки безо всяких угодий, кроме леса?»

Напрасно граф толковал ей, что по справедливости нельзя лишать Куно права первородства; она плакала и бранилась до тех пор, пока Цоллерн Грозовая Туча, не склонявшийся обыкновенно ни перед кем, не уступил ей ради мира в доме и не отписал в завещании Маленькому Шальку — Шальксберг, Вольфу — старшему из близнецов — Цоллерн, а Куно — Хиршберг вместе с городком Балингеном. Вскоре после того, как граф распорядился таким образом, он тяжело захворал. Врачу, который сказал, что смерть его близка, он ответил: «Я сам знаю», а замковому капеллану, призывавшему его подготовиться к кончине, как подобает христианину, крикнул: «Вздор!» — после чего продолжал бесноваться и сквернословить и умер, как и жил, грубияном и нераскаянным грешником.

Но не успели еще предать его тело земле, как явилась графиня с завещанием и насмешливо сказала Куно, своему пасынку: ему-де представляется случай показать свою ученость и собственными глазами убедиться, что написано в завещании, а именно, что в Цоллерне ему больше делать нечего. Она и ее сыновья несказанно радовались своему богатству и двум замкам, отнятым у него, у первенца.

Куно безропотно подчинился воле усопшего; однако со слезами покидал он замок, где родился, где похоронена была его дорогая матушка, где жил добрый капеллан, а поблизости — единственная его старая приятельница Фельдгеймерша. Замок Хиршберг, хотя он и был красив и внушителен с виду, казался ему пустынным и диким, и он едва не захворал с тоски по родному Цоллерну.

Однажды вечером графиня и ее сыновья-близнецы, которым было уже по восемнадцать лет, сидели на балконе и глядели вниз; вдруг они заметили стройного всадника, скакавшего вверх

к замку, а за ним следовали носилки на двух мулах и множество слуг. Долго они гадали, кто бы это мог быть; вдруг Маленький Шальк воскликнул:

— Э! Да ведь это не кто иной, как наш братец из Хиршберга!

— Глупый Куно? — с удивлением спросила графиня. — Ах, он желает оказать нам честь и пригласить к себе в гости, эти красивые носилки он захватил с собой, чтобы доставить меня в Хиршберг; нет, право же, я не ожидала от моего сына, глупого Куно, такой доброты и учтивости; но любезность — за любезность: давайте спустимся вниз к воротам, чтобы его встретить, будьте с ним поласковей, может быть, он что-нибудь подарит нам в Хиршберге, тебе — лошадь, а тебе — панцирь, а что до меня, то мне давно уж хотелось заполучить драгоценности его матери.

— Никаких подарков от глупого Куно мне не надо, — отвечал Вольф, — и ласково встречать его я тоже не желаю. По мне, так всего лучше бы ему вскорости последовать за нашим покойным батюшкой, тогда мы унаследуем Хиршберг и все остальное, а вам, матушка, за сходную цену уступим драгоценности.

— Ах ты, негодник! — вскипела мать. — Мне покупать у вас драгоценности? Вот ваша благодарность за то, что я выхлопотала вам Цоллерн? Маленький Шальк, скажи хоть ты, ведь я получу драгоценности даром?

— Даром дается только смерть, дорогая матушка, — смеясь, ответил ей сын. — Ежели правда, что эти драгоценности стоят не меньше иного замка, то мы ведь не такие дураки, чтобы просто навесить их вам на шею. Как только Куно закроет глаза, мы поскачем вниз, поделим его добро, и свою часть драгоценностей я продам. Коли вы дадите больше, чем жид-скупщик, дорогая матушка, то они ваши.

Разговаривая таким образом, они достигли ворот замка, и графиня без усилий поборола свою досаду касательно драгоценностей, ибо в это время граф Куно как раз въезжал на подъемный мост! Когда он заметил мачеху и братьев, он придержал лошадь, спешился и вежливо приветствовал их. Ибо хотя они и причинили ему много зла, он все же помнил, что они его братья, а эту злую женщину любил его отец.

— Ах, как это мило, что наш сын приехал к нам в гости, — сказала графиня нежным голосом, с благосклонной улыбкой. — Как нам живется в Хиршберге? Привыкаем ли понемножку?

Мы даже завели себе носилки? И какие роскошные! Императрица и та бы не отказалась в них сесть. Должно быть, теперь уж недолго ждать, что в Хиршберге появится хозяйка и станет разъезжать в этих носилках по всей округе.

— Об этом я еще даже не думал, достопочтенная матушка, — отвечал Куно, — а потому и решил покамест, чтобы скрасить свое одиночество, пригласить к себе гостей, для них-то я и захватил с собой эти носилки.

— О, вы очень добры и заботливы, — перебила его мачеха и поклонилась ему с улыбкой.

— Ведь ему уже трудно сидеть в седле, — спокойно продолжал Куно. — Я говорю о патере Йозефе, замковом капеллане. Я намерен взять его к себе, это мой старый учитель, мы с ним так уговорились, когда я покидал Цоллерн. А внизу, у подножия горы, я прихвачу с собой и госпожу Фельдгеймер. Боже праведный! Старушка стала совсем дряхлой, а ведь она однажды спасла мне жизнь, когда я впервые выехал верхом вместе с покойным моим батюшкой. В Хиршберге у меня довольно комнат, пусть там и окончит свои дни. — Сказав это, он направился вглубь двора, туда, где жил капеллан.

Юнкер Вольф от гнева закусил губу, графиня пожелтела с досады, а Маленький Шальк громко расхохотался.

— Сколько вы мне дадите за коня, которого мне подарит Куно? — спросил он. — Братец Вольф, отдай мне за него свой панцирь, который ты получил от Куно! Ха-ха-ха! Попа и старую ведьму — вот кого он собирается взять к себе! Хорошенькая парочка, ничего не скажешь! Теперь он сможет по утрам брать уроки греческого у капеллана, а вечерами учиться колдовать у Фельдгеймерши. Ну и шутки выкидывает глупый Куно!

— Он низкий человек, — отвечала графиня, — и тут не над чем смеяться, Маленький Шальк; это позор для семьи, мы будем краснеть перед всей округой, когда станет известно, что граф фон Цоллерн приказал посадить старую ведьму Фельдгеймершу в роскошные носилки, да еще на мулах, и поместил ее у себя в замке. Это у него от матери, она тоже вечно якшалась с больными и всякой швалью. Ах, узнай об этом его отец, он перевернулся бы в гробу!

— Да уж, — добавил Маленький Шальк. — Отец и в могиле сказал бы: «Вздор! Сам знаю!»

— Поглядите, вон он ведет старика и не стыдится поддерживать его под руку! — в ужасе воскликнула графиня. — Пойдемте, я не желаю больше его видеть!

Они удалились, а Куно проводил своего старого учителя до моста и помог ему сесть в носилки; у подножия горы процессия остановилась перед домом госпожи Фельдгеймер, которая уже собралась в дорогу и ждала их с корзиной горшочков, банок, склянок и прочей утварью, включая неизменную буковую палку.

Случилось совсем не так, как предсказывала злая графиня фон Цоллерн, — в округе ничуть не удивились поступку рыцаря Куно. Напротив того — все находили благородным и достохвальным, что он пожелал скрасить последние дни старой Фельдгеймерши, и превозносили его как человека набожного, ибо он взял к себе старого патера Йозефа. Только его братья и графиня держали на него зло и всячески охаивали. Но это лишь служило во вред им самим; столь противное природе отношение к брату возбуждало всюду неприязнь, и, словно в противовес их наговорам, разнеслась молва, что они плохо обращаются с матерью и непрестанно с ней ссорятся, да и друг другу чинят всевозможные обиды. Граф фон Цоллерн-Хиршберг не раз делал попытки помириться с братьями, для него было нестерпимо, что они часто ездят мимо его крепости, а встречаясь с ним в лесу или в поле, не хотят разговаривать и здороваются холоднее, чем с каким-нибудь чужаком. Но все его попытки были напрасны, мало того — братья еще над ним издевались. В один прекрасный день ему вдруг пришлось в голову, каким способом он мог бы завоевать их сердца, ибо ему известна была их жадность и алчность.

Между тремя замками, почти на равном расстоянии от них, был пруд, относившийся все же к владениям Куно. В этом пруду водились превосходнейшие щуки и карпы, которым не было равных в округе, но, к великой досаде близнецов, любивших рыбачить, отец позабыл отписать этот пруд им. Гордость не позволяла им удить рыбу в пруду тайком от брата, а по-хорошему попросить у него разрешения они не желали. Но поскольку он прекрасно знал, что пруд не идет у них из ума, то и пригласил их однажды там с ним встретиться.

Было ясное весеннее утро, когда три брата, почти минута в минуту, подъехали к пруду, каждый из своего замка.

— Гляди-ка! — воскликнул Маленький Шальк. — Какое совпадение! Я выехал из Шальксберга ровно в семь часов.

— Я тоже. И я, — ответили его братья — владельцы Хиршберга и Цоллерна.

— А это значит, что пруд лежит как раз посередине, — продолжал Шальк. — Прекрасный водоем.

— Да, поэтому я и позвал вас сюда. Я знаю, что вы большие любители рыбной ловли, и, хотя я и сам не прочь иногда забросить удочку, рыбы здесь столько, что ее хватит на все три замка, а на берегу довольно места для троих, если бы даже нам вздумалось прийти сюда всем сразу. Поэтому я желаю, чтобы отныне сей водоем был нашим общим достоянием, и каждый из вас будет иметь на него такое же право, как я.

— О, сколь неслыханно милостив наш досточтимый братец, — с насмешливой улыбкой произнес Маленький Шальк, — он не шутя дарует нам шесть моргенов воды и несколько сотен рыбок! Ну а что он возьмет за это с нас? Ибо даром дается только смерть!

— Вы будете владеть им даром, — ответил Куно. — Ах, я только хотел бы время от времени видаться и говорить с вами возле этого пруда. Мы ведь сыновья *одного* отца.

— Нет! — возразил владелец Шальксберга. — Так не годится: нет ничего глупее, чем удить рыбу в компании; один непременно распугает рыбу у другого. Давайте лучше удить по очереди: скажем, в понедельник и в четверг — ты, Куно; во вторник и в пятницу — Вольф, а в среду и в субботу — я; по мне, это будет самое лучшее.

— А по мне — вовсе нет! — воскликнул угрюмец Вольф. — Я не намерен принимать что-либо в подарок, не намерен я также и с кем-либо делиться. Ты поступаешь справедливо, Куно, предлагая нам этот пруд, ибо все мы имеем в нем равную долю; но давайте бросим кости, кому владеть им впредь; если я окажусь счастливей вас, то вы всегда сможете попросить у меня разрешения поудить здесь.

— Я не играю в кости, — возразил Куно, опечаленный черствостью братьев.

— Уж конечно, — рассмеялся Маленький Шальк. — Братец у нас ведь такой богобоязненный и скромный, игра в кости для него — смертный грех. Но я предложу вам кое-что другое, чего не устыдился бы и самый набожный отшельник. Давайте принесем лески и крючки, и кто за сегодняшнее утро, покуда часы в Цоллерне не пробьют двенадцать, наловит больше рыбы, тому и владеть прудом.

— Безумец я, да и только, — сказал Куно, — коли собираюсь разыгрывать то, что принадлежит мне по праву. Но дабы вы убедились, что я всерьез намеревался разделить с вами пруд, я схожу за своей рыболовной снастью.

И они разъехались по домам, каждый в свой замок. Близнецы поспешно разослали слуг — выворачивать старые камни и собирать червей для наживки, а Куно взял свою обычную снасть и ту приманку, которую его когда-то научила готовить Фельдгеймерша, и первым снова очутился у пруда. Когда туда прибыли оба брата-близнеца, он позволил им выбрать наиболее удобные и выгодные места и сам тоже закинул удочку.

И что же? Можно было подумать, что рыбы признали в нем хозяина. Целые стаи карпов и щук подплывали к его леске и прямо кишели вокруг нее; те, что постарше и покрупней, оттесняли молодь, и Куно ежеминутно вытаскивал из воды рыбину, а стоило ему снова забросить удочку, как уже два-три десятка рыб разевали пасть, чтобы заглотнуть острый крючок. Не прошло и двух часов, как вся трава вокруг него была завалена прекраснейшей рыбой. Тогда он перестал удить и пошел к братьям поглядеть, как идут дела у них. Маленький Шальк поймал одного небольшого карпа и две жалкие уклейки, Вольф — трех усачей и двух маленьких пескарей; братья мрачно глядели в воду — с их мест им хорошо видна была огромная куча рыбы возле Куно. Когда Куно подошел к своему брату Вольфу, тот в ярости вскочил, порвал леску, изломал удилище и побросал все в воду.

— Хотел бы я забросить тысячу крючков вместо одного, и пусть бы на каждом билась одна из этих тварей! — вскричал он. — Но здесь дело нечисто, это все волшба и колдовство. Как бы иначе тебе, глупый Куно, удалось за один час поймать больше рыбы, чем удается мне за целый год?

— Да-да, теперь я вспомнил, — подхватил Маленький Шальк. — Ведь это старуха Фельдгеймерша, гадкая ведьма, научила его ловить рыбу, а мы-то, болваны, вздумали с ним состязаться! Он скоро и сам заделается колдуном.

— Ну и негодяи же вы! — гневно вскричал Куно. — За сегодняшнее утро я довольно нагляделся на вашу жадность, грубость и бесстыдство. Ступайте прочь, и чтобы ноги вашей отныне здесь не было. И поверьте, для спасения ваших душ было бы лучше, если бы вы оказались хоть вполовину так добры и благочестивы, как та женщина, которую вы ославили ведьмой.

— Ну, до настоящей ведьмы ей далеко, — насмешливо улыбаясь, заявил Шальк. — Ведьмы умеют предсказывать, а твою Фельдгеймершу столь же мало можно назвать предсказательницей, как гуся — лебедем. Вот же предсказывала она отцу, что добрую часть его наследства можно будет купить за гульден с оленем, — то есть что он совсем обнищает, а ведь перед его кончиной ему принадлежало все, что открывается взору с башен замка Цоллерн! Нет, твоя Фельдгеймерша — просто выжившая из ума старуха, а сам ты — глупый Куно.

Сказав это, Шальк поспешно ускорил: он побаивался тяжелой руки брата, а Вольф последовал за ним, изрыгая все проклятия, которым он выучился у своего отца.

С печалью в душе отправился Куно домой. Теперь он ясно видел, что братья никогда не пойдут с ним на мировую. А их жестокие слова он принял так близко к сердцу, что на следующий день тяжело захворал, и только утешительные речи патера Йозефа и целебное питье госпожи Фельдгеймер спасли его от смерти.

Однако, как только его братья прослышали, что Куно при смерти, они закатили веселую пирушку и, будучи под хмельком, сговорились: когда глупый Куно умрет, тот, кто первым узнает о его смерти, даст залп из всех своих пушек, дабы известить другого, а выстреливший первым получит право выкатить у Куно из погреба бочку самого лучшего вина. С того дня Вольф приказал, чтобы кто-нибудь из его слуг неизменно стоял в дозоре неподалеку от Хиршберга, а Маленький Шальк даже подкупил изрядной суммой денег одного из слуг Куно, чтобы тот сразу дал ему знать, когда его господин будет при последнем издыхании.

Но этот слуга был более предан своему доброму и благочестивому господину, нежели злому графу Шальксбергу. И вот однажды вечером он с участием осведомился у Фельдгеймерши, как себя чувствует его господин, и, узнав от нее, что граф уже почти поправился, поведал ей о сговоре братьев и о том, что они намереваются встретить кончину графа Куно пушечным салютом. Услыхав это, старуха пришла в ярость. Она тут же все пересказала графу, а поскольку тот ни за что не хотел поверить в такое бессердечие братьев, она посоветовала ему испытать их: распустил слух, будто он умер, вот тогда он и услышит, будут они стрелять или нет.

Граф призвал к себе слугу, подкупленного его братом, спросил его еще раз и приказал скакать в Шальксберг с известием о близкой своей кончине.

Когда оруженосец мчался вниз по склону Хиршберга, его увидел слуга графа Вольфа фон Цоллерн, остановил и спросил, куда это он так спешит.

— Ах, — отвечивал тот, — мой бедный господин не доживет, видать, до полуночи, ни у кого уже не осталось ни малейшей надежды.

— Вот как, значит, пришло время! — воскликнул слуга, подбежал к своей лошади, вскочил в седло и с такой быстротой понесся в гору к замку Цоллерн, что у ворот лошадь его пала, а сам он только и успел крикнуть: «Граф Куно умирает!» — и свалился замертво. Тут с Вышнего Цоллерна прогремел пушечный залп. Граф Вольф с матерью ликовали: их радовали и бочка доброго вина, и остальное наследство — пруд, драгоценности и громкое эхо пушечных выстрелов. Однако то, что они поначалу приняли за эхо, были пушки Шальксберга, и Вольф с улыбкой сказал матери:

— Стало быть, у Шалька тоже имелся шпион — придется нам поделить с ним также и вино, как и все прочее наследство.

Тут он поспешил сесть на коня, ибо подозревал, что Маленький Шальк постарается его опередить, дабы присвоить кое-какие ценности усопшего, прежде чем успеет приехать его брат.

Однако у пруда братья встретились, и оба покраснели оттого, что каждый из них стремился первым попасть в Хиршберг. Продолжая свой путь вместе, они о Куно даже не вспоминали, а обсуждали по-братски, как им устроить свои дела и к кому из них должен отойти Хиршберг. Когда же они въезжали по мосту во двор замка, то увидели у окна своего брата — он был живехонек и сверху глядел на них, но глаза его пылали гневом и негодованием. Увидав Куно, братья ужасно перепугались; сперва они подумали, что это привидение, и начали истово креститься; но, когда убедились, что это их брат — человек из плоти и крови, — Вольф воскликнул:

— Вот те на! Экий вздор, я думал, ты умер!

— Ну, отложить — не значит отменить, — сказал Шальк, метавший на Куно злобные взгляды.

Куно же произнес грозным голосом:

— С этого часа все узы родства между нами порваны и расторгнуты. Я прекрасно слышал ваш пушечный салют; но взгля-

ните-ка сюда — у меня во дворе тоже стоят пять кулеврин, и я приказал хорошенько зарядить их в вашу честь. Убирайтесь-ка отсюда подальше — туда, где вас не достанут ядра моих пушек, не то узнаете, как умеют стрелять в Хиршберге.

Они не заставили просить себя дважды, так как поняли, что он не шутит, дали шпоры лошадям и наперегонки помчались вниз с горы, а Куно выпустил им вслед заряд, который просвистел у них над головой, вынудив отвесить низкий учтивый поклон, — но он хотел только пугнуть их, не причинив вреда.

— Зачем же ты стрелял? — с досадой спросил Маленький Шальк. — Болван! Ведь я стрелял только потому, что услышал твои пушки!

— Совсем напротив, можешь спросить у матушки, — возразил Вольф. — Первым стрелял ты, это из-за тебя мы претерпели такой позор, молокосос ты этакий!

Младший не остался в долгу и в свою очередь наградил брата всевозможными почетными титулами, а когда они подъехали к пруду, то в довершение всего осыпали друг друга ругательствами, которые оставил им в наследство Цоллерн Грозовая Туча, и расстались, пылая ненавистью и злобой.

День спустя Куно составил завещание, и госпожа Фельдгеймер сказала патеру:

— Бьюсь об заклад, не очень-то приятный подарок приготовил он этим пушкарям.

Но, сколь ни была она любопытна и как ни выспрашивала у своего любимца, он не открыл ей, что написано в завещании; так она этого и не узнала, ибо год спустя добрая женщина скончалась, и не помогли ей ее бальзамы и отвары, потому что умерла она не от болезни, а от своих девяноста восьми лет, а годы в конце концов сведут в могилу и самого здорового человека. Граф Куно устроил ей такие похороны, словно она была его матерью, а не простой бедной женщиной, и он почувствовал себя еще более одиноко в своем замке, тем более что и патер Йозеф вскоре последовал за госпожой Фельдгеймер.

Но недолго пришлось ему страдать от одиночества: добрый Куно умер на двадцать восьмом году, и злые языки утверждали, что причиной тому был яд, который подослал ему Маленький Шальк.

Как бы то ни было, через несколько часов после его смерти снова загремели пушки: в Цоллерне и Шальксберге дали по двадцать пять выстрелов.

— На сей раз он и вправду отдал богу душу, — сказал Шальк, когда оба брата встретились на дороге в Хиршберг.

— Да, — ответил Вольф. — А если он паче чаяния воскреснет и примется ругаться из окна, как в тот раз, то у меня при себе ружье, уж оно-то заставит его стать повежливее и умолкнуть.

Когда они ехали вверх по склону Хиршберга, к ним присоединился какой-то незнакомый всадник со свитой. Они подумали, что это, наверное, друг их покойного брата и едет он на похороны. Поэтому они притворились опечаленными, восхваляли перед ним покойного, скорбели о его преждевременной кончине, а Маленький Шальк даже пролил несколько крокодиловых слезинок. Однако рыцарь не отвечал им, а только молча скакал с ними рядом.

— Так, а теперь погуляем вволю, подавай-ка нам, кравчий, вина, да самого лучшего! — воскликнул, спешиваясь, Вольф.

Они поднялись по винтовой лестнице и вошли в зал, но молчаливый рыцарь последовал за ними и туда, а когда близнецы по-хозяйски расселись за столом, вытащил из кармана серебряную монету, швырнул ее на каменную столешницу, так что она покатилась со звоном, и сказал:

— Вот, получайте ваше наследство, гульден с оленем, и это вполне законно.

Тут братья удивленно переглянулись, засмеялись и спросили рыцаря, что он хочет этим сказать.

Но рыцарь достал пергамент с должным количеством печатей, в котором глупый Куно перечислял обиды, причиненные ему братьями за всю его жизнь, и в конце изъявлял свою волю, чтобы в случае его смерти все его наследие, все достояние, кроме драгоценностей его покойной матери, было продано Вюртембергу, и ни более ни менее как за один жалкий гульден с оленем! А на драгоценности он завещал построить в городе Балингене приют для бедных.

Вот уж когда братья удивились так удивились, но теперь им было не до смеха, они только стиснули зубы от злости — где им было тягаться с Вюртембергом. Так они потеряли прекраснейшее имение, лес и поле, и город Балинген, и даже обильный рыбной пруд, а унаследовали всего-навсего жалкий гульден с оленем. Вольф с надменным видом засунул его в карман камзола, не проронив ни слова, нахлобучил на голову берет, надменно, не прощаясь, простествовал мимо вюртембергского комиссара, вско-

чил на коня и поскакал в Цоллерн. Когда же на другое утро мать принялась бранить его за то, что они с братом проворонили имение и драгоценности, он поскакал в Шальксберг.

— Что мы сделаем с наследством — пропьем или проиграем? — спросил он брата.

— Давай лучше пропьем, — сказал Шальк. — Тогда мы оба им попользуемся. Поедем-ка в Балинген, покажемся там всем назло, хоть и лишились мы этого городка так глупо.

— А в «Ягненке» отменное красное вино — лучшего не пивал и сам император! — добавил Вольф.

Итак, они вдвоем отправились в Балинген, к «Ягненку», спросили, сколько стоит штоф красного, и пили до тех пор, пока не пропили весь гульден. Тогда Вольф поднялся, вытащил серебряную монету с вычеканенным на ней скачущим оленем и бросил ее на стол со словами:

— Вот вам гульден, и мы в расчете!

Но хозяин взял гульден, оглядел его сначала с одной, потом с другой стороны и, улыбаясь, сказал:

— Да, были бы в расчете, ежели бы на этом гульдене не было оленя, но вчера к нам прибыл гонец из Штутгарта, а сегодня глашатаи с барабанным боем возвестили именем герцога Бюртембергского — к нему ведь теперь отошел городок, — что деньги эти вышли из обращения, так что уж давайте другие!

Братья побледнели и переглянулись.

— Плати-ка ты! — сказал один.

— А у тебя разве нет других денег? — спросил второй.

Короче говоря, они задолжали этот гульден «Ягненку» в Балингене. Молча ехали они своей дорогой, погруженные в задумчивость, а когда достигли развилки, где путь направо вел в Цоллерн, а налево — в Шальксберг, Шальк сказал:

— Как же быть? Выходит, мы унаследовали меньше чем ничего? Да и вино было дрянное.

— Верно, — ответил Вольф. — Вот и исполнилось то, что предсказала Фельдгеймерша: «Посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем!» А теперь нам не дали за него и штофа вина!

— Сам знаю! — отвечал владелец Шальксберга.

— Вздор! — сказал тот, что владел Цоллерном, и, озлившись на себя и на весь мир, поскакал в свой замок.

— Вот вам сказание о гульдене с изображением оленя, — закончил мастер, — и, говорят, это не вымысел. Хозяин заезжего двора в Дюрвангене, что недалеко от трех замков, рассказал его моему приятелю, который часто ходит проводником через Швабский Альб и всегда заворачивает в его харчевню.

Собравшиеся похвалили рассказчика.

— Чего только не наслушаешься на свете! — воскликнул возчик. — Вот теперь я рад, что мы не потратили времени зря на игру в карты, так, право же, лучше; я запомнил это предание и могу завтра пересказать его моим товарищам, не пропустив ни единого слова.

— Пока вы рассказывали, я тоже припомнил одну легенду, — сказал студент.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста, — принялись просить его мастер и Феликс.

— Хорошо, — согласился он, — сейчас ли мой черед или после, не важно: должен же я расплатиться за то, что слышал. То, что я хочу рассказать, говорят, действительно было.

Он сел поудобнее и хотел уже начать свой рассказ, но тут хозяйка отставила прялку и подошла к столу, где сидели гости.

— А теперь, господа, пора и на покой, — сказала она. — Прошло девять, а завтра опять день будет.

— Ну и ступай себе спать! — сказал студент. — Принеси нам бутылку вина, а потом ты нам уже ни к чему.

— Нет, так не водится, — недовольно буркнула она. — Пока в зале гости, ни хозяйке, ни прислуге уйти нельзя. Коротко и ясно: отправляйтесь по своим комнатам, господа, я устала, а после девяти у меня в доме бражничать не полагается.

— Да что это вы, хозяйка? — удивился мастер. — Чем мы вам помешаем, ежели засидимся здесь, а вы уже ляжете спать? Мы люди честные, ничего не унесем и не уйдем, не расплатившись. А так понукать меня я не позволю ни в какой гостинице.

Хозяйка бросила на него гневный взгляд.

— Так, по-вашему, я из-за всякого жалкого подмастерья, из-за всякого побродяжки, с которого и заработаю-то всего каких-нибудь двенадцать крейцеров, стану менять весь распорядок в доме? В последний раз говорю: своевольничать я не позволю!

Мастер хотел было возразить, но студент многозначительно посмотрел на него, а остальным подмигнул.

— Хорошо, — сказал он, — раз хозяйка того хочет, то пойдем к себе в комнаты. Только можно попросить у вас свечи, чтобы нам не блуждать?

— Этим служить не могу, — нахмурилась, ответила она. — Вот огарочек, вам его хватит, а остальные и впотьмах не заблудятся. Свечами я не богата.

Студент молча взял огарок и встал из-за стола. Остальные тоже поднялись, ремесленники захватили свои пожитки, и все последовали за студентом, который светил им на лестнице.

Когда они были наверху, студент попросил их ступить потише, отпер свою комнату и поманил всех к себе.

— Теперь сомнения быть не может, — сказал он. — Она заодно с разбойниками. Вы заметили, как она боялась, что мы не ляжем, не заснем, что будем долго сидеть и разговаривать? Она, верно, думает, что теперь мы заснем, а тогда уж нетрудно будет с нами справиться.

— А что, если нам убежать? — спросил Феликс. — В лесу легче рассчитывать на спасение, чем здесь, в четырех стенах.

— Здесь на окнах тоже решетки, — грустно сказал студент, тщетно пытаясь вырвать один из железных прутьев оконной решетки. — Если мы вздумаем спастись бегством, у нас остается только дверь, *другого* выхода у нас нет, но не думаю, что они дадут нам уйти.

— Надо попытаться, — решил возчик, — я сейчас посмотрю, можно ли пройти во двор. Если можно, я вернусь за вами.

Все одобрили его предложение, возчик разулся и на цыпочках прокрался к лестнице. Остальные со страхом прислушивались. Благополучно, никем не замеченный, спустился он уже до половины лестницы, обогнул столб на повороте, и вдруг перед ним вырос огромный дог, положил передние лапы ему на плечи, и возчик у самого своего лица увидел оскаленную пасть с двумя рядами длинных и острых зубов. Он не смел пошевелиться, ведь при малейшем движении страшная собака вцепилась бы ему в горло. Собака подняла лай, стала выть, и тут же появились работник и хозяйка со свечами в руках.

— Куда вы? Что вам надо? — крикнула женщина.

— Мне надо еще кое-что принести из повозки, — ответил возчик, дрожа всем телом, потому что, когда открылась дверь, он заметил в трактире каких-то подозрительных мужчин, вооруженных и загорелых.

— О чем вы раньше думали! — недовольно проворчала хозяйка. — Хватай, на место! Запри ворота, Якоб, и посвети ему до повозки.

Собака отодвинула свою страшную морду от лица возчика, сняла с его плеч лапы и опять улеглась поперек лестницы, работник запер ворота и теперь светил возчику. О бегстве нечего было и думать. Тем временем он стал размышлять, что бы такое взять из повозки, и тут ему вдруг вспомнилось, что у него там фунт восковых свечей, который он должен был отвезти в соседний город. «Огарка, что у нас есть, на четверть часа и то вряд ли достанет, — подумал он, — а свет нам необходим!» Итак, он взял две свечи, сунул их в рукав, а для виду прихватил еще плащ, чтобы укрыться ночью, как он сказал работнику.

Благополучно вернулся он обратно в комнату. Рассказал об огромной собаке, сторожащей лестницу, о людях, которых видел мельком, о мерах, принятых хозяйкой против постояльцев, и со вздохом прибавил:

— Нет, сегодняшней ночи нам не пережить.

— Я этого не думаю, — возразил студент, — не так уж они глупы, чтобы, польстившись на столь малый прибыль, который они получают с нас, убить четырех человек. Но сопротивляться не следует. Что до меня, то я, должно быть, потеряю больше всех: моя лошадь уже в их руках, всего месяц тому назад я уплатил за нее пятьдесят дукатов. Кошелек и одежду я добровольно им отдам, ведь, в конце концов, жизнь мне дороже.

— Хорошо вам говорить, — возразил возчик, — то, что вы, возможно, потеряете, вам легко восстановить, а вот я посыльный, еду из Ашафенбурга, и в повозке у меня всякая всячина, а в здешней конюшне единственное мое достояние — два добрых коня.

— Представить себе не могу, чтобы они причинили вам зло, — заметил Феликс. — Ограбление посыльного вызовет слишком много толков и шума. А с тем, что сказали вы, господин студент, я вполне согласен: я лучше все сразу отдам, и клятвенно обещаю ничего никому не говорить, никогда даже не пожаловаться, и ради того немногого, что имею, не буду сопротивляться людям, вооруженным нарезными ружьями и пистолетами.

Возчик тем временем вытащил свои восковые свечи, прилепил их к столу и зажег.

— Ну что же, посмотрим, что с нами будет, — сказал он, — усядемся опять рядом и постараемся за разговорами позабыть о сне.

— Да, так и сделаем, — поддержал его студент, — а так как очередь теперь за мной, то я и расскажу вам одну историю.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Часть первая

Кому доведется побывать в Швабии, пусть непременно заглянет и в Шварцвальд — но не ради леса, хотя такого несметного числа рослых могучих елей в других местах, верно, и не сыщешь, а ради тамошних жителей, которые удивительно не похожи на всех прочих людей в округе. Они выше обычного роста, широки в плечах и обладают недюжинной силой, как будто живительный аромат, по утрам источаемый елями, с юных лет наделил их более свободным дыханием, более зорким взглядом и более твердым, хотя и суровым, духом, нежели обитателей речных долин и равнины. Не только ростом и сложением, но также обычаями своими и одеждой отличаются они от тех, кто живет за пределами этого горного края. Особенно нарядны жители баденского Шварцвальда: мужчины носят окладистую бороду, какую их наградила природа, а их черные куртки, широченные сборчатые шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими плоскими полями придают им вид слегка причудливый, зато внушительный и достойный. В тех местах большинство людей занимаются стекольным промыслом, делают они также часы, которые расходятся по всему свету.

В другой части Шварцвальда живут люди того же племени, однако иное занятие породило у них иные нравы и привычки, чем у стекловаров. Они промышляют лесом: валят и обтесывают ели, сплавляют их по Нагольду в верховья Неккара, а из Неккара — вниз по Рейну, до самой Голландии; и тем, кто живет у моря, примелькались шварцвальдцы с их длинными плотами; они останавливаются на всех речных пристанях и с важностью ожидают, не купят ли у них бревна и доски; но самые толстые и длинные бревна они продают за хорошие деньги мингерам, которые строят из них корабли. Люди эти привыкли к суровой кочевой жизни. Спускаться на плотах по течению рек для них истинная

радость, возвращаться по берегу пешком — истинная мука. Потому-то их праздничный наряд так отличен от наряда стекловаров из другой части Шварцвальда. Они носят куртки из темной парусины; на широкой груди — зеленые помочи шириной в ладонь, штаны черной кожи, из кармана которых, как знак отличия, торчит латунный складной метр; однако их красу и гордость составляют сапоги, — должно быть, больше нигде на свете не носят таких огромных сапог, их можно натянуть на две пяди выше колена, и плотовщики свободно шагают в этих сапогах по воде глубиной в три фута, не промочивши ног.

Еще совсем недавно жители здешних мест верили в лесных духов, и только в последние годы удалось отвратить их от этого глупого суеверия. Но любопытно, что и лесные духи, согласно легенде обитавшие в Шварцвальде, тоже разнились между собой в одежде. Так, например, уверяли, что Стекланный Человечек, добрый дух ростом в три с половиной фута, всегда является людям в островерхой шляпе с большими плоскими полями, в курточке и шароварах и в красных чулочках. А вот Голландец Михель, который бродит в другой части леса, рассказывают, огромный широкоплечий детина в одежде плотовщика, и многие люди, якобы видевшие его, твердят, что не хотели бы из своего кармана платить за телят, чья кожа пошла ему на сапоги. «Уж такие высокие, что обыкновенный человек уйдет в них по горло», — уверяли они и божились, что несколько не преувеличивают.

Вот с этими-то лесными духами, говорят, и приключилась у одного парня из Шварцвальда история, которую я хочу вам рассказать.

Жила некогда в Шварцвальде вдова — Барбара Мункиха; муж ее был угольщик, и после его смерти она исподволь готовила их шестнадцатилетнего сына к тому же ремеслу. Юный Петер Мунк, рослый статный малый, безропотно просиживал всю неделю у дымящейся угольной ямы, потому что видел, что и отец его делал то же самое; затем, прямо как был, чумазый и закопченный, сущее пугало, спускался вниз, в ближний город, чтобы продать свой уголь. Но занятие угольщика таково, что у него остается много свободного времени для размышлений о себе и о других; и, когда Петер Мунк сидел у своего костра, мрачные деревья вокруг и глубокая лесная тишина наполняли его сердце смутной тоской, вызывая слезы. Что-то печалило, что-то злило его, а вот

что, он и сам толком не понимал. Наконец он смекнул, что его злит, — его ремесло. «Одинокый, чумазный угольщик! — сетовал он. — Что это за жизнь! Каким уважением пользуются стекловары, часовые мастера, даже музыканты по праздникам! А вот появится Петер Мунк, добела отмытый, нарядный, в отцовской праздничной куртке с серебряными пуговицами и в новехоньких красных чулках, — и что же? Пойдет кто-нибудь за мною следом, подумает сперва: „Что за ладный парены!“ — похвалит про себя и чулки, и молодецкую статью, но, едва лишь обгонит меня и заглянет в лицо, сразу и скажет: „Ах, да это всего-навсего Петер Мунк, угольщик!“»

И плотовщики из другой части леса тоже возбуждали в нем зависть. Когда эти лесные великаны приходили к ним в гости, богато разодетые, навесив на себя добрых полцентнера серебра в виде пуговиц, пряжек и цепочек; когда они, широко расставив ноги, с важным видом глядели на танцоров, ругались по-голландски и, подобно знатным мингерам, курили аршинные кельнские трубки, — Петер смотрел на них с восторгом; такой вот плотовщик представлялся ему образцом счастливого человека. А когда эти счастливыцы, запустив руку в карман, пригоршнями вытаскивали оттуда полновесные талеры и, поставив какой-нибудь грош, проигрывали в кости по пять, а то и по десять гульденов, — у него мутилось в голове, и он в глубоком унынии брел в свою хижину; в иной воскресный вечер ему случалось наблюдать, как тот или другой из этих «лесных торгашей» проигрывал больше, нежели бедный папаша Мунк зарабатывал за целый год. Среди этих людей особенно выделялись трое, и Петер не знал, которым из них восхищаться больше. Первый был краснолицый рослый толстяк, он слыл богатейшим человеком в округе. Его прозвали Толстяк Эзехиль. Два раза в год он возил в Амстердам строевой лес и был так удачлив, что продавал его намного дороже, чем остальные, оттого и мог позволить себе возвращаться домой не пешком, как все, а плыть на корабле, словно важный барин. Второй был самый высокий и худой человек во всем Шварцвальде, его прозвали Долговязый Шлуркер. Мунк особенно завидовал его необыкновенной смелости: он перечил самым почтенным людям, и, будь трактир даже битком набит, Шлуркер занимал в нем больше места, нежели четыре толстяка, — он либо облокачивался на стол, либо клал на скамью одну из своих длинных ног, — но никто не смел ему и слова сказать, потому что у него было неслыханно мно-

го денег. Третий был красивый молодой человек, который танцевал лучше всех во всем крае, за что и получил прозвище Короля Танцев. Он был когда-то бедным парнем и служил работником у одного из «лесных торгашей», но вдруг и сам стал несметно богат; одни говорили, будто он нашел под старой елью горшок денег, другие утверждали, будто острогой, которой плотовщики ловят рыбу, он выудил из Рейна, недалеко от Бингена, мешок золота, а мешок этот-де был частью схороненного там сокровища нибелунгов; короче говоря, он в одночасье разбогател, за что и стар и млад теперь почитали его, словно принца. Вот об этих-то людях и думал без конца Петер Мунк, когда в одиночестве сидел в еловом лесу. Правда, им был свойствен один порок, за который их все ненавидели, — то была их нечеловеческая алчность, их бессердечное отношение к должникам и к бедным; надо вам сказать, что шварцвальдцы — народ добродушнейший. Но известно, как оно бывает на свете: хотя их и ненавидели за алчность, все же весьма почитали за богатство, ведь кто еще, кроме них, так сорил талерами, словно деньги можно просто натрясти с елок?

«Так дальше продолжаться не может, — решил однажды Петер, охваченный печалью; накануне был праздник, и весь народ собрался в трактире. — Если мне вскорости не повезет, я наложу на себя руки. Эх, был бы я так же уважаем и богат, как Толстяк Эзехиль, или так же смел и силен, как Долговязый Шлуркер, или так же знаменит, как Король Танцев, и мог бы, как он, бросать музыкантам талеры, а не крейцеры! Откуда только взялись у него деньги?» Петер перебрал в уме все способы добывания денег, но ни один не пришелся ему по душе, наконец ему вспомнились предания о людях, которые в стародавние времена разбогатели с помощью Голландца Михеля или Стеклянного Человечка. Пока еще был жив его отец, к ним часто заходили другие бедняки, и они, бывало, подолгу судили и рядили о богатых и о том, как к ним привалило богатство, нередко поминали они Стеклянного Человечка; да, хорошенько подумав, Петер смог восстановить в памяти почти весь стишок, который надо было произнести на Еловом Бугре, в самом сердце леса, чтобы Человечек появился. Стишок этот начинался словами:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал...

Но сколько он ни напрягал память, последняя строка никак не шла ему на ум. Он уже подумывал, не спросить ли кого-нибудь из стариков, какими словами кончается заклинание, но его всегда удерживала боязнь выдать свои мысли; к тому же — так он считал — предание о Стеклянном Человечке знают немногие, стало быть, и заклинание мало кто помнит; у них в лесу богатые люди наперечет, да и отчего тогда его отец и другие бедняки не попытались счастья? Однажды он навел на разговор о Человечке свою мать, и она рассказала ему то, что он уже знал сам, она тоже помнила только первые строки заклинания, но под конец все же поведала сыну, что старичок-лесовичок показывается лишь тем, кто родился в воскресенье между одиннадцатью и двумя часами. Сам Петер, знай он заклинание, как раз и мог быть таким человеком, ибо он родился в воскресенье в половине двенадцатого.

Как только Петер услышал это, он чуть не спятил от радости и нетерпения поскорее осуществить свой замысел. Хватит и того, думал Петер, что он родился в воскресенье и знает часть заклинания. Стеклянный Человечек непременно ему явится. И вот однажды, продав свой уголь, он нового костра разжигать не стал, а надел отцовскую праздничную куртку, новые красные чулки и воскресную шляпу, взял можжевельный посох длиною в пять футов и сказал на прощание: «Матушка, мне надо сходить в город, в окружную канцелярию, подходит срок тянуть жребий, кому из нас идти в солдаты, вот я и хочу напомнить начальнику, что вы вдова и я у вас единственный сын». Мать похвалила его за такое намерение, да только Петер отправился прямехонько на Еловый Бугор. Место это находится на высочайшей из шварцвальдских гор, на самой ее вершине, и в те времена на два часа пути вокруг не было не то что селения — ни одной хижины, ибо суеверные люди считали, что там нечисто. Да и лес, хоть и росли на Бугре прямо-таки исполинские ели, в тех местах валили неохотно: у дровосеков, когда они там работали, топор иной раз соскакивал с топорщица и вонзался в ногу или деревья падали так быстро, что увлекали за собой людей и калечили их, а то и вовсе убивали, к тому же и самые прекрасные деревья из тех, что росли на Еловом Бугре, можно было пустить только на дрова — плотовщики ни за что не взяли бы ни одного бревна оттуда в свой плот, ибо существовало поверье, что и люди, и плоты гибнут, если с ними плывет хоть одно бревно с Елового Бугра. Вот почему

на этом залятом месте деревья росли так густо и так высоко, что там и днем было темно, как ночью, и Петера Мунка стала пробирать дрожь — он не слышал здесь ни человеческого голоса, ни чьих-либо шагов, кроме своих собственных, ни стука топора; казалось, птицы и те не отваживаются залетать в густой мрак этой чащи.

Но вот Петер-угольщик взобрался на самый верх Бугра и стоял теперь перед елью чудовищной толщины, за которую любой голландский корабельщик, не моргнув глазом, выложил бы сотню гульденов. «Здесь-то, наверное, и живет Хранитель Клада», — подумал Петер, снял свою воскресную шляпу, отвесил ели низкий поклон, откашлялся и дрожащим голосом проговорил:

— Добрый вечер, господин стекольный мастер!

Но ответа не последовало, вокруг царил такая же тишина, что и раньше. «Может быть, я все же должен сказать стишок?» — подумал Петер и пробормотал:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал...

Когда он говорил эти слова, то, к великому своему ужасу, заметил, что из-за толстой ели выглядывает какая-то странная крохотная фигурка; ему показалось, что это и был Стекланный Человечек, как его описывали: черная курточка, красные чулочки и шляпа, все было в точности так, Петеру почудилось даже, что он видит тонкое и умное личико, о котором ему случалось слышать. Но увы! Стекланный Человечек исчез столь же мгновенно, как появился.

— Господин стекольный мастер! — немного помедлив, позвал Петер Мунк. — Будьте так добры, не дурачьте меня!.. Господин стекольный мастер, если вы думаете, что я вас не видел, то изволите очень ошибаться, я заметил, как вы выглядывали из-за де-ре-ва.

Но ответа все не было, лишь иногда из-за ели Петеру слышался легкий хриплый смешок. Наконец нетерпение пересилило страх, который до сих пор еще удерживал его. «Погоди, малыш, — крикнул он, — я тебя мигом сцапаю!» Одним прыжком достиг он толстой ели, но никакого Хранителя Клада там не было

и в помине, только крохотная пригожая белочка взбегала вверх по стволу.

Петер Мунк покачал головой: он понял, что дело ему почти удалось, вспомнить бы только еще одну-единственную строчку заклинания, и Стекланный Человечек предстанет перед ним, но, сколько он ни думал, сколько ни старался, все было тщетно. На нижних ветвях ели снова появилась белочка, казалось, она подзадоривает его или смеется над ним. Она умывалась, помахивала своим роскошным хвостом и глядела на него умными глазками; но под конец ему даже стало страшно наедине с этим зверьком, ибо у белки то вдруг оказывалась человеческая голова в треугольной шляпе, то она была совсем как обыкновенная белка, только на задних лапках у нее виднелись красные чулки и черные башмаки. Короче говоря, забавный это был зверек, однако у Петера-угольщика душа теперь совсем ушла в пятки — он понял, что *дело тут нечисто*.

Обратно Петер мчался еще быстрее, чем шел сюда. Тьма в лесу казалось, делалась все непроглядней, деревья — все гуще, и страх охватил Петера с такой силой, что он пустился бежать со всех ног. И только заслышав вдали лай собак и вскоре после того заведя меж деревьев дымок первого дома, он немного успокоился. Но когда он подошел поближе, то понял, что с перепугу побежал не в ту сторону и вместо того, чтобы прийти к стекловарам, пришел к плотовщикам. В том доме жили дровосеки: старик, его сын — глава семьи и несколько взрослых внуков. Петера-угольщика, попросившегося к ним на ночлег, они приняли радушно, не любопытствуя ни как его звать, ни где он живет, угостили яблочным вином, а вечером поставили на стол жареного глухаря, любимое кушанье шварцвальдцев.

После ужина хозяйка и ее дочери уселись за прялки вокруг большой лучины, которую сыновья разожгли с помощью превосходной еловой смолы; дед, гость и хозяин дома курили и смотрели на работающих женщин, парни же занялись вырезыванием из дерева ложек и вилок. В лесу тем временем разыгралась буря, ветер выл и свистел среди елей, то тут, то там слышались сильные удары, порой казалось, будто с треском валятся целые деревья. Бесстрашные юноши хотели выбежать, чтобы понаблюдать вблизи это грозно-прекрасное зрелище, но дед остановил их строгим взглядом и окриком.

— Никому бы я не посоветовал выходить сейчас за дверь, — сказал он, — как Бог свят, кто б ни вышел, назад не вернется, ведь нынешней ночью Голландец Михель рубит себе деревья для нового плота.

Младшие внуки вытаращили глазенки: они и раньше слышали о Голландце Михеле, но теперь попросили дедушку рассказать о нем поподробнее; да и Петер Мунк присоединил к ним свой голос — в его краях о Голландце Михеле рассказывали очень туманно — и спросил у старика, кто такой этот Михель и где обитает.

— Он хозяин здешнего леса, и ежели вы в ваши годы еще об этом не слыхивали, значит, живете вы за Еловым Бугром, а то и дальше. Так уж и быть, расскажу я вам о Голландце Михеле, что знаю сам и что гласит предание. Тому назад лет сто — так, по крайней мере, рассказывал мой дед — на всем свете не было народа честнее шварцвальдцев. Теперь, когда в нашем краю завелось столько денег, люди стали дурными и бессовестными. Молодые парни по воскресеньям пляшут, горланят песни и сквернословят, да так, что оторопь берет; но в те времена все было по-иному, и пусть бы он сам заглянул сейчас вон в то окно, я все равно скажу, как говорил уже не раз: во всей этой порче виноват Голландец Михель. Так вот, сто лет тому назад, а быть может, и раньше, жил-был богатый лесоторговец, державший у себя много работников; он сплавлял лес до самых низовьев Рейна, и Господь помогал ему, потому что был он набожным человеком. Однажды вечером постучался к нему какой-то детина — таких он сроду не видывал. Одет как все шварцвальдские парни, только ростом на голову выше их — даже трудно было поверить, что живет на свете такой великан. Значит, просит он лесоторговца взять его на работу, а тот, приметив, что малый на редкость сильный и может таскать тяжести, тут же уговорился с ним о плате, и они ударили по рукам. Михель оказался таким работником, какие лесоторговцу и не снились. Когда рубили деревья, он управлялся за троих, а если ношу с одного конца поднимали шестеро, за другой брался он один. Прошло с полгода, как он рубил лес, и вот в один прекрасный день является он к хозяину и говорит: «Хватит уж мне рубить лес, хочу я наконец поглядеть, куда уплывают мои бревна, — что, коли вы и меня разок отпустите с плотами?»

Лесоторговец отвечал: «Я не стану тебе препятствовать, Михель, если тебе захотелось повидать свет. Хоть и нужны мне на рубке леса сильные люди, а на плотях важнее ловкость, нежели сила, на сей раз пусть будет по-твоему».

На том и порешили; плот, с которым предстояло ему плыть, составлен был из восьми вязок, а последняя — из огромных строевых балок. И что же дальше? Накануне вечером приносит Михель к реке еще восемь бревен — таких толстых и длинных, каких свет не видывал, а он их несет играючи, словно это всего-навсего шесты, — тут всех прямо в дрожь бросило. Где он их срубил — так до сих пор никто и не знает. Увидал это лесоторговец, и сердце у него взыграло: он быстро прикинул в уме, сколько можно выручить за эти бревна, а Михель и говорит: «Ну вот, на этих-то я и отправлюсь, не на тех же щепочках мне плыть!» Хозяин хотел было дать ему в награду пару сапог, какие носят плотовщики, да Михель отшвырнул их и принес невесть откуда другие, невиданные; дед мой уверял, что весили они добрых сто фунтов и были в пять футов длиной.

Плот спустили на воду, и ежели раньше Михель удивлял дровосеков, то теперь пришел черед дивиться плотовщикам: они-то думали, что плот их из-за тяжелых бревен пойдет медленно, а он, как только попал в Неккар, понесся стрелой; там же, где Неккар делал излучину и плотовщики обыкновенно с превеликим трудом удерживали гонку на быстрине, не давая ей врезаться в прибрежный песок или гальку, Михель всякий раз соскакивал в воду, одним толчком вправо или влево выправлял плот, так что он без помех скользил дальше; а где река текла прямо, перебегал вперед на первую вязку, приказывал всем положить весла, втыкал в дно реки свой огромный шест, и плот с маху летел вперед, — казалось, будто деревья и села на берегу стремительно проносятся мимо. Таким-то манером они вдвое быстрее обычного достигли города Кельна на Рейне, где всегда сбывали свой груз, но теперь Михель им сказал: «Ну и купцы! Хорошо же вы понимаете свою выгоду! Неужто вы думаете, что кельнцы сами потребляют весь лес, который им пригоняют из Шварцвальда? Нет, они скупают его у вас за полцены, а потом перепродают подороже в Голландию. Давайте мелкие бревна продадим здесь, а большие отвезем в Голландию; все, что мы выручим сверх обычной цены, пойдет в наш карман».

Так говорил злокозненный Михель, и остальным это пришлось по душе: кому хотелось повидать Голландию, кому взять побольше денег. Нашелся среди них один честный малый, который отговаривал их рисковать хозяйским добром или обманывать хозяина в цене, да они его и слушать не стали и сразу позабыли его слова, только Голландец Михель не позабыл. Вот и поплыли они со своим лесом дальше, вниз по Рейну, Михель управлял плотом и быстро доставил их в Роттердам. Там предложили им цену, вчетверо больше прежней, а за огромные Михелевы балки отвалили целую кучу денег. Когда шварцвальдцы увидели такую уйму золота, они прямо с ума посходили от радости. Михель поделил выручку — одну четверть лесоторговцу, три четверти плотовщикам. И тут пошла у них гульба; с матросами и со всякой прочей швалью шатались они денно и ночно по кабакам, пропивали да проигрывали свои денежки, а того честного парня, который их удерживал, Голландец Михель продал торговцу живым товаром, и никто больше о нем не слышал. С той поры и стала Голландия раем шварцвальдских парней, а Голландец Михель — их повелителем; лесоторговцы долгое время ничего не знали об этой тайной торговле, и мало-помалу сюда, в верховья Рейна, стали притекать из Голландии деньги, а с ними сквернословие, дурные нравы, игра и пьянство.

Когда правда наконец вышла наружу, Голландец Михель как в воду канул; однако он жив и поныне. Вот уже сто лет творит он бесчинства в здешнем лесу и, сказывают, многим помог разбогатеть, да только ценою их грешной души — больше я ничего не скажу. Одно верно: и по сию пору в такие вот бурные ночи выискивает он на Еловом Бугре, где никто леса не рубит, самые отменные ели, и мой отец своими глазами видел, как ствол толщиной в четыре фута переломил он, словно тростинку. Эти бревна он дарит тем, кто сошел с пути истинного и стакнулся с ним: в полночь они спускают плоты на воду, и он плывет с ними в Голландию. Только будь я государем в Голландии, я бы приказал разнести его в куски картечью — ведь все корабли, где есть хоть одна доска из тех, что поставил Голландец Михель, неминуемо идут ко дну. Потому и приходится слышать о стольких кораблекрушениях: отчего бы иначе вдруг затонул красивый крепкий корабль высотою с церковь? Но всякий раз, когда Голландец Михель в такую бурную ночь рубит ель в Шварцвальде, одна из прежних его

досок выскакивает из пазов корабля, в щель затекает вода, и судно с людьми и товаром идет ко дну. Вот вам предание о Голландце Михеле, и то истинная правда — вся порча в Шварцвальде пошла от него. Да, он может дать человеку богатство, но я бы не стал у него что-нибудь брать, ни за что на свете не хотел бы я быть на месте Толстяка Эзекиля или Долговязого Шлуркера, говорят, что и Король Танцев предался ему!

Пока старик рассказывал, буря улеглась; напуганные девушки засветили лампы и ушли к себе, а мужчины положили на лавку у печки мешок, набитый листьями, вместо подушки для Петера Мунка и пожелали ему спокойной ночи.

Никогда еще Петеру не снились такие страшные сны, как в эту ночь: то ему чудилось, будто огромный, страшный Голландец Михель распахивает окна в горнице и своей длинной ручищей сует ему под нос мешок с деньгами, легонько встряхивая его, так что монеты бренчат ласково и звонко; то ему снилось, будто добрый Стекланный Человечек скачет по комнате верхом на громадной зеленой бутылке, и опять слышалось хриповатое хихиканье, как давеча на Еловом Бугре; кто-то прожужжал ему в левое ухо:

За золотом, за золотом
В Голландию плыви,
Золото, золото
Смело бери!

Тут в правое ухо ему полилась знакомая песенка про Хранителя Клада в еловом лесу, и нежный голосок прошептал: «Глупый Петер-угольщик, глупый Петер Мунк, не можешь найти рифму на „взывал“, а еще родился в воскресенье, ровно в полдень. Ищи, глупый Петер, ищи рифму!»

Он кряхтел и стонал во сне, силясь найти рифму, но, так как он еще сроду не сочинял стихов, все его усилия были напрасны. Когда же с первыми лучами зари он проснулся, сон этот показался ему очень странным; он сел за стол и, скрестив на груди руки, стал размышлять о словах, которые слышались ему во сне, — они все еще звучали у него в ушах. «Ищи, глупый Петер, ищи рифму!» — повторил он про себя и постучал себе пальцем по лбу, но рифма упорно не шла. Когда он по-прежнему сидел в той же позе и мрачно глядел перед собой, неотступно думая о рифме на «взывал», мимо дома вглубь леса прошли трое парней, и один из них на ходу распевал:

С горы в долину я зывал,
Искал тебя, мой свет.
Платочек белый увидал —
Прощальный твой привет.

Тут Петера словно молнией пронзило, он вскочил и выбежал на улицу — ему показалось, что он недослышал. Нагнав парней, он быстро и цепко схватил певца за руку.

— Стой, приятель! — крикнул он. — Какая у вас там рифма на «зывал»? Сделайте милость, скажите мне слова той песни!

— Еще чего вздумал! — возразил шварцвальдец. — Я волен петь что хочу! Ну-ка, отпусти мою руку, не то...

— Нет, ты мне скажешь, что пел! — в ярости кричал Петер, еще крепче сжимая парню руку.

Увидев это, двое других немедленно кинулись на Петера с кулаками и дубасили до тех пор, пока он от боли не выпустил рукав третьего и, обессилив, не рухнул на колени.

— Ну и поделом тебе! — смеясь, сказали парни. — А наперед запомни — с такими, как мы, шутки плохи!

— Запомнить-то я, конечно, запомню, — вздыхая, ответил Петер-угольщик. — Но теперь, когда вы все равно меня отдубасили, будьте так добры, скажите, что он пел!..

Они снова расхохотались и стали над ним издеваться; но парень, который пел песню, сказал ему слова, после чего они, смеясь и распевая, двинулись дальше.

— Значит, увидал, — пробормотал бедняга; весь избитый, он с трудом поднялся на ноги. — «Зывал» рифмуется с «увидал». Теперь, Стекланный Человечек, давай с тобой еще разок перемолвимся словом!

Он возвратился в дом, взял шляпу и посох, попрощался с хозяевами и отправился опять на Еловый Бугор. Медленно и задумчиво шел он своей дорогой — ведь ему непременно надо было вспомнить стишок; наконец, когда он уже всходил на Бугор, где ели обступали его все теснее и становились все выше, стишок вдруг вспомнился сам собой, и он от радости даже подпрыгнул.

Тут из-за деревьев выступил огромный детина в одежде плотовщика, держа в руке багор длиной с корабельную мачту. У Петера Мунка подкосились ноги, когда он увидел, что великан медленно зашагал рядом с ним, ибо он понял, что это не кто иной, как Голландец Михель. Страшный призрак шел молча, и Петер

в ужасе украдкой поглядывал на него. Он был, пожалуй, на голову выше самого высокого человека, которого Петер когда-либо видел, лицо его, хоть и сплошь изрытое морщинами, казалось не молодым и не старым; одет он был в парусиновую куртку, а огромные сапоги, натянутые поверх кожаных штанов, были знакомы Петеру из предания.

— Петер Мунк, зачем пришел ты сюда, на Еловый Бугор? — спросил наконец лесовик низким глухим голосом.

— Доброе утро, земляк, — отвечал Петер, делая вид, что ничуть не испугался, хотя на самом деле дрожал всем телом, — я иду через Еловый Бугор к себе домой.

— Петер Мунк, — возразил великан, метнув на юношу страшный, пронзительный взгляд, — через эту рощицу твой путь не лежит.

— Ну да, это не совсем прямой путь, — заметил тот, — но сегодня жарко, вот я и подумал, что здесь мне будет попрохладней.

— Не лги, Петер-угольщик! — громовым голосом вскричал Голландец Михель. — Не то я уложу тебя на месте вот этим багром. Думаешь, я не видел, как ты клянчил деньги у гнома? — добавил он чуть мягче. — Положим, то была глупая затея, и хорошо, что ты позабыл стишок, ведь коротышка-то скупердай, много он не даст, а если кому и даст, тот не возрадуется. Ты, Петер, горемыка, и мне от души тебя жаль. Такой славный, красивый малый мог бы заняться чем получше, а не сидеть день-деньской возле угольной ямы! Другие так и сыплют талерами или дукатами, а ты едва можешь наскрести несколько грошей. Что это за жизнь!

— Ваша правда, жизнь незавидная, ничего тут не скажешь!

— Ну, для меня это сущий пустяк — я уже не одного такого молодца вызволил из нужды, не ты первый. Скажи-ка, сколько сотен талеров понадобится тебе для начала?

Тут он потряс деньгами в своем огромном кармане, и они зазвенели, как нынешней ночью в Петеровом сне. Но сердце Петера при этих словах тревожно и болезненно сжалось; его бросало то в жар, то в холод, не похоже было, что Голландец Михель способен дать деньги из жалости, ничего не требуя взамен. Петеру вспомнились таинственные слова старого дровосека о богатых людях, и, полный неизъяснимого страха, он крикнул:

— Большое спасибо, сударь, только с вами я не хочу иметь дело — ведь я вас узнал! — и побежал что было прыти.

Но лесной дух огромными шагами следовал за ним, глухо и грозно ворча:

— Ты пожалеешь об этом, Петер, на лбу у тебя написано и по глазам видно — меня тебе не миновать. Да не беги ты так быстро, послушай разумное слово, вот уже и граница моих владений!

Но как только Петер это услышал и заметил впереди неширокую канаву, он помчался еще быстрее, чтобы поскорее пересечь границу, так что Михелю под конец пришлось тоже прибавить шагу, и он гнался за Петером с бранью и угрозами. Отчаянным прыжком юноша перемахнул через канаву — он увидел, как лесовик занес свой багор, готовясь обрушить его на голову Петера; однако он благополучно прыгнул на ту сторону, и багор разделся в щепы, словно ударясь о невидимую стену, только один длинный обломок долетел до Петера.

Торжествуя, подобрал он обломок, чтобы швырнуть его назад грубияну Михелю, но вдруг почувствовал, что кусок дерева ожил в его руке, и, к ужасу своему, увидел, что держит чудовищную змею, которая тянется к нему, сверкая глазами и алчно высывая язык. Он выпустил ее, но она успела плотно обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь, понемногу приближалась к его лицу. Вдруг раздался шум крыльев, и откуда-то слетел огромный глухарь, он ухватил змею за голову своим клювом и взмыл с нею в воздух, а Голландец Михель, видевший с другой стороны канавы, как змею унес некто посильнее его, завыл и затопал от ярости.

Едва отдышавшись и еще весь дрожа, Петер продолжал свой путь: тропа делалась все круче, а местность все пустынее, и вскоре он снова очутился возле громадной ели. Он принялся, как вчера, отвешивать поклоны Стеклянному Человечку, а потом произнес:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда зывал,
Кто в воскресенье свет увидал.

— Хоть ты и не совсем угадал, Петер-угольщик, но тебе я покажусь, так уж и быть, — проговорил тонкий, нежный голосок поблизости от него.

Петер в изумлении оглянулся: под красивой елью сидел маленький старичок в черной курточке, красных чулочках и огромной шляпе. У него было тонкое приветливое личико, а борода нежная, словно из паутины, он курил — чудеса, да и только! —

синюю стеклянную трубку, а когда Петер подошел поближе, то еще больше удивился: вся одежда, башмаки и шляпа Человечка были тоже из стекла, но оно было мягкое, словно еще не успело остыть, ибо следовало за каждым движением Человечка и облегало его, как материя.

— Тебе, значит, повстречался этот разбойник Голландец Михель? — сказал Человечек, странно покашливая после каждого слова. — Он хотел тебя хорошенько напугать, да только я отобрал у злыдня его хитрую дубинку, больше он ее не получит.

— Да, господин Хранитель Клада, — ответил Петер с глубоким поклоном, — я было здорово испугался. А вы, значит, и были тот глухарь, что заклевал змею, — низжайшее вам спасибо. Я пришел сюда, чтобы просить у вас совета и помощи, уж больно мне худо живется, угольщик, он угольщиком и останется, а ведь я еще молод, вот я и подумал, что из меня могло бы выйти кое-что получше. Как посмотрю на других, сколько они нажили за короткое время, — взять хотя бы Эзехилия или Короля Танцев — у них денег куры не клюют!

— Петер, — с величайшей серьезностью сказал Человечек, выпустив длинную струю дыма из своей трубки. — Петер, об этих двоих я и слышать не хочу. Какая им польза от того, что они несколько лет будут здесь слыть счастливыми, зато потом станут тем несчастнее? Не презирай свое ремесло, твой отец и твой дед были достойные люди, а ведь они занимались тем же делом, что и ты, Петер Мунк! Не хотел бы я думать, что тебя привела сюда любовь к праздности.

Серьезный тон Человечка испугал Петера, и он покраснел.

— Нет, господин Хранитель Клада, — возразил он, — я знаю, что праздность — мать всех пороков, но ведь вы не станете на меня обижаться за то, что другое занятие мне больше по душе, нежели мое собственное. Угольщик — ничтожнейший человек на земле, вот стекловары, плотовщики, часовых дел мастера — те будут попочтенней.

— Надменность нередко предшествует падению, — ответил Человечек уже немного приветливей. — Что вы, люди, за странное племя! Редко кто из вас бывает доволен тем положением, которое занимает по рождению и воспитанию. Ну, станешь ты стекловаром, так тебе непременно захочется стать лесоторговцем, а станешь лесоторговцем, тебе и этого будет мало, и ты пожелаешь

себе место лесничего или окружного начальника. Но будь по-твоему! Если ты мне обещаешь прилежно трудиться, я помогу тебе, Петер, зажить получше. Я имею обыкновение каждому, кто родился в воскресенье и сумел найти путь ко мне, исполнять три его желания. В первых двух он волен, а в третьем я могу ему и отказать, если желание его безрассудно. Пожелай и ты себе что-нибудь, Петер, но смотри не ошибись, пусть это будет что-нибудь хорошее и полезное!

— Ура! Вы замечательный Стекланный Человечек, и не зря вас зовут Хранителем Клада, вы и сами суший клад! Ну, раз уж я могу пожелать, чего душа моя просит, то я хочу, во-первых, уметь танцевать еще лучше Короля Танцев и всякий раз приносить с собой в трактир вдвое больше денег, чем тот!

— Глупец! — гневно вскричал Человечек. — Что за пустое желание — хорошо танцевать и выбрасывать как можно больше денег на игру! Не стыдно ли тебе, безмозглый Петер, так прозевать свое счастье! Что пользы тебе и твоей бедной матери от того, что ты будешь хорошо танцевать? Что пользы вам от денег, раз ты пожелал их себе только для трактира и все они будут там оставаться, как деньги ничтожного Короля Танцев? Всю остальную неделю ты опять будешь сидеть без гроша и по-прежнему терпеть нужду. Еще одно твоё желание будет исполнено — но подумай как следует и пожелай себе что-нибудь дельное!

Петер почесал в затылке и, немного помедлив, сказал:

— Ну тогда я желаю себе самый большой и самый прекрасный стекольный завод во всем Шварцвальде, со всем, что положено, а также деньги, чтобы им управлять!

— И больше ничего? — озабоченно спросил Человечек. — Ничего больше, Петер?

— Ну, можете добавить еще лошадь и повозочку...

— О, безмозглый Петер-угольщик! — вскричал Человечек и с досады швырнул свою стеклянную трубку в ствол толстой ели так, что она разлетелась вдребезги. — Лошадь! Повозочку! Ума, ума — вот чего следовало тебе пожелать, простого человеческого разума, а не лошадь и повозочку! Ну да не печалься, постараемся сделать так, чтобы это не пошло тебе во вред, — второе твоё желание в общем не так уж глупо. Хороший стекольный завод прокормит своего владельца-умельца, тебе бы еще только прихватить ума-разума, а уж лошадь и повозочка появились бы сами собой!

— Но, господин Хранитель Клада, у меня ведь остается еще одно желание. Вот я и мог бы пожелать себе ума, коль мне его так недостает, как вы говорите.

— Нет уж! Тебе еще не раз придется туго, и ты будешь рад-радехонек, что у тебя есть в запасе еще одно желание. А теперь отправляйся-ка домой! Вот, возьми, — сказал маленький владыка елей, вытаскивая из кармана мешочек, — здесь две тысячи гульденов, это все, и не вздумай еще раз являться ко мне за деньгами, не то я повешу тебя на самой высокой ели. Так уж у меня заведено с тех пор, как я живу в этом лесу. Три дня тому назад умер старый Винкфриц, которому принадлежал большой стекольный завод в нижнем лесу. Сходи туда завтра утром и предложи наследникам свою цену, честь по чести. Будь молодцом, прилежно трудись, а я время от времени стану навещать тебя и помогать тебе советом и делом, раз уж ты ума себе так и не выпросил. Но говорю тебе не шутя — твое первое желание было дурно. Смотри, Петер, не вздумай зачастить в трактир, это еще никого не доводило до добра.

Сказав это, Человечек достал новую трубку из прекраснейшего прозрачного стекла, набил ее сухими еловыми шишками и сунул в свой беззубый рот. Потом он вытащил огромное зажигательное стекло, вышел на солнце и зажег трубку. Управившись с этим, он ласково протянул руку Петеру, напутствовал его еще несколькими добрыми советами, а затем принялся все сильнее пыхать своей трубкой и пускать дым все чаще, пока и сам не скрылся в облаке дыма, который пах настоящим голландским табаком и понемногу рассеивался, клубясь меж верхушек елей.

Когда Петер пришел домой, он застал мать в большой тревоге — добрая женщина думала, что ее сына не иначе как забрали в солдаты. Но он вернулся в самом лучшем расположении духа и рассказал, что повстречал в лесу доброго друга, который ссудил его деньгами, чтобы он, Петер, сменил ремесло угольщика на другое, получше. Хотя мать Петера уже тридцать лет жила в хижине угольщика и привыкла к черным от сажи лицам, как жена мельника привыкает к белому от муки лицу своего мужа, все-таки она была достаточно тщеславна, чтобы сразу, как только Петер расписал ей блестящее будущее, исполниться презрения к своему сословию. «Да, — сказала она, — мать владельца стекольного завода — это не какая-нибудь кумушка Грета или Бета, теперь

я в церкви буду садиться на передние скамьи, где сидят порядочные люди».

Сын ее быстро поладил с наследниками стекольного завода. Он оставил всех прежних рабочих, но теперь они должны были денно и ночно выдувать для него стекло. Поначалу новое дело ему нравилось. Он взял за привычку неторопливо спускаться вниз на завод и важно расхаживать там, заложив руки в карманы, заглядывая то туда, то сюда и отпуская замечания, над которыми рабочие иной раз немало потешались; но самым большим удовольствием для него было смотреть, как выдувают стекло. Нередко он тоже брался за работу и выделывал из мягкой стекольной массы диковиннейшие фигуры. Но вскоре это занятие ему наскучило, и он стал заходить на завод сперва только на часок, потом через день, а там — и раз в неделю, и его подмастерья делали все, что им вздумается. А причиной этому было то, что Петер зачастил в трактир. В первое же воскресенье после того, как он побывал на Еловом Бугре, Петер отправился в трактир и увидел там своих старых знакомцев — и Короля Танцев, который лихо отплясывал посреди зала, и Толстяка Эзехила — этот сидел за пивной кружкой и играл в кости, то и дело бросая на стол звонкие талеры. Петер поспешно сунул руку в карман, проверить, не обманул ли его Стекланный Человечек, — и гляди-ка! — карман его оказался битком набит золотыми и серебряными монетами. Да и ноги у него так и чесались, будто сами просились в пляс, и вот, как только кончился первый танец, Петер со своей парой стал впереди, рядом с Королем Танцев, и, когда тот подпрыгивал на три фута вверх, Петер взлетал на четыре, когда тот выкидывал самые замысловатые и невиданные коленца, Петер выписывал ногами такие вензеля, что зрители были вне себя от изумления и восторга. Когда же в трактире прослышали, что Петер купил стекольный завод, и увидали, что, поравнявшись во время танца с музыкантами, он всякий раз бросает им по несколько крейцеров, удивлению не было границ. Одни думали, что он нашел в лесу клад, другие — что получил наследство, но и те и эти отныне смотрели на него как на человека, который чего-то добился в жизни, и оказывали ему всяческое уважение — а все оттого только, что у него завелись деньги. И хотя в тот вечер Петер проиграл целых двадцать гульденов, в кармане у него по-прежнему звенело, словно там оставалась добрая сотня талеров.

Когда Петер заметил, сколь почтительно с ним обходятся, он от радости и гордости совсем потерял голову. Он бросал теперь деньги целыми пригоршнями и щедро раздавал их бедным, ибо еще не забыл, как его самого прежде угнетала бедность. Искусство Короля Танцев было посрамлено сверхъестественной ловкостью нового танцора, и этот высокий титул перешел отныне к Петеру.

Самые завзятые воскресные игроки не делали таких дерзких ставок, как он, но зато и проигрывали они куда меньше. Однако чем больше Петер проигрывал, тем больше у него появлялось денег. Все происходило в точности так, как он того требовал от Стеклянного Человечка. Он желал всегда иметь в кармане ровно столько денег, сколько было их у Толстяка Эзехиля, а ему-то он и проигрывал. И когда ему случалось проиграть двадцать-тридцать гульденов зараз, они тотчас же вновь оказывались у него в кармане, стоило только Эзехилю спрятать свой выигрыш. Мало-помалу он перешеголял в игре и разгуле самых отпетых парней во всем Шварцвальде, и его чаще называли Петер-игрок, чем Король Танцев, потому что теперь он играл и в будни. Зато его стекольный завод постепенно пришел в упадок, и виной тому было неразумие Петера. Стекла по его приказанию делали все больше, да только Петер не сумел вместе с заводом купить и секрет, куда это стекло повыгодней сбывать. Под конец он не знал, что ему делать со всем этим товаром, и за полцены продал его бродячим торговцам, чтобы выплатить жалованье рабочим.

Однажды вечером он плелся домой из трактира и, хотя немало выпил, чтобы развеять печаль, все же с тоской и страхом думал о предстоящем ему разорении. Вдруг он заметил, что рядом с ним кто-то идет, оглянулся — вот тебе на! То был Стеклянный Человечек. Злоба и ярость обуяли Петера, он стал запальчиво и дерзко бранить маленького лесовика — он-де виноват во всех его, Петера, несчастьях.

— На что мне теперь лошадь и повозочка? — кричал он. — Какой мне толк от завода и от всего моего стекла? Когда я был простым чумазым угольщиком, мне и то веселее жилось и я не знал забот. А теперь я со дня на день жду, что придет окружной начальник, опишет мое добро за долги и продаст с торгов.

— Вот, значит, как? Выходит, я повинен в том, что ты несчастлив? Такова твоя благодарность за все мои милости? Кто тебе

велел загадывать такие дурацкие желания? Ты захотел стать стеклоделом, а куда продавать стекло, и понятия не имел. Разве я тебя не предупреждал, чтобы ты был осмотрителен в своих желаниях? Ума, смекалки — вот чего тебе не хватает, Петер.

— При чем тут ум и смекалка! — вскричал тот. — Я ничуть не глупее других, ты еще в этом убедишься, Стекланный Человек. — С этими словами он грубо схватил лесовичка за шиворот и закричал: — Попался, господин Хранитель Клада! Я нынче же назову свое третье желание, а ты изволь мне его исполнить. Так вот, я желаю тут же на месте получить дважды по сто тысяч талеров и дом, а сверх того... ой-ой-ой! — завопил он и задергал рукой: Стекланный Человек превратился в расплавленное стекло и огнем жег ему руку. А сам Человек бесследно исчез.

Еще много дней спустя распухшая рука напоминала Петеру о его неблагодарности и безрассудстве. Но потом он заглушил в себе голос совести и подумал: «Ну и пусть они продают мой завод и все остальное, у меня ведь еще остается Толстяк Эзехиль. Пока у него по воскресеньям водятся в кармане денежки, они будут и у меня».

Верно, Петер! Ну а как их у него не станет? Так в конце концов и случилось, и то был удивительный арифметический казус. Однажды в воскресенье подъехал он к трактиру, все любопытные повысовывались из окон, и вот один говорит: «Петер-игрок прикатил», другой ему вторит: «Да, Король Танцев, богатый стеклодел», а третий покачал головой и сказал: «Было богатство, да сплыло; поговаривают, что у него куча долгов, а в городе один человек сказывал, будто окружной начальник вот-вот назначит торги».

Петер-богач важно и церемонно раскланялся с гостями, слез с повозки и крикнул:

— Добрый вечер, хозяин! Что, Толстяк Эзехиль уже пришел?

Ему ответил низкий голос из дома:

— Заходи, заходи, Петер! Твое место свободно, а мы уж засели за карты.

Петер Мунк вошел в трактир и сразу полез в карман, — должно быть, Эзехиль имел при себе изрядный куш, потому что Петеров карман был набит доверху. Он подсел за стол к остальным и начал играть; то проигрывал, то выигрывал, так и сидели они за карточным столом до вечера, покуда весь честный люд не стал

расходиться по домам, а они все продолжали играть при свечах; тут двое других игроков сказали:

— На сегодня хватит, нам пора домой, к жене и детям.

Однако Петер-игрок стал уговаривать Толстяка Эзехиль остаться. Тот долго не соглашался, но под конец воскликнул:

— Ну ладно, сейчас я сосчитаю свои деньги, а потом мы бросим кости; ставка — пять гульденов; меньше — не игра.

Он вытащил кошелек и сосчитал деньги — набралось ровно сто гульденов, так Петер-игрок узнал, сколько есть у него, — ему и считать не надо было. Однако если раньше Эзехиль выигрывал, то теперь он терял ставку за ставкой и при этом сыпал страшнейшими ругательствами. Стоило ему бросить кость, как следом за ним бросал и Петер, и всякий раз у него оказывалось на два очка больше. Наконец Эзехиль выложил на стол последние пять гульденов и воскликнул:

— Попробую еще разок, но коли опять проиграю — все равно не брошу; тогда ты, Петер, дашь мне взаймы из своего выигрыша! Честный человек всегда помогает ближнему.

— Изволь, хоть сто гульденов, — отвечал Король Танцев, который не мог нарадоваться своему везению.

Толстяк Эзехиль встряхнул кости и бросил: пятнадцать. «Так! — крикнул он. — Поглядим теперь, что у тебя!» Но Петер выкинул восемнадцать, и тут у него за спиной раздался знакомый хриплый голос: «Все! Это была последняя ставка».

Он оглянулся — позади него во весь свой огромный рост стоял Голландец Михель. От испуга Петер выронил деньги, которые только что сгреб со стола. Но Толстяк Эзехиль не видел Михеля и требовал у Петера-игрока десять гульденов, чтобы отыгаться. Словно в забытьи полез он в карман, но денег там не оказалось; он стал трясти свой кафтан, да только оттуда не выпало ни единого геллера, и лишь теперь Петер вспомнил первое свое желание — всегда иметь столько денег, сколько их у Толстяка Эзехилья. Богатство развеялось как дым. Эзехиль и трактирщик с удивлением глядели, как он роется в карманах и не находит денег, — им не верилось, что у него их больше нет; но когда они сами обшарили его карманы и ничего не нашли, то впали в бешенство и стали кричать, что Петер — колдун, что весь выигрыш и остаток своих денег он колдовским способом переправил домой. Петер стойко защищался, но все было против него; Эзехиль объявил, что раз-

несет эту ужасную историю по всему Шварцвальду, а трактирщик пригрозил завтра с рассветом отправиться в город и заявить на Петера Мунка как на колдуна; он надеется еще увидеть, добавил трактирщик, как Петера будут сжигать. Тут они, озверев, набросились на Петера, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь.

Ни одной звездочки не горело на небе, когда Петер в полном унынии брел домой; однако он все же различил рядом с собой угрюмого великана, который не отставал от него ни на шаг и наконец заговорил:

— Доигрался ты, Петер Мунк. Конец твоему барскому житью, я бы мог предсказать это еще тогда, когда ты не желал со мной знаться и побежал к глупому стеклянному гному. Теперь ты и сам видишь, что бывает с теми, кто не слушает моего совета. Что ж, попытай теперь счастья со мной — мне тебя жаль. Никто еще не раскаивался в том, что обратился ко мне. Так вот, ежели дорога тебя не пугает, завтра я целый день буду на Еловом Бугре — стоит тебе только позвать.

Петер прекрасно понял, кто с ним говорит, но его охватил ужас. Ничего не ответив, он бросился бежать к дому.

На этих словах речь рассказчика была прервана какой-то суетней внизу. Слышно было, как подъехал экипаж, как несколько человек требовали принести фонарь, как громко стучали в ворота, как лаяли собаки. Комната, отведенная возчику и ремесленникам, выходила на дорогу, все четверо постояльцев побежали туда посмотреть, что случилось. Насколько позволял свет фонаря, они разглядели перед заезжим двором большой дормез; рослый мужчина как раз помогал выйти из экипажа двум дамам в вуалях; кучер в ливрее выпрягал лошадей, а лакей отстегивал кофр.

— Да поможет им Бог, — вздохнул возчик. — Если эти господа выберутся из харчевни целы и невредимы, тогда и мне нечего бояться за мою повозку.

— Тсс! — прошептал студент. — Мне сдается, что подстерегают не нас, а этих дам. Должно быть, тем, что внизу, уже заранее было известно об их приезде. Ах, если бы только можно было их предупредить! А, знаю! Тут во всем доме, кроме моей, только одна комната, приличествующая этим дамам, и как раз рядом с моей. Туда их и проводят. Сидите в этой комнате и не шумите, а я постараюсь предупредить их слуг.

Молодой человек тихонько пробрался к себе в комнату, погасил свечи, оставив гореть только тот огарок, что дала хозяйка. Затем стал подслушивать у дверей.

Вскоре хозяйка проводила дам наверх, указала отведенную им комнату, приветливо и ласково уговаривая их поскорее лечь спать после столь утомительной дороги. Затем она сошла вниз. Скоро студент услышал тяжелые мужские шаги. Он осторожно приоткрыл дверь и увидел в щелочку того рослого мужчину, что помогал дамам выйти из дормеза. Он был в охотничьем костюме, с охотничьим ножом за поясом, и, как видно, был шталмейстером или егерем, выездным лакеем двух неизвестных дам. Увидев, что он один поднимается по лестнице, студент быстро открыл дверь и поманил его к себе. Тот в недоумении подошел ближе, но не успел спросить, в чем дело, как студент сказал ему шепотом:

— Милостивый государь, вы попали в разбойничий притон.

Незнакомец испугался. Студент потянул его за собой в комнату и рассказал, какой это подозрительный дом.

Егерь был очень обеспокоен его словами. Студент услышал от него, что дамы — графиня и ее камеристка — сначала хотели ехать всю ночь, но приблизительно за полчаса отсюда им повстречался всадник, он окликнул их и спросил, куда они держат путь. Узнав, что они намерены всю ночь ехать Шпессартским лесом, он им это отсоветовал, потому что сейчас здесь пошаливают. «Ежели вы хотите послушаться доброго совета, — прибавил он, — то откажитесь от этой мысли: отсюда недалеко до харчевни; как бы плоха и неудобна она ни была, все же переночуйте лучше там, не следует без нужды подвергать себя темной ночью опасности». Человек, что дал такой совет, казался, по словам егеря, очень честным и благородным, и графиня, боясь нападения разбойников, приказала заночевать в этой харчевне.

Егерь счел своей обязанностью предупредить дам о грозящей опасности. Он прошел в смежную комнату и через некоторое время отворил дверь, которая вела из комнаты графини в комнату студента. Графиня, дама лет сорока, бледная от страха, вышла к студенту и попросила его повторить ей все сказанное егерю. Затем они посоветовались, что делать в их рискованном положении, и решили как можно осторожнее позвать двух графининих слуг, возчика и обоих ремесленников, чтобы в случае нападения держаться всем вместе.

Когда все были в сборе, ту дверь, что из комнаты графини вела в коридор, заперли и заставили комодами и стульями. Графиня с камеристкой уселись на кровать, а двое их слуг стали на страже. А егерь и те, что остановились на заезжем дворе раньше, в ожидании нападения разместились за столом в комнате студента. Было около десяти вечера, в доме все затихло, и казалось, никто не собирается нарушать покой постояльцев.

— Чтобы не заснуть, давайте делать то же, что и перед этим, — предложил мастер. — Мы рассказывали разные истории, и, если вы, сударь, не возражаете, мы и сейчас займемся тем же.

Но егерь не только не возражал, а даже, чтобы доказать свою готовность, предложил сам что-нибудь рассказать. Он начал так:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ САИДА

Во времена Гарун аль-Рашида, повелителя Багдада, жил в Бальсоре человек по имени Бенезар. У него хватало достатка, чтобы жить спокойно и в довольстве, не занимаясь торговлей или каким другим делом. И когда у него родился сын, он тоже не изменил образа жизни. «Зачем мне в моем-то возрасте торговать и наживаться, — говорил он соседям, — уж не для того ли, чтобы оставить моему сыну Саиду на тысячу золотых больше, ежели мне повезет, а ежели не повезет, на тысячу меньше? Где двое сыты, там и третий голодным не будет, говорится в пословице, только бы сын вырос добрым юношей, а все остальное приложится». Так сказал Бенезар и сдержал свое слово. Он и сына не обучил торговле или какому-нибудь ремеслу. Но он не забывал читать с ним книги мудрости, и, памятуя, что, кроме учености и уважения к старости, ничто так не украшает юношу, как меткая рука и мужество, он рано обучил его владеть оружием, и Саид скоро прослыл среди своих сверстников и даже среди юношей старше его годами смелым воином, а в верховой езде и плавании ему не было равных.

Когда Саиду минуло восемнадцать лет, отец послал его в Мекку, поклониться гробу Пророка и, как то повелевают обычай и завет Магомета, совершить молитву и положенные обряды. Перед отъездом отец призвал его к себе, похвалил за благонравье, еще раз напутствовал добрым словом, снабдил деньгами, а затем сказал:

— И вот еще что я скажу тебе, сын мой Саид! Я не придерживаюсь предрассудков темного люда. Правда, я охотно слушаю рассказы про фей и волшебников, это очень красит досуги, но я далек от того, чтобы, как многие невежественные люди, верить, будто гении или какие другие сверхъестественные силы оказывают воздействие на жизнь людей. Но твоя мать — уже двенадцать лет, как она умерла, — твоя мать верила в них столь же свято, как в Коран. Скажу больше, однажды она, взяв с меня суровую клятву никому, кроме ее дитяти, не открывать этой тайны, призналась мне, что со дня своего рождения общается с феей. Я высмеял ее, но все же должен признаться, что твое рождение, Саид, ознаменовалось поразившими меня явлениями. Весь день лил дождь и гремел гром, небо заволокли черные тучи, и читать, не зажегши света, было невозможно. В четыре часа дня мне сообщили, что родился мальчик. Я поспешил в покои твоей матери, чтобы увидеть и благословить моего первенца, но все ее прислужницы стояли перед дверью и на мои вопросы ответили, что никому не позволено входить в комнату роженицы; Земира, твоя мать, приказала всем выйти, ибо хотела остаться одна. Напрасно стучал я в дверь — дверь не открылась.

Недовольный, остался я ждать вместе с прислужницами, но тут тучи рассеялись так внезапно, как мне еще ни разу не доводилось видеть, а всего удивительнее было то, что только над любезной нашему сердцу Бальсорой сияла небесная лазурь, а вокруг все заволокли черные тучи, прорезанные зигзагами сверкающих молний. В то время как я с любопытством наблюдал это явление, распахнулись двери в покои моей жены. Я оставил служанок ждать за дверью и вошел один к твоей матери, чтобы спросить, почему она заперлась в своей опочивальне. Когда я вошел, на меня повеяло таким одуряющим ароматом роз, гвоздик и гиацинтов, что я словно опьянел. Твоя мать поднесла мне тебя и показала серебряную дудочку на тонкой, как шелковинка, золотой цепочке, висевшую у тебя на шее. «Добрая женщина, о которой я тебе уже говорила, была здесь, — сказала твоя мать, — вот что она подарила твоему сыночку». — «А, так, значит, эта самая ведьма и разогнала непогоду и напоила твою опочивальню благоуханием роз и гвоздик, — сказал я, недоверчиво усмехнувшись. — Могла бы поднести мальчику что-нибудь поценней дудочки — хотя бы мешок с золотом, коня или еще что в том же

роде!» Твоя мать заклинала меня не издеваться над феями, ведь они вспыльчивы и в их власти сделать так, что подарок на счастье принесет несчастье.

Она была больна, поэтому я не стал перечить и умолк. Больше про это удивительное происшествие мы ни разу не поминали, только шесть лет спустя, когда твоя мать почувствовала, что, несмотря на свою молодость, скоро умрет, она дала мне ту дудочку и поручила в день, когда тебе исполнится двадцать лет, отдать ее тебе и ни в коем случае не отпускать тебя из дому хотя бы на час раньше этого дня. Она умерла. Вот этот подарок, — продолжал Бенезар, достав из ларчика серебряную дудочку на длинной золотой цепочке, — тебе сейчас только восемнадцать, не двадцать лет, но я даю ее тебе, потому что ты уезжаешь, а я могу отойти к праотцам еще до твоего возвращения. Я не вижу разумного основания два лишних года удерживать тебя здесь, как того хотела заботливая твоя мать. Ты добрый, рассудительный юноша, оружием владеешь не хуже двадцатичетырехлетнего, и я уже сейчас могу считать тебя совершеннолетним, все равно как если бы тебе уже минуло двадцать. А теперь поезжай с миром — и в счастье, и в несчастье, от которого да хранит тебя Небо, помни о своем отце!

Так сказал Бенезар из Бальсоры, отпуская сына в путь. Саид растрогался, прощаясь с отцом, надел цепочку на шею, засунул дудочку за кушак, сел на коня и поскакал туда, откуда отправлялся караван в Мекку. Вскорости караван в восемьдесят верблюдов и несколько сот всадников тронулся в путь, и Саид выехал из ворот Бальсоры, своего родного города, который ему не скоро суждено было снова увидеть.

Вначале его развлекала новизна путешествия и разные разности, дотоле им невиданные, но по мере приближения каравана к пустыне местность становилась все более голой и безлюдной, и Саидом овладели разные мысли, между прочим задумался он и на прощальными словами Бенезара, своего отца.

Он вытащил из-за кушака дудочку, осмотрел ее со всех сторон и под конец приложил к губам, ожидая, что она издаст громкий красивый звук, но — вот так штука! — она не зазвучала; он надул щеки и стал дуть что было мочи, но звука так и не извлек; недовольный ненужным подарком, сунул он дудочку опять за кушак. Однако вскоре снова задумался над таинственными словами матери. Ему доводилось слышать о феях, но ни разу не слышал он,

чтобы тот или иной из его соседей вступал в общение со сверхъестественными силами; сказания о духах обычно относили к далеким странам и давно минувшим временам, вот он и полагал, что в наши дни фей не бывает или же они перестали являться людям и принимать участие в их судьбе. Но хотя он так думал, все же им снова и снова овладевало желание поверить в то таинственное и сверхъестественное, что могло произойти с его матерью, вот потому-то он почти целый день ехал словно во сне, не принимая участия в беседе спутников, и не обращал внимания на их пение и смех.

Саид отличался редкой красотой; взгляд его был смел и отважен, рот приятно очерчен, и, несмотря на молодость, во всем его облике было такое достоинство, какое не часто встретишь в столь юные годы, а та осанка, та легкость, та уверенность, с которой он в полном воинском снаряжении сидел на коне, привлекали к нему взоры многих путников.

Старику, ехавшему с ним рядом, он очень понравился, и тот решил расспросить его и узнать его мысли. Саид, которому отец с детства внушил почтительность к старости, отвечал скромно, но умно и обдуманно, чем весьма порадовал старика. Поскольку Саид целый день размышлял все об одном и том же, разговор вскоре перешел на таинственное царство фей, и Саид задал старцу откровенный вопрос, верит ли тот в существование фей и добрых и злых духов, которые охраняют или преследуют человека.

Старик погладил бороду, покачал головой и затем ответил:

— Начисто отрицать, что такое возможно, нельзя, хотя мне до сего дня не довелось еще видеть духов ни в образе гнома, ни в образе великана, а также не встречал я волшебников и фей.

Потом старик принялся рассказывать Саиду столько разных историй о чудесах, что вскружил юноше голову, и тот теперь уже думал, будто все, что творилось при его рождении — перемена погоды, сладостный аромат роз и гиацинтов, — великое и счастливое предзнаменование: верно, его охраняет могучая, добрая фея, и дудочка подарена ему именно для того, чтобы оповестить фею, ежели он попадет в беду. Всю ночь ему снились дворцы, волшебные кони, духи и все такое, он поистине жил в волшебном царстве.

Но к сожалению, уже на следующий день ему пришлось убедиться, сколь тщетны все его грезы и во сне, и наяву. Караван, медленно выступая, шел уже больше чем полдня по пустыне,

Саид все так же ехал рядом со стариком, своим спутником, как вдруг далеко на горизонте показались какие-то темные тени; одни сочли их за песчаные холмы, другие — за облака, а кое-кто за встречный караван, но старик, которому уже не раз приходилось пересекать пустыню, громко крикнул, что надо принять меры: приближается разбойничья орда арабов-кочевников. Мужчины взялись за оружие и кольцом окружили женщин и товары, все приготовились отразить нападение. Темная масса медленно подвигалась к ним и напоминала огромную стаю аистов, собравшуюся для отлета в дальние края. Затем орда стала приближаться быстрее и быстрее, и не успели путники различить всадников, вооруженных копьями, как арабы с быстротой ветра налетели на караван.

Мужчины храбро оборонялись, но разбойников было больше четырех сотен, они окружили караван со всех сторон, многих еще издалека застрелили из луков, а потом пустили в ход копья. В эту страшную минуту Саид, все время отважно сражавшийся в первых рядах, вспомнил о своей дудочке, он быстро вытащил ее, приложил к губам, дунул и... и грустно опустил — она не издала ни звука. Разъяренный, жестоко разочарованный, он прицелился и пустил стрелу в грудь арабу, выделявшемуся среди прочих богатой одеждой; тот закачался и упал с лошади.

— Аллах! Что вы наделали, юноша! — воскликнул старик, схавший рядом. — Теперь всем нам конец!

И так оно и случилось. Как только разбойники увидели, что тот человек упал, они озверели, с неистовыми криками набросились на караван и быстро справились с немногими еще не ранеными мужчинами. Саида в мгновение ока окружили пять-шесть арабов. Он так ловко владел копьем, что никто не смел к нему подступить; наконец один араб натянул лук, прицелился и уже хотел спустить тетиву, но тут другой подал ему знак. Саид приготовился к новому натиску, но не успел он опомниться, а уж другой разбойник набросил ему на шею петлю, и, как Саид ни старался разорвать веревку, все усилия его были тщетны, петля затягивалась все туже и туже — Саид оказался пленником.

Караван был частью уничтожен, частью взят в плен. Арабы, принадлежавшие к разным племенам, поделили между собой пленников и добычу, а затем усаkali одни на юг, другие на восток. Саида сопровождали четыре вооруженных всадника, они

часто окидывали его злобными взглядами и осыпали проклятиями. Он понял, что убил знатного человека, может даже сына вождя. Рабство, которое предстояло ему, было горше смерти. Поэтому он втайне радовался, что навлек на себя гнев всего племени, ведь он был уверен, что, вернувшись на становище, арабы его убьют. Вооруженные всадники следили за каждым его движением и, как только он оглядывался, грозили ему копьями; но раз, когда лошадь одного из них споткнулась, Саид быстро оглянулся и с радостью увидел старика, своего спутника, которого считал убитым.

Наконец вдаль показались деревья и палатки, а когда подъехали ближе, навстречу прибывшим хлынула целая толпа женщин и детей; но при первых же словах разбойников они, громко плача, злобно глядели на Саида, выкрикивали проклятия и угрожающе размахивали руками. «Так это он убил великого Альмансора, храбреца из храбрецов! — кричали они. — Он повинен смерти, мы бросим его тело на съедение шакалам». Потом, озверев, схватив все, что попало под руки, — обломки дерева, камни, — кинулись они к Саиду с таким остервенением, что разбойникам пришлось вмешаться. «Прочь, молокососы! Женщины, куда вы лезете? — кричали они, копытами разгоняя толпу. — Он сразил великого Альмансора в бою, он повинен смерти, но не от руки женщины, а от меча храбрых».

Выбравшись на свободное от палаток место, они остановились; пленных связали по двое, добычу внесли в палатки, а Саида связанным отвели в большую палатку. Там сидел старик в роскошном одеянии, серьезная, гордая осанка которого говорила, что он возглавляет эту орду. Те арабы, что привели Саида, предстали пред ним, печально склонив головы.

— Громкий плач женщин оповестил меня о случившемся, — промолвил величественный муж, окинув взглядом одного за другим всех разбойников, — по вашим лицам я вижу, что догадка моя подтвердилась, — Альмансор пал в бою.

— Да, Альмансор пал в бою, — ответили разбойники, — но тут, о Селим, владыка пустыни, пред тобой тот, кто его убил, вот он, суди его. Какой смертью должен он умереть? Пронзить ли его стрелами, прогнать ли сквозь строй копий, а может, ты пожелаешь его повесить или привязать к лошадям, чтоб они разорвали его?

— Кто ты? — спросил Селим, бросив мрачный взгляд на пленного, мужественно стоявшего перед ним в ожидании смерти.

Саид кратко и без утайки ответил на его вопрос.

— Как ты убил моего сына — нанес ему удар в спину, предательски пронзив стрелой или копьем?

— Нет, господин, — отвечал Саид, — я убил его в честном бою; когда кочевники напали на наш караван, я пустил стрелу ему в грудь, потому что у меня на глазах от его руки пали восемь моих спутников.

— Все так, как он говорит? — спросил Селим тех, кто привел Саида.

— Да, повелитель, он убил Альмансора в честном бою, — ответил один из них.

— Значит, он поступил так, как поступил бы каждый из нас, — возразил Селим, — он сразился с врагом, который хотел отнять у него свободу и жизнь, и убил его; поэтому немедленно развяжите его!

Разбойники с удивлением взглянули на своего вожда и нехотя, нерешительно исполнили приказание.

— Значит, убийца твоего сына, храброго Альмансора, не повинен смерти? — спросил один из них, бросив гневный взгляд на Саида. — Лучше бы мы его сразу убили!

— Он не повинен смерти! — изрек Селим. — Больше того, я беру его к себе в палатку как по закону положенную мне долю добычи, пусть будет при мне слугой!

Саид не находил слов благодарности, но его провожатые роптали, покидая палатку, а когда женщины и дети, не уходившие в ожидании казни Саида, услышали решение Селима, они подняли плач и вопли, кричали, что отомстят убийце за смерть Альмансора, раз родной отец не желает соблюсти обычай кровной мести.

Остальных пленных воины поделили между собой; одних отпустили, чтобы получить выкуп за более богатых, других послали пасти стада, а некоторых, коим до сего дня служили не меньше десяти рабов, назначили на самую черную работу. Не так обстояло дело с Саидом. То ли помог его мужественный, героический облик, то ли таинственное волшебство доброй феи, сказать трудно, но, так или иначе, Саид завоевал расположение старика Селима. Он жил в его палатке скорее как сын, нежели как слуга, но непонятная привязанность старика-вождя возбудила неприязнь остальных слуг. Всюду Саид встречал враждебные взгляды, а когда шел один по лагерю, слышал брань и проклятия, несколько

раз даже пролетала у самой его груди стрела, несомненно предназначенная ему, и то, что смерть миновала его, он приписывал таинственной дудочке, которую все еще носил на груди, веря, что это она охраняет его. Часто жаловался он Селиму на нападки, но тщетно пытался тот найти коварных арабов, покушавшихся на жизнь Саида; казалось, все племя объединяла вражда к чужеземцу, взысканному милостью вождя. И вот однажды Селим сказал:

— Саид, я надеялся, что ты, быть может, заменишь мне сына, погибшего от твоей руки; не твоя и не моя вина, что надежды мои не оправдались; все озлоблены против тебя, и даже я уже не смогу охранить тебя. Что пользы тебе или мне, если я осужу виновного, тайно тебя убившего? Поэтому, когда мои люди вернутся с набега, я скажу, что отец твой прислал за тебя выкуп, и повелю верным мне людям проводить тебя через пустыню.

— Но кому, кроме тебя, могу я верить? — спросил в смущении Саид. — Не убьют они меня дорогой?

— От этого охранит тебя клятва, которую я с них возьму, никто никогда еще не нарушал данной мне клятвы, — успокоил его Селим.

Спустя несколько дней в становище воротились те арабы, что ходили в набег, и Селим сдержал свое слово. Он подарил Саиду оружие, одежду и коня, созвал воинственных мужей, выбрал пятерых ему в провожатые, взял с них страшную клятву, что они не убьют Саида, и со слезами отпустил его.

Дорогой все пятеро хранили мрачное молчание. Саид видел, сколь неохотно выполняют они данное им поручение, немало заботило его и то, что двое из них участвовали в схватке, во время которой он убил Альмансора. Когда они были в пути уже почти восемь часов, Саид заметил, что они еще больше помрачнели и о чем-то перешептываются. Он напряг слух и уловил, что шепчутся они на тайном языке, который в ходу только в этом племене, да и то только при обсуждении особо опасных дел. Селим, лелея мечту навсегда удержать юношу у себя в палатке, не один час посвятил обучению его этому языку. Ничего отрадного Саид не слышал.

— Вот здесь, здесь мы напали на караван, — сказал один из провожатых, — и здесь отважнейший из мужей пал от руки юнца.

— Ветер развеял следы его коня, но я не забыл их, — заметил другой.

— И к нашему позору, тот, от чьей руки пал Альмансор, жив и отпущен на свободу. Слыханное ли это дело, чтобы отец не отомстил за смерть единственного сына? Но Селим постарел и впадает в детство.

— Ежели отец не выполняет своего долга, то друг обязан отомстить за смерть убитого друга. Здесь, на этом самом месте, мы должны были бы его зарубить. Так с незапамятных времен велят закон и обычай.

— Но мы же поклялись старику Селиму, — возразил пятый, — мы не можем его убить, клятву нарушить нельзя.

— Это правда, мы поклялись, — отозвались остальные, — и убийца должен уйти невредимым из рук своих врагов.

— Стойте! — воскликнул один, самый мрачный из всех. — Старик Селим умен, но все же не так умен, как полагают. Разве мы поклялись ему доставить юношу в то или другое место? Нет, он взял с нас клятву, что мы не лишим его жизни, и жизни мы у него не отнимем. Но палящее солнце и острые зубы шакалов отомстят за нас. Мы свяжем его и оставим здесь, на этом самом месте.

Так сказал разбойник, но Саид уже решился на крайнее средство, и не успел тот разбойник договорить, как Саид рванул своего коня в сторону, со всей мочи хлестнул его и птицей понесся по ровной пустыне. Все пятеро на минуту остолебели от удивления, но преследовать беглеца было для них делом привычным, они разделились на две группы, одни стали обходить его справа, другие слева, и, будучи опытные его в верховой езде в условиях пустыни, двое из них быстро обогнали Саида и поскакали ему наперерез. Он метнулся в сторону, но там его тоже ждали двое, а пятый преградил ему дорогу назад. Памятуя о данной клятве не убивать Саида, они не прибегли к оружию, и на этот раз ему опять набросили сзади петлю на шею, стащили с коня, безжалостно избили и, связав по рукам и ногам, оставили на раскаленном песке.

Саид умолял пощадить его, кричал, обещал большой выкуп, но они, громко смеясь, вскочили в седла и ускакали. Саид напряженно прислушивался, некоторое время до него еще долетал легкий бег их коней, но потом он понял, что обречен на гибель. Он думал об отце, думал, как будет горевать старик, когда поймет, что сын не вернется. Думал о беде, постигшей его самого, о своем раннем уходе из жизни, ведь он был уверен, что или его ждет

мучительная смерть от голода и жажды на раскаленном песке пустыни, или его растерзают шакалы. Солнце поднималось все выше и немилосердно жгло ему лоб. С невероятным трудом удалось ему повернуться на бок, но это не принесло облегчения. При этих усилиях из-за его кушака выпала дудочка, висевшая на цепочке. Он долго мучительно старался дотянуться до нее ртом, наконец коснулся ее губами, попробовал подуть, но и сейчас, в его крайней беде, она отказалась ему помочь. В отчаянии повалился он навзничь; пролежав сколько-то времени под палящими лучами солнца, он потерял сознание и впал в глубокое забытие.

Прошло несколько часов. Наконец Саид пробудил шорох у самого его уха, и тут же он почувствовал, что кто-то схватил его за плечо. Саид в ужасе завопил, думая, что это шакал и сейчас он его растерзает. Теперь кто-то тронул его за ноги, но он чувствовал, что не дикий зверь впился когтями ему в ногу, ее осторожно ощупывает рука человека, и человек этот говорит с другими. «Он жив, — шепчутся они, — да, но он принимает нас за врагов».

Наконец Саид открыл глаза и увидел, что над ним склонился низкорослый, пузатый человек, длиннородый, с заплывшими глазками. Человек этот ласково с ним заговорил, помог ему подняться, накормил и напоил и, пока Саид подкреплялся, рассказал, что он багдадский купец, что зовут его Калум-бек и торгует он шальями и тонкими женскими чадрами. Он ездил по торговым делам, сейчас возвращается домой. Он увидел лежащего на песке изнемогшего, полумертвого человека, чье роскошное одеяние и сверкающий драгоценными камнями ятаган привлекли его внимание. Он сделал все, чтобы оживить его, и это ему удалось. Юноша поблагодарил вернувшего его к жизни купца, ибо отлично понимал, что без его помощи был обречен на мучительное умирание.

Не видя возможности самостоятельно двинуться в путь, да и не имея охоты в одиночку, пешком блуждать по безлюдной пустыне, он с благодарностью принял предложение купца сесть на одного из его тяжело нагруженных верблюдов и вместе со всем караваном отправиться в Багдад, а там ему, может, удастся с одним или другим караваном добраться до Бальсоры.

По дороге купец занимал своего спутника рассказами о Гарун аль-Рашиде, славном повелителе правоверных. Рассказывал о его любви к справедливости, о его светлом уме, об умении уди-

вительно просто разрешать самые запутанные и спорные дела. Упомянул историю о канатном мастере и другую — о горшке с оливами, истории, известные каждому ребенку, но поразившие Саида.

— Наш властелин, повелитель правоверных, — продолжал купец, — наш властелин — человек, достойный удивления. Ежели вы думаете, что он спит по ночам, как прочие люди, вы жестоко ошибаетесь. Два-три часа на рассвете — и это все. Я-то не могу не знать, ведь Месур, старший хранитель его казны, мне родня, и, хотя, когда дело касается тайн его повелителя, он нем как могила, все же в угоду близким родственникам он, видя, что кто-нибудь из них просто сгорает от любопытства, нет-нет да что-нибудь и расскажет. Так вот, вместо того чтобы спать, как все люди, калиф ночью бродит по улицам Багдада, и редкая неделя обходится без приключения. Вы должны знать — кстати, это явствует и из истории про горшок с оливами, столь же истинной, сколь и слово Пророка, — вы должны знать, что он не объезжает улицы верхом на коне, в полном параде, окруженный телохранителями и сотней факельщиков, а ведь, если бы он пожелал, он мог бы это сделать, нет, он ходит пешком, переодетый то купцом, то мореплавателем, то простым воином, то муфтием, и глядит, все ли спокойно и мирно.

Поэтому-то в Багдаде, как ни в одном другом городе, ночью с любым встречным болваном отменно вежливы в обхождении. Ведь столь же легко можно натолкнуться на калифа, как на грязного араба-кочевника, а батогов у нас хватит, чтобы надавать по пяткам всем багдадским и окрестным жителям.

Так говорил купец, и Саид, хотя его и не оставляла тоска по отцу, все же радовался, что увидит Багдад и прославленного Гарун аль-Рашида.

После десятидневного пути они прибыли в Багдад. Саид, пораженный великолепием города, в те дни как раз расцветшего во всей своей красе, не переставал им любоваться. Купец пригласил его к себе, Саид охотно принял его приглашение, ибо только сейчас в городской сутолоке он понял, что, кроме воздуха, воды из Тигра и ночлега на ступенях мечети, здесь ничего даром не получишь.

Наутро, когда Саид только-только оделся и, оглядев себя, решил, что в таком богатом одеянии и при доспехах не худо покра-

соваться на улицах Багдада и, пожалуй, можно даже обратить на себя внимание, к нему вошел купец. Лукаво усмехаясь и поглаживая бороду, оглядел он молодого красавца и сказал:

— Все это прекрасно, молодой человек! Но что вы собираетесь делать дальше? Мне сдается, что вы большой мечтатель и не думаете о завтрашнем дне; или у вас хватит денег, чтобы жить под стать тому наряду, что на вас?

— Почтеннейший Калум-бек, — сказал юноша, краснея от смущения, — денег-то у меня как раз нет, но, может быть, вы мне сколько-нибудь одолжите, чтобы я мог вернуться домой. Мой отец, конечно, с вами честно расплатится.

— Твой отец, голубчик? — громко смеясь, воскликнул купец. — Не иначе как солнце растопило тебе мозги. Так я и поверил тебе на слово, поверил тем сказкам, что ты плел мне дорогой: у тебя-де в Бальсоре богатый отец, а ты единственный сын, и про нападение арабов, и про твою жизнь в их становище, и пятое-десятое. Уже тогда возмущала меня твоя наглая ложь и нахальство. Я знаю, что в Бальсоре все богатые люди — купцы, сам со всеми дела веду и, конечно, слышал бы о некоем Бенезаре, даже если бы всего имущества у него было только на шесть тысяч туманов. Значит, или ты выдумал, что ты из Бальсоры, или твой отец бедняк и его беглому сыну я и медяка в долг не поверю. А нападение в пустыне! Да слуханное ли это дело, чтобы с тех пор, как мудрый калиф Гарун обезопасил торговые пути через пустыню, разбойники осмелились ограбить караван да еще увести пленных? Да слух об этом распространился бы сразу; а за весь мой путь, да и здесь, в Багдаде, куда отовсюду стекается народ, об этом никто не говорит. Это вторая бессовестная ложь, молодой человек!

Побледнев от гнева и негодования, Саид хотел прервать речь злобного старика, но тот перекрикивал его да к тому же еще размахивал руками.

— А третья ложь, дерзкий лгунишка, — это рассказ о твоей жизни в становище Селима. Имя Селима хорошо известно всем, кто когда-либо имел дело с арабами. Селим известен как самый страшный и жестокий разбойник, а ты смеешь утверждать, что убил его сына; да тебя зарубили бы тут же на месте; ты так обнаглед, что рассказываешь всякие небылицы: Селим, видите ли, охранял тебя от своих же арабов, взял к себе в палатку и отпустил без выкупа, это он-то! Да он вздернул бы тебя на первом попавшемся

дереве; он часто вешал путников только ради удовольствия посмотреть на страшное лицо висельника. Ах ты, мерзкий лжец!

— Я могу сказать только одно, — крикнул юноша, — все это правда, клянусь моей душой и бородою Пророка!

— Ах, так ты клянешься твоей душой? — воскликнул купец. — Твоей черной, лживой душой? Да кто тебе поверит? И бородою Пророка, когда у самого и борода-то еще не отросла! Да кто даст твоим словам веру?

— Свидетелей у меня правда нет, — продолжал Саид. — Но ведь вы же нашли меня связанным и полумертвым.

— Это еще ничего не доказывает, — возразил тот, — ты одет как знатный разбойник, и легко могло случиться, что ты напал на более сильного, он тебя одолел и связал.

— Хотел бы я посмотреть на человека, который одолел бы меня в одиночку и, связав, бросил наземь, меня и двоим-то не одолеть, ведь они накинули мне сзади петлю на шею, — возмутился Саид. — Вы у себя на базаре не знаете, как силен умело владеющий оружием человек, даже когда он один. Но вы спасли мне жизнь, и я вам благодарен. Что же вы теперь собираетесь со мной делать? Если вы мне не поможете, придется мне просить милостыню, а я не хочу просить у тех, кто мне равен. Я обращаюсь к калифу.

— Вот как? — сказал купец, насмешливо улыбаясь. — Только к нашему всемилостивейшему повелителю, и ни к кому больше? Это я называю просить милостыню по-благородному! Да, да! Только не забывайте, благородный молодой человек, что по пути к калифу вам не миновать моего родственника Месура, хранителя казны, а мне довольно шепнуть ему слово и обратить его внимание на то, что ты умелый лгун. Но ты так молод, Саид, мне жаль тебя. Ты можешь исправиться, из тебя еще может выйти толк. Я возьму тебя на базар к себе в лавку, прослужишь там год, а пройдет год и ты не захочешь остаться — я заплачу тебе, что причитается, и отпущу на все четыре стороны, хочешь в Алеппо или в Медину, в Стамбул или в Бальсору, по мне, хоть к неверным. Даю тебе срок для размышления до полудня, согласишься — отлично; не согласишься — я подсчитаю по сходной цене, во что ты мне стал в пути, да прибавлю еще стоимость за место на верблюде, в уплату возьму твою одежду и все, что у тебя есть, и выгоню на улицу, тогда ступай просить милостыню, где тебе

угодно; хочешь — у калифа или муфтия, хочешь — на ступенях мечети или на базаре.

С этими словами жестокосердый купец вышел. Саид с презрением посмотрел ему вслед. Он был так возмущен низостью купца, который подобрал его и заманил к себе в дом намеренно, чтобы заполучить в свои руки. Он огляделся, нельзя ли сбежать, но окна были за решетками, а двери на запоре. Наконец, после долгого раздумья и колебаний, решил он на первое время согласиться на предложение купца и послужить у него в лавке. Он понял, что другого выхода нет, ведь, даже если бы ему удалось сбежать, без денег до Бальсоры все равно не добраться. Но он вознамерился при первой возможности попросить самого калифа взять его под защиту.

На следующий день Калум-бек повел своего нового слугу на базар к себе в лавку. Он показал ему шали, чадры и прочий товар и объяснил, в чем состоят его обязанности. С этого дня Саид в одежде приказчика, без всяких воинских доспехов, с роскошной чадрой в одной руке и шалью в другой, стоял в дверях лавки и зазывал проходящих мужчин и женщин, расхваливал товар, говорил его цену и предлагал купить. Скоро Саиду стало ясно, почему Калум-бек взял его в зазывалы. Сам Калум-бек был низкорослый, уродливый старик, и когда он стоял в дверях лавки и зазывал покупателя, то соседи, а то и прохожие отпускали в его адрес насмешливое словцо, мальчишки дразнили его, женщины обзывали пугалом, а на молодого, статного Саида, который был вежлив в обхождении и умел показать товар лицом, было приятно смотреть.

Когда Калум-бек увидел, что с тех пор, как у входа в лавку стоит Саид, у него прибавилось покупателей, он помягчел в обращении с ним, стал лучше кормить и одевать наряднее и к лицу. Но Саида мало трогали эти доказательства благосклонности хозяина, и днем и ночью, даже во сне, он и так и сяк прикидывал, как бы ему вернуться на родину.

Однажды, когда торговля в лавочке Калум-бека шла особенно бойко и все упаковщики, в обязанности которых входило доставлять покупателям товар на дом, были разосланы, в лавку вошла старая женщина и тоже что-то купила. Выбирала она недолго и, пообещав на чай, потребовала, чтобы ей донесли покупку до дому.

— Будьте любезны, потерпите с полчаса, и все вам будет доставлено, — сказал Калум-бек, — или наймите другого носильщика.

— Вы же купец и хотите, чтобы ваши покупатели пользовались услугами случайных носильщиков? — возразила женщина. — А что, если такой малый скроется в толпе с моей покупкой? Где мне тогда искать на него управу? По рыночному закону вы обязаны доставить покупку мне на дом, и я буду этого требовать.

— Только полчаса подождите, уважаемая, — просил купец, боязливо глядя вокруг. — Все мои люди разосланы.

— Лишь в жалких лавчонках не хватает людей для услуг, — возразила сердитая покупательница. — А вот там в дверях что за бездельник стоит? Иди сюда, малый, бери сверток и ступай за мной!

— Стойте, стойте! — закричал Калум-бек. — Да это мой зазывала, моя вывеска, мой магнит! Ему нельзя отходить от порога!

— Подумаешь! — возразила женщина и без долгих слов сунула свой сверток Саиду под мышку. — Плох тот купец и плохи его товары, раз они сами за себя не говорят и нуждаются в вывеске — в бездельнике-зазывале; идем, идем, малый, заработаешь на чай!

— Ну тебя к Ариману и всем духам тьмы! Беги! — проворчал Калум-бек вслед своему магниту. — Да смотри скорей возвращайся. Старая ведьма чуть не вывела меня из себя, еще немного — и я поднял бы крик на весь базар!

Саид поспешил за женщиной, которая не по возрасту легко побежала по базару, а на улице еще прибавила шагу. Она остановилась у великолепного дома, постучала, двери распахнулись, женщина поднялась по мраморной лестнице и поманила за собой Саида. Они пришли в высокий просторный покой. Саиду еще не доводилось видеть столько богатства и роскоши. Там старая дама опустилась в изнеможении на подушки, указала ему, куда положить сверток, дала мелкую серебряную монету и отпустила.

Он был уже в дверях, когда кто-то звонким нежным голосом окликнул его: «Саид!» Удивившись, что его здесь знают, он оглянулся — на подушке вместо старой дамы сидела окруженная рабами и прислужницами писаная красавица. Саид, онемев от восхищения, скрестил на груди руки и низко ей поклонился.

— Саид, милый мой юноша, — обратилась к нему красавица. — Я очень сожалею, что на пути в Багдад тебя постигло

столько злоключений, но именно здесь, только здесь предначертано было судьбой развеяться тем чарам, под власть которых ты подпал, покинув родительский кров до того, как тебе исполнилось двадцать лет. Саид, дудочка еще у тебя?

— Да, у меня! — радостно воскликнул он и вытащил золотую цепочку. — Уж не вы ли та добрая фея, что при моем рождении сделала мне этот подарок?

— Я была другом твоей матери, останусь и твоим другом, если ты сам будешь добрым и хорошим. Ах, зачем твой отец столь легкомысленно не послушался моего совета! Ты избежал бы многих бед.

— Значит, так было суждено! — ответил Саид. — Но, милостивая фея, прикажите, чтобы сильный норд-ост впрягся в вашу облачную колесницу, подхватите меня и за две минуты домчите в Бальсору к отцу, и я терпеливо доживу там те полгода, что остались до моего двадцатилетия.

Фея улыбнулась.

— Ты умеешь разговаривать с нами, — сказала она. — Но, бедняжка Саид, это невозможно. Сейчас, когда ты не в родительском доме, помочь тебе я бессильна. Бессильна даже освободить тебя из-под власти презренного Калум-бека. Ему покровительствует враждебная тебе могущественная фея.

— Так, стало быть, у меня есть не только добрый друг, но и злой недруг? — спросил Саид. — Сдается мне, я уже не раз испытал на себе воздействие злых чар. Но помогите мне советом, ежели это в вашей власти! Пойти ли мне к калифу и попросить у него защиты? Он мудр, он защитит меня от Калум-бека.

— Да, Гарун мудр, но, к сожалению, он всего только человек. Он, как самому себе, доверяет главному хранителю казны Месуру, и он прав, ибо испытал Месура и убедился, что это человек верный, а Месур в свою очередь, как самому себе, верит твоему другу Калум-беку, и в этом он не прав, потому что Калум человек плохой, хоть он и родня Месуру. Калум хитер и, как только вернулся сюда, наговорил о тебе всякие были и небылицы Месуру, а тот пересказал его басни калифу, и ты будешь плохо принят, если явишься во дворец. Но есть другие возможности и пути к нему приблизиться, а тебе звездами предначертано завоевать его расположение.

— Да, что и говорить, дела мои плохи, — печально промолвил Саид. — Придется мне еще какое-то время стоять у лавки

презренного Калум-бека. Но одну мою просьбу, глубокочтимая фея, вы, может быть, все же могли бы уважить. Я обучен ратному искусству, и для меня наибольшая радость — ристание, где состязаются в метании копья, стрельбе из лука, сражениях тупыми мечами. Самые знатные багдадские юноши каждую неделю участвуют в подобных состязаниях. Но на ристалище могут выступать только свободные люди в богатых доспехах и одежде, и уж конечно, не слуга базарного лавочника. Если бы только вы могли сделать так, чтобы раз в неделю я имел коня, богатое одеяние и доспехи и чтобы узнать меня было не так-то легко...

— Благородный юноша вправе высказать такое желание, — сказала фея. — Твой дед по матери был самым отважным иужем в Сирии, и его дух, видно, унаследовал и ты. Запомни этот дом; здесь каждую неделю будут ждать тебя два оруженосца верхами, с конем для тебя, здесь же найдешь ты одежду, доспехи и воду; умыв ею лицо, ты станешь ни для кого не узнаваем. А теперь, Саид, прощай! Запасись терпением, будь разумен и добродетелен! Через полгода твоя дудочка издаст звук, и голос ее дойдет до слуха Зулимы.

С чувством благодарности и благоговения расстался юноша со своей чудесной покровительницей. Он запомнил дом и улицу и пошел обратно,

Саид вернулся на базар как раз вовремя и успел в последнюю минуту защитить своего хозяина Калум-бека и спасти ему жизнь. Перед лавкой толпился народ, мальчишки плясали и дразнили кунца, старики покатывались со смеху. А он, дрожа от ярости, не зная, куда ему деться, стоял перед лавкой, с чадрой в одной руке и шалью в другой. Эта неожиданная сцена была вызвана происшествием, случившимся после ухода Саида. Калум сам стал в дверях вместо своего красавца-слуги и зазывал покупателей, но народ не шел в лавку к уродливому старику. По базару бродили двое мужчин, желавших купить подарки для своих жен. Они уже несколько раз обошли базар, высматривая, на чем бы остановиться, и как раз сейчас опять проходили мимо лавки Калум-бека, разглядывая товары.

Калум-бек, приметивший их, подумал, что не худо бы извлечь из их нерешительности выгоду.

— Сюда, сюда, государи мои! — крикнул он. — Что вам нужно? Вот отличные шали, отличный товар!

— Товар у тебя, почтеннейший, возможно, хороший, — ответил один из них, — но жены у нас привередницы, а в Багдаде все теперь покупают чадры только у красавца-зазывалы, у Саида. Мы уже исходили весь базар, разыскивая его, и никак его не найдем. Скажи, где он может быть, и в другой раз мы у тебя что-нибудь купим.

— Аллах, Аллах! — воскликнул Калум-бек, любезно осклабившись. — Пророк привел вас, куда вам требуется. Вы ищите красавца-зазывалу, чтобы купить чадры? Входите, входите — вот его лавка.

Подумав, что неказистый, пузатый Калум выдает себя за красавца-зазывалу, один из мужчин окинул его насмешливым взглядом и громко расхохотался. А другой счел, что Калум над ним издевается, и, не желая оставаться в долгу, крепко выругался. Это вывело Калум-бека из себя; он призвал в свидетели соседей, что именно его лавку, а не какую другую называют лавкой красавца-зазывалы, но соседи, с завистью видевшие, как с некоторых пор успешно идет его торговля, отнекивались и отговаривались незнанием, тогда оба человека накинлись на старого вруна, как они его называли. Калум защищался скорее не кулаками, а криком и руганью и этим привлек к своей лавке кучу народа: полгорода знали его как жадного, подлого скареда, и окружающие радовались сыпавшимся на него тумакам; один из обидчиков уже вцепился ему в бороду, но тут кто-то схватил его самого за руку и рывком бросил на землю с такой силой, что с головы у него свалился тюрбан, а туфли отлетели далеко в сторону.

Толпа, которая охотно смотрела на расправу с Калум-беком, громко выразила свое недовольство, приятель поваленного оглянулся на того, кто посмел отшвырнуть его друга, но, увидя высокого сильного юношу с отважно сверкающим взглядом, побоялся схватиться с ним, да к тому же Калум, которому спасение показалось поистине чудесным, громко крикнул, указывая на юношу:

— Ну чего вам еще нужно? Вот он перед вами, это и есть Саид, красавец-зазывала.

В толпе засмеялись, ведь все знали, что Калум-бек пострадал незаслуженно. А тот человек, которого отшвырнул Саид, чувствуя себя посрамленным, хромая, заковылял прочь вместе со своим приятелем, так и не купив ни чадры, ни шали.

— О звезда всех зазывал, краса базара! — воскликнул Калум, войдя с Саидом в лавку. — Поистине, это называется поспеть во-

время, протянуть человеку руку помощи, иначе не скажешь. Ведь он лежал как подкошенный, словно и на ногах-то никогда не стоял! А я, я — да опоздай ты хоть на минуту, мне и бровей больше не понадобился бы, нечего было бы расчесывать и умащивать. Скажи, как мне тебя вознаградить?

Рукою и сердцем Саида руководило чувство минутной жалости. Теперь, успокоившись, он почти раскаивался, что помешал проучить зловредного старика. «Будь у него вырван десяток волос, он бы десять дней был шелковым и покладистым», — подумал Саид; все же он решил воспользоваться благосклонным настроением Калум-бека и испросить в награду позволить ему раз в неделю проводить вечер по собственному усмотрению — то ли на прогулке, то ли еще как-нибудь.

Калум дал свое согласие, он ведь знал, что его подневольный слуга слишком рассудителен и не сбежит без денег и хорошей одежды.

Так Саид вскоре получил желаемое. В ближайшую среду — день, когда самые родовитые юноши собирались на одной из городских площадей для ратного состязания — Саид сказал Калуму, что этот вечер он хотел бы провести по собственному желанию, и с соизволения купца пошел на ту улицу, где жила фея, постучался, и ворота в тот же миг распахнулись. Слуги, казалось, были предупреждены о его приходе; не спросив, что ему угодно, поднялись они с ним по лестнице в красивый покой; там ему подали воду для умывания, которая должна была сделать его неузнаваемым. Он омочил в ней лицо, затем взгляделся в металлическое зеркало и сам себя не узнал: на загорелом лице росла красивая черная борода, он выглядел по крайней мере на десять лет старше.

Затем они повели его в другой покой, где для него было приготовлено великолепное одеяние, которое не посрамило бы самого багдадского калифа в день, когда он во всем блеске своего величия делает смотр войскам. Кроме тюрбана тончайшей ткани, с алмазным аграфом и длинными перьями цапли и кафтана из тяжелой алой парчи, затканной серебряными цветами, там была еще серебряная кольчуга столь тонкой работы, что она повторяла все движения тела, и в то же время столь крепкая, что ей не были страшны удары копий и мечей. Дамасский клинок в богато украшенных ножнах, с бесценными, как показалось Саиду, самоцветными камнями на рукоятке, завершал его наряд. Когда он

в доспехах покинул покой, один из слуг подал ему шелковый платок и сказал, что платок посылает ему повелительница этого дома: стоит утереть им лицо — борода и загар исчезнут.

Во дворе стояли три породистых коня, на самого красивого сел Саид, на двух других — его оруженосцы, и он весело поскакал на площадь, отведенную под ристалище. Пышность его наряда и великолепие доспехов привлекали к нему взоры всех, а когда он появился на площади, по толпе, обступившей ристалище, пробежал шепот восхищения. Здесь собирался весь цвет багдадской молодежи, самые отважные и знатные юноши; даже братья калифа гарцевали на конях и потрясали копьями. Когда появился никому не известный Саид, сын великого визиря с несколькими приятелями поехал ему навстречу, почтительно поклонился, пригласил принять участие в состязании и спросил, как его зовут и откуда он родом. Саид назвался Альмансором, сказал, что родом он из Каира, а сейчас путешествует и, наслышавшись об отваге и доблестях благородных багдадских юношей, не преминул воспользоваться возможностью увидеть их и познакомиться с ними. Юношам понравились обходительность и храбрая осанка Саида-Альмансора; они велели подать ему копьё и предложили выбрать себе соратников, потому что они уже разделились на две группы и будут состязаться и один на один, и всем отрядом.

Если внешность Саида уже привлекла к нему внимание, то теперь все еще больше дивились его необычайной ловкости и быстроте. Конь его носился птицей, а свистящий меч мелькал и того быстрее. Копьё он бросал с такой легкостью, так далеко и так метко, словно это не копьё, а стрела, пущенная из лука. Он победил самых отважных смельчаков, состязавшихся с ним, и по окончании ристания был единодушно признан победителем; один из братьев калифа и сын великого визиря, сражавшиеся на стороне Саида, попросили его помериться силами и с ними. Али, брата калифа, Саид победил, но сын великого визиря не уступал ему в доблести, и после длительной борьбы они сочли за лучшее отложить решение до будущей встречи.

На следующий день в Багдаде только и речи было что о богатом и доблестном красавце-чужеземце. Все, кто его видел, даже те, кого он победил, были в восторге от его благородного обхождения; Саид собственными ушами слышал разговоры о себе в лавке Калум-бека. Все сожалели только об одном: никто не знает, где

он живет. В доме феи к следующему состязанию ему был приготовлен еще более роскошный наряд и еще более дорогие доспехи. На сей раз собралось пол-Багдада, сам калиф любовался с балкона этим зрелищем. Он тоже дивился на чужеземца Альмансора и, дабы выразить свое восхищение, когда игры закончились, повесил ему на шею большую золотую медаль на золотой цепи. Эта вторая блестящая победа не могла не возбудить зависти багдадских юношей. «Какой-то чужеземец приезжает к нам в Багдад, — говорили они, — и вырывает у нас из рук славу, почести и победу? И теперь пойдет похваляться по другим городам, что среди цвета багдадской молодежи нет никого, кто хоть в какой-то мере может помериться с ним силою». Так говорили они и порешили на следующем ристании будто случайно налететь на него впятером или вшестером.

От острого взгляда Саида не ускользнуло их недовольство; он видел, что они шушукуются по углам и с неприязнью поглядывают на него. Он догадывался, что все, не считая брата калифа и сына великого визиря, не очень-то дружелюбно к нему относятся, да и те двое своими расспросами: где можно с ним встретиться, чем он занимается, что ему, собственно, понравилось в Багдаде и другими подобными же — начинали его тяготить.

По странной случайности молодой человек, особенно злым оком взиравший на Саида-Альмансора и как будто особенно враждебно против него настроенный, оказался тем самым человеком, которого Саид незадолго перед тем свалил с ног у лавки Калум-бека как раз в ту минуту, когда тот вцепился в бороду несчастному купцу. Этот человек все время внимательно, с завистью приглядывался к нему; правда, Саид уже несколько раз его побеждал, но это еще не было основанием для такой враждебности, и Саид опасался, не признал ли в нем тот по голосу или по росту зазывалу Калум-бека, а такое открытие сделало бы его мишенью для насмешек и мести. Злой умысел завистников потерпел неудачу как благодаря осторожности и отваге Саида, так и благодаря дружбе к нему брата калифа и сына великого визиря. Увидав, что его окружили не менее шести всадников и пытаются либо сбросить его с коня, либо обезоружить, они поскакали ему на помощь, разогнали нападающих и пригрозили за такой вероломный поступок удалить их с ристалища. Больше четырех месяцев Саид, на удивление всего Багдада, проявлял чудеса храб-

рости, и вот как-то вечером, возвращаясь домой, он услышал, как говорили несколько человек, чьи голоса показались ему знакомыми. Впереди него медленно шли четверо и как будто о чем-то совещались. Саид осторожно подошел ближе и, прислушавшись, разобрал, что говорят они на тайном языке арабов из племени Селима; он догадался, что эти четыре араба замышляют какое-то разбойное нападение. Первым его побуждением было уйти, но, подумав, что ему, может, удастся предотвратить злодеяние, он решил подслушать их разговор и подкрался еще поближе.

— Привратник ясно сказал: по той улице, что справа от базара, по ней, и ни по какой другой, он пройдет с великим визирем этой ночью, — заметил один.

— Все это прекрасно, — отозвался другой. — Великий визирь мне не страшен, он стар, да и не герой, но калиф, говорят, хорошо владеет мечом, и я не очень-то ему доверяю, уж конечно, за ним следом крадется с десятком, а то и больше телохранителей.

— За ним нет ни души, — возразил третий. — Если кто и узнавал его, встретив ночью, то видел его только с великим визирем или с хранителем казны. Сегодня ночью мы захватим его, но зла ему причинить нельзя.

— Я думаю, лучше всего набросить ему петлю на шею, — сказал первый. — Убивать его ни в коем случае нельзя, за его труп большого выкупа не дадут, да могут и никакого не дать.

— Значит, за час до полуночи! — уговорились они и разошлись кто куда.

Саида немало встревожило готовящееся покушение. Он решил тут же поспешить во дворец и предупредить калифа о грозящей ему опасности. Но, уже пробежав по нескольким улицам, он вдруг вспомнил слова феи — ведь она сказала, что калифу его оговорили. Он подумал, что его могут высмеять или, еще того хуже, обвинить в желании вкрасься в доверие к повелителю Багдада, поэтому он замедлил шаг и счел за лучшее положиться на свой верный меч и самому спасти калифа от руки разбойников.

Поэтому он не вернулся домой к Калум-беку, а сел на ступени мечети и стал дожидаться наступления ночи. Когда окончательно стемнело, он прошел мимо базара на улицу, указанную разбойниками, и спрятался за выступом дома. Там он простоял, должно быть, около часа и вдруг услышал шаги двух людей, медленно идущих по улице; вначале он подумал, что это калиф с великим

визирем, но один из мужчин хлопнул в ладоши, и сейчас же со стороны базара к ним бесшумно присоединились еще двое. Они пошептались, затем трое спрятались недалеко от Саида, а один принялся ходить взад и вперед по улице. Ночь была очень темная, но тихая, и Саиду пришлось положиться только на свой острый слух.

Прошло еще с полчаса, и опять со стороны базара слышались шаги. Разбойник, должно быть, их тоже услышал; он прошмыгнул мимо Саида к базару. Шаги приближались, и Саид уже мог различить в темноте двух людей; тут разбойник хлопнул в ладоши, и в то же мгновение из засады выскочили те трое, что спрятались там. Те, на кого они напали, были, по всей вероятности, вооружены, ибо Саид услышал звон скрестившихся мечей. Он не мешкая выхватил свой дамаский клинок и с криком: «Смерть врагам великого Гаруна!» — бросился на разбойников; первым ударом он сразил одного, затем налетел на двух других, которые набросили веревку на шею второму прохожему и пытались его обезоружить. Саид наугад ударил по веревке, но при этом так сильно хватил по руке разбойника, что отрубил ему кисть. Тот громко завопил и упал на колени. Теперь четвертый разбойник, который вел бой с другим человеком, бросился к Саиду, еще сражавшемуся с третьим разбойником. Но тот человек, что освободился от веревки, выхватил ятаган и вонзил его сбоку в грудь нападающему. Увидев это, еще оставшийся в живых разбойник бросил саблю и обратился в бегство.

Саид недолго оставался в неведении, кому он спас жизнь, потому что к нему подошел более рослый из двух и сказал:

— И покушение на мою жизнь или на мою свободу, равно как и неожиданная помощь и спасение, одинаково удивительны. Как вы узнали, кто я? Вы знали о покушении?

— Повелитель правоверных, ибо я не сомневаюсь, что это ты, — отвечал Саид, — сегодня вечером я шел по улице Эль-малек позади нескольких человек, чуждое и тайное наречие которых я в свое время научился понимать. Они говорили, что хотят тебя взять в плен, а твоего визиря, мужа достойного, убить. Предостеречь тебя было уж не успеть, и я решил оказать тебе помощь и пойти туда, где они хотели тебя подкараулить.

— Спасибо тебе, — сказал Гарун, — но лучше нам здесь не задерживаться. Вот тебе кольцо, и приходи с ним завтра ко мне во

дворец, там мы потолкуем о тебе и оказанной мне помощи и обсудим, как мне вознаградить тебя. Идем, визирь, здесь оставаться опасно — как бы они не вернулись.

Так сказал Гарун и, надев на палец юноше кольцо, хотел увести визиря; но тот попросил подождать минутку, обернулся и протянул изумленному Саиду туго набитый кошель.

— Молодой человек, — сказал он, — мой повелитель калиф властен многое для тебя сделать, властен даже, если пожелает, назначить тебя моим преемником, я же мало что могу и потому предпочитаю сделать то, что могу, не завтра, а сегодня, вот возьми кошель! Этим, конечно, не оплатить моей благодарности. Всякий раз, как ты чего пожелаешь, смело иди ко мне!

Опьянев от счастья, поспешил Саид домой. Но там ему был оказан плохой прием. Калум-бек сначала был недоволен, а затем озабочен его долгим отсутствием, потому что боялся лишиться красивой вывески для своей лавки. Он встретил Саида руганью и шумел и орал как одержимый. Но Саид, заглянув в кошель и увидев, сколько там золота, решил, что теперь может вернуться на родину, даже не прибегая к милостям калифа, уж конечно не менее щедрым, чем благодарность визиря, поэтому он не полез за словом в карман и коротко и ясно сказал купцу, что ни часу больше не пробудет в его доме. Вначале Калум-бек опешил, но потом стал насмехаться и сказал с издевкой:

— Ах ты, пройдоха, бродяга, жалкий оборвыш! Куда ты денешься без меня? Кто тебя накормит-напоит, кто приютит на ночь?

— Пусть это вас не заботит, хозяин, — упрямо возразил Саид. — Будьте здоровы, меня вам больше не видать!

Так сказал Саид и выбежал на улицу, а Калум-бек, онемев от удивления, смотрел ему вслед. Но наутро, хорошенько поразмыслив о том, что случилось, он послал своих упаковщиков выследить, где скрывается беглец. Долго и тщетно искали они, наконец один вернулся и сказал, что видел, как Саид вышел из мечети и направился в караван-сарай. Но его не узнаешь, он прекрасно одет, в роскошном тюрбане, при ятагане и сабле,

Услышав такое, Калум-бек разразился бранью.

— Он обобрал меня и на мои деньги оделся! — воскликнул он. — Несчастный я человек!

Калум побежал к начальнику стражи, а тому было известно, что он родня Месуру, хранителю казны калифа, поэтому купцу

не стоило большого труда добиться, чтоб начальник отрядил нескольких стражников для ареста Саида. Саид сидел у караван-сарая и спокойно договаривался со встреченным там купцом о путешествии в Бальсору, родной его город. Неожиданно на него набросились несколько человек и, как он ни сопротивлялся, ему связали за спиной руки. Он спросил, что дает им право на такое насилие, они ответили, что действуют по приказу как своего начальника, так и его, Саида, законного хозяина и господина Калум-бека. Тут подошел и сам противный злой купец; издеваясь и глумясь над Саидом, сунул он руку ему в карман и, к удивлению окружающих, с торжествующим видом вытащил кошель, набитый золотом.

— Смотрите! Вот сколько понемногу наворовал у меня этот мерзавец! — воскликнул он, и люди с презрением смотрели на пойманного вора и возмущались:

— Такой молодой, такой красивый и уже такой испорченный! На суд его, на суд, пусть проучат его батогами по пяткам!

Саида потащили к начальнику стражи, а следом за ними потянулась толпа людей всякого звания и состояния.

— Смотрите, это красавец-зазывала с базара. Он обокрал своего хозяина и скрылся; он украл двести золотых! — кричали в толпе.

Начальник стражи встретил пойманного мрачным взглядом. Саид хотел было сказать несколько слов в свое оправдание, но судья приказал ему замолчать и выслушал только пузатого купца. Он предъявил тому кошель и спросил — эти ли деньги украдены у него?

Калум-бек поклялся, что это так, и хотя с помощью ложной клятвы он и присвоил чужое золото, но красавца-зазывалу, которого ценил в тысячу золотых, ему не вернули, ибо судья сказал:

— Согласно закону, который всего несколько дней тому назад по воле калифа, моего полновластного повелителя, стал еще строже, каждая кража, превышающая сумму в сто золотых и совершенная на базаре, наказывается пожизненным изгнанием на пустынный остров. Этот вор попался очень кстати; он как раз дополнит до двадцати число таких же молодцов, как он сам. Завтра мы погрузим их на баржу и повезем в море.

Саид был в отчаянии, он умолял выслушать его, разрешить ему сказать хоть слово калифу, но такая милость не была ему

оказана. Калум-бек, уже сожалевавший о данной клятве, теперь заступался за Саида, но судья остановил его:

— Ты получил свое золото и будь доволен, ступай домой и веди себя смирно, не то я возьму с тебя штраф по десять золотых за каждое слово, сказанное мне наперекор.

Озадаченный Калум замолчал, судья подал знак, и злосчастного Саида увели.

Его заключили в мрачную сырую тюрьму, где валялись на соломе девятнадцать горемык, они встретили своего товарища по несчастью грубыми насмешками и бранью в адрес судьи и калифа. Как ни страшила Саида судьба, как ни ужасала мысль о ссылке на пустынный остров, он все же находил утешение в том, что уже завтра выйдет из этой проклятой тюрьмы. Но он очень ошибся, думая, что в море будет лучше. Всех двадцать преступников бросили в трюм, где нельзя было стоять во весь рост, они теснились и дрались за лучшее место.

Подняли якорь, и Саид горько заплакал, когда баржа, увозившая его от родины, закачалась на волнах. Только раз в день им давали кусок хлеба, немного овощей и глоток пресной воды. В трюме было так темно, что всякий раз, когда заключенных кормили, приходилось приносить свечи. Почти каждые два-три дня кто-нибудь умирал — такой спертый, нездоровый воздух был в этой морской темнице; Саида спасала только молодость и крепкое здоровье.

Две недели были они уже в море, и вот в один прекрасный день волны заходили сильнее и на корабле поднялись необычная беготня и суматоха.

Саид догадался, что начинается буря; он даже был этому рад, надеясь, что теперь расстанется с жизнью.

Баржу все сильнее и сильнее качало на волнах, и наконец она с ужасным треском села на мель. В трюм доносился рев бури, с палубы долетали крики и вопли. Наконец все затихло, но тут кто-то из заключенных обнаружил течь, вода через пробойину проникала внутрь баржи. Узники принялись стучать в люк, но никто не отзывался. Когда воды заметно прибывало, они налегли на люк и общими усилиями высадили его.

Они поднялись на палубу, но там не было ни души. Весь экипаж спасся на шлюпках. Многие узники впали в отчаяние; буря свирепствовала все сильнее, баржа трещала и погружалась в воду. Несколько часов провели они еще на палубе и, найдя съест-

ные припасы, посидели за последней трапезой; потом буря усилилась, баржу снесло со скалы, на которой она сидела, и разбило.

Саид ухватился за мачту и все еще держался за нее, когда баржу уже разнесло в щепы. Его швыряло из стороны в сторону, но он греб ногами и удерживался на волнах. Так плыл он уже с полчаса, все время подвергаясь смертельной опасности; тут у него из-за кушака выпала дудочка на золотой цепочке, он захотел еще раз испробовать: вдруг она издаст звук. Одной рукой он крепче уцепился за мачту, другой поднес дудочку к губам, подул — и тут раздался ясный звонкий звук. Буря сразу утихла, волны улеглись, словно политые маслом. Не успел он вздохнуть с облегчением и оглядеться, не покажется ли где-нибудь земля, как мачта под ним странным образом раздулась и зашевелилась, и, к немалому своему испугу, он почувствовал, что сидит верхом не на бревне, а на огромном дельфине; несколько мгновений спустя он совладал с охватившим его страхом и, убедившись, что дельфин хоть и быстро, но спокойно и уверенно продолжает плыть, приписал свое чудесное спасение серебряной дудочке и доброй фее и громко выразил свою горячую благодарность.

С быстротой стрелы несясь он по волнам на своем чудесном коне, и еще не успело закатиться, как он увидел землю и широкую реку, в которую тут же устремился дельфин. Вверх по течению дело пошло медленнее, и, чтобы не отоцать, Саид, припомнив, как в таких случаях поступают в старых волшебных сказках, вытащил дудочку, громко и весело свистнул и пожелал вкусно покушать. Рыба тотчас остановилась, и из воды вынырнул стол, такой сухой, словно он неделю простоял на солнце, и весь уставленный вкусными яствами. Саид накинудся на еду, ведь, пока он сидел под арестом, кормили его мало и скверно. Насытившись, он громко поблагодарил, стол нырнул в воду, а Саид ударил дельфина по боку, и тот сейчас же опять поплыл вверх по течению.

Солнце уже садилось, когда Саид различил в туманной дали большой город, минареты которого, как ему показалось, походили на багдадские. Мысль о Багдаде не очень его обрадовала, но он твердо верил в добрую фею и был убежден, что она и впредь убережет его от козней гнусного Калум-бека. В стороне, приблизительно за версту от города, у самой реки он заметил великолепный загородный дворец, и, к его большому удивлению, рыба поплыла к этому дворцу.

На крыше стояли несколько нарядно одетых мужчин, а на берегу множество прислужников, все смотрели в его сторону и всплескивали руками от изумления. Дельфин остановился у мраморной лестницы, которая вела от загородного дворца к реке; и не успел Саид ступить на берег, как дельфин бесследно исчез. Несколько прислужников с сухой одеждой поспешили вниз и от имени их господина пригласили Саида подняться к нему. Он быстро переоделся и последовал за прислужниками на крышу, где его встретили трое, один из них, самый рослый и красивый, приветливо и благосклонно улыбаясь, обратился к нему.

— Откуда ты, чудесный незнакомец? — спросил он. — Ты укрощаешь рыб морских и правишь ими не хуже, чем умелый седок боевым конем. Кто ты — волшебник или такой же человек, как и мы?

— Господин мой, — отвечал Саид, — в последние дни мне туго пришлось, но, ежели вам любопытно, я все расскажу.

Он начал свой рассказ и поведал трем слушателям свои злоключения с того дня, как оставил отцовский дом, и до дня своего чудесного спасения. Часто они прерывали его изумленными возгласами, дивясь его приключениям; когда же он закончил, хозяин дворца, так приветливо его встретивший, сказал:

— Я верю твоим словам, Саид! Но ты говорил, что за победу в ратных состязаниях получил цепь и что калиф подарил тебе кольцо. Можешь ты показать нам то и другое?

— Оба подарка я храню здесь, на сердце, — сказал юноша, — я отдал бы их тебе только вместе с жизнью, ибо славным и прекрасным деянием считаю то, что я спас калифа от рук разбойников. — С этими словами он вытащил из-за пазухи цепь и кольцо и подал хозяину дома.

— Клянусь бородою Пророка, это он, это мое кольцо! — воскликнул высокий красавец. — Великий визирь, пред нами стоит наш спаситель, обнимем его.

Саиду казалось, что он видит сон, когда они заключили его в свои объятия, но, придя в себя, он пал ниц и сказал:

— Прости, повелитель правоверных, что пред твоим лицом я так свободно говорил, ведь ты Гарун аль-Рашид, славный багдадский калиф.

— Да, я калиф и твой друг! — отвечал Гарун. — И с нынешнего дня твоя горестная судьба изменится. Ты поедешь со

мной в Багдад, останешься в моей свите и будешь одним из самых моих верных советчиков — в ту ночь ты доказал, что Гарун тебе не безразличен, а я не каждого из преданных мне слуг решился бы подвергнуть такому испытанию.

Саид поблагодарил калифа; он обещал остаться у него навсегда, но раньше просил позволения поехать домой, к отцу, который, верно, очень о нем печалится, и калиф нашел это желание законным и разумным. Вскоре они сели на коней и еще до захода солнца приехали в Багдад. Калиф повелел отвести Саиду во дворец целую анфиладу роскошных покоев и сверх того обещал дать приказ, чтобы для него был возведен прекрасный дом.

При первой вести о происшедшем к Саиду поспешили его бывшие братья по оружию — брат калифа и сын великого визиря. Они обняли его — спасителя дорогих им людей — и просили стать их другом. Но они онемели от изумления, когда он сказал: «Я уже давно ваш друг» — и с этими словами достал цепь — приз за победу на состязании — и напомнил о разных случаях на ристалище. Тогда они видели его загорелым и длиннородым, и только когда он рассказал, как и почему он изменил свой облик, когда в подтверждение своих слов велел принести свои доспехи и сразился с ними тупым оружием, чем доказал, что он и есть тот самый Альмансор Отважный, только тогда они снова радостно обняли его и сочли за счастье иметь такого друга.

На следующий день, когда Саид и великий визирь сидели в покоях Гаруна, туда вошел Месур, старший хранитель казны калифа.

— Повелитель правоверных, — сказал он, — я хотел бы испросить у тебя одну милость, потому что не знаю, как ты на это помотришь.

— Я желаю сперва выслушать, о чем ты просишь, — ответил Гарун.

— У ворот дожидается мой кровный родственник, очень мною любимый Калум-бек, купец, известный всему базару, — сказал Месур, — у него произошла странная ссора с человеком из Бальсоры, чей сын служил у Калум-бека, обворовал его и сбежал неизвестно куда. Теперь отец требует от Калума своего сына, а у Калума его нет. Поэтому ему хотелось бы, и он просит тебя об этом, чтобы ты оказал ему милость и с присущими тебе проницательностью и мудростью рассудил спор между ним и человеком из Бальсоры.

— Хорошо, я рассужу их, — сказал калиф. — Пусть через полчаса твой почтенный родственник и тот, на кого он приносит жалобу, явятся в судебный покой на заседание дивана.

— Это не кто иной, как твой отец, Саид, — сказал Гарун, когда Месур, рассыпаясь в благодарностях, покинул покой, — по счастью, мне теперь все известно, поэтому судить я буду, как Соломон. Ты спрячешься за занавесом трона и не выходи, пока я не позову тебя, а ты, великий визирь, сейчас же вели привести нерадивого и опрометчивого судью! Он будет мне нужен во время допроса.

Как Гарун повелел, так оба и сделали. У Саида сильно забилося сердце, когда он увидел, как его отец, бледный и изнуренный печалью, неверной походкой вошел в судебный покой, а хитрая, самоуверенная усмешка, с какой Калум шептал что-то на ухо своему родственнику, старшему хранителю калифовой казны, возмутила Саида, его так и подмывало выскочить из-за занавеса и накинуться на Калума, ведь ему, этому подлому человеку, он был обязан самыми тяжкими своими страданиями и огорчениями.

В покое собралось много людей, всем хотелось услышать, как будет творить суд калиф. Когда повелитель Багдада занял свое место на троне, великий визирь призвал всех к тишине, спросил, который из двух жалобщик и кто обращается за правосудием к своему повелителю.

Калум-бек самоуверенно выступил вперед и сказал:

— Несколько дней тому назад стоял я на базаре у дверей своей лавки, когда глашатай, держа в руке кошель, ходил вместе с этим человеком от лавки к лавке и выкрикивал: «Кошель золота тому, кто укажет, где Саид из Бальсоры». Этот Саид был у меня зазывалой, вот я и крикнул: «Сюда, друг! Я заслужил твой кошель!» Этот человек, который сейчас таким врагом смотрит на меня, тогда подошел ко мне как друг и спросил, что мне известно. Я ответил: «Вы, верно, Бенезар, его отец?» — и, когда он с радостью это подтвердил, я рассказал, как нашел его сына в пустыне, спас ему жизнь, выходил его и привез в Багдад. С радостью сердца подарил он мне свой кошель. Но послушайте, что было дальше; когда я рассказал этому вздорному человеку, что его сын служил у меня, потом занялся темными делишками, обокрал меня и сбежал, он не поверил и вот уже несколько дней пристает ко мне, требует вернуть ему сына и золото, но я не могу вернуть ни

того ни другого, деньги принадлежат мне по праву за сообщенную весть, а его дурного сына я никак не могу ему предоставить.

Теперь заговорил Бенезар. Назвал сына благородным и добродетельным юношей, сказал, что Саид никогда не замарал бы рук воровством. Он взывал к калифу, прося строго расследовать дело.

— Надеюсь, ты исполнил свой долг и заявил о краже? — спросил Калум-бека калиф.

— Ну разумеется, — усмехнулся тот. — Я отвел его к судье.

— Привести сюда судью! — повелел калиф.

Ко всеобщему удивлению, судья, как по мановению волшебной палочки, тут же предстал перед ним.

Калиф спросил его, помнит ли он о таком судебном деле, и тот ответил утвердительно.

— Ты допросил юношу, он в воровстве признался? — спросил Гарун.

— Нет, он был так упрям, что хотел повиниться только перед вами! — возразил судья.

— Но я не припомню, чтобы я его видел, — сказал калиф.

— А зачем? Тогда мне пришлось бы что ни день приводить к вам целую ораву всякого сброда, все желали бы, чтобы вы их выслушали.

— Ты же знаешь, я приклоняю ухо к словам любого, — возразил Гарун, — но, должно быть, улики были так очевидны, что юноше предстать пред моими очами было излишне. У тебя, Калум, верно, были свидетели, что украденные деньги принадлежат тебе?

— Свидетели? — переспросил Калум, бледнея. — Нет, свидетелей у меня не было, и вы, повелитель правоверных, сами знаете, что все золотые монеты похожи одна на другую. Откуда же было мне взять свидетелей, что *именно этих* ста золотых недостает у меня в кассе?

— А как же ты узнал, что эти золотые принадлежат тебе?

— По кошель, в котором они лежали, — ответил Калум.

— Кошель при тебе? — не прекращал допытываться калиф.

— Вот он, — ответил купец, достал кошель и вручил его великому визирю, чтобы тот подал его калифу.

Но великий визирь с притворным изумлением воскликнул:

— Клянусь бородою Пророка! Так ты, паршивый пес, утверждаешь, что кошель твой? Кошель принадлежал мне, и я подарил его храброму юноше за то, что он спас меня от страшной опасности.

— Ты можешь в этом поклясться? — спросил калиф.

— Это так же верно, как то, что я надеюсь попасть в рай, — отвечал визирь, — кошель сделан руками моей дочери.

— Ай-ай-ай! — воскликнул Гарун. — Выходит, судья, показания-то были ложными. Почему же ты поверил, что кошель принадлежит купцу?

— Он поклялся, — ответил судья, оробев.

— Так, значит, ты дал *ложную* клятву! — с гневом обрушился калиф на дрожащего и побледневшего купца.

— Аллах, Аллах! — воскликнул тот. — Я, конечно, ничего не хочу сказать против великого визиря, он человек достойный доверия, но ведь кошель-то все-таки мой, и негодник Саид украл его. Я бы заплатил тысячу туманов, только бы Саид был сейчас тут.

— Скажи, куда ты упрятал Саида? — спросил калиф судью. — Скажи, куда надо за ним послать, чтобы он мог дать мне свои показания?

— Я отослал его на пустынный остров, — ответил судья.

— О Саид! Мой сын, мой сын! — обливаясь слезами, приговаривал несчастный отец.

— Так, значит, он сознался в краже? — допрашивал Гарун.

Судья побледнел, он не знал, куда деть глаза, наконец он сказал:

— Если я не ошибаюсь, то — да.

— Значит, ты в этом не уверен? — грозно спросил калиф. — В таком случае спросим его самого. Выходи, Саид, а ты, Калумбек, раз он здесь, заплати сейчас же тысячу золотых!

Калум и судья думали, что перед ними привидение. Они упали на колени и молили: «Смилуйся! Смилуйся!» Бенезар, обесилев от радости, поспешил в объятия вновь обретенного сына. Калиф с непреклонной строгостью спросил:

— Судья, Саид тут, он признал себя виновным?

— Нет, нет, — слезно вопил судья, — я выслушал только показания Калума, ведь он именитый купец.

— Разве для того я поставил тебя судьей надо всеми, чтобы ты выслушивал только знатных? — в порыве благородного гнева воскликнул Гарун аль-Рашид. — Я ссылаю тебя сроком на десять лет на пустынный остров в открытом море. Там у тебя будет время поразмыслить о справедливости: а ты, жалкий человек, ты

возвращаешь к жизни умирающих не для того, чтобы их спасти, а для того, чтобы сделать их твоими рабами, ты, как уже было сказано, выступишь тысячу туманов, ведь ты обещал их, если явится Саид и даст свои показания.

Калум обрадовался, что так дешево отделался, и уже собрался поблагодарить доброго калифа, но тот еще не кончил свою речь.

— За ложную клятву о ста золотых туманах получишь сто ударов по пяткам. А затем предоставляю Саиду на выбор — или забрать твою лавку, а тебя сделать упаковщиком и носильщиком, или же получить с тебя десять золотых за каждый день, что он прослужил у тебя.

— Отпустите негодяя, калиф! — воскликнул юноша. — Мне не надо ничего, что принадлежит ему.

— Нет, — возразил Гарун. — Я хочу, чтобы ты был вознагражден. Я выбираю вместо тебя: десять золотых за каждый день, а ты уж сам подсчитай, сколько дней был у него в лапах. А теперь уведите этих негодяев!

Их увели, а калиф пошел с Бенезаром и Саидом в другой покой; там он рассказал счастливому отцу о своем чудесном спасении, и только время от времени его прерывали вопли Калум-бека, которому во дворе как раз отсчитывали сто полновесных золотых по пяткам.

Калиф пригласил Бенезара на житье в Багдад. Тот согласился и только ненадолго съездил на родину за своим немалым добром. Саид зажил, как принц, во дворце, который ему построил благодарный калиф. С братом калифа и сыном великого визиря он был в большой дружбе, и в Багдаде вошло в поговорку: «Быть бы мне таким добрым и счастливым, как Саид, сын Бенезара».

— При таком занимательном времяпрепровождении я не то что одну, а две, три ночи, а придется, так и больше, глаз не сомкну, — сказал мастер, когда егерь окончил, — и не раз уже я в этом убеждался. Работал я одно время подмастерьем у литейщика колоколов. Литейщик был человек богатый и не скряга. Но вот как-то, когда он получил крупный заказ, нас очень удивила совсем непривычная для него скупость. Отливали мы колокол для новой церкви, и мы, ученики и подмастерья, всю ночь должны были сидеть у горна и поддерживать огонь. Мы, конечно, ожидали, что мастер почнет свой заветный бочонок и поставит нам свое

лучшее вино. Но не тут-то было. Он каждый час подносил нам круговую чарку, и только, а сам все рассказывал и о годах своих странствий, и всякие истории из своей жизни; его примеру последовал старший подмастерье, а потом по череду и все остальные. Мы и не заметили, как настал день. Тут-то мы поняли хитрость мастера: он хотел, чтобы за разговорами мы позабыли о сне. А когда колокол был готов, он не пожалел вина и с лихвой возместил то, что недодал той ночью.

— Ваш мастер был человек разумный, — заметил студент. — Против сна нет средства лучше, чем разговор. Мне потому не хотелось оставаться этой ночью в одиночестве, что к одиннадцати часам меня уже одолевает сон.

— И крестьяне тоже это смекнули, — сказал егерь. — Длинными зимними вечерами, когда прясть уже приходится при свете, женщины и девушки не сидят по домам, потому что там они заснули бы за прялкой; нет, они собираются у кого-нибудь на посиделки и там за работой рассказывают друг другу всякую всячину.

— Да, — вступил в разговор возчик, — порой просто жуть берет, такие страхи они рассказывают об огненных духах, что бродят по свету, о домовых, что по ночам подымают возню в кладовой, о привидениях, что пугают людей и скотину.

— Ну, это, конечно, не слишком приятное развлечение, — возразил студент. — Мне, должен признаться, ничто так не противно, как рассказы о привидениях.

— А по мне как раз наоборот, — сказал мастер. — Мне особенно приятно слушать страшные рассказы. Вроде как спать при дожде под крышей. Слышишь, как дождь стучит по черепицам: кап-кап... кап-кап, а ты лежишь в сухости и тепле. Когда при свете и в компании слушаешь рассказы о привидениях, тебе приятно и совсем не страшно.

— Ну а потом как? — спросил студент. — Разве тот, кто питает нелепую веру в привидения, не будет дрожать от страха, ежели останется один впотьмах? Разве не будет он вспоминать всю ту жуть, что слышал? Когда я вспоминаю свое детство, рассказы о привидениях и по сей день еще вызывают во мне неприязнь. Я был веселым, живым ребенком и, вероятно, не таким спокойным, как то хотелось бы моей кормилице. А она не придумала ничего лучше, как пугать меня, чтобы утихомирить. Она рассказывала страшные сказки про всякую нечисть, про ведьм, которые,

как она говорила, водятся в доме, и, когда кошки подымали возню на чердаке, она боязливо шептала: «Слышишь, сынок? Вот он, мертвец-то, опять вверх и вниз по лестнице ходит. Голову свою он несет под мышкой, а глаза все равно горят не хуже фонарей, вместо пальцев у него когти, кого он поймает в темной комнате, тому свернет голову».

Собеседников его рассказ насмешил, а студент продолжал:

— Я был еще слишком мал и не мог понять, что все это не правда, а выдумки. Я не боялся самой большой охотничьей собаки, любого товарища моих детских игр мог повалить на песок, но в темной комнате зажимивал глаза, думая, что сейчас подкрадется мертвец. Дошло до того, что, когда стемнеет, я уже не соглашался один без свечи выйти за дверь. И как, бывало, отец меня наказывал за такое непослушание! Я долго не мог отделаться от этого детского страха, а виновата была только моя глупая кормилица.

— Да, это большая ошибка — забивать ребенку голову таким суемудрием, — заметил егерь. — Могу вас уверить, что знал смелых, решительных людей, охотников, которые не побоялись бы и трех врагов, а в ночную пору, когда они подкарауливали в лесу дичь или браконьеров, на них, случалось, вдруг нападал страх; дерево представлялось им страшным привидением, куст — ведьмой, а два светлячка — глазами подстерегающего их в темноте чудовища.

— Я считаю подобные рассказы чрезвычайно вредными и глупыми для всякого, не только для детей, — сказал студент. — Ну станет ли здравомыслящий человек рассуждать о повадках и сущности тех, что живут лишь в воображении глупца? Привидения являются ему одному, и никому больше. Но всего вреднее такие рассказы для сельского люда. В деревнях упорно живет твердая вера в подобные глупости, и поддерживается она за прямицей на посиделках и в трактирах, где подвигаются поближе друг к дружке и прерывающимся от страха голосом рассказывают всякие жуткие истории.

— Да, сударь, может, вы и правы, — согласился возчик. — Такие рассказы принесли не одну беду, моя родная сестра по их милости лишилась жизни.

— Да ну? Из-за таких рассказов? — удивились остальные собеседники.

— Да, из-за таких рассказов, — подтвердил возчик. — В той деревне, где жил наш отец, женщины и девушки зимними вечерами прядут на посиделках, так уж там повелось. И молодые парни тоже приходят и болтают всякие небылицы. Вот как-то вечером зашел разговор о привидениях и выходцах с того света, и парни рассказали о старом лавочнике, который уже десять лет как умер, но все еще никак не найдет покоя в могиле. Каждую ночь сбрасывает он с гроба землю, встает из могилы, медленно крадет-ся, покашливая — как и при жизни, к себе в лавку, кладет на весы сахар и кофе и при этом бормочет:

Три четверти фунта в полночный час
К полудню потянут фунт как раз.

Многие уверяли, будто видели его собственными глазами, и девушки и женщины были очень напуганы. Но моя сестра, ей тогда было шестнадцать, захотела показать, что она умнее других, и заявила: «Ни во что такое я не верю; кто умер, тот уже не встанет из гроба!» Заявить-то она заявила, но убеждена в этом, к сожалению, не была. Тогда один из парней сказал: «Если ты так думаешь, ты его не испугаешься; его могила в двух шагах от могилы недавно умершей Кетхен. Докажи свою храбрость, пойди на кладбище, сорви цветок с могилы Кетхен и принеси нам, тогда мы поверим, что ты не испугалась лавочника!»

Моя сестра побоялась, что ее засмеют, и сказала: «Для меня это пустяки, какой цветок принести?»

«Во всей деревне нет белых роз, только на кладбище, вот и принеси нам оттуда букет белых роз», — ответила ей одна из ее подруг. Сестра встала и вышла на улицу, и все мужчины хвалили ее за храбрость, но женщины качали головой и говорили: «Только бы все хорошо кончилось!» Сестра пошла к кладбищу. Было полнолуние. Когда она отворяла кладбищенскую калитку, на часах как раз пробило двенадцать, ей стало страшно.

Она прошла мимо ряда знакомых могил, и чем ближе подходила она к белым розам Кетхен и к могиле лавочника, встающего по ночам из гроба, тем сильнее и сильнее замирало у нее от страха сердце.

Ее била дрожь, когда она, дойдя до могилы Кетхен, опустилась на колени и стала рвать цветы. Вдруг ей послышался где-то

совсем рядом шорох. Она оглянулась: в двух шагах от нее из могилы вылетели комья земли, и вслед за землей появилась голова человека, бледного старика в белом ночном колпаке. Сестра страшно перепугалась; еще раз поглядела она в ту сторону, желая убедиться, что ее не обманывает зрение; когда же тот, что глядел из могилы, гнусавым голосом сказал: «Добрый вечер, девушка, откуда вы в такой поздний час?» — ее охватил смертельный страх, она вскочила и, перепрыгивая через могилы, побежала обратно; задышавшись от ужаса, рассказала она о том, что видела: она так ослабела, что домой ее отнесли на руках. На следующий день мы узнали, что это был могильщик, он рыл там могилу и заговорил с моей сестрой, но нам от этого не стало легче. Еще до того, как она могла это узнать, у нее началась горячка, и на третий день она умерла. Цветы для венка на свою могилу она нарвала сама.

Возчик замолчал, и слезы выступили у него на глазах; все присутствующие с участием глядели на него.

— Итак, бедную девочку погубило суеверие, — сказал золотых дел мастер. — Мне вспомнилось в связи с этим предание, которое я охотно расскажу вам; к сожалению, и оно тоже грустно кончается.

СТИНФОЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА

(Шотландская легенда)

Много лет тому назад на одном из скалистых шотландских островов жили в мире и согласии два рыбака. Оба они были холостые, родни у них тоже не было, а общая, хотя и не одинаковая, работа кормила обоих. По возрасту они были близки друг к другу, зато по облику и характеру столь же далеки, как орел от тюленя.

Каспар был толстенький коротышка с круглым, как луна, широким и жирным лицом, с добродушным веселым взглядом, казалось, далеким от печали и забот. Он любил поспать, был не только жирен, но и ленив, поэтому на его долю приходилась домашняя работа: он варил и пек, плел сети, как для собственного употребления, так и на продажу, обрабатывал большую часть их маленького поля. Его товарищ был полной его противоположностью; высокий и тощий, с ястребиным носом и смелым острым взглядом, на окрестных островах он прослыл самым деятельным

и удачливым рыбаком, самым предприимчивым охотником за морскими птицами и их пухом, самым трудолюбивым земледельцем, а на рынке в Кирхуэле к тому же еще и самым жадным до денег торговцем, но товар у него был хороший, и торговал он без обмана, поэтому все охотно у него покупали. И Вильм Коршун, и Каспар Колпак (так прозвали их в округе), с которым первый, при всей своей жадности, охотно делил тяжелым трудом заработанные деньги, не только были сыты, но находились на верном пути к известному достатку. Но Коршуну при его корыстолюбии просто достатка было мало. Он хотел разбогатеть, разбогатеть по-настоящему, и, когда он понял, что трудолюбием богатства не так-то легко нажить, он вбил себе в голову, что ему поможет какой-нибудь необычайный счастливый случай, и, поскольку теперь эта мысль завладела его беспокойным умом, он уже не мог думать ни о чем другом и уже как о решенном говорил об этом с Каспаром Колпаком. А для Каспара то, что говорил Вильм Коршун, было непререкаемой истиной, вот он и пересказал все соседям, и вскорости пошел слух, будто Вильм Коршун не то уже продал душу дьяволу, не то получил такое предложение от князя тьмы.

Сперва Коршун смеялся над подобными слухами, но мало-помалу сжился с мыслью, что тот или иной дух откроет ему, где спрятан клад, и он уже не возражал, когда соседи над ним подшучивали. Он, правда, все еще занимался прежними своими делами, но уже не с прежним рвением и часто зря терял время, которое раньше потратил бы на рыбную ловлю или на какую другую полезную работу, в бесплодных поисках удачного случая, который поможет ему сразу разбогатеть. К несчастью, однажды, когда он стоял на безлюдном берегу и с твердой надеждой взирал на волны морские, словно оттуда ему должно привалить огромное счастье, большая волна, отхлынув обратно, оставила на берегу у его ног среди смытого мха и камешков желтый шарик — шарик золота. Вильм стоял как замороженный; так, значит, его надежды не пустые мечтания, море подарило ему золото, прекрасное чистое золото, вероятно, остаток большого слитка, на дне морском обточенного волнами до величины ружейной пули. И теперь ему стало ясно, что некогда где-то здесь, у этого берега, затонул корабль с богатым грузом и что ему, именно ему предназначено судьбой поднять с морского дна похороненное там сокровище. С этого дня это стало его единственной думой. Он тщательно

скрывал свою находку даже от друга; опасаясь, как бы кто другой не напал на след его открытия, он забросил все свои дела и проводил и дни и ночи на том берегу, где не рыбу ловил сетью, а собственноручно для этого изготовленной им лопатой пытался выудить клад. Но привело это только к бедности, ведь сам он теперь ничего не зарабатывал, а сонный и медлительный Каспар Колпак, при всем старании, не мог своим трудом прокормить обоих. В погоне за сокровищем исчез не только найденный им кусочек золота, но постепенно все добро обоих холостяков. Как прежде Каспар молча предоставлял Вильму зарабатывать на сытую жизнь, так и теперь молча и безропотно сносил он то, что из-за беспечных трудов своего друга терпит нужду, и такое кроткое долготерпение Каспара только пуше подстегивало Вильма не прекращать неустанных поисков богатства, но еще больше не давало ему утомиться то, что, как только он ложился спать и глаза его смыкались в дремоте, на ухо ему будто кто-то шептал, казалось ему, всегда одно и то же, явственно слышное слово, но, проснувшись, он так и не мог его припомнить. Он, правда, не знал, как это странное обстоятельство связано с одолевающими его теперь заботами, но при его умонастроении все оказывало на него свое действие, и это таинственное нашептывание укрепило его веру в то, что ему предопределено судьбой великое счастье, а он надеялся обрести его только в куче золота.

Однажды на берегу, где он нашел золотой шарик, его застала такая сильная буря, что он укрылся в ближайшей пещере. Эта пещера, которую местные жители называют Стинфольской, образует длинную подземную галерею, открытую в двух местах свободному доступу морских волн, и они непрерывно с громким ревом, пенясь врываются в пещеру. Проникнуть в эту пещеру можно только в одном месте и только через расселину сверху, которой, кроме отчаянных мальчишек, редко кто пользовался, всех отпугивали не только опасности, связанные с самим местоположением, но и слава о том, что в пещере нечисто. С трудом протиснулся Вильм через расселину, спустился приблизительно на двенадцать футов и устроился на выступающем камне под нависшей скалой. Под ногами у него с ревом перекачивались волны, над головой шумела буря, а он опять предался обычным своим размышлениям о затонувшем корабле и что за корабль это мог быть, ведь, несмотря на все расспросы, он ни от кого из местных

жителей, даже от старожилов, не мог получить сведений о корабле, когда-либо затонувшем на этом месте. Сколько времени он так просидел, он и сам не знал; когда же очнулся от своих грез, он увидел, что буря прошла, и хотел подняться наверх, но тут из глубины до него долетел чей-то голос и совершенно явственно прозвучало слово «Кар-мил-хан». В испуге вскочил он и посмотрел в пучину, где не было никого. «Господи боже! — воскликнул он. — Это же то слово, что преследует меня во сне! Ради всего святого, что оно значит?» — «Кармилхан», — еще раз вздохнула бездна морская, когда он уже вытащил одну ногу из расселины; и, как испуганная лань, помчался он к своей хижине.

Но Вильм не был трусом — просто все произошло слишком неожиданно, да и очень уж корыстолюбив он был, и никакая опасность не могла отпугнуть его и принудить сойти с избранного им опасного пути. Однажды, когда он поздней ночью при лунном свете, причалив лодку как раз против пещеры, пытался своей самодельной лопатой выудить сокровище, лопата вдруг в чем-то застряла. Он потянул со всей мочи, но все его усилия были тщетны. Тем временем подул сильный ветер, темные тучи обложили небо; лодку сильно качало, и в любую минуту она могла перевернуться; но Вильма Коршуна это не смутило, он тянул и тянул, наконец ему удалось одолеть сопротивление, и, не ощущая никакой тяжести, он подумал, что оборвался канат на лопате. Но как раз в ту минуту, когда тучи заволакивали луну, на поверхности воды появилась круглая черная масса и прозвучало давно уже преследовавшее его слово: «Кармилхан!» Он поспешил схватить эту темную массу и уже протянул руку, но ночная тьма тут же поглотила ее, а Вильму от вдруг разразившейся бури пришлось укрыться под ближайшей скалой. От усталости он там заснул, но и во сне, терзаемый неудержной силой воображения, он снова переживал те же муки, что терпел днем из-за не покидавшей его алчности.

Когда Коршун проснулся, первые лучи восходящего солнца падали на уже успокоившуюся водную гладь. Он хотел опять приняться за привычную работу, как вдруг увидел, что издали приближается какой-то предмет. Вскоре он разглядел лодку, а в ней человека. Но что его удивило — лодка шла вперед без ветрила и весел, и притом носом к берегу, а сидевший в ней человек как будто и не думал о руле, да и был ли там вообще руль? Лодка под-

ходила все ближе и наконец остановилась у лодки Вильма. Там с закрытыми глазами, недвижимо, как покойник, сидел высохший сморщенный старичок в желтой холщовой одежде и в красном, торчащем вверх ночном колпаке.

Напрасно Вильм кричал, напрасно расталкивал его, и тогда он решил привязать к лодке канат и отвезти ее, но тут старичок открыл глаза и зашевелился, да так, что даже храброго рыбака объяла жуть.

— Где я? — глубоко вздохнув, спросил старичок по-голландски.

Вильм Коршун, научившийся от голландских ловцов сельдей понимать их язык, назвал остров и спросил, кто он и что привело его сюда.

— Я приехал взглянуть на «Кармильхан».

— На «Кармильхан»? Ради бога, скажите, что это? — воскликнул алчный рыбак.

— Я не отвечаю на вопросы, когда мне их так задают, — явно испугавшись, возразил старичок.

— Ну, так что же такое «Кармильхан»? — крикнул Коршун.

— «Кармильхан» теперь уже ничто, но в свое время это был красивый корабль, с таким огромным грузом золота, какой едва ли был на каком-либо другом корабле.

— Где и когда он затонул?

— Сто лет тому назад, а где — я точно не знаю. Я здесь, чтобы отыскать это место и выудить со дна золото; помоги мне, и мы поделим находку, хочешь?

— Всею душой хочу, скажи только, что я должен делать?

— То, что ты должен делать, требует мужества; ты должен незадолго до полуночи пойти в самую дикую и пустынную часть острова, взяв с собой корову, там ты ее зарежешь, но предварительно договорись с кем-нибудь, чтобы он завернул тебя в содранную коровью шкуру, а затем ушел, оставив тебя одного, и не пройдет и часа, как ты узнаешь, где лежат сокровища «Кармильхана».

— Таким же путем сын старого Энгроля погубил тело и душу! — в ужасе воскликнул Вильм. — Ты нечистый! — крикнул он, быстро гребя прочь. — Ступай к себе в преисподнюю! Я не хочу иметь с тобой дела!

Старичок, заскрежетав от злости зубами, посылал ему вслед ругательства и проклятия, но до слуха рыбака, взявшегося за

весла, его голос уже не долетал, а когда Вильм обогнул скалу, старичок исчез и из его поля зрения.

Однако открытие, что злой дух хотел использовать его жажду стяжательства и, обещав золото, заманить в свои сети, не излечило ослепленного рыбака, наоборот, он подумал, что теперь он сам воспользуется сообщением желтого старичка, не отдаваясь в руки дьяволу; итак, он продолжал поиски золота у пустынного берега, пренебрегая сулящими достаток богатыми уловами у других морских берегов, да и вообще всякой работой, хотя прежде отличался трудолюбием. Теперь они с другом день ото дня терпели все большую и большую нужду, так что под конец им уже не хватало самого насущного. И хотя это надо было приписать исключительно упрямству и алчности Вильма Коршуна, хотя пропитание обоих целиком лежало теперь на Каспаре Колпаке, тот никогда ни в чем не упрекал Коршуна; больше того, он все так же выказывал ему покорность, все так же верил в превосходство его ума, как и прежде, когда Вильму Коршуну давалось все, за что бы он ни взялся. Это обстоятельство сильно усугубляло страдание Вильма, но оно же побуждало его к еще более упорным поискам золота, он надеялся, что в дальнейшем сможет вознаградить друга за теперешние лишения. К тому же во сне его все еще преследовало дьявольское нашептывание слова «Кармилъхан». Коротко говоря, нужда, обманутое ожидание и жадность довели его до своего рода безумия, и в конце концов он решил сделать то, к чему склонял его старичок, хотя из давнего предания и знал, что это значит самому отдать себя во власть князю тьмы. Все уговоры Каспара были напрасны. Чем больше он упрашивал друга отступить от его отчаянного замысла, тем горячее настаивал тот на своем. И добрый, слабохарактерный Каспар Колпак в конце концов сдался и согласился пойти с ним и помочь ему выполнить задуманное. У обоих холостяков больно сжалось сердце, когда они обмотали веревкой рога красивой коровы, их последнего достояния, которую они вырастили из теленка и никак не решались продать, потому что не могли примириться с мыслью отдать ее в чужие руки. Но дьявол, взявший власть над Вильмом, задушил в его сердце все добрые чувства, а Каспар своему другу ни в чем не перечил. Шел сентябрь, начались уже долгие ночи шотландской зимы. Облака, гонимые резким вечерним ветром, тяжело катились по потемневшему небу, густые тени за-

легли в ущельях между горным хребтом и сырыми торфяными болотами, смутно видные русла рек устрашали, как черная тьма адских бездн. Коршун шел впереди, а Каспар Колпак, содрогавшийся при мысли о собственной смелости, следом, и слезы наворачивались ему на глаза всякий раз, как он взглядывал на бедную корову, которая доверчиво шла за ними, не ведая, что идет навстречу близкой смерти от руки человека, до тех пор кормившего ее. С трудом добрались они до узкой болотистой горной долины, кое-где поросшей мхом и вереском, усеянной большими камнями и опоясанной недосыгаемыми горами, терявшимися в клубах тумана и почти недоступными для человека. По болотистой, уходящей из-под ног почве подошли они к большому камню посреди долины, с которого с громким клекотом взлетел вспугнутый орел. Бедная корова глухо замычала, словно почуяв, какое это страшное место и какая ее ждет участь. Каспар отвернулся и утер ручьем бегущие слезы. Он глянул вниз, в скалистое ущелье, откуда они поднялись, оттуда долетал далекий шум прибоя, а потом глянул вверх, на горные вершины, на которые спустились черные тучи, оттуда временами доносились глухие раскаты. Когда он посмотрел на Вильма, тот уже привязал корову к камню и занес над бедняжкой топор.

Этого Каспар не выдержал, подчиниться воле друга казалось ему немислимым. Ломая руки, с отчаянным воплем упал он на колени.

— Ради бога, Вильм Коршун! Пожалей себя, пожалей корову! Пожалей себя и меня! Пожалей свою душу! Пожалей свою жизнь! А если уж ты не боишься искушать Бога, то подожди до завтра и лучше принеси в жертву другое животное, а не нашу ласковую коровушку!

— Каспар, да ты с ума сошел! — как обезумевший завопил Вильм, все еще не опуская топора. — Прикажешь мне пожалеть корову, а самому помереть с голоду?

— Ты не помрешь с голоду, — решительно ответил Каспар. — Покуда у меня есть руки, ты не помрешь с голоду. С утра до ночи буду я для тебя трудиться. Только не лишай свою душу вечного блаженства и не убивай нашу бедную корову!

— Тогда возьми топор и размножь голову мне! — с отчаянием в голосе крикнул Вильм Коршун. — Я не сойду с этого места, пока не получу того, что мне надо. Ты можешь добыть для меня

сокровища «Кармильхана»? Можешь своими руками заработать больше, чем на самую скудную жизнь? Но ты можешь своими руками положить конец и моим терзаниям. Вот топор, принеси в жертву меня!

— Вильм, убей корову, убей меня! Мне ничего не жаль, мне жаль только твою бессмертную душу. Ведь это же алтарь пиктов, и жертву ты принесешь князю тьмы.

— А что мне до того! — закричал Коршун, хохоча как безумный и твердо решив не слушать никаких доводов, никого, кто может отговорить его от раз им задуманного. — Каспар, ты помещался, с тобой помешаюсь и я. Но вот, — продолжал он, отбросив топор и взяв с камня нож с таким видом, будто собирается воткнуть его себе в грудь, — пусть вместо меня у тебя останется корова!

Во мгновение ока Каспар подскочил к нему, вырвал у него из рук смертоносное оружие, схватил топор, замахнулся и с такой силой опустил его на голову любимой им коровы, что она, даже не вздрогнув, мертвой упала к ногам хозяина.

Тут же сверкнула молния, загремел гром, а Вильм Коршун в недоумении уставился на своего друга, так взрослый глядит на ребенка, который решился на то, на что сам взрослый не отважился бы. Но Каспар Колпак, казалось, не испугался грома и молнии, не растерялся при виде недоуменно взиравшего на него друга; не говоря ни слова, он стал сдирать шкуру с коровы. Вильм, опомнившись, стал ему подсоблять, но с отвращением, столь же явным, как перед тем было явно, что при его корыстолюбии ему не терпится закончить жертвоприношение. Тем временем разразилась гроза, в горах грохотал гром, над камнем и мхом ущелья сверкали зигзаги молний, а ветер, еще не добравшийся до этих высот, дико завывал в нижних долинах и на морском берегу. Оба рыбака, пока сдирали шкуру, промокли до костей. Они расстелили шкуру на земле, Каспар завернул в нее своего друга и связал его, как тот ему повелел. Только когда это было сделано, он, бедняга, грустно глядя на своего ослепленного алчностью друга, прервал долгое молчание и спросил дрожащим голосом:

- Что еще могу я для тебя сделать?
- Ничего, — ответил тот, — прощай!
- Прощай! — сказал и Каспар. — Да хранит тебя Господь и да простит тебе, как прощаю я!

Это были последние слова, которые Вильм услышал, — Каспар исчез в сгущавшейся темноте. И сразу разразилась ужаснейшая гроза, Вильм никогда еще не слышал такой. Началась она с молнии, при свете которой Вильм увидел не только ближние горы и скалы, но даже, как ему показалось, долину далеко внизу, и вспененное море, и скалистые острова, усеявшие бухту, и среди них ему почудился большой необычного вида корабль без мачт, который быстро скрыла мгновенно наступившая крошечная тьма. Гром гремел оглушительно. С гор срывались огромные, грозящие смертью камни. Дождь лил как из ведра и в одну минуту затопил узкую болотистую долину, вода уже доходила Вильму до плеч; по счастью, Каспар приподнял его и в полусидячем положении прислонил к кочке, не то он бы сразу захлебнулся. Вода подымалась все выше, и чем сильнее напрягался Вильм, чтобы освободиться от опасных пут, тем плотней облежала его коровья шкура. Напрасно звал он Каспара, Каспар был далеко. Взывать о спасении к Богу он не смел. Мысль молить о помощи те силы, во власть которых он отдался, приводила его в ужас.

Вода уже заливала ему уши, уже доходила до рта. «Боже, я погиб!» — крикнул он, когда вода залила ему уже все лицо, но в то же мгновение до слуха его долетел шум, как от близкого водопада, и вода сразу схлынула с его лица. Поток проложил себе дорогу между камнями, дождь стал утихать, темное небо чуть посветлело, у Вильма несколько отлегло от сердца, и в душе его снова зародилась надежда. Но хотя он чувствовал себя обессиленным, как после смертного боя, и страстно желал освободиться от пут, все же цель его отчаянного стремления не была достигнута, и, когда исчезла прямая угроза жизни, его душой вновь овладела яростная алчность. Он был убежден, что добиться своего он может, только запасшись терпением, и потому лежал смирно, наконец холод и утомление сморили его, и он заснул крепким сном.

Проспал он часа два, из блаженного забытья пробудил его холодный ветер, дувший в лицо, и шум, как от набегающих волн. Небо опять затянулось тучами. Молния, как и при первой грозе, осветила все вокруг, и ему снова почудился чужеземный корабль, на этот раз у самой Стинфольской пещеры, казалось, он повис на гребне высокой волны и вдруг стремительно низвергся в пучину. Непрестанные молнии озаряли море, и Вильм все еще глядел вслед исчезающему призраку, как вдруг в долине возник гигант-

ский смерч и с такой силой отшвырнул его к скале, что он потерял сознание. Когда он пришел в себя, непогода уже улеглась, небо прояснилось, но зарницы все еще вспыхивали. Он лежал у подножия гор, обступавших долину, и не мог пошевелиться от слабости. Он слышал затихающий шум прибоя, перемежавшийся с торжественным, похожим на церковное, пением, сначала очень тихим, и Вильм счел, что его обманывает слух. Но пение звучало все снова и снова, оно приближалось, с каждым разом становясь все внятнее. Наконец ему показалось, будто он уловил напев псалма, который прошлым летом слышал на борту голландского рыболовного судна.

Теперь он уже различал отдельные голоса, ему казалось, что он улавливает даже слова именно того песнопения. Голоса раздавались уже в долине, и, когда он с большим трудом подполз к камню и положил на него голову, он действительно увидел процессию поющих людей, надвигавшуюся прямо на него. Горе и ужас запечатлелись на лицах этих людей, с одежды которых, как ему показалось, струилась вода. Теперь они подошли совсем близко, пение прекратилось. Процессию возглавляли поющие, потом шли моряки, а за ними — рослый, величественный мужчина в старомодном, шитом зóлотом одеянии, он был опоясан мечом, в руке держал длинную крепкую бамбуковую трость с золотым набалдашником. Слева от него шел негритенок и время от времени подавал своему господину длинную трубку, тот с важным видом делал несколько затяжек и шествовал дальше. Выпрямившись во весь рост, остановился он перед Вильмом, а по обе стороны от него стали другие, менее роскошно одетые мужчины, все держали в руках трубки, но не столь богато украшенные, как та, что негритенок нес за своим хозяином. Дальше разместились остальные, среди них несколько дам — все в дорогих, необычных нарядах; одни держали на руках младенцев, другие вели за ручки детей постарше, шествие замыкала кучка голландских матросов, у каждого рот был полон табака, а в зубах была зажата коричневая трубка, они курили в угрюмом молчании.

Рыбак с содроганием смотрел на это своеобразное сборище, однако в ожидании того, что должно воспоследовать, бодрился. Долго стояли они, обступив Вильма Коршуна, дым из их трубок собирался над ними в плотное облако, сквозь него мерцали звезды. Кольцо вокруг Вильма все суживалось и суживалось, матросы

курили все яростнее и яростнее, от дыма из трубок облако над толпой все сгущалось, становилось все плотней и плотней. Коршун был смелым, бесстрашным человеком, он был готов ко всяким неожиданностям, но, когда он увидел, что толпа все ближе надвигается на него, словно собираясь поднять под себя, мужество оставило его, на лбу выступили крупные капли пота, он думал, что умрет от страха. Но можно представить себе, как он перепугался, когда, случайно посмотрев в сторону, увидел у самой своей головы желтого старичка, застывшего в неподвижности, как и в тот раз, когда Вильм увидел его впервые, только теперь, словно насмехаясь над всем сборищем, он тоже держал во рту трубку. На рыбака напал смертельный страх, и он крикнул, обращаясь к главной персоне шествия:

— Именем того, кому вы служите, заклинаю вас, скажите, кто вы? И что вам от меня нужно?

Величественный мужчина с еще более важным видом, чем до того, сделал три затяжки, отдал трубку своему прислужнику и ответил до жути невозмутимо:

— Я Альфред Франц ван дер Свельдер, командир амстердамского корабля «Кармильхан», на обратном пути из Батавии затонувшего со всем экипажем и грузом у этого скалистого берега; вот мои офицеры, вот мои пассажиры, а вот мои храбрые матросы, все потонули вместе со мной. Зачем вызвал ты нас наверх из нашего обиталища на дне морском? Зачем нарушил наш покой?

— Я хочу знать, где лежат сокровища «Кармильхана».

— На дне морском.

— Но где?

— В Стинфольской пещере.

— Как мне их добыть?

— Гусь ныряет за сельдью в морскую пучину — разве сокровища «Кармильхана» не стоят того же?

— Сколько достанется на мою долю?

— Больше, чем ты сможешь истратить за всю твою жизнь. — Желтый старичок издевательски осклабился, а все сборище громко расхохоталось. — Ты закончил? — спросил командир.

— Да. Будь здоров!

— Всего хорошего, до нового свидания, — отвечал голландец и двинулся обратно, хор снова занял место во главе процессии, и все удалились в том же порядке, в котором пришли,

под то же торжественное песнопение, которое по мере их удаления звучало все тише и все невнятнее, и наконец его заглушил шум прибоя.

Теперь Вильм Коршун напряг последние силы, чтобы освободиться от пут, и в конце концов он выпростал одну руку, а с ее помощью развязал стягивающие его веревки, и тогда ему удалось окончательно вылезть из шкуры. Без оглядки поспешил он в свою лачугу и увидел бедного Каспара, без сознания лежащего на полу. С трудом привел он его в чувство, и добряк Каспар расплакался от радости, когда увидел своего друга молодости, которого считал навеки потерянным. Но этот луч радости сразу погас, едва он услышал, какое опасное дело задумал Вильм Коршун.

— Лучше мне попасть в ад, чем и впредь видеть эти голые стены и жить в нищете. Я уйду, все равно, пойдешь ты со мной или нет.

С этими словами Вильм взял факел, огниво и канат и убежал. Каспар со всех ног бросился за ним вдогонку и настиг его на выступе скалы, под которой Вильм в прошлый раз укрывался от бури. Тот уже собрался спуститься на канате в ревущую морскую пучину. Поняв, что уговаривать этого одержимого бесполезно, Каспар Колпак решил последовать за ним, но Вильм приказал ему остаться на скале и держать канат. Побуждаемый слепой алчностью, Вильм напряг все силы, призвал все свое мужество и спустился в пещеру, где встал на выступ скалы, под которым бушевали черные волны с белой пеной на гребнях. Он озирался, жадно всматриваясь в волны, и наконец узрел как раз под собою что-то блеснувшее в воде. Он положил факел, спрыгнул со скалы, ухватил что-то тяжелое и вместе со своей находкой опять поднялся на выступ скалы. В руках у него был железный ларчик с золотом. Он сообщил Каспару, что он нашел, но не внял мольбам друга удовольствоваться этой находкой и подняться наверх. Он считал, что это первый плод его долгих усилий. Он снова бросился в воду — из морской пучины донесся громкий хохот, и Вильма Коршуна никто больше не увидел. Каспар один вернулся домой, но вернулся туда совсем другим человеком. Его слабая голова и чувствительное сердце не выдержали такого страшного потрясения, он помешался. Все и в доме, и в огороде пришло в запустение, днем и ночью бродил он, бессмысленно глядя в землю и вызывая жалость тех, что водили с ним раньше знакомство,

а теперь сторонились его. Один рыбак уверял, будто раз бурной ночью видел на берегу среди экипажа «Кармильхана» Вильма Коршуна, и той же ночью исчез Каспар Колпак.

Его тщетно искали повсюду. Он бесследно пропал. Но, по словам предания, его вместе с Коршуном не раз видели среди экипажа волшебного корабля, который с тех пор в определенные дни появляется возле Стинфольской пещеры.

— Полночь давно уже прошла, — сказал студент, когда молодой золотых дел мастер закончил свой рассказ, — теперь, я полагаю, опасность уже миновала, а что до меня, я так хочу спать, что посоветовал бы всем лечь в постель и спокойно уснуть.

— До двух часов утра я бы все-таки подождал, — возразил егерь.

— Недаром говорится: «С одиннадцати до двух — самое воровское время».

— И я так думаю, — заметил мастер, — если они что-то замышляют, то самое разлюбезное время после полуночи. Вот мне и кажется, что господин студиозус мог бы продолжить свой рассказ, еще далеко не законченный.

— Я не отказываюсь, — согласился студент, — хотя наш сосед, господин егерь, не слышал начала.

— Рассказывайте, рассказывайте, а начало я примыслю! — отозвался егерь.

— Итак, — начал было студент, но его прервал лай собаки.

Все затаили дыхание, прислушались, и тут же из комнаты графини вбежал лакей, он сообщил, что со стороны леса к харчевне подходят десять-двенадцать вооруженных людей.

Егерь схватил ружье, студент — пистолет, ремесленники — палки, а возчик вытащил из кармана длинный нож. В нерешительности глядели они друг на друга, не зная, что предпринять.

— Выйдемте на лестницу! — предложил студент. — Мы убьем двух-трех этих мерзавцев, прежде чем они нас одолеют.

Он тут же дал мастеру свой второй пистолет и предложил не стрелять одновременно. Они подошли к лестнице. Студент и егерь как раз заняли всю ее ширину; около егеря, несколько сбоку, стал храбрый мастер и, перегнувшись через перила, направил дуло пистолета на середину лестницы. Феликс и возчик поместились позади них, приготовившись, если придется сражаться

один на один, не спасовать. Так в немом ожидании простояли они несколько минут. Затем услышали, что отворилась входная дверь, и уловили, как им показалось, людской шепот.

Теперь стали слышны шаги, к лестнице подошли несколько человек, они уже поднимались вверх, вот на повороте появились трое, надо думать, не ожидавшие встретить такой прием, потому что, как только они обогнули столб, егерь громко крикнул:

— Стой! Ни шагу дальше, если вы дорожите жизнью! Взоведите курки, друзья, и целтесь как следует!

Разбойники испугались, быстро спустились с лестницы и стали совещаться. Через некоторое время один из них вернулся.

— Господа, — сказал он, — неразумно с вашей стороны жертвовать жизнью, ведь нас достаточно, чтобы всех вас уничтожить; отойдите от лестницы; ни одному из вас мы не причиним никакого зла; мы не возьмем у вас ни пфеннига.

— Так чего же вы хотите? — крикнул студент. — Думаете, мы так и поверили всякому сброду? Нет! Если вам что-нибудь надо, милости просим, но первому, кто покажется на повороте, я всажу пулю в лоб и навсегда излечу его от головной боли!

— Выдайте нам добровольно даму! — ответил разбойник. — Ничего плохого мы ей не сделаем, увезем в надежное и удобное место, людей ее отпустим, пусть едут домой и попросят его сиятельство графа прислать за нее двадцать тысяч гульденов выкупа.

— И мы должны терпеливо выслушивать такие предложения? — скрежеща зубами от гнева, крикнул егерь и взвел курок. — Считаю до трех, и, если ты при слове «три» не уберешься, я нажму на курок, раз, два...

— Стой! — крикнул разбойник громовым голосом. — Разве это дело — стрелять в безоружного человека, который мирно с вами договаривается? И дурак же ты, как я посмотрю; пристрелишь ты меня, подумаешь, какой геройский поступок! Ведь тут двадцать моих сотоварищей, они отомстят за меня. Что пользы твоей графине от того, что вы будете валяться убитые или раненные? Верь мне, если она добровольно пойдет с нами, мы окажем ей должное уважение, но если ты, пока я досчитаю до трех, не оставишь в покое курок, то ей придется плохо. Оставь в покое курок, раз, два, три!

— С этими собаками шутки плохи! — прошептал егерь, послушавшись приказа разбойника. — Жизнью своей я не дорожу,

но, если я убью одного из них, они, пожалуй, выместят это на графине. Я пойду посоветуюсь с ее сиятельством. Объявим на полчаса перемирие, — громко крикнул он разбойнику, — я подготовлю графиню. Она может умереть от столь неожиданного сообщения.

— Согласен, — ответил разбойник и сейчас же велел шестерым разбойникам сторожить внизу, у лестницы.

Мрачно, в полном замешательстве последовали подавленные путешественники за егерем к графине; ее комната была почти у самой лестницы, а переговоры велись так громко, что графиня слышала все до единого слова. Она была бледна и сильно дрожала, и все же она твердо решила покориться судьбе.

— Зачем буду я напрасно рисковать жизнью стольких славных людей? — сказала она. — Зачем буду просить вас о тщетной защите, когда вы меня совсем не знаете? Нет, я вижу только один выход: согласиться на требование этих презренных негодяев.

Всех глубоко тронули мужество и несчастная судьба графини; егерь со слезами клялся, что не переживет такого позора. Студент негодовал на себя, на то, что он в шесть футов ростом.

— Будь я без бороды и хоть на полголовы ниже, — сетовал он, — я бы знал, что делать, я попросил бы у вашего сиятельства платье, и эти презренные негодяи не скоро бы обнаружили свой промах.

И на Феликса несчастье графини произвело сильное впечатление. И внешним и внутренним своим обликом она так трогала, была так близка ему, что он невольно представлял себе, будто перед ним его рано умершая мать и будто это она попала в беду. Он чувствовал такой душевный подъем, такой прилив сил, что охотно бы отдал за нее жизнь. А когда он услышал слова студента, в мозгу у него блеснула мысль; он забыл страх, забыл все опасения и думал лишь о том, как бы спасти графиню.

— Если все дело только в этом, — сказал он, краснея и смущаясь, — если для спасения вашего сиятельства нужны только невысокий рост, безусое лицо и отважное сердце, то, может, пригожусь я? Переоденьтесь в мой кафтан, спрячьте под моей шляпой ваши прекрасные волосы, возьмите за спину мой узел и под видом Феликса, золотых дел мастера, с Богом, в дорогу.

Все были поражены мужеством юноши, а егерь крепко обнял его.

— Золотой ты мой, — радостно воскликнул он, — так ты правда этого хочешь, хочешь переодеться в платье графини и спасти ее сиятельство? Сам Бог внушил тебе эту мысль, но одного тебя я не отпущу, я тоже отдамся разбойникам, останусь с тобой, буду твоим преданным другом, и, пока я жив, они не посмеют обидеть тебя.

— Клянусь жизнью, я тоже не оставлю тебя! — воскликнул студент и заключил юношу в свои объятия.

Графиню пришлось долго уговаривать. Она не могла примириться с мыслью, что посторонний человек ради нее идет на такую жертву, ведь в случае, если в дальнейшем обман обнаружится, разбойники не пощадят несчастного юношу. Но в конце концов она уступила просьбам Феликса и твердо решила, что, уйдя от разбойников, приложит все старания вызволить своего спасителя. Она согласилась. Егерь и все остальные проводили Феликса в комнату, отведенную студенту, там он быстро переоделся в платье графини, а егерь, в довершение всего, надел ему на голову дамскую шляпу, приколов к ней несколько фальшивых локонов камеристки, и все уверяли, что его не узнают. Даже мастер клялся, что, встретив его на улице, он поспешит бы снять шляпу, так и не догадавшись, что отвесил поклон своему храброму приятелю.

Тем временем графиня с помощью камеристки переоделась в одежду Феликса, лежавшую в ранце. Теперь ее нельзя было узнать, так изменили ее шляпа, надвинутая на самые брови, дорожная палка в руке, ставший несколько менее тяжелым узел за спиной. В другое время все бы от души посмеялись над таким забавным маскарадом. Новоиспеченный ремесленник со слезами на глазах поблагодарил Феликса и обещал приложить все старание, чтобы как можно скорее выручить его из беды.

— У меня еще только одна просьба, — сказал Феликс, — в ранце, что у вас за спиной, лежит футляр, спрячьте его получше — если он потеряется, я всю жизнь буду безутешен; я должен отдать его моей приемной матери и...

— Готфриду, егерю, мой замок известен, — ответила она. — Вы получите все в целости и сохранности, ибо я надеюсь, благородный юноша, что вы сами приедете к нам, в таком случае мой супруг и я могли бы лично выразить вам свою признательность.

Не успел Феликс ответить, как со стороны лестницы послышались грубые голоса разбойников; они кричали, что срок истек и все готово к отъезду графини. Егерь спустился к ним и заявил,

что он не покинет ее сиятельства и лучше куда угодно поедет вслед за графиней, нежели без нее предстанет пред очи ее супруга. Студент тоже заявил о своем намерении сопровождать даму. Разбойники посовещались и в конце концов согласились под тем условием, что егерь сейчас же отдаст свое оружие. Всем остальным было приказано держаться спокойно и тихо, когда будут увозить графиню.

Феликс опустил на лицо вуаль, сел в уголок, склонил голову на руку и в позе глубоко опечаленного человека ждал разбойников. Остальные ушли в соседнюю комнату, но разместились так, чтобы видеть все происходящее. В другом углу той комнаты, где ночевала графиня, сидел егерь, с виду очень грустный, на самом же деле он ничего не упускал из виду. Так просидели они несколько минут, затем отворилась дверь, и вошел красивый, прекрасно одетый мужчина лет тридцати пяти — тридцати шести на вид. Он был в мундире военного покроя, с орденом на груди и длинной саблей на боку, а в руке держал шляпу, с которой свешивались пышные перья. Сейчас же вслед за его приходом двое подчиненных ему разбойников стали на страже в дверях.

С низким поклоном приблизился он к Феликсу; казалось, его смущал предстоящий разговор со столь знатной дамой. Он несколько раз начинал, прежде чем ему удалось складно выразить свою мысль.

— Милостивая государыня, — сказал он, — бывают положения, когда надлежит терпеливо покориться судьбе. Так в данном случае обстоит дело с вами. Не подумайте, что я хоть на минуту позабуду респект, коим обязан столь достойной особе. Вам будут предоставлены все удобства, вам ни на что не придется жаловаться, разве только на страх, пережитый этой ночью. — Тут он умолк, словно в ожидании ответа, но Феликс упорно молчал, и тогда разбойник опять заговорил: — Не сочтите меня просто вором и душегубцем. Я несчастный человек, вести такой образ жизни меня вынудили превратности судьбы. Мы решили навсегда покинуть здешние края, но на дорогу нужны деньги. Проще всего было бы напасть на купца или на почтовую карету, но тогда мы, возможно, навсегда повергли бы в горе не одного человека. Его сиятельство граф, ваш супруг, полтора месяца тому назад получил наследство в пятьсот тысяч талеров. Мы просим уделить нам двадцать тысяч гульденов, при таком огромном богатстве требования, несомненно, справедливое и скромное. Поэтому будьте так

любезны и безотлагательно отправьте незапечатанное письмо вашему супругу, оповещая его, что мы захватили вас и что ему следует возможно скорее прислать нам выкуп, в противном случае... вы меня понимаете, в противном случае мы будем вынуждены к несколько более суровому обхождению с вами. Выкуп будет принят только при условии строжайшей тайны и если он будет доставлен нам одним-единственным человеком.

Все гости лесной харчевни с напряженным вниманием, а графиня со страхом, следили за этой сценой. Графине все время казалось, что юноша, который пожертвовал собой ради нее, вот-вот себя выдаст. Она твердо решила дать за него большой выкуп, но так же твердо было ее решение не сделать ни единого шага вместе с разбойниками. У Феликса, в кармане его кафтана, она нашла нож. Она судорожно сжимала его в руке, готовая скорее лишиться себя жизни, нежели претерпеть такой позор. Сам Феликс боялся не меньше, чем она. Правда, мысль, что, жертвуя собой ради помощи поставленной в безвыходное положение женщине, он совершает благородный, достойный мужчины поступок, подкрепляла и утешала его, но он боялся выдать себя походкой или голосом. Страх его еще возрос, когда разбойник потребовал, чтобы он написал письмо.

Как, не выдавая себя, написать письмо, как, в какой форме обратиться к графу?

Но страх его достиг высшей точки, когда атаман разбойников, положив перед ним лист бумаги и перо, попросил его откинуть вуаль и приняться за письмо.

Феликс не знал, сколь к лицу ему наряд, который был на нем; знай он это, он ничуть не боялся бы, что обман будет обнаружен. Ведь когда он откинул вуаль, человек в мундире, пораженный красотой дамы и ее несколько мужественными для женщины чертами, стал глядеть на нее с еще большей почтительностью. От зорких глаз юноши это не скрылось. Успокоившись, что хотя бы в эту минуту не грозит опасность быть узанным, он взял перо и стал писать своему мнимому супругу по образцу письма, которое как-то прочитал в одной старинной книге. Он писал:

«Мой господин и супруг!

Меня, несчастную женщину, похитили ночью в пути люди, в добрые намерения которых я не верю. Они не отпустят меня,

пока Вы, мой супруг, не внесете за меня выкуп в двадцать тысяч гульденов.

Их условия следующие: Вы ни в коем случае не должны подавать жалобы властям и искать их помощи; деньги надлежит послать через одного-единственного человека в лесную харчевню в Шпессарте; в противном случае мне грозит более длительный срок пребывания в их руках и более суровое обхождение.

Вас умоляет о наискорейшей помощи

Ваша несчастная супруга».

Феликс протянул это письмо атаману разбойников, тот прочитал его и одобрил.

— Теперь зависит всецело от вас, кого вы пожелаете оставить при своей особе — камеристку или егеря. Другого я пошлю с письмом к его сиятельству графу, вашему супругу.

— При мне останутся егерь и этот господин, — ответил Феликс.

— Хорошо, — согласился разбойник, он подошел к двери и позвал камеристку. — Так, а теперь разъясните этой женщине, что ей следует делать.

Дрожащая от страха камеристка вошла в комнату. И Феликс побледнел при мысли, как легко он может сейчас себя выдать. Но в такие опасные минуты ему придавало силы непонятно откуда бравшееся мужество, и сейчас оно тоже подсказало ему, что говорить.

— Я поручаю тебе только одно — попросить графа как можно скорей выручить меня из этого ужасного положения, — сказал он.

— Кроме того, — прибавил разбойник, — как можно настоятельнее и определеннее порекомендуйте его сиятельству молчать и не предпринимать никаких шагов против нас, пока его супруга не вернется к нему. Наши лазутчики безотлагательно обо всем сообщат нам, и тогда я ни за что не ручаюсь.

Перепуганная камеристка обещала, что выполнит все в точности. Ей было еще приказано атаманом достать и связать в узел несколько платьев и кое-какое белье для графини, взять с собой много багажа они не могут. Когда это было сделано, атаман с низким поклоном пригласил даму следовать за ним. Феликс встал, егерь и студент тоже поднялись, и в сопровождении атамана разбойников все трое сошли вниз.

Перед заезжим домом стояло много лошадей; одна предназначалась для егеря, другая, красивая лошадка под дамским седлом, была приготовлена для графини, третью дали студенту. Атаман поднял юного мастера в седло, крепко подтянул подпругу, затем сам сел на коня. Он занял место по правую руку от графини, по левую — другой разбойник. И к егерю, и к студенту был приставлен такой же конвой. Затем остальные разбойники вскочили в седла, и атаман резким свистом дал сигнал к отправке.

Вскоре шайка исчезла в лесу.

Оставшиеся после их отъезда в комнате наверху понемногу оправившись от страха. Возможно, они бы даже повеселели, как это обычно бывает по миновании большого несчастья или внезапной опасности, если бы не думы о трех их товарищах, которых увезли у них на глазах. Они не могли надивиться на Феликса, растроганная графиня пролиwała слезы умиления при мысли, сколь многим она обязана этому до сего дня незнакомому ей человеку, которому она не сделала ничего хорошего. Утешало всех то, что с Феликсом отважный егерь и храбрый студент, что есть кому его поддержать, когда его одолеет тоска. Им даже приходило в голову, что егерь, человек изобретательный, может, придумает, как устроить побег. Они посоветовались, что делать дальше. Графиня, не связанная честным словом с разбойниками, решила незамедлительно ехать домой, к супругу, и приложить все усилия, чтобы отыскать местопребывание увезенных разбойниками и вызволить их; возчик обещал сейчас же, как приедет в Ашафенбург, обратиться в суд с просьбой о преследовании разбойников, а мастер хотел продолжать свое странствие.

Остаток ночи их никто больше не беспокоил. В харчевне, где только что разыгрались столь страшные события, царил мертвая тишина. А утром слуги графини, спустившиеся к хозяйке, чтобы приготовить все к отъезду, тут же вернулись назад и сказали, что хозяйка и челядь лежат на полу связанными и молят о помощи.

Это известие всех удивило.

— Как? — воскликнул мастер. — Выходит, что эти люди ни в чем не повинны? Выходит, мы возвели на них напраслину, они не заодно с разбойниками?

— А я говорю, пусть меня вместо них вздернут на виселицу, если мы были не правы, — возразил возчик. — Все это один об-

ман, чтобы их нельзя было уличить. Вы что, позабыли, как подозрительно вела себя хозяйка? Позабыли, как я хотел сойти вниз, а меня не выпустила вышколенная собака и тут же явилась хозяйка с работником и сердито спросила, чего мне надо? Но должен сказать, это еще оказалось для нас счастьем, особенно для ее сиятельства графини! Не будь харчевня так подозрительна, не внуши нам хозяйка такого недоверия, мы бы разошлись по комнатам и легли спать. Разбойники напали бы на нас спящих, во всяком случае, сторожили бы у наших дверей, и славному нашему юноше невозможно было бы превратиться в графиню!

Все согласились с мнением возчика и решили донести властям на хозяйку и работников. Но, чтобы те ничего не заподозрили, договорились не подавать виду, будто они о чем-то догадываются. Возчик с лакеями сошли в трактир, развязали укрывателей разбойников и постарались выказать им возможно больше сочувствия и сожаления. Чтобы гости остались довольны, хозяйка взяла с них очень дешево и пригласила почаще заезжать к ней.

Возчик оплатил свой счет, распрощался с товарищами по несчастью и уехал. Затем пустились в путь оба ремесленника. Как ни легок был узелок золотых дел мастера, все же для изнеженной хрупкой дамы он был обременителен. Но еще тяжелей стало у нее на душе, когда преступная хозяйка заезжего двора протянула ей на прощание руку.

— Ах, до чего же вы еще молоды, — воскликнула она, взглянув на хрупкого юношу, — так молоды и уже странствуете по свету! Видно, вы зелье порядочное и мастер прогнал вас. Ну, да какое мне дело, на обратном пути милости просим ко мне в харчевню!

Графиня дрожала от страха и не решалась ответить, боясь, как бы ее не выдал нежный голос. Мастер это заметил, взял под руку своего товарища, попрощался с хозяйкой и, весело напевая, зашагал к лесу.

— Только теперь миновала опасность! — с облегчением вздохнула графиня, когда они отошли шагов на сто. — Я все время боялась, что трактирщица меня узнает и велит своим работникам задержать. О, как мне хочется всех вас отблагодарить! Приходите и вы тоже ко мне в замок, там и дожидайтесь своего попутчика.

Мастер согласился, и, пока они разговаривали, их догнал графинин дормез; дверцу быстро открыли, графиня впорхнула в карету, еще раз кивнула ремесленнику, и карета укатила.

А разбойники вместе с пленниками тем временем достигли своего притона. Они быстрой рысью проехали по непроторенным лесным тропам, с пленниками они не разговаривали, да и между собой только изредка, на каких-то поворотах тропы, перешептывались. Наконец они остановились у глубокого оврага. Разбойники спешили, атаман поднял из седла золотых дел мастера, извинился за быструю и трудную езду и спросил, не очень ли она утомила ее сиятельство.

Феликс ответил как мог жеманнее, что ему хотелось бы отдохнуть, и атаман предложил ему руку и помог сойти в овраг. Спускаться надо было по обрывистому склону, тропа была узкая и крутая, и атаману не раз приходилось поддерживать свою даму, чтобы не дать ей упасть. Наконец они дошли до низу. При чуть брезжущем свете наступающего утра Феликс увидел узкое и не длинное ущелье, не больше сотни шагов в окружности, зажатое между высоко вздымающимися отвесными скалами. Шесть-восемь жалких хижин, сколоченные из досок и неотесанных бревен, жались одна к другой на дне обрыва. Из этих нор с любопытством выглянули несколько женщин; свора больших собак и их многочисленное потомство с лаем и визгом окружили пришедших. Атаман проводил мнимую графиню в лучшую из хижин и сказал, что хижина предоставлена исключительно в ее распоряжение; по просьбе Феликса он разрешил, чтобы к графине были допущены егерь и студент.

Хижина была устлана оленьими шкурами и циновками, которые одновременно служили и для покрытия пола, и для сидения. Несколько кружек и мисок, выточенных из дерева, старое охотничье ружье и в самом дальнем углу сколоченный из досок и прикрытый шерстяными одеялами одр, который и кроватью-то не назовешь, — вот все убранство этого графского дворца. Только теперь, оставшись одни в этой жалкой хижине, трое пленников могли поразмыслить о том необычном положении, в которое попали. Феликс, хотя он ни на минуту не раскаивался в своем благородном поступке, все же со страхом думал об ожидающей его участи, буде обман обнаружится, и хотел уже облегчить душу громкими жалобами. Но егерь шепнул ему на ухо:

— Бога ради, потише, милый, неужели ты думаешь, что нас не подслушивают?

— Каждое твое слово, каждая фраза могут вызвать у них подозрение, — прибавил студент.

Бедному Феликсу оставалось одно — молча поплакать.

— Верьте мне, сударь, — сказал он, — я плачу не потому, что боюсь разбойников, не потому, что меня страшит жизнь в этой жалкой лачуге; нет, меня гнетет совсем другая печаль. Ведь графиня так легко может позабыть то, что я только мимоходом успел ей сказать, и меня, чего доброго, сочтут вором, тогда я до конца дней своих буду несчастен.

— Но что тебя так пугает? — спросил егерь, которого удивило поведение юноши, до того державшегося так храбро и стойко.

— Выслушайте меня, и тогда вы скажете, что я прав, — ответил Феликс. — Мой отец был искусным ювелиром, а мать до замужества служила в камеристках у одной знатной особы, и, когда она выходила за моего отца, графиня, у которой она была в услужении, дала ей отличное приданое. Графиня всегда очень благоволила к моим родителям и, когда я появился на свет, стала моей крестной и щедро одарила меня. А когда вскоре мои родители один за другим умерли от повальной болезни и я остался как перст один, меня уже собирались отправить в сиротский приют; моя крестная мать, узнав о постигшем нас горе, приняла во мне участие и поместила в закрытую школу, а когда я подрос, она написала мне и спросила, не хочу ли я изучить отцовское ремесло. Я с радостью согласился, вот она и отправила меня в Вюрцбург на выучку к золотых дел мастеру. Учение пошло мне впрок, и скоро я получил от мастера аттестат и уже мог снаряжаться в странствие. Я написал моей крестной, она тут же ответила, что даст мне деньги на странствие. Вместе с письмом она прислала драгоценные камни и пожелала, чтобы я сделал ей ожерелье, вставив камни в красивую оправу, и в доказательство своего искусства самолично доставил ей ожерелье и получил из ее рук дорожные деньги. Свою крестную я никогда не видел, вы понимаете, как я был счастлив. Я работал не покладая рук над оправой, и ожерелье вышло такое изящное и красивое, что сам мастер ему дивился. Я аккуратно спрятал его на самое дно ранца, попрощался с мастером и пошел той дорогой, что вела в замок моей крестной матери. И вдруг, — продолжал он, заливаясь слезами, — пришли эти гадкие люди и разбили мои надежды. Ведь если ее сиятельство графиня потеряет ожерелье или забудет то, что я ей сказал, и выбросит мой плохонький ранец, как я тогда предстану пред глубоко мной чтимой крестной? Чем докажу свое уменье?

Как возмещу камни? И дорожные деньги тогда тоже потеряны, а я окажусь неблагодарным, раз я так легкомысленно отдал доверенное мне добро. Да и кто поверит моему рассказу о таком необычном происшествии?

— Ну, об этом не беспокойтесь! — возразил егерь, — Не думаю, чтобы графиня потеряла ожерелье, а ежели и потеряет, то, конечно, возместит его стоимостью своему спасителю и подтвердит, что так действительно было. Теперь мы на некоторое время покинем вас, ведь нам действительно надо поспать, а после волнений этой ночи и вы тоже нуждаетесь в отдыхе. А потом постараемся хоть ненадолго позабыть за разговорами о приключившейся с нами беде или, что еще того лучше, подумаем о бегстве.

Они ушли. Феликс остался один и попробовал последовать совету егеря.

Когда несколько часов спустя егерь со студентом вернулись, их юный друг, казалось, приободрился и повеселел. Атаман, по словам егеря, поручил ему всячески заботиться о даме и обещал прислать одну из тех женщин, что они видели у хижин, она принесет ее сиятельству кофе и спросит, чем может ей служить. Боясь, что женщина будет для них помехой, они предпочли отказаться от этого любезного предложения, и, когда старая безобразная цыганка подала завтрак и, ухмыляясь, спросила, не нужны ли еще какие услуги, Феликс махнул рукой, чтоб она уходила, но она все еще мешкала, и егерь выпроводил ее за дверь. Затем студент рассказал, что еще они видели в разбойничьем овраге.

— Лачуга, которую отвели вам, очаровательная графиня, — сказал он, — первоначально предназначалась для атамана. Она не так велика, но зато лучше остальных; не считая вашей, здесь их еще шесть. В них живут женщины и дети. Разбойников дома редко бывает больше шести человек зараз. Один стоит на страже недалеко отсюда, другой у тропы, что ведет наверх, а третий караулит у спуска в ущелье. Каждые два часа их сменяют трое других. При каждом из них еще две большие собаки, такие чуткие, что нельзя и шагу ступить из лачуги, они тут же поднимут лай. У меня нет надежды, что нам удастся сбежать.

— Не нагоняйте на меня тоску, послав, я приободрился, — сказал Феликс. — Не теряйте надежды, а если вы боитесь, что нас подслушивают, то поговорим лучше о чем-нибудь другом и не будем огорчаться заранее. Господин студент, вы не дорассказали

той истории, что начали на заезжем дворе, так доскажите ее до конца тут, благо времени у нас хватит.

— Что-то я не припомню, о чем шла речь, — заметил студент.

— Вы рассказывали предание о холодном сердце и остановились на том, что хозяин и другой игрок вытолкали Петера-угольщика за дверь.

— Так, теперь я вспомнил, — сказал студент. — Ну, если вам охота услышать, что было дальше, я готов досказать.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Часть вторая

Когда в понедельник утром Петер пришел к себе на завод, он застал там не только рабочих, но и других людей, чье появление никого бы не обрадовало. Это были окружной начальник и три судебных пристава. Начальник пожелал Петеру доброго утра, осведомился, как он почивал, а затем развернул длинный список, где были перечислены заимодавцы Петера.

— Можете вы заплатить или нет? — строго спросил он. — И, будьте добры, поживей, мне с вами канителиться некогда — до тюрьмы добрых три часа ходу.

Тут Петер совсем пал духом: он признался, что денег у него нет, и позволил начальнику и его людям описать дом и усадьбу, завод и конюшню, повозку и лошадей, а пока окружной начальник и его помощники расхаживали вокруг, осматривая и оценивая его имущество, он подумал: «До Елового Бугра недалеко, если маленький лесовик не помог мне, попытаю-ка я счастья у большого». И он помчался к Еловому Бугру, да с такой быстротой, словно судебные приставы гнались за ним по пятам.

Когда он пробежал мимо того места, где в первый раз говорил со Стеклянным Человечком, ему показалось, будто его удерживает чья-то невидимая рука, но он вырвался и понесся дальше, до самой границы, которую хорошенько заприметил, и не успел он, запыхавшись, позвать: «Голландец Михель! Господин Голландец Михель!» — как перед ним вырос великан-плотовщик со своим багром.

— Явился, — сказал он, смеясь. — А не то содрали бы шкуру и продали кредиторам! Ну да не тревожься, все твои беды, как

я уже говорил, пошли от Стеклянного Человечка, этого гордеца и ханжи. Уж если дарить, то щедрой рукой, а не как этот сквалыга. Пойдем, — сказал он и двинулся вглубь леса. — Пойдем ко мне домой, там и поглядим, столкнемся мы с тобой или нет.

«Как это „столкнемся“? — в тревоге думал Петер. — Что же он может с меня потребовать, разве у меня есть для него товар? Служить он себе заставит или что другое?»

Они шли вверх по крутой тропе и вскоре очутились возле мрачного глубокого ущелья с отвесными стенами. Голландец Михель легко сбежал вниз по скале, словно то была гладкая мраморная лестница; но тут Петер едва не лишился чувств: он увидел, как Михель, ступив на дно ущелья, сделался ростом с колокольную; великан протянул ему руку длиной с весло, раскрыл ладонь шириною с трактирный стол и воскликнул:

— Садись ко мне на ладонь да ухватись покрепче за пальцы, не бойся — не упадешь!

Дрожа от страха, Петер сделал, как ему было велено, — сел к Михелю на ладонь и ухватился за большой палец.

Они спускались все глубже и глубже, но, к великому удивлению Петера, темнее не становилось, — напротив того, дневной свет в ущелье стал словно бы еще ярче, так что было больно глазам. Чем ниже они спускались, тем меньше делался Михель, и теперь он стоял в прежнем своем облике перед домом — самым что ни на есть обыкновенным домом зажиточного шварцвальдского крестьянина. Горница, куда Михель ввел Петера, тоже во всем походила на горницы у других хозяев, разве что казалась какой-то неуютной. Деревянные часы с кукушкой, громадная кафельная печь, широкие лавки по стенам и утварь на полках были здесь такие же, как повсюду. Михель указал гостю место за большим столом, а сам вышел и вскоре вернулся с кувшином вина и стаканами. Он налил вина себе и Петеру, и они разговорились; Голландец Михель стал расписывать Петеру радости жизни, чуждальные страны, города и реки, так что тому под конец страстно захотелось все это повидать, в чем он и признался честно Голландцу.

— Будь ты даже смел духом и крепок телом, чтобы затеять большие дела, но ведь стоит твоему глупому сердцу забиться чаще обыкновенного, и ты дрогнешь; ну а оскорбления чести, несчастья — зачем смышленому парню беспокоиться из-за таких

пустяков? Разве у тебя голова болела от обиды, когда тебя на днях обозвали мошенником и негодяем? Разве у тебя были рези в животе, когда явился окружной начальник, чтобы выкинуть тебя из дому? Ну-ка скажи, что у тебя болело?

— Сердце, — отвечал Петер, прижав руку к взволнованной груди: в этот миг ему почудилось, будто сердце его как-то пугливо заметалось.

— Не обижайся, но ведь ты не одну сотню гульденов швырнул паршивым нищим и прочему сброду, а что толку? Они призывали на тебя благословение Божье, желали здоровья — ну и что? Стал ты от этого здоровее? Половины этих денег хватило бы на то, чтобы держать при себе врача. Благословение Божье — да уж нечего сказать, благословение, когда у тебя описывают имущество, а самого выгоняют на улицу! А что заставляло тебя лезть в карман, как только нищий протягивал к тебе свою драную шапку? Сердце, опять-таки сердце — не глаза и не язык, не руки и не ноги, а только сердце, — ты, как верно говорится, принимал все слишком близко к сердцу.

— Но разве можно от этого отвыкнуть? Вот и сейчас — как я ни стараюсь заглушить в себе сердце, оно у меня колотится и болит.

— Да уж где тебе, бедолаге, с ним сладить! — со смехом вскричал Голландец Михель. — А ты отдай мне эту бесполезную вещь-цу, увидишь, как тебе сразу станет легко.

— Отдать вам — мое сердце? — в ужасе воскликнул Петер. — Но ведь я тогда сразу умру! Ни за что!

— Да, конечно, если бы кто-нибудь из ваших господ хирургов вздумал вырезать у тебя сердце, ты бы умер на месте, но я это делаю совсем по-другому — зайди сюда, убедись сам.

С этими словами он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и пригласил Петера войти. Сердце юноши судорожно сжалось, едва он переступил порог, но он не обратил на это внимания, столь необычайно и поразительно было то, что открылось его глазам. На деревянных полках рядами стояли склянки, наполненные прозрачной жидкостью, и в каждой заключено было чье-нибудь сердце; ко всем склянкам были приклеены ярлыки с именами, и Петер их с любопытством прочел. Он нашел там сердце окружного начальника из Ф., сердце Толстяка Эзехиля, сердце Короля Танцев, сердце старшего лесничего; были там и шесть

сердец хлебных скупщиков, восемь сердец офицеров-вербовщиков, три сердца ростовщиков, — короче говоря, это было собрание наиболее почтенных сердец из всех городов и селений на двадцать часов пути окрест.

— Смотри! Все эти люди покончили с житейскими заботами и треволнениями, ни одно из этих сердец больше не бьется озабоченно и тревожно, а их бывшие обладатели чувствуют себя превосходно, выставив за дверь беспокойного жильца.

— Но что же у них теперь вместо сердца? — спросил Петер, у которого от всего увиденного голова пошла кругом.

— А вот это, — ответил Голландец Михель; он полез в ящик и протянул Петеру *каменное сердце*.

— Вот оно что! — изумился тот, не в силах противиться дрожи, пронизавшей все его тело. — Сердце из мрамора? Но послушайте, господин Михель, ведь от такого сердца в груди должно быть ой-ой как холодно?

— Разумеется, но этот холод приятный. А на что человеку горячее сердце? Зимой оно тебя не согреет — хорошая вишневая наливка горячит вернее, чем самое горячее сердце, а летом, когда все изнывают от жары, ты и не поверишь, какую прохладу дарует такое сердце. И, как я уже говорил, ни тревога, ни страх, ни дурацкое сострадание, ни какие-либо иные горести не достучатся до этого сердца.

— И это все, что вы можете мне дать? — с досадой спросил Петер. — Я надеялся получить деньги, а вы предлагаете мне камень.

— Ну, я думаю, ста тысяч гульденов на первых порах тебе хватит. Если ты дашь им разумное употребление, то вскорости станешь миллионером.

— Сто тысяч? — в восторге вскричал бедный угольщик. — Да перестань же ты, сердце, так бешено колотиться в моей груди! Скоро мы с тобой простимся. Ладно, Михель! Давайте мне камень и деньги и, так и быть, вынимайте из клетки этого колотилу!

— Я знал, что ты парень с головой, — отвечал Голландец, ласково улыбаясь, — пойдем выпьем еще по стаканчику, а потом я отсчитаю тебе деньги.

Они опять уселись за стол в горнице и пили — пили до тех пор, пока Петер не погрузился в глубокий сон.

Петер-угольщик проснулся от веселой трели почтового рожка, и — гляди-ка! — он сидел в роскошной карете и катил по широкой дороге, а когда высунулся из окна, то увидел позади, в голубой дымке, очертания Шварцвальда. Поначалу ему не верилось, что это он, а не кто другой сидит в карете. Ибо и платье на нем тоже было совсем не то, что вчера; однако он так отчетливо помнил все происшедшее с ним, что в конце концов перестал ломать голову и воскликнул: «И думать нечего — это я, Петер-угольщик, и никто другой!»

Он сам себе удивлялся, что нисколько не грустит, впервые покидая родимый тихий край, леса, где он так долго жил, и что, даже вспоминая о матери, которая осталась теперь сирая, без куска хлеба, не может выжать из глаз ни единой слезинки, ни единого вздоха из груди; ибо все теперь стало ему в равной степени безразлично. «Ах да, — вспомнил он, — ведь слезы и вздохи, тоска по родине и грусть исходят от сердца, а у меня теперь — спасибо Голландцу Михелю — сердце холодное, из камня».

Он приложил руку к груди, но там все было тихо, ничто не шевелилось. «Я буду рад, если он и насчет ста тысяч гульденов сдержал свое слово так же, как насчет сердца», — подумал он и принялся обшаривать карету. Он нашел много всякого платья, о каком только мог мечтать, но денег нигде не было. Наконец он наткнулся на какой-то саквояж, и в нем оказалось много тысяч талеров золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Вот и сбылись мои желания», — подумал Петер, уселся поудобнее в угол кареты и помчал в далекие края.

Два года колесил он по свету, глядел из окна кареты направо и налево, скользил взглядом по домам, мимо которых проезжал, а когда делал остановку, замечал лишь вывеску своей гостиницы, потом бегал по городу, где ему показывали разные достопримечательности. Но ничто его не радовало — ни картины, ни здания, ни музыка, ни танцы; у него было каменное сердце, безучастное ко всему, а его глаза и уши разучились воспринимать прекрасное. Только и осталось у него радости, что есть и пить да спать; так он и жил, без цели рыская по свету, для развлечения ел, от скуки спал. Время от времени он, правда, вспоминал, что был, пожалуй, веселей и счастливей, когда жил бедно и принужден был работать, чтобы кормиться. Тогда ему доставляли удовольствие вид красивой долины, музыка и танцы и он мог часами радоваться в ожидании немудрящей еды, которую мать приносила ему к угольной

яме. И когда он вот так задумывался о прошлом, ему казалось невероятным, что теперь он не способен даже смеяться, а ведь раньше он хохотал над самой пустячной шуткой. Теперь же, когда другие смеялись, он лишь из вежливости кривил рот, но сердце его нисколько не веселилось. Он чувствовал, как спокойно у него на душе, но доволен все-таки не был. Но не тоска по родине и не грусть, а скука, опустошенность, безрадостная жизнь в конце концов погнали его домой.

Когда он выехал из Страсбурга и увидел родной лес, темневший вдаль, когда ему снова стали попадаться навстречу рослые шварцвальдцы с приветливыми открытыми лицами, когда до его слуха донеслась громкая, гортанная, но благозвучная родная речь, то он невольно схватился за сердце; ибо кровь в его жилах побежала быстрее и он готов был и радоваться, и плакать в одно и то же время — но вот глупец! — сердце-то у него было из камня. А камни мертвы, они не смеются и не плачут.

Первым делом он отправился к Голландцу Михелю, который принял его с прежним радушием.

— Михель, — сказал ему Петер, — я поездил по свету, многое повидал, но все это вздор и только нагнало на меня скуку. Правда, ваша каменная штучка, которую я ношу в груди, от многого меня оберегает. Я никогда не сержусь и не грущу, но зато и живу как бы наполовину. Не могли бы вы чуть-чуть оживить это каменное сердце? А еще лучше — верните мне мое прежнее! За свои двадцать пять лет я с ним свыкся, и ежели оно когда и выкидывало глупые шутики, все же то было честное и веселое сердце.

Лесной дух горько и зло рассмеялся.

— Когда в свой час ты умрешь, Петер Мунк, — ответил он, — оно непременно к тебе вернется; тогда ты вновь обретешь свое мягкое, отзывчивое сердце и почувствуешь, что тебя ожидает — радость или мука! Но здесь, на земле, оно больше твоим не станет. Да, Петер, поездил-то ты вволю, но жизнь, которую ты вел, не могла пойти тебе на пользу. Осядь где-нибудь в здешних лесах, построй себе дом, женись, пусти в оборот свои деньги — тебе не хватает настоящего дела, от безделья ведь ты и скупал, а все сваливаешь на безвинное сердце.

Петер понял, что Михель прав, говоря о безделье, и вознамерился умножить свое богатство. Михель подарил ему еще сто тысяч гульденов и расстался с ним как с добрым другом.

Вскоре в Шварцвальде разнеслась молва, что Петер-угольщик, или Петер-игрок, возвратился из дальних стран и теперь-де он много богаче прежнего. И на сей раз все шло так, как издавна ведется: стоило Петеру остаться без гроша, как его вытолкали из «Солнца», а теперь, едва он в первый же воскресный вечер явился туда снова, все стали наперебой жать ему руку, расхваливать его лошадь, расспрашивать о путешествиях, и, когда он сел играть на звонкие талеры с Толстяком Эзехилем, на него взирали с еще большим почтением, чем раньше.

Однако теперь он стал заниматься не стекольным делом, а лесоторговлей, правда только для виду. Главным его занятием сделалась скупка и перепродажа хлеба и ростовничество. Мало-помалу пол-Шварцвальда оказалось у него в долгу, но он ссужал деньги только из десяти процентов или вынуждал бедняков втридорога покупать у него зерно, ежели они не могли расплатиться сразу. С окружным начальником он был теперь в тесной дружбе, и, ежели кто не мог точно в срок уплатить долг господину Петеру Мунку, начальник со своими подручными скакал к должнику, оценивал дом и хозяйство, мигом все продавал, а отца, мать и детей выгонял на все четыре стороны. Поначалу Петеру-богачу это доставляло некоторое неудовольствие, потому что несчастные бедняки, лишившись крова, осаждали его дом: мужчины молили о снисхождении, женщины пытались смягчить каменное сердце, а дети плакали, выпрашивая кусочек хлеба. Но когда он завел себе свирепых овчарок, «кошачьи концерты», как он их называл, сразу прекратились. Он науськивал псов на нищих, и те с криками разбегались. Больше всех досаждала ему «старуха». А это была не кто иная, как старая Мункиха, мать Петера. Она впала в нищету, когда ее дом и двор были проданы с молотка, а ее сынок, вернувшись домой богачом, о ней даже не вспомнил. Вот она время от времени и захаживала к нему на двор, старая, немощная, с клюкой. Войти в дом она не смела, ибо однажды он ее выгнал, но тяжело страдала оттого, что вынуждена жить подаяниями чужих людей, в то время как ее родной сын мог бы уготовить ей безбедную старость. Однако холодное сердце оставалось безучастным при виде знакомого увядшего лица, молящих глаз, протянутой иссохшей руки, согбенной фигуры. По субботам, когда она стучалась к нему в дверь, он ворча доставал мелкую монету, заворачивал в бумажку и высылал ей со слугой. Он слышал, как она дрожащим

голосом благодарила его и желала ему благоденствия, как, кряхтя, брела прочь, но в эту минуту его занимало только одно: что он истратил попусту еще шесть батценов.

Наконец Петеру пришла мысль жениться. Он знал, что любой отец в Шварцвальде охотно отдаст за него свою дочь, и был разборчив: ему хотелось, чтобы и в этом случае люди подивились его уму и счастью. Вот почему он разъезжал по всему краю, заглядывая во все уголки, но ни одна из его прекрасных землячек не была для него достаточно хороша. Наконец, после того как Петер обошел все танцевальные залы в тщетных поисках наипервейшей красавицы, он услышал однажды, что самая красивая и добродетельная девушка во всем Шварцвальде — дочь бедного дровосека. Живет-де она тихо и уединенно, рачительно и толково ведет хозяйство в отцовском доме, а на танцы никогда не ходит, даже в Троицын день или в храмовый праздник. Как только Петер прослышал об этом шварцвальдском чуде, он решил просить руки девушки и поехал к ее отцу, чей дом ему указали. Отец красавицы Лизбет немало удивился, что к нему пожаловал такой важный барин, еще больше удивился он, услышав, что это не кто иной, как Петер-богач, желающий ныне стать его зятем. Долго раздумывать он не стал, ведь теперь, полагал он, бедности и заботам — конец, и, не спрашивая у Лизбет, дал свое согласие, а добрая девушка была столь послушна, что, не прекословя, стала госпожой Мунк.

Но жизнь у бедняжки пошла совсем не так, как она мечтала и надеялась. Ей казалось, что она хорошо управляется с хозяйством, но господину Петеру ничем нельзя было угодить. Она жалела бедных и, поскольку супруг ее был богат, не видела греха в том, чтобы подать пфенниг бедной нищенке или поднести рюмочку старому человеку. Однако, когда господин Петер это заметил, он устремил на нее гневный взгляд и грозным голосом сказал:

— Зачем ты раздаешь мое добро бродягам и оборванцам? Разве ты принесла с собой приданое, которое можешь раздаривать? Нищенским посохом твоего отца и печки не истопишь, а ты бросаешься деньгами, словно принцесса. Смотри, поймаю тебя еще раз, хорошенько попотчую плеткой!

Красавица Лизбет плакала тайком у себя в комнате, страдая от жестокосердия мужа, и частенько подумывала она о том, что лучше бы ей снова очутиться дома, в убогом жилище отца, нежели жить в хоромаш у богатого, но жестокосердного Петера. Ах, знай

она, что сердце у него из мрамора и он не может любить никого — ни ее, ни другого человека на земле, — она бы, верно, не удивлялась! Но она этого не знала. И вот, бывало, сидит она у себя на крылечке, а мимо идет нищий, снимает шляпу и заводит свою песню — так она зажмуривала глаза, чтобы не разжалобиться его горестным видом, и сжимала руку в кулак, чтобы нечаянно не сунуть ее в карман и не вытащить оттуда монетку. Оттого и пошла о ней худая слава по всему Шварцвальду: красавица Лизбет-де еще жаднее, чем ее муж.

В один прекрасный день сидела Лизбет во дворе за прялкой и напевала песенку: у нее было отрадно на душе, потому что денек выдался погожий и Петер уехал на охоту. И тут она видит, что бредет по дороге дряхлый старичок, сгибаясь под тяжестью большого мешка, — ей даже издали было слышно, как он кричит. С участием смотрит на него Лизбет и думает про себя, что негоже на такого маленького старого человека взваливать такую поклажу. Тем временем старичок, крихтя, подходит все ближе и, поравнявшись с Лизбет, едва не валится с ног от изнеможения.

— Ах, сжалюсь, хозяйюшка, дайте напиться, — проговорил старичок, — мочи моей больше нет!

— В ваши годы нельзя уж таскать такие тяжести, — сказала Лизбет.

— Да вот нужда заставляет спину гнуть, кормиться-то надо, — ответил старичок. — Ах, да разве богатая женщина вроде вас может знать, как горька бедность и как освежает в такую жару глоток воды!

Услыхав это, Лизбет побежала на кухню, схватила с полки кувшин и налила в него воды, но, когда она понесла его старичку и, не дойдя до него нескольких шагов, увидела, как он сидит на мешке, изможденный, несчастный, жалость пронзила ее, она смекнула, что мужа нет дома, а потому отставила кувшин, взяла бокал, наполнила его вином, положила сверху изрядный кусок ржаного хлеба и подала старику со словами:

— Глоток вина придаст вам больше сил, чем вода, — вы ведь уже такой старенький. Только пейте не торопясь и поешьте хлеба.

Человек в удивлении воззрился на Лизбет, старческие глаза наполнились слезами; он выпил вина и сказал:

— Я уже стар, но мало встречал на своем веку людей, что были бы так добры и так щедро и от души творили милостыню,

как вы, госпожа Лизбет. Но за это вам будет даровано благоденствие — такое сердце не останется без награды.

— Не останется, и награду она получит на месте, — раздался вдруг страшный голос; когда они обернулись, то увидели у себя за спиной Петера с пылавшим от гнева лицом. — Так ты мое лучшее вино расточаешь нищим, а из моего бокала даешь пить бродягам? Что ж, вот тебе награда!

Лизбет упала к его ногам и стала просить прощения, но каменное сердце не знало жалости — Петер перекинул в руке хлыст и рукоятью черного дерева с такой силой хватил красавицу-жену по голове, что она бездыханная упала на руки старику. Когда Петер это увидел, он словно бы сразу раскаялся в содеянном и наклонился посмотреть, жива ли еще Лизбет, но тут человек заговорил хорошо знакомым Петеру голосом:

— Не трудись, Петер-угольщик, это был прекраснейший, нежнейший цветок Шварцвальда, но ты растоптал его, и уж больше ему не зацвести.

Тут вся кровь отхлынула у Петера от лица.

— Ах, это вы, господин Хранитель Клада? — сказал он. — Ну, сделанного не воротишь, значит, так было ей на роду написано. Надеюсь только, вы не донесете на меня в суд как на убийцу?

— Несчастный! — отвечал ему Стекланный Человечек. — Какая польза будет мне от того, что я отправлю на виселицу твою смертную оболочку! Не земного суда должно тебе бояться, а иного, и более строгого, ибо ты продал душу злой силе!

— Если я и продал свое сердце, — закричал Петер, — то кто же виноват в этом, как не ты с твоими обманчивыми сокровищами! Это ты, злобный дух, привел меня к гибели, ты вынудил искать помощи у того, другого, — ты и в ответе за все!

Но не успел он произнести эти слова, как Стекланный Человечек начал расти и раздуваться: глаза у него стали будто суповые миски, а рот — будто жерло печи, откуда вырывалось пламя.

Петер бросился на колени и, хоть и было у него каменное сердце, задрожал, как былинка. Ястребиными когтями впился лесовик ему в затылок, поднял и завертел в воздухе, как кружит вихрь сухой лист, и швырнул оземь так, что у того затрещали кости.

— Червяк! — крикнул он громовым голосом. — Я мог бы раздавить тебя, если бы захотел, ибо ты оскорбил Владыку леса. Но

ради покойницы, которая накормила и напоила меня, я даю тебе неделю срока. Ежели ты не обратишься к добру, я приду и сотру тебя в порошок и ты умрешь без покаяния!

Был уже поздний вечер, когда несколько человек, проходя мимо, увидели Петера-богача распростертого на земле без памяти. Они стали его вертеть и переворачивать, пытаясь пробудить к жизни, но долгое время все их старания были тщетны. Наконец один из них пошел в дом, принес воды и брызнул ему в лицо. Тут Петер глубоко вздохнул, застонал и раскрыл глаза; он долго озираясь, а потом спросил, где его жена Лизбет, но никто ее не видел. Он поблагодарил людей за помощь, побрел к себе в дом и стал всюду искать ее, но Лизбет нигде не было — ни в погребке, ни на чердаке: то, что он считал страшным сном, оказалось горестной явью. Теперь, когда он остался один, его стали посещать странные мысли; бояться он ничего не боялся, ибо сердце у него было холодное, но стоило ему подумать о смерти жены, как он начинал размышлять и о собственной кончине: о том, сколь обремененный покинет он этот мир — обремененный слезами бедняков, тысячекратными их проклятиями, которые не могли смягчить его сердца; плачем несчастных, которых он травил собаками; обремененный безмолвным отчаянием своей матери, кровью красивой и доброй Лизбет; что ответит он ее старику-отцу, когда тот придет к нему и спросит: «Где моя дочь, твоя жена?» А как будет он держать ответ перед другим, перед тем, кому принадлежат все леса, все моря, все горы и жизни людские?

Это мучило его и ночью во сне, поминутно просыпался он от нежного голоса, который взывал к нему: «Петер, добудь себе живое сердце!» А проснувшись, спешил снова закрыть глаза, ибо узнал голос, предостерегавший его во сне, — то был голос Лизбет. На другой день он пошел в трактир, чтобы развеять мрачные мысли, и застал там Толстяка Эзекиля. Петер подсел к нему, они заговорили о том о сем: о хорошей погоде, о войне, о налогах и, наконец, о смерти, о том, как где-то кто-то внезапно умер. Тут Петер спросил Толстяка, что он вообще думает о смерти и что, по его мнению, за ней последует. Эзекиль ответил ему, что тело похоронят, а душа либо вознесется на небо, либо низринется в ад.

— Значит, сердце тоже похоронят? — с тревогой спросил Петер.

— Конечно его тоже похоронят.

— Ну а если у человека больше нет сердца? — продолжал Петер.

Услышав это, Эзехиль испуганно уставился на него:

— Что ты хочешь этим сказать? Ты что, насмехаешься надо мной? По-твоему, у меня нет сердца?

— О, сердце у тебя есть, и презрительное, твердое как камень, — отвечал Петер.

Эзехиль вытаращил на него глаза, оглянулся, не слышит ли их кто, и сказал:

— Откуда ты знаешь? Может быть, и твое сердце больше уже не бьется?

— Нет, не бьется, во всяком случае не у меня в груди, — ответил Петер Мунк. — Но скажи мне — теперь ты знаешь, о чем я говорю, — что станет с нашими сердцами?

— Да тебе-то что за печаль, приятель? — смеясь, спросил Эзехиль. — На этом свете ты живешь припеваючи, ну и будет с тебя. Тем-то и хороши наши холодные сердца, что от таких мыслей нам ни чуточки не страшно.

— Что верно, то верно, но мысли-то в голову лезут. И ежели я теперь не знаю страха, то хорошо помню, как ужасно боялся адских мучений, когда был еще маленьким наивным мальчиком.

— Ну, хорошего нам ждать не приходится, — заметил Эзехиль. — Как-то раз я спросил об этом у одного учителя, он сказал, что после нашей смерти сердца будут взвешены — велика ли тяжесть грехов. Легкие сердца взлетят вверх, тяжелые падут вниз; я думаю, наши камни потянут немало.

— Да уж конечно, — ответил Петер. — Но мне и самому часто не по себе оттого, что мое сердце остается таким безучастным и равнодушным, когда я думаю о подобных вещах.

Так они говорили; однако в ту же ночь Петер пять или шесть раз слышал, как знакомый голос шептал ему в ухо: «Петер, добудь себе живое сердце!» Он не испытывал раскаяния в том, что убил жену, но когда говорил челяди, что она уехала, то сам при этом всякий раз думал: «Куда же она могла уехать?» Так прошло шесть дней; по ночам он неизменно слышал тот же голос и все думал о маленьком лесовике и его страшной угрозе; но на седьмое утро он вскочил с постели и воскликнул: «Ну ладно, пойду попытаюсь добыть себе живое сердце, мертвый камень в моей груди делает мою жизнь скучной и бессмысленной». Он поспеш-

но надел воскресное платье, сел на лошадь и поскакал к Еловому Бугру. Достигнув того места на Еловом Бугре, где ели стояли особенно густо, он спешился, привязал лошадь, торопливым шагом направился к толстой ели и, став перед ней, произнес заклинание:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал,
Кто в воскресенье свет увидал.

И Стекланный Человечек явился, но не такой приветливый и ласковый, как прежде, а хмурый и печальный; на нем был сюртучок из черного стекла, а со шляпы спускалась длинная траурная вуаль, и Петер сразу понял, по ком он надел траур.

— Что хочешь ты от меня, Петер Мунк? — спросил он глухим голосом.

— У меня осталось еще одно желание, господин Хранитель Клада, — ответил Петер, не поднимая глаз.

— Разве каменные сердца могут желать? — спросил Человечек. — У тебя есть все, чего требовал твой дурной нрав, и я вряд ли смогу исполнить твое желание.

— Но ведь вы подарили мне три желания; одно-то у меня еще осталось.

— И все же я могу тебе в нем отказать, если оно глупое, — продолжал лесовик, — но говори, послушаем, чего ты желаешь.

— Тогда выньте у меня из груди мертвый камень и отдайте мне мое живое сердце! — сказал Петер.

— Разве я заключил с тобой эту сделку? — спросил Стекланный Человечек. — И разве я Голландец Михель, который дарит богатство вместе с каменным сердцем? Там, у него, ищи свое сердце.

— Ах, он никогда мне его не вернет! — ответил Петер.

— Жаль мне тебя, хоть ты и негодай, — произнес Человечек после некоторого раздумья. — Но поскольку твое желание не глупо, то я не могу вовсе отказать тебе и оставить без всякой помощи. Итак, слушай: силой ты сердце себе не вернешь, а вот хитростью — пожалуй, и, может быть, даже без особого труда, ведь Михель был и остался глупым Михелем, хоть он и почитает себя великим умником. Ступай прямо к нему и сделай все, как я тебе скажу.

Он научил Петера, как себя вести, и дал ему крестик из прозрачнейшего стекла.

— Жизни тебя лишить он не сможет и отпустит на волю, если ты сунешь ему под нос этот крестик и при этом будешь молиться. А как только получишь от него то, чего добивался, приходи опять ко мне, на это же место.

Петер Мунк взял крестик, постарался хорошенько запомнить все наставления Человечка и отправился дальше, во владения Голландца Михеля. Он трижды позвал его по имени, и великан мгновенно явился.

— Ты убил жену? — с ужасным смехом спросил он. — Я бы поступил так же, она раздаривала твое имущество нищим. Но тебе придется на время уехать — ее будут искать, не найдут, и поднимется шум; так что тебе, верно, нужны деньги, за этим ты и пришел?

— Ты угадал, — ответил Петер. — Только на этот раз денег надо побольше — до Америки-то далеко.

Михель пошел вперед и привел его к себе в дом; там он открыл сундук, полный денег, и стал доставать оттуда целые столбики золотых монет. Пока он отсчитывал Петеру деньги, тот сказал:

— А ты, Михель, пустобрех! Ловко ты меня провел — сказал, что у меня в груди камень, а мое сердце, мол, у тебя!

— Разве это не так? — удивился Михель. — Неужели ты слышишь свое сердце? Разве оно у тебя не холодное как лед? Разве ты чувствуешь страх или горе или способен в чем-то раскаиваться?

— Ты просто остановил мое сердце, но оно по-прежнему у меня в груди, и у Эзекиля тоже, он мне и сказал, что ты нас надул, где уж тебе вынуть у человека сердце из груди, да еще так, чтобы он ничего не почувствовал, для этого надо быть волшебником.

— Уверяю тебя, — раздраженно воскликнул Михель, — у Эзекиля и у всех, кто получил от меня богатство, такие же каменные сердца, как у тебя, а ваши настоящие хранятся у меня здесь, в комнате.

— Ну и горазд ты врать! — засмеялся Петер. — Это ты рассказывай кому-нибудь другому! Думаешь, я не навидался, когда путешествовал, всяких диковинных штук? Сердца, что у тебя в

комнате, искусственные, из воска. Ты богат, спору нет, но колдовать ты не умеешь.

Тут великан рассердился и распахнул дверь в комнату.

— Ну-ка, войди и прочитай ярлыки; вон в той склянке — сердце Петера Мунка, гляди, как оно трепещет. Может ли воск шевелиться?

— И все-таки оно из воска, — отвечал Петер. — Настоящее сердце бьется совсем не так, мое-то все еще у меня в груди. Нет, колдовать ты не умеешь.

— Ладно, я тебе сейчас докажу! — сердито крикнул Михель. — Ты сам почувствуешь, что это сердце твое.

Он взял сердце Петера, распахнул на нем куртку, вынул из его груди камень и показал ему. Потом подышал на сердце и осторожно вставил его на место. Петер сразу почувствовал, как оно забилося, и обрадовался — он снова мог радоваться!

— Ну как, убедился? — улыбаясь, спросил его Михель.

— Да, твоя правда, — ответил Петер, осторожно доставая из кармана крестик. — Никогда бы не поверил, что можно делать такие чудеса!

— Верно? Как видишь, колдовать я умею. Ну а теперь давай я вставлю тебе твой камень обратно.

— Тихонечко, господин Михель! — крикнул Петер, сделав шаг назад и держа перед собой крестик. — Попалась рыбка на крючок. На сей раз в дураках остался ты! — И он принялся читать молитвы, какие только мог вспомнить.

Тут Михель стал уменьшаться — он делался все ниже и ниже, потом пополз по полу, извиваясь, словно червь, стеная и охая, а сердца вокруг забились и застучали, как часы в мастерской часовщика. Петер испугался, его охватил ужас, и он бросился прочь из комнаты, прочь из дома; не помня себя от страха, вскарабкался он по скале, ибо слышал, как Михель вскочил, стал топтать ногами, бесноваться и слать ему вслед ужасные проклятия. Выбравшись наверх, Петер поспешил на Еловый Бугор. Тут разразилась страшная гроза; слева и справа от него сверкали молнии, раскалывавая деревья, но он целым и невредимым достиг владений Стеклянного Человечка.

Сердце его радостно билось, уже потому только, что оно билось. Но вот Петер с ужасом оглянулся на свою жизнь — она была подобна грозе, которая за минуту перед тем расщепляла вокруг

него прекраснейшие деревья. Петер подумал о Лизбет, своей красивой и доброй жене, которую он убил из жадности, и показался себе настоящим извергом; прибежав к обиталищу Стеклянного Человечка, он горько разрыдался.

Хранитель Клада сидел под елью и курил маленькую трубку, но смотрел он куда веселее, чем давеча.

— Что ты плачешь, Петер-уголыщик? — спросил он. — Может быть, тебе не удалось получить обратно твое сердце и ты так и остался с каменным?

— Ах, сударь! — вздохнул Петер. — Пока у меня было холодное сердце, я никогда не плакал, глаза у меня были сухими, как земля в июльский зной, но теперь мое собственное сердце рвется на части, лишь подумаю, что я натворил: должников своих я довел до суммы, больных и нищих травил собаками; да вы сами видели, как мой хлыст обрушился на ее прекрасное чело!

— Петер! Ты был великим грешником! — сказал Человечек. — Деньги и праздность развратили тебя, и твое сердце окаменело, перестало чувствовать радость и горе, раскаяние и жалость. Но раскаяние смягчает вину, и, знай я, что ты искренне сожалеешь о своей жизни, я бы мог еще кое-что для тебя сделать.

— Ничего я больше не хочу, — отвечал Петер, горестно повесив голову. — Моя жизнь кончена, мне уж радости не видать; что стану я делать один на всем свете? Матушка никогда не простит мне того, как я над ней издевался, быть может, я, чудовище, свел ее в могилу! А Лизбет, жена моя! Лучше убейте меня, господин Хранитель Клада, тогда уж разом кончится моя злосчастная жизнь!

— Хорошо, — отвечал Человечек, — если такова твоя воля — топор у меня под рукой.

Он спокойно вынул трубочку изо рта, выбил ее и сунул в карман. Потом неторопливо встал и скрылся в ельнике. А Петер, плача, сел на траву; жизнь для него теперь ничего не значила, и он покорно ждал рокового удара. Немного погодя он услышал у себя за спиной легкие шаги и подумал: «Вот и конец!»

— Оглянись еще разок, Петер Мунк! — воскликнул Человечек.

Петер вытер слезы, оглянулся и увидел свою мать и жену Лизбет, которые ласково глядели на него. Он радостно вскочил на ноги.

— Так ты жива, Лизбет! И вы здесь, матушка, — вы простили меня?

— Они простят тебя, — произнес Стекланный Человечек, — ибо ты искренне раскаялся, и все будет забыто. Возвращайся теперь домой, в отцовскую хижину, и стань угольщиком, как прежде; если ты будешь трудолюбив и честен, то научишься уважать свое ремесло, а твои соседи будут любить и почитать тебя больше, чем если бы ты имел десять бочек золота.

Вот что сказал Стекланный Человечек, и на этом он с ними простился.

Все трое не знали, как им хвалить и благословлять его, и, счастливые, отправились домой.

Великолепного дома Петера-богача больше не существовало: в него ударила молния и он сгорел вместе со всем богатством; но до отцовской хижины было недалеко, туда и вел теперь их путь, а о потере имущества они нисколько не сокрушались.

Но каково было их удивление, когда они подошли к хижине! Она превратилась в добротный крестьянский дом, убранство его было просто, но удобно и опрятно.

— Это сделал добрый Стекланный Человечек! — воскликнул Петер.

— Какой прекрасный дом! — сказала Лизбет. — Мне здесь гораздо уютнее, чем в большом доме со множеством слуг.

С тех пор Петер Мунк стал трудолюбивым и добросовестным человеком. Он довольствовался тем, что имел, неугомонно занимался своим ремеслом, а со временем без посторонней помощи нажил состояние и снискал уважение и любовь во всем крае. Он никогда больше не ссорился с Лизбет, чтил свою мать и подавал бедным, которые стучались к нему в дверь. Когда через несколько лет Лизбет произвела на свет хорошенького мальчика, Петер отправился на Еловый Бугор и произнес заклинание. Но Стекланный Человечек не показывался.

— Господин Хранитель Клада! — громко позвал Петер. — Послушайте, мне ничего не надо, я только хочу просить вас быть крестным отцом моему сыночку!

Но никто не отзывался, только налетевший вдруг ветер прошумел в елях и сбросил в траву несколько шишек.

— Ну что ж, раз вы не хотите показаться, возьму-ка я на память эти шишки! — воскликнул Петер, сунул в карман шишки

и пошел домой. Когда же дома он снял праздничную куртку и его мать, перед тем как уложить ее в сундук, вывернула карманы, оттуда выпали четыре тяжелых свертка, а когда их развернули, там оказались сплошь новенькие баденские талеры, и среди них ни одного фальшивого. Это был подарок Человечка из елового леса своему крестнику, маленькому Петеру.

С тех пор и жили они мирно и безбедно, и еще много лет спустя, когда у Петера Мунка уже волосы поседел, он не устал повторять: «Да, уж лучше довольствоваться малым, чем иметь золото и всякие другие богатства и при этом — холодное сердце».

Шел уже пятый день, а Феликс, егерь и студент все еще были в руках у разбойников. Они очень тосковали и жаждали освобождения, хотя атаман и его подчиненные обходились с ними неплохо. Чем дольше тянулось время, тем сильнее возрастал их страх, что обман будет обнаружен. На пятый день вечером егерь сообщил товарищам по несчастью, что твердо решил этой ночью бежать, пусть даже он поплатится за это жизнью. Он всячески склонял их тоже к побегу и объяснил, как собирается его осуществить.

— Того, что стоит всего ближе к нам, я беру на себя; ничего не поделаешь, ведь дело идет о самозащите, а самозащита законом не воспрещается. Его придется убить.

— Убить? — ужаснулся Феликс. — Вы хотите его убить?

— Да, это твердо решено, раз его смерть спасет жизнь двум людям. Должен вам сказать, что собственными ушами слышал, как разбойники с озабоченным видом шептались, что их ищут по лесу, а старухи, озлобившись, проговорились о недобрых намерениях разбойничьей шайки; они всячески нас ругали и дали понять, что, если на разбойников нападут, нам нечего ждать пощады.

— Господи боже! — в ужасе воскликнул юноша и закрыл лицо руками.

— Я предлагаю, пока они еще не приставили нам ножа к горлу, опередить их. Когда стемнеет, я подкрадусь к ближнему караульному, он окликнет меня, я шепну, что графине внезапно стало дурно, и, когда он обернется, покончу с ним. Затем приду за вами, молодой человек, и второй тоже не уйдет от нас, а с третьим мы и подавно справимся.

И сам егерь в эту минуту, и слова его ужаснули Феликса. Он уже собрался отговорить его от такого кровавого замысла, но тут дверь тихонько отворилась и кто-то крадучись вошел к ним. Это был атаман. Он сразу осторожно затворил за собой дверь, а пленникам сделал знак не шуметь. Сев рядом с Феликсом, он сказал:

— Ваше сиятельство, вы в безвыходном положении. Граф, ваш супруг, не сдержал слова, он не только не прислал выкупа, но заявил местному начальству. Солдаты рыскают по лесу, чтобы арестовать меня и моих людей. Я угрожал вашему супругу покончить с вами, если он попытается нас схватить. Но то ли ему не дорога ваша жизнь, то ли он не верит моему слову. Ваша жизнь в наших руках, по нашему закону вы обречены на смерть. Что вы можете мне возразить?

Пленники были подавлены, они сидели не поднимая глаз, не знали, что сказать, ведь Феликс отлично понимал: признавшись в переодевании, он только усугубит опасность.

— Сверх моих сил подвергать такой опасности даму, к которой я отношусь с великим почтением, — продолжал атаман. — Для вашего спасения возможно только одно, вот я и хочу предложить вам этот единственный выход: *я предлагаю бежать всем нам вместе.*

Изумленные неожиданностью, они молча смотрели на него.

— Большинство моих людей, — продолжал он, — решили податься в Италию и примкнуть к одной очень крупной шайке. Что до меня, то служить под началом другого мне не улыбается, поэтому я не заодно с ними. Если бы вы, ваше сиятельство, взяли меня под свою защиту и обещали, прибегнув к вашим сильным связям, замолвить за меня слово, то, пока еще не поздно, я мог бы вас спасти.

Феликс в смущении молчал. Он был слишком честен, все существо его возмущалось при мысли сначала преднамеренно подвергнуть опасности человека, который хочет спасти ему жизнь, а потом оказаться бессильным защитить его. Он все еще молчал, и тогда атаман заговорил снова:

— В настоящее время всюду вербуют людей в войска, я удовольствуюсь самой скромной должностью. Я знаю, вы многое можете, но ведь я не требую ничего, мне достаточно вашего обещания, что вы постараетесь хоть немного помочь мне в этом деле.

— Хорошо, обещаю оказать вам содействие, сделать все, что могу, все, что в *моих* силах, — ответил Феликс, не подымая глаз. — Чем бы все это для вас ни кончилось, для меня утешительно уже то, что вы добровольно порываете с разбойничьей жизнью.

Растроганный атаман поцеловал руку доброй даме и шепнул, чтобы через два часа, после того как стемнеет, она была готова, а потом вышел из хижины столь же осторожно, как перед тем вошел. После его ухода все трое с облегчением вздохнули.

— Поистине, сам Господь Бог вложил это ему в сердце! — воскликнул егерь. — Какое неожиданное спасение! Мне и во сне не снилось, что на свете еще бывает такое.

— Вот уж правда неожиданное! — согласился с ним Феликс. — Но честно ли я поступил, обманув его? Что пользы ему в моем заступничестве? Я же не признался, кто я, а ведь это все равно что заманить его на виселицу, разве не так, господин егерь?

— Ну к чему такая совесть, милый юноша! — возразил студент. — И это после того, как вы так мастерски сыграли свою роль! Нет, пусть это вас не мучает, это вполне законная самозащита. Ведь не постыдился же он дерзко похитить во время пути почтенную даму, и не будь вас, как знать, чем бы все это кончилось для графини! Нет, вы поступили вполне честно. Впрочем, я полагаю, тот факт, что он, атаман шайки, сам отдастся в руки правосудия, послужит ему на пользу.

Этот последний довод утешил юношу. В радостном возбуждении и все же тревожась и замирая от страха, что их план может потерпеть неудачу, провели они ближайшие часы. Уже стемнело, когда атаман снова заглянул к ним, положил узел с одеждой и сказал:

— Ваше сиятельство, чтобы облегчить нам бегство, вам необходимо переодеться мужчиной. Будьте готовы. Через час мы отправимся в путь.

С этими словами он вышел, и егерь едва удержался, чтобы не расхохотаться.

— Вот вам и второе переодевание, — сказал он, — и, честное слово, оно пристало вам куда больше первого!

Они развязали узел, достали отличный охотничий костюм и все, что к нему полагается, костюм пришелся Феликсу впору и очень к лицу. Когда он был готов, егерь хотел было бросить платье графини в угол, но Феликс не позволил, он связал ее вещи

в узелок и сказал, что попросит графиню подарить их ему и он сохранит их до конца жизни на память об этих удивительных днях.

Наконец атаман вернулся. Он был вооружен до зубов, егерю он возвратил отобранное у того ружье и пороховницу. Студенту он тоже вручил ружье, а Феликсу подал охотничий нож и попросил на всякий случай повесить его на пояс. К счастью, было уже очень темно, не то по сияющему виду Феликса, когда он вооружился ножом, атаман мог бы легко догадаться, кто он на самом деле. Когда они осторожно вышли за дверь, егерь обнаружил, что на ближнем сторожевом посту никого нет. Это дало им возможность незаметно проскользнуть мимо хижины, но атаман не повел их обычной тропой, из глубины ущелья подымавшейся в лес, он направился к отвесной скале, на первый взгляд неприступной. Однако, когда они были уже у ее подножия, атаман обратил их внимание на веревочную лестницу, висевшую на скале. Он перекинул ружье за спину и стал подниматься первым, затем протянул руку графине и пригласил следовать за ним, егерь замыкал шествие. За скалой оказалась тропинка, и они быстро пошли по ней.

— Эта тропинка выведет нас на дорогу в Ашафенбург, — сказал атаман. — По ней мы и пойдем, у меня точные сведения, что граф, ваш супруг, в данное время там.

Молча продолжали они свой путь, атаман впереди, остальные трое гуськом за ним. Через три часа они остановились. Атаман попросил Феликса сесть отдохнуть на пень. Он достал хлеб и походную флягу со старым вином и предложил усталым путникам подкрепиться.

— Я думаю, мы не позже чем через час наткнемся на военный кордон, расставленный по всему лесу. В таком случае, будьте столь добры, поговорите с офицером и попросите его прилично обращаться со мной.

Феликс согласился и на это, хотя мало надеялся на успех своего заступничества. Они отдыхали с полчаса, затем двинулись дальше. Они шли еще около часа и теперь приближались к проселочной дороге; уже забрезжило утро, в лесу чуть посветлело, тут вдруг раздался громкий окрик: «Стой! Ни шагу дальше!» Они остановились как вкопанные, им преградили дорогу пятеро солдат и приказали следовать за ними к майору, их командиру,

и дать ему объяснение, куда и зачем они идут. Пройдя шагов пятьдесят, они заметили, что в кустах и слева и справа поблескивают штыки, — видимо, лес был оцеплен. Под дубом сидел майор в окружении офицеров и нескольких штатских. Задержанных привели к майору, и он уже собирался допросить их, кто они и откуда, но тут вдруг вскочил со своего места один из присутствующих и воскликнул:

— Боже мой! Кого я вижу, ведь это же Готфрид, наш егерь!

— Так точно, господин управляющий! — радостно ответил егерь. — Я самый, чудом спасенный из рук шайки разбойников.

Офицеры очень удивились, увидав его тут. А егерь попросил майора и управляющего отойти с ним в сторонку и в кратких словах рассказал, как они были спасены и кто тот четвертый, что сопровождал их.

Обрадованный его сообщением, майор тут же принял нужные меры и отдал распоряжение препроводить важного арестованного дальше, а золотых дел мастера подвел к своим офицерам и представил им доблестного юношу, смелость и присутствие духа которого спасли графиню, и все радостно жали ему руку, расточали похвалы и никак не могли наслушаться рассказов его и егеря о том, что они пережили.

Меж тем совсем рассвело. Майор решил лично проводить освобожденных в город. Он вместе с ними и графским управляющим отправился в ближайшую деревню, где стоял его экипаж, там он усадил Феликса рядом с собой в экипаж; егерь, студент, управляющий и много других людей ехали верхами впереди и позади них, и так это поистине триумфальное шествие двинулось по дороге в город. С быстротой молнии разнесся слух о разбойничьем нападении в шпессартской харчевне и о самоотверженном юноше, и не менее быстро передавалась из уст в уста весть о его освобождении. Поэтому и нет ничего удивительного, что в городе, куда они ехали, улицы были запружены народом: всем хотелось увидеть молодого героя. Навстречу медленно подъезжавшему экипажу хлынула толпа народа. «Вот он! — раздались крики. — Видите, это он сидит рядом с офицером! Да здоровствует смелый золотых дел мастер!» И тысячеголосое «ура!» огласило воздух.

Феликс был смущен, растроган кликами толпы. Но еще более трогательное зрелище ожидало его в ратуше. Богато одетый муж-

чина средних лет встретил его у лестницы и обнял со слезами на глазах.

— Как мне отблагодарить тебя, сын мой! — воскликнул он. — Ты вернул мне счастье, то счастье, коего я чуть не лишился навсегда! Ты спас мне жену, моим детям спас мать! При ее хрупком здоровье она не выдержала бы тягостной жизни в плену у разбойников.

Так говорил супруг графини. Чем решительнее отказывался Феликс сказать, какую награду желал бы получить за свой самоотверженный поступок, тем непреклоннее настаивал граф. Тут юноша вспомнил о тяжелой участи атамана разбойников; он рассказал, что тот его спас и что спасал он, собственно, не его, а графиню. Граф, тронутый не столько поступком атамана, сколько новым доказательством благородства и бескорыстия, кои проявил Феликс своей просьбой, обещал сделать все, что в его силах, чтобы спасти разбойника.

Еще в тот же день граф в сопровождении храброго егеря повез Феликса в замок, где графиня, озабоченная судьбой самоотверженного юноши, с нетерпением ждала вестей. Как описать ее радость, когда супруг ввел к ней ее спасителя? Она не уставала его расспрашивать и благодарить, она велела привести детей, чтобы они посмотрели на доблестного юношу, которому их мать столь многим обязана. Малыши протянули ему ручки, и ласковые слова их детской признательности, их уверения, что после отца с матерью для них нет никого на свете дороже его, были для Феликса лучшей наградой за те бессонные ночи, за все то, что ему пришлось претерпеть у разбойников.

Когда прошли первые минуты радостной встречи, лакей по знаку графини принес одежду и хорошо знакомый ранец, отданные Феликсом графине в лесной харчевне.

— Здесь все, что вы дали мне в ту страшную минуту, — с ласковой улыбкой сказала она, — в этих вещах тайные чары, облачив меня в них, вы поразили моих преследователей слепотой. Теперь они снова в вашем распоряжении, но я хочу предложить вам оставить эту одежду мне на память о вас, а взамен принять ту сумму, что разбойники назначили как выкуп за меня.

Феликса испугал столь щедрый подарок; благородство не позволило ему принять вознаграждение за то, что он сделал по доброй воле.

— Ваше сиятельство, — сказал он в волнении, — я не могу согласиться на это. Одежда, как вы того пожелали, пусть остается у вас, но сумму, которую вы назвали, я принять не могу. Но я знаю, что вам угодно меня вознаградить, поэтому я прошу не лишать меня вашего благоволения, иной награды мне не надо, и, в случае если мне понадобится ваша помощь, позволить мне обратиться к вам.

Долго еще уговаривали они юношу, но ничто не могло изменить его решения. Графиня и ее супруг наконец уступили, и лакей хотел уже унести одежду и ранец, но тут Феликс вспомнил об ожерелье, о котором за столь радостными событиями совсем было забыл.

— Постойте! — остановил он лакея. — Ваше сиятельство, разрешите мне взять всего одну вещь из ранца, остальное полностью и навсегда принадлежит вам.

— Все в вашем распоряжении, — сказала она, — хотя я охотно сохранила бы все на память о вас, берите, берите то, чего не хотите лишиться. Однако позвольте спросить, чем вы так дорожите, что не хотите оставить мне?

Юноша тем временем открыл ранец и достал футляр красного сафьяна.

— Берите все, что принадлежит мне, — с улыбкой ответил он. — Но это принадлежит моей дорогой крестной матери. Это, ваше сиятельство, ожерелье моей работы, и его я должен отдать ей, — прибавил он, открыв и подавая ей футляр из красного сафьяна. — Ожерелье, на котором я пробовал свои силы.

Она взяла футляр, но, мельком взглянув на него, смутилась и протянула его Феликсу.

— Как?! Эти камни! — воскликнула она. — И они, вы говорите, предназначены вашей крестной?

— Ну да, — ответил Феликс, — моя крестная прислала их мне, я вставил их в оправу и шел к ней, чтобы лично отдать ей ожерелье.

До слез растроганная графиня смотрела на него.

— Так, значит, ты Феликс Пернер из Нюрнберга? — воскликнула она.

— Ну да! Но откуда вы вдруг узнали, как меня зовут? — спросил он, с изумлением глядя на нее.

— О чудесный перст Провидения! — обратилась умиленная графиня к ничего не понимавшему супругу. — Это же Феликс, наш крестник, сын нашей камеристки Сабины! Феликс! Ведь это ко мне, ко мне ты шел. Так ты, сам того не зная, спас свою крестную!

— Как? Значит, вы графиня Зандау, так много сделавшая для нас с матерью? А это замок Майенбург, тот самый, куда я держал путь? Как благодарен я счастливой судьбе, которая столь неожиданно свела меня с вами; значит, своим поступком мне хоть в малой доле удалось выразить вам свою великую признательность!

— Ты сделал для меня больше, чем я когда-либо смогу сделать для тебя, — возразила она. — Но пока я жива, я постараюсь доказать тебе, сколь бесконечно многим все мы тебе обязаны. Ты будешь сыном моему супругу, братом моим детям, а я буду тебе любящей матерью; ожерелье, которое привело тебя ко мне в час величайшей опасности, отныне для меня самое приятное украшение: оно постоянно будет напоминать мне о тебе и твоём благодестве.

Так сказала графиня и сдержала слово. Она щедро помогала Феликсу в годы странствий. Когда он вернулся уже сведущим в своем деле мастером, она купила ему в Нюрнберге дом, полностью обставила его, парадную комнату в доме украшали хорошо выполненные картины, на которых были изображены сцены из жизни Феликса в лесной харчевне и в разбойничьем ущелье.

Так и зажил в Нюрнберге Феликс, умелый золотых дел мастер. Слава о его искусстве, а также молва о его удивительной доблести привлекали к нему заказчиков со всей страны. Многие приезжие, попав в чудесный город Нюрнберг, приходили в мастерскую к знаменитому мастеру Феликсу, чтобы поглядеть на него, подивиться его геройству и мастерству, а то и заказать ему красивое украшение. Однако самыми желанными для него гостями были егерь, машинный мастер, студент и возчик. Всякий раз по дороге из Вюрцбурга в Фюрт возчик заезжал к Феликсу; егерь чуть не каждый год привозил ему подарки от графини; мастер, исходив многие немецкие земли, под конец устроился на жительство у Феликса. Как-то навестил их и студент. Он за это время стал важным государственным мужем, но не стеснялся отужинать в обществе мастера Феликса и его приятеля. Они вспоминали все

пережитое на заезжем дворе и Шпессартском лесу, и бывший студент рассказал, что видел в Италии атамана разбойников: он вполне исправился, стал военным и служит верой и правдой неаполитанскому королю.

Феликса эта весть обрадовала. Не будь атамана, он, надо думать, вряд ли попал бы в тогдашнее опасное положение, но, не будь этого человека, он бы и не смог уйти от разбойников. Вот и выходит, что в душе у честного золотых дел мастера жили только добрые и дружественные мысли, когда ему вспоминалась *харчевня в Шпессарте*.

**ФАНТАСМАГОРИИ
В БРЕМЕНСКОМ
ВИННОМ
ПОГРЕБКЕ**



*Осенний подарок
друзьям вина*

Доброе вино — хороший товарищ... и кому не случится иной раз опьянеть.

Шекспир

Двенадцати апостолам бременского винного погребка в знак признательности и памяти.

Автор. Осень 1827

— С ним не сговоришь, — сказали они, спускаясь по лестнице той гостиницы, где я остановился, я их ясно слышал. — Теперь его уже в девять часов клонит ко сну, настоящий сурок, кто бы мог это подумать четыре года тому назад.

Не скажу, что мои друзья рассердились на меня понапрасну. Ведь сегодня вечером в городе устраивался танцевальный чай с музыкой, декламацией и бутербродами, и мои приятели приложили немало стараний, чтобы я, приезжий, провел приятно вечер. Но для меня это действительно было невысказано, я не мог пойти. Чего ради идти на танцевальный чай, раз она не будет там танцевать; чего ради идти на чай с пением и бутербродами, где мне (я это наперед знал) придется петь, а она меня не услышит; чего ради мешать веселью задушевных друзей унылым и хмурым настроением, от которого я сегодня не мог отделаться? О господи, уж лучше бы они позлились на меня минутку, сходя с лестницы, но не скучали с девяти вечера до часа ночи, беседуя только с моим бременным телом и тщетно взывая к душе, ибо она бродила за несколько улиц оттуда по кладбищу при церкви Божьей Матери.

Но мне было обидно, что любезные мои приятели обозвали меня сурком и приписали сонливости то, что на самом деле объяснялось желанием бодрствовать. Только ты, сердечный друг Герман, правильно меня понял. Ведь я слышал, как ты сказал уже внизу на соборной площади: «Нет, дело не в сонливости — у него же блестят глаза. Опять он выпил, то ли многовато, то ли мало-вато, и, значит, хочет глотнуть еще, но — в одиночестве».

Откуда только у тебя такой дар провидения? Или ты догадался, что если глаза у меня смотрят бодро, значит ночью мне пред-

стоит встреча со старым рейнским вином; откуда мог ты знать, что грамоту и письменное разрешение, выданные мне ратушей, я пушу в ход как раз этой ночью, дабы приветствовать Розу и ваших двенадцать апостолов? К тому же у меня сегодня особый, «високосный» день.

На мой взгляд, не так уж плоха усвоенная мною от деда привычка посидеть и поразмыслить над теми зарубками, что нанесены за год на древо жизни. Ежели ты празднуешь только Новый год да Пасху, Рождество или Троицу, то в конце концов эти праздники станут привычными, покажутся буднями и перестанут вызывать воспоминания. А как бы хорошо, чтобы душа, вечно озабоченная житейской суетой, когда-нибудь завернула на постоянный двор собственного своего сердца и угостилась за долгим табльдотом воспоминаний, а затем написала бы добросовестный счет *ad notam*¹, подобный тому, что трактирщица Быструха подавала рыцарю. Дедушка называл такие дни своими високосными днями. Это не значило, что он приглашал на банкет друзей или проводил такой день весело и шумно, в свое удовольствие; нет, он углублялся в себя и услаждал свою душу в опочивальне, знакомой ему уже семьдесят пять лет. Еще и по сию пору, хотя он уже давно покоится на кладбище в холодной могиле, еще и по сию пору я нахожу в его голландском Горации те строки, что он читал в такие дни; еще и по сию пору, словно это было вчера, вижу я его большие голубые глаза, задумчиво устремленные на пожелтевшие страницы семейной книги для памятных записей. И так ясно вижу я, как его глаза постепенно увлажняются, как дрожит на седых ресницах слеза, как сжимается властный рот, как старик медленно, словно не решаясь, берет перо и ставит черный крест под именем «одного из своих отошедших в вечность братьев».

«У барина високосный день», — шепотом увещевали нас слуги, когда мы, как обычно, шумно и весело мчались вверх по лестнице. «У дедушки високосный день», — перешептывались мы и думали, что он сам готовит себе рождественские подарки, ведь у него не было никого, кто бы зажег ему елку. И разве мы были не правы, думая так в детской простоте? Разве он не зажигал рождественскую елку своих воспоминаний, разве не горели тысячи

¹ Для сведения (*лат.*).

мерцающих свечек — любимые часы долгой жизни, и не казалось, что, сидя вечером своего високосного дня тихо и умиротворенно в креслах, он детски радуется дарам прошлого?

Его високосный день был и тогда, когда его вынесли из дому. Я пустил слезу, подумав, что дедушка в первый раз за долгое-долгое время попал на свежий воздух. Его повезли по дороге, по которой я так часто ходил вместе с ним. Но только везли его недолго, а потом перешли через черный мост и положили дедушку глубоко в землю. «Вот теперь он справляет свой настоящий високосный день, — подумал я, — но не пойму, как он вернется оттуда, ведь на него набросали столько камней и дерна». Он не вернулся оттуда. Но его облик сохранился у меня в памяти, и, когда я подрос, я очень любил рисовать себе его умный открытый лоб, ясный взгляд, властный и в то же время такой ласковый рот. Вместе с его обликом возникало множество воспоминаний, и его високосные дни были самыми любимыми картинами в этой длинной галерее воспоминаний.

А сегодня разве не первое сентября, дата, которую я избрал для своего високосного дня, не так ли? Мне же предлагают объедаться бутербродами в светском обществе и слушать всякие арии, да сверх того еще аплодисменты и щебет. Нет! Я прибегну к тебе, превосходный рецепт, столь превосходного не пропишет ни один врач на свете. Я спущусь вниз к тебе, старая проверенная аптека, чтобы, «как предписано, каждый раз осушать полный бокал».

Когда пробило десять часов, я уже спускался по широким ступеням в винный погреб; я надеялся, что не встречу ни одного гуляки, ведь для остальных людей день был будничным, а на дворе шумела непогода, флюгера затягивали неожиданные песни, дождь барабанил по мостовой соборной площади. Я протянул муниципальному сторожу погребка распоряжение принести мне вина, он смерил меня с ног до головы недоумевающим взглядом.

— Так поздно? Да еще сегодняшней ночью! — воскликнул он.

— Для меня до полуночи никогда не бывает поздно, — возразил я, — а наутро будет еще достаточно ранний час.

— Но неужели же... — начал было он, но, снова взглянув на печать и почерк своего начальника, молча, хоть и нерешительно, зашагал впереди меня. Что за отрада было видеть, как свет от его свечи в бумажном колпачке скользит по длинному ряду бочек,

как он дрожит на сводах, какие рисует причудливые очертания и тени, как блуждает по столбам в глубине погребов, так что чудится, будто это суетятся возле бочек хлопотливые купорщики. Он хотел отпереть мне одну из тех зал, где за круговой чашей могут поместиться, и то очень тесно, шесть—восемь приятелей, не больше. Я люблю сиживать в таких укромных уголках с закадычными друзьями: в тесном помещении сидят ближе друг к другу, каждое слово слышно, беседа звучит задушевнее. Но когда я совсем один и одинок, я люблю свободное помещение, где и думается и дышится свободнее. Для своего одинокого пиршества я выбрал старый сводчатый зал, самый большой в здешних подземных покоех.

— Вы ждете друзей? — спросил служитель.

— Я буду один.

— Может, придет кто и незванный, — прибавил он, робко озираясь на тени, которые отбрасывала свеча.

— Вы это о чем? — удивился я.

— Так, ни о чем, просто подумалось, — ответил он, зажегши свечи и поставив передо мной большой зеленый бокал. — Про первое сентября всякое толкуют, к тому же господин сенатор Д. два часа как ушли отсюда, и я вас уже не ждал.

— Господин сенатор Д.? Зачем он приходил? Он меня спрашивал?

— Нет, они только приказали взять пробы.

— Какие пробы, друг?

— Да с двенадцати и с Розы, — ответил старик, доставая штофики с длинными бумажными полосками на горлышках.

— Как? — воскликнул я. — Мне было сказано, что я могу лить вино, нацеженное тут же при мне из бочки.

— Да, но только в присутствии кого-либо из магистрата. Вот господин сенатор и приказали мне нацедить пробы; так, если вам угодно, я вам сейчас налью.

— Ни-ни, ни капельки, — прервал я его, — тут я ни рюмки не выпью, подлинное наслаждение пить прямо из бочки, а если сейчас нельзя, то я хоть у бочки выпью. Идемте, отец, забирайте ваши пробы, а я понесу свечу.

Я уже несколько минут наблюдал за странным поведением старого служителя. Он то глядел на меня и откашливался, будто порывался что-то сказать, то брал со стола штофики с пробами,

совал их в свои обширные карманы, то нерешительно вытаскивал их обратно и снова ставил на стол. Мне это надоело.

— Ну, так когда же мы двинемся? — воскликнул я, всей душой стремясь в Апостольский подвал. — Долго вы еще будете возиться с вашими штофиками?

Серьезный тон, каким это было сказано, как будто придал ему смелости. Он ответил довольно решительно:

— Нет, сударь, сейчас нельзя! Сегодня уж никак нельзя!

Я подумал, что это обычный прием управителей, кастелянов и служителей при погребках, чтобы выманить у приезжих на чак, и сунул ему в руку довольно крупную монету.

— Нет, я не для того, — сказал он, пытаясь вернуть мне деньги. — Нет, сударь, не для того! Я вам все сейчас начистоту выложу: сегодня ночью меня не заставишь пойти в Апостольский подвал, ведь сегодня ночь на первое сентября.

— Ну и что отсюда следует? Что за чепуха?

— Господи помилуй, можете думать, как вам угодно, но сегодняшнюю ночь там нечисто, ведь сегодня годовщина Розы.

Я так расхохотался, что загудели своды.

— Еще чего! За свою жизнь я не раз слышал о привидениях, но о винных привидениях что-то не слыхивал! Не стыдно вам, убеленному сединами, нести такой вздор! Но нечего разводить разговоры. Тут сенат полновластный хозяин. Сегодня ночью я могу пить в здешнем погребе где и когда захочу. Посему приказываю вам именем магистрата идти со мной. Отопри мне погреб Бахуса, старик!

Это подействовало. Без возражений, хотя и неохотно, взял он свечи и сделал мне знак следовать за ним. Сперва мы снова прошли через большую залу, затем через ряд меньших, пока наш путь не привел нас к узкому, со всех сторон сдавленному проходу. Шаги глухо отдавались в этом ущелье, а дыханье, отражаясь от каменных сводов, казалось отдаленным шепотом. Наконец мы очутились перед дверью, загремели ключи, дверь заскрипела и отворилась, свет озарил своды, передо мной на огромной винной бочке сидел любезный друг Бахус. Упоительное зрелище! Не очень-то изящным и красивым изобразили его бременские мастера, не прекрасным греческим юношей; не представили они его и старым и пьяным, отвратительным и пузатым, с закатившимися глазами и высунутым языком, как его богохульно увековечил

общепринятый миф. Постыдный антропоморфизм, слепая людская тупость! Такой облик был у его жрецов, поседевших, служа ему, это их разнесло от блаженного веселья, это у них рдел нос пламенным отсветом багряного потока, это они замерли в немом восторге, вперив в небо остановившийся взгляд, — а люди приписали богу то, что украшало его служителей!

Иначе изобразили его бременские мастера. Жизнерадостный, веселый сидит наш холостяк верхом на бочке. Такой круглолицый, цветущий, пьяные глазки смотрят умно, задористо, видно, он не раз приложился к чарке, рот расплылся в широкой улыбке, короткая крепкая шея, все его небольшое тело дышит покойной, изобильной жизнью. Но особое искусство вложил создавший тебя мастер в обработку ручек и ножек. Так и кажется, что сейчас ты шевельнешь ручкой и прицелкнешь короткими пальчиками, а расплывшийся в широкой улыбке рот раскроется для веселого возгласа: уля-ля! Так и кажется, что в озорном пьяном веселье ты согнешь круглые колени, напряжешь икры, пристукнешь пятками ипустишь галопом старую большую бочку и все Розы, апостолы и другие меньшие бочки с гиком и улюлюканьем припустятся за тобой!

— Царю Небесный! — воскликнул старик-служитель, вцепившись в меня. — Вы что, не видите, как он ворочает глазами и болтает ножками?

— В своем ли вы уме, отец? — сказал я, бросив робкий взгляд на деревянного бога вина. — Вам померещилось. Просто на нем играет пламя свечей.

Но все же на душе у меня стало смутно. Я вышел вслед за стариком из Бахусова погреба. Не знаю, было ли то от мерцания свечей, был ли то обман зрения, только, когда я оглянулся, мне почудилось, будто он кивнул, дрыгнул вслед мне ножкой и весь затрясся, скорчился от сдерживаемого смеха. Я невольно устремился за стариком и постарался не отставать от него.

— А теперь к двенадцати апостолам, — сказал я. — Посмотрим, какого вкуса пробы там!

Он ничего не ответил, просто покачал головой, продолжая идти. Нам надо было подняться на несколько ступеней к маленькому погребку, к подземному небосводу, к блаженной обители двенадцати. Как далеко усыпальницам и склепам старых королевских замков до этих катакомб! Пусть стоят там саркофаг

к саркофагу, пусть на черном мраморе воздается хвала тем, что почивают здесь в ожидании «радостного дня восстания из мертвых», пусть словоохотливый чичероне в траурном одеянии, с крепом на шляпе превозносит небывалое величие того или иного праха, пусть он перечисляет отменные добродетели некоего принца, павшего в той или иной битве, пусть повествует о нежной красоте княгини, на гробнице которой девственная мирта прильнула к полураспустившемуся бутону розы, — все это напомним нам, что мы смертны, возможно, даже исторгнет слезу, но насколько же трогательней эта опочивальня целого столетия, это последнее пристанище замечательного поколения! Вот они лежат перед вами в темно-коричневых простых гробах, без мишурного блеска, без позументов. Их скромным заслугам, их неприятелям добродетелям, их превосходному нраву не воздается хвала на мраморных досках, но какой же человек, ежели он хоть мало-мальски чувствителен, не умилился, когда старый сторож погребка — этот служитель здешних катакомб, этот кистер подземной церкви — поставит свечи на гробы, когда осветятся благородные имена великих усопших. Подобно властителям царств, они не нуждаются в перечислении титулов и фамилий; их имена просто написаны крупными буквами на их гробницах. Там Андрей, здесь Иоанн, в том углу — Иуда, а в этом — Петр. Кто не умилился, услышав: здесь покоится благородный Ниренштейнец, 1718 года рождения, здесь — Рюдесгеймец, 1726 года рождения. Направо Павел, налево Иаков, добрый Иаков!

А в чем их заслуги? Вы еще спрашиваете? Разве вы не видите, как старик наливает в зеленый бокал, как он подает мне великолепную кровь апостола? Багряным золотом сверкает она в стакане. Когда его растило солнце на Иоганнесберге, оно было светлое, чуть золотистое. Столетие сгустило его окраску! Какие слова найти, чтобы определить упоительный букет, который исходит от бокала? Соберите цвет всевозможных деревьев, сорвите все полевые цветы, прибавьте индийские пряности, опрыскайте амброй, окурите пахучей янтарной смолой эти прохладные подвалы, смешайте все эти тончайшие ароматы, подобно тому как пчела собирает воедино мед из всевозможных цветов, — какой же это слабый, какой обычный запах, недостойный нежного благоухания вашего кубка, уроженцы Бингена и Лаубенгейма, недостойный вашего благоухания, уроженцы Ниренштейна 1718 года!

— Вы качаете головой, отец? Осуждаете, что меня так радует встреча с вашими старыми знакомыми? Вот, друг, возьми бокал, выпей за процветание двенадцати! Давай чокнемся за их здоровье!

— Боже упаси, чтобы я в сегодняшнюю ночь хоть каплю выпил, — ответил он, — с нечистым шутки плохи. Перепробуйте все штофики, и пойдемте дальше. Меня в этом подвале жуть берет!

— Что же, тогда спокойной ночи, старожилы с берегов Рейна, и сердечное спасибо за усладу! И знаете, я рад услужить вам — и тебе, мой крепкий, пламенный Иуда, и тебе, мой нежный ласковый Андрей, и тебе, мой Иоанн, придите ко мне, я жду вас, жду!

— Царю Небесный! — прервал меня старик, он захлопнул дверь и поспешил повернуть ключ в замке. — Видно, вы опьянели от нескольких глотков вина, раз призываете нечистого! Разве не знаете, что сегодняшней ночью, как всегда в ночь на первое сентября, встают духи вина и ходят друг к другу в гости? Пусть мне откажут от места, но, если вы опять поведете такие речи, я убегу. Еще не пробило двенадцати, но ведь в любую минуту из бочки может вылезти винный дух с богомерзкой рожей и до смерти напугать нас!

— Отец, ты бредишь! Но успокойся, я не пророню больше ни слова, чтобы не пробудить твоих винных привидений. А теперь отведи меня к Розе.

Мы продолжали наш путь; мы вошли в новый подвал, в бременский розовый садик. Там лежала она, наша старая Роза, большая, огромная, внушительная и высокомерная с виду. Какая огромная бочка, и каждый бокал стоит золота. Год рождения 1615-й! О благородная лоза, скажи, где руки, что сажали тебя, где глаза, что радовались твоему цветению, где все те веселые люди, что встречали ликованием твои богатые грозди, когда их срезали на прирейнских холмах, когда давили ягоды, освобождая их от выжимок, и в чаны золотой струей стекал сок? Эти люди исчезли, как волны многоводной реки, омывавшей твой родной виноградник. Где они, где старые господа ганзейцы, почтенные сенаторы, отцы этого старого города, те, что сорвали тебя, благоуханная роза, и пересадили под здешние прохладные своды на радость внукам? Ступайте на Ансгариевское кладбище, подымитесь к церкви Божьей Матери и возьмите вино на их могилы! Они ушли, и вместе с ними ушло два столетия!

Итак, за ваше здоровье, почтенные господа анно¹ 1615, и за здоровье ваших достойных внуков, столь гостеприимно протянувших руку мне, чужому в их городе, и угостивших меня здешним бальзамом.

— Так, а теперь спокойной ночи, фрау Роза, — уже приветливее прибавил старик-служитель, укладывая штофики в корзину, — спокойной ночи и счастливо оставаться. Сюда, сюда, нет, не за угол, на выход из погреба сюда, уважаемый. Не наткнитесь на бочки, идемте, я посвечу.

— Ни в коем случае, — возразил я, — теперь только начнется настоящая жизнь. Пока было лишь предвкушение. Принеси мне туда, в большую залу, коллекционного вина урожая двадцать второго года, так, две-три бутылки. Я видел, как это вино зеленело, при мне его давили. Я уже отдал дань восхищения старым годам, теперь надо воздать должное и моему времени.

Бедняга застыл, выпучив глаза, и, казалось, не верил своим ушам.

— Сударь, грех так шутить, — торжественно произнес он наконец. — Сегодняшней ночью я не останусь здесь ни за какие блага, не останусь, и все тут.

— А кто говорит тебе оставаться? Подай вино, и с Богом. Я хочу справить сегодня ночь воспоминаний и облюбывал для этого дела твой погребок, ты мне не нужен.

— Но я не имею права оставить вас одного, — возразил он. — Я, конечно, понимаю, что вы, не во гнев вашей милости будь сказано, погребок не обворуете, но это не разрешается.

— Ну, в таком случае запри меня тут, в помещении, повесь на дверь тяжеленный замок, чтоб я не мог выбраться, а в шесть утра разбуди и получи причитающиеся с меня деньги.

Старик попытался было возражать, но напрасно, в конце концов он поставил на стол три бутылки вина и девять свечей, вытер зеленый бокал, налил мне коллекционного вина двадцать второго года и пожелал, по всему видно с тяжелым сердцем, спокойной ночи. Он действительно запер дверь на два поворота ключа и повесил еще замок, мне подумалось, скорее из заботливого опасения за меня, чем из пристрастия к своему погребу. Как раз пробило половину двенадцатого. Я слышал, как он сотворил молитву

¹ Года (лат.).

и поспешил уйти. Шаги его доносились все глуше и глуше, но, когда он запер наружную дверь, под сводами в переходах и залах грянуло точно из пушки.

Итак, наконец мы с тобой наедине, о душа, глубоко внизу, под землей. Наверху, на земле, люди спят, им снятся сны, а здесь вокруг меня тоже спят в своих гробах духи вина. О чем грезится им? Может быть, об их быстротечном детстве, может быть, они вспоминают о далеких горах, где они родились, где выросли, о многоводном старике-отце, о Рейне, каждую ночь ласково напевавшем им колыбельную песню?

Вспоминаете ли вы солнце — нежную мать, поцелуем пробудившую вас ото сна, когда в ясную весеннюю пору вы впервые открыли глазки и взглянули вниз на чудесную рейнскую землю? Вспоминаете ли вы еще, как май пришел в свой немецкий парадиз и мать одела вас зелеными платьицами — листвою, а старик-отец этому очень радовался, поглядывал вверх из своего зеленого ложа, кивал нам и весело журчал у камня Лорелеи?

А ты, душа, вспоминаешь ли и ты розовые дни юности? Мягкие холмы своей родины, покрытые виноградниками, синие воды могучей реки, цветущие долины Швабии? О, упоительная пора сладких грез! Как радовали тебя книги с картинками, рождественские елки, материнская любовь, Пасхальные недели и пасхальные яйца, цветы, птицы, оловянные и бумажные солдатики и первые штанишки и курточки, в которые одели твою маленькую бренную оболочку, гордую своим ростом. Вспоминаешь ли ты, как покойный отец качал тебя на ноге, а дедушка всегда позволял покататься верхом на его трости с золотым набалдашником?

А теперь, со следующим бокалом, шагнем, душа, на несколько лет вперед. Вспомним то утро, когда меня привели в спальню к хорошо нам знакомому человеку, лицо которого стало таким бледным, и я, сам не понимая почему, поцеловал его руку. Ведь не мог же я подумать, что злые люди, которые положили его в шкаф и накрыли черными покрывалами, не мог же я подумать, что они не принесут его обратно? Успокойся, он тоже заснул только на время. А вспоминается ли нам таинственная, полная радости жизнь в дедушкиной библиотеке? Ах, в ту пору мне была знакома только одна книга — мой заклятый враг: противный

учебник Брёдера. Я не знал, что дедушкины фолианты переплетены в кожу не только для того, чтобы было удобно строить из них дома и сараи для меня и моего стада!

Вспоминается ли мне еще, как я расправился с немецкой литературой меньшего формата? Ведь я запустил в голову моему брату Лессинга, правда, в ответ он пребольно отлупил меня «Путешествием Софии из Мемеля в Саксонию». В ту пору я, конечно, не думал, что впоследствии сам буду сочинять книги!

И ты, старый замок, ты тоже возникаешь из тумана минувших лет! Как часто твои полуразрушенные ходы, подземелье, крепостная башня, темницы служили нам, детворе, местом шумных игр! В солдат и разбойников, в кочевников и караваны! Как часто я с наслаждением исполнял подчиненную роль казака, в то время как другие дрались, изображая генералов — Платовых, Блюхеров, Наполеона и им подобных. Разве не случалось мне в угоду другу быть порой лошадьё? Господи, как чудесно там игралось!

Где они, друзья нашего детства, товарищи тех золотых дней, когда ни чин, ни звание, ни титулы не играли роли? Графы и бароны, надо думать, проводят ныне время путешествуя по свету или служат при дворе камергерами; бедняки в качестве подмастерьев бродят по Германии, босиком, с тяжелой котомкой за плечами, охотятся у дверей карет за пфеннигами и ловят их на лету в свои потемневшие от дождя шляпы, и, часто случается, любовное томление ложится на их плечи еще большим бременем, чем котомка. Другие товарищи, те, что преуспели в классической словесности благодаря аккуратности и прилежанию в школе, стали пасторами и сидят в шлафроке или стихаре около своей женушки. Другие теперь чиновники, еще другие аптекари, кое-кто референдарии или еще что-нибудь в том же роде. И только мы с тобой, моя душа, сойдя с обычной стези, сидим здесь, в бременском винном погребе, и услаждаем себя вином. Но кем же особенным мы стали? Доктором? Им может стать всякий, у кого хватит ума написать диссертацию.

Однако, душа, я осушаю уже четвертый бокал. Четвертый! Чувствуешь ты некую связь между вином и языком? Между языком и глоткой? Я утверждаю, что здесь перекресток и тут же у него указатель. На одной стороне написано: «Дорога в желудок». Эта широкая проезжая дорога идет под гору, так и катится,

так и катится, так и скользит все по ней. Поэтому более грубая пища обычно отправляется по этой дороге. Другая табличка указателя гласит: «Дорога в голову». По ней отправляются винные духи, изрядное время уже проскучавшие в бочке с презренной грубой материей, и теперь, когда им предоставлена свобода, они посматривают на табличку, указывающую путь направо и вверх. В то время как вино сплошным потоком устремляется налево и вниз, винные духи поднимаются вверх и попадают в гостиницу под вывеской «Седалище души». Эти духи — мирный, разумный народ. Они вносят свет в твой дом, душа, пока их всего четверо или пятеро, потом я уж за них не поручусь, они могут содейть в мозгу драку и всяческое бесчинство.

Как прекрасен четвертый период жизни, который мы начали с четвертым бокалом! Нам с тобой четырнадцать лет, о душа! Но как все изменилось за этот короткий срок! Детские игры, солдатики и всякий прочий хлам далеко позади, и мы с тобой, как мне вспоминается, читаем запоем. Теперь мы уже добрались до Гёте и Шиллера, мы глотаем их, хоть и не все нам понятно. Или это не так? Нам с тобой уже все понятно? Ты хочешь сказать, что в те годы я уже мог понять любовь, если в прошлое воскресенье на вечеринке поцеловал в темном углу за комодом Эльвиру и отверг нежности Эммы? Варвар! Ведь мог же я предположить, что эта тринадцатилетняя девочка тоже читала «Вертера» и даже кое-какие сочинения Клаурена и почувствовала ко мне любовь. Но сменим декорации. Привет тебе, горная долина, привет тебе, голубая многоводная река! На твоём берегу я провел три долгих года. Прожил те годы, за которые мальчик становится юношей. Привет тебе, монастырский приют, и тебе, крытая галерея с портретами умерших настоятелей, и тебе, церковь с замечательным алтарем, привет и вам, чудесные ландшафты, купающиеся в золотом сиянии утренней зари! Привет вам, замки на скалах, пещеры, долины, зеленые леса! Те долины, те стены монастыря были тесным гнездом, растрившим нас, пока мы не оперились, а суровому горному воздуху мы обязаны тем, что не стали неженками.

Я приступаю к пятому бокалу, к пятому столетию нашей жизни. Я медленно прихлебываю благородное рейнское вино и впитываю вас капля за каплей, любезные сердцу воспоминания, вы расцветаете, о годы моей юности, вы источаете чудесное благоухание, подобное тому аромату, что исходит из моего бокала.

Взгляд мой повеселел, о душа, ведь вокруг друзья моей юности! Как назвать мне тебя, жизнь студенческих лет, — ты и возвышенная, благородная, ты и грубая, варварская, и милая, и беспорядочная, и мелодичная, и отталкивающая, и все же такая приятная и живительная! Как описать мне вас, золотые часы, ликующие звуки братской любви? В каких тонах говорить о вас, чтобы меня правильно поняли? Какими красками изобразить тебя, никем не постигнутый хаос? Мне, мне описать тебя? Ни за что на свете. Твоя смехотворная сторона у всех на виду, она не скрыта от «непосвященных», ее описать можно, но твое внутреннее обаяние знает только рудокоп, который в братской компании спустился с песней в шахту. Золото, вот что принесет он наверх, только чистое золото. Много или мало, не важно. Но это еще не все то ценное, что он добыл. Он не расскажет постороннему, что видел, для слуха непосвященного это прозвучало бы и слишком необычно, и все же слишком изысканно. Там, в глубине, живут духи, не доступные ни зрению, ни слуху постороннего. Там, в подземных залах, звучит музыка, но прозаический слух человека рассудочного воспримет ее как пустую, ничтожную. Но тот, кого она заберет за живое, кто сам запоет вместе с ней, ощутит своеобразное посвящение, даже если он и усмехнется тому, что его фуражка, которую он сохраняет как символ, продырявлена. Старенький мой дедушка! Теперь я знаю, о чем ты думал, когда «барин справлял свой високосный день». У тебя тоже были милые сердцу друзья юности, я знаю, почему дрожала слеза на твоих седых ресницах, когда ты добавлял еще один крест в книгу для памятных записей. Они живы!

Брось, брат, эту бутылку, начнем новую для новых радостей. Наполним шестой бокал! Кто может уразуметь тебя, о любовь?!

Мы были не первые и не последние. Мы читали о любви и думали, что любим. Всего удивительнее и, однако, всего естественнее, что фазы, или стадии, такого рода любви отражали прочитанное. Разве не рвали мы незабудки и лютики и не преподносили робко букетики докторской дочке в Г., разве не выжимали из глаз слезу только потому, что прочитали: «В полях срывает он лилею и молча преподносит ей...», «...и тайно слезы льет в тиши...»?¹ Разве не любили à la Вильгельм Мейстер, то есть не зна-

¹ Перев. И. Миримского.

ли, кого мы любим — Эммилину или нежную Камиллу, а то и Оттилию? Разве они все три, в изящных ночных чепчиках, не подсматривали из-за спущенных штор, когда зимой мы пели у них под окном серенаду и бойко перебирали струны гитары окочевевшими на морозе пальцами? А потом, когда выяснилось, что все они бездушные кокетки, разве мы не кляли тогда безрассудно любовь и не зареклись жениться до тех пор, пока швабы не поумнеют, то есть не раньше сорока лет?

Кто может уразуметь тебя, о любовь? Кто может заречься любить? Ты возникаешь в глазах любимой и через наши глаза украдкой пробираешься в сердце. И все же ты могла так холодно слушать те песни, что я тебе пел, ты не хотела отвечать на взгляды, что я так часто тебе посылал! Мне хотелось быть генералом только ради того, чтобы она с замираньем сердца прочитала в газете мою фамилию: «Генерал Гауф отличился в последнем бою, в сердце ему попало восемь пуль — но он остался жив». Мне хотелось быть барабанщиком только ради того, чтобы у дверей ее дома дать волю своему горю в оглушительной барабанной дробь, а если она в испуге выглянула бы из окна, я поступил бы как раз обратно тем русским барабанным удалцам, которые так наяривают, что ушам больно, я бы, наоборот, от фортиссимо перешел в пиано и в тихом адажио барабанной дробью нашептывал ей: «Я люблю тебя!» Мне хотелось бы стать знаменитым только ради того, чтобы слух обо мне дошел до нее и она с гордостью подумала: «Когда-то он был влюблен в меня». Но увы! Люди не говорят обо мне, самое большее ей завтра скажут: «Вчера он опять до полуночи валялся в винном погребе!» Добро бы еще я был сапожником или портным! Но это пошлая мысль, недостойная тебя, Адельгунда!

Теперь, верно, в городе уснули все, не спят только двое — самый высокий и самый низкий: сторож наверху, на соборной колокольне, да я внизу, в погребе. Ах, почему я не на колокольне! Каждый час я брал бы рупор, и к тебе в спальню слетала бы моя песня. Но нет! Ведь я бы нарушил твой сон, мой нежный ангел, пробудил бы тебя от сладких, приятных грез. Здесь же, внизу, меня никто не слышит; итак, я затаю свою песню. Душа! Разве я не подобен солдату, стоящему на посту, чье сердце исходит тоской по родине? И разве эту песню сложил не один из моих друзей?

В ночном дозоре на посту
Стою от вахты за версту
И думу думаю свою
Про милую в родном краю.

Я помню поцелуй ее,
Когда погнали под ружье.
Она мне шапку подала
И на прощанье обняла.

Пусть ночь темна и холодна,
Зато мне милая верна.
Едва подумаю о ней —
Теплей и сердцу веселей.

Сейчас в каморку ты войдешь,
Лампаду робкую зажжешь,
Чтоб помолиться перед сном
О суженом в краю чужом.

Но коли ты сейчас грустишь,
И слезы льешь, и ночь не спишь —
Не убивайся, срок пройдет,
Господь солдата сбережет.

Пробило полночь в тишине,
Уж на подходе смена мне,
В каморке тихой засыпай
И в снах меня не забывай!

Вспоминает ли она обо мне в своих сновидениях? Я пел под глухое гудение колоколов. Уже полночь? В полуночном часе есть особая таинственная жуть; чудится, будто тихо-тихо вздрагивает земля, спящие под ней люди, поворачиваясь на другой бок, сотрясают тяжелый кров и спрашивают соседа, что покоится в ближней каморке: «Утро еще не настало?» Совсем иначе доходит вниз ко мне трепетный голос полуночного колокола, совсем иначе, чем в полдень, когда он звонко разносится в светлом чистом воздухе. Тише! В погребе как будто скрипнула дверь? Странно, если бы я не знал, что здесь внизу я совсем один, если бы я не знал, что люди ходят только там, наверху, я бы подумал, что тут, в подвалах, раздаются шаги. Ой, так и есть; шаги ближе; кто-то ищет ошупью дверь, вот нашел ручку, нажимает, но дверь

¹ Перев. М. Рудницкого.

заперта на ключ, закрыта на засовы и задвижки. Сегодня ночью меня не потревожит ни один смертный. Ой, что это? О ужас! Дверь открывается!

В дверях стояли двое, они отвешивали церемонные поклоны, уступая друг другу дорогу. Один был длинный, худой, в пышном черном парике с буклями, в темно-красном кафтане допотопного покроя, отделанном золотыми галунами и золототкаными пуговицами; его невероятно длинные, тощие ноги торчали из узких штанов черного бархата, с золотыми пряжками у колен, ниже шли красные чулки, а на башмаках тоже красовались золотые пряжки. Шпагу с фарфоровым эфесом он просунул в клапан на штанах. Размахивая маленькой шелковой треуголкой, он отвешивал поклоны, и при этом букли парика водопадными струйками ниспадали ему на плечи. Лицо у него было бледное, изможденное, глаза глубоко запавшие, большой нос огненно-красного цвета. Его спутник, гораздо ниже его ростом, которому он уступал дорогу, имел совсем иное обличье. Волосы у него были прилизаны, смазаны яичным белком, только на висках закручены в две трубочки, похожие на кобуры пистолета. Коса длиной в локоть сползала вдоль спины, на нем был светло-серый мундир с красными отворотами, ноги были всунуты в ботфорты, а упитанный животик — в богато расшитый камзол, доходивший до самых колен; на поясе висела рапира невероятной длины. В его заплывшем жиром лице было какое-то добродушие, особенно в маленьких, рачьих глазках. Для вящей учтивости он размахивал огромной войлочной шляпой с загнутыми с двух сторон полями.

После того как я оправился от первого испуга, у меня осталось еще достаточно времени для наблюдений, ведь эти господа в течение нескольких минут выделяли в дверях всякие искуснейшие антраша. Наконец длинный распахнул настежь дверь, взял низенького под руку и ввел его в мою залу. Они повесили шляпы на стену, отстегнули шпаги и молча сели за стол, не обратив на меня внимания. «Разве сегодня в Бремене карнавал?» — подумал я, разглядывая странных гостей. И все же в их облике было что-то жуткое. Не по себе было мне от их застывшего взгляда, от их молчания. Я уже хотел собраться с духом и заговорить, но тут в погребке снова послышался шум шагов. Шаги приблизились, дверь открылась, и четверо новых господ, тоже в старомодной одежде, вошли в залу. Мое внимание особенно привлек

один, в охотничьем костюме, с арапником и рогом. Он чрезвычайно весело огляделся вокруг.

— Мое почтение, милостивые государи с берегов Рейна! — произнес басом длинный в красном кафтане, встав и отвесив поклон.

— Мое почтение, — пропищал маленький, — давно не видались, господин Иаков!

— Эй, эй, больше бодрости! Доброго здоровья, господин Матфей! — обратился охотник к маленькому. — И вам тоже, господин Иуда, и вам тоже доброго здоровья! Но что это значит? Где бокалы? Где трубки и табак? Видно, он, старый греховодник, жалкая мокрица, еще не очнулся от сна?

— Вот ведь лежебока! — отозвался маленький. — Этаким соня, лежит себе полеживает на кладбище, но погоди же, я тебя сейчас вызовню!

С этими словами он схватил колокол, стоявший на столе, и зазвонил, и засмеялся резко и пронзительно. Остальные трое вновь пришедших тоже пожелали здравствовать всей честной компании и, поместив в угол палки, шпаги и шляпы, сели за стол. Того, что сидел между охотником и красным Иудой, они называли Андреем. Это был изящный, весьма приятный господин, на его прекрасных, еще юношеских чертах лежала печать строгой грусти, а на нежных губах блуждала кроткая улыбка; он был в белом куре с буклями парике, составлявшем разительный, однако приятный контраст с его большими карими глазами. Напротив охотника сидел крупный мужчина с красными прожилками на щеках и багровым носом. Нижняя губа у него отвисла; он барабанил пальцами по толстому животу. Они называли его Филиппом.

Рядом с ним сидел ширококостный мужчина, похожий на воина; его темные глаза сверкали отвагой, яркий румянец играл на щеках, густая борода затеняла рот. Его называли «господин Петр».

Как у истых пьяниц, разговор без вина у них не клеился. Тут в дверях появилась новая фигура: седенький старичок на дрожащих ногах. Голова его казалась черепом, обтянутым сухой кожей, тусклые глаза глубоко запади. Тяжело дыша, втащил он в погреб большую корзину и смиренно поклонился гостям.

— Смотрите-ка! Вот и он, вот Валтасар, старый сторож винного погреба! — приветствовали его гости. — Пошевеливайся,

старик, ставь бокалы и подавай трубки! Где это ты застрял? Уже далеко за полночь.

Старик несколько раз не совсем благопристойно зевнул, да и вообще вид у него был заспанный.

— Чуть не проспал первое сентября, — прокряхтел он. — У меня такой крепкий сон, а с тех пор, как кладбище замостили, я плохо слышу. Но где же остальные гости? — продолжал он, доставая из корзины и ставя на стол бокалы причудливой формы и внушительных размеров. — Где же остальные? Вас всего шестеро, и старой Розы тоже нет.

— Ставь штофы, — приказал Иуда, — чтобы мы могли наконец выпить, и ступай за ними. Они еще в бочках, постучи своими костяшками и вели им вставать, скажи, мы все уже в сборе.

Но не успел господин Иуда промолвить эти слова, как за дверью раздался громкий шум и смех.

— Гип-гип-ура! Да здравствует девица Роза, ура! И ее драгоценному дружочку Бахусу тоже ура! — раздались голоса, и сидящие за столом таинственные гуляки повскакивали с мест, громко крича: — Она, она тут! Девица Роза, и Бахус, и все остальные, ура! Теперь пойдет настоящее веселье! — И они подымали за здравные чаши, смеялись; толстяк барабанил себя по животу, а бледный сторож добросил шапку до самой подволоки, ловко швырнув ее между расставленными ногами, и присоединился к общему ликованию, крича: «Гип-гип-ура!» — да так пронзительно, что у меня зазвенело в ушах. Какое зрелище! Деревянный Бахус, проскакавший по погребу верхом на бочке, спешил и, как был, голышом, затопал маленькими ножками в зал, своим круглым ласковым личиком и ясными глазками приветствуя всю компанию. Он вел за руку, почтительно, как невесту, старую матрону высокого роста и внушительных объемов. Я по сей день не знаю, как могло это случиться, но тогда меня как осенило: эта дама и есть старая Роза, огромная бочка в Розовом подвале.

И как же эта старая рейнская уроженка разоделась! В молодости она, надо думать, была очень хороша собой. Хотя время и проложило морщины у нее на лбу и возле рта, хотя яркий румянец молодости и сошел с ее щек, все же два столетия не смогли окончательно стереть благородные черты ее красивого лица. Брови у нее, правда, поседели и на заострившемся подбородке нахально вылезло несколько седых волосков, но приглаженные во-

лосы, красиво окаймлявшие лоб, были каштанового цвета, и только кое-где в них серебрилась седина. Черная бархатная шапочка тесно прилегалa к вискам, под стать шапочке была душегрейка из тонкого черного сукна, а из-под нее выглядывал корсаж красного бархата, с серебряными крючочками и шнуровкой. На шее блестящее широкое гранатовое ожерелье, а на нем висела золотая медаль, пышная юбка коричневого сукна охватывала ее дородное тело, а крошечный белый передничек, отделанный тонким кружевом, глядел плутовато. С одной стороны передничка висела большая кожаная сумка, с другой — связка огромных ключей; словом, Роза была вполне под стать тем почтенным матронам, что anno 1618 гуляли по улицам Кельна или Майнца.

А следом за Розой вошли, размахивая треуголками, еще шесть веселых кумпанов в кое-как надетых на голову париках, в долгополых кафтанах и длинных, богато затканых камзолах.

Уважительно, с должной благопристойностью повел Бахус при общем ликовании свою даму к столу. Она, как то приличествует, поклонилась всей компании и опустилась на стул, рядом с ней сел деревянный Бахус, а Вальтасар, сторож при погребке, подсунул под него толстую подушку, иначе Бахусу было бы слишком низко сидеть. И последние шесть собутыльников тоже сели за стол, и тогда я заметил, что здесь и вправду все двенадцать рейнских апостолов, которые обычно покоятся в бременском Апостольском подвале.

— Ну вот мы и собрались, — сказал Петр, когда ликование несколько приутихло, — вот мы и собрались, весь наш молодой веселый народ тысяча семисотого года, как всегда, все в добром здравии. Ну так за ваше здоровье, девица Роза, вы тоже не постарели, все такая же осанистая и красивая, как пятьдесят лет тому назад, за ваше здоровье, живите и здравствуйте, и ваш драгоценный дружок, господин Бахус, пусть тоже живет и здравствует!

— Да здравствует старая Роза, да здравствует! — воскликнули все, подняли бокалы и выпили. А господин Бахус, пивший из большой серебряной чаши, без труда осушил две кварты рейнского, и по мере того, как пил, он на глазах у всех вырастал и толстел, наподобие свиного пузыря, когда его надувают.

— Покорнейше благодарю, уважаемые господа апостолы и родственники, — ответила фрау Розалия, приветливо кланяясь. — Вы, я вижу, все такой же беспутный шутник, господин Петр!

Я ни о каком драгоценном дружке ничего не знаю, и негоже так смущать благонравную девицу. — Говоря так, она опустила очи долу и осушила бокал внушительного размера.

— Драгоценная моя подружка, — возразил Бахус, смотря на нее нежными глазками и беря ее за руку, — драгоценная моя, к чему так жеманиться? Ты же отлично знаешь, что мое сердце принадлежит тебе уже двухсотую осень и что среди всех остальных я привечаю тебя. Скажи, когда мы отпразднуем свадьбу?

— Ах вы, беспутный плутишка! — ответила старая дева и, покраснев, отвернулась от него. — С вами и четверти часа не просидишь, как вы уже пристаёте со своими амурами. Честной девушке и смотреть-то на вас зазорно. Что вы чуть не голышом по погребу бегаете? Могли бы на сегодняшнюю ночь позаимствовать у кого-нибудь штаны. Эй, Валтасар, — позвала она, развязывая свой белый передничек. — Повяжи господину Бахусу этот передник, уж очень у него непотребный вид!

— Розочка, если ты меня сейчас поцелуешь, — воскликнул настроенный на любовный лад Бахус, — я позволю повязать мне на живот эту тряпицу, хоть и вижу в этом злую обиду своему наряду, но чего не сделаешь ради прекрасной дамы!

Валтасар повязал ему передничек, и он нежно склонился к Розе.

— Ах, не будь здесь этой молодежи... — прошептала она, застыдившись и тоже склоняясь к нему.

И все же бог вина приобрел под общие разудалые и разгульные клики и вспомоществование в виде передничка, и желанные проценты. Затем, опять осушив свою чару, он раздулся на несколько пядей вширь и ввысь и запел хриплым голосом:

Ветшают нынче замки все,
Прошло для замков время,
И лишь один стоит в красе,
Им славен город Бремен.
Роскошеству его палат
Сам кайзер, верно, был бы рад.
А в нише за решеткой
Какая там красотка!

Глаза что ясное вино,
Пылают щеки ало,
А платье! — не видал давно
Такого матерьяла!

Наряд из дуба у нее,
Из тонкой бересты шитье,
И зашнурован туго
Железною подпругой.

Да вот беда, ее покой
Закрыт замками прочно.
А я хожу вокруг с мольбой
Порою полуночной
И у решетчатых дверей
Шепчу ей: «Отвори скорей,
Чтоб нам с тобой обняться
И всласть намиловаться».

И так все ночи я без сна
Брожу по подземелью,
Но лишь однажды мне она
Свою открыла келью.
Видать, я ей не угодил,
Себе же — сердце занозил.
Открой, святая Роза,
И вытащи занозу!¹

— Вы шутник, господин Бахус, — сказала Роза, когда он закончил нежную трелью, — вы же знаете, что бургомистр и господа сенаторы держат меня в строгом затворничестве и не разрешают ни с кем амуриться.

— Но мне-то ты все-таки могла бы иногда отворить свою спаленку, любезная Розочка, — прошептал Бахус, — у меня охота вкусить от сладости твоего ротика.

— Вы плутишка, — смеясь, ответствовала она. — Вы турок и путаетесь со многими; думаете, я не знаю, как вы любезничаете с ветреной француженкой мамзель Бордосской и с мамзель Шампанской, бледнолицой, как мел, да-да, у вас скверный нрав, вы не цените верную немецкую любовь.

— Правильно, я тоже так говорю! — воскликнул Иуда и потянулся длинной костлявой рукой к руке девицы Розы. — Я тоже так говорю, а по сему случаю возьмите меня в присяжные кавалеры, дражайшая, а этот голыш пусть за своей француженкой волочится.

¹ Перев. М. Рудницкого.

— Что? — крикнул деревянный голыш и, разгневавшись, выпил несколько кварт вина. — Что? Розочка, ты хочешь связаться с этим юнцом тысяча семьсот двадцать шестого года рождения? Фи, стыдись; а что касается моего голого наряда, господин умник, так я не хуже вашей милости могу напялить парик, надеть кафтан и прицепить шпагу, но я нарядился так потому, что в теле у меня пламень и я не мерзну в погребѣ. А то, что девица Роза о французѣнках говорит, так это чистейшая выдумка. Я к ним иногда хаживал и забавлялся их остроумием, вот и все; я верен тебе, драгоценная моя, и тебе принадлежит мое сердце.

— Нечего сказать, хороша верность! — возразила его дама. — Довольно того, что дошло до нас из Испании, какие у вас с тамошними дамами шашни. О слапавой потаскушке Херес и говорить не стоит, это всем известно, а что вы скажете о девицах Дентилья де Рота и о Сан-Лукар? Да еще о сеньоре Педро Хименес?

— Черт возьми, уж очень вы ревнивы! — рассердился он. — Нельзя окончательно порвать старые связи. А что касается сеньоры Педро Хименес, то здесь вы не правы. Я бываю у нее только из добрых чувств к вам, потому что она ваша родственница.

— Наша родственница? Что вы сказки рассказываете? — заговорили разом все двенадцать и Роза. — Каким это образом?

— Разве вам неведомо, что эта сеньора, в сущности говоря, родом с берегов Рейна. Почтенный дон Педро Хименес вывез ее еще совсем молоденькой лозой с берегов Рейна к себе на родину в Испанию, там она прижилась, и он усыновил ее. Еще и по сию пору, хотя она и приобрела сладостный испанский характер, еще и по сию пору она не утратила сходства с вами, ведь основные фамильные черты не стираются окончательно. У нее та же окраска, тот же аромат, что и у вас; и это делает ее вашей достойной родственницей, драгоценнейшая девица Роза.

— За здравие, за здравие гишпанской тетушки Хименес! — воскликнули апостолы и подняли кубки.

Девица Роза, должно быть, не очень-то доверяла своему обожателю и подняла кубок с кисло-сладкой миной. Но по-видимому, ей не хотелось продолжать дуться, и она начала разговор:

— А вы, дорогие мои рейнские родственники, все собрались? Да, вот мой нежный, приятный Андрей, вот отважный Иуда, вот пламенный Петр! Добрый вечер, Иоанн, протри сонные глазки,

ты какой-то совсем унылый. А ты, Варфоломей, не в меру растолстел и как будто обленился. А вот и веселый Павел, а как оглядывает всех Иаков, все такой же, как и прежде. Но как же так? За столом вас тринадцать! Кто это там в чужеземном наряде, кто его сюда приглашал?

Господи, как я испугался! Все они поглядели на меня с удивлением и, по-видимому, были не очень довольны моим присутствием. Но я собрался с духом и сказал:

— Покорнейше прошу разрешения представиться почтенной компании. Я человек, удостоенный степени доктора философии, только и всего, и в данное время проживаю в здешнем городе в гостинице «Город Франкфурт».

— Но ответствуй, удостоенный степени смертный, как посмел ты пожаловать сюда к нам в такой час? — весьма строго спросил Петр, и его пламенный взор сверкнул молнией. — Кажется, следовало бы знать, что тебе не место в такой высокородной компании.

— Господин апостол, — ответил я и по сей день еще не понимаю, откуда взялась у меня такая смелость, верно от вина. — Господин апостол, прежде всего, пока мы не добрые знакомые, воспрещаю вам именовать меня на «ты». А что касается вашей высокородной компании, в которую якобы я пожаловал, так это ваша высокородная компания пожаловала ко мне, а не я к ней. Я, милостивый государь, сижу в этом помещении уже три часа!

— А что вы делаете в такой поздний час здесь, в винном погребе? — не так гневно, как апостол, спросил Бахус. — В это время земные обитатели обычно спят.

— Ваше превосходительство, на то есть своя причина, — ответил я, — я друг и приверженец благородного напитка, что цедят в здешнем подвале. Недаром высокородный сенат соблаговолил дать мне соизволение нанести визит господам апостолам и девице Розе, что, как то приличествует, я и выполнил.

— Значит, вы охотно пьете рейнское вино? — сказал Бахус — Ну, так у вас хороший вкус, что весьма похвально, особенно в теперешнее время, когда люди охладели к этому золотому напитку.

— Да, черт побери их всех! — воскликнул Иуда. — Теперь никто не выпьет нескольких кварт рейнского, разве какой-нибудь заезжий доктор или досужий магистр, гуляющий в каникулярное время, да и эти нищие норовят выпить на дармовщинку.

— Покорнейше прошу извинить меня, господин фон Иуда, — прервал я наводящего страх господина в красном кафтане. — Я только отведал немного вашей виноградной крови тысяча семисотого года и некоторых других годов, ею меня потчевал здешний уважаемый бургомистр, а та, что стоит сейчас на столе, помоложе, и расплатился я за нее чистоганом.

— Доктор, не принимайте так близко к сердцу его слова, — сказала девица Роза. — Иуда это не со зла, его только сердит, и тут он прав, что времена переменялись и народ пошел какой-то вялый.

— Да, — воскликнул Андрей, нежный, приятный Андрей, — мне думается, что теперешнее поколение чувствует себя недостойным благородных напитков, потому сейчас и приходится варить всякую бурду из шнапсов и сиропов и давать ей разные помпезные наименования: Шато Марго Силери, Сен-Жюльен или какие другие в том же роде, — и потчевать этой смесью за трапезами, а вокруг рта от нее остается красное кольцо, потому что вино подкрашено, и наутро болит голова, потому что это презренный шнапс.

— Да, раньше, когда мы были еще молодыми, можно сказать юными, в годы девятнадцатый и двадцать шестой, жизнь была совсем другая, — повел речь Иоанн. — Даже еще в пятидесятом году в этих прекрасных покоях кипела жизнь. Каждый вечер, будь то ясной весной, когда солнце светит, будь то зимой, когда падает снег или идет дождь, каждый вечер во всех подвальчиках было полно гостей. Тут, где мы сейчас сидим, восседал во всем своем величии и блеске бременский сенат. Во внушительных париках, при шпагах, с отвагой в сердце, и перед каждым сенатором стояла большая чара.

Здесь, здесь, не наверху, не на земле, здесь была их ратуша, вот это была зала сената; именно здесь за стаканом прохладного вина трактовали они о благе города, о соседях и прочих делах. Ежели сенаторы не сходились в суждениях, они не спорили, не пререкались, а бодро подымали заздравную чашу, вино согревало сердца, весело разливалось по жилам, и тогда быстро созревало решение, сенаторы пожимали друг другу руки и по-прежнему оставались друзьями, потому что были друзьями и приверженцами благородного вина. Данное слово было свято, и утром на-

верху, в присутственной комнате магистрата, приводили в исполнение то, на чем порешили накануне в винном погребе.

— Да, хорошее было время! — воскликнул Павел. — С тех пор и повелось и до сего дня еще ведется, чтобы у каждого сенатора был свой винный листок, ежегодный винный счет. Тем господам, что сидели и пили здесь каждый вечер, не угодно было всякий раз лезть в карман и развязывать кошель. Они велели отмечать на бирке, сколько было выпито, а в Новый год рассчитывались, и в наши дни еще есть славные господа, которые тоже так делают, но таких осталось немного.

— Да-да, детки, — сказала старая Роза, — прежде было иначе, так пятьдесят, сто, двести лет тому назад. Тогда гости приводили в погреб жен и дочерей, и бременские красавицы пили рейнское или вино наших соседей — мозельское — и славились далеко вокруг цветущими щеками, алыми губками и прекрасными сияющими глазами. Теперь они пьют всякую мизерабельную дрянь вроде чая или чего-то в том же роде, что, как говорят, растет далеко отсюда — у китайцев — и что в мое время женщины пили, когда их одолевал кашель или какая другая хворь. Рейнское, приятное, давно признанное рейнское вино они терпеть не могут. Подумайте только, бога ради. они подливают в него испанское сладкое вино, вот тогда оно им по вкусу, они говорят: рейнское слишком кисло.

Апостолы громко расхохотались, и я невольно вторил им, а Бахус так трясся от хохота, что Валтасару пришлось его держать.

— Да, доброе старое время! — воскликнул толстый Варфоломей. — Бывало, бюргеры выпивали два штофа в один присест и не пьянели, а теперь их один бокал с ног валит. Потеряли привычку.

— Много лет тому назад случилась тут прелюбопытная история, — сказала девица Роза и улыбнулась.

— Расскажи, расскажи твою историю, — стали просить все; она выпила изрядно вина, чтобы прочистить глотку, и начала свой рассказ:

— В году тысяча шестисотом, да еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, в немецких землях шла великая война из-за веры. Одни думали так, а другие этак, и, вместо того чтобы разумно

за стаканом вина обо всем столковаться, они проламывали друг другу черепа. Альбрехт фон Валленштайн, генерал-фельдмаршал императорской армии, свирепствовал в протестантских землях. Шведский король Густав-Адольф сжалился и пришел им на помощь с большим войском, конным и пешим. Баталий дано было множество, оба войска ожесточенно преследовали друг друга на Рейне и на Дунае, но это и все; не было ни решительного наступления, ни решительного отступления. В те годы Бремен и остальные ганзейские города были нейтральны и не хотели портить отношения ни с той ни с другой стороной. Но путь шведу лежал через их владения, и ему важно было сохранить с ними дружбу и согласие, поэтому он решил отправить к ним посла. Однако всюду было ведомо, что в Бремене все дела вершатся в винном погребе и что сенаторы и бургомистр мастера пить; вот шведский король и боялся, как бы они не насели слишком рьяно на его посла и в конце концов не напоили его допьяна, а тогда он согласится и на невыгодные для шведов условия.

В шведском лагере был полковник, который чудовищно пил. Два-три штофа вина к завтраку были ему нипочем, а вечером на закуску он выпивал полбочонка и затем отлично спал. Вот когда короля мучили опасения, как бы не опоили в бременской погребе его посла, канцлер Оксенштирна рассказал ему о полковнике по имени Кунстштюкер, который может здорово пить. Король обрадовался и приказал позвать полковника.

Перед королем предстал тщедушный человечек, являвший весьма странное зрелище своим бледным лицом с синеватыми губами и огромным медно-красным носом. Король спросил его, сколько он считает возможным выпить, если приняться за дело всерьез. «О король и повелитель, — ответил тот, — всерьез я за это дело никогда не принимался и до сего дня себя еще не проверял; вино стоит недешево, за день больше семи-восьми штофов не выпьешь, а то влезешь в долги». — «Ну а сколько, по-твоему, ты все же можешь выпить?» — опять спросил его король, а тот бесстрашно ответил: «Если вы, ваше величество, соизволите заплатить, я бы охотно пропустил дюжину штофиков, но мой стреманный Валтасар Бездоннер пьет еще лучше меня». Тогда король послал и за Валтасаром Бездоннером, стреманным полковника Кунстштюкера, и если хозяин был уже достаточно бледен

и худ, то слуга был и того бледнее и худее, а лицо у него было просто пепельное, словно он всю жизнь пил только воду.

Тогда король повелел посадить полковника и Бездоннера, его стремянного, в палатку и доставить туда несколько бочонков старого хохгеймерского и ниренштейнского, а им приказал проверить свои силы. С одиннадцати утра до четырех вечера они осушили бочонок хохгеймерского и полтора бочонка ниренштейнского. Изумленный король пожаловал к ним в палатку, чтобы посмотреть, в каком они виде. Оба собутыльника твердо держались на ногах, и полковник сказал: «Так, а теперь я отпущу ремень от портупеи, тогда дело лучше пойдет». А Бездоннер расстегнул три пуговицы на колете.

Все присутствующие были потрясены, а король сказал: «Лучших послов в веселый город Бремен мне не найти». И тут же повелел отменно снарядить полковника, равно как и Бездоннера, который должен был изображать писаря. Король и канцлер научили полковника, что говорить во время беседы, и взяли с обоих слово за все время пути пить только воду, дабы встреча в погребке закончилась великой удачей. Полковнику Кунстштюкеру велено было мазать свой красный нос искусно изготовленной помадой, пока он не побелеет, чтобы в погребке не раскусили, каков их собутыльник.

Совсем истощенные от водной диеты, прибыли они в город Бремен, посетили бургомистра, и тот сказал сенату: «Ой, каких двух бледных и худых кумпанов прислал к нам швед. Вечером мы поведем их в наш погреб и напоим допьяна. Я беру на себя посла, а доктор Перец займется писарем». Итак, после вечернего звона их торжественно проводили в погребок, бургомистр вел полковника Кунстштюкера, а доктор Перец, тоже пивший на славу, вел под руку стремянного, одетого посольским писарем и державшегося со скромным достоинством. Следом шли господа сенаторы, приглашенные на переговоры. Здесь, в этом самом зале, они сели за стол и сперва откушали тушеного зайца, ветчины и селедки, чтобы набраться сил к предстоящей выпивке, затем посол, как то и положено, хотел приступить к переговорам, а писарь вытащил из сумки пергамент и перо, но бургомистр сказал: «Нет, ни в коем случае, почтенные господа, так не годится; в Бремене не заведено вершить дела всухую; по обычаю наших отцов

и дедов надо сперва выпить за здоровье гостей». — «Я, собственно, непьющий, — ответил полковник, — но, раз вашему высокородию так желательно, я глоточек выпью». И они начали пить и вести разговоры о мире, о войне и об имевших место баталиях. Бургомистр и доктор, чтобы подать гостям хороший пример, усердно пили за их здоровье и сильно разгорячились. При каждой новой бутылке послы извинялись, они-де к вину не привычны, оно уже и так ударило им в голову. Бургомистр был этому рад и в свое удовольствие пропускал чарку за чаркой и скоро уже не знал, с чего начать, но, как обычно бывает в этом удивительном состоянии, подумал: «Посол уже пьян, и писаря доктор уже здорово напоил» — и посему сказал: «А теперь приступим к делу». Шведы были довольны и повели себя так, будто они и впрямь пьяным-пьяны, и со своей стороны стали усердно пить за здоровье хозяев.

Вот так все пили, судили и рядили и опять пили, пока бургомистр не заснул на полуслове, а доктор Перец не свалился под стол. Тут за дело взялись прочие господа сенаторы, они пили за здоровье гостей и трактовали о делах; но если полковник пил здорово, то и стремянный не отставал от него; пять купорщиков неустанно бегали взад и вперед и наполняли бокалы, потому что вино исчезало мгновенно, словно его выливали в песок. В конце концов гости напоили хозяев, так что все сенаторы, кроме одного, свалились под стол.

Этого единственного оставшегося на ногах рослого здорового мужчину звали Вальтер. В Бремене о нем говорили всякое, и, не будь он сенатором, его бы давно обвинили в черной магии и колдовстве. Господин Вальтер, в сущности, был ремесленником — золотых дел мастером, но в гильдии он обратил на себя внимание, стал старшиной цеха, а затем прошел и в сенат. Он не ударил лицом в грязь, пил вдвое больше, чем оба гостя, вместе взятые, им даже стало жутковато, — он рассудка не потерял, а у полковника уже мутилось в глазах и в голове словно колесо вертелось. Каждый раз, осушив бокал, сенатор Вальтер совал руку под шляпу, и стремянному чудилось, будто над его черными, как вороново крыло, волосами подымается голубоватое облачко, легкое, как дымка. Вальтер пил и пил, пока полковник Кунстштюккер не положил тихонько голову на живот бургомистру и не погрузился в блаженный сон.

Тут сенатор Вальтер со странной улыбкой обратился к писарю: «Любезный кумпан, вид у тебя важный, но, сдастся мне, ты лучше справляешься со скребницей, чем с пером». Писарь обомлел. «Что вы имеете в виду, сударь? — сказал он. — Я надеюсь, вы это не всерьез, не забываете, я писарь посольства его величества».

«Ха-ха-ха! — громко расхохотался Вальтер. — С каких это пор подлинные посольские писари ходят в таких балахонах и пишут на заседаниях такими перьями?» Тут стремянный увидел, что он в своей рабочей одежде конюха, а в руке у него — вот так штука! — самая обыкновенная скребница. Он пришел в ужас, понял, что правда обнаружена, и от страха не знал, куда деться. Но господин Вальтер как-то странно и насмешливо улыбнулся и одним махом выпил за его здоровье полторы кварты вина. потом сунул руку за ухо, и стремянный явственно увидел, как у него над головой поднялась легкая дымка. «Боже меня упаси, сударь, пить с вами впредь, — вырвалось у него, — вы, как я теперь думаю, чернокнижник и на всякие штуки мастер».

«Это еще как сказать, — ответил Вальтер спокойно и дружелюбно, — но тебе, дражайший конюх, мало поможет, если ты и дальше будешь пытаться меня перепить: я ввинтил себе в мозг крошечный кран, через него винные пары выходят наружу. Вот смотри!» Он выпил большой бокал вина, повернулся затылком к Бездоннеру, разобрал на макушке волосы — и гляди-ка! — у него из головы, словно из бочки, торчал крохотный серебряный кран. Он повернул втулочку, и сразу же оттуда вышел голубоватый дымок. Теперь стало понятно, что винный дух несколько не отягощает мозг.

От удивления стремянный всплеснул руками. «Вот так изобретение, господин колдун! — воскликнул он. — А не можете ли вы за спасибо ввинтить и мне в голову такую штучку?» — «Нет, так дело не пойдет, — не спеша ответил Вальтер, — видно, вы недостаточно сведущи в тайных науках, но вы полюбились мне, уж очень здорово вы пьете, поэтому я готов услужить вам. Вот сейчас у нас вакантное место управителя в бременском погребке; Валтасар Бездоннер, брось службу у шведов, там больше воды, чем вина, пьют, и послужи высокородному сенату города Бремена. Если ты в тот или иной год вылакаешь больше вина, чем положено, не беда, выпьем еще; такого молодчика, как ты, нам

давно не хватало. Валтасар Бездоннер, если хочешь, я тебя завтра же сделаю управителем погребя. Не хочешь — как хочешь, только тогда весь город узнает, что швед вместо писаря послал нам конюха». Предложение пришлось Валтасару по вкусу, словно его угостили благородным вином. Он оглядел огромное винное царство, хлопнул себя по животу и сказал: «Согласен». Затем они договорились по разным пунктам: что станет со злосчастной душой Бездоннера после кончины его брэнного тела. Он стал управителем бременского винного погребя, а полковник Кунстштюкер отправился обратно в шведский лагерь, не договорившись ни до чего определенного. А когда императорское войско вошло в город, бургомистр и сенат были рады, что не связали себя обязательствами со шведом, хотя и не могли понять, как это так вышло.

Вот что рассказала Роза. Апостолы и я поблагодарили ее и очень посмеялись над обоими посланцами, а Павел спросил:

— А что случилось с веселым гулякой Валтасаром Бездоннером? Так и остался управителем погребя?

Роза оглянулась и, усмехнувшись, показала на угол залы.

— Вот он, веселый бражник, в том углу сидит, как и двести лет тому назад.

Мне стало страшно, когда я поглядел туда: в углу сидел бледный, изнуренный человек, он плакал и рыдал, неустанно запивая свое горе рейнским вином, и это был не кто иной, как тот управитель погребя Валтасар, который явился сюда с кладбища, откуда его вызвонил Матфей.

— Так как же, старик, значит, раньше чем стать купорщиком, ты служил в стремянных у полковника Кунстштюкера и даже был то ли писарем, то ли секретарем посольства? — обратился к нему Иаков. — Какие же условия поставил тебе господин с крапом в черепной коробке?

— Ох, сударь, — простонал Валтасар, тяжело вздыхая из самой глубины души, и стоны его звучали так жутко, словно ему вторила на фаготе смерть — смерть, которая пребудет во веки веков. — Ох, сударь, не требуйте, чтобы я рассказал.

— Говори, не таись! — закричали апостолы. — Чего хотел от тебя этот спиртоотсос, этот винный духоотвод? Чего он хотел от тебя?

— Моей души.

— Несчастный, — очень серьезно сказал Петр. — И что же он предлагал за твою несчастную душу?

— Вино, — пробормотал Валтасар еле внятно, и мне показалось, что в голосе его звучит безнадежность.

— Говори яснее, старик, как он обделал сделку с твоей душой?

Валтасар долго молчал, наконец он заговорил:

— Зачем расспрашивать, милостивые господа? Это страшно, а вам не понять, что значит потерять душу.

— Верно, — согласился Павел, — мы веселые духи, дремлем в вине и радуемся вечному, ничем не омраченному счастьем и благоденствию, вот потому-то на нас и не может напасть страх. Кто обладает властью над нами, кто может опечалить, напугать нас? Ну так рассказывай!

— Но за столом сидит человек, он этого не вынесет, — сказал мертвец, — при нем я не решусь говорить.

— Смелей, смелей, — сказал я, дрожа от страха. — Я могу вынести определенную порцию ужасов, и, в конце концов, что тут такого? Просто вы оказались у черта в лапах.

— Сударь, прочитали бы вы лучше молитву, — пробормотал старик, — но раз вы этого хотите, так слушайте: с человеком, который в ту ночь сидел со мной тут, в этом самом подвале, произошло злое дело. Он продал душу дьяволу, а выкупить ее мог только при одном условии: заменить другой душой. Он уже не раз имел на примете всяких людей, но им всегда удавалось от него улизнуть. Меня он держал крепче. Я вырос, как дикарь, неучем, а ведя военную жизнь, много размышлять не приходится. Когда едешь по полю битвы и луна освещает землю, а на ней лежат скошенные смертью друзья и враги, смотришь и думаешь: «Они умерли и уже не живут»; о душе я не очень-то помышлял, а о небе и преисподней и того меньше. Раз жизнь так коротка, то надо ею как следует насладиться, а вино и игра были моей страстью. Это заметил слуга преисподней и в ту ночь сказал мне: «Пожить лет двадцать—тридцать тут, в спиртном царстве, в винном раю, и попить, сколько душа хочет, — вот это жизнь, так ведь, Валтасар?» — «Да, сударь, — ответил я, — но чем я могу заслужить такую жизнь?» — «Что, по-твоему, приятнее, — продолжал он, — жизнь в свое удовольствие здесь, на земле, или то, что будет потом, когда и знать-то уже не знаешь, живешь ты еще и пьешь

ли вино?» Я поклялся страшной клятвой и сказал: «Мои бранные останки отправятся туда же, где лежат останки моих собутельников. Мертвый ничего не чувствует и ни о чем не думает. Я знаю это по тем своим товарищам, которым пуля пробила череп, посему я предпочитаю жить и радоваться жизни». Он же сказал мне: «Ежели ты отречешься от того, что будет потом, то нет ничего легче сделать тебя управителем этого погребца, напиши только свое имя вот тут, в книжке, и поклянись крепкой клятвой». — «Что будет со мной потом, меня мало заботит, — сказал я. — Я согласен стать управителем здешнего погребка навсегда и навечно, на все время, пока я живу, а там, когда меня закопают, пусть дьявол или любой, кто захочет, возьмет все то, что от меня останется».

Когда я произнес эти слова, мы оказались уже не вдвоем: рядом со мной сидел третий, он протягивал книжку, в которой я должен был поставить свою подпись. Но это был не ювелир, а кто-то другой.

— Кто же это был? Говори! — в нетерпении торопили апостолы.

Глаза старого управителя страшно сверкнули, а бледные губы задрожали. Он несколько раз пытался заговорить, но, казалось, судорога сжимает ему горло. Потом он вдруг решительно и смело посмотрел в темный угол, осушил свой бокал и бросил его об пол.

— Раскаяние ничему не поможет, старик Валтасар, — сказал он, смахивая с ресниц крупные слезы, — рядом со мной сидел дьявол.

При этих словах всех охватила жуть, безнадежная жуть. Апостолы глядели серьезно, молчали, уставившись в свои бокалы, Бахус закрыл лицо руками, а Роза побледнела и притихла. Казалось, все затаили дыхание, слышно было только, как тревожно стучат зубы в черепе мертвеца.

— Когда я был еще маленьким, послушным мальчиком, отец научил меня писать мою фамилию и имя. Я поставил свою подпись в книжке, которую держал в когтях дьявол. С той поры я зажил на славу, во всем Бремене не было человека веселее Валтасара, управителя винным погребом. Я пил все самые лучшие, самые превосходные, вкусные вина, что были тут. В церковь я не ходил, а когда начинался благовест, я шел к самой лучшей бочке

и пил сколько захочу. Когда я состарился, на меня стал нападать страх, а когда я думал о смерти, по спине пробегал холодок. Жены, которая плакала бы обо мне, у меня не было, детей, которые утешили бы меня, тоже не было; поэтому, когда меня одолевали думы о смерти, я пил до потери сознания и засыпал. Так я и жил долгие годы, волосы у меня поседели, ноги и руки ослабли. Я жаждал успокоиться в могиле. И вот как-то я проснулся и в то же время чувствовал, что никак не могу проснуться по-настоящему: глаза не желали открываться; когда я хотел встать с постели, пальцы не гнулись, а ноги лежали неподвижно, будто не ноги, а чурбаны. К моей кровати подошли люди, пощупали меня и сказали: «Старик Валтасар умер».

Умер, подумал я и испугался: умер и не сплю? Умер и думаю? Меня охватил несказанный страх, я чувствовал, что сердце остановилось, и все же что-то во мне шевелится и сжимается, не тело — тело лежит неподвижное, мертвое; так что же это такое? И мне стало страшно-страшно.

— Твоя душа! — невнятно произнес Петр.

— Твоя душа! — прошептали вслед за ним и другие.

— Потом с меня сняли мерку, длину и ширину, чтобы сколотить шесть досок, и положили меня в этот ящик, а под голову подсунули твердую, набитую стружками подушку и заколотили гроб, а душа моя устрашлась все больше и больше, потому что не могла уснуть. Потом я услышал похоронный звон соборного колокола, меня подняли и понесли, и никто не пролил ни слезинки. Меня отнесли на кладбище при церкви Божьей Матери, там вырыли могилу; я и по сей день еще слышу, как терлись веревки, когда их тащили вверх из могилы, а я уже лежал внизу, потом в могилу набросали земли и камней, и наступила тишина.

Но когда настал вечер, когда на всех колоколах пробило десять, одиннадцать часов, моя душа задрожала еще сильнее. «Что будет с тобой, что будет с тобой?» — думал я. Я хотел прочитать молитву, которую помнил еще с детских лет, но губы мои не шевелились. Тут пробило двенадцать, и тяжелый могильный камень был сброшен одним рывком, а гроб содрогнулся от страшного удара...

В этот миг ударом, от которого пошел гул по всему подвалу, вышибло дверь нашей залы и на пороге появилась высокая белая фигура. Я был так взбудоражен вином и ужасами этой ночи, так

сбит с толку, что не вскрикнул, не вскочил, как, вероятно, поступил бы в другое время, а терпеливо ждал то страшное, что должно было свершиться. Первой моей мыслью было: сейчас появится дьявол.

Помните ту страшную минуту в «Дон Жуане», когда все ближе и ближе слышатся гулкие шаги, когда вбегает с криком Лепорелло и статуя Командора, сойдя со своего боевого коня на памятнике, приходит на пир? К нам в подвал вошла размеренным, гулко отдающимся шагом гигантская каменная фигура в панцире, но без шлема, с огромным мечом в руке. Бездушное лицо застыло в неподвижности, и все же каменные уста разомкнулись:

— Желаю здравствовать, любезные рейнские лозы, не мог не прийти в гости к прекрасной соседке в день ее рождения. Желаю здравствовать, девица Роза. Разрешите сесть за ваш пиришественный стол?

Все с изумлением глядели на гигантскую статую, но фрау Роза прервала молчание, захлопала от радости в ладоши и воскликнула:

— Боже мой! Да ведь это каменный Роланд, что уже не одно столетие стоит в нашем добром городе Бремене на соборной площади. Как приятно, господин рыцарь, что вы сооблаговолили оказать нам такую честь. Оставьте щит и меч и располагайтесь как дома. Не желаете ли вы сесть во главе стола рядом со мной? О господи, как я рада!

Деревянный бог вина, за это время изрядно выросший, бросал косые взгляды то на каменного Роланда, то на наивную даму своего сердца, столь громко и необузданно выражавшую свою радость. Он пробормотал что-то о незваных гостях и нетерпеливо задрогал ногами. Но Роза пожала ему под столом руку и утихомирила его нежным взглядом. Апостолы подвинулись ближе друг к другу и уступили Роланду место возле старой девы. Он положил меч и щит в угол и довольно неловко сел на стул. Но увы! Стульчик был рассчитан на добропорядочных бременских горожан, а не на каменного великана — стул треснул и сломался, и Роланд растянулся на полу.

— Только жалкое поколение могло сколотить эту рухлядь, в мое время даже хрупкая девица, сев на такую скамеечку, продавила бы сиденье, — сказал герой и медленно встал.

Валтасар подкатил к столу бочку и пригласил рыцаря сесть. Бочка выдержала, только две клепки треснули. Валтасар наполнил большой бокал вином и поднес Роланду. Тот сжал его своей широкой каменной дланью: трах! — бокал раскололся, и вино полилось Роланду по пальцам.

— Эх, не мешало бы вам снять каменные перчатки, — сердито проворчал Валтасар и подал ему серебряный кубок в полторы кварты: в старые времена кубки таких размеров звались четвертинами. Рыцарь взял его, только кое-где от его каменных пальцев остались вмятины, разинул огромную пасть и влил в нее вино.

— По вкусу ли вам вино? — спросил Бахус гостя. — Вы, верно, давно вина не пивали?

— Клянусь мечом, вино отменное. Какое это вино?

— Красное энгельгеймское, государь мой, — ответил управитель погреба.

При этих словах каменные глаза рыцаря приобрели жизнь, заблестели, ласковая улыбка скрасила изваянные черты, рыцарь с наслаждением погрузил взор в кубок.

— Энгельгейм, сладостное, любезное сердцу имя, — молвил он. — Рыцарский замок моего славного повелителя. Значит, и по сию пору еще не забыто твое имя и цветут еще лозы, некогда посаженные Карлом в его Энгельгейме? Вспоминают ли еще и Роланда, и Каролуса Магнуса, его наставника?

— Это вам надо спросить у того человека, что сидит вон там, — ответил Иуда. — Мы больше с землей дела не имеем. Он назвался доктором и магистром; надо полагать, он может вам сообщить то, что касается человеческого рода.

Гигант вопрошающе взглянул на меня.

— Благородный паладин, — сказал я, — хоть в наши дни род людской измелъчал и обмяк и люди в своем скудоумии прилепились к настоящему и не заглядывают ни в будущее, ни в прошлое, все же память у нас не окончательно иссякла. Мы чтим великих и славных мужей, которые некогда ступали по земле нашей родины, мы и по сие время живем в их тени. Есть еще чувствительные люди, которые, когда их донимает уж слишком будничное, бесцветное настоящее, спасаются в прошлое, при упоминании прославленных времен сердца их бьются сильнее, они почтительно бродят среди руин, где некогда сидел в своем подземном покое великий король, где вокруг него стояли рыцари,

где звучала многозначительная речь Эгинхарда, где милая Эмма подносила кубок самому верному паладину Карла. А где упоминается имя вашего великого властителя, там не забывают и Роланда. Вы были его ближайшим соратником, и ваше имя тесно связано с ним и в песне, и в предании, и в памятных нам образах. Последний призывный звук вашего рога все еще звучит из-под земли в Ронсевале и будет звучать до тех пор, пока не сольется с трубным гласом, возвещающим Страшный суд.

— Значит, мы не напрасно жили на свете, добрый старый Карл, потомство чтит наши имена, — молвил рыцарь.

— Да, если бы люди позабыли имя того, кто первый насадил виноград на рейнских берегах, им было бы впору хлебать воду из Рейна, они были бы недостойны пить виноградную кровь с его холмов! — воскликнул пламенный Иоанн. — Так подыдем бокалы, любезные кумпаны и апостолы, подыдем бокалы за здоровье нашего достойного родоначальника, за здоровье Карла Великого!

Все подняли кубки, и Бахус сказал:

— Да, это было прекрасное, славное время, и я, как и тысячу лет тому назад, радуюсь, вспоминая о нем. Там, где теперь на холмах раскинулись чудесные виноградники от берега Рейна до горных хребтов, где в рейнской долине виноградные лозы одна за другой взбегают вверх и сбегают вниз по склонам, там прежде простирался дремучий лес. И вот однажды король Карл Великий глядел из своего Энгельгеймского замка на горы, и он увидел, что солнце уже в марте месяце одевает теплом холмы, сгоняет снег в Рейн, что на деревьях рано распускаются листья, а молодая трава спешит из земли навстречу весне. И тогда у него родилась мысль вырастить виноград там, где до того стоял лес.

Тут на рейнских холмах, около Энгельгейма, закипела деятельная жизнь, лес исчез, земля была готова воспринять в свое лоно виноградную лозу. Тогда Карл послал людей в Венгрию и Испанию, в Италию и Бургундию, в Шампань и Лотарингию, повелев привезти виноградные лозы. Он посадил в лоно земли голые ветки.

И я возрадовался от всего сердца, что царство мое распространилось и на немецкую землю, а когда там зацвели первые лозы, я с блестящей свитой вступил в Рейнгау. Мы расположились на холмах и потрудились на славу и в воздухе, и на земле. Мои слуги протянули тончайшие сети, чтобы ловить весеннюю

росу и уберечь от нее лозы, они поднимались наверх, приносили в долину теплые солнечные лучи и заботливо омывали ими маленькие виноградники, они черпали воду из зеленого Рейна и поили нежные корни и листья. А осенью, когда новорожденное дитя рейнских холмов лежало в колыбели, мы устроили веселое празднество и пригласили на пиршество все четыре стихии. Они богато одарили младенца и положили принесенные на память подарки к нему в колыбель. Огонь прикрыл дитяти глаза ладонью и сказал: «Пусть пребудет с тобой мой знак навеки, пусть живет в тебе чистый, ласковый пламень, пусть придаст он тебе цену». Потом приблизился воздух в легком золотом одеянии, он положил руку на голову дитяти и сказал: «Пусть будет светлой и нежной твоя окраска, как золотистая утренняя кромка на холмах, как золотистые волосы рейнских красавиц». И вода в серебряном уборе склонилась над дитятей и прожурчала: «Я всегда буду близко от твоих корней, пусть твое потомство вечно зеленеет и цветет, пусть раскинется оно по всему берегу полноводного Рейна». А земля подошла и поцеловала дитя в уста и пахнула на него сладостным дыханием. «Ароматы всех моих трав, нежные запахи моих цветов собрала я тебе на память, — сказала она. — Самые благовонные масла, амбра и миро уступят твоему нежному букету, а прелестнейших твоих дочерей нарекут в честь царицы цветов именем Роза».

Так сказали стихии; мы порадовались на драгоценные дары, украсили дитя свежими виноградными листьями и послали в королевский замок. А король изумлялся, глядя на прекрасного младенца, пестовал и лелеял его, а лозу, выросшую на берегу Рейна, ценил наряду с самыми дорогими своими сокровищами.

— Андрей, любезный братец, — воскликнула девица Роза, — у тебя такой сладостный, такой нежный голос, не споешь ли ты песню во славу рейнской земли и ее вин?

— Я спою, ежели это послужит вам на радость, благородная дева, и не будет в тягость вам, благородный Бахус, и для вас, государь мой, рыцарь Роланд, также будет иметь свою приятность.

И он пропел очаровательную песню, мелодичную и чувствительную, гармонично и изящно сложенную, что явно указывало на старого мастера 1400—1500-х годов.

Слова вылетели у меня из головы, но мелодию, простую и прелестную, мне все же хотелось бы вспомнить. Петр вторил певцу

звучным прекрасным голосом. Казалось, всех охватило желание петь: когда закончил Андрей, не дожидаясь просьб, запел Иуда, а за ним последовали и остальные. Даже Розе, хотя она и очень жеманилась, все же пришлось спеть песню 1615 года, которую она исполнила приятным, чуть дрожащим голосом. Роланд пропел громовым басом военный гимн франков, из которого я понял всего несколько слов, и наконец, когда все закончили, они взглядели на меня. Роза кивнула, предлагая мне тоже выступить. И тогда я пропел:

На Рейне, на Рейне лозой виноградной
Немецкое зреет вино.
Спускаясь по берегу тению прохладной,
Отраду сулит нам оно¹.

Слушая слова песни, они сидели затаив дыхание и переглядывались, они придвинулись ближе, а те, что сидели поодаль, вытягивали шеи, будто боясь упустить хоть слово. Я приободрился, голос окреп, песня лилась все громче и громче — выступление перед такой публикой вдохновило меня. Старая Роза кивала в такт, подпевая мне, а глаза апостолов светились радостной гордостью. Когда я замолк, они обступили меня, они жали мне руки, а Андрей коснулся моих губ нежным поцелуем.

— Доктор, вот это песня! Как радуется она душе! — воскликнул Бахус. — Доктор, сердечный друг, скажи, ты сам ее сложил, она зародилась в твоём удостоенном докторской степени мозгу?

— Нет, ваше превосходительство, я не такой мастер по части песен. Того, кто ее сложил, уже давно похоронили. Его звали Маттиас Клаудиус.

— Доброго-доброго человека ценили — доброго-доброго похоронили, — вздохнул Павел. — Какая светлая, какая веселящая песня, светлая и чистая, как натуральное вино, смелая и веселящая, как духи, живущие в вине, приправленная пряной шуткой, веселым юмором, как тот пряный аромат, что исходит из бокала чистого вина.

— Государь мой, он давно умер, это я знаю, но другой великий смертный сказал: «Доброе вино — хороший товарищ... и кому не случится иной раз опьянеть». И я полагаю, что друг Мат-

¹ Перев. М. Рудницкого.

тиас тоже так думал, пируя с друзьями, иначе он вряд ли сложил бы такую чудесную песню, которую и по сей день распевают все веселые люди, бродя среди рейнских холмов или потягивая благородное рейнское вино.

— Так эту песню и вправду поют? — воскликнул Бахус. — Знаете, доктор, меня это радует; пожалуй, не так уж оскудел род людской, раз еще не забыты такие светлые, прекрасные песни, раз люди еще поют их.

— Ах, государь мой, — печально молвил я, — очень много у нас людей с узкими взглядами, таковы ханжи от поэзии, они не желают признавать подобные песни за стихотворения, как иные святоши не считают «Отче наш» за молитву, для них такая молитва недостаточно мистична.

— Дураки были во все времена, сударь мой, — возразил мне Петр, — а кроме того, пусть лучше всякий за собой примечает. Но раз мы заговорили о вашем поколении, то не соблаговолите ли вы рассказать нам, что делалось на земле за последний год.

— Если это интересно присутствующим здесь господам и дамам... — робко начал я.

— Смелей, смелей, — воскликнул Роланд, — что до меня, то рассказывайте хоть о событиях за последние пятьсот лет, я на своей соборной площади вижу только папиросников, пивоваров, пасторов и старух.

Остальные поддержали его.

— Во-первых, что касается немецкой литературы... — начал я свое повествование.

— Стой! *Manum de fabula!*¹ — прервал меня Петр. — Какое нам дело до вашей жалкой мазни, до ваших мелочных, мерзких, уличных перебранок и трактирных потасовок, до ваших стихоплетов, лжепророков и...

Я испугался: если этим господам неинтересна даже наша чудесная, великолепная литература, о чем мне тогда рассказывать? Я подумал и снова начал:

— Очевидно, за последний год Жоко, если говорить о театре...

— О театре? О театре не надо! — прервал меня Андрей. — К чему нам слушать о ваших кукольных комедиях, марионетках и прочей ерунде. Уж не думаете ли вы, что нас хоть сколько-

¹ Руки (прочь) от выдумки! (лат.)

нибудь трогает, освистан или нет какой-то там ваш сочинитель комедий? Неужели на земле не происходит теперь ничего интересного, ничего имеющего всемирно-историческое значение, ничего, о чем стоило бы рассказать?

— Ах, избави бог, — возразил я. — Всемирной истории у нас больше нет, по этой части теперь остался только Франкфуртский союзный сейм. У наших соседей, пожалуй, что-то еще иногда случается. Вот, например, во Франции иезуиты опять вошли в силу и завладели скипетром, а в России, говорят, была революция.

— Вы путаете названия стран, мой друг, — сказал Иуда. — Верно, вы хотели сказать, что в России опять появились иезуиты, а во Франции произошла революция.

— Никак нет, господин Иуда Искаротский, — ответил я, — все, как я сказал, так и есть.

— Вот тебе на! — задумчиво пробормотали они. — Очень странно, всё вверх дном.

— И нигде не воюют? — спросил Петр.

— Немножко воюют греки с турками, но скоро кончат.

— Вот это прекрасно! — воскликнул паладин и ударил каменным кулаком по столу. — Меня уже давным-давно приводит в ярость, что христианский мир так подло позволяет мусульманам держать в оковах этот великий народ. Поистине это прекрасно. Вы живете в хорошее время, ваше поколение благороднее, чем я думал. Значит, рыцарство Германии, Франции, Италии, Испании и Англии выступило, чтобы сразиться с неверными, как сражалось с ними в прежнее время под знаменами Ричарда Львиное Сердце? Генуэзский флот бороздит Архипелаг, переправляя в Грецию тысячи воинов, королевская орифламма приближается к стамбульскому берегу и в первых рядах развеивается австрийский стяг? Да, для такого сражения я бы охотно опять сел на коня, извлек бы мой добрый меч Дюрандаль и затрубил бы в призывный рог, чтобы все герои, что покоятся в могиле, встали из гроба и вместе со мной ринулись в бой с турками.

— Благородный рыцарь, — отвечал я, краснея за наше поколение, — времена изменились. При теперешнем положении вас, вероятно, арестовали бы как демагога, потому что ни габсбургских знамен, ни орифламмы, ни британской арфы, ни испанских львов в теперешних сражениях не видно.

— Кто же, если не они, вступил в таком случае в бой с полу-
месяцем?

— Сами греки.

— Греки? Неужели? — воскликнул Иоанн. — А другие госу-
дарства? Чем же заняты другие государства?

— Их послы еще не отозваны из Порты.

— Смертный, что ты говоришь? — застыв от удивления,
спросил Роланд. — Кто может оставаться безучастным, когда где-
нибудь народ отстаивает свою свободу? Пресвятая Богородица,
что делается на свете! Поистине, камни и те возопили бы!

Произнеся последние слова, он от ярости так сжал кубок,
словно тот был не из серебра, а из олова, и вино брызнуло на сво-
ды. Загремев, встал рыцарь из-за стола, взял свой щит и длинный
меч и громышающим шагом вышел из залы.

— Ну и гневливый же кумпан каменный Роланд, — когда
с шумом захлопнулась дверь, пробормотала Роза, стряхивая с ко-
сынки капли вина. — Ишь что выдумал, каменный дурень, — на
старости лет собрался воевать. Покажись он только, да при таком
росте, его тут же без всякого разговора укутут правофланговым
в Бранденбургский гренадерский полк.

— Девица Роза, — сказал Петр, — он гневлив, это верно. Он
мог бы, конечно, выйти отсюда по-иному, но, вспомните, ведь он
был в свое время *fugioso*, неистовым; раздавить серебряный ку-
бок или обрызгать вином даму, это что, он и не то еще выкидывал.
Разобравшись как следует, я не могу посетовать на него за горяч-
ность; ведь в свое время он тоже был человеком, да к тому же еще
славным паладином великого короля, храбрым рыцарем, кото-
рый, захоти того Карл, один ринулся бы в бой против тысячи
мусульман. Ему стало стыдно, вот он и разгневался.

— А ну его, каменного великана! — сказал Бахус. — Меня он
стеснял, да, стеснял. Этот олух в нашу компанию не годится, он
все время с насмешкой взирал на меня с высоты своих десяти
футов. Только бы помешал нашему веселью, испортил бы мне
все удовольствие. Ничего у нас из танцев не вышло бы, где уж
ему при его-то негнущихся каменных ногах пускаться в пляс,
тут же и свалился бы.

— Ура, ура! Танцы, ура, танцы! — закричали апостолы. —
Валтасар, давай музыку!

Иуда встал, надел огромные перчатки с крагами, доходившими ему до локтя, церемонно поклонился девице Розе и сказал:

— Высокочтимая и прекраснейшая девица Роза, осмелюсь просить вас об особой чести — подарить мне первый...

— *Manum de...*¹ — осадил его патетическим жестом Бахус. — Бал аранжирован мною, посему я должен его открыть. Вы, милостивый государь, танцуйте с кем вам будет угодно, моя Розочка будет танцевать со мной. Правда, сокровище мое?

Она, покраснев, присела в знак согласия, а Иуду апостолы подняли на смех. Меня бог вина подозвал величественным жестом.

— Доктор, вы музицировать умеете? — спросил он.

— Немного.

— С такта не сообразитесь?

— Нет, с такта не собоюсь.

— Ну тогда берите этот бочонок, садитесь рядом с Вальтасаром Бездоннером, управителем здешнего погреба и кларнетистом. Возьмите в руки вот эти деревянные бочарные молоточки и аккомпанируйте ему барабанной дробью.

Я был удивлен, однако согласился, правда нехотя. Но если мой барабан был несколько необычен, то инструмент Вальтасара был и того удивительнее: вместо кларнета он сунул в рот железный кран от сорокаведерной бочки. Рядом с ним уселись Варфоломей и Иаков с огромными воронками для вина, которые они приспособили под трубы, и ожидали, когда будет дан знак к началу. Стол отодвинули к сторонке, Роза и Бахус приготовились к танцу. Он махнул рукой, и грянула ужасающая, визгливая, фальшивая, оглушительная музыка, в такт которой я барабанил по бочонку.

Вальтасар дудел в свой кран, который гудел и свистел, как дудка ночного сторожа. Чередовались только два тона: основной и противный пискливый фальцет. Оба трубача до отказа надули щеки, но извлекали из своих инструментов лишь робкие жалобные звуки, от которых щемило сердце, как от тех звуков, что издают морские раковины, когда в них трубят тритоны.

Танец, который исполняли Роза и Бахус, вероятно, был в ходу лет двести тому назад. Она взялась за юбку и растянула ее в обе

¹ Руки прочь... (лат.)

стороны так, что стала похожа на большую толстую бочку. Стоя на месте, она перебирала ногами, то поднимаясь на цыпочки, то приседая в книксене. Зато ее кавалер, волчком вертевшийся вокруг нее, проявлял куда больше живости; он подпрыгивал, выделявая всякие смелые пируэты, прищелкивал пальцами и выкрикивал: гоп-ля, гоп-ля-ля! Забавно было смотреть на развешивающийся во все стороны передничек девицы Розы, повязанный ему Валтасаром, на его дрыгающие ноги и на широкую веселую улыбку.

Наконец он как будто устал, он подозревал Иуду и Павла и что-то им шепнул. Они сняли с него передник и, взявшись за оба конца, принялись его тянуть и тянули, пока он не растянулся в целую простыню. Потом они позвали остальных, расставили их вокруг простыни и велели взяться за ее край. «Так, теперь они, должно быть, начнут, ко всеобщему удовольствию, качать старика Валтасара, — подумал я. — Были бы своды повыше, а то, чего доброго, он еще разобьет себе голову». Тут Иуда и силач Варфоломей подошли к нам и схватили... меня. Валтасар Бездоннер язвительно усмехнулся. Я дрожал, я сопротивлялся, напрасно. Иуда крепко схватил меня за горло и грозился задушить, если я не перестану упираться. Я чуть не потерял сознание, когда они под общие ликующие крики положили меня на простыню, но я все же взял себя в руки. «Только не очень высоко, благодетели мои, не то я расшибу о подволоку череп», — в страхе взмолился я. Но они смеялись и перекрикивали меня. Тут они начали раскачивать простыню, а Валтасар трубил в воронку; меня бросало то вверх, то вниз; сначала на три-четыре, пять футов. Вдруг они стали подбрасывать сильнее, я взлетел наверх и... сводчатый потолок раздвинулся, словно облако, я летел все выше, теперь уже над крышей ратуши, все выше, выше соборной колокольни. «Да, теперь тебе конец, теперь, если упадешь, сломаешь шею, в лучшем случае руки или ноги! — думал я. — Боже мой, представляю себе, как она посмотрит на калеку! Прощай, прощай жизнь, прощай любовь!»

Наконец я достиг высшей точки полета и теперь с той же стремительностью стрелой полетел вниз. Трах! Вниз, сквозь крышу ратуши, вниз, сквозь своды погреба. Но упал я не на простыню, а прямо на стул и вместе со стулом грохнулся навзничь на пол.

Некоторое время я лежал, оглушенный падением. Сильная боль в голове и холодный пот наконец привели меня в чувство. Вначале я не понимал, свалился ли я дома с постели или лежу в каком-то другом месте. Наконец я вспомнил, что свалился откуда-то с большой высоты. Я с опаской ощупал себя: руки, ноги, все цело, только голову ломило от падения. Я поднялся, огляделся. Я был в каком-то сводчатом помещении, в подвальный люк проникал тусклый свет, на столе с небрунненными стаканами и бутылками чуть мерцала свеча при последнем издыхании, вокруг стола стояли стулья, а перед каждым стулом — пробные штофики с длинной полоской бумаги на горлышке. Так, теперь я постепенно все вспомнил. Я в Бремене, в винном погребе, я вошел сюда вчера на ночь глядя, пил вино, приказал меня тут запереть, а потом... дрожа от страха, я оглядел помещение — все, все пробудилось вдруг в памяти. Что, если призрачный Вальсар все еще сидит в своем углу, а винные духи еще витают вокруг меня? Я отважился обвести робким взглядом все углы сумрачного подвала. А вдруг... вдруг это мне только приснилось?

Размышляя, обошел я длинный стол. Штофики с пробками стояли против каждого, как он сидел. Во главе стола Роза, потом Иуда, Иаков... Иоанн — все на тех же местах, где ночью я их видел, казалось мне, во плоти. «Нет, сон не бывает таким ярким, — подумал я. — Все, что я видел, что слышал, было наяву!» Но долго размышлять не пришлось: я услышал, как в двери повернулся ключ, дверь открылась, и старый управитель погреба вошел и поклонился мне.

— Только что пробил шесть часов, — сказал он, — и я тут, как вы и приказывали. Пришел вас выпустить. А как вы спали нынешней ночью? — продолжал он, когда я молча встал, чтобы последовать за ним.

— Сносно, насколько можно сносно выспаться на стуле.

— Сударь! — испуганно воскликнул он, внимательно приглядевшись ко мне. — Не приключилось ли с вами ночью чего неладного? Вы такой бледный, расстроенный и голос дрожит!

— Отец, ну что могло здесь со мной приключиться? — ответил я, принуждая себя рассмеяться. — Что я бледен, что кажусь расстроенным, так как же иначе, ведь я только под утро заснул, да еще не в постели.

— Что вижу, то вижу, — сказал он, покачав головой. — Да и ночной сторож сегодня чуть свет пришел ко мне и сказал, что, когда он проходил после полуночи мимо погребного люка, оттуда доносились голоса, какое-то пение, говор.

— Вздор, ему померещилось! Я немного попел для собственного развлечения, может, говорил во сне, вот и все.

— Чтобы я еще когда оставил в такую ночь кого-нибудь в погребке, нет, боже меня упаси! — бормотал он, подымаясь со мной по лестнице. — Должно, и натерпелись вы здесь страху, такого насмотрелись и наслушались! Пожелаю вам, сударь, доброго утра!

А в нише за решеткой
Какая там красота!

Помня слова весельчака Бахуса, побуждаемый жаждой любви, я пошел, проспав всего несколько часов, пожелать доброго утра своей прелестнице. Но она приняла меня холодно, сдержанно, а когда я шепнул ей несколько нежных слов, она отвернулась и, громко смеясь, сказала:

— Ступайте, проспитесь сперва, сударь!

Я взял шляпу и вышел, так пренебрежительно она со мной никогда раньше не говорила. Мой приятель, сидевший там в комнате за роялем, вышел следом за мной.

— Сердечный друг, — горестно сказал он, пожимая мне руку, — с твоей любовью покончено раз и навсегда, выбрось ее из головы.

— Это я и сам заметил, — сказал я. — К черту все на свете: прекрасные глаза, алые губки и глупую доверчивость к тому, что говорят девичьи взгляды, что произносят девичьи уста!

— Не кричи, наверху услышат, — прошептал он. — Но скажи, бога ради, правда, что ты всю ночь провалялся пьяный в винном погребе?

— Да, правда! А кому какое до этого дело?

— Не знаю, как это дошло до нее, но она проплакала все утро, а потом сказала: избави ее бог от такого пьяницы, который ночи напролет просиживает за стаканом вина и из любви к выпивке пьет в полном одиночестве, это пропащий человек, она не хочет больше о тебе слышать.

— Вот как? — равнодушно отозвался я, и мне стало немного жаль себя. — Значит, она меня никогда не любила, иначе выслушала бы меня; передай ей мой почтительнейший поклон. Прощай.

Я поспешил в гостиницу, быстро упаковался и в тот же вечер уехал. Проезжая в почтовой карете мимо статуи Роланда, я весьма дружески поклонился рыцарю давних времен, и, к ужасу почтальона, он кивнул мне каменной головой. Старой ратуше и винному погребу я послал воздушный поцелуй, потом забился в угол кареты и мысленно вновь пережил фантазмагии этой ночи.

ЛИХТЕНШТАЙН



*Романтическая сага
из истории Вюртемберга*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Какой великий мастер был наш герцог
Все высчитать и все предусмотреть!
Людей он, будто пешки на доске.
Передвигал, стремясь упорно к цели,
И без зазрения совести он дерзко
Их честью и достоинством играл.
Считал-считал, мудрил и все же сбился:
Не шутка — жизнью просчитался он,
Как тот мудрец, которого убили
Средь вычерченных на песке кругов.
Но половина всей его вины
На несчастливом звезд расположенье...

Ф. Шизлер¹

Сага, изложенная на этих страницах, родилась в той части Южной Германии, которая простирается между горными хребтами Швабских Альп и Шварцвальдом. Швабские Альпы громоздятся от северо-запада к югу и, то сужаясь, то расширяясь, замыкают страну длинною горною цепью. Шварцвальд же идет от истоков Дуная к самому Рейну и образует своими черноватыми еловыми лесами темный фон для прекрасной, плодоносной, богатой виноградниками местности. Местность эта, привольно раскинувшаяся у подошвы Шварцвальда, и называется Вюртембергом.

Много невзгод выпало на долю сей земли, прежде чем она достигла теперешнего положения между соседними государствами. Трудно сдержать восхищение, размышляя над событиями того времени, когда из тьмы веков впервые выплывает название Вюртемберг, когда вокруг колыбели теснились могучие соседи: Штауфены², герцоги фон Теки³, графы Цоллерны. Позже, правда,

¹ «Лагерь Валленштайна». Перев. Л. Гинзбурга, с изм.

² Владения этого могущественного немецкого княжеского рода после смерти Конрада (1268) простирались на территории Баварии, Бадена и Вюртемберга.

³ Швабское герцогство Теков в конце XIV века, частично благодаря покупке, частично благодаря захвату земель, вошло в Вюртемберг. В 1493 году герцогам Вюртембергским был пожалован кайзером титул и герб.

внутренние и внешние шторма выветрили из анналов истории некоторые имена.

Были ведь даже такие моменты, когда род владетелей Вюртемберга, казалось, навек был вытеснен из чертогов своих предков, а несчастный герцог должен был бежать за пределы своей родины и жить в гнетущем изгнании, когда чужие правители распоряжались в его замках, наемники стерегли страну и немногого недоставало, чтобы Вюртемберг вовсе перестал существовать, а его цветущие долины были растерзаны и сделались добычей одной или нескольких провинций Австрийского дома.

Среди многих преданий седой старины, живущих в памяти народной, где речь идет об истории швабов, самое интересное, пожалуй, касается судьбы упомянутого несчастного герцога. Мы попытаемся, рискуя быть непонятыми, изложить его так, как о том рассказывается высоко-высоко в горах, в самом Лихтенштайне и на берегах Неккара. Нам могут возразить, сказав, что характер Ульриха Вюртембергского¹ не достоин быть изображенным в историческом романе мягкими красками; многие относятся к нему враждебно; чьи-то глаза даже привыкли, изучая портретную галерею герцогов Вюртембергских, боязливо перескакивать с изображения старейшины рода — Эберхарда — к портрету Кристофа², связывая несчастья страны исключительно только с ее правителями, или же вообще отвращать свой взор от печальных страниц истории.

Возникает вопрос: стоит ли оценивать этого владыку, вторя лишь высказываниям его заклятого врага Ульриха фон Хуттена³, который выдает себя за бесстрастного свидетеля? Ведь есть и голоса, к сожалению заглушенные бурным потоком времени, —

¹ *Ульрих фон Вюртемберг* родился в 1487 году. В 1498 году, когда ему исполнилось 11 лет, он был пожалован герцогским званием, правда, при нем был регент, смещенный, однако, когда Ульриху исполнилось 16 лет. С 1503 года Ульрих правил единолично. Умер он в 1550 году.

² Имеется в виду Эберхард V Бородатый (1445–1496), первый герцог Вюртембергский (в 1495–1496 годах), мудрый правитель страны. *Кристоф* (1515–1568) — герцог Вюртембергский в 1550–1568 годах; память о нем сохранилась не только в Вюртемберге, но и во всей Германии, так как он был создателем вюртембергской конституции.

³ *Ульрих фон Хуттен* (1488–1523) — рыцарь, гуманист и поэт, писал в 1517 году обличительные письма и произносил пламенные речи против герцога Ульриха, так как тот убил его родственника Ханса фон Хуттена.

голоса, защищавшие герцога и его друзей! Увы, некоторым из них не удалось пережить враждебного гремящего обвинительного красноречия.

Нами были тщательно изучены почти все живые свидетельства писателей-современников давно прошедшего бурного столетия, среди них не нашлось ни одного, проклинающего несчастного герцога. Размышляя над тем, какое мощное воздействие оказывает время и окружение на любого смертного, и учитывая то, что Ульрих Вюртембергский вырос под опекой плохих советчиков, толкавших его на дурные поступки с целью злоупотреблений, или вспоминая, в каком возрасте он принял бразды правления, будучи еще ребенком, даже не юношей, то следует по меньшей мере удивляться возвышенным сторонам его характера, высокой душевной силе и мужеству, никогда ему не изменявшему, и постараться смягчить его жестокость, оскорбляющую глаз читателя.

1519 год, на который выпадают события нашей саги, был решающим и для герцога Ульриха, началом его долгого несчастья. Однако потомки могут возразить и посчитать, что как раз то было начало его счастливого правления. Длительное изгнание стало тем очистительным огнем, из которого он вышел более мудрым и сильным. Это было началом его благоденствия, так как последующие годы регентства благословляет каждый вюртембержец, ибо религиозный переворот, произведенный этим владыкой в своем отечестве, почитается за счастье.

В этот год все было поставлено ребром. Мятеж «Бедного Конрада»¹ с большим трудом был подавлен шесть лет тому назад, но население там и сям все еще волновалось, потому что герцог Ульрих не умел расположить его к себе, чиновники распоряжались самовластно и собирали подать за податью. Швабский союз — это могущественное объединение князей, графов, рыцарей, а также вольных городов Швабии и Франконии — Ульрих не раз оскорблял, главным образом тем, что отказывался примкнуть

¹ В 1503 году в Вюртемберге возник крестьянский союз «Бедного Конрада», выступивший против политики герцога. Его возглавил молодой веселый крестьянин, который обыграл в названии союза поговорку «Не слушай советов бедного». Герцог Ульрих пообещал в 1514 году разрешить трудности крестьян, однако внезапно напал на них и разогнал союз с помощью солдат. Это событие вошло в историю как восстание крестьян.

к нему. За его действиями недружелюбно наблюдали все соседи, как бы подкарауливая возможность напомнить о том, какими союзниками он пренебрег. Правивший в ту пору император Максимилиан¹ был к нему не очень благосклонен, особенно когда заподозрил его в поддержке рыцаря Геца фон Берлихингена с целью мести курфюрсту Майнцскому².

Могущественный сосед — герцог Баварский³, к тому ж его зять, от него отвернулся, потому что семейная жизнь Ульриха и герцогини Сабини⁴ была не из счастливых. К сему добавилось то, что приблизило гибель, а именно убийство франконского рыцаря⁵, который жил при дворе герцога. Достоверные хронисты утверждают, что взаимоотношения Иоханна фон Хуттена и Сабини были не такими, какими хотелось бы их видеть герцогу, герцог и напал на рыцаря во время охоты, стал упрекать в неверности, призвал защищаться и заколол. Семейство Хуттенов, особенно, конечно, Ульрих фон Хуттен, подняло свой голос, по всей Германии зазвучали призывы к мести.

Да и герцогиня, еще будучи невестой, проявила свой гордый и задиристый характер, затем, так и не подарив герцогу счастливой семейной жизни, перешла на сторону противников, с помощью Дитриха фон Шпета⁶ бежала от мужа и вместе со своими

¹ Император Максимилиан умер 12 января 1519 года.

² Курфюрстом Майнцским (1514–1545) был маркграф Альбрехт Бранденбургский.

³ Герцогом Баварии в это время был Вильгельм (1493–1550).

⁴ Сабина была племянницей императора Максимилиана и дочерью герцога Баварского. В 1511 году она вышла замуж за герцога Ульриха, в 1515 году с ним рассталась.

⁵ Имеется в виду Ханс фон Хуттен, дальний родственник герцога Ульриха. Он жил со своею женой при его дворе, имел должность шталмейстера. Рассказывают, что герцог Ульрих был недоволен навязанной ему женой Сабининой и питал симпатию к супруге Ханса фон Хуттена Урсуле. Он просил своего родственника позволить ему любить его жену, потому что «не может, да и не хочет расстаться с нею». Ханс проболтался об этом признании, и герцог в гневе замышлял его убить. Многие придворные докладывали ему о нежных отношениях Ханса фон Хуттена и герцогини Сабини. Убийство имело для Ульриха роковые последствия: восемнадцать доблестных рыцарей отказались от службы при его дворе, Ульрих фон Хуттен направил против герцога свое разящее перо. Это убийство стало причиной того, что герцога покинула его жена Сабина в 1515 году.

⁶ Дитрих фон Шпет был родственником Ханса фон Хуттена по материнской линии и после его убийства стал заклятым врагом герцога.

братьями явилась с жалобами перед императорским двором¹, где и объявила себя врагом своего супруга. Заключались договоры, и они не выполнялись, делались мирные предложения, и они нарушались, беда подступала к герцогу все ближе и ближе, тем не менее он не склонял голову, будучи уверенным в своей правоте. В это время умер император Максимилиан. Этот властелин, несмотря на многочисленные жалобы, все-таки оказывал снисхождение Ульриху. В лице императора для герцога умер беспристрастный судья, который в подобном стесненном положении мог быть чрезвычайно полезным для него, так как несчастье не замедлило разразиться.

В то время как совершался торжественный обряд поминовения императора в Штутгартском замке, герцогу пришло известие, что в Ройтлингене — имперском городе, который был расположен на его земле, убили лесничего². Горожане вообще нередко чувствительно оскорбляли герцога, они были ему ненавистны, и теперь он хотел дать им почувствовать свою месть. С обычной для него пылкостью, в гневе, герцог вскочил на коня, велел бить тревогу по всей стране, осадил город, взял его и заставил жителей присягнуть ему, Ульриху. Так имперский город стал вюртембергским.

Но тут поднялся могучий Швабский союз, ибо город входил в его состав. Как ни трудно было собрать этих князей, графов, да и горожан, в данном случае они не медлили и держались вместе: общая ненависть — прочные узы. Напрасно слал Ульрих письменные объяснения. Союзное войско собралось в Ульме и угрожало нападением.

Итак, в 1519 году все дошло до края. Сумей герцог выиграть битву, его посчитали бы правым и он приобрел бы сторонников. Удайся союзу разбить герцога, и тогда — горе последнему: порыв ожесточенной мести не сулил пощады.

С тревогой устремлены были взоры Германии на исход этой борьбы, жадно старались люди проникнуть сквозь завесу судьбы, чтобы высмотреть, что принесут грядущие дни, победит ли Вюртемберг, или союз удержит за собою поле брани.

¹ Об этом свидетельствуют официальные исторические хроники.

² Поминовение императора состоялось 19 января 1519 года, а известие об убийстве двумя писарями своего управителя Ульрих получил 18 января.

Мы хотим приподнять завесу истории и развернуть картину за картиной. Пожелаем же, чтобы уважаемый читатель, не дай бог утомившись слишком рано, не отвернул своих глаз от страниц книги.

Или, может быть, это чересчур смелая попытка — пересказать преданье старины глубокой в наши дни? Не покажется ли кому рискованным желание обратить взоры читателей к вершинам Швабских Альп и живописным долинам Неккара?

Поток Сусквеганны и красивые высоты Бостона, зеленые берега Твида и горы Шотландии, веселые нравы старой доброй Англии и романтическая нищета гэлов, благодаря искусной кисти замечательного романиста, широко известны и у нас¹. Люди читают со страстью в добротных переводах о том, как растут грибы из земли, что происходило шестьдесят или шестьсот лет назад на полях под Глазго или в лесах Уэльса. Действительно, вскоре мы так овладеем историей чужеземных государств, как будто ее сами научно исследовали. Картина за картиной, возникающая перед нашим изумленным взором, рождает чудо, и в результате мы оказываемся более сведущими в истории Шотландии, нежели в своей собственной, и ориентируемся в религиозных и общественных процессах своего отечества хуже, чем в особенностях пресвитерианской и епископальной церкви Туманного Альбиона.

В чем же секрет того чуда, с помощью которого неизвестный маг приковывает наши сердца и взоры к горным пустошам своей родины? Может быть, в невероятных масштабах рассказанного, в ужасающем количестве томов, которые он пересылает к нам через канал? Но ведь и мы, с Божьей помощью и благодаря Лейпцигским ярмаркам, тоже имеем мужей, сотворивших по восемьдесят, сто и сто двадцать томов! А быть может, горы Шотландии зеленее немецкого Харца и вершин Шварцвальда или волны Твида голубей волн Неккара и Дуная, а его берега живописнее берегов Рейна? Или, возможно, шотландцы более интересная человеческая порода, нежели выходцы из нашей страны, и у их отцов кровь была краснее, чем у швабов и саксонцев в старину, либо их женщины много любезнее, а девушки красивее, чем дочери Германии? В этом мы сильно сомневаемся и полагаем, что причина успеха чужеземца кроется в другом.

¹ Имеются в виду романы Вальтера Скотта.

А именно — этот великий романист опирается на историю своей страны и исходит из ее общественных предпосылок, мы же в течение столетий привыкли к тому, что ищем под чужими небесами то, что цветет и под нашим небом. Так поражаемся мы всему чужому, иностранному, полагая, что оно великое и возвышенное, потому что выросло не в родных пенатах.

Между тем было и у нас славное прошлое, богатое общественной борьбой и не менее интересное для нас, чем прошлое шотландцев, потому и рискнули мы развернуть свое историческое полотно.

Если уважаемый читатель не обнаружит в нем уверенных очертаний исторических фигур, волшебного блеска живописных ландшафтов, а его глаз, привыкший к подобным изыскам, будет напрасно искать сладкую магию колдовства и свидетельств судьбы, выявленных цыганской рукой, и даже посчитает, что краски наши тусклы, карандаш затупился, то извинить нас может только одно, а именно — историческая правда.

ГЛАВА 1

Чу... Звук трубы...
Что шум сей означает?
Быстрее к концу —
Мне ведомо,
Кто нынче прибывает.
Л. Уланд¹

После первых пасмурных дней марта 1519 года наконец, двенадцатого числа, в имперском городе Ульме наступило прекрасное утро. Туман с Дуная, столь частый в такое время года, отступил задолго до полудня, взорам открылась просторная долина за рекой.

Холодные, узкие улочки с высокими остроконечными крышами домов осветило солнце и придало им такой блеск и приветливость, которые соответствовали сегодняшнему праздничному настроению. Большая улица Хердбрюкер — она идет от Дунайских ворот к ратуше — была в это утро битком набита народом, стоявшим стеной, голова к голове, по обе стороны вдоль домов,

¹ «Радость Гретхен».

оставляя лишь небольшое пространство посередине. Глухой ропот напряженного ожидания пробегал по рядам и лишь изредка раздражался коротким смешком, когда старые суровые городские стражники концами длинных алебард бесцеремонно оттесняли назад какую-нибудь красивую девушку, которая нескромно протискивалась в свободное пространство, или когда какой-нибудь шутник забавлялся, крича: «Идут! Идут!» Все вытягивали шеи, с усилием выглядывая вперед, пока не обнаруживался обман.

Но еще большая теснота была там, где улица Хердбрюкер сворачивала на площадь перед ратушей. Тут выстроились гильдии ремесленников со своими старшинами во главе: корабелы, ткачи, плотники, пивовары, с их знаменами и ремесленными знаками. Все они, в праздничных куртках, хорошо вооруженные, собраны были в большом количестве.

Если толпа здесь, внизу, радовала глаз своим веселым праздничным видом, то это еще больше можно было сказать о высоких домах улицы.

До остроконечных крыш все окна были полны нарядными женщинами и девушками. Зеленые еловые и тисовые ветви, пестрые ковры и шали, которыми были убраны косяки, живописно обрамляли прелестные картины.

Но, должно быть, самую грациозную представлял эркер в доме господина Ханса фон Бесерера. Там стояли две девушки, не похожие друг на друга лицом, сложением и одеждой, но настолько красивые, что, глядя с улицы, трудно было отдать предпочтение какой-либо из них.

Обе казались не старше восемнадцати лет. Одна была изящного сложения; пышные темно-русые волосы окружали высокий лоб; темные брови, спокойные голубые глаза, тонко очерченный рот и нежный цвет щек представляли необыкновенно привлекательное зрелище, которое одобрили бы сегодняшние модницы, но в те времена, когда ценились более насыщенные краски и округлые формы, ее могло выделить среди красавиц только необыкновенное достоинство, с каковым она держалась.

Другая, пониже и с более пышными формами, нежели ее соседка, была беззаботным, веселым существом, которое знает, что оно всем нравится. Ее белокурые волосы были заплетены, по тогдашней моде ульмских дам, во множество косичек и локон-

чиков, частью запрятанных под белый чепчик с волной искусно сделанных складочек. Круглое свежее личико ее пребывало в постоянном движении. Но еще неугомоннее скользили по толпе живые глаза, а улыбка, ежеминутно позволяя видеть прекрасные зубы, ясно говорила, что среди почтенной публики немало личностей вызывало у нее веселое настроение.

Позади обеих девушек стоял высокий пожилой мужчина. Выразительные, строгие черты его лица, косматые брови, длинная, редкая, уже поседевшая борода, наконец, черный костюм, странно отличавшийся от окружавшей праздничной пышности, придавали ему суровый, почти мрачный вид, который лишь изредка смягчался, когда проблеск приветливости, вызванный меткими замечаниями блондинки, как зарница, вспыхивал на печальном лице старика.

Эта живописная группа, столь различная и возрастом, и характерами, и внешностью, привлекала внимание толпящихся внизу.

Некоторые не отрывали глаз от прелестных девушек, но большинство уже пребывало в нетерпении оттого, что зрелище, которого они жаждали, все еще не начиналось.

Было уже далеко за полдень.

Толпа колыхалась все нетерпеливее, теснилась сильнее, а кое-где тот или другой ремесленник из рядов почтенных гильдий уже располагался на земле, когда раздались три пушечных выстрела. С колокольни собора понеслись над городом низкие полные аккорды, в одну минуту перепутавшиеся было ряды пришли в порядок.

— Идут, Мария! Идут! — вскричала блондинка и, обвив рукою талию своей соседки, нетерпеливо высунулась из эркера.

Дом господина Бесерера стоял на углу упомянутой улицы. Из эркера вдоль одной стороны можно было видеть все почти до Дунайских ворот, а вдоль другой — рассмотреть даже окна ратуши. Словом, девушки выбрали себе отличное место для наблюдения и могли вдоволь насладиться ожидаемым зрелищем.

Между тем проход между обоими рядами народа, хоть и с трудом, был расширен, городские стражи выстроились, отставив вбок, на вытянутую руку, свои длинные алебарды, в огромной толпе воцарилась глубокая тишина, слышался только звон колоколов.

Мало-помалу к этому звону стал примешиваться глухой гул литавр, отдаленные звуки рожков и труб: через ворота продвигалась длинная блестящая вереница всадников.

Городские литавришки и трубачи, а также конный отряд сыновей ульмских патрициев были слишком обыденным явлением, чтобы взгляды толпы долго задерживались на них. Но когда черное и белое знамена города с имперским орлом, а также флаги и штандарты всех величин и цветов заколыхались, входя в ворота, зрители окончательно убедились в том, что им будет на что поглазеть.

Наши красавицы в эркере тоже навестились, когда увидели, что толпа на нижней части улицы почтительно сняла шапки.

На крупном кряжистом коне приближался человек, мощная осанка и ясный, бодрый вид которого являл разительный контраст с изрытым глубокими морщинами лбом и уже седеющими волосами и бородой. На нем была остроконечная шляпа со множеством перьев, панцирь поверх плотно прилегающей красной куртки; кожаные панталоны с вырезами, подшитыми шелком, по-видимому, были когда-то красивы, но теперь от передраг походной жизни и непогоды приобрели однообразный темно-бурый цвет. Длинные, тяжелые ботфорты его застегивались под коленями. Единственное оружие — необыкновенно большой меч с длинной рукояткой, без ножен — довершало образ могучего, рано поседевшего в опасностях воина. Длинная золотая цепь из толстых колец, с которой свешивалась на грудь золотая же почетная медаль, пять раз облегла шею, составляя единственный знак отличия этого человека.

— Дядя, поскорей! Скажи, кто этот статный человек, такой молодой и одновременно старый? — воскликнула блондинка, слегка оборачивая свою головку к стоящему позади господину в черном.

— Могу сказать тебе, Берта, — ответил тот, — это Георг фон Фрондсберг¹, главный военачальник союзной пехоты, достойнейший человек, если бы только он... служил лучшему делу.

— Придержите ваши замечания при себе, господин вюртембержец, — возразила малышка, улыбаясь и грозя пальчиком. —

¹ *Георг фон Фрондсберг* (1475–1528) — знаменитый полководец, увенчанный славой на полях сражений в Германии, Франции, Италии, Нидерландах.

Вы знаете, что ульмские девушки — самые верные сторонницы союза.

Но дядя, не смущаясь, продолжал:

— А тот, на белом коне, — стольник Вальдбург, ему многое по душе в нашем Вюртемберге. За ним следуют командиры союзного войска. Видит бог, они выглядят как волки, идущие на добычу.

— Фи, какие жалкие фигуры! — заметила Берта. — Ну стоило ли, кузиночка Мария, нам так наряжаться? Однако посмотри, кто этот молодой черный всадник на караковом коне? Видишь, какое у него бледное лицо, какие черные, жгучие глаза! На его щите написано: «Я дерзнул!»

— Это рыцарь Ульрих фон Хуттен, — ответил старик. — Да простит ему Бог бранные слова против нашего герцога, но я его хвалю, ибо что правда, то правда... Посмотрите-ка, да это же цвета Зикингенов, и вправду, вот и он сам... Да-да, девочки, это Франц фон Зикинген¹. Говорят, что он поведет в бой тысячу всадников, вон тот, с блестящим панцирем и с красными перьями.

— Но скажи, дядюшка, — вновь спросила Берта, — кто же из них Гец фон Берлихинген, о котором так много рассказывал кузен Крафт? Где он — могучий человек с железным кулаком? Разве он не едет с представителями городов?

— Не произноси эти слова вместе, — сурово проговорил старик. — Гец поддерживает Вюртемберг².

Во время этого разговора мимо окна уже прошла бóльшая часть шествия, и Берта с удивлением заметила, как равнодушно и безучастно смотрела вниз ее кузина Мария. Хотя и замечалось в поведении Марии стремление выглядеть задумчивой, порою мечтательной, но сегодня, ввиду такого блестящего зрелища, быть настолько безучастной... Берте это показалось непростительным.

Только она хотела притянуть сестричку к ответу, как шум с улицы привлек ее внимание.

Могучий конь, вероятно испуганный развевающимися знаменами гильдий, поднялся на дыбы как раз против их окна. Вы-

¹ Франц фон Зикинген, знаменитый современник Георга фон Фрондсберга, участвовал в этой войне как австрийский советник.

² Швабский союз, не придав значения тому, что Гец отказался служить герцогу, окружил его и захватил в плен.

соко закинутая голова коня закрывала всадника так, что видны были только перья его берета.

Ловкость и сила, с какими конь был поставлен опять на ноги, заставляли предполагать во всаднике молодого, мужественного наездника. Длинные светло-каштановые волосы свесились ему на лицо. Он быстро откинул их, и живой взгляд его упал на эркер.

— Ну вот, наконец-то красивый рыцарь! — шепнула блондинка своей соседке так тихо, так таинственно, будто боясь быть услышанной грациозным всадником. — И как он мил, как вежлив! Посмотри только: он кланяется нам!

Но молчаливая кузиночка Мария, как показалось малышке, не обратила внимания на происшествие, только яркий румянец окрасил ее нежные щеки. Да, кто увидел бы серьезную девушку, так холодно глядевшую на торжественное шествие, никогда бы не догадался, как много милой приветливости могло быть на этих устах, как много любви сквозить в задумчивом взгляде, когда она легким наклоном головы отвечала на поклон молодого всадника.

Мимолетное замечание маленькой болтушки о красоте юноши полностью соответствовало действительности.

— Поскорее же, дядя! — заторопилась Берта и потянула старого господина за плащ. — Кто этот юноша в светло-голубой перевязи с серебром? Ну?

— Ах, милое дитя, — отвечал старик, — я вижу этого юного рыцаря впервые в жизни. Судя по его цветам, он не состоит на службе, но едет, конечно, по своей охоте, против моего герцога и господина, как и многие вечно голодные люди, которые хотят поживиться из наших закровов.

— Ну, от вас не дождешься толку, — недовольно буркнула малышка и отвернулась с досадой, — всех старых и ученых господ вы узнаете за сто шагов и даже дальше. А когда вас спрашивают о красивом, вежливом молодом человеке, вы ничего о нем не знаете. Да и ты тоже, Мария, смотришь будто на вынос тела. Спорим, что самого красивого всадника ты и не заметила, у тебя в голове, должно быть, еще старый Фрондсберг, в то время как уже проезжают совсем другие люди!

Шествие во время назидательной речи Берты выстроилось перед ратушей, союзная конница, которая еще проезжала, была уже малоинтересной для обеих девушек, поэтому, когда господа

спешились и потянулись в ратушу, чтобы перекусить, а гильдии расстроили свои ряды и народ мало-помалу начал расходиться, они также отошли от окна.

Берта казалась не совсем довольной. Ее любопытство было удовлетворено лишь наполовину. Однако она не подавала и виду, особенно перед старым серьезным дядюшкой. Но когда тот покинул покой, девушка обратилась к кухне, застывшей в мечтательной позе у окна:

— Надо же! Ну разве можно человека так мучить! Я бы многое отдала за то, чтобы узнать его имя. У тебя что, нет глаз, Мария? Я же толкнула тебя, когда он нам поклонился. Не заметила, какие у него каштановые волосы, длинные и гладкие, дружелюбные темные глаза и лицо — лицо немного загорелое, но красивое, очень красивое. А усики над верхней губой? Нет! Ну надо же, она опять краснеет! Как будто две девушки без посторонних не могут поговорить о красивых губах молодого человека! У нас здесь такое часто случается. Понимаю, что с твоей покойной теткой в Тюбингене и строгим отцом в Лихтенштайне о таких вещах не поговоришь... Но я вижу, что кузиночка Мария опять о чем-то мечтает, придется мне поискать среди своих городских подруг, с кем бы немножко поболтать о шестии.

Мария ответила ей улыбкой, которую мы бы сочли несколько лукавой! Берта же взяла большую связку ключей с крюка на двери и, напевая песенку, пошла приготовить кое-что к обеду, ибо хотя ее и можно было упрекнуть за любопытство, но все-таки она была слишком хорошей хозяйкой, чтобы из-за «вежливого рыцаря» забыть про гарнир и десерт.

Итак, Берта оставила кухню наедине со своими думами. И мы не будем мешать ей; сейчас перед нею одно за другим проходят дорогие сердцу воспоминания, вызванные из тайников ее глубоко чувствующего, верного сердца появлением красивого рыцаря. Она думает о том незабвенном времени, когда его мимолетный взгляд, пожатие руки озаряли светлой радостью ее юные дни. Она вспоминает ночи, проведенные в тихой горенке тайком от покойной тетки за плетением перевязи, светлый, веселый цвет которой пробудил ее сегодня от мечтаний. Мы не будем подслушивать, когда она, покраснев, с опущенными глазами, спросит саму себя, верно ли обрисовала кузина Берта красивый рот ее возлюбленного.

ГЛАВА 2

И тут пробудилась надежда,
И сердце забилось трепетной птицей.
Как хорошо
Мне в Швабию вновь возвратиться...
*Г. Шваб*¹

Праздничное шествие, о котором мы только что говорили, действительно состоявшее из командиров союзного войска, в этот день в Ульме завершило свой марш из Аугсбурга. Уважаемый читатель уже осведомлен о состоянии дел. Непреклонность герцога Ульриха Вюртембергского, известного частыми приступами гнева, а также мужеством, с которым он в одиночку противостоял объединению многих князей, наконец, неожиданный захват имперского города Ройтлингена — все это вызвало жесточайшую ненависть Швабского союза. Война казалась неминуемой, ибо Ульрих слишком далеко зашел и вряд ли бы согласился на мирные переговоры.

К сему добавлялись и личные соображения. Герцог Баварский, обиженный за сестру свою Сабину, жаждал удовлетворения, род Хуттенов хотел отомстить за своего сородича, Дитрих фон Шпет² и его сподвижники надеялись смыть свое бесчестье в Вюртемберге, города и мелкие городишки стремились вернуть Ройтлинген в имперский союз, — словом, каждый развернул свои знамена и жадно настроился на кровавую добычу.

Совсем другим, миролюбивым и радостным, в этом шествии был настрой Георга фон Штурмфедера, «вежливого рыцаря», пробудившего любопытство Берты и вызвавшего яркий румянец на щеках Марии. Он и сам со всей определенностью не знал, что подвигло его в поход, хотя и не был чужд военному делу.

Георг фон Штурмфедер происходил из бедного, но почтенного франконского рода и, рано осиротев, был воспитан одним из братьев своего отца. Уже в то время начинали ценить образование как украшение дворянства. Поэтому дядя и выбрал для племянника ученое поприще. Предание не повествует, насколько

¹ «Романс о юности герцога Кристофа Вюртембергского».

² Он помогал герцогине Сабине бежать от Ульриха, чем и заслужил его ненависть.

Георг преуспел в науках в стенах Тюбингенского университета, который был тогда в полном расцвете¹.

До нас дошло только известие, что молодой человек гораздо больше внимания уделял барышне фон Лихтенштайн, которая жила у тетки в этом городе муз, нежели посещению кафедр знаменитейших докторов.

Рассказывают также, что эта молодая госпожа, со строгим, почти мужественным характером, не обращала внимания на все ухищрения ее поклонников. Уже тогда были известны многочисленные уловки и военные хитрости для покорения неприступных сердец, да и юноши старого Тюбингена лучше изучали Овидия², нежели нынешние студенты. Однако ни ночные серенады, ни дневные сражения за внимание юной красавицы не принесли успеха. Лишь одному претенденту удалось расположить к себе ее сердце, и это был Георг.

Как часто случается при тайной страсти, влюбленные никому не открыли, когда и где вспыхнул луч взаимопонимания, и мы зайдем слишком далеко, если рискнем проникнуть в сладкую тайну первой любви, принявшись рассказывать о вещах, не подкрепленных историческими свидетельствами. Рискнем лишь предположить, что парочка дошла до той степени любовной страсти, когда люди, теснимые внешними обстоятельствами, как бы утоляя горечь разлуки, клянутся друг другу в вечной любви и верности.

Тетка в Тюбингене приказала долго жить, и господин фон Лихтенштайн велел привезти к нему его дочурку, с тем чтобы послать ее для дальнейшего образования в Ульм, где у него была замужняя сестра.

Роза, старая служанка Марии, заметила, что горячие слезы и тоска, с каковыми Мария беспрестанно оглядывалась из носилок, относились не только к улицам, которым они должны были сказать последнее прости.

Вскоре к Георгу прибыло послание, в котором его дядя спрашивал: не довольно ли он сделался ученым за эти четыре года?

¹ Университет в Тюбингене был основан в 1477 году.

² Публий *Овидий* Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — римский поэт, автор любовных элегий, эротико-дидактических поэм «Наука любви» и «Лекарство от любви».

Этот вопрос очень обрадовал Георга: со времени отъезда Марии кафедры знаменитых докторов, мрачный холмистый город и даже прелестная долина Неккара стали ему ненавистными.

Его освежил холодный горный воздух, когда он в одно прекрасное февральское утро, выехав из ворот Тюбингена, устремился навстречу родине; сухожилия рук натянулись от утренней свежести, подобно тетиве, кулаки сжали поводья, а душу охватила отвага, столь свойственная юному возрасту, когда в сердце живет ощущение счастья, глаза еще не замутнены печальным опытом и будущее светло и прекрасно. Как чистое озеро отражает веселый образ склонившегося к нему человека и добавляет ему волнующей глубины, так и неизвестность придает особое очарование будущему. Кому не доводилось ощущать уверенность в собственных силах и в стремлении к счастью полагаться на себя больше, чем на помощь извне?!

Таким было настроение Георга Штурмфедера, когда он подъезжал к прекрасному буковому лесу у своего родового гнезда. И хотя дорога эта не приближала его к возлюбленной и он не мог ничего здесь назвать своим, кроме коня под седлом да отцовского замка, про который пелось в шутливой народной песне:

Дом на трех подпорках,
Сядешь и не усидишь, —

однако он был уверен, что при наличии твердой воли ему открыты все пути для достижения желанной цели и старая римская пословица «Fortes fortuna juvat»¹ не лжет. Приложив усилия, можно добиться исполнения желаний...

Как раз в это самое время герцог Вюртембергский подчинил себе имперский город Ройтлинген. Война неотвратимо надвигалась. Но успех ее был непредсказуем. Швабский союз, объединяющий опытных полководцев и испытанных солдат, неизменно везде и во всем вредил сам себе постоянными разногласиями.

В свою очередь Ульрих, имея под рукой четырнадцать тысяч швейцарских наемников, храбрых, закаленных в боях воинов, мог еще к ним присовокупить менее опытные, однако многочисленные, крепкие отряды из своей собственной страны. Так что равновесие в феврале 1519 года было довольно устойчивым.

¹ «Смелым судьба помогает» (лат.).

Георг понимал, что он не должен оставаться безучастным в такое время, когда все вокруг принимали ту или иную сторону. Кроме того, и это главное, война для Георга была как нельзя кстати: она открывала ему попроще, которое могло скорее прочих довести до заветной цели — посвататься к Марии.

Правда, его сердце не лежало ни к той, ни к другой из враждовавших сторон.

О герцоге Ульрихе в стране отзывались дурно, намерения союза казались ему не совсем чистыми. Но когда подкупленные деньгами и жалобами Хуттенов, а также видами на богатую добычу восемнадцать графов и прочих властелинов — соседей его именища — вдруг отказались служить герцогу, тогда и он решил примкнуть к союзу. Это решение подкрепилось известием о том, что старый Лихтенштайн находится со своей дочерью в Ульме. Георг не мог не примкнуть к той стороне, где была Мария. Таким образом, он предложил свою службу союзу.

Франконское рыцарство под предводительством Людвиг фон Хуттена¹ двинулось в начале марта к Аугсбургу, чтобы там соединиться с Людвигом Баварским и остальными членами союза. Войско собралось довольно скоро и начало свой триумфальный путь навстречу врагу.

Герцог Ульрих тем временем расположился лагерем у Блаубойрена, своего пограничного города. В Ульме его противники решили собраться на большой военный совет. О мирных переговорах не могло быть и речи. Война стала лозунгом, победа — надеждой войска, когда свежий утренний ветер донес выстрелы городских орудий и многоголосый звон колоколов послал свой привет с того берега Дуная.

Сердце Георга тревожно билось в предвкушении первого сражения и согревалось грезами о славе. Однако кто побывал в подобном положении, не будет его порицать за сменившие эти раздумья миролюбивые мысли, отодвинувшие мечты о битвах и победах на задний план.

В тот миг когда вдаль вынырнул из тумана величественный собор и поднялись из дымки темные крепостные стены из обожженного кирпича, с высокими башнями, на юного рыцаря нахлынули сомнения, которые он тщательно укрывал в глубине

¹ Отца убитого Ханса фон Хуттена.

души. «Защищают ли эти стены мою любимую? Не остался ли ее отец верен герцогу? Удастся ли мне добиться благосклонности отца? А не грозит ли мне принадлежность к союзному войску утратой счастья? Да и будет ли Мария вообще, если ее отец на вражеской стороне, укрываться за этими стенами? И даже если все хорошо и Мария находится в праздничной толпе, их встречающей, сохранила ли она верность?»

Последняя мысль, как ни странно, укрепила его уверенность: даже если все обстоятельства обернутся против него, верность Марии непоколебима.

Георг нежно прикоснулся к подаренной ею перевязи на груди, и, когда ульмское рыцарство присоединилось к шествию, рожки и трубы запели бравурные мелодии, к нему вернулось прежнее радостное настроение. Он выпрямился в седле, лихо сдвинул берет и устремил взор на окна высоких домов, отыскивая в них свою любимую.

И тут он увидел, как серьезно она рассматривает сутолоку внизу, почуствовал, что мысли ее вдали, ищут того, кто на самом деле был так близок. Георг пришпорил коня, чтобы тот поднялся на дыбы. Но когда взгляды влюбленных встретились и по радостному румянцу счастливец узнал, что он по-прежнему любим, все в нем перевернулось. Нехотя, через силу, потащился он к ратуше, безудержная радость вытеснила все остальные чувства. Его неодолимо тянуло назад, к угловому дому с эркером. Но лишь только он сделал несколько шагов в том направлении, чья-то крепкая рука его остановила.

— Что с вами, юноша? — спросил глубокий, хорошо знакомый ему голос. — Вон же лестница, ведущая в ратушу. У вас закружилась голова? И неудивительно, завтрак был такой скудный. Утешьтесь, дружок, пойдемте-ка наверх. У ульмцев хорошие вина, и мы немного вознаградим себя за тяготы жизни.

Если бы юный рыцарь не пребывал на седьмом небе от счастья, он сразу бы узнал старого господина Брайтенштайна, своего ближайшего франконского соседа. Слава богу, тот вернул его на землю и спас от поспешных поступков.

Георг дружески взял пожилого воина под руку, и они последовали за другими рыцарями, чтобы отдохнуть после быстрой утренней езды за роскошным обедом, который им приготовил вольный имперский город Ульм.

ГЛАВА 3

А замок весь в огнях. Кто там пирует
Под звуки бурной музыки?

*Ф. Шиллер*¹

Зал ратуши, куда были приведены прибывшие, являл собой большой продолговатый четырехугольник. Стены и несоразмерно низкий потолок его были обшиты темным деревом, бесчисленные окна с круглыми стеклами, на которых яркими красками изображались гербы благородной знати Ульма, тянулись с одной стороны, противоположную стену заполняли портреты знаменитых бургомистров и именитых городских советников; все они, почти в одинаковых позах — левою рукою упираясь в бок, правую возложив на покрытый роскошной скатертью стол, — торжественно и строго смотрели вниз, на гостей своих внуков. Гости же беспорядочными группами теснились вокруг стола. Стол в виде огромной подковы занимал почти весь зал. Бургомистр и советники, которым сегодня от имени города поручалось исполнять обязанности хозяев, отличались от запыленных гостей своими изысканными нарядами, с туго накрахмаленными белоснежными брыжами. Гости, будучи облачены в кожу и металл, случалось, бесцеремонно задевали за шелковые накидки и бархатные одежды радушных горожан.

Ждали только герцога Людвиг Баварского, который, прибыв несколькими днями раньше, обещал присутствовать на блестящем обеде, однако камергер принес его извинения, и, когда трубачи дали давно ожидаемый сигнал, все устремились к столу так поспешно, что любезное распоряжение совета — посадить между каждыми двумя гостями по одному ульмцу — не было соблюдено должным образом.

Брайтенштайн потянул Георга на место, которое ему показалось достойнейшим.

— Я бы мог, — сказал пожилой господин, — посадить вас вон там, на почетном конце, с Фрондсбергом, Хуттенем и Вальдбургом, но в таком обществе нельзя утолить голод с необходимым спокойствием. Мог бы и отвести вас к нюрнбержцам и аугсбургцам, туда, на дальний край, где стоит жареный павлин, — Бог

¹ «Смерть Валленштайна». Перев. Н. Славятинского.

свидетель, у них не дурное местечко! — но знаю, что горожане не совсем вам по душе, а потому и посадил вас здесь. Оглянитесь-ка, право же, совсем неплохо — вокруг незнакомые лица, значит, не надобно много разговаривать. Направо от нас — копченая свиная голова с лимоном во рту, слева — великолепная форель, а вот перед нами — косуля, да такая жирная, нежная, — верно, другой такой на столе не сыщешь.

Георг поблагодарил старика за предусмотрительную заботливость и бегло взглянул на окружающих. По правую руку от него сидел молодой, изысканно одетый господин двадцати пяти — тридцати лет. Только что причесанные, благоухающие помадой волосы и маленькая бородка, которая, по-видимому, лишь час назад была завита горячими щипцами, убедили юношу еще до разговора с ним, что он видит одного из ульмских господ.

Молодой человек, поняв, что замечен своим соседом, выказал себя очень предупредительным: он наполнил кубок Георга из большого серебряного кувшина, чокнулся с ним за счастливое прибытие, за доброе соседство и наложил на тарелку гостя лучшие куски от бесчисленных косуль, зайцев, свинины, фазанов и диких уток, в изобилии расположенных вокруг на серебряных блюдах.

Но Георга не могли побудить к сдвигу ни предупредительная услужливость горожанина, ни необыкновенный аппетит Брайтенштайна. Он был все еще слишком увлечен милым образом Марии, чтобы последовать прозаическим поощрениям своих соседей.

Задумчиво смотрел юноша в бокал, который по-прежнему держал в руке, как бы надеясь, что после исчезновения лузьяков на поверхность старого доброго вина выплывет из глубины образ любимой. Неудивительно поэтому, что приветливый господин справа, заметив, что сосед сосредоточен на бокале и игнорирует еду, посчитал его кутилой. Горящие глаза, улыбчивый рот погруженного в мечтания юноши выдавали в нем подлинного знатока вин, смакующего благородные напитки.

Памятуя о наставлениях городского совета быть предупредительным к гостям, молодой ульмец решил потакать слабостям юноши, хотя сам и не одобрял привязанности своих сограждан к вину. Он вновь наполнил свой бокал и произнес:

— Не правда ли, господин сосед, вино превосходно? Конечно, это не вюрцбургское, к которому вы привыкли во Франконии, но ему восемьдесят лет, и оно из винных погребов ратуши.

Удивленный этими словами, Георг отставил бокал и коротко ответил: «Да-да». Но сосед не хотел выпускать найденную им нить разговора.

— Кажется, — продолжал он, — это вино не совсем вам по вкусу. Тогда попробуйте другого, из Вюртембергского замка. Итак, за скорую войну и грядущую победу!

Георгу был не по душе этот разговор, и он решил переменить тему.

— А у вас в Ульме, — начал он, — прелестные девушки. По крайней мере, при нашем вступлении я это сразу подметил.

— О! — рассмеялся ульмец. — Ими можно выложить все улицы.

— Это было бы совсем недурно, — ответил Георг, — потому что мостовые на ваших улицах скверные. Однако скажите мне, кто живет вон в том угловом доме с эркером? Если я не ошибаюсь, оттуда, когда мы въезжали, смотрели две очень изящные девушки.

— Вы уже и этих приметили? — рассмеялся собеседник. — Право же, у вас зоркий глаз и вы — ценитель красоты. Это мои милые кузины с материнской стороны. Маленькая блондинка — Бесерер, другая — госпожа фон Лихтенштайн из Вюртемберга, здесь в гостях.

Георг возблагодарил судьбу за то, что она свела его с близким родственником Марии. Он решил воспользоваться случаем и как можно любезнее обратился к своему соседу:

— Итак, у вас очень красивые кузиночки, господин фон Бесерер...

— Меня зовут Дитрих фон Крафт, — прервал его тот, — я секретарь большого совета.

— Прехорошенькие девушки, господин фон Крафт, и вы, конечно, их частенько навещаете?

— Да-да, — ответил секретарь большого совета, — особенно с тех пор, как в доме появилась барышня Лихтенштайн. Кузиночка моя Берта, конечно, немножко ревнует, раньше мы жили с нею душа в душу, но я делаю вид, что этого не замечаю, зато отношения с Марией у меня все лучше и лучше.

Это сообщение, должно быть, показалось не особенно приятным Георгу, он слегка прикусил губу и покраснел.

— Вы только подумайте, — продолжал секретарь, которому с непривычки вино ударило в голову, — они буквально разрывают меня на части. Особенно малышка Лихтенштайн, она обладает удивительным даром быть чрезвычайно приветливой и все делает так мило и серьезно, что хочется ей ответить любезностью. Конечно, она не кокетничает, как Берта, но я готов прийти в одиннадцатый раз, даже если меня десять раз подряд прогнали... Она так поступает, — пробормотал он задумчиво себе под нос, — потому что побаивается своего строгого отца, который тоже здесь. А когда тот покинет Ульм, она сделается ручной.

Георгу хотелось навести дальнейшие справки об отце, но в эту минуту он был прерван странным дуэтом.

Еще раньше среди шума обедающих он слышал, как два голоса, однообразно тягучих, произносили какие-то короткие стишки, и не понимал, что сие означает. Теперь он услышал те же голоса совсем рядом, а вскоре и узнал содержание монотонных стишков.

В добрые старые времена, особенно в имперских городах, считалось хорошим тоном, чтобы хозяин и его супруга вставали посреди обеда из-за стола и подходили к каждому гостю по очереди, поощряя их к еде и питью веселыми изречениями. Этот обычай так укоренился в Ульме, что почтенный совет решил к нему прибегнуть и в данном случае. Чтобы официально выполнить традиционную обязанность, назначены были «хозяин» и «хозяйка».

Выбор пал на бургомистра и старшего советника. Поощряя гостей, те успели обойти обе стороны стола; неудивительно поэтому, что их голоса от сильного напряжения изрядно охрипли и осипли и дружеские поощрения уже звучали как глухая угроза.

— Почему вы не кушаете, почему вы не пьете? — над ухом Георга раздался хриплый голос.

Георг испуганно обернулся и увидел сильного рослого человека с красным лицом. Едва он собрался ответить ему, как с другой стороны маленький человечек запищал тонким голоском:

Ешьте и пейте вдоволь,
Магистрат будет доволен.

— Я предполагал, что так оно и будет, — заметил старый Брайтенштайн, отрываясь от куска косули. — Вместо того чтобы наслаждаться великолепным угощением, вы болтаете!

— С вашего разрешения, — прервал его тут же Дитрих фон Крафт, — юный господин не ест потому, что он ценитель вина и смотрит на дно стакана. Лично я не осуждаю тех, кто предпочитает еду напитки.

Георг не знал, как ему реагировать на такую странную поддержку, и хотел было извиниться, как его внимание привлекла другая сцена. Брайтенштайн наконец переключился на свиную голову с лимоном во рту. Искусно вылушив лимон из пасти животного, он опытной рукой с наслаждением производил дальнейшее вскрытие и жевал уже изрядный кусок, когда к нему подошел бургомистр с вопросом: «Отчего ж вы не кушаете? Отчего ж вы не пьете?»

Брайтенштайн посмотрел на поощрителя остановившимся взглядом, для слов его органы речи были слишком заняты, и кивнул на остатки косули. Но маленький человечек отнюдь не смутился и дружелюбно пропищал фистулой:

Ешьте и пейте вдоволь,
Магистрат будет доволен.

Вот как бывало в старые добрые времена! По крайней мере, нельзя было пожаловаться, что вас пригласили на видимость обеда.

Вскоре праздничный стол преобразился. Большие блюда и подносы были унесены, поставили объемистые кружки и больших размеров кувшины, наполненные благородным вином. Пошла по кругу чаша, и начались уже тогда распространенные в Швабии тосты. Действие вина не замедлило сказаться. Дитрих Шпет и его сподвижники пели насмешливые песни про герцога Ульриха, сопровождая каждое проклятие или же дурную шутку громким хохотом и очередным прикладыванием к кружке. Франконские рыцари играли в кости на имения герцога и пили взапуски, назвав в качестве награды победителю Тюбингенский замок.

Ульрих фон Хуттен и некоторые из его друзей спорили на латинском языке с несколькими итальянцами по поводу нападок на римский престол со стороны безвестного монаха из Виттен-

берга¹. Нюрнбержцы, аугсбургцы и некоторые ульмские господа затеяли спор о блеске их республик.

Смех, пение, ссоры и глухой звон оловянных и серебряных кубков наполняли зал.

Только на верхнем конце стола царила приличная и спокойная веселость. Там сидели Георг фон Фрондсберг, старый Людвиг Хуттен, стольник Вальдбург, Франц фон Зикинген и другие пожилые степенные господа. Туда, вдоволь насытись, обратил свои взоры Ханс фон Брайтенштайн, и спустя какое-то время он сказал Георгу:

— Шум вокруг нас мне не по душе. Что, если я сейчас представлю вас Фрондсбергу, как вы того хотели?

Георг, уже давно мечтавший познакомиться с известным военачальником, радостно приподнялся, чтобы последовать за старшим другом. Мы не станем его осуждать за то, что сердце у него боязливо забилося, щеки налились румянцем, а шаги сделались неуверенными. Кем в его возрасте не овладевали подобные чувства при приближении к покрытому славой воину? И у кого не сжималось свое собственное «я» в угоду знаменитому исполниту? Георг фон Фрондсберг уже в то время считался одним из знаменитейших полководцев. В Италии, Франции и Германии рассказывали о его победах, да и военная наука вечно будет упоминать его в своих анналах, потому что он основал и упрочил боевой строй пехоты. Народные предания и исторические хроники донесли до наших дней облик этого военачальника. Кто, скажите, не вспомнит неволью героев Гомера, прочитав о нем следующее: «Он был так могуч, что мог средним пальцем правой руки сдвинуть с места сильнейшего мужчину, остановить на скаку коня и передвинуть таран»?

И вот к этому человеку Брайтенштайн подвел юношу.

— Кого это вы ведете к нам, Ханс? — воскликнул Фрондсберг, с участием рассматривая рослого красивого парня.

— Посмотрите-ка на него повнимательней, дорогой, — ответил Брайтенштайн, — не приходит ли вам в голову, к какому дому он мог бы принадлежать?

Военачальник пристально посмотрел на Георга, старый стольник тоже вопросительно глянул в его сторону.

¹ Имеется в виду реформатор церкви Мартин Лютер.

Георг робко приблизился к полководцам, дружелюбный взгляд Фрондсберга придавал ему мужества; наконец, осознав, как важен для него этот миг, он поборол смущение и, полный решимости, посмотрел прямо в глаза герою.

— О! По этому взгляду я узнал тебя! — радостно воскликнул Фрондсберг и протянул молодому рыцарю руку. — Ты из рода Штурмфедеров?

— Георг Штурмфедер, — ответил молодой человек. — Мой отец Буркхард Штурмфедер убит в Италии, возле вас в бою, как мне говорили.

— Да, это был храбрый человек, — проговорил военачальник, продолжая задумчиво разглядывать лицо Георга, — он был моим верным товарищем во многих жестоких сражениях... Право, его похоронили слишком рано!.. А ты, — прибавил он дружески, — намерен следовать по его стопам? Едва оперился и уже оставил гнездо. Что тебя гонит оттуда?

— Я догадываюсь, — прервал его Вальдбург грубым, неприятным голосом, — птичка хочет поискать несколько клочков шерсти, чтобы залатать старое гнездо!

Грубый намек на ветхий замок его предков вызвал яркий румянец на щеках юноши. Он никогда не стыдился своей бедности, но эти слова прозвучали столь высокомерно, что под взглядами богатого зубоскала Георг впервые почувствовал себя действительно нищим. Его взгляд устремился поверх стольника Вальдбурга вдаль, к уже известному нам дому с эркером. И мысль о Марии вернула ему мужество.

— Любое сражение заслуживает награды, господин рыцарь, — сдержанно проговорил Георг. — Я предложил союзу свою голову и руки, а что меня побудило к этому, вам должно быть безразлично.

— Ну-ну, — буркнул стольник, — каковы руки, мы еще посмотрим, а вот голова, похоже, не совсем ясная, раз вы всерьез воспринимаете шутки.

Раздраженный юноша хотел что-то возразить и на это, но Фрондсберг дружески взял его за руку:

— Совсем как отец! Милый мальчик, со временем ты будешь жалить, как настоящая крапива... Нам нужны люди, у которых сердце на своем месте. Что ты будешь не из последних — в этом я уверен.

Эти скупые слова из уст человека, громко прославившегося среди своих современников храбростью и военным искусством, произвели такое успокаивающее действие на Георга, что он удержал ответ, который вертелся у него на языке, и молча отошел от стола к окну, чтобы больше не мешать высоким начальникам, а главное — убедиться в том, что его мимолетное видение действительно было Марией.

Когда Георг отошел, Фрондсберг обратился к Вальдбургу:

— Совсем не так, господин стольник, склоняют на нашу сторону дельных парней. Бьюсь об заклад, что он ушел от нас, не имея и половины того рвения, с каким сюда явился.

— Вы еще будете заступаться за молокососа? — вскипел стольник. — Пусть сначала научится выносить шутки своих командиров.

— Позвольте, позвольте, — подал тут голос Брайтенштайн, — это вовсе не шутка — смеяться над незаслуженной бедностью, впрочем, я ведь знаю: вы и отца его недолюбливали.

— Кроме того, — продолжил Фрондсберг, — вы ему пока не командир. Он еще не приносил присяги союзу и потому может ехать куда захочет. Но даже если бы он служил под вашими знаменами, я бы и тогда не советовал дразнить его. По-моему, он не из тех, кто позволяет подобное.

Безмолвный от гнева за отповедь, каких он никогда в своей жизни не слышал, стольник переводил яростный взгляд с одного на другого.

Людвиг фон Хуттен поспешил вмешаться, дабы предотвратить жесточайшую ссору:

— Да оставьте вы этот спор. Должно быть, пора вставать из-за стола. На дворе уже стемнело, а вино слишком крепкое. Дитрих Шпет уже дважды провозгласил смерть Вюртембержцу, да и франконцы там, внизу, никак не решат, сжигать им захваченные замки или же поделить между собою.

— Ах, оставьте их, — горько улыбнулся Вальдбург, — пусть сегодня господа делают что хотят. Фрондсберг обратится к ним с речью.

— Нет-нет, — прервал его Людвиг Хуттен, — кому и стоит что-то говорить, так это мне, человеку, жаждущему кровной мести за смерть сына. Однако, прежде чем будет объявлена война, лучше воздержаться от речей. Мой племянник Ульрих тоже

слишком много говорит с итальянцами о монахе из Виттенберга и выбалтывает лишнее, когда впадает в гнев. Пойдемте отсюда!

Фрондсберг и Зикинген, поддержав его мнение, встали, соседи последовали их примеру, а за ними поднялись и все остальные.

ГЛАВА 4

Вы знать хотите, для чего нужны глаза?
Чтоб видеть мира красоту
И то, что скрыто стенами глухими.
Нужны глаза и чтобы выразить
всю сердца полноту.

Вальтер фон дер Фогельвайде¹

Георг, стоя у окна, слышал каждое слово спорящих. Его радовало участие, проскользнувшее в словах Фрондсберга, тем более ценное, что оно касалось безвестного юноши-сироты. От него также не укрылось, что он с первых же шагов на военном поприще вызвал ненависть со стороны могущественного врага. Стольник был известен своей непомерной гордостью и злопамятливостью, но Георгу хотелось верить, что примирительные слова Хуттена погасят всяческие воспоминания о ссоре и что человек с таким весом и положением, как Вальдбург, невольную причину своего гнева сочтет простительной.

Легкое прикосновение к плечу прервало его размышления. Обернувшись, он увидел своего любезного соседа по столу — секретаря большого совета.

— Бьюсь об заклад, что вы еще не приискали себе квартиры, — сказал Дитрих фон Крафт. — Теперь, пожалуй, будет трудно это сделать, потому что стемнело и город переполнен приезжими.

Георг сознался, что он и не подумал об этом, однако надеется найти местечко на постоялом дворе.

— На вашем месте я не был бы столь уверенным, — возразил Крафт. — Положим, вы найдете где-нибудь угол, но уж рассчитывать на удобство вам не придется. У меня есть предложение: если мое жилище не покажется вам невзрачным, я с радостью предоставляю его вам.

¹ «Мужу правды радостна весна...»

Добрый секретарь совета говорил с такой сердечностью, что Георг не задумываясь принял его предложение, хотя и опасался, что хозяин, когда хорошее настроение вместе с винными парами улетучится, раскается в своем гостеприимстве. Но Крафт, казалось, очень обрадовался согласию своего гостя и, крепко пожав ему руку, увел его из зала.

Площадь перед ратушей преобразилась. Дни еще были короткими, вечерние сумерки подкрадывались незаметно. Повсюду уже зажгли факелы и уличные фонари; их темно-красный свет скудно высвечивал площадь и бросал дрожащие тени на окна близлежащих домов, блестящие шлемы и латы рыцарей; громкие призывы из ратуши слуг и лошадей, бряцание мечей, топот снующих туда-сюда людей, перемешанные с лаем собак, нетерпеливым ржаньем коней, являли сцену, более похожую на внезапное нападение неожиданного неприятеля, нежели на разъезд после мирного обеда.

В растерянности Георг остановился на пороге ратуши. Радостные лица воинов, мощные фигуры рыцарей, ликующих и поющих с юношеским задором, объединяющихся в небольшие группы и исчезающих в ночи, напомнили ему о том, как быстротечны эти дни, как скоро веселые парни будут поглощены войной, а некоторые из них, не пережив своей весны, будут покоиться в сырой земле. Он знал, что они падут, вызвав мимолетные скупые слезы своих боевых товарищей и заслужив минутную славу храбрых бойцов. Невольно взгляд его обратился к другой стороне улицы, где, как он знал, ждала его награда, и увидел людей, стоящих у окон, но черноватый дым от факелов, поднимающийся над площадью, облаком окутывал предметы и не позволял разглядеть, что там, за этими расплывчатыми тенями.

Неудовлетворенный неизвестностью, Георг отвел глаза. «Так и мое будущее, — сказал он сам себе. — Настоящее — светло, но грядущее так же темно, как и неопределенна цель».

Его любезный спутник прервал мрачные размышления вопросом о том, куда запропастились слуги гостя с лошадьми. Если бы площадь, где они находились, была ярче освещена, добряк Крафт, несомненно, заметил бы мгновенный яркий румянец, вспыхнувший при этом вопросе на щеках Георга.

— Молодой воин, — ответил тот поспешно, — должен полагаться на собственные силы, посему при мне нет слуг. А своего коня я передал слугам Брайтенштайна.

Секретарь совета похвалил предусмотрительную аскетичность и строгость юноши, однако заметил, что если ему самому придется отправиться на поле военных действий, то он не будет столь безжалостен к себе. Вид его аккуратной прически и изящно завитой бородки убедили Георга в том, что их хозяин говорит от чистого сердца. Изысканная, удобная обстановка дома, куда они вскоре пришли, не поколебали этой уверенности.

Хозяйство Крафта было, что называется, холостяцким. Его родители отошли в мир иной, когда сын лишь вступил в зрелый возраст и получил свой пост при городском совете.

Вероятно, он уже давно бы присмотрел себе достойную спутницу жизни, тем более что юные горожанки видели в нем хорошую партию, учитывая общественное положение жениха (что существенно и по нынешним меркам), кабы не прелесть холостяцкой жизни и то обстоятельство, о чем часто в городе шептались, — антипатия его старой кормилицы и домоправительницы ко всем претенденткам, что и удерживало секретаря от этого шага.

У Дитриха был большой дом, неподалеку от собора, и прекрасный сад у подножия горы. Мебель в его доме отличалась превосходным качеством; огромный дубовый сундук был доверху набит кусками тончайшего льна, которые долгими зимними вечерами напряла со своими служанками матушка и матушка ее матушки; железный ларец в спальне заключал изрядную сумму золотых гульденов; сам господин Дитрих — красивый солидный господин, всегда нарядный, расфранченный, обращал на себя внимание, когда степенным шагом шествовал в ратушу, где имел добропорядочную репутацию, да и происходил он из старинной уважаемой семьи.

Неудивительно, что весь город превозносил его добродетели и любая местная девушка сочла бы за счастье снарядиться в долгое супружество с ним.

Георг про себя отметил эти заманчивые обстоятельства. Домашнее окружение секретаря составляли: старый седой слуга, две огромные кошки и бесформенно-толстая кормилица. Все четверо с удивлением уставились на гостя, показывая тем самым, как они не привыкли к неожиданному пополнению обитателей дома. Кошки, мурлыкая, с выгнутыми спинами обошли пришельца со всех сторон. Кормилица недовольно сдвинула со лба украшен-

ный золотым шитьем чепчик и спросила, следует ли ей приготовить ужин на две персоны. Когда же она выслушала подтверждение, а заодно и поручение (непонятно, была ли то просьба либо приказ) подготовить для гостя угловую комнату на втором этаже, казалось, ее терпение лопнуло: бросив свирепый взгляд на своего юного повелителя, гремя ключами, толстуха удалилась. Георг долго еще слышал ее тяжелые шаги по скрипящим лестницам. Пустынная тишина большого дома разряжалась многократным эхом от грохота дверей, которые она в ярости захлопывала.

Седой слуга тем временем придвинул стол и два больших кресла к огромной печи, поставил на стол черный ящик, две свечи, два серебряных бокала с вином и, перекинувшись шепотом несколькими словами со своим хозяином, покинул покои. Господин Дитрих пригласил гостя разделить с ним его обычное вечернее времяпрепровождение и открыл черный ящик с игральными костями.

Георг изумился этому развлечению своего любезного хозяина, когда тот рассказал, что он с десяти лет все вечера проводит с кормилицей за игрой в кости. Каким же пустынным и зловещим показался ему этот дом! Лишь топот толстухи напоминал о жизни, но вскоре наступила гробовая тишина в длинных переходах и многочисленных покоях, которую прерывали лишь треск свечей, шуршание древооточцев в черноватых деревянных панелях да монотонный стук костей.

Игра мало привлекала Георга, мысленно он был далеко отсюда, глубокая меланхолия, исходящая от гулких покоев, и мысли, обращенные к дому, находящемуся всего в нескольких минутах ходьбы отсюда, тоска по отсутствующей здесь возлюбленной — все это туманило его душу. Лишь нескрываемая радость господина Дитриха, выигрывавшего все партии, вознаграждала его за потерю времени.

С восьмым ударом часов хозяин пригласил гостя к ужину, превосходно приготовленному, несмотря на все неудовольствие, старой кормилицей, боявшейся уронить честь дома. Секретарь вновь проявил свое красноречие и говорливость, стремясь скрасить разговором тихую семейную трапезу. Но напрасно Георг ловил все его слова, стремясь что-либо разузнать о прекрасной кузиночке. Ему повезло лишь с известием о том, что среди прибывших вюртембергских рыцарей есть и господин Лихтенштайн.

Одного этого сообщения было достаточно, чтобы смириться с резким поворотом судьбы. Теперь он радовался, что примкнул к партии, бывшей ему прежде безразличной, хотя к ней и принадлежали славные рыцарские имена. Если и ее отец здесь, то можно надеяться, что ему представится возможность сражаться на стороне благородного воина в надежде доказать, что и сам он тоже не из последних.

После ужина хозяин отвел гостя в отведенные ему покои и пожелал приятного отдыха. Георг осмотрел комнату и нашел, что она соответствует всему дому.

Круглые, от старости подслеповатые окна, темные деревянные панели на стенах и потолке, огромная печь, невероятных размеров постель с высоким пологом — все тут выглядело мрачным. Но тем не менее о его удобстве позаботились. Свежие белоснежные простыни манили в постель, печь источала приятную теплоту, ночная лампа струила с потолка приветливый свет, не забыт был и бокал теплого вина на ночь.

Георг задвинул занавеси и предался воспоминаниям о прожитом дне. Пестрые картины увиденного закружились перед его мысленным взором и повлекли во власть сна.

Лишь один светлый образ не покидал засыпающего рыцаря, и это был милый облик его возлюбленной.

ГЛАВА 5

О нет! То не грезы!
И этот миг сегодня настанет —
Моя любимая предо мною предстанет.
*Ф. Хауге*¹

Наутро Георг был разбужен деликатным стуком в дверь. Он откинул занавеси своей кровати и увидел, что солнце уже высоко. Стук повторился, и в комнату вошел его приветливый хозяин, как всегда безукоризненно одетый.

После первых вопросов о том, как гость провел ночь, господин Дитрих тотчас завел речь о причине своего раннего визита. Большой совет еще вчера решил дать в честь союзников бал, ко-

¹ «Когда я ждала милого».

торый устроят нынче вечером в ратуше, и ему, как секретарю совета, надлежит все как следует приготовить к празднеству: нанять городских музыкантов, разослать именитым лицам приглашения, и прежде всего он должен поспешить к своим милым кузиночкам, дабы известить их о редкостном событии.

Все это секретарь совета рассказывал своему гостю с необыкновенно важной миной и уверял, что он от наплыва дел просто потерял голову.

Георг понял только одно: у него появилась надежда увидеть Марию и поговорить с нею, и поэтому был готов за такую весть прижать господина Дитриха к своему радостно забившемуся сердцу.

— Вижу по вашему лицу, — сказал тот, — известие вас обрадовало, а желание потанцевать буквально горит в ваших глазах. У вас будут такие партнерши, о каких только можно мечтать. Обещаю: вы будете танцевать с моими кузинами, потому что именно я вывожу их на танцевальные вечера, никто другой не посмеет их пригласить, да и они обрадуются, когда я им представлю такого ловкого танцора.

Затем он пожелал своему гостю доброго утра и попросил его, чтобы тот при выходе на улицу запомнил его дом и не опоздал бы к обеду.

Господин Дитрих, как близкий родственник, имел доступ в дом Бесерера даже ранним утром, тем более имея такую извинительную причину.

Он застал девушек за завтраком.

Напрасно бы искали современные дамы на столе элегантную сервировку из прекрасного фарфора, чашки для горячего шоколада, сделанные по античным образцам. Но если и впрямь натуральную грацию и благородное достоинство не скрыть скромным платьем, то мы должны со всем мужеством признать, что Мария и веселая Берта ели на завтрак пивной суп.

Не нанесет ли данное обстоятельство ущерб поэтичному облику милых дам? Возможно, и нанесет, но кто бы увидел Марию и БERTУ в белоснежных утренних чепчиках, опрятных домашних платьицах, тот бы не отказался от предложения разделить с ними завтрак.

— Вижу по твоему лицу, братец, — начала Берта, — тебе хочется отведать нашего супчика, потому что дома кормилица при-

готовила к завтраку лишь детскую кашку. Однако выбрось это из головы. Ты заслужил наказание и должен будешь поститься.

— Ах, с каким нетерпением мы ждали вас! — прервала ее Мария.

— Да, — встряла Берта, — только не думай, что ради твоих прекрасных глаз. Мы ожидали новостей.

Секретарь уже привык к подобному обращению кузины и хотел было примирительно сообщить, что не мог вчера вечером удовлетворить ее любопытство, но у него так много новостей, что...

— Знаем мы твои долгие рассказы, — прервала его Берта, — многое мы и сами увидели из окна. А о всеобщей попойке слышать не хотим, поэтому ответь-ка на мой вопрос.

Девушка с комической серьезностью встала перед ним и продолжила:

— Дитрих фон Крафт, секретарь уважаемого совета, не видели ли вы среди союзников стройного молодого и чрезвычайно вежливого господина с длинными светло-каштановыми волосами, лицом не таким бледным, как у вас, но не менее красивым, небольшой бородкой, не такой изысканной, как ваша, тем не менее более красивой, со светло-голубой перевязью на груди...

— Ах, да это же мой гость! — воскликнул господин Дитрих. — Он ехал на гнедом жеребце, одетый в голубую куртку, с разрезами на предплечьях?

— Да-да, продолжайте, — в нетерпении проговорила Берта, — у нас есть свои причины интересоваться им.

Мария между тем встала и, отвернувшись от собеседников, начала рыться в ящичке со швейными принадлежностями. Однако румянец на ее щеках показывал, что она не пропускает ни единого слова из рассказа господина Дитриха.

— Так это Георг фон Штурмфедер, — говорил тем временем секретарь, — милый, красивый юноша. Удивительно, но и он вас заметил во время шествия.

И он рассказал о том, что предшествовало обеду, как ему понравился мужественный облик юноши, как случайно они оказались соседями за столом, разговорились и он наконец привел его к себе в дом.

— Замечательно, братец, — похвалила рассказчика Берта и протянула ему руку. — Наверно, ты в первый раз осмелился при-

вести к себе в дом гостя. Могу себе представить лицо старой Сабинны, когда вы вошли!

— О, она была будто дракон при виде святого Георгия. Но я ей намекнул, что вскоре приведу еще одну из своих милых кузиночек...

— Ах, оставь! — запротестовала Берта и, покраснев, попыталась отнять свою руку.

Но господину Дитриху в этот миг показалось, что он еще никогда не видел свою кузину такой красивой, и потому сжал ее руку еще крепче. Образ серьезной Марии в душе его потускнел, и чаша весов склонилась в пользу веселой Берты, которая в данный момент, прелестно смущаясь, сидела перед счастливым секретарем.

Мария молча покинула покои, и Берта с радостью воспользовалась ее исчезновением, чтобы перевести разговор на другое.

— Ну вот, опять уходит, — проговорила она, глядя вслед удаляющейся Марии. — Могу поспорить, что сейчас пойдет в свою комнату и будет там плакать. Вчера вечером она так рыдала, что мне стало грустно.

— А что с нею? — спросил участливо Дитрих.

— Не знаю причину ее слез. Я уже не раз ее об этом спрашивала, но она только качает головой, давая понять, что я ей ничем помочь не смогу. «Злосчастная война!» — единственное, что она сказала мне в ответ.

— А что, старик решил возвратиться с нею в Лихтенштайн?

— Да. Слышал бы ты только, как он вчера ругался, когда смотрел на шествие союзников! Он предан своему герцогу душой и телом и будет стремиться к нему на помощь. Как только объявят войну, они с Марией уедут.

Господин Дитрих задумался и, подперев рукой голову, молча слушал кузину.

— Я думаю, — продолжала та, — она так отчаянно плакала вчера из-за прихода союзников. Ты же знаешь, она и до этого была печальной. По утрам я видела следы слез на ее лице. Но когда с приходом союзников война стала неизбежной, сестричка выглядит вовсе безутешной. Думаю, что в Ульме ей не нравится. Мне кажется, — продолжала она таинственно, — у нее есть тайная любовь.

— Разумеется! Я тоже это подметил, — вздохнул господин Дитрих, — но что я могу с этим поделать?

— Ты? Что можешь ты поделать? — рассмеялась Берта, и с ее лица исчезли следы печали. — Нет, нет, ты не виноват в ее страданиях. Она была такой еще до твоего появления.

Честный секретарь был посрамлен за свою самоуверенность. В глубине души он надеялся, что расставание с ним так опечалило бедную Марию, и ее грустный образ вновь взял верх в его нерешительном сердце.

К счастью, Берта не стала издеваться над безрассудными предположениями кавалера, и тогда он вспомнил о цели своего визита.

Выслушав сообщение о вечернем бале, кузина буквально подскочила с радостным криком:

— Мария! Мария! Иди же сюда!

И та, подозревая несчастье, поспешила в комнату.

— Мария, сегодня бал в ратуше! — закричала счастливая Берта, не дождавшись появления кузины на пороге.

Казалось, что и Мария была поражена этим известием.

— Когда? Гости тоже примут участие? — посыпались вопросы.

Румянец запылал на ее щеках, а в серьезных заплаканных глазах блеснул луч радости.

Берта с кузенком поразились такой молниеносной смене чувств, а молодой человек не удержался от замечания, что Мария, должно быть, страстная поклонница танцев.

Мы же полагаем, что и на этот раз он ошибся точно так же, как недавно, посчитав Георга знатоком вин.

Когда секретарь заметил, что девушки погрузились в серьезное обсуждение своих бальных нарядов, в котором ему отводилась незначительная роль, то решил вернуться к служебным обязанностям и поспешил разнести приглашения высоким гостям. Его встречали везде как вестника радости, потому что, по свидетельству исторических хроник, любовь к танцам у девушек родилась не в наши дни.

Секретарь отдал также необходимые распоряжения для праздничного украшения помещений ратуши. Безыскусные лампы огромного зала должны были давать достаточно света, чтобы разглядеть красоту ульмских девушек.

Ему не только удалось дать нужные указания, но и посчастливилось узнать некоторые тайные известия, доступные узкому кругу городских советников и союзных военачальников.

Довольный успехом, Дитрих вернулся к обеду домой и первым делом отправился посмотреть, как чувствует себя его гость. Он застал того за странным делом. Георг долго листал найденную им в комнате старинную книгу. Красочные картинки в начале глав, изображения победных шествий и сцен сражений, нарисованные с великим усердием, долго занимали его воображение.

Преисполненный воинского духа, навеянного выразительными рисунками, он принялся начищать свой шлем, латы и меч, унаследованный от отца, напевая при этом, к великому неудовольствию госпожи Сабины, то веселые, то серьезные песни.

За этим занятием его и застал хозяин дома. Уже внизу он услышал приятный голос певца и остановился дослушать его у дверей, чтобы не перебивать пения. На этот раз звучала грустная мелодия, дошедшая до наших дней. И сегодня она живет в душе швабов, ее бесхитростные аккорды можно услышать на милых сердцу берегах Неккара. Певец пел:

И лишь почувствовал мыслей венец,
Как радости нежной пришел конец.
Еще вчера на гордом коне,
А завтра он — в сырой земле.
Все краски земли померкнут,
И щеки — кровь с молоком — поблекнут,
А розы пышные увянут,
Скорбные дни настанут.

Наверно, так Господь хотел,
Чтоб быть мне нынче не у дел.
Недолго мне стоять над бездной —
Умирает рыцарь бедный¹.

— О! У вас прекрасный голос! — сказал, входя в покои, господин фон Крафт. — Но почему вы поете такие печальные песни? Я, конечно, не могу с вами сравниться, но, когда покою, всегда весел, как и подобает молодому мужчине двадцати восьми лет.

¹ Последние строфы стихотворения В. Гауфа «Утренняя песнь рыцаря».

Георг отложил в сторону меч и протянул своему доброму хозяину руку.

— Возможно, вы и правы. Но когда собираешься на войну, как мы сейчас, подобные песни укрепляют мужество и дают утешение, да и отодвигают предчувствие смерти.

— В последнем я с вами согласен, — ответил секретарь совета. — Но ни к чему воспевать смерть в стихах. Не стоит малевать черта на стене, иначе он сам явится — гласит старая присказка. Тем более следует учитывать новые обстоятельства.

— Как! — удивленно воскликнул Георг. — Разве война не начинается? Вюртембержец принял ваши условия?

— Больше ему не предлагают никаких условий, — ответил Дитрих с презрительной миной. — Он долгое время был герцогом. Теперь же управление страной переходит к нам. Должен вам кое-что конфиденциально сообщить. — Он понизил голос: — Только пусть это останется между нами, дайте мне вашу руку. Вы полагаете, что на службе у герцога состоит четырнадцать тысяч швейцарцев? Так знайте же: швейцарцев будто ветром сдуло. Наш гонец, которого мы послали в Цюрих и Берн, только что вернулся. Швейцарцы, что находятся у Блаубойрена и в Альпах, возвращаются домой.

— К себе домой? — удивился Георг. — Что, у них у самих разразилась война?

— Нет, там стойкий мир, но, увы, нет денег. Поверьте мне: не пройдет и восьми дней, как явятся посланники и поведут все войско по домам.

— А солдаты пойдут? — перебил его юноша. — Они ведь по собственному желанию, на собственный страх и риск пришли герцогу на помощь. Кто же их уговорит покинуть свои знамена?

— Уже известно, как следует поступить. Думаете, узнав об опасности потерять все свое добро и даже жизни, они останутся? У Ульриха слишком мало денег, чтобы их удержать. Не могут же они служить ему за пустые обещания!

— Но разве это честно? У врага, открыто бросившего вызов, тайно красть оружие и потом на него нападать!

— В политике, как мы это называем, — важно изрек секретарь, пытаясь вразумить неопытного вояку, — так вот, в политике честность необходима лишь для видимости. Швейцарцы, например, могут объяснить герцогу, что на их совести выступление

против вольных городов. Но правда состоит в том, что мы вложим в лапы горных медведей больше золотых гульденов, нежели это сможет сделать герцог.

— Ладно, даже если швейцарцы уйдут, все же в Вюртемберге достаточно людей, чтобы не пропустить ни одну собаку через Швабские Альпы.

— И об этом мы позаботились, — продолжал свои объяснения секретарь. — Мы пошлем письмо родовой вюртембергской знати с увещанием задуматься над тем, каким невыносимым был для них режим герцога, а также с призывом отказаться от содействия ему и предложением присоединиться к нашему союзу.

— Как так! — с ужасом воскликнул Георг. — Это означает, что страна обманет своего герцога, вынудит его отказаться от управления и отвернется от него?

— А вы думали, что дело ограничится только тем, что Ройтлинген вновь станет имперским городом? Чем же тогда будут расплачиваться Хуттены со своими сорока двумя сподвижниками и их слугами? И что делать Зикингену со своими тысячами рыцарями и двенадцатью тысячами пехоты, как не отхватить добрый кусок страны? А герцог Баварский? Разве он не жаждет добычи? А мы? Наши земли граничат с Вюртембергом...

— Но немецкие князья, — нетерпеливо перебил его Георг, — думаете, они будут спокойно смотреть на то, как вы разрывате прекрасную страну на клочки? Полагаете, император стерпит то, что вы изгоняете со своей земли его герцога?

И на это у господина Дитриха был готов ответ:

— Нет сомнений, что Карл унаследует престол отца, а ему мы предложим опеку над страной. Ежели еще Австрия нас прикроет, кто тогда будет против подобного плана? Однако не грустите; если вам хочется воевать, есть хороший совет и для вас. Знать все еще тяготеет к герцогу, у его замков многие ломают себе зубы... Ах, мы заболтались. Пора уже и обедать. Посмотрим, что госпожа Сабина нам там приготовила.

С этими словами секретарь большого совета гордо, как будто уже был регентом Вюртемберга, покинул комнату гостя.

Георг, проводив его недружелюбным взглядом, сердито отодвинул в сторону шлем, который только что радостно украшал для своего первого боя, и с горечью посмотрел на старый меч,

верно служивший его отцу во многих сражениях и завещанный осиротевшему сыну. «Сражайся честно!» — было выгравировано на мече. А он, Георг, должен употребить такой меч для неправого дела, где все решается не благодаря воинскому искусству опытных мужей, их храбрости и мужеству, а подчинено тайным проискам так называемой политики?! К чему теперь веселый блеск оружия, надежды на славу, когда придется осуществлять корыстные устремления алчных господ? Старый княжеский род, которому верно служили его предки, будет в результате изгнан из родового гнезда низкими обывателями. Планы, о которых, поучая, поведал ему Крафт, показались Георгу ужасающими.

Но негодование по поводу гостеприимного хозяина недолго царило в душе юноши, он подумал, что эти гнусные планы родились не в его голове.

Люди, подобные этому политизированному секретарю, когда они причастны тайне, часто выдают чужие хитрые соображения за свои собственные, так бывает с усыновленными детьми, притворяющимися, что Минерва¹ выросла из их твердокаменных голов.

С этими успокаивающими мыслями юноша отправился обедать.

После нескольких часов размышлений положение дел уже не казалось ему таким ужасным, тем более что он вспомнил про отца Марии, который тоже примкнул к Швабскому союзу.

В таком случае участие в нем такого человека, как Георг Штурмфедер, не покажется постыдным.

В дни юности бросаются словами —
Хоть с ними осмотрительность нужна,
Как с жалом лезвия, — и сторяча
Судить готовы обо всех предметах,
Не разбирая, в чем их существо.
Вмиг назовут презренным иль достойным,
Дурным иль добрым... и навяжут смысл
Неясных этих слов вещам и лицам².

¹ *Минерва* — в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств. С конца III века до н. э. Минерва, отождествленная с греческой Афиной, почиталась также как богиня войны и государственной мудрости.

² Ф. Шиллер. Смерть Валленштайна. Перев. Н. Славятинского.

Этими вещими словами поэта можно обрисовать умонастроение Георга, который, возможно, быстро менял свое мнение по поводу некоторых вещей.

И так же как мрачные складки негодования разгладились на юношеском лбу, мучительные впечатления сменились добрыми воспоминаниями, душа Георга расцвела от предвкушений грядущего вечера.

Говорят, что самые прекрасные мгновения любви — это ожидание. Душа трепещет от предчувствий, сердце радостно бьется в предвкушении счастья. Так было и с Георгом. Он мечтал о прекрасном миге встречи с возлюбленной, возможности видеть ее, говорить с нею, прикасаться к ее руке и читать ответную любовь в ее глазах.

ГЛАВА 6

Когда он ее закружил в хороводе,
Она зашептала, не смея молчать...

Л. Уланд¹

Наш рассказ дошел до главы, где речь пойдет о танцах. Следует с огорчением признать, что мы достоверно не знаем, как и что танцевали в те времена. Милые читательницы могут подумать, что Георг мечтал о котильоне. Не совсем так.

Нас, к счастью, вывела из затруднения ставшая большой редкостью книга «О происхождении и проведении турниров в Священной Римской империи. Франкфурт, 1564». В этом дорогом фолианте между прочими отличными политипажами нашелся один с изображением танцевального вечера времен императора Максимилиана — вечера, происходившего приблизительно за год до начала нашей истории.

Можно с уверенностью предположить, что танцевальный вечер в зале ульмской ратуши ничем не отличался от вышеупомянутого празднества, поэтому читатели будут иметь полное представление о развлечении подобного рода.

В зале на переднем плане располагались зрители и музыканты: волынщики, барабанщики и трубачи, которые, по выраже-

¹ «Граф Эберштайн».

нию, приведенному в книге, «лудят плясовую». Сзади, по обеим сторонам, стоит падкая до танцев молодежь, одетая в богатые, тяжелые ткани.

В наши дни в таких случаях преобладают два цвета — черный и белый, будто бы дамы и господа поделены, как день и ночь. Иначе было в те времена. Поражал непривычный блеск дивных оттенков. Великолепнейший, насыщенный красный, от самого яркого, огненного до темного, багряного; пронзительный синий, который и сегодня поражает на картинах старых мастеров, — вот веселые цвета живописно драпированных тогдашних танцоров.

Середина зала была предназначена для танца. Тогдашний популярный танец был очень схож с полонезом, когда шествие танцоров обходит кругом зал. Шествие открывают четыре трубача с длинными гербовыми знаменами на инструментах, за ними следует первый кавалер и его дама. В разных танцах это место занимают разные кавалеры, здесь не играет роли ловкость танцора, а лишь его общественное положение. За первой парой следуют два факелоносца, затем — пара за парой — длинная вереница танцующих. Дамы выступают гордо и степенно, мужчины несколько странно ставят свои ноги, как будто намерены сделать прыжок, некоторые, кажется, выбивают такт каблуками, как это можно и поныне видеть в Швабии на храмовых праздниках.

Первый танец был в полном разгаре, когда Георг фон Штурмфедер вошел в зал. Его взор пробежал по рядам танцующих и наконец выловил Марию. Она танцевала с молодым франконским рыцарем, его знакомым, и, казалось, мало вникала в оживленную речь партнера. Ее глаза были устремлены в пол, лицо отличалось серьезным, даже печальным выражением, совсем не таким, как у прочих дам, которые, отдавшись танцу, одним ухом слушали музыку, другим прислушивались к словам кавалеров, а глазами искали знакомых, чтобы прочитать в их взглядах восхищение собою, или же обращали их к партнерам, чтобы проверить, на ком сосредоточено внимание кавалера.

Музыканты замедлили темп и кончили играть. Господин Дитрих Крафт заметил своего постояльца и подошел к нему, чтобы, как он обещал, представить его своим кузинам. Он успел шепнуть Георгу, что уже обещал следующий танец кузиночке Берте, и попросил руки Марии для своего гостя.

Обе девушки ждали появления заинтересовавшего их незнакомца, тем не менее, вспомнив, что она о нем говорила, Берта залилась горячим румянцем. Замешательство, которое она пыталась побороть, не позволило ей увидеть того восхищения, какое вспыхнуло в глазах Марии, и того, как та вздрогнула и еле перевела дыхание.

— Позвольте вам представить господина Георга фон Штурмфедера, моего милого гостя, — обратился к девушкам секретарь совета, — он просит о чести танцевать с вами.

— Если б я не обещала этот танец своему двоюродному брату, — быстро пришла в себя Берта, — то он был бы ваш, но Мария еще не приглашена, она будет танцевать с вами.

— Так вы еще никому не обещали, госпожа Лихтенштайн? — обратился Георг к возлюбленной.

— Я обещала вам, — ответила Мария.

Итак, он вновь слышал голос, который так часто называл его ласковыми именами, он радостно смотрел в преданные глаза, которые смотрели на него все с той же милой приветливостью, что и прежде.

Загремели трубы.

Стольник Вальдбург, которому был отдан второй танец, выступил со своею дамой, факелоносцы последовали за ними, пары построились, Георг взял руку Марии и примкнул к ним. Теперь ее глаза не изучали пол, они были устремлены на любимого, и тем не менее ему казалось, что она не вполне счастлива, облачко грусти набегало на ее лицо. Он огляделся, ища глазами Дитриха с Бертой. Те были впереди.

— Ах, Георг, — начала девушка, — какая несчастливая звезда привела тебя в это войско?

— Ты — моя звезда, Мария. Я предчувствовал, что ты здесь, и теперь счастлив, что тебя нашел! Можешь ли ты осуждать меня за то, что я бросил ученые книги и поступил на военную службу? У меня ведь нет другого наследства, кроме отцовского меча, но я и его хочу пустить в дело, пусть твой отец увидит, что избранник дочери достоин ее.

— О боже! — прервала его девушка. — Ты еще не дал слова союзу?

— Не тревожься, любовь моя, я еще не вполне дал слово, но это на днях произойдет. Разве тебе не хочется, чтобы твой Георг

добыл себе славу? Да и что тебя так пугает? Твой отец — старик, но ведь и он отправляется в поход.

— Ах, мой отец, мой отец, — жалобно пробормотала Мария. — Однако давай на этом прервемся, Георг: Берта прислушивается к нашему разговору. Я тебе завтра непременно обо всем расскажу. Правда, пока не знаю где. Меня все это очень волнует.

— Но почему? — Георг никак не мог взять в толк, отчего Мария не радуется свиданию, а размышляет о всевозможных осложнениях. — Ты преувеличиваешь опасность, — прошептал он с участием. — Думай только о том, что мы вновь увиделись, что я держу твою руку и смотрю в твои глаза. Наслаждайся этим мгновением, будь веселее!

— Веселее? Нет, Георг, не то нынче время. Мой отец — враг союза.

— О боже! Что ты говоришь! — Юноша наклонился к Марии, как бы не расслышав роковых слов. — Разве твой отец не здесь, в Ульме?

Мария считала себя человеком стойким, но сейчас не могла говорить, опасаясь, что, едва начнет, слезы неудержимо хлынут из ее глаз. Она ответила лишь пожатием руки и, опустив голову, шла подле Георга, силясь побороть свою боль. Наконец твердость духа одолела слабость натуры.

— Мой отец, — прошептала она, подавив слезы, — искреннейший друг герцога Ульриха и, как только будет объявлена война, увезет меня домой, в Лихтенштайн.

Между тем оглушительно забили барабаны, взвились вверх переливы труб, приветствуя стольника, который как раз проходил в танце мимо музыкантов и, по обычаю того времени, бросил им пригоршню серебряных монет. Ликование музыки достигло апогея.

Разговор влюбленных затих от бравурного шума, но их глаза так много выражали, что по залу пробежал шепоток, оценивающий юную пару как самую красивую в зале.

Это услышала Берта. Она была слишком добродушной, чтобы позавидовать кухне, но, поставив себя на место Марии, считала, что парочка в таком случае выглядела бы еще более красивой.

Кроме того, она обратила внимание на оживленный разговор, который вели эти двое. Ее серьезная кухня, редко разговари-

вавшая с мужчинами, казалось, была увлечена им больше, нежели партнер.

Музыка не позволяла слышать, о чем они говорят. Любопытство, столь присущее юным девушкам, побудило Берту потянуть своего спутника, чтобы приблизиться к красивой парочке, однако тем временем, то ли случайно, то ли намеренно, разговор их прекратился.

Интерес к красивому молодому человеку рос и рос, никогда еще добряк Крафт не был столь обременительным для Берты — его любезные речи мешали наблюдать за кузиной. Так что она обрадовалась, когда танец кончился.

Берта надеялась, что юный рыцарь не преминет пригласить ее на следующий. И не ошиблась.

Георг подошел к девушке, и они вступили в ряды танцующих. Но на этот раз все было по-другому.

Задумчивый, погруженный в собственные мысли, он едва отвечал на вопросы. И это тот «вежливый рыцарь», кто так радостно их приветствовал? Веселый, открытый человек, которого подвел к ним кузен Крафт? Весельчак и балагур, оживленно беседовавший с Марией? А... может быть... Да, несомненно, Мария ему больше понравилась. Верно, потому, что он с нею первой танцевал.

Берта настолько привыкла к тому, что серьезная Мария всегда держится на заднем плане, что не поверила в ее победу и попыталась преподнести себя в лучшем виде.

Весело болтая о предстоящей войне, она после окончания танца направилась к Марии с Дитрихом.

— Ну и во скольких же сражениях вы уже побывали, господин Штурмфедер?

— Это будет у меня первое, — коротко ответил Георг, довольный, что ему приходится разговаривать с другой девушкой, когда он предпочитает Марию.

— Первый? — удивилась Берта. — Вы меня не обманете! Откуда же тогда у вас этот шрам на лбу?

— Я его получил в университете.

— Как! Вы — ученый? — продолжала расспрашивать Берта. — Значит, вы побывали вдали от наших краев, в Падуге или Болонье, а может, у еретиков в Виттенберге?

— Не так далеко, как вы думаете. Я учился в Тюбингене.

— В Тюбингене? — с удивлением переспросила Берта.

Это слово, как молния, осветило все темные обстоятельства. Быстрый взгляд на раскрасневшуюся Марию, стоящую с опущенными глазами, убедил ее в том, что целый ряд недомолвок имел свои причины.

Стало ясно, почему ее приветствовал учтивый рыцарь, отчего плакала Мария, увидев его в войске врагов, почему он так много с нею разговаривал и был так немногословен с Бертой. Никакого сомнения: они давно знали друг друга!

Чувство стыда охватило Берту от такого открытия.

Она вспыхнула, поняв, что добивалась расположения мужчины, чье сердце было отдано другой.

Недовольство скрытностью кузины исказило лицо девушки. Она искала извинений собственному легкомысленному поведению и нашла их в лицемерии родственницы. Если бы та поставила ее в известность о своих взаимоотношениях с молодым человеком, она бы не проявила к нему участия, осталась бы равнодушной и не испытывала бы теперь стыда.

Нам достоверно известно, что юные дамы с большой обидой и глубокой болью переносят то, что затрагивает их достоинство, им недостает хладнокровия по поводу самых незначительных мелочей и великодушия, чтобы попросту их забыть.

В этот вечер Берта больше не одарила ни единым взглядом несчастного молодого человека, чего он, обремененный тяжелыми раздумьями, даже не заметил. Он переживал, что не сможет без помех поговорить с Марией. Танцы подходили к концу, а ему по-прежнему были неизвестны намерения ее отца. Наконец уже на лестнице Марии удалось прошептать возлюбленному, чтобы завтра он оставался в городе, она, возможно, попытается с ним переговорить.

Расстроенные красавицы вернулись домой. Берта едва отвечала на вопросы Марии, а та, не подозревая о том, что происходило в душе подруги, занятая своими печальми, мрачнела и мрачнела. Им обоим было не по душе нарушение обычного распорядка, когда они, серьезные и молчаливые, вошли в свои покои. До сих пор они оказывали друг другу маленькие любезности, которые бывают в обиходе у близких подруг. Но нынче все было иначе! Берта вынула серебряные шпильки из своих пышных белокурых волос, и те длинными локонами рассыпались по плечам.

Она попыталась было засунуть их под ночной чепец, но волосы не поддавались. Обычно ей в этом помогала Мария. Теперь же, не прибегая к услугам сестры, Берта бросила чепец в угол и схватила платок, чтобы обмотать им голову.

Мария молча подняла чепчик и подошла к кухне, чтобы уложить, по обыкновению, ее пышные волосы.

— Прочь, лицемерка! — закричала рассерженная Берта, отклоняя ее руку.

— Берта, разве я это заслужила? — спокойно и мягко спросила Мария. — О, если бы ты знала, как я несчастна, ты была бы понежней со мною!

— Несчастна? — громко расхохоталась та. — Несчастна, потому что учтивый господин лишь раз прошелся с тобою в танце!

— О, как ты жестока со мною, Берта! Ты злишься на меня, хотела бы я знать почему.

— Так! Хочешь знать, чем ты меня задела? Неужели не понимаешь, что твоя скрытность сделала меня посмешищем! Никогда не думала, что ты будешь так лицемерна со мной!

Обида вспыхнула в ней с новою силой. Из глаз покатились слезы, Берта опустила горячий лоб на руки, и пышные локоны укрыли ее лицо.

Слезы выдали затаенную боль.

Марии было ведомо это чувство, и она с кротостью произнесла:

— Берта, ты бранишь меня за скрытность. Но войди же в мое положение! Вижу: ты догадалась о том, что я сама никогда бы не сказала. Подумай, ведь и ты, со всей своею веселостью и открытостью, не стала бы выдавать сокровенных тайн. Но теперь все! Ты знаешь о том, что страшились высказать мои губы. Да, я люблю его, и я любима не с сегодняшнего дня. Хочешь меня выслушать? Могу я тебе все рассказать?

Берта продолжала плакать, не отвечая на вопросы и не откликаясь, а Мария принялась рассказывать о том, как познакомилась в доме покойной тетушки с Георгом, как ей было с ним хорошо, как он признался ей в любви. Воспоминания жили в ней. С пылающими щеками и сияющими глазами она выложила свою душу, поведав о прошлом, о прекрасных часах, проведенных с любимым, об их клятве и о прощании.

— А теперь, — продолжала она грустно, — эта проклятая война смешала все карты. Георг, узнав, что мы в Ульме, подумал: мой отец взял сторону союза, потому и решил завоевать меня с помощью меча, поскольку он беден, по-настоящему беден! О Берта, ты же знаешь моего отца! Он добрый, но он же и строгий, и не терпит возражений. Разве он отдаст свою дочь человеку, поднявшему меч против Вюртембержца? Вот почему я плакала. Ах, как мне хотелось рассказать тебе обо всем! Но непобедимый страх смыкал мои губы. Ты все еще сердись на меня? Неужели я вместе с любимым потеряла еще и подругу?

И Мария разразилась рыданиями. Берта почувствовала, что обида в ее душе потеснена болью за Марию. Она молча обняла сестру, и они поплакали вместе.

— В ближайшие дни, — прервала молчание Мария, — отец покинет Ульм. Я должна следовать за ним. Но мне обязательно нужно переговорить с Георгом, встретиться с ним хоть на четверть часика. Берта, придумай, как это сделать! Всего на четверть часа!

— Ты хочешь его повернуть на хорошее дело?

— Что ты считаешь хорошим делом? Дело герцога не хуже вашего. Ты так говоришь потому, что стоишь за союз. А я из Вюртемберга, и мой отец верен герцогу. Не будем же мы, девушки, решать вопросы войны и мира. Подумай лучше о том, как мне его увидеть.

Сочувствуя кузине, Берта совсем забыла, что сердилась на нее. Ей всегда нравились секреты и тайны, льстила роль доверенного человека, потому она и решила приложить все силы и всю свою изворотливость, чтобы помочь влюбленной парочке.

— Придумала! — воскликнула смышленная девушка после некоторого раздумья. — Мы пригласим его в сад.

— В сад? — недоверчиво переспросила Мария. — И кто это делает?

— Его хозяин, добряк Дитрих приведет рыцаря туда. Только он ни о чем не должен догадаться. Ну уж об этом я сама позабочусь.

Мария, решительная и мужественная в сложных ситуациях, терялась под напором житейских мелочей. Но ее бойкая кузина развеяла все сомнения. Окрыленные надеждой, освобожденные от необходимости хранить тайну, девушки обнялись и отправились спать.

ГЛАВА 7

Любимая припала к груди.

«Ты хочешь меня покинуть, милый?»

И онемела от боли...

К. Ф. Шубарт¹

На следующий день, в обед, Георг сидел погруженный в тяжелые раздумья. Он только что навестил Брайтенштайна и не узнал ничего утешительного для себя. Нынче собирался военный совет, на котором все высказались за войну. Двенадцать юношей из благородных семей с нанизанными на копья посланиями герцога Баварского, знаменитых рыцарей и бургомистров вольных городов выехали за городские ворота, чтобы доставить их в Блаубойрен герцогу Вюртембергскому.

Люди на улицах с радостью встретили это известие, готовясь вступить в бой.

И лишь один человек — Георг — посчитал эту весть ударом судьбы.

Тоска погнала его из круга ликующих воинов, которые отпраздновали в трактир, дабы отпраздновать начало войны и сыграть в кости в счет будущих побед и захваченной добычи.

О! А ему, несчастному, выпал печальный жребий! Кровавое поле сражений будет простираться между ним и любимой, война отнимет у него возлюбленную, быть может, навсегда.

Поспешные шаги на лестнице прервали его размышления. Секретарь совета просунул голову в дверь.

— Какое счастье, юнкер! Теперь-то и начинаются настоящие танцы. Но, должно быть, вы еще ничего не знаете! Война объявлена! Час назад гонцы поскакали к врагу с этим известием.

— Я об этом знаю, — с мрачным видом произнес Георг.

— И разве ваше сердце не бьется от радости? А слышали... впрочем, вы не могли это услышать, — доверительно произнес Дитрих, приблизившись к гостю. — Швейцарцы уже отходят.

— Как так? — прервал его Георг. — Значит, война кончается?

— О, этого я не берусь утверждать. Герцог Вюртембергский — мужественный молодой человек, у него много рыцарей и солдат. Он, конечно, теперь не осмелится на открытый бой, однако у него

¹ «Будьте мужественными, братья!»

много укрепленных городов и замков. Например, Хёлленштайн, где сидит Штефан фон Лихов, не человек — камень. Филипп фон Рехберг тоже не отдаст Гёппинген по первому выстрелу. А еще Шорндорф, Ротенберг, Асперг и, самое главное, — сильно укрепленный Тюбинген. Многие наши воины падут, прежде чем напоят водой из Неккара своих лошадей. Ну-ну, — продолжал он, видя, что военные известия не прогоняют тени печали с лица его молчаливого гостя, — может, другое сообщение вы воспримете благосклоннее. Скажите-ка, у вас есть кузина?

— Кузина? Да. Но почему вы об этом спрашиваете?

— Так-так, только сейчас я понял путаную речь Берты. Когда я выходил из ратуши, она помахала мне и приказала привести после обеда моего гостя в их сад на берегу Дуная. Мария хочет через вас передать что-то важное вашей кузине, которую она хорошо знает. Будьте так любезны пойти со мною. Женские тайны и секретные поручения — дело обычное. Готов биться об заклад, что она передаст с вами образец пряжи, либо моток тонкой шерсти, или же секретный рецепт какого-то блюда, а может быть, семена редких цветов: Мария — страстный садовод. Думаю, что девушки сочли вас учтивым кавалером, да и вам, верно, будет приятно прогуляться со мною.

В душе Георг посмеялся над хитростью девушек и протянул руку гонцу, готовый сопровождать его.

Сад у Дуная, приблизительно в двух тысячах шагов от моста, был небольшим, но очень ухоженным. Плодовые деревья еще не оделись листвой, и причудливой формы грядки тоже пока не зазеленели, но тисовая аллея, ведущая к самому берегу реки, своей вечнозеленой листвой защищала от коварных лучей мартовского солнца.

Там, откуда открывался вид на Дунай, сидели на удобной каменной скамье в ожидании молодых мужчин девушки и вели неторопливый разговор.

Печальная Мария положила свою усталую от огорчений и слез голову на руки. Ее темные блестящие волосы оттеняли белизну щек, а милые голубые глаза, блеск которых поглотил бессонные ночи, подернулись туманом меланхолии. Противоположную картину являл счастливый образ цветущей жизни в лице пухленькой, свежей, розовой красавицы, сидящей рядом. Так же как отличались ее белокурые локоны от темных волос Марии,

круглое свежее личико от заострившихся черт, а смешливые светло-карие глаза от задумчивых очей, так и полные жизни движения контрастировали с печально-неподвижной задумчивостью кузины.

Лучезарно настроенная Берта пыталась утешить Марию и развеять ее печаль. Она что-то рассказывала, непрерывно шутила, передразнивала своих знакомых, пускала в ход тысячи уловок, свойственных дочерям Евы, но, как видно, не добилась успеха — лишь изредка мимолетная улыбка пробегала по лицу сестры.

Наконец в отчаянной попытке развеселить подругу она схватила лютню.

Мария очень хорошо владела этим инструментом, поэтому в другое время Берта не рискнула бы играть перед такой мастерицей.

Но сегодня она надеялась своим бренчанием вызвать хотя бы подобие улыбки у своей кузины.

Со всей серьезностью она начала петь:

Любовь — что значит это слово?
Я так неискушен, скажите ж, господа,
Вы все, кому любить не ново:
Ну почему любви присуща боль всегда?
Любовь для радости дана,
Любовь печальная любовью быть не может,
Так верно ли она любовью названа?

— Откуда ты знаешь эту старую швабскую песню? — спросила Мария, с удовольствием внимая бесхитростному напеву.

— Не правда ли, она прелестна? Но дальше еще красивей, если ты хочешь послушать. Меня ей научил в Нюрнберге майстер-зингер Ханс Сакс¹. Но это не его песня, а Вальтера фон дер Фогельвайде, который жил и любил триста лет тому назад. Послушай-ка:

Коль правильно мое суждение
О существе любви, скажите «да» в ответ.
Любовь — двух душ соединенье.
Без разделенных чувств любви счастливой нет.
Но груз любви неразделенной

¹ Ханс Сакс (1494–1576) — поэт и, с 1516 года, сапожник в Нюрнберге.

Для сердца одного невыносим.
Так помоги мне, госпожа, не будь неблагосклонной.

— Так ты разделила любовь с бедным молодым юнкером? — плутовато спросила Берта покрасневшую кузину. — Кузен Крафт тоже хотел бы разделить любовь со мною, но пусть до поры до времени один несет эту тяжесть. Однако ты опять помрачнела. Спою-ка я тебе еще одну песню старого Вальтера:

Я же ее и видел только раз,
Но доныне ей дивлюсь, как чуду.
Или так близка она от глаз,
Что без глаз мне видится повсюду?
Как такое колдовство прекрасно:
Видеть милую не видя, видеть всюду и всечасно.
Люди спросят: «Что ж за колдовство?
За сто миль глаза твои глядят!»
Это мысли сердца моего
И сквозь стены видят милый взгляд.
Будьте вы хранителями ей,
Чувства, чьи глаза всезрящи, страсть и жар души моей.
Доживу ль узнать, что мне в ответ
На меня без глаз она глядит,
Каждой мыслью мне стремится вслед
И любовь мою вознаградит.
Пусть я милой буду мил,
Пусть любовью мне ответит: ей любовь я подарил!¹

Мария похвалила песню Вальтера фон дер Фогельвайде, сказав, что это хорошее утешение в час разлуки. Берта согласно кивнула.

— А я знаю еще одну песенку, — улыбнулась она и запела:

И она умчалась вдаль.
Сквозь стены смотрит милый взгляд.
Глаза его не прячут больше тайн:
Устремлены они сквозь Альпы, в Лихтенштайн!

Не успела Берта донпеть свою песенку, как калитка распахнулась, раздались мужские голоса, и девушки встали, чтобы приветствовать долгожданных гостей.

¹ Стихи Фогельвайде даны в переводе В. Левика.

— Господин фон Штурмфедер, — обратилась к рыцарю, после того как поздоровалась, Берта, — простите, что я отважилась пригласить вас в сад моего отца, но кузина Мария хочет через вас дать некое поручение для своей подруги. Ну а мы немножко прогуляемся, — она обернулась к господину Крафту, — чуть-чуть поболтаем о вчерашнем вечере.

И с этими словами взяла кузена за руку и повела его в тисовую аллею. Георг подсел к Марии. Она склонилась к нему на грудь и горько расплакалась. Плакала и плакала. Все нежные слова, которые он шептал, не могли остановить ее слез.

— Мария, ты же всегда была мужественной, почему же теперь смиряешься с судьбою и отказываешься от надежды?

— Надежды... — печально повторила девушка. — У нас нет никакой надежды.

— Выслушай меня. В это как раз я не верю. Любовь так глубоко и прочно поселилась в моем сердце, ничто не сможет ей навредить.

— Значит, ты все еще надеешься? Тогда выслушай меня. Я должна открыть тебе тайну, настолько важную, что это связано с жизнью отца. Отец мой — заклятый враг Швабского союза и друг герцога. Он прибыл сюда не столько из-за дочери, сколько по делам, чтобы разведать планы союза и, по возможности, деньгами и словами их спутать. Как ты думаешь, отдаст ли противник союза свою единственную дочь юноше, который может стать причиной нашей гибели, человеку, примкнувшему к тем, кто жаждет добычи?

— Твоя горячность может далеко завести, Мария, — прервал ее Георг, — разве ты не знаешь, что в этом воинстве служат и благородные люди?

— Даже если это так, — поспешила возразить Мария, — то они обмануты, так же как обманут и ты.

— Кто это может определенно утверждать? — покраснев, ответил Георг, задетый неодобрительными словами о тех, чью сторону он взял, хотя и подозревал, что доля правды в том есть. — Кто может это с уверенностью утверждать? А может, и твой отец ослеплен и обманут? Как может он поддерживать этого гордого властолюбца, убивающего свою знать, смешивающего с грязью своих граждан, объедающего своих крестьян?

— Таким изображают его враги, так говорят о нем здесь. Но спроси-ка людей, живущих на берегах Неккара, любят ли они

своего наследственного князя, даже если его рука кажется порою для них тяжелой. Спроси рыцарей, с которыми он рос, согласны ли они отдать свою жизнь за внука Эберхарда, прежде чем они подчинятся этому гордецу герцогу Баварскому, рыцарям-разбойникам и управителям городов.

Георг призадумался и после некоторого молчания спросил:

— А как оценивают его сторонники убийство Хуттена?

— Вы постоянно говорите о своей чести и достоинстве и не допускаете мысли о том, что герцог тоже защищает свою честь. Хуттен не убит злодейски, из-за угла, как это расписали по всему свету его сторонники, а пал в честном поединке, в котором на карту была поставлена и жизнь герцога. Не буду приукрашивать и защищать все, что он делает, хочу только сказать, что герцог — молодой человек, окруженный плохими советчиками, не всегда поступает мудро. О, если бы ты был таким, как он, — добрым, снисходительным и расположенным к людям!

— Не хватает только, чтобы ты назвала его еще и красавцем-герцогом, — горько усмехнулся Георг. — Ты найдешь богатую замену бедному Георгу, если он приложит усилия, чтобы изгнать мой образ из твоей души!

— Ну, от мелочной ревности я тебя удержать не могу, — со слезами на глазах проговорила Мария. — Ты полагаешь, что сердце девушки не может болеть за отечество?

— Не сердись, — попросил пристыженный Георг, почувствовав свою неправоту, — это была всего лишь шутка!

— И ты можешь шутить, когда речь идет о нашем счастье? Завтра отец покинет Ульм, поскольку война уже объявлена. Должно быть, мы долго-долго не увидимся, а ты шутишь! О, если бы ты видел, с какими горячими слезами по ночам взываю я к Богу, тогда бы твое сердце склонилось на нашу сторону и Бог бы охранял тебя от несчастья быть навек разлученным. Тогда бы ты не шутил так жестоко!

— Однако и это не пошло нам во благо, — мрачно заметил Георг.

— Но разве это невозможно? — Мария схватила его за руку и взглядом заплаканного ангела заглянула ему в глаза. — Неужели невозможно, чтобы ты был на нашей стороне? Иди к нам, Георг! С какой радостью отец приведет к герцогу молодого воина! Каждый меч в такое время дорогого стоит, часто говорит он.

Если ты будешь сражаться вместе с ним, мое сердце не будет разрываться на части, а моя молитва о победе не будет перелетать с одной стороны на другую.

— Подожди! — вскричал юноша и прикрыл глаза, чтобы не видеть ее страстно-убежденных взглядов. — Ты хочешь побудить меня сделаться перебежчиком? Вчера я прибыл с союзным войском, сегодня объявлена война, а завтра я перебегу к герцогу? Неужели тебе безразлична моя честь?

— Честь? — Слезы брызнули из глаз Марии. — Честь тебе дороже нашей любви? Все было по-другому, когда Георг клялся мне в вечной верности. Ну что ж! Будь счастлив с ними, а не со мною. Так пусть же, когда герцог Баварский посвятит тебя в рыцари на поле боя за то, что ты разорял наши угодья и рушил вюртембергские крепости, и повесит тебе на шею почетную цепь, пусть твою радость не омрачит мысль о том, что ты разбил сердце, которое тебя так нежно, так верно любило!

— Любимая! — Сердце Георга разрывали противоречивые чувства. — Боль затуманивает твои глаза, и ты не осознаешь, что не права. Что ж, пусть будет так! Тебе кажется, что я принес в жертву славе нашу любовь, так послушай же! К вам я не примкну. Но покину Швабский союз, пусть в нем сражается и побеждает тот, кто хочет. Мои сражения и победа были всего лишь мечтой, и вот она рухнула!

Мария устремила в небо благодарственный взгляд и наградила поцелуем возлюбленного.

— О, поверь мне, я понимаю, как велика твоя жертва. Но не смотри с такой тоской на свой меч. Кто вовремя отрекается, тот пожинает славу, — говорит мой отец. Счастье еще повернется к нам. Утешу тебя на прощанье: как только война закончится, приходи к моему отцу, и он обрадуется, когда я ему расскажу о твоей великодушной жертве.

Нежный голос Берты, подавшей подруге знак, что секретарь больше не может ждать, вспугнул влюбленных.

Мария быстро осушила слезы, и они с Георгом вышли из-под покрова листвы.

— Кузен Крафт собирается уходить, — сказала Берта, — он спрашивает, будет ли его сопровождать юнкер.

— Конечно я пойду с ним, — ответил Георг, — в противном случае я не найду дорогу домой.

Хотя ему дороги были последние мгновения перед разлукой, но он хорошо знал строгие обычаи своего времени. Без кузена юноша, как чужак, не мог оставаться при девушках.

Молодые люди молча стали выходить из сада. Говорил один Дитрих, сожалеющий о том, что кузина завтра покинет Ульм. В глазах Георга Берта прочитала невысказанное желание, исполнению которого препятствовал непосвященный свидетель. Она потянула к себе кузена и принялась его оживленно расспрашивать о растениях, только что выпустивших свои первые листочки, чтобы не дать ему возможности видеть то, что происходит за его спиной.

Георг мгновенно использовал ситуацию, для того чтобы прижать Марию к своей груди, но шелест тяжелого шелкового платья девушки и его звякнувший меч оторвали секретаря от ботанических изысканий.

Он обернулся и — о диво! — увидел стыдливую серьезную кузину в объятиях своего гостя.

— Это был привет милой франконской кухне? — спросил он, немного придя в себя от удивления.

— Нет, господин секретарь, — ответил Георг, — это привет мне самому от той, кого я намерен в будущем ввести в свой дом. Вы ничего не имеете против, кузен?

— Сохрани Господь! Поздравляю от всего сердца! — воскликнул Дитрих, тронутый серьезным видом молодого воина и слезами Марии. — Однако, черт побери! Вот что значит: *veni, vidi, vici!*¹ Я столько времени увивался за красавицей и не дождался даже приветливого взгляда. А сегодня сам привел куницу, которая вырвала у меня голубку.

— Прости нам, братец, шутку, которую мы с тобой разыграли, — вступилась за кузину Берта, — будь благоразумен! Позволь нам все тебе объяснить.

И попросила его ничего не рассказывать отцу Марии. Смягчившись от нежного взгляда Берты, секретарь пообещал молчать с одним условием, а именно: чтобы и ему достался такой же привет.

Берта указала секретарю на неуместность подобного неучтывого требования и кивнула на первые фиалки у калитки, спросив об их происхождении.

¹ Пришел, увидел, победил! (*лат.*) — афоризм Цезаря.

Дитрих постарался быть настолько добрым, чтобы дать долгое учное разъяснение по поводу фиалок и не обратить внимания на тихий плач Марии и звяканье Георгова меча. Благодарный взгляд Марии, нежное пожатие Бертой его руки вознаградили Крафта при прощании.

Долго еще развевались вуали красавиц-кузин у забора, долго смотрели девушки вслед уходящим молодым мужчинам.

ГЛАВА 8

По лунному саду гуляла
Красивая бледная дева,
И крошка-слезинка дрожала
На нежных ресницах ее...

Л. Уланд¹

В последующие дни Ульм напоминал громадный военный лагерь. Вместо мирных поселян и деловых горожан, которые прежде степенным шагом проходили по улицам, везде были видны гордые фигуры со шлемами и шишаками, с копьями, луками и тяжелыми ружьями. Вместо городских советников, в их простой черной одежде, через площади и рынки шествовали мужественные рыцари с развевающимися плюмажами, закованные с головы до ног в броню и сопровождаемые толпой вооруженных слуг. Но еще оживленнее выглядел луг у городских ворот. У Дуная тренировалась конница Зикингена, а на равнине упражнялся с пехотой Фрондсберг.

В одно прекрасное утро — Мария фон Лихтенштайн со своим отцом уже покинули Ульм — толпы народа собрались на лужайке, чтобы понаблюдать за действиями Фрондсберга и его отряда. Зеваки рассматривали этого покрытого славой человека с не меньшим вниманием, нежели мы любим сыновьями Марса², которые несут королевскую службу. Вспомните о своем интересе к какому-либо выдающемуся полководцу, прославленному в легендах либо книгах, чтобы воочию представить себе эту картину.

¹ «Монахиня».

² *Марс* — древнеиталийское божество, первоначально бог полей и урожая, потом бог войны. Соответствует греческому Аресу.

Так и жители Ульма покинули узкие улочки города, чтобы увидеть знаменитость в деле. Мастерство, с каким он объединял разрозненные группы пехотинцев в крепко сбитую команду, быстрота, с какой те по его приказу изменяли направление движения и стягивались в круги, оцетинившиеся пиками и ружьями, его мощный голос, перекрывающий барабанный треск, высокая статная фигура — все это являло такую впечатляющую картину, что даже ленивые бюргеры решились полдня простоять на лугу, наслаждаясь захватывающей военной игрой.

Полководец в это утро выглядел веселее и приветливее обычного. Может, его радовало горячее участие горожан, сиявшее на их лицах, а возможно, ему здесь, на утреннем лугу среди товарищей по оружию, было привольнее, чем на узких холодных улочках Ульма. Он с таким дружелюбием поглядывал на толпу, что каждому казалось: именно его выделяет и приветствует полководец. Возгласы: «Храбрый военачальник!», «Славный рыцарь!» — сопровождали каждый его шаг.

Проскакивая мимо одного места, он особо выделял приветствием меча или кивком головы кого-то из толпы.

Люди, стоявшие в задних рядах, приподнялись на цыпочки, чтобы разглядеть объект внимания полководца. Стоявшие впереди с удивлением оглядывали друг друга, не находя среди собравшихся бюргеров человека, достойного такого почета. Когда Фрондсберг проезжал мимо в очередной раз, за ним следили уже сотни глаз, которые и выявили, что дань уважения полководца отдана худому, высокому молодому человеку, стоявшему в первых рядах зрителей. Высокие перья на берете, которыми поигрывал утренний ветерок, куртка из тонкого сукна, с шелковыми шлицами, перевязь на груди, длинный меч с первого взгляда отличали его от соседей, менее украшенных да к тому же приземистых и круглолицых с виду.

Юноша же, к досаде обывателей, вовсе не реагировал на знаки высокого внимания.

Сама его поза: опущенная голова, скрещенные на груди руки — казалась неприличной для юнца, которого приветствует полководец. Он слегка краснел от внимания Фрондсберга, благодарил его коротким наклоном головы и смотрел на него печальным взором, как бы посылая последний привет перед долгим прощанием.

— Странный малый этот юнкер, — сказал предводитель гильдии ульмских ткачей своему соседу, bravому оружейнику. — Я бы отдал свою воскресную куртку за такое приветствие Фрондсберга, а этот и не шелохнется в ответ! В городе всем известно о дружбе Фрондсберга с мастером Колером, они сроднились словно братья, потому что сызмальства знают друг друга. А этот что? Меня злит, что такой благородный господин так приветствует какого-то молокососа!

Оружейник, пожилой человек небольшого роста, одобрил высказывание соседа:

— Покарай меня Бог, вы правы, мастер Колер! Разве здесь мало людей, достойных дружеского приветствия? Вон на площадке стоит господин бургомистр, а на углу мой кум — господин Бесерер. Хочется научить этого юнкера кланяться уважаемому человеку. Но думаю, такой не склонит свою голову и перед императором. Наверно, он что-то из себя представляет, потому что мой сосед — секретарь совета, не большой любитель гостей — пригласил его к себе в дом.

— Крафт? — удивился ткач. — Ай-яй-яй! Верно, тут какая-то тайна. Либо это весьма влиятельное лицо, а может даже, он сын кельнского бургомистра, который тоже прибыл с войском. А-а... вон стоит старый слуга Крафта — Иоханн.

— Разрази меня гром, он и есть! — обрадовался оружейник, любопытство которого разожгли предположения ткача. — Сейчас я его исповедую получше любого священника!

Зрители стояли вплотную друг к другу, и потому оружейник никак не мог протиснуться к Иоханну.

А вот богатому главе ткачей удалось-таки с важной миной на лице пробиться к слуге, затем подтащить его к оружейнику. К сожалению, и старый Иоханн мало что мог объяснить, он знал лишь, что гостя его хозяина зовут господин фон Штурмфедер.

— Должно быть, он не богат, потому что прибыл на коне, без слуг. Моему хозяину от непрошеного гостя одни неудобства, потому что наша старая Сабина, его кормилица, ворчит и ворчит, будто настоящий дракон, говорит, что тот нарушает порядок в доме и всем мешает, бродя повсюду в сапогах со шпорами.

— В данном случае она права, — встрял в разговор ткач. — Ваш хозяин, Иоханн, — форменный дурак! Да и старая ведьма, прости меня Господи, тоже хороша! Давно ее пора выставить на

улицу, где ей и место. Хотя хозяин ваш в расцвете сил, но ведет себя так, будто он еще в пеленках!

— Хорошо вам говорить, мастер Колер! — возразил старый слуга. — Но вы же не все знаете. Выбросить на улицу! А кто ж тогда будет вести хозяйство?

— Кто? — разгорячился ткач. — Он должен найти подходящую подругу жизни, взять в дом жену, как всякий порядочный ульмский христианин. Сколько можно жить холостяком и бегать по городу за каждой юбкой? Как он обошелся с моею Катариной? Встретился бы он мне сегодня! Уж я бы разделался с этим господином! Его покойная матушка — вот уж достойная особа — зазывала у меня столовое белье. Перед нею я бы снял шапку: «Чего прикажете, уважаемая?» А он...

— Ну послушайте же, — робко прервал его Иоханн, — я всегда думал, что такой господин, как мой хозяин, может перекинуться словечком с вашей дочкой, не обращая внимания на злобных соседей.

— Вот как! Перемолвиться словечком? Может, еще скажете — после вечерни? Он ведь на ней не женится! А у моей дочки репутация почище, чем белые брыжи вашего хозяина!

Разгоряченный мастер во время этой запальчивой речи схватил старого Иоханна за грудки и повысил голос так, что на них стали обращать внимание окружающие. Оружейник не нашел ничего лучшего, как силой увести рассерженного родителя, но ссору все-таки не предотвратил. Уже после обеда по всему городу разнесся слух, что Иоханн, слуга господина Крафта, на старости лет завел интрижку с дочерью главного городского ткача. Рассерженный отец призвал его на лугу к ответу.

Упражнения пехотинцев между тем закончились, зрители начали расходиться, и молодой человек, ставший невольной причиной ссоры, тоже отправился в город. Бледнее обычного, юноша шел медленным шагом, то опустив глаза долу, то обращая их в тоске к голубым горам, туда, где вдалеке виднелись пограничные селения Вюртемберга.

Никогда еще Георг фон Штурмфедер не чувствовал себя таким несчастным, как в эти дни. Мария уехала со своим отцом, перед разлукой она еще раз заклинала любимого сохранять верность обещанию, а как далось ему это обещание? Стоило немало труда перебороть себя, следуя настояниям возлюбленной.

Сейчас же ситуация и вовсе казалась безысходной. Все его золотые мечты, смелые надежды на славу исчезли как дым. Решение заслужить руку Марии, участвуя в сражениях, померкло и отодвинулось в неопределенную даль. Но возникла опасность быть не понятым людьми, уважение которых было ему дорого; оставить союзные знамена как раз в тот момент, когда все готово к решительному шагу, — как такой поступок может быть расценен славными полководцами?

День ото дня, пока только можно было, Георг откладывал объявление союзу о своем решении. Где ему взять веские аргументы, найти нужные слова, чтобы оправдать свой отъезд перед старым храбрым воином Брайтенштайном, другом отца? С каким лицом он появится перед благородным Фрондсбергом, бок о бок с которым сражался его отец и наконец пал, завещая малолетнему сыну единственное достояние — блестящую славу своего имени? Это перед Фрондсбергом, только что оказавшим ему знаки внимания, он должен предстать в двусмысленном свете!

Удрученный мрачными мыслями, Георг приблизился к городским воротам и вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за руку. Юноша оглянулся: перед ним стоял приземистый мужчина, с виду крестьянин.

— Что тебе? — спросил Георг, несколько досадуя на то, что ход его мыслей прервался.

— Прежде всего мне надобно узнать, тот ли вы человек, кто мне нужен, — ответил незнакомец. — Скажите-ка, что можно прибавить к словам — свет и буря?

Георг удивился странному вопросу и внимательно присмотрелся к говорившему. Это был небольшого роста, крепко сложенный, широкоплечий, коренастый мужчина. Загорелое лицо его казалось бы невыразительным, кабы не хитровато-лукавая улыбка на губах и мужество в серых глазах. Волосы и борода крестьянина были светло-русы и кудрявы, на поясе он носил длинный кинжал, в одной руке держал топор, в другой — круглую кожаную шапку, какие можно видеть и поныне у швабских крестьян.

Пока Георг делал эти мимолетные наблюдения, крестьянин пытливо следил за ним.

— Вы, может быть, не совсем меня поняли, господин рыцарь? — вымолвил крестьянин после короткого молчания. — Что

можно добавить к свету и буре, чтобы получились две хорошие фамилии?¹

— Перо и камень, — ответил молодой человек, которому сразу стало ясно, что подразумевалось в загадочном вопросе. — Что ты хочешь этим сказать?

— Так вы — Георг фон Штурмфедер, а я иду от Марии фон...

— Ради бога, потише, дружище, не называй имен, — прервал Георг, — скажи поскорей, что ты мне принес?

— Письмецо, юнкер, — сказал крестьянин, развязывая одну из широких черных подвязок, стягивающих кожаные панталоны, и вытащил полоску пергамента.

Торопливо и радостно схватил Георг пергамент, на нем блестящими черными буквами было написано лишь несколько слов. Буквы выдавали старание — девушки, жившие в 1519 году, были не так проворны в выражении нежных чувств письменно, как в наши дни, когда каждая деревенская красотка строчит своему возлюбленному в армию длинное послание, какое мог бы написать святой Иоханнес.

Хроника, откуда мы почерпнули сию историю, сохранила слова, которые с жадностью прочитал Георг:

Помни свою клятву.
Вовремя беги.
Мария твоя навеки.
Бог тебя храни.

Кроткий, нежный смысл этих слов многое сказал любящему сердцу, напомнил о ласковых глазах, безмолвных слезах, зардевшихся от тайных чувств щеках и милых губах, поцеловавших письмецо. Кто испытывал подобные чувства, не упрекнет Георга за то, что он на какой-то миг словно опьянел и устремил свой радостный взор к далеким синим горам, благодаря любимую за слова утешения, которые ему были столь необходимы. Есть на земле существо, которому он дорог!

Содержание краткого послания оживило сердце Георга и вернуло прежнее радостное настроение, он подал доброму вестнику руку, сердечно поблагодарил его и спросил, каким образом тот принял от Марии ее поручение.

¹ Имеются в виду фамилии героев, состоящие из двух слов: Лихтенштайн — от das Licht — свет и der Stein — камень; Штурмфедер — от der Sturm — буря и das Feder — перо (нем.).

— Я так и думал, — улыбнулся крестьянин, — что листочек не заключает в себе никакого злого заклинания: уж очень дружелюбно улыбалась барышня, когда сунула его мне в руку. Это было в прошлую среду, когда я пришел в Блаубойрен, где стояло наше войско. Там в монастырской церкви есть очень красивый алтарь, на котором изображены деяния моего святого — Иоанна Крестителя. Семь лет тому назад я угодил в страшную передрыгу, которая могла для меня кончиться плачевно. Вот я и пообещал каждый год в это время ходить туда на богомолье. И соблюдаю свой зарок с того самого времени, когда святой чудом спас меня от руки палача. По окончании молитвы я каждый раз захожу к господину настоятелю, чтобы подарить ему парочку хороших гусей, ягненка или что другое из того, что он любит... Но я, кажется, надоедаю вам своею болтовней, юнкер?

— Нет, нет, рассказывай, пойдем сядем вон на ту скамью.

— О, не совсем уместно, чтобы крестьянин усаживался бок о бок с молодым юнкером, которого у всех на глазах приветствует главнокомандующий. Уж позвольте мне постоять перед вами.

Георг опустился на скамью при дороге, а крестьянин, опершись на свой топор, продолжал рассказ:

— В такое беспокойное время, конечно, затруднительно ходить на богомолье, но «кто нарушает обет, не исполняет клятвы своей», поэтому я все же пошел. Так вот, помолившись, я направился из церкви к настоятелю, но церковный служака мне сказал, что у него на приеме благородные рыцари. Я подумал: добрый настоятель простит мне, что я его не навестил. И вот иду я, а навстречу мне спускается по лестнице барышня, в покрывале, с молитвенником и четками. Я прижался к стене, чтобы пропустить ее, а она остановилась и говорит: «Откуда это ты, Ханс?»

— Разве вы ее знаете? — прервал Георг.

— Моя сестра — ее кормилица...

— Как, старая Роза — ваша сестра? — удивился молодой человек.

— Так вы и сестру знаете? — спросил посланец. — Надо же! Что ж, продолжу. Увидев ее, я очень обрадовался, ибо часто навещал Розу в Лихтенштайне и знаю барышню с тех пор, как ее еще учили ходить. Однако теперь я едва узнал молодую госпожу, так она выросла, а вот румянец с ее щечек исчез, как майский снег. Не знаю, почему она так изменилась. Мне стало жаль ее, и я спросил, что это с нею и не могу ли я ей чем-нибудь помочь. Она при-

задумалась, потом сказала: «Да, если ты умеешь молчать, Ханс, то мог бы оказать мне большую услугу». Я обещал, и она назначила мне время после вечерни.

— Но как же она попала в монастырь? — спросил Георг. — Ведь прежде ни одному женскому башмаку нельзя было переступить его порог.

— Настоятель — друг ее отца. Там, в Блаубойрене, сейчас много солдат, царит изрядная кутерьма и ходить по городу небезопасно. После вечерни, когда все стихло, барышня потихоньку вышла ко мне. Я ободрил ее, как только может это сделать наш брат, она дала мне листочек и просила отыскать вас.

— Сердечно благодарю тебя, добрый Ханс, — улыбнулся юноша. — А больше она ничего не велела мне передать?

— Устно еще кое-что поручила. Просила, чтобы вы остерегались: против вас что-то затевают.

— Против меня? — изумился Георг. — Ты, верно, не так понял. Кому и что замышлять против безвестного молодого рыцаря?

— Вы требуете от меня слишком многого, — возразил посланец. — Но если я смею это сказать, то думаю: союзники что-то затевают. Барышня еще прибавила, что ее отец говорил об этом. А разве сегодня Фрондсберг не кивал вам и не приветствовал, как императорского сына? Когда такой человек оказывает подобные знаки внимания, это что-нибудь да значит.

Георг поразился метким замечаниям хитроватого крестьянина и припомнил, что отец Марии глубоко проник в тайны командиров союзного войска и, должно быть, что-то узнал из того, что касалось и его, Георга. Но сколько он ни думал, все-таки не мог отыскать ничего, что вызвало бы таинственные предостережения Марии. С трудом вырвавшись из сети предположений, он спросил посланца, как ему удалось так быстро его найти.

— Если бы не Фрондсберг, это так скоро бы не случилось. Я должен был отыскать вас в доме господина Дитриха фон Крафта. Но когда вышел на улицу, то увидел, что народ спешит на луг. Я подумал: потерю полчаса, но зато полюбуюсь пехотой. Действительно, Фрондсберг и его воины — впечатляющее зрелище. И тут я услышал в толпе ваше имя, оглянулся — трое пожилых мужчин говорили про вас и на вас показывали. Я запомнил ваше лицо и пошел вслед за вами. Но поскольку не был до конца уверен, загадал загадку про бурю и свет.

— О, ты правильно поступил, — рассмеялся Георг. — Пойдем же теперь ко мне, я тебя накормлю. А когда ты собираешься возвращаться домой?

Ханс задумался и наконец проговорил с хитрой улыбкой:

— Не взыщите, юнкер, но я вынужден был обещать барышне покинуть вас не раньше, чем вы распрощаетесь с союзным войском.

— И тогда?

— Тогда я прямиком пойду в Лихтенштайн, принесу барышне хорошее известие от вас. Как же она тоскует! Представьте: каждый день стоит в садике на утесе и смотрит вниз, в долину, — не идет ли старый Ханс!

— Что ж, я ее обрадую, — сказал Георг, — может быть, завтра же и уеду, но предварительно напишу письмо.

— Только постарайтесь, чтобы пергамент не был шире того, что я принес, придется его опять прятать в подвязку. Мало ли кого встретишь в такое беспокойное время, ну а там никто не станет искать.

— Ладно, так и сделаю, — ответил Георг, вставая. — Давай на этом попрощаемся. Приходи в обед к господину Крафту, его дом недалеко от собора. Выдай себя за моего земляка из Франконии — ульмцы не благоволят к вюртембержцам.

— Постараюсь, будьте покойны, — пообещал Ханс.

Провожая долгим взглядом ладную фигуру юноши, крестьянин решил про себя, что милая питомица его сестры сделала недурной выбор, хотя ее розовые щеки и поблекли от первой любви.

ГЛАВА 9

— Что может под солнцем случиться,
Чем жертвовать мне опять?

И что же мне делать?

— Бежать...

Ф. Шиллер¹

Георг с самого начала побаивался принимать в доме Крафта своего нового знакомого. И не без причины. Тот мог выдать себя речью или же внешним видом, что было крайне неприятно ввиду его решения в ближайшие дни покинуть союзное войско.

¹ «Дон Карлос».

Нежелательно вызвать подозрение в связях с Вюртембергом. Да и сможет ли посланец, будь он обнаружен, не выдать любимую?

Георг хотел было повернуть назад, чтобы разыскать крестьянина и попросить его как можно скорее удалиться, но подумал, что тот, должно быть, давно покинул место их разговора и ему лучше поспешить в дом Крафта и там в случае необходимости оградить гонца от опрометчивых шагов.

Однако, вспомнив решительные глаза и хитрое выражение лица посланца, он немного успокоился и решил, что Мария, хотя у нее и не было большого выбора, все же не доверила бы своего поручения ненадежному человеку.

И вправду, Георг не поверил собственным глазам и ушам, когда перед ним в обед предстал крестьянин из Франконии. Тот самый и совсем другой: согнувшийся в три погибели, свисающие вдоль тела безвольные руки, лицо — глуповатое, глаза опущены вниз. Все это вызвало невольный смех у Георга.

Когда же крестьянин на франконский манер его приветствовал и стал отвечать на вопросы господина Крафта по-франконски, у него возникло искушение поверить в сверхъестественные чудеса, в его сознании вспыхнули сказки детства, в которых добрый волшебник или же милая фея помогает влюбленным избежать печальной участи.

Волшебство развеялось, как только они остались вдвоем в комнате и хитроумный шваб убедил рыцаря в том, что это он и есть.

Однако удивление от сыгранной посланцем роли не улетучивалось.

— Не сомневайтесь в моей честности, — заверил Георга крестьянин, — с ранней юности мне это часто помогало. Такая способность никому не вредит, наоборот, даже способствует доброму делу.

Георг заверил, что доверяет ему не меньше, а посланец настоятельно попросил в ответ задуматься об отъезде, барышня ждет известия, и ему, гонцу, нельзя возвращаться домой, прежде чем он не убедится в этом.

Георг подтвердил, что дожидается лишь выступления из города союзнического войска, чтобы сразу же воротиться домой.

— О, тогда ждать придется недолго, — заметил крестьянин, — если они завтра не выступают, то уж точно сделают это послезавтра. Дорога для них открыта. Я точно знаю, поверьте мне.

— Значит, это правда, что швейцарцы уже отбыли восвояси и герцог не может принять открытый бой?

Посланец окинул настороженным взглядом комнату, осторожно приоткрыл дверь посмотреть, не подслушивает ли кто, и тихо произнес:

— Господин! Я был при отступлении и никогда этого не забуду, даже если мне исполнится девяносто лет! По дороге, у Швабских Альп, я встречал толпы отбывающих на родину швейцарцев. Они отзывали также всех своих советников. У Блаубойрена стоит восьмидесятысячное войско, но в нем исключительно вюртембергцы, и никого больше.

— А герцог? — прервал его Георг. — Где же он?

— Герцог в последний раз разговаривал с ними в Кирхайме, уговаривал остаться, но швейцарцы все же покинули его, потому что он не мог им заплатить. После этого герцог отправился в Блаубойрен, где собралась его пехота. Вчера утром барабанным боем собрали народ на лугу перед монастырем. Там было много людей, но все, как один, думали одно и то же. Видите ли, юнкер, герцог — суровый властелин, и крестьяне им недовольны. Налоги у нас очень высокие, за браконьерство наказывают беспощадно, герцогский двор расточает все, что отнято у жителей страны. Но коли наш господин угодил в беду — дело другое. Мы уже думаем только о том, что он мужественный человек и наш несчастный герцог, которого силой хотят изгнать из страны. Прошел слух, будто бы герцог собирается сопротивляться, замышляет сражение, и каждый из нас крепко сжал меч в руке. Мы собрались на лугу, потрясая копьями и изрыгая проклятия Швабскому союзу. И тут появился герцог...

— Ты видел герцога, ты его знаешь? — с любопытством воскликнул Георг. — О, расскажи, как он выглядит?

— Знаю ли я его? — проговорил, странно улыбаясь, посланец. — Я видел его, даже когда ему этого не хотелось. Герцог еще молодой человек, не более тридцати двух лет от роду. Сильный, статный мужчина. Сразу видно, что он хорошо владеет оружием. Глаза у него полыхают огнем, не каждый выдержит такой взгляд. И вот герцог появился на людях, вошел в круг вооруженных воинов, тут же наступила мертвая тишина. Ясным, четким голосом господин наш сказал, что его покинули те, на кого он полагался, сделав его посмешищем в глазах врагов, потому что без швейцарцев ему не выиграть сражения.

И тут вышел вперед старый седой человек и обратился к герцогу:

— Неужели вы, ваша светлость, потеряли надежду и забыли про нас? Посмотрите, мы готовы сражаться. Я привел с собою четырех своих сыновей, у каждого из них в руках — копье и нож. И таких здесь — тысячи. Неужели мы вам так надоели, что вы отвергаете наше участие?

Слова старика тронули Ульриха до глубины души, он вытер наворачнувшиеся слезы и протянул тому руку.

— Я нисколько не сомневаюсь в вашем мужестве, — сказал он громко, — но нас так мало, что мы можем лишь умереть, но не победить. Идите по домам, добрые люди, и оставайтесь верными мне. Я же должен покинуть мою страну, стать несчастным изгнанником. Однако надеюсь с Божьей помощью все же вернуться сюда.

Так говорил герцог, а собравшиеся люди плакали, сжав зубы, потом, мрачные, разошлись по домам.

— А герцог? — спросил Георг.

— Из Блаубойрена он ускакал, куда — неизвестно. В замках сидят его рыцари. Они готовы их защищать до тех пор, пока герцог не найдет себе поддержки...

Тут старый Иоханн прервал посланца сообщением, что господин юнкер призывается к двум часам на военный совет, который состоится на квартире Фрондсберга. Георг был немало удивлен этим известием; что могли от него хотеть в военном совете? Уж не нашел ли Фрондсберг способ рекомендовать его высшим чинам?

— Помните о своем обещании, юнкер, — сказал крестьянин, когда старый Иоханн покинул комнату, — обещании, которое вы дали барышне, и прежде всего не забывайте ее предостережения — против вас что-то замышляют. Мне же позвольте остаться в этом доме в качестве вашего слуги. Я могу позаботиться о коне и буду готов к другим услугам.

Георг с благодарностью принял предложение верного человека, и Ханс тут же приступил к службе — подвязал молодому человеку меч, водрузил на его голову берет, после чего еще раз напомнил о его клятве и попросил соблюдать осторожность.

Раздумывая о непонятном приглашении на военный совет и о странном, совпадающем с ним предостережении Марии, Георг

шел к назначенному дому; его направили там по широкой витой лестнице наверх, в первую дверь направо, где, как ему сказали, он найдет собравшихся военачальников. Но вход в святилище был ему не так скоро позволен. Только он хотел отворить дверь, как старый бородатый воин спросил, что ему нужно, и, получив ответ, нельзя сказать, чтобы утешил: по его словам, могло пройти по меньшей мере еще полчаса, прежде чем Георг будет туда допущен; потом он взял молодого человека за руку и повел его по узкому коридору в маленькую комнатку, где и попросил пообждать.

Кто испытывал в одиночестве чувство томительного ожидания, тот поймет муки Георга. Сердце его бешено стучало, нервы напряглись до предела, глаза готовы были просверлить двери, а уши прислушивались к каждому скрипу дверей, шагам, звучащим в коридоре, неясным голосам в соседней комнате. Но двери скрипели напрасно, приближающиеся шаги удалялись, неясные голоса стихали. Доски на полу, окна в доме напротив были все вскоре пересчитаны. Снова и снова отбивал время колокол.

Пролетали минуты за минутами. Уши невольно отмечали бой городских часов.

Георг вставал и садился, вновь прохаживался по узкому помещению...

Но чу! Кажется, кто-то приближается, берется за ручку двери...

— Георг фон Фрондсберг велел вам кланяться, — сказал старый воин, вновь появившийся на пороге, — и передает, что дело, кажется, затягивается. Придется еще подождать. Он посылает вам кувшин вина к ужину.

Слуга поставил вино на широкий подоконник, так как стола под рукой не было, и удалился.

Георг удивленно посмотрел ему вслед; это казалось ему невозможным: он уже так давно ждет и — опять ждать?

Молодой рыцарь принялся за вино, оказавшееся недурным. Но могло ли оно утешить его в печальном уединении?

Обычная ошибка юношей в возрасте Георга та, что они переоценивают свою персону.

Зрелый мужчина легче перенесет ущемление собственного достоинства или по крайней мере сдержит свое недовольство, в то время как юноша, особенно чувствительный к вопросам чести, тут же вспыхнет.

Неудивительно поэтому, что Георг, позванный после двух убийственно длинных часов на военный совет, был в не особо хорошем настроении. Он молчаливо следовал за тем же седым провожатым, который ввел его сюда этим длинным коридором.

У двери старик взялся за щеколду и дружелюбно заметил:

— Не пренебрегите советом старого человека, юнкер, измените выражение своего лица. Строгим командирам там, на совете, не понравится ваша мрачность.

Но Георг уже не настолько владел собою, чтобы последовать доброму совету, он лишь благодарно пожал руку провожатого и проворно взялся за железную щеколду. Тяжелая дубовая дверь скрипя отворилась.

Вокруг большого массивного стола сидели восемь благородных мужей, составлявших военный совет союза. Некоторых из них Георг знал.

Во главе стола восседал главнокомандующий — стольник Вальдбург, по обеим сторонам от него располагались: Фрондсберг и Франц фон Зикинген, из остальных ему был знаком лишь старый Людвиг фон Хуттен.

Историческая хроника сохранила для нас имена других членов военного совета. Там находились: Кристоф граф Ортенбергский, Альбан фон Клозен, Кристоф фон Фрауэнберг и Дипольт фон Штайн — пожилые прославленные воины.

Георг остановился у двери, но Фрондсберг сделал ему приветливый знак подойти поближе.

Юный рыцарь приблизился к столу и оглядел собрание собственным ему открытым, смелым взглядом. Однако и он сам также стал объектом наблюдения собравшихся.

Казалось, им нравится красивый, рослый юноша, многие смотрели на него с расположением, а некоторые даже дружески кивнули.

— Георг фон Штурмфедер, я слышал, что вы учились в Тюбингенском университете, так ли это? — начал наконец стольник фон Вальдбург.

— Да, господин рыцарь, — ответил Георг.

— Хорошо ли вы знаете окрестности Тюбингена? — продолжал стольник.

Георг покраснел от вопроса, так как подумал о любимой, бывшей неподалеку от Тюбингена, в своем Лихтенштайне, но, быстро овладев собою, ответил:

— Я изредка ходил на охоту, да и немного путешествовал по окрестностям, места мне более-менее знакомые.

— Мы решили, — продолжал стольник, — послать надежного человека в ту местность с целью разведать, что будет делать герцог Вюртембергский при нашем приближении. Необходимо также собрать подробные сведения об укреплениях Тюбингенского замка и о настроении тамошних крестьян. Один такой человек своим умом и хитростью может нанести герцогу Вюртембергскому гораздо больший урон, нежели сотня рыцарей, и для этой цели мы выбрали вас.

— Меня? — поразился Георг.

— Вас, Георг фон Штурмфедер; правда, для подобного дела требуется определенный навык и некоторая опытность, но недостаток в них восполнит ваша голова.

Видимо, в юноше происходила горячая душевная борьба. Его лицо побледнело, глаза неподвижно уставились в одну точку, губы крепко сжались.

Предостережение Марии стало теперь понятным. Но как ни твердо решил он про себя отвергнуть сделанное ему предложение, каким благоприятным ни казался подвернувшийся случай отрешиться от союза, все же было трудно высказать свое намерение перед именитыми людьми.

Стольник нетерпеливо ерзал на своем стуле, пока молодой человек медлил с ответом.

— Ну? Скоро ли? Что это вы так долго думаете? — вскричал он наконец, рассерженный ожиданием.

— Избавьте меня от этого поручения, — проговорил Георг без робости, — я не могу, я не имею права.

Старые люди с удивлением поглядели друг на друга, будто не поверив собственным ушам.

— Вы не имеете права, вы не можете? — медленно повторил стольник, и густой румянец — предвестник поднимающегося гнева — разлился по его лицу.

Георг, увидев, что слишком поторопился в своих выражениях, собрался с духом и продолжал смелее:

— Я предложил вам свою службу, чтобы сражаться честно, а не для того, чтобы прокрадываться в стан неприятеля и исподтишка разведывать его намерения. Действительно, я молод и неопытен, но все же могу давать себе отчет в собственных поступ-

ках. Да и кто из вас, отцов, мог бы посоветовать своему сыну для первого военного подвига играть роль шпиона?

Стольник сдвинул свои темные косматые брови и метнул в юношу, который оказался настолько смелым, что придерживался иного, нежели он, мнения, гневный, пронзительный взгляд.

— Что это вы забрали себе в голову, молодой человек? — закричал он. — Ваши речи теперь не помогут. Дело вовсе не в том, согласуется ли с вашей ребяческой совестью то, что мы вам поручаем. Дело в повиновении: мы хотим этого, и вы должны...

— А я не хочу, — прервал его Георг твердым голосом.

Он чувствовал, что вместе с гневом в ответ на оскорбительный тон Вальдбурга растет его мужество, и даже хотел, чтобы стольник продолжал и продолжал свою речь, теперь ему по силам было любое решение.

— Да, конечно, конечно, — язвительно и одновременно злобно рассмеялся Вальдбург. — Это дело опасное — в одиночку пребывать во вражеском лагере. Ха-ха-ха! Вот приходят к нам с важными минами ничтожные молодые господа и трескучими фразами предлагают свои гениальные головы и золотые руки, но лишь коснется дела, так они тут же в кусты. Да-а-а, каковы отцы, таковы и дети — яблоко от яблони недалеко падает. Что ж, на нет и суда нет.

— Если вы хотите оскорбить моего отца, — вспыхнул рассерженный Георг, — то здесь сидят воины, которые могут засвидетельствовать, что его храбрость до сих пор живет в их памяти. Должно быть, вы чересчур много сделали для людей, что позволяете себе подобное высокомерие!

— Такому ли молокососу указывать мне, что я должен говорить? — перебил его Вальдбург. — Впрочем, что тут попусту болтать! Я хочу знать, юнкер, оседлаете ли вы завтра свою лошадь, чтобы выполнить наш приказ, или нет?

— Господин стольник, — ответил Георг с большим спокойствием, чем сам от себя ожидал, — вы своими резкими речами показали, что не знаете, как нужно разговаривать с дворянином, сыном известного героя, предложившим свою службу союзу. Вы говорили от имени союза и так глубоко оскорбили меня, будто я ваш злейший враг. Мне остается одно, как вы это сами сказали, — оседлать коня, но не для того, чтобы услужить вам. Я больше не считаю для себя за честь служить под вашими знаменами

и отрекаюсь от вас навсегда! Прощайте! — энергично и твердо закончил молодой человек и повернулся, чтобы уйти.

— Георг! — вскочив, воскликнул Фрондсберг. — Сын моего друга!

— Погодите! Погодите, юнкер, — заволновались и прочие, бросая неодобрительные взгляды на Вальдбурга. Но Георг, не оглядываясь, уже вышел из комнаты.

Звонко захлопнулась железная щеколда, и огромные половинки дверей отделили юношу от дружеских окликов явно расположенных к нему людей. Эти тяжелые дубовые двери навсегда отрешили Георга фон Штурмфедера от Швабского союза.

ГЛАВА 10

Лишь ночь на землю снизойдет,
И сердце вновь печалью обовьет.
Но как за солнцем свет звезды придет,
Так и любовь моя вовеки не умрет.

Ф. Конц¹

Георг почувствовал себя лучше, когда у себя в комнатке поразмыслил о случившемся. Ведь было решено то, с чем он медлил, и решено как нельзя лучше. Теперь он имел повод оставить войско, причем стольник должен взять за это вину на себя.

Как же все переменялось всего за четыре дня и как отличалось его нынешнее настроение от того, с каким он въезжал в этот город!

Радостная приветственная пальба, веселый перезвон колоколов, зажигательный треск барабанов вызывали тогда ответное биение сердца, жаждущего военных побед, чтобы заслужить руки Марии. А первая встреча с Фрондсбергом, пробудившая возвышенные мысли и желание заслужить похвалу из уст прославленного человека! И как охладили его пыл последующие события, когда Швабский союз потерял для него всякую привлекательность и развеял как дым юношеские фантазии! Теперь он стыдился поднять свой меч во славу союза, замыслившего в угоду собственной алчности разорвать прекрасную страну на куски. Кроме

¹ «Утренние размышления в ноябре».

того, как ужасна мысль о том, что Мария и ее родственники будут пребывать на стороне врагов, оставшись верными несчастному герцогу, которого решено изгнать из собственных владений! И ради этого он должен разбить любящее его сердце? «Нет! Этого не будет!» — громко произнес юноша, устремив взор к солнечному свету, пробивающемуся сквозь круглое оконное стекло, и мысленно обратился к синему небу: «О! Что было бы губительно для любого другого на моем месте, Ты обратил во благо!»

Прежняя веселость, отступившая было под ударами судьбы, вновь к нему вернулась, разгладила нахмуренный лоб и заиграла на губах. И он радостно, как в счастливые времена, запел веселую песенку.

— Вот это да! — удивился вошедший господин Крафт. — Я тороплюсь домой, чтобы утешить своего гостя в его печалях, и нахожу его веселым, как никогда. Как мне это понимать?

— А разве вы не знаете, господин Дитрих, — ответил Георг, посчитав разумным скрыть свою веселость, — что можно от гнева смеяться, а от боли петь?

— Я слышал об этом, но никогда прежде не видел.

— Так, значит, вы слышали о досадной истории со мной, — сообразил Георг, — верно, ее уже рассказывают по всем улицам?

— О нет! — успокоил его секретарь. — Никто о том не знает, иначе бы во всеуслышание раструбили подробности тайного поручения. Нет! Слава богу, у меня есть собственные источники, и я обо всем узнаю тот же час, когда это произошло. Однако не сердитесь на меня, но вы поступили глупо!

— Так! — рассмеялся Георг. — А собственно, почему?

— Вам ведь предоставлялась прекрасная возможность отличиться. Кому было бы благодарно высшее начальство за...

— Скажите прямо: лазутчику в тылу врага, — перебил его Георг. — Жаль только, что слава моего отца и его доброе имя побегут вперед и встретятся с врагом раньше меня.

— Я и не подозревал, что у вас могут быть сомнения такого рода. Если бы я был известен так, как вы, меня не пришлось бы долго упрашивать.

— Возможно, у вас в Швабии иное отношение к подобному делу, — не без иронии заметил Георг, — но у нас во Франконии... Стольник Вальдбург должен был об этом поразмыслить и послать лазутчиком ульмца.

— Может, вы и правы. Однако стольник! Как неразумно вы поступили, сделав его своим врагом! Он никогда в жизни этого не забудет, поверьте мне!

— Это меня меньше всего заботит, — ответил Георг, — мне жаль только, что я не могу скрестить клинки с этим высокомерным человеком, причинившим зло моему отцу, чтобы доказать, что презираемая им рука, которую он сегодня оттолкнул, чего-то да стоит.

— Ради всего святого! — взмолился при этих словах Крафт. — Не говорите так громко, нас могут услышать. Однако вы должны взять себя в руки, если когда-нибудь соберетесь служить в войске под его началом.

— Я собираюсь скоро избавить господина стольника от моего ненавидящего взгляда. Так угодно Богу: сегодня я увижу в последний раз закат солнца в Ульме.

— Неужели? — удивился Крафт. — Никогда не поверю, что Георг фон Штурмфедер из-за пустяка бросит большое дело.

— Оскорбление чести — не пустяк, — со всей серьезностью возразил Георг, — что же касается нынешних обстоятельств, как вы говорите, большого дела, то после серьезных раздумий я понял, что не могу радеть за него и не хочу по прихоти именитых господ подставлять свою спину под крепостные стены, за которыми находятся толпы вооруженных горожан.

От него не ускользнуло, что его последние слова произвели неприятное впечатление на секретаря, и тогда он, пожав тому руку, спокойнее заключил:

— Не огорчайтесь из-за моих резких слов, мой добрый гостеприимный хозяин. Видит бог, я не хотел вас обидеть. Но из ваших уст я многое узнал о намерениях и целях разных участников этого союза. Не пеняйте на себя за то, что я выбираю свой путь, так как с вашей помощью у меня упала пелена с глаз.

— Да, вы правы, милый юнкер, действительно подымется великая кутерьма, когда эти господа затеют делить прекрасные земли. Но я подумал, что и вы сможете заслужить себе малую толику. Поймите меня правильно: ведь ваше родовое гнездо пришло в упадок, и я посчитал...

— Не надо об этом, — прервал его Георг, тронутый добросердечием приятеля. — Действительно, дом моего отца разваливается, ворота висят на сломанных петлях, подъемный мост порос

мхом, а на сторожевой башне поселились совы. Лет через пятьдесят там останется одна башня или всего лишь стена, которые будут напоминать странникам, что когда-то здесь было гнездо славного рыцарского рода. Но сейчас, даже если на меня упадут поросшие мхом крепостные стены и погребут под собой остатки нашего рода, никто про меня не скажет: он ради чужого добра обнажил меч отца.

— Каждый поступает по-своему, — примирительно проговорил Дитрих. — Ваши слова звучат прекрасно, но я бы все делал иначе, а именно — постоянно бы заботился о благополучии своего дома. В любом случае, перемените вы свое решение или нет, я надеюсь, что вы еще погостите несколько дней у меня.

— Ценю вашу доброту! Но вы же понимаете, что при данных обстоятельствах я не могу больше оставаться в городе, поэтому собираюсь с наступлением утра его покинуть.

— О, могу ли я тогда передать с вами сердечные приветы? — проговорил секретарь с хитроватой улыбкой. — Ваш путь, конечно, лежит в Лихтенштайн?

Юноша залился ярким румянцем. С отъездом Марии между ним и приветливым хозяином дома речь о данном предмете не возникала, тем удивительнее прозвучал для него лукавый вопрос приятеля.

— Кажется, вы меня неправильно поняли, — сказал он. — Полагаете, что я отвернулся от союза с целью примкнуть к его врагам? Как же вы плохо обо мне думаете!

— Но мне всего лишь пришло в голову, — ответил умный секретарь, — что вас отговорила моя очаровательная кузиночка. Вы сочувствовали тому, что предполагал делать союз, зная, что в нем участвует и старый Лихтенштайн, а когда тот оказался по другую сторону, вы тоже от союза отвернулись.

Георг попытался защитить свое мнение, но секретарь был слишком уверен в своей проницательности, хотя и не видел ничего плохого и бесчестного в поведении гостя.

Передав сердечный привет кухне в Лихтенштайне, он собрался покинуть комнату гостя, но на пороге задержался.

— Да, я чуть было не забыл самое главное. На улице мне повстречался Георг фон Фрондсберг. Он просил вас прийти к нему вечером домой.

Правда, Георг так и думал, что друг его отца не даст ему уехать не простясь, но все-таки юноше было неловко видеть почтенного человека, который был так расположен к нему и чьи дружеские планы ему пришлось разрушить.

Раздумывая таким образом, Георг опоясался мечом и только хотел накинуть на себя плащ, как вдруг странный шум на лестнице привлек его внимание. Тяжелые шаги нескольких человек приближались к комнате, ему показалось, что он слышит, как звенят их мечи и алебарды.

Юноша торопливо кинулся к двери, чтобы убедиться в правильности своих предположений.

Но тут она отворилась. Бледный свет нескольких свечей позволил разглядеть кучку вооруженных солдат, которые выстроились у его комнаты.

Старый воин, встречавший его перед военным советом, выступил вперед.

— Георг фон Штурмфедер, — обратился он к юноше, который с изумлением отступил назад, — я пришел вас арестовать по приказу союзного совета.

— Меня? Арестовать? — ужаснулся Георг. — За что? В чем меня обвиняют?

— Это не мое дело, — ворчливо ответил старик. — Надо полагать, вас не оставят в безвестности. А теперь, будьте так добры, дайте мне ваш меч и следуйте за мною в ратушу.

— Как? Мне отдать свой меч! — с гневом оскорбленной гордости вскричал молодой человек. — Кто вы такой, чтобы требовать у меня оружие? Совет должен прислать по такому поручению других людей, а не вас.

— Ради бога, уступите! — тревожно проговорил секретарь совета, взволнованный и бледный, он протиснулся к Георгу и умоляюще просил: — Уступите! Сопротивление бесполезно. Вы имеете дело со стольником, — прошептал он в заключение. — Это злой враг, не раздражайте его против себя еще сильнее.

Старый воин бесцеремонно прервал нашептывания секретаря:

— Вероятно, молодой человек, вы впервые идете под арест, поэтому я прощаю опрометчивые слова, сказанные человеку, который часто спал в одной палатке с вашим отцом. Меч, пожалуй, вы можете оставить при себе. Мне знакома его рукоять, а сталь, заключенная в ножны, выдержала немало славных сражений. По-

хвально, что вы за него держитесь, не каждой руки он достоин. Но в ратушу вы непременно должны пойти, безрассудно противиться силе.

Юноша, которому все это казалось сном, молча покорился судьбе. Он незаметно дал секретарю совета знак — идти к Фрондсбергу и уведомить его об аресте, — потом закутался поглубже в свой плащ, чтобы во время неприятного пути не быть узнанным на улице, и последовал за седым проводником, окруженный его солдатами.

ГЛАВА 11

Железная дверь распахнулась,
Стены темницы пролило светом.
К нему кто-то шел, и он приподнялся...
*К. М. Виланд*¹

Конвой с арестованным посередине безмолвно продвигался к ратуше. Единственный факел впереди освещал им дорогу, и Георг был очень доволен скудным светом; ему казалось, что все встречные люди по пути должны были понять, что его ведут в тюрьму. Кроме того, дорогой юношу занимала преимущественно одна мысль: первый раз в жизни его ведут в заключение. Не без содрогания он думал о сырой, неопрятной камерке. В его воображении неотступно рисовался подвал их старого замка, куда он однажды заглянул, будучи мальчиком. Ему очень хотелось расспросить об этом своих провожатых, но, побоявшись, что те почтут его вопросы за детские страхи, так ничего и не спросил.

Немало поэтому Георг был изумлен, когда его привели в просторную прекрасную комнату, которая, правда, выглядела не совсем уютной, потому что в ней находилась лишь пустая кровать и огромный камин, но в сравнении с воображаемыми картинами заточения эти покои скорее походили на парадный зал, нежели на темницу. Старый воин, пожелав арестанту доброй ночи, ушел со своими солдатами, а в комнату вошел маленький худощавый старик; большая связка ключей, висевшая у него сбоку, давала понять, что он тюремный страж.

¹ «Оберон».

Старик молча положил в камин несколько поленьев, вскоре запыхал приятный огонь, который в холодную мартовскую ночь был весьма кстати. На доски широкой, пустой кровати тюремщик постелил большое шерстяное одеяло, и первое слово, которое Георг услышал из его уст, было дружеским приглашением располагаться поудобнее.

Жесткие доски и тонюсенькое одеяло выглядели малопривлекательными, но Георг все же поблагодарил старика за заботу и похвалил его темницу.

— Здесь заключаются рыцари, — наставительно произнес тюремщик, — для простых людей есть помещение в подземелье, не такое удобное, зато чаще посещаемое.

— А здесь, вероятно, долгое время никого не было? — спросил Георг, оглядывая пустынные покои.

— Последний узник тут был семь лет тому назад. Звали его господин фон Бергер. Он скончался в этой постели. Да будет Господь милостив к его бедной душе! Кажется, ему здесь понравилось, с тех пор по ночам он частенько навещает свою старую комнату.

— Как! — усмехнулся Георг. — Вы говорите, что он приходит сюда после смерти?

Тюремщик боязливо оглядел темные углы комнаты, едва освещенные беспокойным пламенем огня, которые, казалось, то выступали вперед, то отодвигались, поправил поленья в камине и проворчал:

— Говорят разное...

— И он умер на этом вот одеяле? — воскликнул Георг; по спине у него, несмотря на все мужество, пробежали мурашки.

— Да, господин, — прошептал тюремщик, — на этом самом одеяле. Отсюда он и отправился на тот свет. Дай бог, чтобы путь его лежал не дальше чистилища. Поэтому-то мы и называем это одеяло не иначе как покров, а комнату — рыцарской усыпальницей.

С этими словами страж, как бы боясь малейшим звуком потревожить покойника, тихо проскользнул за дверь, в коридор. Ключи его как-то особенно громко загремели в замке тяжелой тюремной двери, обеспечивая безопасность своему хозяину.

«Итак, на покрове, в рыцарской усыпальнице...» — подумал Георг и почувствовал, что его сердце забилось сильнее.

В ту пору души человеческие не были так восприимчивы к ужасам потустороннего мира — еще не появились, как в наши дни, книги о привидениях и призраках, но кормилица и старые слуги Георга постарались, чтобы в душе его разрослись сорные травы.

Он пребывал в нерешительности: лечь ему на покров или нет. Во всей усыпальнице, однако, не нашлось ни стула, ни скамьи. Пол, красиво выложенный плиткой, был еще холоднее волглого покрывала. Наконец Георг устыдился боязливого расследования и своей нерешительности. Вскоре гостеприимное ложе умершего приняло его в свои холодные объятия.

Георг прочитал вечернюю молитву и задремал. Покров мертвеца породил в его мозгу массу причудливых видений. Ему казалось, что старый тюремщик заглядывает в большую замочную скважину, наслаждаясь собственной безопасностью.

Тем временем в усыпальнице сделалось невыносимо жутко. Поднялся странный шум. По полу зашмыгали старые подошвы. Георг подумал, что это ему снится. И стал подбадривать себя, потом вновь прислушивался, прислушивался... Нет, то был не обман... В комнате раздавались тяжелые шаги. Огонь в камине разгорелся. Бледный свет пламени играл вокруг большой темной фигуры. Она надвигалась... Дорога от камина к постели была недлинной. Шаги приближались... Кто-то схватил покров и сдернул его... Георг, охваченный невыразимым ужасом, крепко зажмурил глаза. Но когда одеяло было схвачено у самой головы и холодная, тяжелая рука легла на его лоб, он, преодолев страх, вскочил и недоумевающим взглядом обвел темную фигуру, которая стояла прямо перед ним.

Яркое пламя камина осветило хорошо знакомые черты Георга фон Фрондсберга.

— Это вы, господин военачальник? — вскричал Георг, дыша свободнее, и поправил свой плащ, чтобы принять вид, достойный высокого гостя.

— Лежите, лежите, — сказал тот и вежливо заставил его опять лечь в постель. — Я сяду к вам на кровать, и мы сможем поболтать с полчасика, потому что на всех башнях пробило лишь девять часов и в Ульме пока никто не спит, кроме этой горячей головы, которой, чтобы ее остудить, сегодня постелили пожестче.

Он взял руку Георга и присел на кровать.

— Чем я заслужил ваше внимание? — проговорил Георг. — Не кажусь ли я вам неблагодарным, ведь я отверг ваше доброе расположение и разрушил все то, что вы так милостиво постарались для меня устроить.

— Нет, мой юный друг, — ответил ласково Фрондсберг, — ты истинный сын своего отца, он точно так же был скор на похвалу и хулу, на слово и дело. То, что он был человеком честным, — в этом нет сомнений, но несомненно также и то, что ему сильно вредили его вспыльчивость и упрямство, которое он выдавал за твердость.

— Но скажите же сами, благородный господин, — спросил Георг, — мог ли я сегодня поступить иначе? Не довел ли меня столытник до крайности?

— Ты мог бы поступить по-другому, если бы обратил внимание на характер этого человека, ведь он уже проявил его перед тобой. Мог бы также рассудить, что там присутствовали люди, которые не допустили бы никакой несправедливости в отношении тебя. Но ты выплеснул с водою и ребенка и сбежал.

— Говорят, возраст охлаждает человека, — возразил юноша, — но у молодости горячая кровь. Я могу снести строгость, даже суровость, когда они справедливы и не оскорбляют моей чести. Однако холодная насмешка, издевательство над несчастным моего дома приводят меня в бешенство. Как только может такой высокопоставленный человек находить удовольствие в том, чтобы кого-то бездушно терзать?

— Его гнев всегда так и выражается, — наставительно заметил Фрондсберг, — чем холоднее и спокойнее он с виду, тем сильнее клоочет в нем ярость. Ведь ему-то, собственно, и пришла в голову мысль — послать тебя в Тюбинген, частично потому, что он никого другого не знал, отчасти для того, чтобы загладить несправедливость к тебе, так как, с его точки зрения, это поручение — в высшей степени почетное. Своим отказом ты оскорбил его, да и пристыдил перед всем военным советом.

— Как! — удивился Георг. — Так это дело рук столытника, а не ваше поручение?

— Нет, — таинственно улыбнулся Фрондсберг, — я даже всеми силами старался разубедить его, но это не помогло, потому что настоящих причин я не мог ему открыть. Я же знал еще до твоего прихода, что ты откажешься принять это предложение.

Не вытаращивай глаза, как будто хочешь сквозь колет заглянуть в мое сердце. Я многое знаю о моем молодом упрянце!

Георг смущенно опустил глаза.

— По-вашему, причины, которые я привел, недостаточны? — спросил он. — А что это такое таинственное, что вы обо мне знаете?

— Таинственное? Ну, не скажу, чтобы это было так таинственно, на будущее же советую: кто не хочет выдать себя, тот не должен на балу уподобляться одержимому пляской святого Витта и после обеда, в три часа, встречаться с красивой девушкой. Да, сынок, я знаю все! — добавил Фрондсберг и, улыбаясь, погрозил пальцем. — Догадываюсь также, что пламенное сердце вот этого юноши предано Вюртембергу.

Покрасневший Георг не смог выдержать пытливого взгляда рыцаря.

— Предано Вюртембергу? — повторил он, собравшись с силами. — Вы ко мне несправедливы. Отказаться от похода с вами еще не означает примкнуть к неприятелю. Поверьте, я клянусь...

— Не клянись! — поспешил прервать его Фрондсберг. — Клятва — легкое слово, но смысл этого слова — тяжкая цепь, которую не всякий может разорвать. Твои поступки должны быть согласованы с твоею честью. Единственное, что ты должен обещать союзу, чтобы быть выпущенным из-под ареста, — это в ближайшие четырнадцать дней не сражаться против нас.

— Так вы подозреваете меня во лжи? — взволнованно проговорил Георг. — Я этого никак не ожидал. И к чему это обещание? За кого и с кем я буду на той стороне сражаться? Швейцарцы отбыли на родину, крестьяне разошлись по домам, рыцари попрятались в своих замках и постараются всякого, кто ушел из союзного войска, тотчас схватить, даже сам герцог и тот сбежал...

— Сбежал! — воскликнул Фрондсберг. — Сбежал... Мы этого не знали. Зачем тогда столтник послал рыцарей? Да-а-а. А откуда ты это, собственно, знаешь? Подслушивал то, что говорилось на военном совете? Или ты, как это некоторые утверждают, подерживаешь подозрительные связи с Вюртембергом?

— Кто это осмеливается утверждать? — вспыхнул Георг.

Зоркие глаза Фрондсберга испытующе впились в изменившиеся черты молодого человека.

— Послушай, ты кажешься мне слишком юным и честным для подлого дела, — проговорил он наконец, — и если бы ты замыслил что-нибудь в этом роде, то не вышел бы из Швабского союза, а отправился в качестве шпиона в Вюртемберг.

— Как! Это говорят обо мне? — прервал его Георг. — Если у вас есть хоть искорка любви ко мне, то назовите того негодяя, который смеет утверждать подобное!

— Ну зачем же так горячиться? — возразил Фрондсберг и взял руку молодого человека. — Можешь себе представить, если бы такие слова были произнесены публично и я бы верил нашептываниям, то, уж поверь, Георг фон Фрондсберг не пришел бы сюда. Однако что-то все-таки в этом есть. В город, к старому Лихтенштайну, частенько наведывался один хитрый крестьянин. Он не бросался в глаза в такое время, когда здесь было полно всякого люду. Но нам сообщили, что этот крестьянин — тайный и очень лукавый гонец из Вюртемберга. Когда Лихтенштайн уехал, крестьянин с его таинственными появлениями был забыт. Сегодня же утром он вновь появился и, говорят, долгое время беседовал с тобой перед городскими воротами. Потом его видели и в твоём доме. Ну, как мне это понимать?

Георг слушал его слова с растущим удивлением.

— Храни меня Господь, я не виноват, — сказал он, когда Фрондсберг кончил говорить. — Сегодня утром пришел ко мне крестьянин и...

— Почему ты замолчал? — спросил Фрондсберг. — И весь покраснел? Какую же роль играет этот гонец?

— Ах, мне, право, неловко говорить об этом. Но вы, верно, уже догадались. Крестьянин принес мне весточку от любимой!

При этих словах молодой человек расстегнул свою куртку и вытащил клочок пергамента.

— Вот все, что он передал. — И протянул Фрондсбергу письмо.

— Только это? — засмеялся тот, прочтя послание. — Бедный юноша! Значит, ты не очень хорошо знаешь этого человека? Не ведаешь, кто он такой?

— Нет, это всего лишь посланник любви. Готов поручиться!

— Любовный гонец, которому, кстати, поручено разведать о наших планах. Неужели тебе неизвестно, что он — опаснейший человек? Это же — Волынщик из Хардта!

— Волынщик из Хардта? — недоуменно переспросил Георг. — В первый раз слышу это прозвище. А что из того, что он — хардтский музыкант?

— Да, его знают не многие. Во время восстания «Бедного Конрада» он был одним из ужаснейших возмутителей спокойствия и вожакom крестьян, потом его помиловали. С того времени он вел бродячую жизнь, а теперь сделался разведчиком герцога Вюртембергского.

— Так его поймали? — с живостью спросил Георг, он невольно принимал участие в своем новом знакомом.

— Вот это-то и непонятно. Нам донесли, что его опять видели в Ульме, он был в вашей конюшне, но только мы хотели его схватить, как хитрец смотал удочки. Ну что ж, я верю твоему слову, твоим честным глазам, что он приходил к тебе не по каким-то другим делам. Впрочем, можно быть уверенным: если это тот, кого я имею в виду, то не из-за тебя одного он отважился появиться в Ульме. И ежели тебе еще доведется когда-либо с ним повстречаться, остерегайся: такому отродью не следует доверять... Однако сторож уже прокричал десять часов. Ложись-ка на боковую да выпишись хорошенько за время своего заключения. Но прежде дай мне слово по поводу четырнадцати дней. А я тебе скажу: если ты оставишь Ульм, не простившись со старым Фрондсбергом...

— Я приду, непременно приду, — пообещал Георг, растроганный прозвучавшей в его словах грустью, которую старый воин старался скрыть под маскою шутиливой улыбки.

Молодой человек подал ему руку в знак своего обещания военному совесту, и заслуженный рыцарь медленными шагами оставил усыпальницу.

ГЛАВА 12

На миг воссияли глаза,
Лишь раз прозвучал твой голос...

К. Грюнайзен¹

На следующий день полуденное солнце обдавало своими жаркими лучами одинокого всадника, который пробирался через отроги Швабских Альп, ведущие во Франконию. Всадник был

¹ «Просьба».

молод, статен, хорошо вооружен кинжалом и мечом, ехал на рослом коне темно-бурого цвета. Некоторые части его снаряжения — шлем, кованный из листового железа, поручи и поножи — были прикреплены к седлу. Светло-голубая с белыми полосами перевязь, которая спускалась на грудь с правого плеча, позволяла судить о том, что молодой человек принадлежал к дворянскому роду, ибо это было отличием высшего сословия.

Всадник поднялся на горную вершину, откуда открывался прекрасный вид на долину, придержал своего фыркающего коня и осмотрел широкие просторы. С лесистых холмов устремлялись голубые волны Дуная, справа возвышалась гряда Швабских Альп, слева, вдали, виднелись снежные кряжи Тирольских Альп. Полукружье голубого неба дополняло величественную картину. Но как контрастировали ее нежные, светлые тона с черноватыми крепостными стенами Ульма, лежащего у подножия горы, и огромным темно-серым собором!

В этот миг его колокола стали отбивать полдень. Их голоса плыли долгими успокаивающими аккордами над городом, улетали в долину, подымались ввысь, в сияющую голубизну, как бы стремясь донести человеческие желания до неба.

«Они так же сопровождают расставание, как и приветствовали встречу! — с горечью воскликнул юный рыцарь. — Теми же голосами, теми же праздничными аккордами колокола говорят с человеком, когда тот прибывает и когда удаляется. Но для меня-то колокольный звон звучит по-иному, сейчас вовсе не так, как это было в первый раз, когда я только что прибыл. Тогда их переливы звучали призывом любимой, теперь же, когда я прощаюсь с этим краем, без радости, без надежды на будущее, могут ли они меня утешить? Да, они аккомпанировали рождению моей надежды теми же голосами, что и ее похоронам... Картина жизни! — заключил он грустно и после долгого прощального взгляда на долину и городские стены повернул коня. — Картина жизни! Над колыбелью и над могилой они поют одинаковыми звуками. Колокол моей домашней церкви сходно звучал в радостный день, когда несли меня крестить, и он же, не изменив себе, прозвучит точно так же, когда последнего Штурмфедера понесут на кладбище!»

Дорога становилась все круче, и Георг (читатели, конечно, уже узнали его в молодом всаднике) позволил коню перейти на мед-

ленный шаг, а сам продолжал раздумывать над своей судьбой. Перед ним простирался путь домой. Сравнение между отъездом из дома и возвращением туда должно было разогнать мрачные мысли.

Вчерашний день, стремительная смена чувств и ощущений, арест, наконец, прощание с людьми, желавшими ему добра, очень его взволновали.

Тронуло чистосердечие, с каким Дитрих фон Крафт сожалел об отъезде гостя, доброжелательность, с каковою этот милый человек потчевал его вином сначала в ратуше, затем преподнес последний бокал в знак прощания, когда Георг уже сидел на коне. А как он его отблагодарил? Занятый собою, вообще мало обращал внимания на любезного хозяина. А как отблагодарил честного прямодушного Брайтенштайна да и прославленного героя Фрондсберга, на глазах всего войска показавшего, кто у него любимец? Да, для благородного человека мысль о неблагодарности удручающая.

Погруженный в мрачные мысли, Георг проехал уже порядочное расстояние по горному хребту. Лучи мартовского солнца пригревали все жарче, тропа становилась менее ровной, и рыцарь решил наконец дать отдых себе и коню в тени большого дуба. Спешившись, он ослабил коню подпруги и пустил утомленное животное пощипать скудную траву. Сам же растянулся под дубом и охотно бы предался сну после утомительной езды, однако озабоченность, как бы в такое беспокойное время вблизи театра военных действий не лишиться своего коня, а то и оружия, удерживала его некоторое время от сна, пока он не погрузился в такое состояние, когда душа, витая между сном и бодрствованием, напрасно борется со слабостью тела, неотступно требующего своих прав.

Вероятно, юноша продремал так около часа, когда его пробудило ржанье коня.

Оглядевшись, он увидел человека, который, стоя к нему спиной, был занят животным. Первой мыслью Георга было: не хочет ли кто-то воспользоваться его небрежностью и увести коня. Он вскочил, обнажил меч и в три прыжка настиг незнакомца.

— Стой! Что ты делаешь с моим конем? — крикнул Георг, сильно хлопнув неизвестного по плечу.

— Вы отказываете мне в службе, юнкер? — ответил тот, обернувшись.

По хитрым, мужественным глазам, по плутоватой улыбке Георг тотчас узнал посланца Марии. Он не знал, как ему вести себя с ним: предостережения Фрондсберга настораживали, а доверие Марии располагало к хитрецу.

— Думается, — сказал крестьянин, показывая изрядную охапку сена, — что вы не прихватили с собою торбы, а там, в горах, травы еще мало, так вот я принес корм вашему гнедому. Он ему понравился.

Говоря, крестьянин продолжал угощать коня.

— Где же ты пропадал? — спросил Георг, несколько оправившись от удивления.

— Да вы так быстро покинули Ульм, что я не смог поспеть за вами.

— Не лги! — оборвал его молодой человек. — А то я не буду тебе доверять. Ты ведь идешь не из Ульма?

— Ну, вы же не станете меня бранить за то, что я раньше вас покинул город? — с хитрецей проговорил крестьянин и отвернулся.

От Георга не ускользнула его плутоватая улыбка.

— Оставь моего коня! — в нетерпении воскликнул Георг. — Пойдем сядем под дубом, и ты мне расскажешь без утайки, почему вчера вечером ты так спешно ушел из Ульма.

— Ульмцы тут ни при чем, — ответил хитрец, — они даже решили пригласить меня у них погостить, намереваясь дать даровой стол и бесплатное жилье.

— Да, они хотели тебя упрятать в подземелье, куда не заглядывает ни луна, ни солнце и где самое подходящее место для лазутчиков и шпионов.

— Позвольте, молодой человек, — возразил посланец, — тогда бы я, хоть и двумя этажами ниже, попал бы в точно такие хоромы, какие были и у вас.

— Ах ты, собака, шпион! — вспыхнул Георг. — Хочешь сына моего благородного отца поставить на одну доску с Волынщиком из Хардта?

— Что такое вы говорите? — вскипел крестьянин. — Что за имя называете? Вы знаете Волынщика из Хардта?

При этих словах он, по-видимому невольно, схватил своею сильной рукой лежащий подле него топор. Его коренастая, крепкая фигура с широкой грудью, несмотря на малый рост, при-

давала ему наружность бойца, а дико вращавшиеся глаза, крепко стиснутые губы, пожалуй, смутили бы любого одинокого путника.

Но юноша выпрямился, отбросил свои длинные волосы и устремил взгляд, полный гордости и мужества, в помрачневшие глаза крестьянина.

Затем Георг взялся за рукоятку меча и произнес спокойно и твердо:

— Как смеешь ты так стоять передо мною и задавать нелепые вопросы? Ты, если не ошибаюсь, как раз и есть тот, о ком я говорю, — бунтовщик и вожак возмущившихся собак. Убирайся прочь, или я покажу тебе, как следует рыцарю разговаривать с подобным отродьем!

Крестьянин, казалось, боролся с закипавшим гневом: сильным взмахом он всадил свой тяжелый топор глубоко в дерево и теперь стоял перед Георгом без оружия.

— Позвольте, — сказал он, тяжело дыша, — предостеречь вас: в другой раз не оставляйте между собой и вашим гнедым противника, будь он даже ничтожным крестьянином, потому что, если бы я последовал вашему приказу — убраться, гневой сослужил бы мне отличную службу.

Один лишь взгляд убедил Георга, что крестьянин прав. По-краснев за свою неосторожность и военную неопытность, Георг оставил меч и сел, не ответив, на землю. Крестьянин последовал его примеру, однако на почтительном расстоянии, и примирительно проговорил:

— Вы абсолютно правы, что рассердились на меня, господин фон Штурмфедер, но, если бы вы знали, как для меня обидно это прозвище, вы бы простили мою горячность! Да, я тот, кого вы назвали, но мне неприятно слышать эту кличку. Друзья называют меня Ханс, а моим врагам нравится скверное прозвище, потому что я его ненавижу.

— Чем возмущает тебя это невинное прозвище? За что тебя так называют? И почему ты не хочешь, чтобы тебя так звали?

— Почему меня так называют? Родом я из деревушки под названием Хардт. Она расположена неподалеку от Нюртингена. По профессии я музыкант и всегда по праздникам играл на рынках и гуляньях, когда молодым парням и девушкам хотелось потанцевать. Потому меня и прозвали Волынщиком из Хардта.

Но это имя в лихое время было запятнано кровью, потому я его и не люблю.

Георг смерил Ханса испытующим взглядом.

— Знаю я это лихолетье, когда вы, крестьяне, взбунтовались против вашего герцога, и ты был из них самым ярым. Не так ли?

— О, вам известна судьба несчастного! — проговорил крестьянин, мрачно уставившись в землю. — Но вы не должны думать, что я остался тем же бунтарем. Святой спас мою душу, изменил меня, и я смею теперь утверждать, что стал честным человеком.

— Не можешь ли ты мне рассказать, — перебил юноша, — как произошло возмущение крестьян, благодаря чему ты уцелел и как случилось такое, что ты теперь служишь герцогу?

— Мне бы хотелось отложить этот разговор для другого случая, так как надеюсь, что вижусь с вами не в последний раз. Позвольте и мне кое-что у вас спросить. Куда ведет вас этот путь? Ведь то дорога не в Лихтенштайн.

— Я еду не в Лихтенштайн. Мой путь ведет во Франконию, к моему старому дяде. Ты можешь об этом уведомить барышню, когда вернешься в Лихтенштайн.

— А что вы будете делать у дяди? Охотиться? Это можно делать и в другом месте. Скучать? Скуки тоже полно везде. Короче говоря, юнкер, — крестьянин добродушно улыбнулся, — советую вам повернуть своего коня и поехать со мною в Лихтенштайн.

— Но я дал союзу слово четырнадцать дней не сражаться против них, как же я в таком случае поеду в Лихтенштайн?

— Но если вы просто едете по дороге, означает ли это, что вы сражаетесь против союза? К тому же вы думаете, что война кончится в эти четырнадцать дней. Изгонят ли за это время из крепости защитников Тюбингена? Пойдемте же, это не нарушит вашу клятву!

— А что мне делать в Вюртемберге, — страдая, воскликнул Георг, — смотреть, как мои боевые товарищи завоевывают себе славу покорением крепостей? И что, я должен вновь встретиться с боевыми знаменами союза, с которыми распрощался навсегда? Нет! Поеду во Франконию, на свою родину, схороню себя в старых стенах, чтобы предаться мечтам о том, как мог бы я быть счастливым!

— О, достойное решение для настоящего рыцаря! А разве у вас нет других дел в Вюртемберге, как штурмовать крепости

несчастливого герцога? Поехали все же вместе, — заключил он, глядя на юношу с хитрой улыбкой, — попытайтесь лучше взять штурмом Лихтенштайн.

Юноша залился румянцем.

— Как ты можешь сейчас надо мною шутить? — Георг чуть-чуть улыбнулся. — Разве можно наслаждаться чужим несчастьем?

— Мне и в голову не приходило подшучивать над таким славным юнкером, я предлагал абсолютно серьезно и пытался вас уговорить поехать туда к барышне.

— И что мне там делать?

— Завоевать сердце старого господина и вытереть слезы бедной девушки, которая плачет из-за вас днем и ночью.

— Но как же я приеду в Лихтенштайн? Отец меня совсем не знает, надо же еще познакомиться с ним.

— Разве вы первый рыцарь, которому по обычаю предков предлагается гостеприимство в замке? Не думайте об этом! Я обо всем позабочусь, когда мы прибудем в Лихтенштайн.

Юноша призадумался, стал взвешивать все за и против, размышляя, соответствует ли такой поступок его чести: вместо того чтобы удалиться с театра военных действий, наоборот, отправиться в страну, где должна разразиться война.

Однако, вспомнив, как снисходительно посмотрели на его отступничество союзные военачальники, назначив ему всего лишь четырнадцать дней срока в случае даже полного перехода к неприятелю, и представив себе печальное лицо Марии, ее безмолвную тоску в уединенном Лихтенштайне, он поборол сомнения. Чаша весов перевесила.

«Еще раз я ее увижу, еще раз поговорю с нею», — подумалось ему.

— Ну, — решительным тоном произнес наконец Георг, — если ты обещаешь, что никогда речь не пойдет о том, чтобы мне примкнуть к вюртембержцам, что со мною в Лихтенштайне будут обращаться как с гостем, а не как со сторонником вашего герцога; если ты дашь мне слово, я последую за тобой.

— За себя-то я поручусь, — ответил крестьянин, — но как я могу обещать за рыцаря Лихтенштайна?

— Я знаю, в каких ты с ним отношениях. Ты часто приходил к нему в Ульме, и он доверяет тебе. Как ты умеешь приносить тайные вести, так же постарайся ему внушить и то, в чем я условился нынче с тобою.

Волынщик из Хардта с изумлением смотрел на молодого человека.

— Откуда вы все это узнали? — недоумевал он. — Впрочем, об этом вам могли сообщить мои враги. Что ж, хорошо, обещаю вам, что на вас везде будут смотреть как на гостя. Садитесь-ка на коня, а я вас провожу. Поверьте, вы будете желанным гостем в Лихтенштайне.

ГЛАВА 13

«Мне ведомы тайные тропы, — сказал ему бедный пастух, — они недоступны людям — духи царствуют тут. Доверьтесь же мне...»

Л. Уланд¹

От того горного хребта, где Георг принял решение следовать за своим таинственным проводником, вели две дороги к Ройтлингену, в окрестностях которого располагался на утесе замок Лихтенштайн. Одна — большая, удобная дорога вела из Ульма в Тюбинген, проходя по прекрасной долине к Блаубойрену, затем подножию Швабских Альп, пересекая горы мимо крепости Урах и городка Пфулинген. Этот путь считался в мирное время самым удобным для путников, которые вели за собой лошадей, повозки или носилки. Но в те дни, когда Георг ехал через горы с Волынщиком из Хардта, воспользоваться им было невозможно. Союзные войска уже овладели Блаубойреном, их посты растянулись по всей дороге до окрестностей Ураха, постовые обращались весьма сурово с каждым, кто не был их сторонником.

Георг имел свои причины избегать этого пути, а его проводник слишком заботился о собственной безопасности, чтобы не поддержать молодого человека.

Другая дорога, точнее, тропа, известная только окрестным жителям, на протяжении почти двенадцати часов хода приближалась лишь к нескольким одиноким подворьям; она тянулась сквозь густые леса и горные лощины, то тут, то там делала крутые изгибы, удаляясь от людного большого проселка. Для лошадей она была очень утомительна и часто почти непроходима, однако ж вполне безопасна для всадников. Эту тропу и выбрал

¹ «Граф Эберхард дер Раушебарт».

хардтский крестьянин, на что с радостью согласился юнкер, поскольку надеялся не натолкнуться здесь на кого-либо из союзников.

Путники продвигались довольно скоро, крестьянин все время шел подле Георга, когда же дорога становилась затруднительной, он заботливо вел лошадь и вообще выказывал столько внимания и заботы о всаднике и его коне, что из души Георга малопомалу испарялись все предостережения Фрондсберга.

Георг видел возле себя только верного слугу и охотно беседовал с ним. Крестьянин судил о многих вещах, находящихся вне сферы его обычной жизни, очень умно и тонко, сопровождая свои суждения подчас такими остроумными шутками, что даже у серьезного молодого человека, опечаленного неприятностями последних дней, они вызывали невольную улыбку. О каждом замке, промелькнувшем вдаль, за лесами, он рассказывал интересное предание, а то и легенду. Ясность и живость, с которыми он говорил, показывали, что на свадебных пирах и приходских праздниках, помимо ремесла музыканта, ему выпадала еще и роль рассказчика. Но когда Георг пытался коснуться его собственной жизни, особенно событий, связанных с ролью Волынщика из Хардта в восстании «Бедного Конрада», хитрый мужик замыкался в себе или переводил разговор на другое.

Так они и продвигались. Ханс всегда наперед знал, когда на их пути попадется крестьянский двор, где они найдут подкрепление себе и лошади. Везде он был со всеми знаком, повсюду его принимали дружески, но, как показалось Георгу, с некоторым удивлением.

Обыкновенно Ханс сперва какое-то время шептался с хозяином, в то время как хозяйка усердно угощала юного рыцаря хлебом с маслом и неразбавленным яблочным вином, а их дети восхищались статным красивым гостем, его нарядной одеждой, перевязью, развевающимися перьями берета. Когда с угощением бывало покончено и лошадь успевала передохнуть, все домашние провожали гостей до ворот, и юный рыцарь, к своему стыду, не мог вознаградить гостеприимных хозяев — предостерегающий взгляд Волынщика из Хардта заставлял их отказываться от малейшего подношения. И эту загадку не раскрыл ему провожатый, вымолвив лишь уклончиво, что если эти люди пожалуют в Хардт, то непременно погостят у него.

Ночь путники провели в одинокой усадьбе, где хозяйка с готовностью устроила своему знатному гостю постель на скамье за печкой, после того как пожертвовала ему на ужин пару голубей и подала щедро намавленную овсяную кашу.

На следующий день путешествие продолжалось таким же образом, только Георгу казалось, что его проводник действует с еще большей осторожностью. Так, когда они приблизились к одному подворью, он заставил всадника шагов за пятьсот остановиться, а сам осторожно прокрался к строениям, все заботливо осмотрел и только тогда сделал знак молодому человеку следовать за ним.

Напрасно Георг расспрашивал его, не опасно ли здесь, нет ли поблизости союзных войск. Он не ответил определенно ни на один из этих вопросов.

К полудню, когда тропка стала виться по равнине, путешествие сделалось опаснее; хардтский музыкант, по-видимому, не хотел приближаться к жилью, в одном дворе он запасся мешком с провизией для них обоих и кормом для коня. Он, видимо, искал еще более уединенную тропу. Георг также подметил, что они не следуют прежнему направлению, а уклоняются вправо.

На опушке тенистого букового леса, где чистый ключ и свежая трава так и приглашали к отдыху, был сделан привал. Георг спешился, а его проводник вынул из мешка еду для обеда. Позабывшись затем о коне, он сел у ног молодого человека и с большим аппетитом приступил к еде.

Георг, утолив голод, внимательно оглядел окрестности. Они находились в живописной широкой долине, которую пересекала крохотная речушка. По ее берегам раскинулись хорошо возделанные поля, упирающиеся в невысокие холмы.

Местность была намного приветливей тех горных отрогов, которые они недавно пересекли.

— Кажется, мы покинули Альпы? — спросил молодой рыцарь, повернувшись к своему спутнику. — Эти холмы и приветливая долина приятнее пустынных пустошей, которые мы проехали. Даже воздух здесь теплее, и ветер больше не пронизывает до костей.

— Вы правильно догадались, юнкер, — ответил Ханс, собирая в мешок остатки провизии, — мы уже в низине, а эта речушка впадает в Неккар.

— Но как это случилось, что мы свернули с дороги? Мне еще наверху показалось, что мы изменили направление. Насколько я понимаю, эта тропа уводит далеко вправо от Лихтенштайна.

— Ну, теперь я могу вам открыть, — ответил крестьянин, — не хотел вас там, в Альпах, пугать понапрасну. Теперь же мы, слава богу, в безопасности, ибо даже в худшем случае находимся всего в четырех часах ходьбы от Хардта, где нам уже ничего плохого не смогу сделать.

— В безопасности? — перебил его удивленный Георг. — А кто нам может угрожать?

— Союзники, конечно. Они шныряют по горам, ведь их всадники частенько приближались к нам чуть ли не вплотную. Уж очень не хотелось бы мне угодить в их лапы, они, как вы знаете, не благоволят ко мне. Да и вам, скорее всего, не по душе обратиться в арестанта господина стольника.

— Боже меня сохрани! — вспыхнул Георг. — Попасть к стольнику! Уж лучше умереть на месте! Но что им здесь надобно? Поблизости ведь нет вюртембергских крепостей, да и вообще, как ты говорил, путь для них повсюду открыт. Для чего они здесь разъезжают?

— Видите ли, юнкер, повсюду есть плохие люди. Любой истинный вюртембержец скорее позволит содрать с себя кожу, чем выдаст герцога, а союзники устроили на него настоящую облаву. Стольник, говорят, пообещал целую кучу золота тому, кто захватит герцога, и разослал во все концы своих рыцарей. Вот они теперь и разъезжают повсюду... Говорят, что среди крестьян уже нашлись люди, падкие на золото. Они-то и могут указать ищейкам стольника все ущелья и пещеры.

— Так они ищут герцога? Но он, говорят, бежал из страны. Кроме того, я слышал, что герцог спрятался в своем хорошо защищенном Тюбингенском замке, где его охраняют сорок рыцарей.

— Да, в замке сорок дворян, — хитро улыбнулся крестьянин. — И герцогский сынок Кристоф тоже там, это верно. Но там ли сам герцог, никому не известно. Скажу откровенно, насколько я его знаю, он запрется в крепости в случае крайней необходимости, ведь это смелый, отважный человек, и ему по нраву пребывать в лесах и горах, даже когда это опасно.

— Если союзники ищут герцога, значит он где-то здесь, поблизости?

— Где он, я не знаю, — ответил Волинщик, — и готов биться об заклад, что этого не знает никто, кроме Бога. Но где он будет, мне известно, — продолжал с воодушевлением Ханс. — Когда совсем станет плохо, верные ему люди подставят свои головы, чтобы защитить владыку от союзников. Он, конечно, суровый господин, но твердая рука его нам приятнее ханжеских слов баварцев и австрийцев.

— А если союзники узнают несчастного герцога, когда случайно на него наткнутся? Вдруг он не изменил своего обличья? Ты как-то описал его, и я почти вижу лицо герцога перед собою, особенно властный, горящий взор. Расскажи подробнее, как он выглядит?

— Герцог лет на восемь старше вас, тоже высок ростом, вообще во многом сходен с вами. Когда вы сидели на коне, а я шел сзади, мне часто вспоминался герцог — он точь-в-точь так же выглядел в дни своей славы.

Георг поднялся, чтобы посмотреть на коня; слова крестьянина внушили ему сомнения в собственной безопасности, только теперь он осознал, как безрассудно поступил, углубившись в оккупированную страну. Было бы крайне неприятно оказаться схваченным сейчас.

Правда, Георг мог после своей клятвы отправляться куда угодно, если, конечно, в эти четырнадцать дней не станет принимать деятельного участия в борьбе с союзом; но он все-таки чувствовал всю неловкость пребывания в краях, далеких от его родины, к тому же в обществе человека, казавшегося весьма подозрительным, даже опасным для союзных военачальников. Повернуть назад не было возможности, — по всей вероятности, союзные войска уже заняли горы, самым безопасным казалось поторопиться пройти последние посты войск, тогда опасность останется позади, а впереди откроется свободный путь.

Однако конь, который должен был пронести своего хозяина сквозь цепь больших и малых неприятностей, обычно очень выносливый, сейчас опустил уши: долгий путь по каменистым тропам утомил и ослабил его. К своей досаде, Георг заметил к тому же, что животное неохотно ступало на переднюю левую ногу, что и неудивительно после восьмичасового путешествия по горным тропам.

Крестьянин заметил затруднительное положение юнкера, осмотрел коня и посоветовал дать ему несколько часов отдыха, утешив Георга тем, что местность ему хорошо знакома и ночью они могут пройти большое расстояние.

ГЛАВА 14

Мчатся будто на пожар
Швабского союза роты,
В душах их горит азарт
Княжеской охоты.

Г. Шваб¹

Молодой человек, покоровшись судьбе, искал утешения в красоте открывшегося перед ним пейзажа, когда крестьянин повел его вверх по тропе.

Они стояли на самом верху последнего отрога Швабских Альп.

Перед удивленным взглядом Георга возникла панорама невероятно возвышенной красоты, насыщенной таким переливом красок, что его глаза некоторое время не могли от нее оторваться.

И впрямь, человек, чувствующий природу, поднявшись на вершину Альп, сочтет подобную картину одной из самых привлекательных на земле.

Георг смотрел на горную гряду от самых дальних, едва различимых вершин, выступающих на горизонте из нежно-серой дымки, которые сменяли отроги всех оттенков голубого цвета, переходящие в темно-зеленые громады ближних холмов.

На вершинах горных хребтов глаз различал бесчисленные дворцы и замки, смотревшие, словно стражи, со своей высоты вниз, на долины.

Сегодня башни многих из них лежат в развалинах, мощные ворота рухнули, глубокие рвы, их окружавшие, заполнились поросшими мхом обломками, просторные залы, где прежде кипела веселая жизнь, онемели, но сейчас, когда Георг смотрел на них с вершины, они высились торжественно и гордо, как череда богатырей.

¹ «Романс о юности герцога Кристофа Вюртембергского».

— Дивная страна этот Вюртемберг! — Георг выразил свой восторг спутнику. — Как они величественны и тверды, эти вершины и замки! А если обратить свой взор на долины Неккара, то еще раз подивисься плодородным холмам, засаженным фруктовыми деревьями и виноградниками, бурливым речушкам, кристальной чистоты родникам, ласковому небу и крепким, добродушным людям, живущим в этих благословенных краях.

— Да, — согласился с ним крестьянин, — вы верно подметили, красивая страна! Здесь, наверху, может быть, и не такая замечательная, а вот внизу, в окрестностях Штутгарта, уж такая красота, господин, такое великолепие! Представьте себе, какое удовольствие побродить летом или осенью вдоль Неккара! Поля тогда выставляют напоказ свою щедрость, мощные зеленые виноградные лозы карабкаются по склонам, лодки и челны снуют туда-сюда по Неккару, люди с радостью трудятся, а красавицы-девушки поют, как юные жаворонки!

— Конечно, долины у Ремса и Неккара красивей, — подтвердил Георг, — но вот и эта низина у наших ног тоже имеет свое очарование. Скажи мне, как называются замки вон на тех горах? А те дальние?

Крестьянин взгляделся в дальние извивы гор и показал на выступающие из тумана очертания.

— Там, далеко-далеко, — Росберг, в том же направлении, но ближе — острые зубцы Ураха, еще ближе — Ахальм, а от него недалеко, сейчас отсюда не видно, — возвышается утес Лихтенштайн.

«Значит, она там, — проговорил себе под нос Георг, и его глаза устремились в туманное далеко, — в той дали, где облачко трепещет в закатных лучах, там бьется верное сердце. Может, стоит она сейчас у края скалы и смотрит на горы. О, если бы вечерний воздух донес тебе мои приветы, милая, а розовое облачко сообщило о моем приближении!..»

— А вон, дальше, — отвесная скала Тек, наши герцоги носят фамилию фон Тек. Там очень укрепленный замок. Если же вы посмотрите немножко правее, то увидите высокую крутую гору, там обитель знаменитого императора, она называется Хоэнштауфен.

— А как называется вон та крепость, как бы взмывающая из глубины? — продолжал расспросы юный рыцарь. — Только по-

смотри, как играет солнце на ее светлых стенах, как разрезают воздух ее зубцы и как озарены светом ее могучие башни!

— Это Нойфен, господин. Тоже мощное укрепление, союзникам еще предстоит взять его силой.

Во время этого разговора солнце прекрасного мартовского дня начало опускаться. Вечерние тени затягивали горы темным покровом, скрывая от взоров путников отдаленные вершины. Взошел, озирая свое ночное царство, бледный месяц. Лишь высокие крепостные стены и башни Нойфена были еще освещены последними лучами заходящего солнца, как будто они были его последними любимцами, с которыми трудно расстаться. Наконец и эти стены погрузились в темноту, ночной ветер пронесся над лесами, посылая таинственные приветы яркому сиянию месяца.

— Вот и настало время воров и беглецов, — сказал крестьянин, взнуздывая коня, — пройдет еще час, и ночь будет черна как уголь, тогда до самой зари нас не выследит ни одна ищейка.

— Ты полагаешь, что есть опасность? — спросил Георг, снимая с головы легкий берет. — Не считаешь, что нам следует вооружиться? — И потянулся за своим шлемом.

— Оставьте его, юнкер, — улыбнулся крестьянин, — ночью будет свежо, голову не согреешь металлом, останьтесь в берете. Кроме того, в этой местности они не станут искать герцога, а уж если и наткнутся на нас, то мы вдвоем выстоим против четверых.

Молодой рыцарь, колеблясь, приторочил шлем к седлу, он немножко устыдился своей слабости перед спутником, голову которого защищала только легкая кожаная шапка, а в руках был всего лишь один топор.

Рыцарь вскочил на коня, проводник взялся за повод и пошел вперед, осторожно спускаясь под гору.

— Значит, ты считаешь, — спросил Георг через некоторое время, — рыцари союзников не осмелятся сюда сунуться?

— Скорее всего, нет, — ответил Ханс. — Нойфен — хорошо укрепленный замок, там много воинов. Его скоро осадят союзники, но всякое отребье вроде прислужников стольника не рискнет оказаться вблизи вражеской твердыни.

— Посмотри, как месяц-то сияет, прелесть! — воскликнул юноша, все еще восхищенный красотой гор и таинственными тенями, отбрасываемыми вершинами. — Погляди, как мерцают в лунном свете окна Нойфена!

— Лучше бы его сегодня совсем не было, — возразил проводник, озабоченно озираясь вокруг, — темная ночь была бы безопаснее для нас, не один храбрец погиб из-за месяца. Однако сейчас он стоит как раз над Райзенштайном, где некогда жил великан, стало быть, он скоро зайдет.

— А к чему это ты приплел великана, который якобы жил в Райзенштайне?

— Да, там и вправду очень давно жил великан¹. Как раз на том месте, над которым стоит месяц, расположен замок, его-то и называют Райзенштайн. Он будто висит в воздухе, соседствуя с облаками, а по ночам с луной. Противу замка, на горе, где теперь находится Хайменштайн, есть пещера, вот в ней-то в давние времена и жил великан. У него было ужасно много золота. Великан мог бы жить в счастье и радости, ежели бы, кроме него, здесь были только другие великаны и великанши.

Но однажды пришло ему в голову построить себе замок на манер рыцарского. Скала противу его пещеры показалась великану подходящим фундаментом для будущей постройки. Сам-то великан был плохим строителем, он лишь отковыривал ногтями скалы величиной с дом, ставил их одну на другую, но они то и дело рушились, и замок никак не получался. Тогда великан лег на скалы и прокричал вниз, в долину, сзывая к себе ремесленников: каменщиков, каменотесов, столяров, плотников и слесарей, чтобы те пришли помочь ему за хорошую плату.

Его крик слышали по всей Швабии, от Кохера до Боденского озера, от Неккара до Дуная. Отовсюду стали собираться мастера и подмастерья, чтобы строить великану замок... Однако держись-ка, юнкер, подальше от лунного света. Ваш панцирь блестит, как настоящее серебро, и может приманить ищеек...

Ну а теперь продолжу рассказ про великана.

Весело было смотреть на него, как он сидел перед своей пещерой на солнышке и радостно следил за постройкой. Мастера и подмастерья были необыкновенно проворны. Великан указывал им через долину, как надо строить, а они строили и посмеивались, так как он ничего не смыслил в строительном деле. Наконец здание было готово. Великан вошел в него и, глядя из самого высокого окна вниз, на долину, где собрались мастера и подмас-

¹ Эта легенда изложена Г. Швабом в романсе «Возведение Райзенштайна».

терья, спросил: хорошо ли он смотрится в своем замке, когда выглядывает вот так из окна? И вдруг заметил, что в том окне, несмотря на заверения мастеров, что в замке все до мельчайших пустикавов готово, недостает одного гвоздя.

Мастера, извинившись, сказали, что никто не решился вылезть из окна на воздух, чтобы вбить гвоздь. Великан не хотел слушать никаких оправданий и не выплатил условленного вознаграждения.

Мастеровой люд вновь потянулся в замок, самые забубенные головушки хвастливо клялись всем святым на свете, что вбить гвоздь для них — пару раз плюнуть, но когда подходили к верхнему окну и смотрели из него вниз, в долину, которая лежала глубоко под их ногами, а вокруг теснились одни скалы, то трепетали от ужаса и, покачивая головами, пристыженные, уходили прочь.

Мастера предложили удешевить вознаграждение тому смельчаку, кто вобьет гвоздь, и все-таки долго никто не отзывался.

Наконец вызвался один шустрый подмастерье. Он любил дочь своего хозяина, та его тоже, но отец был человеком жестким, не хотел выдавать свою наследницу за бедняка. Подмастерью же так опостылела жизнь без любимой, что он решил либо заслужить свое сокровище, либо расстаться с жизнью.

Парень подошел к мастеру, отцу своей возлюбленной, и спросил: «Вы отдадите мне свою дочь, если я вобью гвоздь?» Тот, думая отделаться от докучливого влюбленного и уверенный в том, что смельчак неминуемо сорвется в пропасть, ответил: «Да».

Шустрый подмастерье взял все необходимое, набожно помолился и приготовился вылезать в окно, чтобы вбить гвоздь в честь своей возлюбленной.

При виде необыкновенно смелого решения в толпе строителей поднялся такой восторженный крик, что великан проснулся и поинтересовался, в чем дело, а когда узнал, что нашелся человек, готовый вбить гвоздь, подошел поближе, внимательно осмотрел молодого парня и сказал: «Ты, я вижу, молодец, в тебе больше смелости, чем у всех этих болтунов, вместе взятых. Пойдем, я помогу тебе».

С этими словами он взял подмастерье за ворот, поднял его кверху так высоко, что у всех пробежал мороз по коже, высунул его из окна и приказал: «Теперь колоти! Я не дам тебе упасть».

Подмастерье крепко вбил гвоздь в камень, а великан от радости чуть не задушил его в объятьях, потом подвел к мастеру и сказал: «Вот тот, кому принадлежит твоя дочка!»

Затем отправился в свою пещеру, достал оттуда мешок денег и расплатился со строителями до последней копейки. Под конец великан подошел к лихому подмастерью и сказал тому: «Иди домой, добрый молодец, бери свою невесту и переселяйся с нею сюда, в этот замок, потому что он теперь твой».

Все искренне порадовались такому решению, шустрый подмастерье отправился домой и...

— Чу! Ты не слышишь конского ржання? — прервал рассказчика встревоженный Георг. На него вдруг нахлынуло жуткое чувство. Месяц светил еще довольно ярко, тени дубов колыхались, тихо шелестел кустарник. Рыцарю уже несколько раз казалось, что к ним из лесу приближаются какие-то темные фигуры.

Волынщик из Хардта досадливо остановился: молодой человек помешал ему окончить рассказ.

— Мне тоже недавно почудилось, но это всего лишь ветер вздыхает в кронах дубов, ухает филин, шелестит кустарник. Нам бы только на ту сторону перейти, а то здесь открытая местность, да и светло как днем. На той стороне опять начнется лес, там темно, и не будет больше никакой опасности. Дайте вашему гнедому шпоры, поезжайте рысью через долину, а я побегу подле вас.

— Рысью? — переспросил молодой рыцарь. — Ты думаешь, здесь опасно? Сознайся: ты тоже видел темные фигуры, которые крались за нами? Как ты думаешь, это союзники?

— Да-да, — прошептал крестьянин, осматриваясь. — Мне тоже показалось, будто за нами кто-то крадется. Надо поскорей выбраться из этой проклятой лощины, а потом рысью через долину, дальше уже будет безопасно.

Георг освободил меч из ножен и крепче ухватился за поводья. Путники молча спустились в лощину, которая так ярко освещалась месяцем, что Георг смог разглядеть, как его спутник поднял топор на плечо, вытащил откуда-то из-за пазухи нож и засунул его за пояс.

Только они хотели повернуть к выходу из лощины, как услышали из кустов сдержанный голос:

— Это Волынщик из Хардта, а всадник, должно быть, тот, кто нам нужен!

ЛИХТЕНШТАЙН

— Бегите, юнкер, бегите! — воскликнул верный проводник, приготавливая к неминуемой схватке свой топор.

Георг выхватил меч и в тот же миг увидал, что к нему бросились пять человек. Его спутник уже схватился врукопашную с тремя.

Узкая лощина помешала Георгу воспользоваться преимуществами своего положения и увернуться в сторону. Один из нападавших схватил было поводья его коня, но, получив удар мечом по голове, упал, не издав ни звука, на землю. Остальные, разъяренные потерей товарища, напали на Георга с удвоенным ожесточением, требуя, чтобы он сдался. Георг же, раненный в руку и ногу, истекая кровью, отвечал лишь ударами меча.

— Взять живым или мертвым! — закричал один из нападавших. — Если господин герцог не хочет иначе, так пусть будет как будет!

В тот же миг Георг упал, сраженный тяжелым ударом по голове. В смертельном изнеможении он закрыл глаза и почувствовал, как его подняли и понесли... Замутненное сознание слабо воспринимало злобный смех убийц, которые, казалось, ликовали над своею добычей.

Вскоре его опустили на землю, к ним подскочил всадник, спешился и подошел посмотреть, кого они схватили. Георг, собрав последние силы, на мгновение поднял веки. Незнакомый человек, склонившись над ним, рассматривал его лицо.

— Что вы наделали! — раздался досадливый голос незнакомца. — Это вовсе не тот! Вам попался кто-то другой. Убейтесь живее — за нами погоня из Нойфена.

Будучи не в силах вновь поднять утомленные веки, Георг только слушал гневные голоса и шум возникшего спора.

Мало-помалу все стихло.

Тело Георга ныло от ран, коченело от холодной луговой сырости. Успокоительный сон ласково охватил страдальца сладкими грезами о возлюбленной. И он потерял сознание.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Над башнями реют флаги,
Засели союзники там.
Лишь Тюбинген держится стойко
И не сдается врагам.

Г. Шваб¹

Швабский союз с неудержимой силой шаг за шагом проникал во владения Вюртемберга, захватывал его земли и день ото дня становился для него грознее и грознее.

Первым после долгого сопротивления пал Хёлленштайн, хорошо укрепленный замок. Храбрейший человек, Штефан фон Лихов — предводитель горстки воинов — не мог ничего поделать с тысячью союзников, ведомых искусным полководцем Фрондсбергом.

Следующим сдался Геппинген. Не менее храброму Филиппу фон Рехбергу с его воинами удалось даже пробиться сквозь осаду союзников, но преодолеть печальную участь страны ему было не суждено.

Тек, в ту пору мощная твердыня, пал из-за опрометчивости своих защитников.

Чудеса мужества проявил в Мекмюле богатырь, способный в одиночку справиться с двадцатью вражескими солдатами; его железная воля направляла железный кулак. Однако и эти крепкие стены пали, и Гец фон Берлихинген угодил в лапы союзников.

Шорндорф также не выдержал пушек Фрондсберга, а с ним и вся южная часть страны оказалась во власти врага.

Баварский герцог свернул свой лагерь, чтобы всерьез взяться за Штутгарт. К нему навстречу вышла депутация, умоляющая от имени города о пощаде.

Посланники не рискнули оправдывать своего герцога, однако напомнили, что именно он — причина войны, но сейчас его нет,

¹ «Романс о юности герцога Кристофа Вюртембергского».

и война теперь ведется против ни в чем не повинного мальчика, принца Кристофа, и против страны.

К несчастью, просьбы горожан не могли преодолеть упрямства Вильгельма Баварского и алчности союзников. «Ульрих заслужил наказание и понесет его, — последовал ответ, — страна поддерживала герцога, потому и разделит его участь».

Штутгарт, следовательно, должен был открыть свои ворота.

Однако союзу предстояла еще довольно трудная борьба: большая часть верхней, гористой части страны еще держала сторону герцога и, казалось, вовсе не хотела покоряться по первому предложению. Над этой высоко расположенной территорией господствовали две хорошо укрепленные твердыни — Урах и Тюбинген. И пока они держались, окрестные замки равнялись на них.

Но вскоре граждане Ураха перешли на сторону союза, однако гарнизон стоял за герцога. Дело дошло до рукопашного боя, коменданта убили, и, увы, город сдался союзникам.

В середине апреля непоколебимым оставался лишь Тюбинген. Герцог сильно укрепил его. Там были его дети и хранились фамильные сокровища. Замок был доверен цвету дворянства — сорока храбрым, опытным в бою рыцарям. Крепость была хорошо снабжена военными припасами. На нее теперь с надеждой устремились взоры вюртембержцев. В этих стенах могла зародиться победа; начиная отсюда, можно было возвратить назад всю страну, если бы поступило подкрепление со стороны герцога.

Но именно сюда направили союзники все свои силы. Долины Неккара дрожали под копытами их коней, глубокие колеи отмечали путь тяжелых пушек, зарядных ящиков и прочих грозных приспособлений для длительной осады.

Георг фон Штурмфедер не мог видеть суровой поступи войны. Глубокий, освежающий сон, будто волшебные чары, уже много дней держал его в плену. Он спал, словно ребенок у груди матери, лишь изредка приоткрывая глаза, чтобы посмотреть на мир, который был ему еще неведом. Тихие, упоительные грезы давних радостных дней реяли в его воспаленном воображении, кроткая, счастливая улыбка время от времени озаряла бледное лицо и вселяла надежду тем, кто за ним ухаживал.

Мы осмелимся ввести читателя в убогую хижину, которая радужно приняла израненного рыцаря. Наступил девятый день со времени ночного нападения.

Утреннее солнце разноцветными лучами игриво рассыпалось на круглых стеклах крохотного окна и осветило самую большую комнату крестьянского жилья. Убранство помещения, при всей своей бедности, обнаруживало опрятность и дух порядка. В одном углу стоял большой дубовый стол, окруженный с двух сторон деревянной скамьей. Резной, расписанный яркими цветами шкаф, должно быть, прятал праздничные наряды хозяев и холсты домашнего прядения. На стенах по темной обшивке тянулись полки, на которых были расставлены блестящие кувшины, кубки и блюда из олова, глиняная посуда, расписанная поучительными стихами, и всякого рода старинные музыкальные инструменты: цимбалы, свирели и цитра.

Вокруг большой кафельной печи, которая выдавалась далеко вперед, было повешено для просушки чистое белье, оно почти закрывало большую кровать с пологом, помещавшуюся в глубине комнаты.

У кровати сидела красивая миловидная девушка шестнадцати-семнадцати лет. Живописный крестьянский наряд, который отчасти сохранился до наших дней в Швабии, сидел на ней необыкновенно мило. Ее белокурые волосы падали на спину двумя длинными густыми косами, перевитыми пестрыми лентами. Солнце сделало ее личико несколько смугловатым, но не изгладило молодого румянца на круглых щечках. Из-под длинных ресниц весело смотрели ясные голубые глаза. Белые, со множеством складок рукава закрывали красивые руки до кисти, красный корсаж, зашнурованный серебряной цепочкой, с ослепительно-белой, красиво сшитой блузкой плотно облегали ее тело, черная юбочка едва прикрывала колени. К сему следует добавить сияющий белизною фартук и белоснежные чулки с красивыми нарядными подвязками, — словом, наряд был слишком праздничным для невзрачной комнаты в будний день.

Малышка усердно пряла на своей прялке тонкие ровные нити. Иногда она прерывалась, раздвигала полог кровати и украдкой бросала туда любопытный взгляд. Но тут же, будто застигнутая врасплох, задвигала полог, расправляла складки, чтобы никто не догадался, что она прислушивается.

Дверь отворилась, в комнату вошла полная пожилая женщина в таком же наряде, что и девушка, только победнее. Она несла для завтрака дымящуюся миску с супом. Поставив тарелки на

стол, женщина с удивлением оглядела красавицу у постели и чуть не выронила от неожиданности кувшин с яблочным вином.

— Господи боже мой! Что тебе пришло в голову, Бэрбель? — изумилась она, поставив кувшин и подходя к девушке. — С чего это тебе вздумалось в будни надеть новую юбку и корсаж, да еще с серебряной цепочкой?! И чистый фартук, белые чулки ни с того ни с сего вытащила из сундука! Разве тебе неизвестно, что мы — люди бедные, глупая девчонка, и ты — дочь несчастного человека?

Девушка, опустив глаза, терпеливо выслушала расхваливавшую женщину, но лукавая улыбка, пробежавшая по ее лицу, показала, что назидание не достигло цели.

— Да будет вам, — проговорила она на том же швабском наречии, — ну что сделается юбке, если я надену ее в будни? Серебряная цепочка тоже не испортится, а фартук можно выстирать.

— Вот как! Мало у нас уборки и стирки? Да что это нашло на тебя, что ты так вырядилась?

— Что, что! — укоризненно прошептала покрасневшая швабочка. — Неужели вы не знаете, что сегодня восьмой день? А разве отец не говорил, что юнкер, если подействует целебное питье, очнется сегодня? Вот я и подумала...

— Значит, пришло время? — перебила хозяйка более ласковым тоном. — В таком случае ты, безусловно, права. Если он придет в себя и увидит вокруг все такое старое, изношенное, то отцу будет очень неприятно. О, а я выгляжу настоящим пугалом! Поди, Бэрбель, принеси мою черную кофту, красный корсаж и чистый фартук.

— Но, матушка, — возразила малышка, — неужели вы хотите переодеваться здесь? А вдруг юнкер очнется! Идите лучше наверх, а я пока останусь возле него.

— И то правда, доченька, — пробормотала старуха и пошла облекаться в свой праздничный наряд.

Между тем девушка открыла окно, и свежий живительный утренний воздух заполнил комнату. Красавица насыпала корму, и целая ватага голубей и воробьев, воркуя и щебеча, усеяла подоконник и принялась истреблять свой завтрак. Им вторили жаворонки с деревьев, а красавица, освещенная утренним солнцем, радостно улыбаясь, смотрела на своих маленьких нахлебников.

В этот миг полог кровати приподнялся и оттуда выглянула красивая голова молодого человека. Мы сразу узнали его. Это

был Георг. Легкий румянец — первый предвестник возвращающегося здоровья — разлился по его щекам. Взгляд заблестел по-прежнему, рука крепко вцепилась в кровать. Юноша с изумлением осматривался. Эта комната, эта обстановка были ему незнакомы. Все здесь казалось ему необычным. Кто повязал ему повязку вокруг головы? Кто уложил его в эту постель? У него было такое ощущение, что он, отпраздновав с веселыми друзьями, вдруг потерял сознание и проснулся в незнакомом месте.

Георг долго смотрел на красивую девушку у окна. Первое существо, которое он увидел при пробуждении после долгого сна, было таким приятным, что он не мог отвести взгляда от милой сердцу картины. Наконец любопытство в нем победило.

Шорох, который произвел Георг, откидывая подальше полог, отвлек девушку от созерцания. Она обернулась, но ее красивому лицу разлился яркий румянец, приветливые голубые глаза радостно распахнулись навстречу Георгу, а алый улыбавшийся рот, казалось, искал слова, чтобы приветствовать возвращение больного к жизни.

Девушка отошла от окна и стала мелкими шажками приближаться к кровати, еще не до конца поверив в воскрешение полумертвого рыцаря.

Молодой человек, наблюдая за нерешительностью девчушки, первым прервал молчание:

— Скажи мне, где я? Как сюда попал? Чей это дом? Кажется, я долго спал.

— Так вы совсем пришли в себя? — радостно всплеснула руками девушка. — Ах господи! Кто бы мог подумать! Вы теперь выглядите хорошо. А то ведь страшно было на вас смотреть!

— Я был так болен? — принялся расспрашивать Георг, не до конца понимая швабское наречие девушки. — Лежал несколько часов без сознания?

— Ой, что вы говорите! — рассмеялась прелестная швабочка и прикусила зубами кончик косы, чтобы приглушить громкий смех. — Несколько часов, вы спрашиваете? Сегодня ночью будет как раз девять дней, как вас сюда принесли.

Юноша удивленно посмотрел на нее. «Девять дней! Я мог давно уже быть у Марии», — промелькнуло у него в голове.

С этим милым именем память сразу вернулась к нему. Он вспомнил, что расстался со Швабским союзом, решил отправиться в Лихтенштайн, ехал через Альпы потайными тропами.

В памяти всплыло, как он и его проводник были настигнуты врагами и, должно быть, схвачены.

— Скажи мне, девушка, я — в плену?

Швабочка с растущим страхом смотрела, как затуманивается ясный взгляд больного, а черты лица каменеют. Ей подумалось, что к нему возвращается лихорадка, в какой он пребывал много дней, хотя унылый тон его вопроса мог бы и уменьшить ее опасения. Невольно, как бы собираясь позвать на помощь, девушка отступила от кровати.

Ее молчание и страх подтвердили опасения юноши. «Заточен в плену на долгое-долгое время, — с горечью подумал он, — далеко от нее, Марии, без проблеска надежды на то, что она об этом узнает!»

Его тело было настолько слабым, что не могло сопротивляться печальному состоянию души. Слезы невольно потекли из опущенных глаз.

Девушка увидела слезы, и ее страх сменился сочувствием к больному рыцарю. Она приблизилась к нему, села на краешек постели и взяла его за руку.

— Вы здоровы, ваша милость, не надо плакать! Скоро сможете отсюда уехать! — И печально улыбнулась.

— Уехать? — переспросил Георг. — Разве я не в плену?

— Нет, вы не в плену, хотя это и могло случиться, когда мимо проходили союзники. Но мы вас очень хорошо спрятали. Отец строго наказал, чтобы никто не увидел юнкера.

— Отец? Кто этот добрый человек? И где же я, наконец?

— Где? У нас, в Хардте.

— В Хардте! — Один взгляд на заставленные музыкальными инструментами полки убедил Георга в том, что он обязан жизнью и свободой человеку, который, как добрый гений, был послан к нему Марией. — Значит, в Хардте... Твой отец — Волынщик из Хардта, верно?

— Он не любит, когда его так называют. По профессии он — музыкант, но ему гораздо приятнее, когда его зовут просто Ханс.

— А как же я попал сюда?

— Значит, вы ничего не помните? — улыбнулась красавица и опять взяла в рот кончик своей косы.

Потом она рассказала, что отец несколько недель не возвращался домой и вот однажды, было это девять дней назад, ночью, пришел и громким стуком разбудил ее. Она узнала родной голос

и поспешила вниз, чтобы отпереть. Отец был не один, с ним было еще четверо человек, они внесли в дом закрытые плащом носилки. Отец откинул плащ и приказал ей посветить. Она сильно перепугалась: на носилках лежал окровавленный, полумертвый человек. Отец велел истопить печь, а раненого, в котором она по одежде признала знатного господина, тут же перенесли на кровать.

Отец перевязал его раны, наложив повязки с целебными травами, и собственноручно приготовил ему целебное питье, потому что он большой знаток лекарств для людей и животных.

В течение двух дней все они были очень озабочены состоянием больного: юнкер метался в бреду. Но после второй порции питья молодой человек затих, тогда отец и сказал, что на восьмой день раненый проснется бодрым и здоровым. Так оно и случилось.

Молодой человек с растущим удивлением слушал рассказ девушки. Ему порой хотелось ее прервать, когда он не понимал некоторых слов на швабском диалекте и когда она уходила в сторону, описывая целебные растения, из которых хардтский музыкант готовил свои снадобья.

— А твой отец, — спросил Георг, — где же он?

— А мы-то почему знаем, где он? — уклонилась от ответа девушка, но, поразмыслив, прибавила: — Впрочем, вам можно сказать, вы его друг. Отец ушел в Лихтенштайн.

— В Лихтенштайн! — покраснев, воскликнул Георг. — А когда он вернется?

— Уже два дня, как он должен быть дома. Дай бог, чтобы с ним ничего не случилось! Люди говорят, что за ним следят рыцари из союзного войска.

В Лихтенштайн! Ведь туда же ехал и он сам...

Георг почувствовал себя достаточно здоровым, чтобы продолжить свой путь и наверстать потерянные девять дней. Первый вопрос его был о коне, и он окончательно оживился, узнав, что тот в хлеву и чувствует себя хорошо. Поблагодарив милую сиделку за все ее заботы, Георг попросил дать ему куртку и плащ.

Бэрбель уже давно смыла все следы крови с красивого наряда рыцаря и теперь с дружеской хлопотливостью вынимала из резного, разрисованного шкафа одежду молодого человека, где та покоилась подле ее праздничных платьев, улыбаясь, развешивала

вещь за вещь, с удовольствием выслушивая похвалы Георга тому, что она все очень хорошо сделала. Затем Бэрбель, покинув комнату, поспешила объявить своей матери радостную весть, что молодой человек совсем выздоровел. Призналась ли она матушке в том, что целых полчаса проговорила с красивым любезным господином, мы не знаем. Однако сильно в том сомневаемся, так как пожилая полная женщина неоднократно предостерегала свою дочурку от долгих разговоров с молодыми парнями.

ГЛАВА 2

- Так что ж тебя тревожит?
 - О том говорить не пристало...
- Ф. Шиллер¹*

Когда пухлая женщина с Бэрбель спустились, они первым делом зашли не в комнату, где располагался их гость, а отправились на кухню: прежде всего затем, чтобы сварить питательную овсянку для выздоравливающего, но самое главное — в кухне было небольшое оконце, из которого можно было понаблюдать за молодым человеком. К нему и подошла мать, а Бэрбель за ее спиной приподнялась на цыпочки и стала смотреть из-за плеча матушки. Сердце ее впервые за семнадцать лет неудержимо колотилось — она еще никогда не видела такого красивого юноши. Будучи без сознания, он часто вызывал у нее слезы жалости, она неотрывно смотрела на искаженные борьбой со смертью черты его лица и радовалась первым проблескам сознания. Но сейчас ощущения были другого рода. В глазах юноши разгорелся огонь, словно он хотел до земли поклониться Бэрбель за свое спасение. Волосы больше не падали беспорядочными прядями на лоб рыцаря, а были причесаны вверх, щеки окрасил румянец, а рот запылал, как вишни в День Петра и Павла. Расшитая шелком куртка с выпущенным поверх белоснежным воротником рубашки красиво оттеняли поздоровевшее лицо. Однако девушка никак не могла догадаться, почему рыцарь все время смотрит на светло-голубую перевязь, будто та заключает в себе тайные письма, которые он хотел бы расшифровать. Ей даже показалось, что он

¹ «Орлеанская дева».

прижимает перевязь к сердцу, словно испытывая благоговение, как перед какой-либо реликвией.

Пухлая матрона между тем закончила наблюдения.

— Он красив как принц, — заявила она, помешивая овсянку. — А как элегантна его куртка, у важных господ из Штутгарта и то такой нет. А что это у него в руках? Он все туда смотрит. Может, обнаружил пятнышко крови и из-за этого рассердился?

— Да ну, нет, конечно! Знаешь, что я думаю? У него так загораются глаза, что я думаю — это подарок его девушки.

— Что ты знаешь про девушек! — усмехнулась мать от слов дочери, но быстро взяла себя в руки и строго изрекла: — Такому ребенку, как ты, рано еще об этом думать! Отойди-ка от окна и достань мне горшочек. Господин, верно, привык хорошо питаться, надо положить ему в кашу побольше смальца.

Бэрбель неохотно покинула свой пост, не посмев возразить матушке, но, очевидно, та была на этот раз не права. Разве она не ходит вот уже год на деревенские посиделки, где собираются девушки с прялками и за работой рассказывают друг дружке о любви, о влюбленных парочках и поют любовные песни? Разве не имеют некоторые из подружек, старше ее лишь на несколько месяцев, всем известных возлюбленных, и лишь ей нельзя о том говорить и думать! Нет, со стороны матушки несправедливо пренебрегать размышлениями своей дочурки на сей счет! Но запрет ведь всегда ведет к нарушениям, и Бэрбель решила не успокаиваться до тех пор, пока не доищется до истинной причины того, почему у рыцаря «загораются глаза», когда он смотрит на перевязь.

Завтрак для молодого человека был готов, не хватало лишь бокала доброго старого вина. Но и вино нашлось — Волынщик из Хардта хоть и был бедным, но не настолько, чтобы не иметь в подвале бочоночек приличного винца для знаменательного случая. Дочка принесла хлеб и вино из кладовки, и хозяйка при полном параде внесла горшок с овсянкой в комнату, за нею вошла красавица-дочка. Молодому человеку стоило немалого труда положить конец множеству поклонов вежливой музыкантши. В молодости та служила в рыцарском замке Нойфен и хорошо знала, что такое учтивое обращение с господами, потому и остановилась с дымящейся кашей на пороге комнаты и стояла там, пока юнкер не приказал ей подойти. Покрасневшая девушка держалась за

спиной матери и тоже с удовольствием сделала несколько кник-сенов, хотя до того более получаса болтала с юнкером.

Затем девушка покрыла стол чистой скатертью, поставила на почетное место в углу, под распятием, овсянку и вино, воткнула в кашу затейливо вырезанную ложку и с серьезным видом наблюдала за ней. Ложка стояла торчком — хороший признак: каша удалась на славу.

Молодой человек уселся за стол, присели со своим супом и мать с дочерью, однако на почтительном расстоянии, поставив между собою и знатным гостем солонку, — так требовал обычай старого доброго времени.

У Георга была хорошая возможность, не пренебрегая угощением, подробно рассмотреть обеих женщин. Понятно, что домашнее хозяйство здесь доверено статной и властной женщине, способной держать любого недостаточно храброго мужчину под каблуком. Дочка музыканта, с красивой головкой и прелестными глазами, показалась ему очень милой девушкой, которая могла бы занять в его сердце не последнее место, кабы там не поселилась другая и если бы между ними не было пропасти, неизбежной между отпрыском старинного дворянского рода и дочерью простого сельского музыканта. Тем не менее он с удовольствием поглядывал на чистое невинное личико юной красавицы. Если бы дородная женщина не была так занята своим супом, она бы заметила вспыхивающий румянец на щеках ее дочери, когда та ненароком встречалась со взглядом молодого рыцаря.

«Когда я ем, я глух и нем. Миска пуста — и речь полна». Справедливость поговорки подтвердилась и здесь, как только была убрана со стола скатерть. Георга волновали больше всего две вещи: он хотел услышать, когда вернется из Лихтенштайна хозяин дома, чтобы узнать из первых рук новости о любимой и сразу же поспешить к ней, и еще хотелось разведать, где находится в данный момент союзное войско. В отношении первого вопроса юноша не получил новых сведений, ему повторили то, что раньше говорила девушка: отца нет уже шесть дней, а он обещал вернуться на пятый день, и они ждут его с минуты на минуту. Дородная женщина залилась слезами, жалуясь юнкеру, что с начала войны ее муж и часа дома не просидел, да и в прежние времена он тоже отличался беспокойным нравом. Люди теперь шепчутся, дескать, он ввергнет свою семью в беду.

Георг попытался найти слова утешения, чтобы прекратить жалобный плач, но это ему удалось только тогда, когда он повторил свой вопрос о союзниках.

— Ах, господин, — всхлипнула хозяйка, — просто ужас — вся южная часть страны уже в их руках, а теперь они идут на Тюбинген.

— Как?! Стало быть, все крепости пали? — удивился Георг. — Хёлленштайн, Шорндорф, Геппинген, Тек, Урах? Уже в их руках?

— Все, все, один мужчина из Шорндорфа рассказывал, что они сдались. А ведь до Тека и Ураха всего четыре-пять часов хода.

И она рассказала, что третьего апреля союзники подошли к замку Тек. Часть солдат надела на городские ворота и стала требовать сдачи крепости. Защитники ее вступили в переговоры, и все сбежались туда. Тем временем оставшаяся часть нападающих проникла через ворота с противоположной стороны и захватила крепость. В Урахе было четыреста герцогских пехотинцев, они не хотели оставлять горожан в замке, когда к ним приблизился враг. На рыночной площади разразилась ссора между горожанами и воинами герцога, которая перешла в потасовку, а потом и в настоящее побоище. В это время в командира пехотинцев угодил вражеский снаряд. Город был сдан врагу.

— И неудивительно, — заключила хозяйка свой рассказ. — У них ведь пушки да бомбарды какие-то длинные, а ядра, которыми они стреляют, ну право же, больше моей головы, так что против них не устоит ни одна башня.

По этому рассказу Георг мог заключить, что путешествие из Хардта в Лихтенштайн будет не менее опасным, чем недавняя его поездка через горы, так как ему придется пересечь боевую линию как раз между Урахом и Тюбингеном. Но возможно, союзники уже покинули Урах? Осада Тюбингена требовала большого количества людей, и Георг мог надеяться на то, что на пути не встретится ни один сторожевой пост, достаточно мощный, чтобы задержать его.

С нетерпением он стал поджидать возвращения своего проводника. Рана на голове поджила, она была неглубокой: перья берет и густые волосы уменьшили силу удара, однако не настолько, чтобы он не потерял надолго сознания. Прочие раны на руках и ногах также зажили. Единственным последствием несчастной ночи была слабость, которую Георг приписывал потере

крови, долгому лежанию и лихорадке. Однако и слабость потихоньку покидала его: бодрость духа и неудержимая мечта оказаться в желанном месте прогоняли непрощеную гостью.

Возродившееся мужество и юношеское любопытство сделали его терпеливым в эти долгие часы, к тому же веселая дочь музыканта заставляла позабыть скуку ожидания. Он имел возможность изучить быт и повседневную жизнь настоящего швабского крестьянского хозяйства. Ему казались забавными их обычаи и язык. Франконцы, живущие по соседству с Вюртембергом, от них здорово отличались. Георг считал, что его крестьяне были хитрее, изворотливее, в каком-то смысле даже грубее здешних. Неизменная честность швабов, таящаяся в глазах и речах, да и во всем их существе, неутомимая работоспособность, повседневная чистоплотность, вызывающая уважение при всей видимости бедности, — все говорило о том, что эти люди духовно богаче тех, кого он знал в своих краях, даже если они и проявляли в некоторых вещах меньше смекалки.

Удивлялся Георг также и доверительной разговорчивости девушки. Дородная мама могла сколько угодно ее бранить, напоминая о высоком происхождении гостя, но та не оставляла попыток развлечь его, претворяя свой тайный план разузнать, что у него связано со столь почитаемой перевязью. У нее уже были кое-какие догадки. Когда юнкер еще пребывал в бессознательном состоянии, она как-то ночью составила компанию отцу, сидящему у постели больного. Сидела она, сидела да и ненароком заснула за работой. Была уже ночь, должно быть часов десять, когда ее разбудил шум в комнате. Девушка увидала незнакомого мужчину, разговаривавшего с отцом. Рассмотреть его лицо не удалось — голова у незнакомца была прикрыта капюшоном, но она догадалась, что то был слуга рыцаря Лихтенштайна, который часто тайными тропами пробирался к Вольтышу из Хардта; при его появлении им с матушкой приходилось удаляться.

Любопытствуя, она притворилась спящей, в надежде на то, что отец не станет ее будить и высылать из комнаты. Незнакомец рассказывал о молодой госпоже, опечаленной каким-то известием. Именно она умоляла его сходить в Хардт и принести ей новые сообщения, потом поклялась, что, если он не доставит ей хороших вестей, она все расскажет отцу и сама придет сюда ухаживать за раненым. Вот что шепотом передал посланец из Лих-

тенштайна. Отец, пожалев барышню, описал посланцу состояние больного и пообещал ему, как только дело пойдет на поправку, самому к ним наведаться и сообщить утешительные известия. Затем незнакомец отрезал мягкий локон с головы больного, аккуратно завернул его в платок и спрятал под куртку, после чего они с отцом покинули комнату, и Бэрбель услышала, как ночной гость отъезжает.

Несмотря на многочисленные заботы, ночное происшествие не выходило из головы девушки, и сейчас, после того что она увидела в кухонное окошечко, оно вновь всплыло в ее памяти. Бэрбель знала, что у рыцаря Лихтенштайна есть дочь, сестра отца была ее кормилицей. Должно быть, как раз барышня-то и послала слугу осведомиться о здоровье раненого и даже хотела прибыть сюда сама, чтобы ухаживать за ним.

Легенды и предания о влюбленных королевских дочках, о плененных раненых рыцарях, которых вызволяли прекрасные девы, так часто рассказываемые на деревенских посиделках при свечах, за прялками, тут же припомнились Бэрбель. Она, конечно, не знала, какую может быть любовь у знатных господ, но подумала, что и благородной барышне, подарившей свое сердце прекрасному юноше, так же тяжело узнать о несчастье, как и простой девушке из Хардта, влюбленной в парня из Оберензингена или Кенгена. Ей стало жаль бедняжку, страдавшую в одиночестве вдали, на высоком утесе, ведь та ничего не знала о том, жив ли ее возлюбленный, и не имела возможности ему помочь.

Бэрбель припомнила песню, которую часто пели девушки на посиделках:

Когда я в постели больной,
Не танцевать же любимой одной!
А коли сойду я в могилу,
Кто поцелует милую?

Слезы выступали на глазах доброй девушки, когда она думала о том, что юнкер может уйти из жизни и его возлюбленная будет страдать, хотя она, конечно, красива и, должно быть, богата. А может, юнкеру и того хуже? — приходило на ум доброй швабочке. Отец ее послал барышне весть о возлюбленном, а он сам, бедняжка, уже много дней не слышал ни словечка о любимой, потому что долгое время был на грани жизни и смерти, и теперь,

очнувшись, тоже ничего не знает, потому так трогательно смотрит на перевязь и прижимает ее то к губам, то к сердцу. И Бэрбель решила рассказать ему о том, что было той ночью, — быть может, это его хоть немного утешит.

Георг подметил, что веселое выражение лица у девушки за пряткой время от времени меняется, становится необычно серьезным; она над чем-то задумывается, глаза ее порою увлажняются.

— Что с тобою, девочка? — спросил он ее, когда мать вышла из комнаты. — Почему ты бываешь такой серьезной и на твою пряжу льются слезы?

— А разве вы веселы, юнкер? — Бэрбель посмотрела ему прямо в глаза. — Мне тоже кажется, что из ваших глаз катятся слезы, прямо на перевязь. Наверное, это подарок вашей любимой и вам тяжело оттого, что ее нет с вами?

Должно быть, она попала в цель, так как юноша от ее слов покраснел.

— Ты права, — сказал он, улыбаясь. — Но не скажу тебе, что уж так я печален, ведь скоро ее снова увижу.

— О, какая это будет радость в Лихтенштайне! — плутовато рассмеялась Бэрбель.

Георг удивился: неужели ее отец раскрыл тайну их любви?

— В Лихтенштайне? — переспросил он. — Что ты знаешь обо мне и о Лихтенштайне?

— Ах, я желаю барышне счастья. Мне говорили, что она очень переживает по поводу вашей болезни.

— Переживает, ты говоришь! — Георг вскочил и подбежал к девушке. — Значит, она знает о моей болезни? О, расскажи же мне о Марии! Ты ее знаешь? Что тебе говорил о ней отец?

— Отец не проронил ни словечка. Я бы ничего так и не знала про барышню из Лихтенштайна, если бы моя тетушка не была ее кормилицей. Не подумайте про меня плохого, но мне удалось кое-что подслушать. Знаете, дело было так...

И она рассказала юнкеру, как узнала про его тайну, и сообщила, что отец, скорее всего, отправился в Лихтенштайн, чтобы сообщить там о его выздоровлении. Георг был очень взволнован рассказом девушки, до сего дня он полагал, что Мария получит известие о его несчастье одновременно с сообщением о его поправке, теперь же стало ясно, что она провела много дней в неизвестности, не ведая, спасен ли он, увидятся ли они снова. Он знал,

каким верным было сердце любимой, и мог себе представить ее беспокойство! Да-да, собственное несчастье показалось ему ничтожным в сравнении со страданиями верной подруги! Как она переживала в Ульме, как тяжело переносила расставание, и лишь только ее сердце вздохнуло спокойнее от известия, что он покинул знамена союзников, как пришла ужасная весть о смертельной ране! И все это она должна вынести на глазах отца, в одиночку нести свою печальную ношу, не имея ни единой души, способной утешить, разделить ее слезы и печали. Он понял, что надо спешить в Лихтенштайн. Его нетерпение вылилось в недовольство отсутствием предприимчивого хозяина, который в эти драгоценные часы пропадал неизвестно где. Девушка как будто догадалась о мыслях рыцаря.

— Один вы не найдете туда дорогу. Кроме того, вы же не вюртембержец — это заметно по вашей речи — и можете легко заблудиться. Знаете что, может, я побегу навстречу отцу и потоплю его?

— Пойдешь к нему навстречу? — проговорил Георг, тронутый добротой девушки. — Ты знаешь, что он где-то поблизости? Может, он далеко-далеко, а через час уже и ночь наступит.

— Ну и что, что ночь? Я туда дорогу и на ощупь знаю. С удовольствием побегу в Лихтенштайн. Потом и вы туда придете...

Покраснев, она опустила глаза; ее взволновала возможность стать гонцом рыцарской любви, соприкосновение с сокровенными чувствами, каких она еще в своей жизни не испытывала.

— Если ты так добра и собираешься ради меня идти в Лихтенштайн, то с моей стороны было бы глупо здесь оставаться и ждать возвращения твоего отца. Я сейчас быстро оседлаю коня и буду ехать за тобой. Ты покажешь мне дорогу до того места, где я уже не заблужусь.

Девчушка опустила глаза и поиграла бантиком на своей косе.

— Но ведь через час наступит ночь, — прошептала она едва слышно.

— Ох, ну кому помешает, что я с криком петуха появлюсь в Лихтенштайне? — ответил Георг. — Ты ведь сама собиралась отправиться в путь, несмотря на ночь и туман.

— Я-то да, — сопротивлялась Бэрбель, — но для вас, вашего здоровья — это плохо. Вы ведь еще не до конца выздоровели, шесть часов пути при ночном холоде могут быть опасными.

— Оставь, это несущественно, — воскликнул Георг, — рана уже затянулась, я здоров, как прежде. Собирайся, малышка, мы тотчас поедem. Иду снаряжать коня.

И он схватил с гвоздя на стене уздечку и пошел к двери.

— Господин! Ваша милость! — испуганно вскричала девушка. — Останьтесь! Будет не совсем прилично то, что мы ночью идем куда-то вдвоем. Люди в Хардте удивятся и будут говорить дурное, если я... Дождемся утра, и я провожу вас до Пфулингена.

Георг счел серьезным предостережение доброй девчушки и молча повесил уздечку на стену. Конечно, лучше, чтобы жители Хардта не подумали ничего плохого. Придется покориться судьбе!

Он решил подождать музыканта еще вечер и целую ночь, а коли тот не придет, рано утром сесть на коня и в сопровождении его дочери отправиться в Лихтенштайн.

ГЛАВА 3

Подули весенние ветры,
Проникли во все уголки.
О, не печалься, бедное сердце, —
Все у тебя впереди...

Л. Уланд¹

Однако музыкант не вернулся и ночью, и Георг, не сдерживая больше тоски по любимой, лишь рассвело, взнуздал своего коня. Дородная женщина не без борьбы уступила Бэрбель и позволила ей сопровождать юнкера. Она догадалась, что к такому решению привели ее дочь долгие зимние посиделки с подружками, и потому первоначально воспротивилась ее просьбе. Но, поразмыслив над тем, сколько внимания уделял ее супруг юному рыцарю: принес его в дом, как сына, выхаживал во время болезни, — посчитала, что следует оказать ему последнюю услугу, поставив лишь условием, что Бэрбель выйдет на четверть часа раньше и подождет его у межевого камня.

Георг трогательно распрощался со статной хозяйкой, которая в его честь вновь обрядилась в воскресную одежду.

¹ «Весенние грезы».

Перед прощанием он украдкой положил в резной шкаф золотой гульден — в то время приличную сумму для хозяев, да и весомую для кошелька самого рыцаря. Волынщик из Хардта ничего не должен был знать про это. Лучше было бы, чтобы гульден нашла не сама хозяйка, а в худшем случае — найдя, не сказала бы про него мужу, а то бы тот обиделся.

Насколько известно, спустя какое-то время жена музыканта появилась в церкви в новехонькой, с иголки, юбке, удивив тем самым всех ткачей в околотке, а ее дочка на первом же приходском празднике танцевала в прекрасном корсаже из тонкого сукна, с золотыми отворотами, которого раньше у нее никто не видел. И она всякий раз краснела, когда девушки осматривали корсаж и хвалили его. Сколько нарядов можно было занять всего-то на один золотой гульден в старые добрые времена!

Георг нашел свою спутницу сидящей на указанном межевом камне. Завидев его, она тут же к нему подбежала и пошла рядом. Девчушка показалась сегодня рыцарю красивой, как никогда.

Апрельское солнышко уже подрумянило ее щеки, глаза у нее радостно сияли. Одежда девушки была рассчитана на долгий путь: короткая юбочка не мешала быстрой ходьбе. Она повесила на руку корзинку, как бы собираясь в город на рынок, но в той не было, как обычно, овощей или фруктов, лежал лишь большой платок на случай дождя или внезапной перемены апрельской погоды. Когда Бэрбель, бодрая и нарядная, шагала рядом с ним, Георг про себя подумал, что из девушки вырастет очень хорошая, заботливая жена, которая осчастливит того парня, кому достанется сокровище Волынщика из Хардта.

Она, бесспорно, многое унаследовала от живого характера своего батюшки. И, так же как и он, все время их путешествия по Альпам обращала внимание рыцаря на красивые виды в долине либо же в горах, охотно, без лишних просьб делилась историями, связанными с замками, скалами, ручьями.

Девушка постоянно выбирала побочные тропки и избегала деревень, лишь два-три раза они проходили мимо жилищ и часа через два остановились передохнуть. Наконец после четырех остановок она указала вдалеке, примерно в получасе ходьбы, небольшой городок. Дорога здесь расходилась, тропка слева вела к деревеньке. Девушка остановилась на развилке и произнесла:

— Впереди вы видите Пфулинген. Там каждый ребенок покажет вам дорогу на Лихтенштайн.

— Как! Ты собираешься меня покинуть? — непроизвольно вырвалось у Георга, который уже свыкся с живыми веселыми рассказами своей спутницы. — Почему ты не пойдешь со мною хотя бы до Пфулингена? Мы бы с тобой перекусили на постоялом дворе. Не отправишься же ты сразу обратно домой?

Девушка постаралась выглядеть веселой и даже пыталась шутить, но грустные глаза ее выдавали желание побыть еще какое-то время с рыцарем, чего она, может быть, и сама не осознавала.

— Здесь мы попросае́мся, милостивый господин. — Бэрбель грустно вздохнула. — Мне надо уходить, я бы и дальше с вами пошла, но матушка не разрешила. Там, в деревне на горе, живет моя тетушка. У нее я и переночую. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица! Передайте привет батюшке, — добавила она, слегка улыбаясь и быстро смахнув слезу, — а также молодой госпоже, которая вас любит.

— Благодарю тебя, Бэрбель. — Георг, не сходя с лошади, протянул девушке руку. — Я никогда не забуду твою заботу. Придешь домой, загляни в резной шкаф, там ты кое-что обнаружишь. Быть может, этого хватит на новый корсаж или воскресную юбку. А когда ты их наденешь и твой парень тебя поцелует, вспомни про Георга Штурмфедера!

Молодой человек прищипил коня и помчался по зеленой равнине к городку. Через сотню шагов он обернулся, чтобы посмотреть на дочку музыканта. Она стояла там же, где он с нею расстался, в коротенькой юбчонке, белых чулочках, красном корсаже, с длинной белокурой косой. Бэрбель держала у глаз руку, и Георг не был уверен: то ли она защищалась от солнца, то ли смахивала слезы, которые заблестели на ее ресницах, когда он попрощался.

Вскоре, доскакав до ворот небольшого городка, он почувствовал усталость и сильную жажду, потому и спросил прохожего о хорошем постоялом дворе.

Ему указали на маленький невзрачный дом, над дверью которого висело копьё и затейливая вывеска со скачущим оленем. Маленький босоногий мальчик отвел коня на конюшню, а его самого в дверях приветливо встретила молодая женщина и повела в общий зал.

Это была обширная мрачная комната, вдоль стен которой тянулись тяжелые дубовые столы и скамьи. Масса кувшинов

и кубков, сияющих чистотой, свидетельствовала, что постоялый двор под знаком оленя — часто посещаемое место. И вправду, был еще только полдень, а за столами пили вино множество людей. Они с любопытством уставились на статного молодого рыцаря, когда тот, сопровождаемый хозяйкой, шел мимо них к почетному месту — маленькому шестиугольному, как фонарь, застекленному эркеру. Однако гости лишь на мгновение отвлеклись появлением знатного рыцаря от оживленного разговора, после чего, как степенные бюргеры этого беспокойного 1519 года, продолжали болтать о войне и мире, битвах и осадах.

Между тем миловидной хозяйке, кажется, понравился новый посетитель. Она приветливо смотрела, как тот усаживается, а когда принесла ему кувшин старого доброго вина и поставила на стол серебряный кубок, с ее чуть великоватого рта уже не сходила ласковая улыбка. Женщина пообещала ему накрыть стол и зажарить молодого петушка, если он немножко подождет, а пока что пусть попробует их самого лучшего вина.

Эркер в форме фонаря был ступеньки на две выше общего зала, поэтому Георг беспрепятственно мог оглядеть все столы и пьющих посетителей.

Компания за большим дубовым столом состояла из десяти-двенадцати человек. На первый взгляд они ничем не отличались друг от друга: длинные бороды, короткие волосы на голове, круглые шапки, темные куртки. Но при ближайшем рассмотрении трое из компании все же выделялись. Один из них располагался ближе всех к Георгу. Это был маленький, толстенький приветливый человек. Волосы его, длинные на затылке, были тщательно расчесаны, да и темная борода тоже казалась ухоженной. Плащ из тонкого черного сукна, остроконечная шляпа с широкими полями, висящие позади него на крючке, выдавали человека с положением, возможно, даже городского советника. Скорее всего, он пил вино другого сорта, нежели остальные, потягивал его медленно, без спешки, и, когда оно кончалось, подавал знак, чтобы ему принесли новое, делая это с важностью и большим достоинством, нежели его собутыльники. Толстяк слушал собеседников с таким видом, будто ему известно еще кое-что помимо рассказанного, и обладал привилегией уцепиться юную служаночку за щечку либо погладить ее по круглой руке, когда она приносила ему новый кувшин.

Другой человек, на противоположном конце стола, отличался от своего окружения не меньше толстяка. Все в нем было длинным и тощим: лицо, начиная со лба до выдающегося вперед подбородка, пальцы, которыми он на столе выбивал такт насвистываемой себе под нос песенки, напоминающие паучьи лапки, а когда Георг случайно наклонился, то, к своему изумлению, увидел тонкие длиннющие ноги худого мужчины, вытянутые чуть ли не до конца стола. Вид у этого человека был чрезвычайно заносчивый. Казалось, что он из тех, кто часто общается со знатными господами, переняв, хоть и не до конца, их манеры и речь. Кто бы из собеседников что ни рассказывал, тощий господин всем возражал. Длинный, должно быть, жил не в этом городке, потому что спросил хозяйку про свою лошадь. По мнению Георга, скорее всего, это был странствующий лекарь, который врачевал людей.

Третий человек, выделяющийся из общей массы, был какой-то оборванный. Все в нем — неугомонная подвижность и хитрость, сквозящая во всем его существе, — отличало от приятной любезности и степенности соседей по столу — добродушных бюргеров. Один глаз у непоседы прикрывал огромный пластырь, другой же смотрел открыто и храбро. Длинная дорожная палка с железным острием, лежащая подле него на полу, кожа, нашитая на спине, чтобы удобнее было носить корзину либо ящик, позволяли заключить, что он был нарочным или же бродячим торговцем, который приносит на рынки во время престольных праздников хозяйкам, наряду с удивительными новостями из чужих краев, эффективные средства от сглаза коров, а девушкам — красивые пестрые ленты и платки.

Эти трое в основном и вели разговор, изредка прерываемый возгласами удивления почтенных бюргеров да хлопаньем крышек кувшинов.

Предмет разговора чрезвычайно заинтересовал Георга. Собутельники беседовали о действиях союзников в нижней части Вюртемберга. Торговец с кожаной спиной рассказал, что Мекмюль, где заперся Гец фон Берлихинген, штурмом взят союзниками, а храбрый воин ими пленен.

Городской советник при этом сообщении хитровато усмехнулся и сделал изрядный глоток из своего бокала. А вот худой не дал договорить Кожаной Спине, он отбил своими длинными

пальцами какую-то приятную мелодию и произнес глухим голосом:

— Наглая ложь, приятель! Во-первых, Берлихинген знает толк в черной магии, а во-вторых, в некоторых битвах он один своею железной рукой сразил до двухсот человек. И такой герой даст себя пленить?

— С вашего разрешения, — перебил его Толстяк, — вы не правы. Гец действительно в плену, в крепости Хайльброн. Но он не был разбит, а его крепость не была разрушена. Союзники пообещали ему и его сподвижникам свободный проход из замка. Но только Гец вышел из ворот, как они на него напали, поубивали его слуг, а самого взяли в плен. Так что союз в данном случае поступил постыдно.

— Попрошу вас, господин, — возмутился Длинный, — не говорить так о руководстве союзников! Я лично знаю этих господ, например, стольник Вальдбург — очень уважаемый человек, к тому же мой друг.

Толстяк, казалось, хотел что-то возразить, однако проглотил чуть не слетевшие с языка слова вместе с глотком вина. Добропорядочные бюргеры издали возгласы удивления при упоминании столь высокого знакомства и почтительно приподняли шапки.

— Ну, если вы так хорошо известны у союзников, — проговорил с непоколебимым упрямством Оборванец, — то имеете, конечно, самые свежие известия о Тюбингене. Как там дела?

— Город на ладан дышит. Был я там недавно и видел грандиозные сооружения для осады.

— О-о-о! Вот как! — зашептали бюргеры и сдвинулись, ожидая подробностей.

Тоший мужчина откинулся на спинку стула, сунул палец за пояс и еще дальше вытянул ноги.

— Да-да, друзья, там плохи дела, — проговорил он, — все окрестные селения сильно пострадали, фруктовые деревья вырублены, по городу и замку беспрерывно стреляют. Город уже сдался. А в замке засели сорок рыцарей, но они не смогут долго удерживать пару крепостных стен!

— Что? Пару стен! — возмутился Толстяк и с треском поставил свой бокал. — Кто видел замок в Тюбингене, не станет говорить о двух стенах! Разве со стороны горы там нет глубоких рвов.

которые воспрепятствуют проникновению союзников с помощью лестниц? А какие там толстые, непробиваемые стены и башни, из которых уж точно не дадут разыграться пушкам!

— Повержены! Разрушены! — вскричал Длинный таким скрежещуще-глухим голосом, что испуганным бюргерам послышался грохот павших крепостных стен. — Новую башню, которую Ульрих только что возвел, Фрондсберг так расстрелял, что от нее ничего не осталось.

— Но ведь еще не все кончено, — встрял Оборванец. — Рыцари из замка по-прежнему делают вылазки и уже не одного союзника уложили отдыхать на берегу Неккара. А Фрондсбергу сбили с головы шляпу, так что у него теперь в ушах трещит.

— О! Вы плохо информированы, — надменно возразил ему Длинный. — Вылазки? На это у осаждающих имеется легкая кавалерия. Они носятся как черти. Это ведь греки из Албании, кажется из Эпирота. Их полковник — Георг Самарес — точно не пропустит из крепости ни одну собаку.

— Ну, с ним-то уже покончено, — высокомерно усмехнулся Торговец. — Собаки, как вы их называете, все-таки выскочили из крепости, хотя греки и караулили все пробоины, и так их укусили, а предводителя поймали и...

— Поймали? Самареса? — испуганно вскричал Длинный. — Приятель, да ты, верно, не расслышал!

— Ошибаетесь, — ответил тот абсолютно спокойно, — я слышал звон колоколов, его похоронили в церкви Святого Йоргена.

Бюргеры внимательно посмотрели на длинного чужака, надеясь уловить, как тот прореагирует на это известие. А он так нахмурил свои кустистые брови, что и глаз не видно стало, потерял свою тошенькую бородку клинышком, потом раздраженно ударил костлявым кулаком по столу и заявил:

— Даже если они его на куски разрубили, этого грека, им уже ничто не поможет! Замок все равно рухнет, никто его не спасет, за ним падет и Тюбинген, тут и конец всему Вюртембергу. Ульрих уберется из страны, а высокочтимые господа, мои покровители, станут хозяевами!

— А кто может поручиться, что он вновь не вернется? И тогда... — возразил ему умный Толстяк и закрыл крышку своего кувшина.

— Вернется? — возопил Длинный. — Этот нищий! Кто осмеливается утверждать подобное? А?

— Нас это не касается, — робко забормотали бюргеры, — мы мирные люди, и нам все равно, кто у нас правитель, лишь бы налоги не были такими высокими. На постоялом дворе ведь можно обо всем разговаривать!

Так говорили они, и, казалось, Длинный остался доволен, что ему никто не возражает. Он оглядел каждого за столом испытующим взглядом и растянул рот в подобии дружеской улыбки.

— Это всего лишь напоминание о том, что мы и впредь не нуждаемся в герцоге. Лично для меня он вроде ядовитой серы. Потому мне и нравится «Отче наш», о, я вам сейчас спою!

Гости мрачно уставились в стол, им явно не хотелось слушать издевательскую песню о своем несчастном герцоге.

А Длинный промочил горло изрядным глотком вина и запел неприятным хриплым голосом:

Отче наш!
Ройтлинген уже наш!
Пока Ты есть на небесах,
Эслинген не обратится в прах.
Да святится имя Твое,
Хайльброн и Вайль получают свое.
Приидет царствие Твое,
В Ульме схватятся за копье.
Хлеб наш насущный,
Благословен всяк суший.
Дажь нам днесь,
Придет благая весть —
С врагов мы собьем спесь.
Отпусти наши грехи,
Императора благослови.
Не будет нам большего счастья.
Сохрани нас от несчастья!
Амины!

Длинный закончил песню, которая, увы, не имела успеха, на печальной дрожащей ноте, бюргеры украдкой переглянулись и в ответ на жалостливое пение лишь пожали плечами. Сам же певец гордо оглядел слушателей, надеясь прочитать на их лицах одобрение и вызвать рукоплескания.

— Вы спели веселую песню, — нарушил молчание Оборванец. — Я, конечно, не могу так красиво петь, но знаю одну новую песню и хочу ее подарить вашей милости.

Худой криво усмехнулся и бросил косой взгляд на Торговца, но горожане кивнули тому, и он запел приятным тенорком, изредка поглядывая на Длинного, как бы проверяя, какое впечатление производит.

О Вюртемберг мой милый!
Где ж мощь твоя и сила?
Под чьей пятой ты стонешь
И кто твой господин?

— Ткач из Аугсбурга,
Торговец Равенспурга,
Брадобрей из Ульма,
Швабский солевар,

Скорняк из Бибераха,
Ремесленник Ансдаха,
Швейцарцев не забудь,
Им хочется от пирога немного отщипнуть...

Громкое рукоплескание и смех прервали певца. Гости повскакивали из-за стола, пожали руку певца и похвалили его песню.

Тощий не проронил ни слова, лишь мрачным взглядом обвел компанию; было не понятно — то ли он завидовал успеху Оборванца, то ли посчитал оскорбительным содержание его песни. Толстяк же с необыкновенно умным видом повторял про себя каждое слово певца и одобрительно кивал ему.

А певец продолжал:

И в том «букете» есть высокий чин —
Бумазейного ткача сын...

— Черт вас побери, собачье отродье! — заорал Длинный, услышав последние слова. — Знаю, кого вы имеете в виду под сыном бумазейного ткача! Моего благодетеля, господина фон Фуггера! Какая клевета! Какой позор! — И сопровождал свои слова угрожающей миной.

Но торговец с кожаной спиной не дал себя запутать, он вытянул свой необычайно крепкий кулак под нос Длинного и громко произнес:

— Про клевету лучше помолчите, господин Кальмус! Мы прекрасно знаем, что вы за человек. И если вы сейчас же не заткнетесь, я повыдергаю ваши загибающие руки!

Тощий встал и выразил сожаление, что оказался в неподходящем для него обществе, затем рассчитался за выпитое вино и с важным видом покинул зал.

ГЛАВА 4

Бедя, бедя! Я стал совсем другим.
Как в душу мне закралось подозрение?
Конец надеждам, вере в жизнь, в людей —
Все ложь, пред чем я так благоговел!

Ф. Шиллер¹

Когда тощий посетитель покинул комнату, завсегдатаи переглянулись, они сами удивились тому, что оказались способными пережить суровую непогоду, — земля чуть было не разверзлась у их ног, ударила грозная молния, но оказалось, что впустую. Они поблагодарили мужчину с кожаной спиной за то, что тот так быстро спровадил неприятного заносчивого гостя, и спросили, знает ли он его?

— Знаю, конечно, — ответил Оборванец. — Это известный лодырь — странствующий лекарь. Он продает людям таблетки от чумы, выводит у собак глисты и подрезает им уши, у девушек убирает опухшую шитовидку, женщинам дает глазные капли, от которых те слепнут. Зовут его Кальмойзер, но ему очень хочется выдать себя за ученого, и потому он называет себя доктор Кальмус. Обыкновенно этот тип гнездится возле важных господ, и если кто-нибудь из них назовет его однажды ослом, то он посчитает того своим лучшим другом.

— Но с герцогом-то у него, кажется, плохие отношения, — заметил хитрый полный господин, — по крайней мере, он гнусно отзывался о его светлости.

— Да, с господином Ульрихом у него отношения не из лучших. А дело было так. Жила у герцога прекрасная датская охотничья собака. К несчастью, загнала эта собака себе в лапу, чересчур глубоко, колючку. Герцог ее очень любил, потому и стал искать искусного человека, способного помочь бедному животному. Случайно в ту пору у него под рукой оказался этот самый Каль-

¹ «Смерть Валленштайна». Перев. Н. Славятинского.

мойзер. В Штутгартском замке его хорошо кормили и поили, и он жил себе не тужил несколько месяцев, делая вид, что лечит собачью лапу. Однако однажды герцог вызвал его вместе с собакой к себе и спросил, как идет лечение. Кальмойзер принялся сыпать мудреные медицинские слова — ученость свою хотел показать, но герцог, не обращая на это внимания, сам осмотрел собачью лапу и обнаружил, что та уже почернела — начиналась гангрена. Герцог тогда, не говоря ни слова, схватил длинного болтуна в охалку и спустил его со второго этажа, так что тот еле живой внизу поднялся. С тех пор доктор Кальмус плохо отзывается о герцоге. Люди еще говорят, что он был лазутчиком — доверенным лицом у Хуттена и герцогской жены Сабины, потому-то он и взялся за лечение собаки, чтобы проникнуть в замок.

— Вот как, — удивленно воскликнул один из бюргеров, — если б мы об этом раньше узнали, то как следует отколошматили бы поганого доктора! Хуттен со своей любовной историей виноват в проклятой войне, а тощий Кальмойзер ему в этом помогал!

— *De mortuis nil nisi bene* — о мертвых либо хорошо, либо ничего! — так говорили древние латиняне, — возразил ему толстый господин. — Бедняга уже заплатил за это собственной жизнью.

— И поделом ему! — с жаром вскричал один из бюргеров. — На месте герцога я поступил бы точно так же. Каждый мужчина должен охранять свой семейный очаг.

— А вы тоже ездите с управляющим на охоту? — с хитрой улыбкой спросил его Толстяк. — Тогда у вас есть замечательная возможность для расправы. Меч у вас имеется, а подходящий дуб всегда найдется, чтобы на него повесить труп.

Громкий хохот горожан показал гостю, сидевшему у эркера, что ярый защитник семейного очага в своем собственном доме не может соблюсти необходимый порядок.

Тот густо покраснел, пробормотал что-то невразумительное и устался в бокал.

Оборванец же, как чужак, не мог хохотать со всеми, потому и принял сторону осмеянного горожанина:

— Конечно, герцог абсолютно прав. Он мог бы повесить Хуттена на месте, рассчитаться за поруганную честь безо всяких уловок, а не сражаться с ним. Тем более что у него были неоспоримые доказательства. Знаете ли вы эту песенку? Сейчас я спою несколько куплетов.

В лесу он к нему обернулся:
— Что на пальце твоём сверкает?
— Подарок моей любимой, —
Хуттен герцогу отвечает.
— Парень ты ловкий — не скрою!
А что у тебя на шее?
— Цепочка — подарок милой,
Всегда ношу с собою.

— И вот что было дальше:

О Хуттен, коня пришпорь!
Глаза герцога молнии мечут.
О Хуттен, с владыкой не спорь —
Все предвещает сечу.

— Оставь это, — с серьезным видом прервал певца толстый господин, — нехорошо в такое время петь подобную песню на постоялом дворе. Герцога она не обелит, а вокруг нас полно союзников, кто-нибудь из них может услышать, — добавил он, устремив пронзительный взгляд в сторону Георга, — и тогда последует новый налог для Пфулингена — сотня гульденов на защиту от пожара.

— Видит бог, вы правы, — согласился Оборванец, — теперь не так, как прежде, когда можно было высказывать свое мнение и петь вольные песни в трактире. Сейчас надо смотреть, не сидит ли на одной стороне защитник герцога, а на другой — союзник. Но последний куплет я все равно хотел бы спеть, несмотря на баварцев и Швабский союз.

В тенистом лесу буковом
Растет высокий дуб.
Он в памяти останется —
На нем повешен труп¹.

Оборванец допел, разговор за большим столом понизился до шепота; Георг заметил, что собеседники обмениваются замечаниями на его счет. Миловидная хозяйка тоже, казалось, любопытствовала, кого она приютила в эркере. Постелив на круглый стол ослепительной белизны скатерть, она поставила перед Ге-

¹ Стихи В. Гауфа.

оргом кушанье, которое для него приготовила, потом села с противоположной стороны и спросила необыкновенно скромным тоном: откуда он и куда направляется?

Молодой человек не был расположен давать ей точные сведения о настоящей цели своего путешествия. Разговор за соседним столом показал, что здесь не менее опасно не принадлежать ни к какой партии, и потому сказал, что прибыл из Франконии, поедет дальше по стране, в сторону Цоллерна, и таким образом пресек дальнейшие расспросы, так как хозяйка была слишком скромна, чтобы заставить его точнее определить цель путешествия.

Георгу представился удобный случай осведомиться о Марии, он был бы счастлив, если бы хозяйка «Золотого оленя» упомянула хотя бы только имя, описала лишь край ее платья. Неудивительно поэтому, что он стал расспрашивать об окрестных замках и соседних рыцарских семействах.

Хозяйка охотно болтала, менее чем за четверть часа она изложила хронику пяти-шести ближайших замков, очередь дошла и до Лихтенштайна. Молодой человек затаил дыхание при звуке этого имени и отодвинул от себя блюдо, чтобы посвятить все свое внимание рассказчице.

— Ну, Лихтенштайны вовсе не бедны, напротив, у них прекрасные поля и леса, и ни одной сажени земли не заложено, старик скорее остриг бы свою длинную бороду, которой он очень гордится. Это очень строгий, серьезный господин, и уж если что решил, так тому и быть. Он один из тех, кто долгие все держал сторону герцога. Союзники еще заставят его поплатиться за это.

— А как его... Кажется, вы сказали, что у него есть дочь, у этого Лихтенштайна?

— Нет, — ответила хозяйка, и ее веселое лицо омрачилось, — о ней я ни словечка не промолвила. Да, у доброго старого господина есть дочь, но лучше бы ему сойти бездетным в могилу, чем отправиться на тот свет из-за горя, причиненного дитяткой.

Георг не верил собственным ушам. Какое такое зло могла причинить Мария?

— Что же вы хотите сказать о барышне? — спросил он с натянутой шутливостью. — Вы разбудили мое любопытство, госпожа хозяйка. Или это тайна, которую вы не смеете открыть?

Хозяйка «Золотого оленя» огляделась по сторонам, не подслушивает ли кто. Но горожане спокойно занимались своим делом и не обращали на нее ни малейшего внимания.

— Вы приезжий, — начала она после осмотра, — и поедете дальше. Вам никакого нет дела до этих мест, поэтому вам можно рассказать то, что не всякому доверишь. Эта самая барышня, представьте себе, нехорошая женщина, попросту — шлюха...

— Госпожа хозяйка! — вскричал Георг.

— О, не кричите так, уважаемый господин. Люди уже смотрят на нас. Думаете, я не знаю, о чем говорю? Судите сами: каждую ночь, как только пробьет одиннадцать часов, она впускает в замок своего возлюбленного. Разве такое мыслимо для добродетельной барышни?

— Подумайте, что вы говорите! Своего возлюбленного?

— Да, к сожалению, так оно и бывает ночью, в одиннадцать часов, к ней приходит возлюбленный. Это позорно, это унизительно! Точно в назначенный час высокий мужчина, закутанный в серый плащ, подходит к воротам. Она сумела устроить так, что к этому времени все слуги оттуда удалены, под рукой лишь старый привратник, который еще в детстве потакал всем ее проказам. Так вот, каждый раз, как только внизу, в Хольцельфингене, бьет одиннадцать, она, как бы ни холодна была ночь, спускается во двор и приносит ключ от подъемного моста — ключ, который предварительно снимает с кровати своего престарелого отца. Старый греховодник-привратник отпирает, мост опускается, и человек в сером плаще спешит к своей возлюбленной.

— А потом? — еле дыша, спросил побледневший Георг. — Что потом?

— Приносит жаркое, хлеб и вино. Ночной возлюбленный, должно быть, бывает очень голоден, в иную ночь он съедает почти половину косули и выпивает два-три кувшина вина. Что затем происходит, я не знаю, не буду говорить понапрасну. Уверена только в одном, — и она устремила смиренный взгляд к небу, — Господу Богу они не молятся.

Георг после короткого раздумья мысленно выругал себя за свое, хоть и мимолетное, сомнение в верности любимой. Это была ложь, родившаяся в голове досужего человека. И даже если в том была доля правды, то она не могла бросить тень на Марию.

В старые добрые времена юношеская любовь была не менее страстной, чем в наши дни, однако имела характер чистого, глубокого благоговения.

По обычаям того времени, возлюбленная стояла на ступеньку выше своего любимого. Романтические истории из историче-

ских хроник и любовные книги древних поэтов-миннезингеров приводят много примеров того, как влюбленные благородные мужчины вступались за честь своих дам и, если кто-то сомневался в их верности и чистоте, за это убивали на месте.

Исходя из этих соображений, неудивительно поэтому, что Георг не заподозрил ничего дурного, хотя ночные посещения были загадочными, но ничто не говорило о том, что о них не знает отец и что таинственный незнакомец непременно возлюбленный Марии. Он высказал свои сомнения хозяйке.

— Вот как! — усмехнулась та. — Думаете, отец знает эту историю? Нет и нет! Я знаю это наверное: старая Розель, кормилица барышни...

— Так это старая Розель сообщила вам? — невольно вырвалось у Георга.

Он хорошо знал эту кормилицу, сестру Волынщика из Хардта. Раз уж она это говорила, всякие сомнения отпадали — старушка была набожной и преданной барышне.

— А вы знаете старую Розель? — в свою очередь изумилась хозяйка горячности молодого человека.

— Я? Ее знаю? Помилуйте! Я здесь впервые. Меня поразило лишь имя — Розель.

— А разве у вас не так говорят? Розину у нас зовут Розель, ну и старую кормилицу в Лихтенштайне называют так же. Видите ли, она меня очень ценит и время от времени заходит сюда. Я тут же варю для нее сладкое желе с вином, которое она до смерти любит, и в благодарность Розель доверяет мне всякого рода новости. От нее-то я и узнала то, о чем вам рассказала. Отец вообще ничего не знает о ночных посещениях, по-прежнему ложится спать в восемь часов. Кормилицу же барышня тоже отсылает в ее комнату в восемь часов. Через несколько дней Розель, заметив эту странность, прикинулась, что пошла спать, а сама осталась сторожить. И вот, едва все успокоилось в замке, барышня, которая прежде не притрагивалась даже к щепке, собственноручно развела огонь в печи и принялась жарить да парить, как могла, потом принесла вино из подвала, достала хлеб из шкафа и накрыла стол на мужской половине дома. Затем она долго всматривалась в окно, в холодную, черную ночь, и только внизу пробило одиннадцать часов, подъемный мост с грохотом опустился, ночного гостя впустили, и он последовал за барышней в комнату.

Розель пробовала подслушивать, что происходит внутри, но дубовые двери там очень толстые. Пыталась она и подглядывать сквозь замочную скважину, но ничего не увидала, кроме головы незнакомца.

— Ну и как он выглядит? Он стар?

— Стар? Что вы! Он молод, примерно вашего возраста, да-да, юн и красив, как сообщила Розель. У него темная борода, роскошные кудрявые волосы и очень приветливый, милый взгляд.

«Чтоб ему дьявол вырвал волосок за волоском!» — пробормотал себе под нос Георг и с досадой провел рукой по подбородку, довольно гладкому.

— Хозяйка! Припомните, пожалуйста, точно ли вы все так и слышали от госпожи Розель? Не прибавили ли чего от себя?

— Боже сохрани! Вы плохо меня знаете, господин рыцарь! Все это в точности мне рассказала старушка Розель, даже еще больше нашептала на ушко, но этого я, как порядочная женщина, не могу доверить красивому молодому человеку. И еще, подумайте только, насколько скверная эта барышня, ведь у нее был другой возлюбленный, которому она изменила!

— Еще один? — Георг заострил внимание, так как рассказ хозяйки все больше смахивал на правду.

— Да-да, еще один, очень красивый, милый господин, сказала мне Розель. Она была вместе с барышней в Тюбингене, а этот господин, кажется, его фамилия Штурмзиттих или что-то вроде, учился там в университете. Молодые люди познакомились, кормилица клянется, что красивей этой пары не сыскать было во всей Швабии. Барышня ужасно влюбилась в него и жутко тосковала, когда должна была покинуть Тюбинген. И вот теперь она ему неверна, такое у нее втроенное сердце! Кормилица плачет, вспоминая о верном друге барышни, который во много раз красивее нынешнего возлюбленного.

— Хозяйка! Сколько раз мне стучать, чтобы получить полный кубок? — с досадой воскликнул Толстяк из общего зала, так как болтливая женщина за разговором совсем позабыла прочих своих гостей.

— Сейчас-сейчас, — ответила она и побежала к стойке принести жаждущему гостю хорошего вина.

Потом она отправилась в кладовую и в подвал; наконец чердак и кухня также заняли ее время, Георг же имел возможность поразмыслить о слышанном.

Подперев рукой голову, он будто прирос к своему столику и не мигая глядел в глубину стоявшего перед ним кубка.

Так юноша сидел и в послеобеденное время, до самого вечера. Наступила ночь, а он все еще сидел и сидел за круглым столиком в глубине эркера, безучастный ко всему на свете. Лишь изредка глубокий вздох выдавал в нем присутствие жизни.

Хозяйка не знала, что ей делать с этим гостем, она раз десять присаживалась к нему, пыталась заговорить, но он рассеянно, неподвижным взглядом смотрел ей в лицо и ничего не отвечал. Милая женщина даже испугалась этого неподвижного взгляда, точь-в-точь так же смотрел на нее ее покойный муж, когда приказал долго жить.

Она решила посоветоваться с Толстяком, человек с кожаной спиной тоже прислушался к их разговору. Хозяйка считала, что юноша или влюблен по уши, или же околдован. В подтверждение своих слов она рассказала ужасную историю о юном рыцаре, который от неразделенной любви буквально окаменел, а потом и вовсе умер.

Оборванец придерживался другого мнения, он думал, что с молодым человеком произошло несчастье, как это часто бывает во время войны, и потому бедняга погружен в глубокий траур. А толстый господин, несколько раз поглядев в сторону безмолвного юноши, спросил с хитрой миной, из какой местности и какого года рыцарь пил вино?

— Я дала ему геппахское тысяча четыреста восьмидесятого года, лучшее из всех, что только есть в «Золотом олене».

— Ну так чего ж вам еще! — подхватил Толстяк. — Я знаю геппахское восьмидесятого года, оно совсем не для малолеток, уж очень кидается в голову. Оставьте его в покое. Пусть сидит и подпирает свою тяжелую голову. Спорю, что он проснется раньше, чем пробьет восемь часов, и будет снова свеж, как рыбка в воде.

Оборванец покачал головой, но ничего не сказал, а хозяйка похвалила Толстяка за мудрость, посчитав его версию самой вероятной.

Пошел девятый час. Дневные гости покинули общий зал, хозяйка собралась к вечерней молитве, когда неподвижный рыцарь очнулся от своего забытья. Он быстро вскочил на ноги, прошелся несколько раз по комнате и остановился перед хозяйкой.

Взгляд его был напряженным и мрачным, эти несколько часов оставили на приветливых, открытых чертах юноши следы глубокой скорби.

Хозяйка невольно пожалела его и, сообразуясь с лукавым объяснением Толстяка, решила сварить ему горячего супчика, потом приготовить мягкую постель. Однако рыцарь выбрал для ночлега менее удобное место.

— Когда, говорили вы, — прервал молчание Георг сдержанным, взволнованным голосом, — когда приходит ночной гость в Лихтенштайн и когда оттуда возвращается?

— В одиннадцать часов, милый господин, он туда входит и с первым криком петуха возвращается.

— Велите оседлать моего коня и похлопочите, чтобы кто-нибудь проводил меня в Лихтенштайн.

— Теперь, ночью? — Хозяйка от удивления всплеснула руками. — Вы хотите сейчас отъехать? Да вы, верно, шутите!

— О нет, милая хозяйюшка, я совершенно серьезен. Поторопитесь же, я спешу!

— Целый день вы никуда не собирались, а теперь вдруг хотите отправиться сломя голову, ночью! Хотя свежий воздух вам будет полезнее, но, видит бог, я не выпущу вашу лошадь из конюшни, ведь вы можете упасть или угодить в какую-то другую неприятность. Что скажут тогда люди? Что у хозяйки «Золотого оленя» ветер в голове, она не заботится о своих постояльцах!

Однако молодой человек, не обращая внимания на болтовню женщины, вновь погрузился в мрачные раздумья, а когда она замолкла, встрепенулся и удивился, что его приказ еще не исполнен. Тогда он решил сам пойти и распорядиться на конюшне.

Хозяйка сочла благоразумнее не перечить странным прихотям молодого человека.

— Приведите господину его гнедого, — крикнула она, — а Андрес пусть его проводит... — «Он прав, что хочет взять кого-то с собою, — продолжала она мысленно, — будет кому поддерживать его в случае необходимости. Ведь у таких господ если что засядет в голове, то уж ничем оттуда это не выкорчуеть. Ничего нет легче вывалиться из седла, когда раскачиваешься, как язык большого колокола. Но раз он так хочет...» — Вы спрашиваете, господин рыцарь, сколько должны мне заплатить? Вы взяли кувшин старого выдержанного вина, это — двенадцать крейцеров.

Теперь еда, о ней и не стоит говорить, вы даже не посмотрели на жареного петушка. Ну, если вы захотите прибавить еще два крейцера за конюшню и сено, то бедная вдова будет вам очень признательна.

Покончив счета, такие мизерные в старые добрые времена, хозяйка «Золотого оленя» отпустила своего гостя.

Хотя она уже не была к нему так расположена, как в полдень, когда он, сияющий, как майский день, вошел в общий зал, но все-таки признала про себя, когда юноша вскочил на коня, что едва ли видела в своей жизни более красивого молодого человека, и потому внушила слуге заботливее и внимательнее следить за рыцарем, мол, у того с головою не все в порядке.

У ворот Пфулингена проводник спросил всадника, куда тот хочет ехать, и после его ответа: «В Лихтенштайн», свернул направо, к горам.

Юный рыцарь молча двигался за проводником среди ночной мглы. Он не смотрел ни влево, ни вправо, не поднимал глаз к звездам и не устремлял их вдаль, взор его был прикован к земле. Юноша ощущал почти те же чувства, что и в ту ночь, когда на него напали убийцы. Его мысли как бы застыли, он не надеялся более, он перестал жить, любить и желать... И все же тогда, в долине, на холодном лугу, когда он терял сознание, что-то ободряющее промелькнуло в его голове и коченеющими губами он произнес любимое имя.

Теперь же погас свет, освещающий его жизненный путь. Перед ним была короткая дорога из темноты к сияющей вершине Лихтенштайна, где он найдет покой. Невольно его правая рука потянулась к мечу, как бы желая убедиться в том, что постоянный спутник ему еще верен и может стать ключом, который откроет дверь, ведущую из тьмы к свету.

Лес давно уже принял в свои объятия пробиравшихся путников. Тропинка становилась все круче, конь под тяжестью всадника и его снаряжения с трудом взбирался на гору. Но рыцарь этого не замечал. Прохладный ночной воздух играл длинными волосами юноши, а он этого не чувствовал. Взошедший месяц осветил тропку, гигантские глыбы скал и высокие могучие дубы, под которыми они двигались; он и их не видел. Незаметные для него волны времени, час за часом, проходили своей чередой, и дорога не казалась ему длинной.

В полночь путники достигли самой высокой вершины и вышли из леса. Отделенный от земли широкой расселиной, на одиноком утесе, отвесно поднимающемся из покрытой мраком глубины, перед ними возник замок Лихтенштайн.

Его белые стены и зубчатые башни блестели в лунном свете. Казалось, замок, удаленный от всего света, мирно дремал в своем уединении.

Рыцарь мрачно на него взглянул, прыгнул с коня, привязал поводья к дереву и уселся против замка на покрытый мхом камень. Слуга остановился подле и стал ждать, что последует дальше. Ждать ему пришлось довольно долго, напрасно он спрашивал сосредоточенного рыцаря, кончена ли его служба.

— Сколько еще осталось до первых петухов? — спросил наконец Георг.

— Часа два, господин, — последовал ответ.

Георг щедро наградил проводника и отпустил его. Но тот все еще медлил, как будто опасаясь оставить молодого человека в столь плачевном состоянии. Но когда Георг досадливо повторил свой жест, слуга удалился. Однако на опушке леса он еще раз оглянулся посмотреть на молодого рыцаря. Безмолвный гость по-прежнему сидел в тени дуба, на покрытом мхом камне, задумчиво подперев голову рукой.

ГЛАВА 5

По этому ущелью он поедет;
Другого в Кюснахт нет пути... И здесь
Я все свершу... Благоприятен случай.

Ф. Шиллер¹

Много сказано на свете о красоте и глупости всех сумасбродств, порожденных ревностью, однако человечество, начиная с библейских времен и поныне, так и не сделалось мудрее. Люди холодного нрава несколько сдержаннее в своих поступках. Но те, в ком течет горячая кровь, а гордость и честь легко ущемляются вследствие пренебрежения либо же неверности, терпят поражение, когда обнаруживают при зрелом размышлении доказательства собственной глупости.

¹ «Вильгельм Тель». Перев. Н. Славятинского.

Георг фон Штурмфедер не был настолько хладнокровным человеком, чтобы известие, которое он сегодня получил, изгнало из тайников его души чувство справедливости и остатки сдержанности. Кроме того, он пребывал в том самом возрасте, когда душа еще не привыкла а priori утрачивать доверие к людям. И все же такое чрезвычайное событие могло стать опасным для доверчивого сердца. В нем закипела обида за поруганную веру, взбунтовалась гордость, мрачное облако затмило все надежды, одно словечко правды в паутине лжи убедило в том, что солнце любви закатилось, и в душе его разверзся мрак. Туда потянулись ночные спутники: презрение, ярость, месть. Покинутое добрыми ангелами сердце в несколько мгновений пережило все стадии, ведущие от любви к ненависти, и заполнилось ревностью.

Георг уже был на пороге мрачной холодной ярости, влекущей за собой неминуемую месть; взлелеяв это чувство, сидя на мшистом камне, он неотрывно думал о том, как остановит ночного гостя и какие слова ему скажет.

В деревне, за лесом, пробило два часа, когда Георг увидел, как в окнах вдоль замка задвигались огни; его сердце, полное ожидания, тревожно забилося, рука судорожно схватила длинную рукоятку меча. Огни перешли за решетку ворот, залаяли собаки.

Георг вскочил и откинул плащ. Он ясно расслышал, как густой мужской голос любезно произнес: «Спокойной ночи!»

Подъемный мост, гремя, опустился и лег над пропастью. Ворота отворились. Выйдя из них, человек в глубоко надвинутой на лицо шляпе, плотно завернутый в темный плащ, направился через мост прямо к тому месту, где караулил его Георг.

Он не дошел всего несколько шагов, как юноша с гневным криком: «Бери меч и защищай свою жизнь, предатель!» — кинулся навстречу. Неизвестный в плаще, немного отступив назад, мгновенно обнажил свой меч. Сверкающие клинки встретились и звонко загремели друг о друга.

— Живым ты меня не возьмешь, — предупредил незнакомец, — я дорого заплачу за свою жизнь!

Георг должен был выдержать храбрый отпор. По быстрым и увесистым ударам противника было видно человека, умевшего за себя постоять. Георг был искусным бойцом, но здесь нашла коса на камень — перед ним оказался достойный соперник. Он чувствовал, что скоро должен будет ограничиться лишь собственной

защитой, и только хотел двинуться вперед, чтобы нанести последний, решающий удар, как вдруг чья-то крепкая рука удержала его порыв, в ту же минуту меч был у него вырван; кто-то со страшной силой схватил сзади юношу и грозным голосом произнес:

— Колите его, господин! Подобный убийца не заслуживает даже последней молитвы!

— Это я предоставляю тебе, Ханс, — ответил человек в плаще. — Безоружных не убиваю. Вон его меч, прикончи его поскорее.

— А почему вы сами не хотите меня убить? — гордо проговорил Георг. — Вы украли у меня любовь, так забирайте же и мою жизнь.

— Что я украл? — удивился незнакомец и подошел ближе.

— Что за черт! Знакомый голос! — пробормотал человек, который все еще держал Георга в своих железных объятиях. — Кажется, он мне знаком!

С этими словами силач повернул молодого человека к свету, от неожиданности его крепкие руки повисли как плети.

— Йезус, Мария! Чуть было не натворили дел! Какая несчастливая звезда привела вас сюда, юнкер? И что за головы у тех, кто отпустил вас без меня?

Это оказался Волинщик из Хардта, именно он говорил с Георгом, приветливо протягивая ему свою сильную руку.

Но Георг не был расположен отвечать на дружеский тон человека, который чуть было не выполнил роль палача. Юноша дико смотрел то на незнакомца, то на музыканта.

— Ты думаешь, — начал он гневно, адресуясь к Хансу, — я позволю твоим женщинам держать меня взаперти, чтобы я не видел здесь твоего предательства? Жалкий лжец! А вы... — он обратился к своему противнику, — если вы человек чести, бейтесь один на один, а не наваливайтесь вдвоем на одного. Я — Георг фон Штурмфедер, надеюсь, вам известны мои виды на здешнюю барышню. Я прибыл сюда, чтобы сразиться с вами, поэтому прикажите этому негодяю отдать мой меч, будем биться честно, как подобает настоящим мужчинам.

— Так вы — Георг Штурмфедер, — отозвался на запальчивую речь незнакомец и подошел к изумленному юноше. — Кажется, произошла ошибка. Поверьте мне: я очень ценю вас и давно хо-

тел с вами познакомиться. Примите мое честное слово: меня приводят в замок вовсе не те намерения, в которых вы меня подозреваете. Будем же друзьями!

С этими словами незнакомец освободил из-под плаща руку и подал ее недоумевавшему Георгу. А тот был так взволнован увиденным и услышанным, что стоял в нерешительности, не зная, принять или нет рукопожатие того, на которого он еще минуту назад смотрел как на своего злейшего врага.

— Кто подает мне руку? — вымолвил наконец юноша. — Я назвал вам свое имя и по справедливости предлагаю сделать то же самое.

Незнакомец распахнул плащ, сдвинул на затылок шляпу. Месяц осветил его лицо, полное достоинства и благородства. Глаза Георга встретили блестящий взор властного величия.

— Не спрашивай о моем имени, — тихо, с оттенком грусти проговорил неизвестный, — я — человек, и это все, что могу о себе сказать. Когда-то и я носил имя, которое могло помериться с достойнейшими именами, и носил золотые шпоры, развевающийся султан на шлеме, и на звук моего охотничьего рога спешили сотни слуг. Теперь же все кончено. Мне осталось одно, — прибавил он с торжественным величием, сильно сжимая руку молодого человека, — я — мужчина и ношу при себе меч.

Si fractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinae¹.

С этими словами загадочный незнакомец надвинул вновь на лоб свою шляпу, плотнее закутался в плащ и не спеша направился к лесу.

Георг как зачарованный стоял, опершись на свой меч. Один вид этого человека вытеснил из его сердца все помыслы о вражде и мести. Повелительный взгляд, обворожительная доброжелательность, храбрый, могучий вид мужчины наполнили его душу благоговейным изумлением, уважением и смущением. Незнакомец поклялся, что не состоит в близких отношениях с Марией, подтвердил свои слова мужественным рукопожатием правой руки, которая виртуозно владела увесистым клинком, будто игруш-

¹ Когда рухнет мирозданье,
Под его руинами гибнет самый бесстрашный (лат.). Гораций. Ода.

кой; он подкрепил их тем взглядом, силы которого, как солнца, Георг не мог вынести. Огромная гора свалилась с души юноши: он верил, он должен был верить!

Если вспомнить, какое значение придавали в то время физическим качествам, как высоко ценили мужество, даже во врагах, насколько слово храброго человека считалось священным, как вообще было велико влияние благородной мужественной наружности на неиспорченную юношескую душу, то станет понятной та перемена, которая произошла в Георге буквально за считанные минуты.

— Кто этот человек? — спросил Георг музыканта, который все еще стоял подле него.

— Вы ведь слышали, что у него нет имени, и я не могу его назвать.

— Ты не знаешь, кто он, — возразил Георг, — и тем не менее помог ему, когда он бился со мною. Уходи! Ты хочешь меня обмануть!

— Нисколько, юнкер. У этого человека нет теперь имени. Но ежели вы все-таки хотите что-то узнать о нем, то извольте — я скажу: он — изгнанник, союзники выгнали его из собственного наследного замка, а некогда то был один из могущественных рыцарей Швабии.

— Бедняга! Так вот почему он кутается в плащ! А меня принял за убийцу! Да, припоминаю, он сказал, что так просто не отдаст свою жизнь.

— Не обижайтесь, господин, я ведь тоже принял вас за убийцу, подстерегающего высокую персону, потому и пришел к нему на помощь, и ежели бы не услыхал вашего голоса, кто знает, разговаривали бы мы сейчас. Но как же вы попали сюда, да еще глубокой ночью, кто вывел вас на след этого человека? Скажу честно, ваше счастье, что он не разрубил вас пополам. Немногие уцелели от его меча. Догадываюсь: любовь сыграла с вами злую шутку.

Пришлось Георгу сообщить своему бывшему проводнику те сведения, которые он получил в «Золотом олене» в Пфулингене. Особенно он ссыался на высказывания кормилицы, сестры музыканта, которым было невозможно не доверять.

— Так я и думал, нечто подобное должно было произойти, — ответил крестьянин. — Любовь играет в жестокие игры. Не знаю

даже, как бы я сам поступил, будучи молодым, в подобном случае. В этом виновата одна только Розель, старая болтуня. Что заставило ее исповедоваться хозяйке «Золотого оленя»? Ведь эта особа не может держать язык за зубами!

— Но кое-что в этой истории было правдой, — возразил Георг, в котором еще не до конца умерло старое подозрение. — Так, без всякой причины, госпожа Розель не могла все это выдумать.

— Правда? Должна быть там правда? Действительно, все в этом рассказе правда, от начала и до конца. Слуг и старую соглядатайшу и впрямь отсылают спать; в одиннадцать часов, верно, приходит человек в плаще; подъемный мост опускается, ворота отворяются, барышня встречает ночного гостя и ведет его на мужскую половину...

— Вот видишь! — нетерпеливо прервал его Георг. — Если это все правда, то как же мог сказать давешний человек, что он с барышней...

— А отчего бы ему и не клясться? Во всей этой истории одно только неверно — то, чего не знает старая гусыня Розель. Барышня, как только принесет приготовленные кушанья, тотчас удаляется из комнаты, оставляя гостя со своим отцом, рыцарем фон Лихтенштайном. Старик сидит с изгнанником до первых петухов, а загадочный гость лишь только поест, попьет и согреется у огня, так сразу тем же путем покидает замок.

— О, какой же я глупец! Как я раньше об этом не догадался! Будь же проклято любопытство и болтовня этих женщин, которые во всем найдут что-то невероятное! Однако, — продолжал Георг после некоторого раздумья, — есть в этом все-таки кое-что странное. Зачем этому изгнаннику каждую ночь ходить в замок? Где же он живет, если не может найти ни горячей пищи, ни кубка вина, ни теплой печки? Слушай! Мне все еще кажется, что ты меня обманываешь!

Глаза музыканта насмешливо оглядели юношу.

— Такой молодой человек, как вы, конечно же, мало знает о том, как тяжело и горестно изгнание. Вы не ведаете, что значит скрываться от глаз убийц, не догадываетесь, как жутко живется в страшных сырых пещерах, неприятных ущельях, и не можете себе представить, как благодетельна горячая еда, как живителен глоток вина для того, кто обедает с ночными птицами — совами, кто делит жилье с филином... Впрочем, если вы хотите, пойдемте!

Утро еще не занялось, а ночью вам нельзя идти в Лихтенштайн. Я проведу вас в жилище изгнанника, и тогда вы больше не будете спрашивать, почему он ходит обедать в полночь.

Загадочный рыцарь-изгнанник слишком заинтересовал Георга, кроме того, он принял предложение музыканта, чтобы собственными глазами убедиться в правоте сказанного.

Ханс взял коня за поводья и повел его вниз, под гору, узкой лесной тропкой. Георг, бросив взгляд на окна замка, последовал за ним. Шли они молча, молчание, казалось, нравилось молодому человеку, по крайней мере он не пытался его нарушить. Все его мысли были заняты загадочным человеком, чье таинственное жилище ему предстояло увидеть. Его мучил один вопрос: кто же этот несчастный? Он вспомнил, как много сторонников изгнанного герцога были согнаны с насиженных мест. Ему даже показалось, что на постоялом дворе в Пфулингене во время его безучастного сидения упоминалось имя рыцаря Маркса Штумпфа фон Швайнсберга, за которым гонялись союзники. Храбрость и невероятная сила этого человека были хорошо известны в Швабии и Франконии, и когда Георг воскрешал в памяти высокую статную фигуру, властное выражение лица, героическое, прямотаки рыцарское поведение таинственного незнакомца, то все больше убеждался в том, что изгнанник был не кем иным, как верным сторонником Ульриха Вюртембергского — Марксом фон Швайнсбергом.

Особенно льстила юному человеку мысль об опасном поединке с этим храбрецом, когда они скрестили клинки и исход битвы был непредсказуем.

Так думал в ту ночь Георг фон Штурмфедер, а многие годы спустя, когда человек, с которым он бился, вернул себе все свои права и по звуку его рога опять сбегались сотни слуг, он по-прежнему считал эту битву самым блистательным своим поединком, где несколько не уступил храброму и мощному сопернику.

За этими размышлениями Георг не заметил, как они оказались на маленькой открытой поляне. Музыкант привязал коня к дереву и повел Георга далее. Поляна обрывалась крутым, поросшим густым кустарником скатом. Музыкант раздвинул перепутанные ветви, за ними начинался узенький крутой спуск. С трудом пробирался Георг по этой опасной тропке и не раз вынужден был прибегнуть к помощи своего сильного проводника.

Спустившись шагов на восемьдесят, они очутились вновь на ровной почве. Однако напрасно искал Георг следы жилья таинственного рыцаря. Музыкант же подошел к дереву необыкновенной толщины и вынул из его дупла две лучины. Затем он высек огонь и с помощью кусочка серы зажег факелы. Когда те разгорелись, Георг увидел перед собою высокий портал, сооруженный самой природой в скале, — должно быть, это и был вход в жилище, которое изгнанник, по выражению музыканта, делил с филином.

Крестьянин взял один факел себе, другой протянул Георгу: путь был темен и, вероятно, небезопасен. Прошептав предостережение, музыкант шагнул в темные ворота.

Георг ожидал увидеть узкую и короткую звериную нору, какие не раз ему попадались в лесах его родины. И как же был удивлен, когда перед его глазами открылись величественные залы подземного дворца! В детстве он слышал из уст оруженосца, прадед которого в Палестине попал в тюремные застенки, одну сказку, передаваемую от поколения к поколению, как некий мальчик был сослан злым волшебником под землю, во дворец, величественная красота которого превосходила все, что отрок видел когда-либо на земле, все, что смелая фантазия Востока могла только придумать пышного и великолепного: золотые колонны с хрустальными капителями, сводчатые купола со смарагдами и сапфирами, алмазные стены, отблеск которых буквально слепил глаза.

Это сказание, глубоко засевшее в детском воображении, теперь ожило, осуществилось наяву перед глазами изумленного юноши. То и дело, привлекаемый новым зрелищем, он останавливался, высоко поднимал свой факел и наслаждался величественным видом громадных, причудливо изогнутых сводов, которые сверкали и переливались, как тысячи алмазов и горы хрусталия.

Но большее потрясение ждало его впереди, когда проводник свернул налево и провел в широкий и высокий грот, который казался торжественно украшенным залом подземного дворца. Заметив, что юноша никак не налюбуется волшебным видом этого чуда природы, Ханс взял из его рук факел и влез на выдающуюся скалу. Большая часть грота осветилась.

Блестящие белые скалы составляли его стены, арки, своды, громадные размеры которых удивляли человеческий глаз, обра-

зовывали дивный купол, с которого свисали миллионы застывших капелек, светившихся всеми цветами радуги. Причудливыми фигурами стояли вокруг скалы, а возбужденная фантазия и упоенный взор видели в них то часовню, то большой алтарь с красивой драпировкой, украшенной готическими узорами. Даже орган присутствовал в этом подземном соборе.

Пламя факелов сильно колебалось, длинные тени скользили и перебегали по блестящим стенам и казались какими-то таинственными, величественными изображениями святых, которые то появлялись, то скрывались в причудливых нишах.

Так украшала подземное святилище христианскими образами фантазия юноши, полного почтения к Божественным творениям, в то время как Аладдин со своею волшебною лампой видел в великолепных залах лишь вечнозеленые райские кущи.

Проводник, найдя, что рыцарь достаточно насытился зрелищем, слез со своего пьедестала.

— Это — Пещера Туманов, — сказал он. — Мало кто в нашей стране о ней знает, она знакома лишь охотникам да пастухам, но и из них только немногие отваживаются входить сюда: так много дурного говорят об этом жилище призраков. Тому, кто недостаточно хорошо знает эту пещеру, я бы не советовал в нее спускаться. Здесь есть такие глубокие пропасти и подземные озера, что, если хоть раз попадешь туда, назад на свет божий не вернешься. Есть тут также потайные ходы и укрытия, своего рода комнаты, о них знают лишь пять человек.

— А изгнанный рыцарь? — спросил Георг.

— Возьмите факел и следуйте за мной, — коротко произнес Ханс и двинулся в боковой ход.

Шагов через двадцать Георгу показалось, что он слышит глухие звуки отдаленного органа. Рыцарь обратил внимание своего проводника на удивительное явление.

— Это пение, — ответил тот, — оно звучит под этими сводами необыкновенно приятно. Если бы здесь запели два или три человека, нам бы показалось, что целый хор монахов поет аллилуйю.

По мере того как путники продвигались вперед, пение звучало сильнее и сильнее, внятнее и внятнее выделялись из общей вереницы звуков приятные модуляции сильного молодого мужского голоса.

Спутники завернули за угол скалы, и голос невидимого певца зазвучал совсем близко, откуда-то сверху. Голосу вторило многократное эхо, которое перемешивалось с шелестом падающих с камней капель, бормотанием подземных вод и опускалось в темную таинственную глубину.

— Это то самое место, — проговорил проводник, — там, наверху, в скале, — жилище несчастного человека. Вы слышите песню? Давайте постоим и послушаем до конца. Он не привык к тому, чтобы его перебивали, когда еще был наверху.

Путники прислушались, сквозь повторяющееся эхо и шепот воды до них донеслись слова песни, которую пел изгнанник:

На башне, откуда я любовался своею страной,
Рекут ныне чужие флаги.
И нет никого со мной,
И много поводов для отваги.
Разбиты чертоги отцов,
Похищено достоянье внуков,
Сын прячется под землей от воров,
Его удел — печаль и разлука.

Где когда-то в счастливые дни
Трубил мой охотничий рог,
Рыскают ныне мои враги,
Собирая лесной оброк.
Для них я — дичь, ищейки жаждут крови,
Натягивают луков тетиву,
Чтоб сбить рога¹ и отомстить врагу.

В одежде нищего скитаюсь,
Ночами по своей земле крадусь;
Заботами людей печалюсь
И подаяния стыжусь.
Но мужества я не утратил,
Мой меч со мной, еще я поборюсь,
Своих врагов страдать заставляю
И с жалкой долей не смирюсь!

Певец умолк.

Вслед замиравшим звукам песни раздался глубокий вздох неудовлетворенности и горя. По грубому лицу хардтского музыканта катились слезы.

¹ Имеется в виду герб герцогов Вюртембергских.

От Георга не ускользнуло, что он пытался вернуть себе прежнее самообладание и показаться перед изгнанником со светлым челом и не замутненными тревогой глазами.

Ханс дал Георгу второй факел и стал карабкаться по гладкой скользкой скале, ведущей в грот, откуда звучало пение. Георг подумал, что проводник, должно быть, хочет доложить о нем рыцарю, но вскоре увидел, что тот возвращается с длиннющей веревкой в руках.

Музыкант спустился до половины скалы, бросил Георгу веревку и помог ему вскарабкаться по отвесной стене, что ему одному удалось бы с трудом.

Георг очутился наверху, в нескольких шагах от жилища загадочного изгнанника.

ГЛАВА 6

И вдруг
Там вырастают в ночи из камня
Странные изваянья.
От них идет зеленый свет,
И рыцарь в страхе замирает,
На чудеса взирает.

Л. Визанд¹

Часть той большой пещеры, в которую они теперь вошли, отличалась от прочих гротов и углублений; она была из песчаника и, так как этот камень хорошо впитывает влагу, выглядела довольно сухой и даже уютной. Пол был устлан соломой и камышом, лампа, висевшая на стене, распространяла достаточно света на всю ширину и большую часть длины этого грота. Против входа на широкой медвежьей шкуре сидел уже знакомый нам загадочный человек, возле него стояли меч и охотничий рог, на полу лежали старая шляпа и серый плащ, в который он закутылся. На нем была куртка из темно-коричневой кожи и панталоны из толстого грубого синего сукна. Даже эта грубая одежда не могла скрыть сильное и в то же время изящное телосложение. На вид изгнанник был лет тридцати четырех, лицо его все еще можно было назвать красивым, хотя первый цвет молодости, казалось, унесли опасности и передряги походной жизни, а запу-

¹ «Оберон».

щенная борода придавала ему временами зловещий вид. Эти мимолетные замечания напрашивались сами собой, когда Георг молча стоял у входа в грот.

— Добро пожаловать в мои чертоги, Георг фон Штурмфедер! — приветливо воскликнул обитатель пещеры, поднимаясь с медвежьей шкуры.

Он протянул юноше руку и сделал знак опуститься на столь же безыскусное сиденье из кожи косули.

— Сердечно рад вас приветствовать. Это недурная выдумка нашего музыканта — привести вас в сей подземный мир, чтобы доставить мне столь приятного собеседника. Ханс! Верная душа! Ты до сих пор был нашим мажордомом, стольником и канцлером, а теперь станешь еще и виночерпием. Посмотри, там за колонной из прекрасного гранита должен стоять кувшин с остатками старого доброго вина. Возьми мой охотничий кубок из самшита, единственную здесь посуду, налей его до краев и поднеси нашему почтенному гостю.

Георг с удивлением посмотрел на изгнанника. Удары судьбы, необычность обстановки, жалобный плач, прозвучавший только что в пении, должны были явить перед ним человека хотя и не сломленного обстоятельствами, но все же мрачного и павшего духом, а тут перед ним стоял веселый, беззаботный мужчина, отпускающий шутки по поводу своего положения, как будто его случайно захватила буря во время охоты и он избрал на краткий миг убежищем от непогоды данную пещеру.

А ведь то был страшный ураган, надругательство природы, изгнавшее его из замка предков, то была смертельная охота, от кровавых участников которой он здесь скрывался.

— Вы так удивлены, уважаемый гость, — заметил рыцарь, увидев, каким взглядом Георг обводит его самого и его жилище. — Может, вы ждали, что я стану жаловаться? Но о чем мне сожалеть? В моем несчастье мне никто не поможет, поэтому лучше сделать хорошую мину при плохой игре. И разве я здесь не живу лучше любого князя? Видели ли вы просторные переходы и огромные залы моего дворца? Разве их стены не отливают серебром? А своды не сверкают, как жемчуга и алмазы? Неужели вас не очаровали украшенные смарагдами и рубинами колонны? А... вот и Ханс, мой виночерпий, идет с вином. Скажи-ка, дорогой, это все, что в кубке?

— Воды, чистой, как хрусталь, здесь полно, — улыбнулся музыкант, проникшийся веселым настроением своего сотоварища, — кроме того, есть еще и немного вина, как раз на три кубка. Но поскольку у нас сегодня гость, найдется кое-что и для него. Нынче я прихватил полный кувшин старого улыбахского и поставил его там же.

— Это ты хорошо сделал, — обрадовался рыцарь-изгнанник, и его глаза сверкнули от неожиданной радости. — Не подумайте, господин Георг, что я кутила и пьяница, но хорошее вино — вещь благородная, люблю в приятном обществе пустить чашу по кругу. Принеси же сюда кувшин, мой дорогой виночерпий, мы будем пировать, как в старые добрые времена. Хочу выпить свой кубок за прежний блеск рода Штурмфедеров!

Георг поблагодарил и осушил кубок.

— Хочу ответить честь по чести, — поклонился он. — Я не знаю вашего имени, рыцарь, но выражаю вам свое почтение. Желаю вам вскоре победоносно вернуться в замок ваших предков! И пусть благоденствие сопутствует вашему роду во веки веков!

Едва Георг, произнеся тост, собрался поднести кубок к губам, как из глубины подземелья раздались голоса: «Во веки веков, во веки веков!»

Пораженный юноша опустил кубок.

— Что это? — спросил он. — Разве мы не одни?

— Это мои вассалы — духи, — улыбнувшись, ответил рыцарь, — или, если хотите, эхо сопутствует вашим дружеским пожеланиям. Я часто, — продолжал он, посерьезнев, — в благополучные времена слышал сотни приветливых голосов, славящих доброту и блеск моего рода, но никогда не был так тронут, как сейчас, когда мой единственный гость провозглашает славу и ему вторят скалы подземного мира. Наполни кубок, Ханс, и тоже выпей. Если ты знаешь какое-нибудь доброе присловье, так скажи же его нам.

Музыкант наполнил кубок и весело посмотрел на Георга.

— Пью за ваше здоровье, юнкер, и еще кое за кого. За барышню из Лихтенштайна!

— О, да, да! Пейте же, юнкер, пейте! — расхохотался изгнанник так, что стены задрожали. — Выпейте до дна. Пусть она цветет для вас! Ты хорошо поступил, Ханс. Посмотри, наш гость залился румянцем, видишь, как заблестели его глаза, будто он уже

ее целует! Не стесняйтесь, юнкер. И я был когда-то влюбленным, и я знаю, что такое счастье для молодого человека двадцати четырех лет.

— О бедный человек! — воскликнул Георг. — Вы были влюблены и были женихом! Может быть, вам пришлось оставить милую жену и хороших детей?! — И тут он почувствовал, произнося эти слова, как его кто-то сильно потянул за плащ, а обернувшись, увидел, что музыкант делает ему большие глаза, как бы предостерегая не произносить что-либо подобное.

Юноша раскаялся в своих словах, заметив, как помрачнел несчастный изгнанник и какой он взгляд бросил на Георга, говоря:

— Мороз в сентябре уничтожает то, что дивно цело в мае. Не стоит спрашивать о том, что было. Моих детей я оставил на руках грубых, но добрых кормилиц, они будут их охранять, пока, дай бог, отец не вернется.

Он проговорил это глухим, взволнованным голосом, однако затем, как бы желая прогнать печальные мысли, провел рукой по лбу, и впрямь морщинки разгладились, и голос зазвучал веселее:

— Ханс может подтвердить, что я уже давно хотел видеть вас, господин Штурмфедер. Он рассказал мне о странном ночном покушении на вашу жизнь. Вас, верно, приняли за другого человека, который, воспользовавшись минутой, успел спастись.

— И я весьма тому рад, — ответил Георг. — Почти готов поверить, что меня приняли за самого герцога, так как за ним, вероятно, бдительно следили. Если он спасся, то я несколько не сетую, что получил отменный удар.

— Ох, но ведь удар, который вас настиг, мог быть смертельным!

— Кто идет на войну, — ответил Георг, — должен быть готовым ко всякому. Конечно, всегда лучше пасть от руки противника в честном бою, когда твои товарищи поблизости и могут оказать последнюю дружескую услугу. Но повторись подобное, я бы все равно вновь поступил так же, лишь бы отвратить руки убийц от герцога!

Изгнанник признательно посмотрел на юношу и пожал ему руку.

— Вы, кажется, принимаете большое участие в герцоге, — сказал он, устремив на Георга свои пронизательные глаза, — этого

я, признаться, не ожидал. Мне говорили, что вы поддерживаете союзников.

— Знаю, что вы — союзник герцога, — ответил Георг, — но позвольте мне быть с вами откровенным. Видите ли... Герцог сделал много такого, что нельзя считать справедливым. Например, история с Хуттенем, какова бы она ни была, лучше бы ее избежать. Затем, можно предположить, что он был жесток со своею женой. Кроме того, вы должны со мной согласиться, он слишком дал волю своему гневу при покорении Ройтлингена.

Георг остановился, как бы ожидая возражений рыцаря, но тот опустил глаза и молча дал понять молодому человеку, чтобы тот продолжал.

— Так думал я о герцоге, когда решил примкнуть к союзу, а там о нем говорили в более крепких выражениях. Но герцог имел очень сильную заступницу в лице Марии, и, может быть, вам известно, я решил порвать с союзом по ее настоянию. Вскоре дело получило в моих глазах совсем иное освещение, то ли потому, что я от природы сострадателен и не могу видеть, когда с кем-либо обращаются несправедливо, то ли потому, что разгадал замыслы союзников. Я понял, что с герцогом обошлись недостойно. Союз очевидно не имел никакого права изгонять герцога из его владений, тем более лишать престола и ввергать в нищету. Герцог выиграл в моих глазах. Он, может быть, еще осмелился бы на решающую битву, но не захотел рисковать жизнью своих верных вюртембергцев. Герцог мог бы выжать много денег из своих подданных и удержать тем самым швейцарских наемников, но он был выше своего несчастья. Вот это и сделало меня его другом.

Рыцарь-изгнанник поднял свои блестящие, выразительные глаза, его грудь вздымалась, благородная фигура выпрямилась. Он долго смотрел на Георга и, вдруг схватив его руку, прижал ее к своему сильно бьющемуся сердцу.

— Да, мой друг, у тебя чистая, светлая душа! Я знаю герцога как самого себя, поэтому смею утверждать, что он таков, как ты его описываешь. Он действительно выше своего несчастья и лучше, чем о нем говорит молва. Но у него очень мало сторонников, способных выдержать испытания. Если бы у него была сотня, всего лишь сотня таких, как ты, тогда на вюртембергских замках не развевалось бы ни одного лоскутка союзных знамен. О! Если бы ты мог быть его другом. Однако я и не думаю приглашать тебя

делить с ним его беды. Довольно и того, что твой меч и твоя рука не принадлежат его врагу — Швабскому союзу. К чему омрачать твои дни чужими печальями? Пусть Небо вознаградит тебя за твои добрые чувства к несчастному изгнаннику!

Слова рыцаря нашли душевный отклик в сердце юноши. Было ли это чувство удовлетворения, вызванное ободряющими словами храброго изгнанника, сходством судьбы несчастного с его собственной бедностью и с несчастьем его рода, или то был романтический порыв — выступить против торжествующей несправедливости за правое дело гонимого, тем более что дело это было на краю гибели, — как знать?!

Но Георг чувствовал, что его неодолимо влечет к этому человеку. Он схватил изгнанника за руку и воскликнул с пылким воодушевлением:

— Пусть не говорят мне об осторожности, пусть не называют это безрассудством! Пускай другие там, наверху, делят эту прекрасную страну и наслаждаются добром несчастного герцога, я чувствую в себе довольно мужества, чтобы перенести вместе с ним все невзгоды, что выпали на его долю, и, когда он обнажит меч, чтобы отвоевать свою страну, я буду первым его сторонником. Примите мое рукопожатие, господин рыцарь; что бы ни случилось, я — друг Ульриху навсегда!

Слеза признательности блеснула в глазах рыцаря, его благородная фигура распрямилась, когда он отвечал на рукопожатие юноши.

— Ты рискуешь очень многим. И если ты друг Ульриха, то ты храбрейший из самых смелых воинов. Страна его там, наверху, теперь принадлежит ворах и разбойникам, но здесь, внизу, Вюртемберг еще существует. Тут передо мной сидит настоящий рыцарь и гражданин. Забудь на миг, что я несчастен, что я — изгнанник, выброшенный из своего собственного дома, представь, что я — владыка страны, как владыка этой пещеры. О, Вюртемберг существует, пока эти трое держатся вместе, даже глубоко, в недрах земли! Наполни кубок, Ханс, и положи свою мужественную руку на наши. Мы закрепим наш союз!

Ханс взял кувшин и наполнил кубок.

— Пейте, благородные господа, пейте! Самое время чокнуться этим добрым ульбахским вином, лучшего не может быть для такого случая.

Изгнанник медленными глотками осушил кубок, велел его вновь наполнить и протянул Георгу.

— Разве оно не выдерживается в вюртембергских замках? — спросил тот. — А виноград для него растет на ваших горах?

— Это правда, — ответил изгнанник. — Гора, на которой растет виноград для этого вина, называется Ротенберг, а на ее вершине стоит замок, построенный предками Вюртембергов. О эти прекрасные долины Неккара, чудные горы с их фруктами и виноградом! За вас, за вас — и навсегда!

Он произнес это голосом, полным затаенной боли, печаль открыла самые сокровенные помыслы несгибаемого человека.

Крестьянин преклонил перед ним колени, схватил его за руку, дабы отвлечь от мрачных размышлений, в которые тот погрузился.

— Будьте мужественны, господин. Они еще увидят вас веселее, чем прежде!

— Они еще увидят вас, долины вашей родины! — поддержал его Георг. — Когда герцог вернется в свою страну, войдет в замок своих предков, когда долины Неккара и засаженные виноградниками склоны гор отзовутся эхом на ликование народа, тогда и вы вернетесь в свой дом. *Nunc vino pellite curas*¹ — прогоните печальные мысли, выпейте и забудьте, о чем мы беседовали. Я поднимая тост за герцога и верных ему людей!

По лицу изгнанника, как солнечный луч, пробежала приятная улыбка минутной радости.

— Да! — воскликнул он. — Верность — такое же утешение для разбитого сердца, что и прохладный напиток для жаждущего путника в пустыне. Забудьте минуту моей слабости, юнкер, простите человека, погрязшего в заботах! Но если вы углядели вершины Ротенберга — самое сердце Вюртемберга, любовались тем, как Неккар течет в зеленых берегах, как колышется созревающая нива на полях, как дыбятся волнистые холмы, поросшие дивными виноградными лозами, заметили красоту тенистых лесов, которые венчают вершины гор, обратили внимание на то, как выглядывают из пышных садов деревеньки со своими красными черепичными крышами, как трудятся работающие, прилежные люди — могучие мужчины и красивые женщины — на этих

¹ Теперь вином отгоните заботы (лат.). — *Гораций*. Ода.

склонах и долинах, если вы все это видели моими глазами, то хорошо понимаете, каково очутиться здесь, в глубине пещеры, быть изгнанным и проклятым, находиться в окружении немых скал, глубоко в недрах земли! О, эта мысль слишком тяжела даже для могучего мужского сердца!

Георг испугался, что рыцарь вновь впадет в печаль, и поспешил переменить тему разговора:

— Вы ведь часто встречались с герцогом, господин рыцарь. Теперь и я стал его другом. Скажите, каков он в жизни? Как выглядит? Говорят, что он переменчив в своих настроениях.

— Нисколько. Вы еще увидите его и узнаете сразу, без подробных описаний. Но мы уже слишком долго ведем речь о чужих делах, а про ваши собственные вы так ничего и не сказали — о цели вашего нынешнего путешествия, о прекрасной барышне фон Лихтенштайн. Вы молчите! Почему вы потупились? Поверьте, я спрашиваю вовсе не ради пустого любопытства. Мне кажется, что я могу быть вам полезен в этом деле.

— После того, — решился Георг, — что произошло в эту ночь, я считаю, что больше не должно быть тайн между нами. По-видимому, вы давно знаете, что я люблю Марию, может быть, и она равнодушна ко мне.

— О да, — улыбнулся изгнанник, — если только я умею читать признаки любви и могу верно истолковать их. Едва заходит речь о вас, милая барышня сразу опускает глаза, ну точь-в-точь как вы сейчас, и краснеет до самых ушей. К тому же она как-то по-особенному выговаривает ваше имя, будто все струны ее сердца сливаются в этот миг в один аккорд.

— О, ваш острый взгляд, должно быть, все правильно подметил. Я очень хочу попасть в Лихтенштайн. Когда я отказался от Швабского союза, то решил сразу же отправиться домой, но, сообразив, что Альпы на поддороге к Франконии, вздумал еще раз повидать барышню. Вот Ханс и повел меня через Альпы. Однако, вы знаете, путешествие мое застопорилось, потеряно восемь дней. А теперь, лишь только взойдет солнце, я поднимаюсь наверх, в замок, и надеюсь, как сторонник герцога, буду для старого рыцаря более желанным гостем, чем прежде.

— Еще бы! Ведь он — ярый защитник и друг герцога, всегда ему верен. Однако может такое случиться, что старик вам не поверит, он вообще не очень-то доверчив к незнакомым людям

и часто бывает угрюмым. Знаете, в каких я с ним отношениях? Для меня он тот милосердный самаритянин, который снабжает несчастного изгнанника горячей едой и не менее горячим участием и утешением. Пара строчек от меня могут рекомендовать вас лучше, чем пропуск императора. А еще лучшим знаком для него и для других будет вот это кольцо, которое я хочу вам подарить на память о том времени, когда вы объявили себя сторонником правого дела и защитником герцога Вюртембергского.

С этими словами изгнанник снял со своего пальца широкое золотое кольцо с красным камнем, на котором был изображен герб Вюртемберга с ветвистыми оленьими рогами и охотничьим рогом. На кольце были выгравированы буквы, смысл которых Георг сначала не понял.

— У. Г. В. И. Т. Что означают эти буквы? — спросил он. — Это пароль сторонников герцога?

— О нет, мой юный друг. Это кольцо долгое время носил сам герцог на своей руке и очень им дорожил. У меня есть и другие его реликвии, но это самая ценная. Буквы же означают следующее: Ульрих, герцог Вюртемберга и Тека.

— О, это кольцо останется навсегда дорогим для меня, как память о несчастном владыке и воспоминание о встрече с вами, уважаемый рыцарь, ночью в пещере.

— Когда вы подойдете к подъемному мосту Лихтенштайна, — посоветовал изгнанник, — отдайте первому попавшемуся слуге мою записку и это кольцо и поручите ему отнести их хозяину замка, тогда вы наверняка будете приняты, как родной сын герцога. Но вот для барышни нужно совсем другое, на нее не действует мое волшебство. Вы должны иметь для нее свои собственные знаки внимания — тайный язык взглядов, нежный поцелуй, сердечное рукопожатие, поэтому, чтобы появиться перед возлюбленной в должном виде, вам необходимо отдохнуть, а не то ваши глаза потускнеют от бессонницы. Последуйте же моему примеру — растянитесь на шкуре косули, а под голову вместо подушки подложите свой плащ. А ты, мой мажордом, мой виночерпий, верный спутник в моем несчастье, дорогой Ханс, наполни еще раз этому паладину кубок на сон грядущий, чтобы мех показался ему мягкой периной, каменный грот — удобной спальней и бог сна подарил ему образ любимой.

Рыцари осушили кубок и улеглись на покой, а Ханс, как верный пес, уселся на пороге.

Вскоре явился чарующий Морфей¹, осенил своими нежными крыльями неприхотливое ложе юноши и рассыпал над ним маковые зерна.

В полусне юный рыцарь слышал, как изгнанник читал молитву с благочестивым упованием, моля Правителя судеб ниспослать свою защиту ему и той стране, в глубоких недрах которой он собирался провести ночь.

ГЛАВА 7

Из глубин зеленого дола
Вознесся, словно невесомый,
Замок Лихтенштайн...

Г. Шваб²

Наутро Георг, разбуженный добросовестным музыкантом, сначала не мог вспомнить, где он находится, но мало-помалу в его душе воскресли картины прошедшей ночи, и он с радостью ответил на рукопожатие изгнанника.

— Мне очень бы хотелось попросить вас остаться в моем дворце на несколько дней, — приветливо сказал тот, — но я все-таки советую вам двинуться в Лихтенштайн, если вы желаете получить горячий завтрак. В моей пещере, к сожалению, нельзя ничего приготовить, так как мы не разводим огня, чтобы дымом не выдать своего присутствия.

Георг согласился с его доводами и поблагодарил за гостеприимство:

— Это истинная правда, мне редко доводилось проводить время в такой приятной обстановке, как в этой пещере. Есть что-то волшебное в том, чтобы быть глубоко под землей и беседовать с другом. Я бы не поменял самый красивый зал великолепного дворца на этот каменный грот.

— Да, конечно, когда с друзьями пускаешь по кругу праздничный кубок, — подтвердил изгнанник, — но ежели вынужденно сидишь, одинокий, в подземелье и обдумываешь свое несчастье, а душа рвется в зеленый лес под голубыми небесами, глаза,

¹ *Морфей* — в греческой мифологии бог сновидений, сын бога сна Гипноса. Изображался обычно крылатым.

² «Замок Лихтенштайн».

утомленные подземным великолепием, мечтают обратиться к цветущим долинам и высоким горам отчизны, уши, оглушенные монотонным журчанием воды, капля за каплей струящейся по каменным стенам и падающей в бездонную глубину, стремятся услышать пение жаворонка и шорох дичи в кустах, тогда это оцениваешь по-другому.

— Бедный человек! Должно быть, одиночество, действительно, ужасно!

— И тем не менее, — продолжал изгнанник, и гордое своеобразие блеснуло в его глазах, — я счастлив, что с помощью добрых людей нашел это убежище. Уж лучше спуститься еще вниз на сотню сажений, где невозможно вдохнуть ни глотка воздуха, чем попасть в руки моих врагов и стать объектом насмешек. Но даже если они нападут на мой след, эти кровожадные псы-союзники, буду ногтями вгрызаться в скалы и пробираться глубже и глубже, до самого сердца земли. А если они и туда нагрянут, я стану богохульствовать, прокляну всех святых, которые от меня отвернулись, и призову дьявола, чтобы он разорвал покровы тьмы и укрыл меня от преследований проклятого сброда.

В этот момент изгнанник был так страшен, что Георг невольно содрогнулся. Фигура страдальца как будто выросла, мускулы напряглись, лицо покраснело, глаза метали молнии, как бы ища врага, которого надо уничтожить, голос возвысился и уже гремел под сводами грота, раскаты эха угрожающе повторяли его проклятия.

Хотя последние слова рыцаря ужаснули юношу, но он не осуждал несчастного, оставшегося верным своему властелину, изгнанному из родного гнезда и отслеживаемому кровожадными охотниками.

— Но есть в этом и некое утешение, — сказал он изгнаннику. — Вы легче перенесете свое несчастье, зная, какого рода противники вам противостоят. Я удивляюсь вашей душевной стойкости, господин рыцарь! Это чувство удивления вынуждает меня на вопрос, который, возможно, будет нескромным, но вы ночью несколько раз называли меня другом, поэтому на правах дружбы я и спрошу: вы ведь Маркс фон Швайнсберг, не правда ли?

Должно быть, в этом вопросе было что-то смешное, чего не почувствовал Георг, зато уловил изгнанник, — по крайней мере, мрачную мину с его лица будто ветром сдуло, и он сначала тихо

улыбнулся, затем разразился таким громовым хохотом, что к нему присоединился и музыкант.

Георг попеременно смотрел то на одного, то на другого, но его вопросительные взгляды, казалось, лишь подливали масла в огонь. Наконец изгнанник овладел собою.

— Простите, мой милый гость, если я хоть на секунду оскорбил вас своим смехом. Готов проглотить свой собственный язык, прежде чем вас высмеивать. Но только скажите, почему вы вдруг вспомнили о Марксе? Вы его знаете?

— Лично с ним незнаком, но знаю, что это храбрый рыцарь, изгнанный из-за герцога. Союзники его отслеживают. Разве все это к вам не относится?

— Благодарю вас за то, что вы считаете меня храбрым рыцарем, но хотел бы вам посоветовать не попадаться ночью на пути Маркса: он без лишних слов порубает вас на куски. Швайнсберг — маленький, толстый парень, на голову ниже меня, потому я и невольно рассмеялся. В остальном же он — человек чести, один из немногих, кто не покинул в беде своего господина.

— Значит, вы не Швайнсберг, — печально пробормотал Георг, — и я должен уйти, так и не узнав, кто же мой друг.

— Молодой человек! — произнес изгнанник с неподдельным величием, слегка смягченным чувством дружелюбия. — Благодаря вашему открытому, свободному взгляду, теплоте участию в отношении несчастного герцога и всему вашему добросердечию вы приобрели друга. Этого вполне достаточно, больше не задавайте вопросов, неосторожное слово может разрушить наши доверительные отношения, которые мне так приятны. Будьте здоровы, вспоминайте о безымянном изгнаннике и будьте уверены в том, что не пройдет и нескольких дней, как вы услышите обо мне и узнаете мое имя.

Георгу показалось, что, несмотря на свое непрезентабельное платье, перед ним стоит настоящий князь, такое величие сияло на его лице и такой царственный свет излучали его глаза.

Между тем музыкант зажег факел и стоял, ожидая у входа в грот. Изгнанник протянул юноше руку и поцеловал его в губы.

Георг шел и думал о том, что произошло. Никогда еще в его жизни ему не встречался человек, который был бы так дружелюбен и одновременно так возвышался над ним. Никогда прежде он не ощущал такого, чтобы человек в нищенской одежде, в окру-

жении скал излучал такое величие и благородство, ослепляющее глаза и подавляющее собственное «я».

Погруженный в эти мысли, юноша шагал по пещере. Возвышенная красота природы, поразившая его при входе, сейчас потеряла в его глазах очарование. Он больше не удивлялся величию подземного царства, а восхищался величию человеческого духа, превосходящего ночную красоту скал и длинных переходов, размышлял о грандиозности души, прикрытой нищенскими одеждами, не способными, однако, скрыть истинное благородство.

Ясный приветливый день встретил путников, когда они вышли наружу. Георг облегченно вздохнул и взбодрился от прохладного воздуха, сменившего влажные испарения подземелья, отчего, должно быть, оно и получило название — Пещера Туманов.

Они нашли лошадь юного рыцаря отдохнувшей и бодрой, на том же самом месте, где ее привязали. И даже оружие, притороченное к седлу, не испортила ночная роса, как опасался Георг, потому что музыкант накинул на спину животного огромный плащ, служивший ему защитой от непогоды и холода. Георг осмотрел свою одежду и снаряжение, а крестьянин поднес охапку сена гнедому. Затем они стали взбираться в гору. И лишь только прошли несколько шагов, как утреннюю тишину нарушил звон колокола в долине. Ему ответил другой, третий, четвертый. Вскоре добрая дюжина колоколов перекликалась с гор и из глубины долины. Удивленный юноша придержал коня.

— Что это? Где-то пожар или сегодня праздник? Из-за болезни я совсем потерял представление о времени и вспоминаю про воскресенье только тогда, когда вижу девушек в новых юбках и свежих фартуках.

— Так обычно бывает с военными, — ответил Ханс. — Я и сам обо всем забываю, когда в голове сидят вещи поважнее, чем месса и проповедь, но сегодня совсем другой случай, — продолжал он, посерьезнев, и осенил себя крестным знамением. — Нынче Страстная пятница. Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков! — откликнулся юноша. — Первый раз в жизни я не отмечаю этот день как положено. В Страстную пятницу я всегда вспоминаю про прекрасные дни моего детства. Жив был тогда еще отец, у меня была милая добрая матушка и крохотная сестричка. Мы, дети, радовались Страстной пятнице, хотя и не знали значения этого события, но подсчитывали, что через два

дня грядет Пасха и матушка одарит нас прекрасными вещами. *Requiescant in pace*¹, — добавил он, отвернувшись, чтобы скрыть заблестевшие на его глазах слезы. — Они на том свете, празднуют втроем святую Страстную пятницу.

— В такой день нельзя, разумеется, высказывать грешные мысли, — после некоторого молчания произнес Волынщик, — но мой духовник, надеюсь, меня простит. Не печальтесь, юнкер. Тем, кто уже уснул, хорошо, а те, кто жив, должны смотреть вперед, а не оборачиваться назад. Я бы на вашем месте думал о том, чем одарить на Пасху своих будущих детей, и воображал, как они будут радоваться Страстной пятнице. Разве вы не едете к невесте и разве известная вам барышня не станет милой доброй матерью?

Георг напрасно пытался подавить невольную улыбку, вызванную таким необычным утешением.

— Ты вынужден был это сказать, добрый друг, — проговорил он наконец. — Никому другому я не позволил бы произнести при мне такие грешные слова.

— О нет, господин! Я никак не хотел обидеть ни вас, ни милую барышню. Не будем больше говорить об этом. Видите вон ту башню на утесе? Не пройдет и четверти часа, как мы будем там, наверху.

— Насколько я мог вчера ночью разглядеть, замок расположен на одиноком утесе. Видит бог, раньше это была смелая идея — построить там недоступное жилище, если недруги, конечно, не научились бы у коршунов летать. Но сейчас, боюсь, туда можно попасть из пушек.

— Вы так думаете? Не волнуйтесь: внутри есть кое-что, способное сказать ответное слово. Если вы заметили, долину окружают скалы, и оттуда можно не ожидать неприятностей; единственная сторона замка, к которой подступают горы, — это там, где находится подъемный мост. Однако попробуйте установить здесь орудие и уследить за тем, чтобы обитатели Лихтенштайна из окон не взяли вас на мушку, прежде чем вы объявитесь поблизости. Да и как втащить орудие по этим ущельям и скалам к ласточкину гнезду прежде, чем несколько решительных человек не причинят вам вреда?

— Ты абсолютно прав, — согласился Георг, — но хотел бы я знать, кому пришла в голову мысль построить замок на утесе?

¹ Покойтесь с миром (*лат.*).

— Я вам скажу, — ответил музыкант, знающий все легенды своей родины. — Много-много лет назад жила одна женщина. Терпела она, терпела преследования и гонения, а выхода не находила. И вот как-то забрела на этот утес и увидала огромного коршуна с семьей, не опасавшегося преследований. Решила она прогнать этого коршуна с насиженного места. Приказала женщина построить на утесе замок и, когда все было готово, велела поднять подъемный мост, взобралась на зубец башни и сказала: «Теперь я друг Господа Бога и враг всему свету». Больше никто и ничего не мог ей сделать. Но смотрите, мы уже прибыли. Прощайте, юнкер, может, увидимся сегодня ночью. Я сейчас спущусь и принесу господину в пещеру новые известия. Не забудьте отдать на мосту письмо и кольцо для хозяина замка и постарайтесь не нарушить тайну.

— Не беспокойся! Благодарю за сопровождение и прошу передать привет дорогому другу в пещере.

Сказав это, Георг прищипил коня и спустя несколько мгновений очутился у внешних укреплений замка.

Слуга, охранявший ворота, опросил прибывшего и передал служителю для доставки старому рыцарю записку и кольцо изгнанника.

Георг имел достаточно времени, чтобы рассмотреть замок и его окрестности. Ночью, при обманчивом свете луны, будучи в таком душевном состоянии, которое не могло сделать его внимательным наблюдателем, ему бросилась в глаза необыкновенно смелая архитектура замка. Теперь же, при дневном свете, он с изумлением разглядывал его оригинальную постройку. Подобно колоссальной башне собора, из глубокой альпийской долины высоко и свободно взмывал вверх красивый утес. Вокруг него простиралась земля, а он, одинокий, будто высеченный молнией из глубоких недр или выброшенный землетрясением, стоял как памятник стародавних времен. Лишь с юго-западной стороны, где утес приближался к прочим горам, зияла глубокая расселина, достаточно широкая для того, чтобы сделать невозможным самый смелый прыжок серны, но не настолько просторная, чтобы изобретательное искусство человека не могло соединить разделенные части посредством моста.

Подобно птичьему гнезду на высочайшей вершине дуба или на недостижимых зубцах башни, замок висел на утесе. Должно

быть, наверху было ограниченное пространство, так как, кроме башни, виднелось лишь одно укрепленное помещение, но множество бойниц и несколько широких отверстий в нижней части здания с выдававшимися из них дулами тяжелых орудий показывали, что замок был хорошо защищен и, несмотря на небольшое пространство, которое занимал, далеко не был крепостью, достойной пренебрежительного отношения. Множество больших окон в верхнем этаже придавали ему открытый, веселый вид, а солидный фундамент и подстенки, которые, казалось, вросли в скалу и приняли от времени и непогод почти такой же серо-бурый цвет, как и каменная громада, на которой они покоились, выказывали, что замок держится на прочном основании и что он не дрогнет ни перед силою стихии, ни перед натиском людей. Прекрасный вид открывался с высоты замка, не менее красивы были и высокие зубцы сторожевой башни и длинная череда окон замка.

Такого рода мысли пробегали в голове Георга, когда он ожидал, чтобы перед ним раскрылись ворота по сю сторону расселины. Вскоре на мосту раздалися шаги, ворота отворились. Георга встречал сам хозяин замка. Это был серьезный господин в летах, которого Георг не раз видел в Ульме; черты его бледного благородного лица с грустными выразительными глазами, напоминающие образ любимой, глубоко запали в душу юноши.

— Добро пожаловать в Лихтенштайн, вы здесь желанный гость, — сказал пожилой господин, протягивая Георгу руку. Благосклонная приветливость смягчила всегдашнюю его строгую серьезность. — А вы что стоите, бездельники? — обернулся он после первого приветствия к слугам. — Уж не придется ли юнкеру вести своего коня наверх? Быстрее с ним на конюшню! А снаряжение отнесите в зал... Простите, уважаемый гость, что вас заставили так долго ждать. В этих парнях мало толку. Не угодно ли вам последовать за мною?

С этими словами старик двинулся по подъемному мосту, Георг поспешил за ним. Его сердце стучало от нетерпения увидеть любимую, щеки горели от любви и стыда за появление здесь последней ночью, глаза искали окно, за которым скрывалась милая, слух напрягся в ожидании ее голоса. Но напрасно взгляды рыцаря буравили толстые стены, напрасно уши ловили каждый звук — она, видно, не желала показываться ему на глаза.

Хозяин и гость остановились у внутренних ворот. Ворота эти были на старинный лад, глубоки, крепко построены, снабжены опускаемыми решетками, отверстиями для кипящего масла и воды — короче, теми хитроумными средствами защиты, которые в старые времена отражали нападающего врага в случае, если тот захватывал мост.

Могучими стенами и укреплениями, которые тянулись от ворот вокруг замка, Лихтенштайн был обязан не только искусству архитектора, но и услужливости природы: целые скалы вошли в линию построек, даже прекрасная просторная конюшня и прохладные камеры, служившие погребам, были высечены в скале.

Удобная извилистая дорожка вела в верхнюю часть жилья. И здесь также не были забыты военные приспособления для защиты. В стенах прихожей, там, где бывает обыкновенно выставлена домашняя утварь, были помещены грозные двуствольные ружья и стояли ящики зарядов.

Глаза старого рыцаря с выражением определенной гордости остановились на этих странных предметах домашнего обихода. В то время подобное вооружение было признаком зажиточности, даже богатства, так как не всякий частный человек был в состоянии снабдить свой замок четырьмя, много — шестью орудиями.

Отсюда, сопровождаемый Георгом, хозяин направился на второй этаж, где находился необыкновенно красивый, с большими окнами вокруг, просторный зал.

Старый рыцарь отдал слуге, следовавшему за ними, несколько приказаний, и тот удалился.

ГЛАВА 8

Тронутый жертвой высокой,
Граф не сдержал порыва,
Глаза его засверкали,
Сердце дружбе было открыто.

Ф. Конц¹

Теперь, когда мужчины остались одни в громадном зале Лихтенштайна, старик вплотную подошел к Георгу и посмотрел на него испытующим взглядом. Луч воодушевления и какой-то

¹ «Исторический романс».

тихой радости блеснул в его глазах, задумчивость исчезла, лицо прояснилось, как у отца, который встретил сына, вернувшегося после долгого путешествия, непрошенная слеза отуманила его старческий взор — то была слеза радости. С нежностью родного отца прижал старик изумленного юношу к своему сердцу.

— Обычно я не чувствителен, — сказал он Георгу после сердечного объятия, — но такие минуты берут свое — так они редки! Могу ли я верить своим старым глазам? Не обманчив ли почерк этого письма? Настоящая ли здесь печать, смею ли я ей доверять? Однако что же я сомневаюсь! Сама природа вложила неопровержимое доказательство в располагающие черты вашего открытого лица. Нет! Вы не можете обманывать — дело моего несчастного господина нашло нового сторонника.

— Если вы имеете в виду изгнанного герцога, то вы правы: он нашел горячего защитника. Молва давно говорила о господине фон Лихтенштайне как о верном друге герцога, но я и без совета того несчастного человека, который прислал вам записку, посетил бы вас.

— Сядьте рядом со мною, мой юный друг, — проговорил старик, все так же с любовью глядя на юношу, — и послушайте, что я скажу. Я вообще-то не люблю тех, кто меняет свои взгляды, один лагерь на другой. За свою долгую жизнь я осознал, что следует уважать убеждения другого человека и, если у кого-то чистые побуждения, не надо его за это проклинать, даже если он придерживается иных взглядов. Но кто меняет свое мнение с такими бескорыстными намерениями, как вы, Георг фон Штурмфедер, то есть отворачивается от удачи и счастья и устремляется за несчастьем, тот достоин многого, его перемена ценна, ибо такой поступок носит печать благородства.

Георг, покраснев, почувствовал себя неловко от похвал старого рыцаря. Ведь это его очаровательная дочь привела юношу под знамена своего отца! Но не упадет ли он в глазах уважаемого человека, если объяснит ему мотивы своего поступка?

— Вы слишком добры ко мне, — скромно потупился Георг. — Часто намерения человека скрываются гораздо глубже, чем это кажется на первый взгляд. Поверьте, хотя моим переходом на вашу сторону и руководило отчасти возмущенное чувство справедливости, однако были еще и другие, более основательные побуждения. Я не хочу, господин рыцарь, чтобы вы считали меня лучше, чем я есть на самом деле. Мне было бы больно, если бы

вы впоследствии, узнав главную причину моего перехода к вам, уменьшили бы свою благосклонность.

— Напротив, я еще более люблю вас за откровенность, — сказал хозяин замка и пожал руку гостя. — Я доверяю своему опыту и знанию людей и смело могу утверждать, что если, кроме чувства справедливости, вами руководило еще какое-то скрытое намерение, то оно не может быть дурным. Кто имеет злой умысел, тот обыкновенно труслив, а кто труслив, тот не решится сказать правду в глаза стольнику и герцогу Баварскому, открыто порывая с союзом, как это сделали вы.

— Так вы что-то слышали обо мне? — с радостным изумлением спросил Георг. При этих словах дверь отворилась, слуга внес кубки с вином и поднос с дичью.

Хозяин не ответил на вопрос гостя и, лишь кивком удалив слугу, проговорил:

— Не пренебрегайте завтраком. Хотя первый кубок должна вам поднести хозяйка дома, как того требует обычай старого доброго времени, но жена моя давно умерла, а единственная дочь — Мария — ушла сегодня в деревню на утреннюю мессу, сегодня ведь Страстная пятница. Итак, вы меня спросили, слышал ли я что-либо о вас. Теперь вы наш, и я могу быть с вами откровенен, могу сказать то, о чем в другое время бы промолчал. Когда вы въезжали с союзным войском в Ульм, я был как раз там, приехал, чтобы забрать свою дочь, а главное — разузнать кое-что важное для герцога. Золото открывает все двери! — Старый рыцарь улыбнулся. — Даже двери военного совета. Я ежедневно слышал то, что там говорилось. Когда же была объявлена война, я вынужден был уехать. Но у меня остались там верные люди, которые мне сообщали все тайны союзников.

— Среди них и Волынщик из Хардта, которого я встретил у изгнанника?

— И который провожал вас через Альпы. Да. Он всегда приносит важные сведения. Как раз он-то и узнал, что союзники решили подослать к герцогу шпиона, чтобы тот рыскал в окрестностях Тюбингена и сообщал союзу о наших действиях. Я узнал, что выбор пал на вас. Поймите меня правильно, вы были для меня безразличны, я лишь сожалел, что вы так молоды, ведь если бы вы пробрались через Альпы как шпион, то были бы схвачены и беспощадно наказаны. Пришлось бы вам сидеть в глубоком подземелье, не видя ни луны, ни солнца. Тем удивительнее было

для меня и наших сторонников известие о том, что вы отказались от подобной миссии и мужественно заявили об этом высоким начальникам. И о том, что вы поклялись четырнадцать дней не предпринимать ничего против союзников, я тоже знаю. Теперь же я радуюсь тому, что вы — наш друг!

Лицо юноши горело, глаза светились: все преграды между ним и Марией рушились.

Его давняя мечта, как он полагал, далекая от осуществления, наконец становилась явью — он добился благосклонности отца Марии.

— Да, я отказался от поручения союзников, — подтвердил Георг, — потому что оно было мне не по душе, и стал вашим сторонником, хотя и мало знал о вашем деле. Но когда в пещере я слушал речи благородного изгнанника и они пронзили мое сердце, я понял, что должен быть на его стороне, должен бороться за его правое дело. Как вы считаете, мне скоро что-нибудь поручат? Я ведь к вам пришел не для того, чтобы сидеть сложа руки.

— О, я это понимаю, — сказал, улыбаясь, старый рыцарь, — сорок лет назад и у меня была такая же горячая кровь, и я не мог сидеть на одном месте. Как идут сейчас дела, вы и сами знаете: скорее плохо, чем хорошо. Южную часть страны они уже захватили, под их пятой и окрестности Ураха. В одном мы уверены: коли устоит Тюбинген, победа будет за нами.

— Тому порукой честь сорока рыцарей, — с воодушевлением воскликнул Георг, — а сорок благороднейших воинов так просто не сдадутся! Это невозможно, это не должно произойти! Ведь там находятся дети герцога и сокровища герцогского рода. Они должны их удержать.

— О, если бы все думали так, как вы! От Тюбингена зависит многое. Если герцогу удастся снять осаду, то Тюбинген станет той отправной точкой, откуда начнется освобождение страны. Там ведь много военных запасов, сосредоточена большая часть вюртембергского дворянства, и, если они будут держать сторону герцога, земля будет отвоевана, потому что народ предан герцогу. Но я боюсь, боюсь!

— Чего? Эти сорок рыцарей никогда не сдадутся!

— О, вы не искушенный жизнью человек! — ответил старик. — Не знаете еще, в какие соблазны могут впасть и в каких западнях очутиться даже честные люди. Некоторым из тех, что в крепости, герцог чересчур доверял. Сейчас он понял, что дело не совсем

чисто, потому и послал рыцаря Маркса Штумпфа фон Швайнсберга с поразительным письмом, в котором пишет, чтобы они не сдавали замок, дали ему возможность прибыть туда, он готов там умереть, если от него отвернулся Господь Бог.

— Несчастный человек! — воскликнул тронутый словами рыцаря Георг. — Но я не верю, что цвет рыцарства способен так кощунствовать. Они впустят герцога в крепость, он воодушевит их своим мужеством, они пойдут на прорыв и разорвут окружение, несмотря на герцога Баварского и Фрондсберга. Мы же присоединимся к ним, сражаясь, проберемся через всю страну и прогоним союзников.

— Маркс Штумпф еще не вернулся, — озабоченно проговорил Лихтенштайн. — Со вчерашнего дня там прекратили стрельбу. Каждый выстрел слышен здесь, в замке. Но уже вчера было тихо как в могиле.

— Может, канонада умолкла из-за праздника. Подождем, завтра утром или сразу после Пасхи, в понедельник, опять все загремит так, что задрожат скалы.

— Что вы! Из-за праздника? Оставаться верным своему герцогу тоже благочестивое дело. Может, святым на небе приятнее слышать пальбу пушек со стен крепости в Тюбингене, нежели видеть рыцарей бездейственными. Бездействие — начало порока! Но думаю, как только Штумпф появится в замке, он расшевелит их и отвратит от бездействия.

— Вы говорите, что герцог послал рыцаря фон Швайнсберга в Тюбинген? И он сам туда собирается, так как осажденные заколебались. Значит, он не уехал в сторону Мемпельгарда, как говорят люди? Может, герцог где-то поблизости? О, я хотел бы его видеть и пробраться с ним в Тюбинген!

Странная улыбка пробежала по серьезному лицу старика.

— Вы его увидите, когда придет время. Ему будет приятно встретиться с вами. Он и так уже любит вас. Если посчастливится, вы пойдете с ним в Тюбинген, даю вам слово! А сейчас прошу извинения, меня зовет неотложное дело. Потерпите часок в одиночестве. Пригубите вино, осмотритесь в моем доме. Я бы мог пригласить вас на охоту, если бы не Страстная пятница.

Старый рыцарь пожал гостю руку и покинул комнату. Вскоре Георг увидел его выезжающим из замка в направлении леса.

Оставшись один, юноша решил заняться своим костюмом, который в результате ночной езды и пребывания в пещере при-

шел в некоторый беспорядок. Кто побывал в его положении — в ожидании возлюбленной, конечно, не осудит, что юный рыцарь подошел к небольшому зеркалу из полированного металла, должно быть принадлежавшему Марии, чтобы привести перед ним в порядок волосы на голове и бородку, почистить куртку и уничтожить малейшие следы беспорядка в одежде. Затем он вышел из комнаты и стал искать окно, из которого видна бы была дорога, по которой пойдет из деревни любимая.

Его одолевали радостные мысли, пробегавшие пестрой чередой, подобно легким облачкам на небосклоне. Он был в замке, о котором мечтал больше года, видел его во сне. Об этих горах и скалах она часто ему рассказывала. Здесь, в этих покоях, протекало ее детство! Было что-то привлекательное в комнатах, где она выросла. Можно себе представить годы, когда маленькая девочка бегала по этим переходам, залам и зальчикам. Здесь ее, маленькую, учила мама вести домашнее хозяйство, что спустя годы так пригодилось юной хозяйшечке. Должно быть, в детской головке возникали собственные представления о доме, — улыбаясь, подумал Георг, — и в этом уголке она лепила из хлебных крошек, взятых на кухне, блюда собственного изобретения и потом кормила ими деревянных куколок, изготовленных искусной рукой слуги, затем укачивала их. И вот наступила пора взросления, ребенок превратился в грациозную юную девушку. А где же те укромные местечки во дворе и саду, которые были милы ее сердцу, и где она, серьезная и милая, усаживалась с прялкой и тянула золотую нить, в то время как ее отец или мать рассказывали о днях своей молодости, преподнося мудрые поучения и возвышенные мысли?

А где же то окно, перед которым она, повзрослев, сидела и с неосознанной тоской устремляла вдаль свой взор, пытаясь предугадать будущее, и погружалась в сладкие грезы?

Георгу было необыкновенно приятно в замке. Здесь, казалось, царила душа любимой, и он мысленно ее приветствовал. Об этом садике на узкой площадке скалы заботилась она... Эти цветы в вазе на столе, скорее всего, сорвала сегодня ранним утром она... Юноша наклонился над цветами и поднес к губам благоухающие фиалки. Но что это? Ему послышался шорох женского платья. Он оглянулся. Мария! Широко раскрыв глаза, как бы им не веря, любимая стояла на пороге зала.

Георг бросился ей навстречу, протянув к ней свои сильные руки, и она убедилась, что это вовсе не дух, а живой человек — ее Георг.

— О, как же я настрадалась! — проговорила девушка. Ее бледное осунувшееся лицо подтвердило правоту грустных слов. — Как же тяжело было у меня на сердце, когда я рассталась с тобою в Ульме! Ведь не было никакой надежды увидеть тебя вскоре. Когда же Ханс сообщил мне, что ты направлялся в Лихтенштайн и был ранен по дороге, сердце мое чуть не разорвалось от боли и невозможности за тобою ухаживать.

Георг, посрамленный за свою глупую ревность, почувствовал себя жалким и маленьким на фоне любви Марии. Он попытался скрыть свое смущение и принялся подробно описывать, как все произошло: как распрощался со Швабским союзом, как продвигался через Альпы, как на него напали и как он ускользнул от забот жены музыканта, чтобы ехать в Лихтенштайн.

Юноша выкладывал все начистоту, но Мария то и дело своими вопросами приводила его в смущение, особенно когда с изумлением спросила, почему он в первый раз появился у Лихтенштайна глубокой ночью. Красивые ясные глаза любимой были устремлены на него, и он не мог ей солгать.

— Буду откровенным, — произнес Георг, опустив глаза. — Хозяйка постоялого двора в Пфулингене обманула меня. Она сказала о тебе такое, что я не мог спокойно слушать.

— Хозяйка? Обо мне? — улыбнулась Мария. — И что ж это было такое, что погнало тебя ночью в горы?

— Оставим это! Я был дурак дураком! Изгнанный рыцарь уже убедил меня в том, что я был не прав.

— Нет, нет, — просительно произнесла девушка, — так просто ты от меня не отделаешься. Что знает обо мне эта сплетница? А ну-ка сознавайся!

— Ладно, только не смейся. Она рассказала, что у тебя есть дружок и ты его по ночам впускаешь в замок, когда отец спит.

Мария покраснела. Негодование и желание посмеяться над глупостью боролись в ее душе.

— Ну, я надеюсь, — помедлив, проговорила она, — ты, конечно, ответил подобающим образом на эту клевету и с негодованием покинул постоялый двор, подумав, что лучше тебе переночевать в нашем замке.

— Честно сказать, я так не думал. Видишь ли, я был еще не совсем здоров и поначалу решил, что все это неправда. Но хозяйка сослалась на твою кормилицу, старушку Розель, будто бы я обманут. О, не отворачивайся, Мария! Не сердись на меня! Я вскочил на коня и помчался к замку, чтобы переговорить с тобою и убедиться в том, что ты меня еще любишь.

— А ты сомневался? — воскликнула Мария, и слезы хлынули из ее глаз. — То, что госпожа Розель говорит подобные вещи, нехорошо, но она старая женщина и любит посплетничать. То, что хозяйка постоялого двора с удовольствием это пересказывает, не так уж скверно: у нее нет другого приятного занятия. Но ты, Георг, как мог ты, хоть на мгновение, поверить в чудовищную ложь? Ты хотел убедиться...

Слезы обиды не дали ей договорить. Георг и сам был зол на себя за собственную глупость, но его оправдывала любовь, и он попытался это объяснить:

— Прости меня! Но если бы я не был так влюблен, то, разумеется, ни за что бы не поверил. О, если бы ты знала, какой бывает ревность!

— Кто любит по-настоящему, тот не ревнует! — возмущенно воскликнула Мария. — Тогда, в Ульме, ты уже сказал мне что-то подобное, и это задело меня. Но ведь ты меня совершенно не знаешь. Если бы ты любил меня так, как я тебя люблю, в твою голову не пришли бы глупые мысли.

— О нет! Ты не права. — Георг схватил руку девушки. — Как ты можешь меня упрекать в том, что я тебя люблю не так, как ты меня? Разве не может такое случиться, что перед тобой возникнет более достойный человек и вытеснит из твоего сердца бедного Георга? Все возможно на этом свете!

— Возможно? — прервала его Мария с той самой гордостью, какую он часто видел на лице дочери знатного рыцаря Лихтенштайна. — Если вы, господин фон Штурмфедер, хоть на миг допускаете подобную возможность, то я повторяю: вы никогда меня не любили. Настоящий мужчина не может колебаться, как тростник на ветру, он должен твердо стоять на своем и, если влюблен, обязан верить в свою любовь.

— Я не заслужил подобного упрека! — проговорил, вскочив, Георг. — Значит, по-твоему, я будто тростник под ветром, и меня за это презирают... Вот как! — прошептал он чуть слышно, но так, чтобы его слова достигли ушей девушки.

В его душе разгорался гнев.

— Следовательно, ты меня презираешь, а ведь именно ты побуждала меня к колебаниям! Я искал тебя на стороне союзников и был счастлив, когда нашел. Ты уговорила меня отойти от союза, я от них ушел, даже больше — примкнул к вам, что едва не стоило мне жизни, но я не испугался и принял сторону Вюртемберга; наконец, пришел к твоему отцу, он принял меня, как сына, и радовался, что я стал другом. А вот его дочь считает меня тростником, который качается под ветром то туда, то сюда! Что ж, в последний раз я склонюсь под твоим влиянием! Я уеду отсюда прочь! Уеду, так как здесь пренебрегают моею любовью!

И он схватил свой меч, взял берет и направился к двери.

— Георг! — Возглас любви остановил юношу на пороге. Мария схватила его за руку.

Гордость, гнев, негодование испарились, исчезли даже слезы, одной любовью светились ее глаза.

— Ради всего святого! Георг! Я не имела в виду ничего плохого! Останься! Давай все забудем! Мне стыдно, что я не сдержалась!

Но гнев мужчины не так-то легко усмирить. Георг отвернулся, чтобы не видеть ее молящего взора и просительной улыбки, — он твердо решил покинуть замок.

— Нет! Ты больше не повернешь в свою сторону тростник. Но отцу расскажи, как изгнала из дома гостя!

Стекла задрожали от его гневного крика. Он вырвал свою руку из ее рук и распахнул двери, чтобы исчезнуть навсегда. Однако кто-то задержал юношу на пороге, и об этом человеке мы расскажем в следующей главе.

ГЛАВА 9

Апрель сипит да дует,
Бабе тепло сулит,
А мужик глядит:
Что-то еще будет.

Старинная поговорка

За дверью, согнувшись, стояла тощая, костлявая старуха — госпожа Розель, старейшая служанка в доме, здесь выросшая и постаревшая, ставшая уже неотъемлемой частью домашнего оби-

хода. Свою незаменимость она особенно ощутила после смерти госпожи Лихтенштайн, когда заботливо обратилась к воспитанию осиротевшей Марии. Розель выросла из простой горничной в няню, потом из няни в домоправительницу и затем главную распорядительницу и советчицу при Марии. Как умный полководец, сметливая женщина укрепляла свои тылы; каждый оставляемый ею пост, переходя на новую ступень семейной иерархии, она никому не передавала, а закрепляла за собой, утверждая, что никто не сравнится с ее добросовестностью в данном деле.

Подобная ловкость и многолетняя служба позволили ей прибрать к рукам бразды правления в доме. Челядь под ее взглядом ходила как шелковая, буквально по струнке; она всем внушала, что господа ее чрезвычайно ценят, хотя вся их милость на самом деле состояла в том, чтобы не бранить старуху при остальных слугах.

С барышней в последнее время у них были не лучшие отношения. В детстве и ранней юности Мария полностью доверяла старой кормилице и даже, будучи в Тюбингене, приоткрыла ей тайну своей любви. Госпожа Розель принимала такое деятельное участие во всем, касающемся барышни, что постоянно говорила: «Мы больше всех любим господина фон Штурмфедера» или «У нас сердце буквально разрывается от разлуки».

Концу этого доверия послужили две вещи. Мария заметила, что госпожа Розель чрезмерно болтлива, и убедилась в том, что даже обсуждает с посторонними их отношения с Георгом. Она охладела к старухе, и та мгновенно сообразила, что было тому причиной. Когда же наметилась поездка в Ульм и госпожа Розель, несмотря на только что сшитую из красивого сукна новую юбку и нарядный чепчик из парчи, должна была по высокому повелению остаться дома, в Лихтенштайне, пропасть между ними еще более углубилась.

Доверие не восстановилось и после возвращения Марии из Ульма. Госпожа Розель, интересующаяся делами господ больше, чем жизнью челяди, неоднократно пыталась вытянуть из барышни какие-нибудь сведения о господине Георге и тем самым восстановить прежние доверительные отношения, но сердце Марии было переполнено заботами, вопросы кормилицы казались ей подозрительными, и она ей ничего не рассказала. А тут в замок по ночам стал являться изгнанный рыцарь, барышня украдкой

занялась приготовлением еды для него, и госпожа Розель, не посвященная в тайну, решила, что девушка остается с кавалером наедине, и поделилась своим открытием с хозяйкой постоялого двора в Пфулингене. Георг же, не подозревая об истинных отношениях барышни и кормилицы, доверился слухам. Известно, что из этого вышло.

Нынче утром госпожа Розель в воскресном наряде посетила с барышней церковь. Она исповедовалась перед священником в своих грехах, среди которых любопытство занимало не последнее место, получила отпущение и с легким сердцем воротилась в Лихтенштайн.

Елейные слова пастора не проникли так глубоко в душу, чтобы искоренить все ее прегрешения, поэтому она мгновенно заинтересовалась тем, что происходило в комнате, когда пошла спрятать четки и праздничные украшения. За дверью звучал голос барышни и глубокий мужской голос. Старухе даже показалось, что барышня плачет.

«Неужто он осмелился появиться тут днем, когда отец уехал?» — подумала она. Обыкновенное человеколюбие и сострадание подвинули любопытные глаза и уши к замочной скважине, и она уловила обрывки ссоры, свидетелями которой мы были.

Молодой человек так стремительно открыл дверь, что кормилица не успела даже разогнуться и отодвинуться от замочной скважины. Однако и в таком положении она мгновенно нашлась, решив не пропустить мимо себя Георга и не дать ему вымолвить ни слова. На юношу обрушился водопад слов, а костлявые руки буквально в него вцепились.

— О, какая радость! Я и не думала, что мои старые глаза когда-нибудь вновь увидят юнкера Штурмфедера. О, с тех пор вы стали еще красивее и выше ростом! Если бы я только знала! А то стою как истукан у двери и думаю: кто это разговаривает с благородной барышней? Господина рыцаря нет дома, слуг тоже. Что я могла подумать? А это к нам прибыл юнкер Георг! Он-то и разговаривает с барышней!

Напрасно Георг пытался во время этой длинной речи вырваться из цепких рук госпожи Розель. Он сразу понял, что не вправе показать ей, что сердит на Марию, но и оставаться ему здесь тоже не хотелось.

Наконец юноше удалось высвободить одну руку, но тут, не обращая внимания на высокомерную ухмылку старухи, к его груди приникла Мария. Георг встретил ее взгляд, который парализовал его волю. В душе юноши разразилась новая битва. Он чувствовал, что обида его куда-то уходит, понял, что Мария не хотела его обидеть.

Но как же теперь достойно вернуться? Показать, что он ничуть не задет ее словами?

Если бы они были с Марией наедине, это было бы вполне возможно, но на глазах такой свидетельницы повернуть назад, смягчившись всего лишь от взгляда? Вновь стать пленником? Он стыдился этой женщины, потому что стыдился самого себя. Известно, что стыд и неизвестность затрудняют возвращение, а разлука, даже короткая, разрушает самые радужные отношения.

Госпожа Розель в мгновение ока подметила страх и опасения своей барышни, и врожденное добросердечие тут же победило в ней небольшую толику злорадства. Она крепче вцепилась в руку юноши.

— Вы же не покинете нас, не пробыв даже часочек в Лихтенштейне? Прежде чем старушка Розель не накормит вас обедом, и не вздумайте удалаться. Это бы нарушило законы гостеприимства нашего замка. Да и наш господин, должно быть, вас не поприветствовал!

Победой Марии стали слова Георга:

— Мы с ним уже поговорили. Вон там стоят два кубка, которые мы осушили в честь встречи.

— Так! — продолжала гнуть свою линию старуха. — А разве вы не собираетесь с ним попрощаться?

— Я дождусь его в замке.

— Ну вот, а то собирались уйти! — Кормилица нежно подтолкнула юношу в зал. — Это прекрасный обычай. А то бы наш господин подумал, что мы принимаем у себя странного гостя. Кто приходит ясным днем, — старуха кинула пронзительный взгляд в сторону барышни, — кто появляется у нас белым днем, — повторила она, — у того совесть чиста, и ему не нужно прокрадываться, как ворю в ночи.

Мария, покраснев, сжала руку юноши, а тот невольно улыбнулся, зная о тайных подозрениях старухи и видя ее порицающий взгляд, брошенный на Марию.

— Да-да, — повторила кормилица, — не стремитесь улизнуть, как ночной вор. Вообще вам нужно было здесь раньше появиться. Старая поговорка гласит: кто хочет покоя, остается при своей корове. Больше ничего не буду добавлять.

— Ну, ты же видишь: он остается, — вступилась Мария. — А что ты хочешь сказать своими поговорками? Сама же знаешь, что они не всегда к месту.

— Вот как! А до сих пор они били не в бровь, а в глаз, хотя и были кому-то не по нраву, например, такие: «Худое худым и кончается», «Дурным поведением не заслуживается награды», или вот такое: «Раскаялся, да не воротишь», а еще лучше: «После драки кулаками не машут и советов не дают».

— Ладно, замолчи, наконец, — несколько раздраженно оставила кормилицу барышня, — ты мудро поступишь, ежели не дашь отцу понять, что уже знакома с господином Штурмфедером, а то он подумает, что рыцарь прибыл в Лихтенштайн ради нас.

В душе госпожи Розель боролись противоречивые чувства: с одной стороны, в ней нуждались и просили о молчании, но ведь, с другой стороны, барышня в последнее время ей совсем не доверяла. Кормилица пробормотала себе под нос нечто невразумительное и принялась расставлять стулья вдоль стен, затем убрала со стола кубки, вытерла оставшееся после них влажное пятно.

Мария украдкой кивнула Георгу, стоящему у окна и все еще не примирившемуся с нею. Ему самому тоже пришла в голову мысль, что лучше бы ее отец ничего не знал об их любви; в противном случае, опасался он, старый рыцарь посчитает это единственным мотивом, приведшим юношу в Вюртемберг, и несколько разочаруется в нем. Это соображение заставило его приблизиться к старой госпоже Розель и доверительно прикоснуться к ее плечу. Лицо старухи посветлело.

— Надо признать, — сказал Георг приветливо, — у госпожи Розалии очень красивый чепчик. Вот только лента не совсем к нему подходит, она старая и выцветшая.

— Да ну, — отмахнулась старуха, тронутая дружеским вниманием, — пусть вас не беспокоит мой чепец, в чужие дела не стоит соваться. Каждому свое. Я бедная женщина и не могу одеваться, как графиня. На руке и пальцы не равны, и лист на дереве не ровен.

— Я не это имел в виду, — примирительно заметил Георг, доставая из кошель серебряную монету. — Сделайте мне одолжение, госпожа Розалия, смените, пожалуйста, ленту. А чтобы вы не посчитали мою просьбу чрезмерной, возьмите этот талер.

Кто не видел, как в октябрьский день, несмотря на пасмурную погоду, солнце порою прорывает облака и туман? Так и на душе у госпожи Розель мгновенно посветлело. Любезность юноши, называвшего ее не простеньким именем Розель, а изысканным — Розалия, наконец, серебряный талер с кудрявой головой герцога на фоне родового герба — как можно противостоять такому искушению?

— Вы, как всегда, любезны! — Кормилица низко поклонилась, потом спрятала монету в свой кожаный кошель. — Вы ведь так же поступали и в Тюбингене. Прохожу ли я мимо фонтана или спускаюсь с горы на рынок, всякий раз юнкер обязательно меня окликнет: «Доброе утро, госпожа Розалия. Как поживаете? Как барышня?» — и непременно одарит. Моей новой юбкой, которую я здесь ношу, я обязана вам.

— Не надо об этом, — перебил ее Георг. — Что касается вашего господина...

— Ну что я, первый день живу на свете? Я вас никогда в жизни не видала. Не беспокойтесь! Мое дело — сторона!

С этими словами она покинула комнату и поднялась на кухню, чтобы навести порядок в своем полку.

С чувством благодарности и радости старуха рассматривала подаренный талер, оценив щедрость бравого юнкера и посочувствовав ему про себя. Да, парню не везет в любви. У барышни появился другой ухажер. В этом она не сомневалась. А вот что вызывало сомнение, так вопрос о том, пустить ли дело на самотек или же намекнуть юнкеру на существование ночного гостя.

«Ах, будет день, будет и пища, — подумала она, — может, он сам его увидит и все обойдется без моего участия. В конце концов, доносчику — первый кнут, я могу лишиться расположения обоих. Ведь не по заслугам бьют, а по загорбкун!»

Так размышляла госпожа Розель на кухне, а влюбленные оказались предоставленными сами себе. Георг больше не противился мольбам Марии. Когда же она нежно его спросила, не сердится ли он больше, Георг не стал отрицать благорасположения

к милой. Мир между ними восстановился быстрее, чем до этого возникла отчужденность.

С волнением выслушала Мария рассказ Георга о том, что с ним произошло, и он убедился в силе ее переживаний. Так, когда юноша описывал поединок с изгнанным рыцарем, она покраснела, в волнении схватила его руку, затем гордо выпрямилась и одобрила поведение любимого, сказав, что он сражался с храбрейшим из храбрых.

Когда же он перешел к рассказу о том, как спустился в Пещеру Туманов, видел изгнанника в плачевном окружении, глубоко под землей, глаза ее наполнились слезами, она обратила взор свой к небу, как бы вознося молитву о спасении несчастного.

Дальше Георг, продолжая повествование, изложил беседу с изгнанником, поведал о том, как они сделались друзьями и он, Георг, встал на сторону отверженного, скрепив свое обещание рукопожатием. Глаза Марии заблестели чудным блеском.

Георг видел радость на ее лице, которую можно было отнести не только за счет его участия в деле отца.

— Милый Георг, — проговорила Мария после некоторого молчания, — многие тебе позавидуют, и для тебя это большая честь, ведь Ханс не каждого приведет к изгнаннику.

— Ты знаешь его? — встрепенулся Георг. — Посвящена в его тайну? О, скажи же мне, кто он? Я редко встречал человека, который бы мог так покорить меня. Глаза, осанка, все его существо — неотразимы. Где его владения, где находится замок, откуда несчастного изгнали? Он сказал мне, что у него нет теперь имени, он — просто «человек», но его крепкая рука, светлый взгляд внушили мне, что имя его принадлежит к самым благородным и знаменитым в мире.

— Да, у него есть имя, которое можно сравнить с самыми известными и громкими. Но раз он сам его не назвал, то и я не имею права этого делать, тем самым я бы нарушила слово, данное мною. Господин Георг должен немного потерпеть, — заключила Мария, улыбаясь, — несмотря на все свое любопытство.

— Но мне-то ты можешь назвать, — настаивал юноша. — Разве мы не одно целое? Если у кого-то из нас есть тайна, он должен ею поделиться. Давай рассказывай, кто этот мужчина в пещере?

— Не сердись, пожалуйста, если бы это была моя тайна, ты бы по праву требовал открыть ее, так как я в тебе уверена, как в себе самой. Но я не имею права...

Пока она говорила, дверь внезапно распахнулась и в комнату вошел дог необыкновенного размера.

Георг от неожиданности подскочил — он никогда в жизни не видел собаки такой величины и силы. Животное подошло к молодому человеку, уставилось на него огромными глазами и заворчал. Оскаленные острые зубы выдавали в нем борца, гнев которого лучше было бы не возбуждать. Но одного слова Марии было достаточно, чтобы грозный пес мирно улегся у их ног. Девушка погладила красивую собачью голову, в то время как умные глаза животного смотрели то на нее, то на юнкера.

— Он все, как человек, понимает, — заметила, улыбаясь, Мария, — и вошел, чтобы предостеречь меня от разглашения тайны.

— Какое прекрасное животное! Мне не доводилось видеть ничего подобного. Как гордо он держит голову, будто принадлежит королю или императору!

— Он принадлежит изгнаннику, — ответила Мария. — Почувствовав, что я готова выдать имя его господина, он и явился предостеречь меня.

— А почему же рыцарь не взял пса с собою? С таким защитником не страшны и шестеро убийц.

— Пес очень чуткий, но, увы, немного дикий. Он, конечно, хорошо охранял бы своего хозяина. Но если бы вдруг в пещеру забрел случайный человек, дог бы выдал изгнанника, начал выть и рваться, заслышав чужие шаги. Тогда место пребывания скитальца стало бы всем известно. Потому-то он и приказал, уходя, псу оставаться здесь в замке. Дог хорошо выполняет приказ, а я о нем забочусь. Должна тебе сказать: он жутко тоскует по своему хозяину, а как радуется встрече, ты и сам ночью увидишь. Он чувствует появление хозяина, а заслышав, как опускается подъемный мост и приближаются долгожданные шаги, уже не выдерживает, готов разорвать тройные цепи, лишь бы выбежать навстречу.

— Прекрасный образец верности! Но еще прекраснее человек, которому принадлежит пес. Ведь и он остался верен своему господину, даже будучи изгнанным из родного дома. С моей сто-

роны это глупо, — продолжал Георг, — знаю, что любопытство не украшает мужчину, но я все-таки хотел бы знать, кто же его хозяин?

— Потерпи до ночи. Когда изгнанник придет, я у него спрошу, можно ли тебе знать его имя. Не сомневаюсь, он мне разрешит.

— Долго ждать! Я непрерывно о нем думаю. Если ты не назовешь его имя, я обращусь к догу. Может, тот будет добрее ко мне.

— Попробуй, — улыбнулась Мария. — Если он, конечно, сможет сказать.

— Послушай, друг, — обратился Георг к псу, внимательно за ним следящему, — скажи мне, как зовут твоего господина?

Пес гордо выпрямился, широко разинул пасть и протяжно провыл: «У-у-у-у».

Мария покраснела.

— Перестань дурачиться! — сказала она и позвала к себе собаку. — Кто разговаривает с псом, находясь в человеческом обществе!

Но Георг, казалось, ее не слышал.

— Он сказал «у-у-у», этот замечательный пес! Готов спорить, его этому учили. Должно быть, не в первый раз его спрашивают: «Как зовут хозяина?»

Только Георг произнес последние слова, пес более угрожающим тоном проворчал свое «у-у-у-у».

Еще более покрасневшая Мария приказала псу замолчать и лечь у ее ног.

— Ну вот, уже кое-что, — рассмеялся Георг. — Имя господина начинается на «у». И на кольцо, которое дал мне рыцарь, тоже первой стоит буква «У». Невероятно! Может, господина зовут Уффенхайм? Или Урфюль, Ульм? А может, даже...

— Глупости! Собака не знает никакого другого звука, кроме «у». Как ты можешь делать выводы из этого!.. А-а, вон и отец возвращается. Ты хочешь, чтобы мы скрыли от него наше знакомство? Тогда я уйду отсюда, пока он не увидел нас вместе.

Георг обнял на прощание любимую и нежно поцеловал ее алый рот. Пес господина У. с удивлением воззрился на любовную парочку, но, должно быть, он и впрямь хорошо понимал людей или же видел нечто подобное при своем господине, — по крайней мере, объятия юноши он не воспринял как нападение

и не кинулся на помощь даме. Стук копыт, раздавшийся на мосту, заставил покрасневшую девушку выскользнуть из объятий счастливого рыцаря.

ГЛАВА 10

Герцог долго смотрел вниз
И сказал со вздохом:
«Как далека она от меня,
Моя родная страна!»

Г. Шваб

Страстная пятница и Пасха прошли, а Георг фон Штурмфедер все еще находился в Лихтенштайне. Хозяин замка пригласил его погостить у него, пока война, быть может, не примет другой оборот и не представится случай оказать делу герцога важные услуги.

Можно себе представить, как охотно принял молодой человек это приглашение! Быть под одной кровлей с возлюбленной, постоянно вблизи нее, порою — часок наедине, обласканный ее отцом, — такого он не мог предполагать и в самых смелых своих мечтах!

Одно только смущало влюбленную пару: старый Лихтенштайн временами становился необыкновенно мрачным. Казалось, он получал дурные вести с театра военных действий. В разное время дня в замок прибывали гонцы, они приходили и уходили, но старик не открывал своему гостю того, что они приносили.

Несколько раз в вечерних сумерках Георгу казалось, что через мост крадется знакомый ему хардтский музыкант. Однако надежда разузнать что-либо у него оказалась тщетной: едва Георг пробовал сойти вниз, чтобы встретить тайного посланца, как того уже и след простывал.

Молодой человек чувствовал себя несколько задетым тем недостатком доверия, которое выказывал ему старый рыцарь, и, не удержавшись, сказал о том Марии:

— Ведь я отдал себя всецело друзьям герцога, хотя в их деле лично для меня не было ничего заманчивого. Изгнанник и рыцарь фон Лихтенштайн выказали мне дружбу и доверие, да, вид-

¹ «Замок Лихтенштайн».

но, не в полной мере. Отчего мне не дозволяется узнать, как идут дела в Тюбингене? Какие усилия предпринимает герцог для того, чтобы вернуть свою страну? Неужели я только и гожусь для того, чтобы драться, а как советчика меня отвергают?

Мария пыталась утешить любимого.

Ее глаза, приветливые речи на миг заставляли забыть тревожные думы, однако грустные мысли то и дело возвращались вновь: озабоченное лицо старого рыцаря постоянно напоминало Георгу о деле, которому он мысленно уже посвятил все свои силы.

Наконец юноша не вынес неизвестности. В канун Светлого воскресенья, вечером, он, подвергаясь опасности показаться нескромным, спросил старого рыцаря о положении дел герцога, его планах и задал вопрос: не нуждается ли тот в его помощи? Но рыцарь фон Лихтенштайн, дружески пожав ему руку, успокоил:

— По твоему лицу, бравый юноша, я вижу, что твое сердце готово разорваться на части при одной мысли, что ты не можешь принять участие в наших трудах и заботах. Потерпи еще немного; быть может, один только день — и многое решится. Что мне мучить тебя неверными слухами и печальными вестями? Твой юношеский ум еще не привык распутывать хитросплетения зла и паутины обмана. Если будет решено что-либо положительное, то ты, поверь мне, будешь желанным сотоварищем и в совете, и в деле. Тебе нужно знать пока только то, что наше дело идет ни шатко ни валко, однако все вскоре должно решиться.

Георг понял, что старик прав. Но его ответ не удовлетворил юношу, да и имени изгнанника он все еще не знал. Мария в ближайшую же ночь, как только он прибыл в замок, спросила, можно ли назвать его имя гостю. «Время пока не пришло!» — последовал ответ.

Еще одно обстоятельство удручало Георга. Он рассказал хозяину Лихтенштайна, как подружился с изгнанником в пещере и как стремится быть к нему поближе. Тем не менее его ни разу не пригласили на встречу с таинственным ночным гостем. Георг был слишком горд для того, чтобы навязывать свое общество, поэтому втихомолку ждал из ночи в ночь, но ничего не менялось.

Тогда он решил хоть раз, не будучи приглашенным, понаблюдать за тем, как ночной гость входит в замок, и тщательно обдумал свой план.

Окна комнаты, куда его неизменно провожали в восемь часов, были обращены к долине, как раз напротив той стороны, где был мост. Отсюда, следовательно, он не увидит таинственного гостя.

Большая комната на втором этаже запиралась на ночь. В коридоре, соединяющем комнаты и зал, из двух окон был виден мост, но окна были слишком высоки, к тому же забраны решетками, так что ничего особо из них не рассмотришь. Оставалось одно: где-то спрятаться, чтобы понаблюдать за ночным посетителем. На первом этаже жило много людей, незаметно укрыться там было невозможно.

Но когда Георг тщательно исследовал дорогу и конюшню с вырубленными в скалах стойлами, ему попала на глаза небольшая ниша вблизи подъемного моста, прикрытая дверью, которая запиралась лишь в случае вражеского нападения. Лучшего наблюдательного пункта нельзя было и придумать: слева к дверям прикреплялся подъемный мост, справа уходила вниз лестница, а прямо перед ним начиналась дорога, которая вела в замок. В эту нишу он и решил прокрасться в ближайшую же ночь.

В восемь часов, по обыкновению, пришел слуга с фонарем, чтобы сопроводить юношу в постель. Хозяин замка и его дочь пожелали гостю спокойной ночи. Он вошел в свою комнату и тут же, не раздеваясь, отпустил слугу, после чего упал в одежде на кровать и стал прислушиваться к ночному колоколу, отбивающему внизу, в долине, время.

Глаза его периодически закрывались, мысли витали между сном и явью, но он усилием воли заставлял себя бодрствовать.

Пробило десять. В замке все стихло. Георг поднялся, натянул тяжелые сапоги со шпорами, закутался в плащ и осторожно приоткрыл двери. Дверные петли скрипнули, юноша, затаив дыхание, прислушался, не выдал ли его предательский скрип? Обошлось!

Луна тускло освещала площадку перед замком и на этот раз его не выдала.

Он метнулся к винтовой лестнице и лишь разок остановился прислушаться, нет ли посторонних звуков... Шумел ветер, шелестел листвой могучий дуб над мостом.

Георг опасливо сошел вниз. В ночной тиши все звучит необычайно громко; многое, на что бы он не обратил внимания днем,

вызывало настороженность. Ноги Георга ступали по песку, вызывая такой скрип, что, казалось, его могут услышать в доме.

Юноша продвигался уже вдоль первого этажа и остановился, чтобы осмотреться. В печи на кухне полыхал жаркий огонь. Наконец он оказался внизу. Путь до ворот занял четверть часа.

Георг укрылся в нише и потянул на себя дверь, оставив щель, в которую можно было все рассмотреть. В замке по-прежнему царила тишина, изредка прерываемая легкими шагами, — верно, то Мария хлопотала по хозяйству.

Прошло еще минут пятнадцать, в деревне пробило одиннадцать часов. Наступило время ночного гостя. Вдруг наверху залаяла собака, и тут же раздался возглас: «Лихтенштайн!»

— Кто там? — спросили из замка.

— Человек, — ответил голос, знакомый Георгу.

Старый страж вышел из укрытия и принялся открывать замок подъемного моста. Пока он этим занимался, сверху огромными прыжками пронеслась собака. Дог скулил, крутил хвостом, прыгал на привратника, как бы стараясь помочь ему опустить поскорее мост. Следом появилась Мария, она несла фонарь, чтобы осветить привратнику, который, казалось, не мог совладать со сложным запором.

— Поторопись, Бальтазар, — прошептала девушка. — Он уже долго ждет, а сегодня такой ветер!

— Сейчас-сейчас, барышня, сниму только цепь, и вы увидите, как опустится мой мост. Я ведь, как вы приказали, смазал маслом все пазы, чтобы ничего не скрипело и не будило госпожу Розель.

Лязгнули цепи, механизм сработал, и изгнанник из пещеры, закутанный в грубый плащ, поднялся на мост. Георга вновь поразили его мужественная осанка, пронзительные глаза, высокий лоб, сила и мощь, сквозящие в каждом движении.

Свет фонаря упал на гостя, высветил он и Марию. Спустя годы вспоминал Георг эту поразительную пару. Тонкая фигурка любимой, темные волосы, спускающиеся на плечи, бледный лоб, предельно голубые глаза, прикрытые длинными темными ресницами, маленький красный рот, нежный румянец щек — никогда еще не видел Георг свою любимую такой красивой, особенно в сочетании с мужественными чертами и мощными формами мужчины, стоящего рядом.

Ночной гость помог старому привратнику втащить назад мост; старик ушел, и Георг услышал следующий разговор:

— Есть ли известия из Тюбингена? Вернулся ли Маркс Штумпф? Я вижу следы печали в ваших глазах.

— Нет, господин, — ответила Мария, — он еще не воротился. Отец ждет его сегодня ночью.

— Черт бы его подогнал! Я останусь ждать, даже если наступит день! Фу-у-у! Какая холодная ночь, барышня! Мои филины и совы в пещере тоже, должно быть, замерзли, по крайней мере, они так жалобно ухали, когда я поднимался наверх!

— Да, сегодня похолодало. О, я бы ни за что не спустилась в пещеру! Как страшно, должно быть, кричат совы. У меня мороз по коже пробегает, когда я об этом думаю.

— А если бы вас сопровождал юнкер Георг? — рассмеялся ночной гость и взял покрасневшую девушку за подбородок. — Не правда ли, с ним бы вы пошли в пещеру? Вот что делает любовь! Ваш ротик выдает его поцелуи. Он не должен быть таким грубым!

— Ах, господин! — Мария залилась румянцем. — Как можно так говорить! Я не буду больше сюда приходить, не стану вам еду варить, если вы так думаете обо мне и о юнкере.

— Ну вот, уже и пошутить нельзя! — Рыцарь погладил Марию по полыхающей румянцем щеке. — У меня в подземелье нет поводов для шуток. А что вы мне подарите за то, что я замолвлю словечко перед вашим отцом, дабы он выдал вас за него замуж? Вы же знаете, что батюшка сделает все, о чем я его попрошу, и уж точно возьмет в зятя того, кого я ему посоветую.

Мария подняла на него радостные глаза.

— Уважаемый господин, я не могу вам запретить говорить что-либо хорошее о Георге. Кроме того, отец его очень ценит.

— Но я спрашиваю, как меня вознаграждать? Все имеет свою цену.

Мария потупила глаза и еле слышно промолвила:

— Огромное спасибо! Но пойдемте же! Отец нас заждался.

Мария двинулась было вперед, но изгнанник задержал ее. Сердце Георга колотилось так, что его могли услышать собеседники; юношу бросало то в жар, то в холод, он ухватился за дверь и был близок к тому, чтобы испортить этот разговор вполне определенной платой.

— Куда вы торопитесь? — с улыбкой произнес мужчина из пещеры. — Всего один поцелуй, это и будет платой за мое ходатайство, чтобы отец тотчас позвал священника и тот благословил бы ваш брак.

Изгнанник склонил голову к Марии, а у Георга потемнело в глазах, он готов был выскочить из своего укрытия, но тут барышня строго глянула на мужчину и укоризненно произнесла:

— Это невозможно, ваша милость, в противном случае вы меня видите в последний раз!

— Если бы вы знали, как вы красивы в своем своенравии! — невозмутимо заметил рыцарь. — Тогда бы гневались целыми днями. Да, конечно, вы правы: когда кто-то другой проник глубоко в сердце, не следует сорить своими милостями. Но я еще раз вгоню вас в краску и все-таки потребую платы. На свадьбе попрошу вашего жениха разрешить мне вас поцеловать, и тогда посмотрим, откажет ли он мне.

— Вы, конечно, можете это сделать, — рассмеялась Мария, — но подготовьтесь к отказу — по такому поводу он не терпит никаких шуток.

— Да, он ревнив, — согласился рыцарь, — я с этим однажды столкнулся. Мог бы рассказать вам эту историю, только я пообещал о ней молчать.

Голоса собеседников удалялись. Георг облегченно вздохнул и прислушался — нет ли кого на дорожках и лестнице, после чего покинул убежище и прокрался к себе в комнату. Последние слова изгнанника все еще звучали в его ушах. Он стыдился своей ревности, которая этой ночью чуть было вновь не вырвалась наружу. Ему вспомнилось, каким недостойным подозрением он оскорбил любимую, и он от стыда зарылся в подушку. Спасительный сон прогнал мучительные мысли.

На другое утро, когда Георг сошел вниз, на мужскую половину, где обыкновенно в семь часов семья собиралась к завтраку, Мария вышла к нему с заплаканными глазами. Она отвела его в сторону и шепнула:

— Входи тише, Георг, рыцарь из пещеры тут, в комнате. Он задремал час тому назад. Надо дать ему немного отдохнуть.

— Изгнанник? — удивился Георг. — Как он мог рискнуть остаться здесь днем? Не заболел ли он?

— Нет, — ответила Мария, между тем как новые слезы отуманили ее взгляд. — Нет! Сейчас должен прибыть гонец из Тюбин-

гена, и он непременно хочет его дождаться. Напрасно мы умоляли и заклинали его уйти на время дня, он и слышать ничего не хотел. Собирается ждать гонца здесь.

— А разве не мог гонец спуститься в пещеру? — продолжал расспросы Георг. — Он бы избежал опасности.

— Ах, ты совсем его не знаешь. Если ему что-то попадет в голову, то уж оттуда это не выбьешь никакими силами. Мы уговаривали его скрыться ради нас. Но его главный аргумент: он остается здесь для того, чтобы посоветоваться с отцом тотчас же, как придет известие.

Разговаривая таким образом, они подошли к дверям комнаты. Мария отперла их как можно тише и вошла в сопровождении Георга.

Комната отличалась от большого покоя в верхнем этаже только тем, что была несколько меньше. Ее окна, с маленькими круглыми стеклами, в которых играли лучи утреннего солнца, также открывали вид на три стороны. Пол и стены были красиво выложены кусками цветного дерева. Несколько портретов предков Лихтенштайна украшали глухую стену, а столы с дорогой утварью показывали, что рыцарь фон Лихтенштайн был большим поклонником старых обычаев и хотел оставить в наследство дочери драгоценные предметы, которые он получил от своих предков.

Перед большим столом посреди комнаты сидел хозяин замка. Подперев рукою подбородок с длинною бородою, не шевелясь, он мрачно смотрел в стоящий перед ним кубок. Неизвестно, сидел ли так старик целую ночь или же только утром решил подкрепить свои силы глотком вина.

Хозяин приветствовал гостя легким наклоном головы и указал ему на кубок и стул возле себя. Мария поняла намек — налила полный кубок и поднесла его возлюбленному с необыкновенной грацией, как и все, что она делала. Георг сел рядом со стариком и выпил налитое вино.

Лихтенштайн подвинулся к своему гостю и прошептал хриплым голосом:

- Боюсь, что дело плохо!
- У вас есть известия? — так же тихо спросил Георг.
- Ранним утром один крестьянин сообщил мне, что вчера тубингенцы заключили с союзом мирный договор.
- С союзом? Мирный договор? О боже! — невольно вскричал Георг.

— Потише! Не разбудите его! Он и так обо всем узнает, — остановил юношу старик, указывая глазами на противоположный конец комнаты.

Георг посмотрел туда. У окна, с той стороны, которая находилась против глубокой пропасти, сидел загадочный изгнанник.

Опершись рукою на подоконник, он дремал. Серый плащ упал с его плеч, обнаружив поношенную, неразличимого цвета кожаную куртку, обтягивающую крепкое тело. Спутанные кудрявые волосы свисали на виски, клочки кудрявой бороды виднелись из-под руки. У ног его лежала собака, ее глаза неотрывно смотрели на хозяина.

— Он спит, — проговорил старик, смахивая невольную слезу, — природа берет свое. Дышит легко. О, пусть ему приснятся успокоительные сны! Реальность настолько печальна, что следует радоваться минуте живительного покоя.

— Какая жестокая судьба! — невольно вымолвил Георг, грустно взглянув на спящего. — Быть изгнанным из собственного дома! Теперь его жизнь в руках любого мальчишки. Днем скрываться под землей, ночью красться, словно вору. Поистине чудовищно! И все это терпеть только за то, что он был верен своему государю, а союзники зарились на его богатство.

— У него были ошибки в жизни, — с величайшей серьезностью произнес старый рыцарь. — Я знаю его с детства и могу засвидетельствовать, что он жаждал добра и справедливости. Иногда средства, которые он избирал, были неверными, часто он был непонятым, а порою им самим завладевали страсти. Но где найти человека, о котором не скажешь того же самого? Действительно, судьба его жестоко покарала!

Старику показалось, что он сказал слишком много, больше, чем собирался, и он умолк.

Напрасно старался Георг расспросить его об изгнаннике, старый рыцарь погрузился в тяжелое раздумье.

Солнце вышло из-за гор, туман мало-помалу растаял. Георг подошел к окну, чтобы насладиться великолепным видом. Под утесом Лихтенштайн на глубине трехсот саженей расстиралась очаровательная плодородная долина, окаймленная лесистыми возвышенностями, которые прорезали проворные лесные ручьи. В глубине, прихотливо раскинувшись на равнине, лежали три деревушки. Через холмы глаз проникал еще дальше и встречал живописную грядку отрогов Альп, за ними замок Ахальм.

Лихтенштайн господствовал наравне с облаками над всем Вюртембергом. Взгляд наблюдателя мог блуждать до самой глубинной части Нижней земли.

Вид на Вюртемберг — восхитителен, особенно при восходе и закате, когда солнце устремляет свои косые лучи. Тогда эти великолепные поля расстилаются перед изумленным взором, подобно пестрому фантастическому ковру со всеми оттенками — от темно-зеленого и коричневого, отличающего горы, которые переплетаются с небесно-голубым, приправленным утренне-розовым. Какая даль простирается между Лихтенштайном и Аспергом! И какая земля между ними! Множество извилин и лощин переходит от одного холма к другому, у подножия которых ширятся долины, бурлят говорливые ручьи.

Георг не отрываясь смотрел на эту причудливую панораму, отыскивая взглядом замки и деревушки.

Мария стояла возле него и, казалось, разделяла его наслаждение, хотя пейзаж был ей знаком с самого детства. Она шепотом указывала Георгу особо приметные уголки, называла сторожевые башни.

— Где еще в Германии можно найти подобную красоту? — заметил очарованный утренним пейзажем Георг. — Что можно сравнить с этим чудом? Я видел другие равнины, взбирался на разные вершины, но нигде не встречал таких красивых, ухоженных полей, богатых нив, моря фруктов... А там, внизу, на голубых холмах, какие дивные виноградники! Я никогда в жизни не завидовал ни одному влиятельному князю, однако ж представляю, каково стоять здесь, смотреть вдаль и иметь право сказать: «Это все — мое!»

Глубокий вздох за спиной оторвал Марию с Георгом от дивного ландшафта.

В нескольких шагах от них стоял изгнанник. Его взор задумчиво устремился вдаль. Георг не знал, что его так сильно опечалило: произнесенные им слова или воспоминания о собственном несчастье.

Изгнанник протянул руку Георгу, затем обратился к хозяину замка, спросив, не появился ли гонец.

— От Швайнсберга пока не было вестей, — последовал уклончивый ответ.

Изгнанник молча приблизился к окну. Мария наполнила ему кубок.

— Не унывайте, господин, — сказала она участливо. — Не смотрите таким мрачным взором на красивую землю. Вот вам хорошее вюртембергское вино, родина его — вон там, внизу, на тех голубых холмах.

— Вы правы, как можно грустить, — изгнанник с печальной улыбкой обернулся к Георгу, — когда солнце взошло над Вюртембергом и в глазах юной вюртембергжки отражается голубое небо? Не правда ли, юнкер, чего стоят эти горы и долины в сравнении с нежным взглядом и верным сердцем? Возьмите свой кубок и давайте выпьем! Пока эта страна живет в наших сердцах, не все еще потеряно! Да здравствует Вюртемберг во веки веков!

— Да здравствует Вюртемберг! — ответил Георг, чокаясь с изгнанником.

Тот хотел ему еще что-то сказать, но в комнату с важной миной на старческом лице вошел привратник.

— Перед замком два торговца, просят пропустить их.

— Это они! — в один голос воскликнули изгнанник и Лихтенштайн. — Проводите их поскорее сюда!

Привратник удалился. Наступила минута томительного ожидания. Старый рыцарь неотрывно смотрел на дверь. Изгнанник пытался скрыть волнение, но лицо его выдавало: он то краснел, то бледнел. Наконец на лестнице послышались шаги. Могучий изгнанник уже дрожал так, что вынужден был держаться за стол, его широко раскрытые глаза устремились на дверь. Казалось, он хотел тотчас же по лицам вошедших прочесть свою судьбу.

Дверь отворилась...

ГЛАВА 11

Лилившись всего, ты стоишь, одинокий.
Единственный я — тебе верность храню.
Служить обещаю до последнего вздоха,
По-прежнему герцогом признаю.

Л. Уланд¹

Георг быстрым взглядом оглядел вошедших, в одном из них он тотчас признал хардтского музыканта, другой оказался торговцем, которого он видел на постоялом дворе в Пфулингене.

¹ «Эрнст, герцог Швабии».

Торговец сбросил со спины принесенный им тюк, сорвал пластырь, закрывавший один глаз, выпрямился, и перед присутствующими возник приземистый, крепко сбитый человек с открытым, энергичным лицом.

— Маркс Штумпф! — глухо воскликнул изгнанник. — К чему эта мрачность? Ведь ты принес нам добрую весть, не так ли? Они откроют ворота, и мы вместе будем держаться до последнего!

Рыцарь Маркс Штумпф фон Швайнсберг бросил на несчастного изгнанника взор, полный безнадежной грусти.

— Приготовьтесь к худшему, господин, — сказал он мрачно, — я принес недобрую весть.

— Как! — не поверил изгнанник, и лицо его налилось гневом. — Они колеблются, они не решаются? Но это невозможно! Это же цвет дворянства! Может быть, твои сведения устарели?

— И тем не менее я утверждаю, — решительно произнес, выступая вперед, Швайнсберг, — перед лицом правителя государства я должен заявить: они предатели!

— Ты лжешь! — страшным голосом вскричал изгнанник. — Нет, нет, это ложь! Как такое может произойти — сорок рыцарей вдруг лишились чести! Сознайся, ты лжешь!

— Видит бог, лучше было бы, чтоб один я оказался рыцарем без чести, псом, покинувшим свою страну, господин герцог! Тюбинген от вас отказался.

Ошеломленный известием, изгнанник рухнул на ближайший стул и закрыл лицо руками. Грудь его судорожно поднималась и опускалась, он задыхался, руки дрожали. Тревожные, скорбные взоры свидетелей этой сцены устремились на него. Особенно поражен был Георг — имя герцога, как молния, осветило ту мрачную загадочность, которой окружал себя несчастный изгнанник. Значит, это сам Ульрих фон Вюртемберг! В голове Георга мгновенно вспыхнули все встречи с ним, их разговоры и то впечатление, какое произвела на него эта незаурядная личность. Как же он сам о том не догадался?!

Наступило тяжелое, гнетущее молчание. Никто не осмеливался его нарушить. Слышно было только прерывистое дыхание герцога да поскуливание верного пса, который, казалось, догадался об очередном несчастье и старался разделить его с хозяином.

Наконец Лихтенштайн кивнул рыцарю фон Швайнсбергу. Оба они подошли к Ульриху, но тот оставался по-прежнему неподвижен и нем.

Плачущая Мария, стоявшая поодаль, тоже решила приблизиться к несчастному герцогу. Она нежно опустила свою руку на его плечо и заговорила ласковым голосом:

— Господин герцог! Да пребудет Вюртемберг вовеки!

Глубокий вздох вырвался из груди герцога, но руки по-прежнему закрывали его лицо. Тогда и Георг приблизился к нему. Невольно вспомнил он отважное лицо этого человека и внушительное величие его осанки при первой встрече, припомнил каждое слово, которое тот произнес тогда, и юноша осмелился сказать:

— Такое малодушие не для вас, человек без имени. *Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae!*¹

Произнесенные слова действовали на Ульриха фон Вюртемберга как волшебное заклинание. Это был его девиз, характеризующий истинное благородство, величие души, умение подняться над несчастьем — те качества, которые позволили современникам именовать герцога Неустрасимым.

— Как кстати твои слова, мой юный друг, — сказал герцог, к удивлению всех, твердым голосом, гордо поднимая голову; прежний воинственный пыл зажегся в его зоре. — Да, эти слова весьма кстати. Благодарю тебя, что ты мне их напомнил. Подойдите, Маркс Штумпф, и расскажите подробнее обо всем. Но прежде, Мария, наполните кубок!

— В последний раз мы виделись в четверг, — начал рыцарь. — Ханс скрыл меня вот под этим платьем и рассказал, как я должен себя вести. В Пфулингене мне захотелось испытать, узнает ли кто меня в обличье торговца. Хозяйка постоялого двора равнодушно поставила передо мною бокал вина, как будто ни разу в жизни не видела рыцаря Штумпфа. Городской советник, которого я за неделю до этого распекал, пил со мною так, словно я всю жизнь таскал на спине всякую мелочовку для торговли. Молодой человек тоже был там и меня видел.

Герцог, казалось, заинтересовался рассказом — по крайней мере, довольно оживленно спросил:

— Что, Георг, ты и вправду его видел? Выглядел он как оборванный торговец?

— О, рыцарь замечательно сыграл свою роль! — улыбнулся юноша.

¹ Если разгромленный мир рухнет, руины поразят, но не устроят его! (лат.) — *Гораций*. Ода.

— Из Пфулингена я в тот же вечер отправился напрямик в Ройтлинген. Там в кабачке было полным-полно союзников: из Аугсбурга, Нюрнберга, Ульма, присутствовали и местные горожане. Все они ликовали по поводу того, что скинули ветвистые рога с герба, которые вы некогда им присвоили. Собутыльники ругались и пели издевательские песни про вас, господин герцог, что показывает, как они вас боятся. В Страстную пятницу рано утром я отправился в Тюбинген. Сердце разрывалось у меня в груди, когда я с гор спустился в долину Неккара и увидел крепостные стены и башни Тюбингена.

Герцог сжал губы и устремил взгляд вдаль.

Швайнсберг замолчал, участливо глядя на своего господина, тот дал ему знак продолжать.

— Я медленно продвигался к Тюбингену. Город уже несколько дней был занят союзниками. Некоторые отряды оставались еще в лагере на горах. Я решил прокрасться в город, дабы разведать, как обстоят дела в замке, прежде чем к нему пробираться тайными тропами. Вы знаете постоялый двор в верхней части города, недалеко от храма Святого Георгия, вот туда я и направился, уселся там, чтобы выпить вина. Союзные рыцари, как я узнал по дороге, часто наведывались в это место, так что оно было для меня полезным.

— Вы слишком рисковали, — перебил рассказчика Лихтенштайн, — ведь сразу нашлись бы люди, пожелавшие что-либо у вас купить, и тогда «торговцу» бы не поздоровилось.

— Не забывайте, что то был праздничный день. У меня была причина не раскрывать свой узел и не торговаться, как это обычно делают простые разносчики. Да и не так-то легко оказалось меня опознать, — по крайней мере, мне даже удалось продать Георгу фон Фрондсбергу баночку целебного бальзама от ран. Видит бог, я бы пожелал ему получить возможность испытать снадобье на собственном теле... В церкви шла служба, зал постоялого двора пустовал. От хозяина я узнал, что рыцари в замке объявили перемирие до понедельника. Когда окончилась служба в церкви, действительно, многие господа явились на постоялый двор, чтобы пропустить бокальчик-другой. Я сел на скамью в углу, у печи, в сторонке, как и подобает бедным людям в присутствии важных господ.

— Кого же ты там увидел? — заинтересовался герцог.

— Некоторых я знал, о других догадался из разговора. Там были: Фрондсберг, Альбан фон Клозен, Хуттены, Зикинген, вскоре подошел стольник фон Вальдбург. Я надвинул шапку на лоб, увидев его, так как, думаю, он не забыл того, как пятнадцать лет назад на турнире в Нюрнберге я скинул его с захромавшей клячи.

— А вы не видели Ханса фон Брайтенштайна? — прервал рассказчика Георг.

— Брайтенштайна? Не знаю такого... Ах да, так звали старика, который умял за один присест целую баранью ногу! Рыцари заговорили об осаде и о временном затишье. Они толковали о том о сем, часто переходя на шепот. Но у меня хороший слух, и я усек все, что мне нужно было. Стольник фон Вальдбург рассказал, что он велел послать в осажденный замок стрелу с письмом для Людвиг фон Стадиона, главного командира герцогского воинства. Такие послания, видимо, были обыденными, так как рыцари не удивились, когда стольник, продолжая рассказ, сообщил, что тем же путем получил ответ.

Лицо герцога омрачилось.

— Людвиг фон Стадион! — воскликнул он скорбно. — Я полагался на него как на каменную стену! Он был мне так дорог! Я делал для него все, что только мог, и он первым меня предал!

— В письме говорилось, что он, Людвиг Стадион, и еще двенадцать рыцарей, утомленные войной, почти готовы покориться, но Георг фон Хевен отговаривает их от позорного поступка.

— Я не заслужил от него такой услуги, — задумчиво произнес Ульрих. — Я не любил его потому, что он часто порицал меня, когда я делал что-либо не в его вкусе. Как сильно можно ошибаться в людях! Кабы меня спросили, кто мне изменит, а кто останется верен, то на второй вопрос я бы ответил — Стадион, а предателем счел бы Георга фон Хевена!

— В письме еще говорилось, что вы, ваша светлость, можете попытаться снять осаду, а ежели это будет невозможно, пожелаете тайными путями проникнуть в осажденный замок. Союзники подробно обсуждали все варианты и пришли к выводу, что осада может продолжаться долго, коли вы окажетесь в замке. Когда я все это услышал, то сразу же решил прокрасться в замок и предстать перед ними, а не то Стадион свыкнется с мыслью, что он и есть подлинный верховный правитель. Я подумал также, что стоит подождать еще день. И если не услышу ничего плохого, то

в субботу проберусь в замок и передам изменникам ваше письмо. Я долго слонялся по лагерю и по городу, никто меня не задержал, хотя я и держался вблизи начальников. Так прошел целый день.

— Это была все еще Страстная пятница, праздничный день? — спросил Лихтенштайн.

— Да-да, Страстная пятница. В три часа дня Георг Фрондсберг с несколькими военачальниками подъехал к воротам замка и громко спросил осажденных, что они там строят? Я стоял неподалеку и все видел собственными глазами. На его голос у крепостной стены появился Стадион и ответил: «Нет, они сохраняют договоренность о передышке по случаю праздников, шум, должно быть, раздается с поля». Фрондсберг крикнул: «Значит, там что-то происходит без моего ведома. А кто ты?» Из замка последовал ответ: «Я — Людвиг фон Стадион». На это союзный начальник расхохотался и довольно погладил себя по бороде. «Если это так, я поворачиваю обратно, а вас с несколькими рыцарями приглашаю спуститься, чтобы выпить с нами вина».

— И они пришли? — воскликнул возмущенный герцог. — Клятвопреступники явились?

— У откоса есть небольшая площадка, откуда открывается обзор на долину Неккара и Швабские Альпы. Туда союзники притащили стол, скамейки и уселись угощаться вином. Тут же открылись ворота замка, был опущен подъемный мост, по которому прошел Людвиг фон Стадион с шестью рыцарями. Они принесли с собою ваши серебряные кувшины, они принесли с собою ваши золотые кубки и ваше старое вино! Изменники приветствовали врагов дружескими рукопожатиями и уселись с ними за стол обсудить дела, попеременно угощая друг друга холодным выдержанным вином.

— Благослови их всех дьявол! — не сдержался старый Лихтенштайн и вылил вино из своего кубка.

Герцог же печально улыбнулся и кивнул Марксу Штумпфу, чтобы тот продолжал.

— Они пировали до ночи, пока их физиономии не раскраснелись. Я спрятался невдалеке и слышал все, что говорили предатели. Когда они стали прощаться, столытник взял Стадиона за руку и сказал ему: «Дорогой брат, в ваших подвалах прекрасное вино, выпустите нас поскорее в замок, чтобы и мы его попили». Тот же только рассмеялся, проговорив: «Будет день, будет и пища».

Когда я увидал, что дела обстоят подобным образом, то решил немедленно идти к изменникам. Я спустился по Графскому откосу к тому месту, где начинается узенький подземный ход. Незаметно опустился в него и дошел до половины. Смотрю, а там установили решетку и поставили возле нее солдата. Тот прицелился в меня из ружья и спросил пароль. Я произнес, как вы мне приказали, пароль вашего славного предка — Эберхарда Бородатого: «*A tempto*»¹. Парень вытаращил глаза, однако поднял решетку и пропустил меня. Теперь я зашагал быстрее и вскоре очутился в подвале. Здесь передохнул — узкий проход слишком затруднял дыхание.

— О бедняга Маркс! Иди выпей кубок, тебе трудно говорить, — сказал Ульрих.

Маркс охотно последовал приглашению своего герцога и продолжал более бодрым голосом:

— Очутившись в подвале, я услышал оживленный разговор нескольких человек, которые, казалось, спорили о чем-то. Я пошел на голоса и увидел, что рыцарство осажденного замка сидит перед громадной бочкой и пьет вино в свое удовольствие. Здесь собрались сторонники Стадиона, были и сподвижники Хевена. Перед собеседниками стояли лампы и большие кружки. Все это напомнило мне картину тайного судилища. Я притаился за бочкой и уловил все, о чем здесь говорилось. Георг фон Хевен чувственными словами укорял присутствующих в измене, он убеждал, что нет никакой необходимости сдаваться, — они снабжены нужными припасами, выражал надежду, что вы, ваша светлость, соберете войско, дабы освободить Тюбинген, урезонивал, что скорее осаждающие могут прийти в стесненное положение, нежели они, осажденные.

— Благородный, достойный Хевен! И что же те отвечали?

— Они пили и смеялись, говоря: «Долго еще придется ждать, пока он соберет свое войско! Да откуда взять денег, если не украсть?»

Хевен продолжал гнуть свою линию, говорил: даже если ваша светлость и не скоро соберет войско, все равно они, помня клятву верности, должны держаться до последнего, иначе станут изменниками. Но рыцари продолжали смеяться и насмешливо

¹ «Я попытаюсь» (лат.).

вопрошать: «Кто придет и назовет нас изменниками?» И тут я, не выдержав, выскочил из-за бочки и закричал: «Я, злодеи! Вы изменяете герцогу и своей стране!» Все страшно перепугались. Стадион уронил свой кубок.

Я вышел вперед, снял шапку, отцепил фальшивую бороду и вытащил из куртки ваше письмо.

— Вот письмо от вашего герцога, — сказал я. — Вы не должны сдаваться. Он сам придет к вам, чтобы победить или умереть в этих стенах!

— О Тюбинген! — вздохнул герцог. — Как же глупо я поступил, покинув его! Два пальца своей левой руки я отдам за тебя, любимый город! Ох, что я говорю, отдам правую руку за тебя, а левой укажу союзу, куда ему убираться!.. И что же они ответили на мои слова?

— Изменники мрачно смотрели на меня и, казалось, не знали, что им предпринять. Хевен вновь принялся их увещевать. И тогда Людвиг фон Стадион сказал мне, что я пришел слишком поздно. Двадцать восемь рыцарей уже решили примириться с союзом и оставить герцога одного решать эту распрю. Приди герцог опять на эту землю с сильным войском, они были бы ему верны, но нельзя же вести войну, не имея в виду ничего определенного, их замки и поместья так долго разорялись и подвергались контрибуциям под угрозой сожжения, что дальше бороться против союза, с их стороны, — просто безумие.

Я попросил отвести меня в рыцарский зал, чтобы увидеть тех, кто оставался еще верным нашему герцогу, и перечислил их: Ниппенбург, Гюльтлиген, Ов, оба Берлихингена, Эльтерсхофен, Шиллинг, Кальтенталь. Но Хевен, печально покачав головой, сказал мне, что я ошибся во многих из этих людей.

— А Штамхайм, Тирберг, Вестерштеттен, самые мои верные, ты их видел?

— О да, они сидели в подвале возле Стадиона и пили ваше вино. Однако наверх меня не пустили. Сам Хевен, Фрайберг и Хайдек отклонили мою просьбу, сказав, что обе партии и так плохо ладят друг с другом, за Стадиона большинство рыцарей и солдат. Если я поднимусь наверх, дело дойдет до сражения в рыцарском зале и им, меньшинству, не останется ничего другого, как умереть. Они предпочитают пролить свою кровь до последней капли за вас на поле сражения с врагом, но не хотят быть убитыми

солдатами и братьями по оружию. Мне не оставалось ничего другого, как позаботиться о принце Кристофе и вашей милой дочурке, чтобы при сдаче сохранить для них замок. Одни из тамошних рыцарей обещали это, другие молча пожимали плечами. Я же проклял изменников как христианин и как рыцарь, вызвал пятерых биться со мною по окончании войны не на жизнь, а на смерть, потом повернулся и вышел из подвала замка тою же дорогой, что и пришел.

— Святой Боже! Мог ли я предположить что-нибудь подобное! — воскликнул Лихтенштайн. — Сорок два рыцаря, двести солдат, укрепленная крепость, и они изменяют! Доброе имя поругано, пословица «Верен и честен, как вюртембержец!» обратилась в насмешку!

— Да, когда-то действительно можно было с гордостью произносить эти слова: «верен как вюртембержец», — глухо произнес герцог Ульрих; непрошенная слеза скатилась на его густую бороду. — Однажды мой предок Эберхард приехал в Вормс и сидел за столом, окруженный курфюрстами, графами, рыцарями, которые похвалялись друг перед другом своими родными краями. Один хвалил вино, другой превозносил плодородие своей родины, третий похвалялся обилием дичи, четвертый хвастался железом, таящимся в его горах. Дошла очередь и до Эберхарда Бородатого. «Мне нечего противопоставить вашим сокровищам, — сказал он, — однако когда я иду вечером по самому сумрачному лесу или ночью через горы, утомляюсь и слабею, то у меня всегда есть под рукой верный вюртембержец, я здороваюсь с ним, кладу голову к нему на колени и спокойно засыпаю». Все очень удивились этому, закричали: «Граф Эберхард абсолютно прав!» — и выпили за здоровье верных вюртембержцев. А теперь? Случись герцогу идти лесом, так они тотчас же убьют его. Я оставляю в крепости своих верных сторонников, но стоит мне повернуться спиной, как они всаживают мне нож в спину. Вся верность — коту под хвост! Однако продолжай, дружище! Дай испить чашу до дна! Я уже готов ко всему.

— Короче говоря, — продолжал фон Швайнсберг, — я остался в Тюбингене, чтобы увериться в сдаче замка. Вчера, в понедельник, после Пасхи, все рыцари собрались и сдали замок. Подписали пакт, содержание которого герольд огласил на улицах города, и в пять часов передали замок союзникам. Ваша власть формально низложена. Принц Кристоф, ваш сын, сохраняет за собою

замок и округ Тюбинген, однако под опекой союза, о прочих владениях сказано, что они будут поделены между союзниками... Я испытал много горя в своей жизни: убил друга на турнире, лишился любимого ребенка, мой дом сгорел, но, клянусь милостью Господа Бога и Его святых, моя скорбь не была так сильна, как в тот момент, когда я увидел возле знамени вашей милости цвета союза, которые покрыли вюртембергский красный крест, оленьи рога, шлем и охотничий рог!

Так говорил Маркс Штумпф фон Швайнсберг.

Солнце во время его рассказа полностью взошло. Над дальними горами клубился туман и застилал нежной вуалью горизонт. Внизу, одетый нежной зеленью свежих всходов, темно-зелеными пятнами обширных лесов, украшенный рощами и деревеньками, блестящими замками и городами, лежал, широко раскинувшись своими плодородными землями, Вюртемберг, во всем своем утреннем великолепии. Печально обозревал это богатство несчастный герцог. Природа наделила его твердым характером и мужественным сердцем, которых не могли сломить ни горе, ни заботы. Никогда, ни с кем не делил он своих мрачных чувств и, если его посещало несчастье, имел обыкновение молчать и действовать.

И в сей страшный момент своей жизни, когда пала его последняя надежда — неприступная крепость, он спрятал великую боль в глубине сердца.

Кто не испытывал ужасного горя, стоя у гроба матери, не имея сил бросить последний взгляд на дорогие черты? Чувство раскаяния овладевает в такие минуты человеком. Он вспоминает, как бесконечно много сделала для него мать, как его нежно нянчила, жертвовала всем в годы его юности. И как он ее за это вознаградил? Мы бываем часто равнодушными к самой трогательной любви, уверенными, что так и полагается, остаемся неблагодарными и ворчим, ежели наши желания мгновенно не исполняются; мы бездумно расточаем материнские благодеяния и не обращаем внимания на ее тихие слезы.

Когда же любящие глаза больше на нас не смотрят, уши, привыкшие выслушивать просьбы, для нас закрыты, руки больше не ощущают наших благодарных прикосновений, тогда нашу грудь разрывают раскаяние, благодарность, любовь, которыми мы ранее не осчастливили свою мать.

Подобные чувства бушевали в груди Ульриха фон Вюртемберга, когда он смотрел на просторы родной земли, которая была теперь для него потеряна. Его благородная натура, порою и одурманенная суетой роскошной придворной жизни и нашептываниями лживых друзей, сейчас скорбела, и это было не только несчастье для него самого, но и одновременно бедой для оккупированной страны.

Когда после долгого молчания герцог оторвался от окна и обратил свой взор к присутствующим, те удивились выражению его лица.

Они ожидали прочесть на нем гнев и ярость, вызванные предательством знати, но в его глазах застыло умиление и одновременно глубокая боль, придававшие лицу невиданную кротость, ранее ему не свойственную.

— Маркс, как они поступают с крестьянами? — спросил герцог.

— Как разбойники. Они варварски опустошают виноградники, вырубает плодовые деревья, чтобы разжечь сторожевые огни. Конница Зикингена топчет посевы, которые еще уцелели после кормежки лошадей. Они тиранят мужчин и женщин, вымогая деньги. Народ уже повсюду ропщет. Но дайте только прийти лету и осени! Когда на растоптанных полях не вызреет ни одного колоса, когда в опустошенных виноградниках не найдется и виноградины, когда придется вынужденно платить еще огромную контрибуцию, наложенную военным советом, вот тогда-то наступит воистину ужасное бедствие.

— Злодеи! — воскликнул герцог, и благородный гнев засверкал в его разгоревшихся глазах. — Они хвастливо сулили освободить Вюртемберг от тирана, избавить народ от нужды, а сами хозяйничают в стране, как турки. Когда мои крестьяне лишатся урожая, а на разоренных долинах Неккара не вырастет винограда, я приду, чтобы жать, косить и вязать в снопы тела моих врагов, я приведу с собой виноделов, которые выдавят из них и отцедят их кровь. Клянусь отомстить за все, что они причинили мне и моей стране! И да поможет мне в этом Господь Бог!

— Аминь! — добавил рыцарь фон Лихтенштайн. — Но прежде вы должны подобру-поздорову выбраться из этой страны. Нечего терять время, если вы хотите, не подвергаясь опасностям, уйти.

Герцог подумал некоторое время и ответил:

— Вы правы. Я отправлюсь в Мемпельгард — вюртембергское владение во Франции. Там я посмотрю, какое ополчение смогу собрать, чтобы отвоевать свою страну. Идем, верный пес, ты будешь меня сопровождать в моем скорбном пути. Тебе неизвестно, что означает нарушить клятву и отречься от верности своему господину.

— Здесь еще есть человек, который этого тоже не ведает, — проговорил Швайнсберг, выступая вперед. — Если вы не отвергнете моей готовности следовать за вами повсюду, в вашем счастье и несчастье, то я тоже отправлюсь в Мемпельгард.

Воинственный огонь блеснул в глазах старого Лихтенштайна.

— Возьмите и меня с собой, господин! Правда, мое тело уже непригодно для ратного дела, но мой голос может еще что-то значить в военном совете.

Мария блестящим взором своих милых глаз смотрела на возлюбленного. На лице Георга выступил румянец мужественного воодушевления.

— Господин герцог, — сказал он, — я предлагал вам свою помощь в пещере, когда еще не знал, кто вы. Вы не отвергли ее. Мой голос пока не имеет веса в военном совете, но если вам понадобится преданное сердце, глаза, которые стерегут ваш покой, и сильная рука, отражающая врагов, то примите мои услуги и позвольте отправиться с вами.

Чувства, которые вызывал в нем человек без имени, его несчастье, его возвышенная душа и ободряющий взгляд любимой всколыхнули душу юноши и увлекли его на сторону изгнанника.

Старый рыцарь фон Лихтенштайн гордо и радостно смотрел на своего молодого гостя. Тронутый его порывом, герцог протянул ему руку, поднял с колен и поцеловал в лоб.

— Там, где бьются за нас такие сердца, — с воодушевлением заговорил герцог, — есть еще прочные крепости, и мы не можем считать себя бедняками. Ты мне мил и дорог, Георг фон Штурмфедер, с радостью я принимаю твою службу. Маркс фон Швайнсберг, ты нужен мне для более важного дела, чем моя охрана. Я дам тебе поручение в Швейцарии. На ваше же путешествие со мною, добрый Лихтенштайн, я не могу согласиться. Я чту вас, как родного отца. Вы вели себя со мною как истинный друг — каждую ночь открывали мне гостеприимные двери вашего замка.

Все силы свои я употреблю на то, чтобы не остаться перед вами в долгу. Когда я с Божьей помощью вновь вернусь в свои владения, тогда ваш голос будет первым в моем совете.

Взгляд его упал на Воынщика из Хардта, стоявшего все время в стороне.

— Подойди ко мне, верный друг, — позвал его герцог, протягивая руку. — Ты когда-то сильно провинился передо мною, но с тех пор искупил свою вину и остался мне верен.

— За спасение жизни никогда не расплатишься, — ответил тот, опустив голову. — Я виноват перед вами и остаюсь вашим должником.

— Иди домой, в свое жилище, — такова моя воля. Занимайся своим делом, как и прежде. Сколько ночей вы не спали, открывали мне двери и заботились о моем пропитании! Не краснейте, как будто вы в чем-то провинились! Теперь и я могу сказать свое слово. Господин Лихтенштайн, — улыбнулся герцог, оборачиваясь к отцу Марии, — я выступаю перед вами в качестве свата. Надеюсь, вы не отвергнете зятя, которого я вам представляю?

— Как мне понимать вашу речь, уважаемый господин герцог? — удивился старик, с недоумением глядя на дочь.

Герцог взял Георга за руку и подвел его к Лихтенштайну.

— Вот этот молодец любит вашу дочь, да и она неравнодушна к нему. Как вы смотрите на то, чтобы составить из них семейную пару? Однако почему ж вы нахмурились? Он равен вам по рождению, он — храбрый воин, руку которого я испытал на себе, теперь он — мой верный товарищ по несчастью.

Мария опустила глаза, яркий румянец на ее щеках сменился мертвенной бледностью. Девушка с боязливым трепетом ждала отцовского решения.

Старый Лихтенштайн строго взглянул на юношу.

— Георг, вы понравились мне сразу, как только я вас увидел. Впрочем, этого, возможно, и не произошло бы, кабы я знал, что привело вас в мой дом.

Юноша хотел что-то сказать в свое оправдание, но герцог предупредил его:

— Вы забываете, что это я послал его к вам с письмом и перстнем, а не он сам сюда пришел. Однако что же вы раздумываете? Я снаряжу его, как родного сына, награжу именьями, и вы будете гордиться таким зятем.

ЛИХТЕНШТАЙН

— Не беспокойтесь, господин герцог, — сказал тут раздосадованный нерешительностью старика Георг. — Про меня никто никогда не посмеет сказать, что я выклянчил себе жену, навязываясь в зятя. Мой род, мое имя слишком чисты для такого!

При этих словах молодой рыцарь повернулся, намереваясь покинуть комнату, но Лихтенштайн удержал его за руку.

— Экий упрямец! К чему такая вспыльчивость? Ну вот, бери ее, она твоя, только не думай о том, чтобы увести ее к себе до тех пор, пока на башнях Штутгарта развеваются чужие знамена. Будь верен герцогу, помоги ему возвратить утерянное. Если ты стойко выдержишь испытания, в тот день, когда вы вступите в ворота Штутгарта и водрузите над Вюртембергом свои знамена, я приведу к тебе мою дочку и ты станешь моим любимым сыном.

— И в этот день, — продолжил герцог, — невеста покраснеет еще больше. На башнях будут звонить колокола, когда свадебный кортеж потянется из церкви. Тогда-то я подойду к жениху и потребую заслуженную мною награду. Да, милый юноша! Поцелуй же ее как жених — думаю, это будет не впервые, — приласкай еще разок, а затем — ты принадлежишь мне до того радостного дня, когда мы вступим в Вюртемберг. Выпьем же, господа, за здоровье жениха и невесты!

Улыбка радости и счастья вновь озарила прелестное личико Марии. Она налила полный кубок и поднесла его герцогу с таким благодарным взглядом, с такой очаровательной улыбкой, что тот, позавидовав Георгу, должен был признать, что за такую красавицу многие пожертвовали бы своею жизнью.

Мужчины взяли кубки и ждали обычного в таких случаях доброго напутствия герцога. Однако Ульрих фон Вюртемберг скорбно смотрел на прекрасную свою страну, с которой он должен был расстаться, и боролся с выступившими на его глазах слезами. Наконец герцог энергично отвернулся от окна и проговорил:

— Я оставляю то, что мне было дорого. Но я увижу свою страну снова, когда наступят лучшие дни. Любовь к ней заключена в ваших верных сердцах, которые принадлежат мне. Не жалейте меня, не унывайте! Где герцог и верные ему люди, там и Вюртемберг. Да пребудет он вовеки!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

В Швабии, где отец твой герцогом был,
Где его и тебя народ простодушный любил,
Там жива о тебе еще память,
Там поднимут поникшее знамя,
В свои объятия примет Шварцвальдский Лес...
Л. Уланд¹

Едва ли было когда-либо в Вюртемберге такое душливой-
знойное лето, как в 1519 году.

Вся страна признала господство Швабского союза и полагала, что обретет покой. Союзники же показали, что воевали они не из-за одного только Ройтлингена, а рассчитывали на вознаграждение за свои труды. Одни из них хотели разделить Вюртемберг между собою, другие задумали продать его Австрии, третьи считали, что это владения детей Ульриха, однако же под их опекой. Короче говоря, союзники ссорились из-за обладания страной, на которую никто из них не имел законных прав. Сама же страна тоже разделилась на партии. От нее требовали уплаты военных издержек, однако расплачиваться никому не хотелось. Рыцарство сочло это за благоприятную возможность, чтобы объявить себя независимым. Горожане и крестьяне были разорены до нитки. Поля опустошены и вытоптаны, поправить бедствие у сельского люда не было никакой надежды. Вслед за рыцарством отказалось платить и духовенство. Словом, везде шли распри и ссоры. Многие глубоко сочувствовали своему несчастному наследному правителю. Теперь, когда изгнанный герцог ютился где-то далеко от земли своих предков, на вюртембержцев находило раскаяние и желание вернуть своего господина. Люди невольно сравнивали теперешнее бедственное положение с прежней мирной жизнью. Жестокий гнет союза не мог подавить неотступные печальные думы.

¹ «Эрнст, герцог Швабии».

Регентство союза не замедлило вызвать страшное недовольство среди угнетенного народа. Союз должен был, как сообщается в исторических хрониках, выслушивать «непривычные и недобрые речи». Союзники пытались покорить народ мерами усиленной строгости, распространяли ложь и небылицы о самом герцоге. Священникам было приказано провозглашать с амвонов враждебные Ульриху проповеди. Во всеуслышание было объявлено: кто станет хорошо отзываться о герцоге, будет арестован; за тайные сношения с ним грозили выколоть глаза, а то и лишить жизни.

Однако, несмотря на все ужасы оккупации, Ульрих не потерял сторонников среди вюртембергского народа. Тайными путями до него доходили вести о том, что делается на родине.

Герцог Ульрих находился в это время в своем графстве Мемпельгард и, окруженный кучкой преданных ему людей, выжидал удобного случая, чтобы вернуться в свою страну. Многих князей заклинал несчастный герцог прийти к нему на помощь, но никто не отзывался на многочисленные послания своего прежнего господина. Герцог обратился к знати, собравшейся на выбор императора, курфюрсты не помогли. Единственное, что они сделали, — в перечне своих требований упомянули Вюртемберг и герцога Ульриха, но новый император не обратил на это внимания. Герцог же, хоть и оставленный всеми, не унывал, он пустил в ход все, чтобы возвратить себе страну собственными силами. Некоторые обстоятельства казались ему благоприятными.

Швабский союз, прознав, что никто не хочет стать на сторону Ульриха, распустил свои войска. Во многих городах и замках остались крохотные гарнизоны, даже в Штутгарте были оставлены немногочисленные отряды, которые вскоре обратились в злейших врагов союза. По большей части то были ландскнехты, проще говоря, наемники, люди, собравшиеся со всех концов империи и подчинявшиеся то одному, то другому, то третьему господину, преимущественно тому, кто больше платит. За что и против кого сражаться, им было безразлично. Чтобы они не разбежались, приходилось прощать им многое. Отчаянные парни на собственный страх и риск предпринимали разбой, убийства, грабежи, налагали самовольно контрибуции на народ, дабы восполнить недоданное им жалованье.

Георг фон Фрондсберг был единственным военачальником, который в какой-то степени обуздал ландскнехтов своим авторитетом, ежедневными упражнениями и неумолимой строгостью.

Он разделил их толпы на регулярные отряды и роты, выбрал из них командиров, научил сражаться правильными шеренгами. Теперь стало ясно, что ландскнехты прошли хорошую школу: будучи распущены союзом, они не разбежались, как прежде, по стране в поисках службы, а сплотились в одну стройную массу, которая разбилась на двенадцать маленьких отрядов, выбравших из своих рядов начальников, даже одного «полковника» по имени Длинный Петер.

Недовольные союзом, ландскнехты кормились разбоем, насильственной контрибуцией и вели войну по собственному разумению. Анархия в Вюртемберге была столь велика, что ландскнехтам никто не противодействовал. Союз, лишившись военной силы, занимался собственными делами и не мог защитить бедных жителей от бродячих шаек. Рыцари жили в постоянных распрях друг с другом, сидели запершись в собственных замках и спокойно взирали на окружающие их беспорядки. Да и городских гарнизонов было слишком мало, чтобы обуздать притеснителей. Горожане и крестьяне снисходительно относились к разгульным шайкам, ежели их требования не становились чрезмерными. Им нравилось, когда ландскнехты всласть ругали союз, который никому уже не был мил.

Мало того, прошла молва, что эти вольные воины не прочь помочь герцогу возвратить страну и даже стали расспрашивать, когда они ему понадобятся...

Стояло роскошное ясное тихое утро. Была середина августа.

Ландскнехты расположились в долине, на лугу у самой границы Бадена.

Гигантские черные ели и громадные сосны, окружавшие долину с трех сторон, были продолжением Шварцвальда. А речушка, протекающая по долине, называлась, как выяснили ландскнехты, Вюрм.

Небольшой отряд, наполовину скрытый в лесной тени, наполовину — в ивняке, разбившись на причудливые группы, наслаждался покоем. На расстоянии двухсот шагов были выставлены посты; сверкающие копья и горящие фитили постовых издали внушали страх мирным жителям.

Посреди долины в тени могучего дуба сидели пятеро наемников. Они расположились вокруг расстеленного на земле плаща, заменявшего им стол для игры в карты, которая и поныне именуется «ландскнехт».

Эти люди отличались от своих товарищей широкими красными повязками на груди. В остальном их одеяние было так же изорвано и ветхо, как и у прочих солдат этого бесшабашного войска. Одни из них носили на голове шишаки, другие — войлочные шляпы с железными обручами и все — кожаные куртки, приобретенные от дождя, пыли и неустроенности бивачной жизни всевозможные оттенки.

При ближайшем рассмотрении можно было заметить еще две вещи, отличавшие пятерых ландскнехтов от их товарищей: у них вместо алебард и копий, которыми обыкновенно вооружались вольные солдаты, были прикреплены к поясу мечи необыкновенной длины и ширины. А на свои шляпы и шишаки, видимо, чтобы придать себе рыцарский вид, они прикрепили, подобно дворянам, пестрые развевающиеся султаны из петушиных перьев. Пятеро ландскнехтов, казалось, были большими искусниками в карточной игре, особенно тот, что прислонился спиной к дубу, — высокий, дородный человек. Его шляпа была обшита золотым галуном, на лбу ее украшало золотое изображение святого Петра, из-под которого торчали два огромных петушиных пера. Сей человек, должно быть, немало попутешествовал по белу свету: он виртуозно ругался по-французски, по-итальянски и по-венгерски. Свои усы этот герой носил на венгерский манер — скручивая их при помощи смолы так, что они, как два железных шипа, торчали на целую четверть по обеим сторонам носа.

— *Santo sacramento!*¹ — воскликнул богатырь угрожающим басом. — Валет мой! Я забираю его вместе с трефовым королем.

— Нет, он мой, с вашего разрешения! — возразил сидящий с ним рядом мужчина. — И король в придачу!

— Капитан Лефлер, вы хотите отнять эту взятку у своего полковника? Постыдитесь! Так поступают только мятежники! Спаси мою душу, Господи! Вы что, претендуете на мой полк?

При этих словах богатырь угрожающе сверкнул глазами и сдвинул со лба широкополую шляпу, явив миру огромный красный шрам, придававший ему воинственное величие.

— В игре, господин полковник Петер, не придерживаются военной субординации, — ответил игрок. — Командир может при-

¹ Здесь и далее искаженные венгерские, французские, итальянские ругательства.

казать нам осадить город, наложить на жителей контрибуцию, но при игре в карты все ландскнехты равны.

— Вы — мятежник, бунтарь, нарушитель дисциплины! Прости меня, Господи! Если бы не мой чин, я разрубил бы вас на кусочки!.. Однако продолжим игру!

— Этого туза я побью своею картой. А кто побьет бубнового валета?

— Я, — тут же отозвался богатырь. — У меня бубновый король. Взятка моя!

— Откуда взялся бубновый король? — сиплым голосом возопил маленький, тощий человечек с остреньким личиком и пронзительными, колючими глазками. — Когда ты сдавал, я не видел, чтобы он лежал внизу. Он жульничает, этот Длинный Петер! Он нагло жульничает!

— Мукерле, капитан восьмого отряда! Советую вам заткнуться! — вскипел «полковник». — *Bassa manelka!* С вами играть неинтересно. Мыши не должны дразнить льва!

— А я еще раз повторяю: откуда взялся король? Клянусь римским папой и королем Франции, ты — шулер!

— Мукерле! — «Полковник» хладнокровно вытащил меч из ножен. — Читай прощальную молитву, потому что я убью тебя, как только кончится игра.

Трое остальных игроков хоть и испугались, однако вступились за маленького «капитана» и стали убеждать «полковника» в его правоте. Но тот, не слушая, твердил, что он не жульничает.

— Если бы святой Петр, мой покровитель, образ которого я ношу на шляпе, мог говорить, он бы подтвердил, что я ландскнехт-христианин и вовсе не жульничая!

— Да, он действительно не жульничает, — раздался вдруг глухой голос из-за деревьев.

Перепуганные игроки осенили себя крестным знамением, даже храбрый «полковник», побледнев, выронил из рук карты.

А из-за дерева между тем вышел крестьянин, вооруженный кинжалом, на спине у него висела цитра. Крестьянин бесстрашно оглядел компанию и проговорил:

— Да-да, я сказал правду: этот господин не передергивал. Когда раздавали карты, он получил на руки трефового и бубнового короля, пятерку, четверку да еще валета.

— О, ты храбрый парень! — воскликнул довольный игрок. — Как честный ландскнехт, к тому же полковник, подтверждаю: все, что ты сказал, истинная правда.

— Кто он такой? — вскричал, сверкнув маленькими глазками «капитан» Мукерле. — Как сюда прокрался этот крестьянин? И стража его не заметила! Это шпион! Его надо повесить!

— Да ладно тебе, Мукерле! Никакой он не шпион! Подойди ко мне, сядь со мною рядом. Ты ведь музыкант? Идешь прямо как влюбленный испанец с гитарой к своей возлюбленной.

— Да, господин, я бедный музыкант. Ваша охрана меня не заметила, когда я вышел из леса. А я увидел, что вы играете в карты, и осмелился посмотреть на вашу игру.

Командиры вольного войска не привыкли к тому, чтобы с ними так вежливо разговаривали; они почувствовали симпатию к музыканту, потому и пригласили его присесть с ними, так как видели, состоя на службе у чужеземцев, как приветливо обходятся короли и полководцы со странствующими певцами.

«Полковник» отхлебнул из своей железной фляжки, затем протянул ее маленькому «капитану» и проговорил с веселой миной:

— Мукерле, помереть мне, если я все не позабуду! Довольно ссор и раздоров! Больше не будем играть в карты! Я люблю пение и музыку. Что, если он нам сыграет?

Игроки согласились со своим командиром и побросали карты. Музыкант же настроил цитру и спросил, что им спеть.

— Спой нам что-нибудь про игру в карты, мы ведь только что играли! — воскликнул один из ландскнехтов.

И музыкант запел:

Когда на руках короли и тузы —
Радость на сердце, но ты обожди.
Ежели тройки, семерки придут,
Заплачут и жены, и дети вокруг!

«Полковник» Петер и его командиры, похвалив песню, протянули музыканту фляжку.

— Благослови вас Господь! — сказал тот, отпивая. — Желаю вам удачи! Насколько я понимаю, вы — командиры союзников и идете на войну? А можно вас спросить: против кого?

Ландскнехты, переглянувшись, рассмеялись, однако «полковник» честно признался:

— Вы правы, мы действительно раньше состояли на службе союза, теперь же служим сами себе. Кому нужны солдаты, с тем мы и будем.

— Должно быть, швейцарцам в этом году привалит счастье: говорят, герцог хочет вернуться.

— Черт бы побрал этих швейцарцев! — вскипел «полковник». — Как они с ним обошлись! Славный герцог возлагал на них надежды, а они, разрази их гром, предали его у Блаубойрена!

— Швейцарцы позорно покинули герцога, — подтвердил сильным голосом «капитан» Мукерле, — но если в этом деле как следует разобраться, то поймешь, что он и сам в чем-то виноват. Герцог ведь их совсем не знал, этих проклятых швейцарцев!

— Да, у герцога не было под рукой никого лучше, — согласился музыкант. — Если бы с ним были такие командиры, как вы, господа, и такие храбрые воины, как у вас в отрядах, союзники бы все еще стояли под Ульмом.

— Ты правду сказал, парень! Герцог должен взять на службу ландскнехтов, а не швейцарцев. Если он вновь к ним обратится, не знаю, что из этого получится. С ним должны быть ландскнехты, повторяю еще раз. Не правда ли, Магдебуржец?

— Я тоже так думаю, — поддержал Магдебуржец. — Ландскнехты, и никто иной, могут возвратить герцогу престол. Швейцарцы только и умеют, что размахивать алебардами. А видели бы они, как мы быстро заряжаем свои ружья и пушки. Им нужно полчаса, чтобы выстрелить, а мы, ландскнехты, управляемся за пятнадцать минут.

— Отдаю все свое уважение господам ландскнехтам, снимаю перед ними шапку! — Музыкант низко поклонился вольным стрелкам. — Конечно, герцог должен позвать вас. Но союзники вам очень хорошо платили, бедный герцог столько не сможет.

— Говоришь: платили! — возмутился пятый «капитан» и громко расхохотался. — Одни медяки! Швабские псы! Это о них сложена поговорка:

Служи и не требуй награды,
Господа тебе будут рады.

Плохо они нам платили! Если его светлость, господин герцог, меня позовет, я пойду к нему на службу.

— Ты прав, Штаберль, — произнес «полковник», расправляя свои венгерские усы. — Разрази меня гром, если господин Ульрих хорошо заплатит, весь наш полк пойдет за ним.

— Ну, это вы скоро узнаете, — хитро улыбнулся крестьянин. — Вы еще не получили ответ от герцога?

«Полковник» Петер густо покраснел.

— Черт побери! Откуда ты знаешь наши тайны, парень? Кто тебе сказал, что я послал гонца к герцогу?

— Ты послал гонца к герцогу? — удивился Магдебуржец. — Значит, у нас есть друг от друга тайны? Существуют вещи, о которых мы не знаем? А ну-ка признавайся!

— Ну, я решил, как всегда, что должен думать обо всех нас, и послал человека к герцогу, спросить, не нужны ли мы ему. А плату я определил такую: один талер в месяц каждому солдату, нам, командирам, — один золотой гульден и ежедневно — четыре меры старого вина.

— О, это хорошее предложение! Золотой гульден в месяц! Я — за! Думаю, никто против не будет. Ты уже получил ответ от герцога?

— Пока нет. Но *Bassa manelka!* Как ты об этом узнал, крестьянин? Я отрублю тебе ухо, поступлю точно так же, как мой патрон — святой Петр, который был тоже ландскнехтом. Скорее признавайся, не то останешься без уха!

— Длинный Петер, — остановил его дрожащим голосом «капитан» Мукерле, — не тронь его во имя Господа Бога! Он ведь колдун. Мы должны были его поймать в Ульме и запереть на колючие господина секретаря городского совета фон Крафта, однако ж он оказался искусным чародеем, сделавшись маленьким-маленьким, превратился в воробья и улетел оттуда.

— Что? — вскричал храбрец-«полковник», отпрянув от музыканта. — Куда же смотрел городской магистрат? Надо было поубивать всех воробьев, потому что в одном из них прятался вюртембергский шпион. Думаю, этот ульмский воробей сейчас перед нами!

— Он самый, — прошептал Мукерле. — Это Волынщик из Хардта, я его сразу узнал.

«Полковник» и его командиры никак не могли прийти в себя от изумления. Они смотрели на человека, о котором молва разнесла странные слухи, со страхом и одновременно с любопытством. Сам же он делал вид, что не понимает, о чем шепчутся эти люди, почему взирают на него с удивлением и молчат, молчат, и продолжал как ни в чем не бывало заниматься своею цитрой.

Наконец Длинный Петер, овладев собою, разгладил усы, сдвинул на затылок шляпу и смиренно проговорил:

— Простите, уважаемый Волынщик, что не отнеслись к вам с должным вниманием. Мы ведь не знали, кто к нам пожаловал. Приветствуем вас. Для нас большая честь видеть знаменитого

Волынщика из Хардта, который может белым днем улететь из Ульма под видом воробья.

— Ладно, — недовольно перебил его музыкант, — оставим старые истории. Так вот, от герцога пришел приказ, чтобы я сегодня отыскал ландскнехтов и сообщил им: коли они готовы следовать за ним, он будет платить столько, сколько они запросили.

— *Canto sacramento!* Вот он, добрый господин! Золотой гульден в месяц и ежедневно — четыре меры вина! Да здравствует герцог!

— А когда он сам появится? — спросил «капитан» Лефлер. — Где с нами встретится?

— Если не произойдет никакого несчастья, то уже сегодня. Он собирается напасть на Хаймсхайм, защита там слабая. Как только ее сломает, так и прибудет сюда.

— О, посмотрите! Внизу скачет всадник при полном снаряжении! Выглядит как рыцарь!

Ландскнехты устали на край долины, где показался всадник. Его шлем и латы сверкали на солнце. Музыкант вскочил и быстро забрался на дерево. Оттуда долина была видна как на ладони. Но всадник был еще далеко, разглядеть подробности не удавалось. Однако, присмотревшись, музыкант узнал серебристую перевязь и понял, что это тот, кого он ждал.

— Что ты там обнаружил? — в нетерпении вскричали командиры. — Это случайный человек или посланник герцога?

— Да, перевязь бело-голубая, — заметил про себя музыкант, — длинные волосы, его посадка... О милый юноша, добро пожаловать в Вюртемберг! Вот он увидел вашу стражу, подъехал к ней. Смотрите, посты выставили копья и не пропускают его!

— Правильно делают! Это же ландскнехты! Они предупреждают нападение и никого не пропустят, пока их командиры отдыхают.

— Все! Теперь он говорит с ними, а они указывают в нашу сторону. Теперь он едет сюда!

Хардский музыкант с радостным лицом слез с дерева.

— *Diavolo maledetto!* Они не должны пускать его одного! По всем правилам следует вести коня под уздцы! Он рыцарь?

— Один из самых знатных в стране, — ответил музыкант, — герцог очень ценит его.

При этих словах командиры поднялись, потому что хоть и были малообразованными, но все-таки знали, что следует оказать

все возможные почести благородному рыцарю. «Полковник» же продолжал важно восседать под дубом, однако разгладил усы, поправил шляпу с петушиными перьями и гордо распрямил могучие плечи.

ГЛАВА 2

Вот и прибыл герцог,
Он — невдалеке,
Он — врагу угроза,
С деньгами в мешке.

Г. Шваб¹

К месту, где располагался Длинный Петер со своими командирами, приближался закованный в латы рыцарь. Его коня вели под уздцы два ландскнехта. Рыцарь опустил забрало своего блестящего шлема, его широкие плечи, бедра и ноги были хорошо защищены стальным укрытием, но развевающиеся перья султана, знакомые цвета перевязи на груди, благородная осанка — все это подсказало хардтскому музыканту, кто к ним приближался. И он не ошибся. Один из ландскнехтов, подойдя к «полковнику», доложил: «Дворянин фон Штурмфедер желает переговорить с командованием».

Длинный Петер от имени своих командиров ответил:

— Скажи ему, что он — желанный гость. Петер Длинный, полковник, Штаберль из Вены, Конрад из Магдебурга, Бальтазар Лефлер и храбрец Мукерле — законно выбранные начальники, ожидают его для переговоров. Накажи меня Бог, у него отличные латы, а шлем, право, не хуже, чем у короля Франциска, но вот конь мог бы быть и получше, хромает на все четыре ноги.

— Да он небось застоялся в Мемпельгарде, у герцога! — сострил один из командиров.

Остальные лишь улыбнулись шутке: смеяться громко они не могли, потому что рыцарь уже был невдалеке, хотя и не торопился к ним приблизиться вплотную. Наконец он поднял забрало, явив красивое, приветливое лицо.

— Уж не Ханс ли музыкант это? — спросил он громко. — Позвольте ему подойти ко мне.

«Полковник» утвердительно кивнул, и музыкант приблизился. Рыцарь легко спрыгнул с коня.

¹ «Романс о юности герцога Кристофа Вюртембергского».

— Добро пожаловать в Вюртемберг! — радостно приветствовал Ханс, крепко пожимая руку рыцаря. — У вас хорошие новости? Уже по глазам вашим вижу, что с герцогом все в порядке.

— Давай отойдем в сторонку! — попросил Георг. — Как дела в Лихтенштайне? Вспоминают ли там меня? У тебя нет письмеца, хоть пары строчек? О, дай мне его поскорей! Что она передала мне, добрейший Ханс?

Ханс хитро улыбнулся, видя нетерпение влюбленного юноши.

— Письма для вас у меня нет, ни одной строчки. Она здорова, старый господин тоже, и это все, что я знаю.

— Как? — удивился Георг. — Ни привета, ни единого словечка? Не поверю, она бы просто так тебя не отпустила.

— Когда я позавчера вечером зашел попрощаться, барышня сказала: «Скажи ему, чтобы он поторопился и побыстрее въехал в Штутгарт» — и так же сильно покраснела, как вы сейчас.

И впрямь, Георг залился румянцем, глаза его заблестели, а веселая улыбка показала, что ему понятен смысл этих слов.

— Скоро, очень скоро мы с Божьей помощью вступим в Штутгарт. Однако как ей жилось этим летом? Лишь трижды я получал от нее весточку! Ты часто бывал в Лихтенштайне, Ханс? Была ли она печальна? Что говорила?

— Дорогой господин, — успокаивающе ответил Ханс, — потерпите немного. В пути я вам все подробно опишу. Пока что скажу единственное: как только старик услышит, что вы направляетесь в Штутгарт, он покинет Лихтенштайн, чтобы привезти к вам невесту. Он несколько не сомневается, что вы возьмете город. Скажите, а Хаймсхайм уже наш?

— Да, он уже наш. Я примчался с двенадцатью рыцарями, горожане даже оглянуться не успели. Союзников там находилось больше, чем нас, но они были полностью деморализованы и оттого слабы. Я переговорил с ними от имени герцога, они поверили, что его войска неподалеку, и мгновенно сдались. Так мы вступили в Вюртемберг. А дальше дорога открыта?

— До самого сердца Вюртемберга. Я принес вам важное известие от рыцаря Лихтенштайна. Видите ли, важные господа из союза собираются...

— На совет в Нердлингене, не так ли? Герцог узнал об этом в Бадене.

— Да, когда нет кошки, мышки на столе пляшут. Оккупация везде ослабла, союзники не думают больше о герцоге, все их мыс-

ли устремлены на предстоящий совет. Кого они получают в правители: австрийца, баварца или же принца Кристофа, а может, править будет совет городов — Аугсбурга, Аалена, Нюрнберга?

— О, какие у них будут глаза, когда они узнают, что престол, из-за которого ломались копья, уже занят! — засмеялся Георг. — Тут-то они и попались: знают кошки, чье мясо съели! Придется им вскидывать ружья на плечи и убираться восвояси. А что же вюртембержцы? Что теперь думают о герцоге? Придут ли к нам на помощь?

— Что касается горожан и крестьян, то да. О рыцарях я ничего не знаю. Старый господин только пожимает плечами, когда я его об этом спрашиваю, и бормочет проклятия. Боюсь, с рыцарями все сложно. А вот горожане и крестьяне — все за герцога. Были чудесные знамения, о них люди говорят открыто. В Ремштале с неба упала звезда. На месте ее падения нашли в земле ветвистые оленьи рога, с одной стороны там было написано: «Живи, Вюртемберг, вечно!» — а с другой, по-латыни: «Да здравствует герцог Ульрих!»

— Ты говоришь, с неба упала?

— Так люди говорят. Крестьяне очень обрадовались этому знамению, а господа союзники жутко разозлились, схватили сельского старосту, начали пытать, откуда, мол, появился камень, пригрозили наказанием, запретили говорить о герцоге. Но крестьяне лишь посмеялись, дескать, нам теперь про него сны снятся. Все хотят, чтобы герцог вернулся. Уж лучше пусть свой ими правит, нежели чужаки шкуру сдирают.

— Ладно. Герцог и его рыцари уже сегодня будут здесь. Они намерены идти на Штутгарт. Если столица будет нашей, тогда и вся страна у нас в руках. А как эти ландскнехты? Они пойдут с нами?

— О, я чуть было о них не позабыл! Должно быть, они уже потеряли терпение. Мы заставили их долго ждать. Пойдите поговорите с ними, только по-умному. Они — гордые люди, поругались со своими начальниками. Но если вы обратите на нашу сторону этих пятерых, то на службу к герцогу перейдут двенадцать отрядов. Особо вежливы вы должны быть с Длинным Петером, их полковником.

— А который из них Длинный Петер?

— Вон тот, толстый, сидящий под дубом. У него торчащие усы и благородная шляпа. Он у них самый главный.

— Хорошо, поговорю с ним, — согласился юноша и направился к ландскнехтам.

Долгий разговор музыканта с рыцарем уже явно раздражал воинов. Мукерле кидал на них проницательные взгляды. Но когда посланник герцога приветливо улыбнулся и вежливо заговорил, сердца закаленных вояк смягчились.

— Многоопытный полковник, — обратился к ландскнехтам Георг, — и вы, храбрые начальники мужественных воинов, герцог Вюртембергский подошел к границам своих владений, завоевал Хаймсхайм и намерен, действуя подобным образом, снова овладеть всем своим герцогством.

— Накажи меня Бог, он прав, я сделал бы то же самое, — прервал его Петер.

— Герцог убедился в храбрости и военном искусстве ландскнехтов еще тогда, когда они выступали против него, — продолжал Георг. — Он надеется, что с таким же мужеством ландскнехты теперь будут стоять и за него, и дает слово герцога, что будет строго соблюдать все предложенные условия.

— Совестьливый человек! — одобрительно закивали ландскнехты. — По золотому гульдену в месяц и ежедневно четыре мерки вина для начальников! Это, право же, недурно!

«Полковник» встал, обнажил в знак уважения лысую голову и, смущенно откашлявшись, начал речь:

— Благодарим вас, благородный рыцарь. Да, мы согласны идти за вами, чтобы отплатить Швабскому союзу за все безобразия, что он сделал. Мы так хотим! Они прогнали самых лучших, храбрейших, отличнейших солдат, как будто больше не нуждаются в ландскнехтах! Вот, например, капитан Лефлер. Пусть сдерут с меня шкуру и зажарят, как свинью, если есть в христианском мире ландскнехт храбрее его! А вот Штаберль из Вены, такого не видели еще ни луна, ни солнце! А вон — Конрад Магдебуржец, он дерется не хуже любого турка. А этот вот — Мукерле. Судя по его внешнему виду, никак не догадаешься, что он лучший стрелок из бомбарды и попадает в мишень с сорока шагов. О себе говорить не буду, а то подумаете: сам себя хвалит. Скажу только, что я служил в Испании, Голландии и, *Canto sacramento*, в Италии и Германии. *Morbleu!* Да кто не знает Длинного Петера? Накажи меня Бог, если мы не доберемся до швабских собак, этих подлых союзников. *Diavolo maledetto!* Вот уж они зададут такого стрекача, что только пятки засверкают!

Это была самая пламенная речь, какую держал когда-либо Длинный Петер.

Позднее, когда он при Павии своею смертью запечатлел славу немецких ландскнехтов, товарищи его, рассказывая молодежи про Длинного Петера, приводили этот случай как самый возвышенный в его жизни.

Когда он стоял там, опершись на длинный меч, браво сдвинув на ухо большую шляпу с петушиными перьями, подперев правую рукой бок и расставив ноги, тогда ему не доставало лишь одежды получше да жалованной цепи, чтобы приняли его за настоящего полковника, истинного полководца.

Командиры ландскнехтов предложили юнкеру фон Штурмфедеру сделать смотр вновь набранному войску.

Глухой треск огромного барабана разбудил отдыхавших воинов. Над ними витал воинский пыл Фрондсберга и его требовательность к порядку и дисциплине. В несколько мгновений воины построились в три огромных круга, в соответствии с принадлежностью к определенному отряду. Глазу, привыкшему к четким движениям, прекрасной выправке и однообразию одежды современных полков, вид такого войска, как ландскнехты, показался бы даже смешным.

Ландскнехты были одеты каждый на свой вкус, однако мода того времени все-таки вносила некоторое однообразие в покррой их странных костюмов. Они обычно носили узкие кожаные куртки или же кожаные жилеты с рукавами из грубого сукна. Бедра прикрывались необыкновенно широкими шароварами, завязанными у коленей, но от тяжести свисавшими несколько ниже. Икры обтягивались толстыми чулками светлых тонов, а на ногах были грубые башмаки из некрашеной кожи. Шляпа, суконная или кожаная шапка, добытый в бою либо купленный шишак составляли их головные уборы. Бородастые лица этих воинов, часто лет по двадцать прослуживших в разных войсках по всем уголкам Европы, дышали отвагой. Вооружение их состояло из длинного кинжала и алебарды. Часть воинов была вооружена бомбардами, из которых палили с помощью зажженных фитилей.

И вот стояли они плотными рядами, плечом к плечу, — прочный оплот против врага. Георг критическим взглядом оглядел сплоченную массу, на первый взгляд ничем не объединенную, но тем не менее устрашающую.

Ландскнехты держали в памяти команды своего прежнего начальства.

— Внимание! Кругом! — раздался грозный начальственный бас Длинного Петера.

Воины молниеносно выполнили команду, и Длинный Петер изложил им условия герцога Вюртембергского.

Радостный гул оповестил, что условия эти понравились и что ландскнехты готовы служить Ульриху Вюртембергскому так же усердно, как до того служили против него.

Командиры произвели смотр нескольких воинских упражнений, и Георг подивился ловкости ландскнехтов, подумав про себя, что большего и не добьешься в военном искусстве. Как он ошибался! Но эта ошибка более простительна, нежели представления наших дедушек о героях Фридриха Великого в 1829 году, не подозревавших о будущих насмешках внуков над их косичками и гамашами. Действительно, таких тонких талий, как у нынешних солдат, не было у командиров в 1519 году, но они могли бы поделиться с сегодняшним войском своими бородами и усами.

Час спустя с форпостов донесли, что внизу, в долине, просматривается блеск вооружения, а если приложить ухо к земле, можно отчетливо услышать топот множества коней.

— Это герцог! — обрадовался Георг. — Приведите моего коня, я поеду ему навстречу.

Молодой человек поскакал по долине. Командиры ландскнехтов удивились проворству, с каким он галопировал в тяжелом снаряжении, и похвалили его осанку и воинскую выправку. Вскоре султан юноши смешался с другими.

Конница приближалась, засверкали шлемы, и вот уже рыцари показались на небольшом пригорке.

Повеселевший хардтский музыкант пристально вглядывался в даль, грудь его вздымалась от радости. Он схватил за руку «полковника» и показал на рыцарей.

— Который из них герцог? — спросил тот. — Он на вороном коне?

— Нет, это благородный рыцарь фон Хевен. Вы видите знамя Вюртемберга? О, его несет юнкер фон Штурмфедер, какая честь!

— Да, это выдающееся отличие! Черт побери, парню всего двадцать пять лет, а ему уже доверили знамя! Во Франции такое позволено лишь коннетаблю, второму человеку после короля Франциска! Но который же из них герцог Ульрих?

— Видите человека в зеленом плаще, с красно-черными перьями на шляпе? Он скачет рядом со знаменем и разговаривает

с юнкером. Под ним вороной конь, сейчас он показывает в нашу сторону, видите? Так вот это и есть герцог.

Отряд состоял примерно из сорока хорошо вооруженных рыцарей со слугами, сопровождавшими герцога в изгнании и присоединившимися к нему на границе его владений. Георг фон Штурмфедер держал в руке вюртембергское боевое знамя. Рядом с ним скакал в боевых доспехах герцог Ульрих.

Когда отряд приблизился к ландскнехтам шагов на двести, Длинный Петер, возвысив голос, приказал:

— Слушайте мой приказ! Когда его светлость будет совсем близко и я сниму свою шляпу, кричите: «Виват Ульрикус!» — и машите флагами, а вы, барабанщики, во всю бейте в свои барабаны! Выбивайте дробь, как при штурмовой атаке. Колотите, хоть бы сломались палки, — так приветствуют князя храбрые ландскнехты!

Это краткое наставление подействовало как нельзя лучше: воинственная толпа провозглашала хвалу герцогу, в возбуждении потрясала алебардами, гремела ружьями, барабанщики выбивали отчаянную дробь.

Когда подъехал Георг со знаменем Вюртемберга, а за ним, на высоком, статном вороном коне, величественный, как в дни своей власти, со смелым, повелительным взглядом, показался герцог Ульрих Вюртембергский, Длинный Петер почтительно обнажил свою голову, барабаны загревели, как перед штурмом, флаги сложились для приветствия и тысячеголосое «Виват Ульрикус!» зычно потрясло воздух.

Хардтский крестьянин стоял в отдалении, его глаза пожирали величественное зрелище, прославляющее его господина.

Герцог остановил коня, посмотрел вокруг, и среди огромной толпы воцарилась мертвая тишина.

Тогда крестьянин приблизился к нему, опустился на колени и схватился за стремя, чтобы помочь герцогу сойти с коня.

— Живи вечно, Вюртемберг! — в волнении произнес музыкант.

— А-а, это ты, Ханс, мой верный товарищ по несчастью! Ты первым приветствуешь меня на вюртембергской земле! Я ожидал увидеть здесь мою знать, моего канцлера, моих советников. Где эти подлые псы? Где прячутся отпрыски благородных родов? Они не хотят меня видеть на родной земле? И некому, кроме крестьянина, придержать мое стремя?

Спутники герцога столпились вокруг него и с удивлением слушали его речи. Они не могли понять, говорит ли он серьезно или горько шутит над своим несчастьем. Его рот улыбался, но голос звучал повелительно. Окружение герцога мрачно переглянулось. А крестьянин ответил своему владыке:

— На этот раз лишь один крестьянин встречает вас на вюртембергской земле, но не пренебрегайте моим верным сердцем и твердой рукой. Другие тоже придут, когда узнают, что господин герцог вновь здесь.

— Ты так думаешь? — горько усмехнулся герцог, спрыгивая с коня. — Они появятся тоже, знаю. Но пока об этом нет сведений. Однако я постучу в их двери и напомню, что их старый господин возвращается в свой дом. А это ландскнехты, — продолжал он, разглядывая вольное войско. — Они хотят служить мне? Да-а, они неплохо вооружены и имеют бравый вид. Сколько же их?

— Двенадцать отрядов, ваша светлость, — ответил «полковник» Петер. Он стоял перед герцогом без шляпы и смущенно тербил свои венгерские усы. — Это народ опытный. Накажи меня Бог, у французского короля таких нет!

— А ты кто таков? — спросил герцог, с удивлением глядя на большую толстую фигуру с длинным мечом.

— Я, собственно, ландскнехт, это мое ремесло. Зовут меня Длинный Петер, я здесь законно выбранный полковник.

— Что?! Полковник?! Бросьте эти глупости! Вы, возможно, очень храбрый человек, но полководцем быть не можете. Я сам буду вашим полковником, а начальниками к вам назначу своих рыцарей.

— Bassa manelka, простите, ваша светлость, что я ругаюсь! Но позвольте старику спросить: а как же договоренность о золотом гульдене в месяц и четырех мерках вина ежедневно? Вот стоит, например, Штаберль из Вены. Нет во всем мире человека храбрее его...

— Ладно-ладно, старина! За гульденом и вином дело не станет. Кто был начальником, тот и получит по условию то, что ему положено. Вы должны только отказаться от командования. Есть у вас порох и ядра?

— Как не быть! — отозвался Магдебуржец. — У нас сохранилось много вашего пороха и свинца, которыми мы запаслись в Тюбингене. У нас в запасе по восемьдесят выстрелов на человека.

— Хорошо. Георг фон Хевен и Филипп фон Рехберг, поделите ландскнехтов, каждый из вас возьмет по шесть отрядов. Вы, прежние командиры, можете остаться при своем отряде и помогать господам. Людвиг фон Геминген, будьте так добры, примите руководство пехотой. И теперь прямой дорогой — на Леонберг. Радуйся, мой верный знаменосец, — закончил герцог, вскакивая на коня. — Если Богу будет угодно, завтра мы вступим в Штутгарт.

Конный отряд с герцогом во главе двинулся дальше. Длинный Петер все еще стоял на прежнем месте, держа в руке шляпу с гордыми петушиными перьями, и смотрел вслед удаляющимся всадникам.

— Вот это государь! — сказал он стоявшим подле товарищам. — А голос-то, голос какой! А как сверкает очами! Я думал он проглотит меня с потрохами, когда спросил: «Кто ты таков?»

— А мне стало страшно, будто надо мною пролили кипящую воду, — поделился Штаберль. — У нас в Вене тоже есть император, но куда тому до него! Как куцему до зайца!

— Значит, наше командирство было, да все вышло! — обидчиво проговорил Мукерле. — Не долго музыка играла...

— Дурак! Мне это даже по душе. Положение обязывает! — гласит поговорка. А ведь нас не всегда и слушались. Diavolo! Сегодня один меня вообще высмеял. Всегда лучше, когда командуют господа. А вот золотые гульденy и четыре мерки вина нам все-таки достанутся, а это главное.

— Согласен! И за это мы должны быть благодарны Длинному Петеру! Да здравствует Длинный Петер!

— О, благодарю, благодарю! Ну, братцы, этот господин возьмется за союз! Только он поднимет свой меч, так сразу и погонит союзничков, а вместе с ними своих советников и канцлера. Вы слышали, как он их всех проклинал? Я не хотел бы оказаться в их шкуре!

Дробь барабана перебила разговор храбрых бойцов. Эти звуки родились уже не по их приказу, но Длинный Петер в своих многочисленных походах настолько привык к превратностям судьбы, смене счастья на несчастье, что несколько не был опечален падением своего правления. Спокойно снял он петушиные перья с огромной шляпы, спрятал красный шарф, убрал длинный меч — знаки своего чина — и схватил алебарду.

— Накажи меня Бог, такому парню, как я, трудно командовать двенадцатью отрядами, — сказал он, вливаясь в ряды своих

сотоварищей. — А вот святой Петр из простых ландскнехтов стал-таки полковником в небесном воинстве! Эх, человек должен все испытать на земле!

Ландскнехты сочувственно потрясли руку Петера и высказали то, что было приятно его храброму сердцу: он был для них хорошим командиром.

Три рыцаря, их теперешние начальники, сели на коней и разместились впереди своих отрядов. Ландскнехты построились в обычный походный порядок, и Людвиг фон Геминген приказал барабанщикам бить выступление.

ГЛАВА 3

Мы через вал проникли в лагерь.
Тут мрачною своею мантией нас ночь накрыла
И страшным кличем боевым врагов
о битве известила.
Ф. Шиллер¹

Была ночь на Успение Богоматери, когда герцог Ульрих прибыл к городским воротам Штутгарта.

По пути следования он легко отбил городок Леонберг и безостановочно продвигался далее. К нему сбегалось множество народа, так как известие о его приближении распространялось с быстротой молнии. Теперь особенно стала очевидной всеобщая неприязнь к союзу: повсюду открыто радовались тому, что ненавистному режиму приходит конец, а наследный герцог вновь обретает утраченные права.

Это известие докатилось и до Штутгарта, вызвав там различную реакцию. Дворянство, оставшееся в городе, боялось ошибиться, в памяти еще свежа была сдача Тюбингена. Но воспоминания о блестящей жизни при дворе Ульриха Вюртембергского, о счастливых днях, столь отличных от безрадостной жизни под пятой Швабского союза, могло подвигнуть благородных господ на сторону герцога и стать поводом для его скорейшего возвращения.

Горожане же, настроенные весьма патриотично, едва скрывали радость. Они собирались на улицах целыми толпами, горячо

¹ «Орлеанская дева».

обсуждали ожидаемое событие и тихо, но от души бранили союз и злобно сжимали кулаки в своих карманах. Горожане вспоминали о знаменитых предках изгнанного герцога, также носивших славное имя Вюртембергов, пересчитывали по пальцам храбрых мужей, в правление которых их отцы жили беззаботно и счастливо и добывали славу родной земле. Им льстила мысль о том, что от их решения зависит судьба всей страны. Конечно, они были далеки от мысли что-либо предпринять на свой страх и риск, но тем не менее подбадривали друг друга словами: «Дождемся ночи, сват, и уж тогда покажем этим чужакам, каковы мы на самом деле, мы — штутгартцы!»

От городского наместника, ставленника союза из Баварии, не ускользали подобные настроения. Он сожалел, что по-глупому согласился на уход войска, и обратился за помощью к представителям союзников, собравшимся в Нердлингене, выразив надежду, что Штутгарт самостоятельно продержится до возвращения военных обратно. Наместник предусмотрел кое-какие меры для отпора, но быстрота, с какой продвигался герцог, сорвала все его планы. Когда же он осознал, что не может доверять горожанам, а знать предпочитает оставаться в стороне и его сил явно не хватит, чтобы сдержать напор, то решил со всеми своими советниками сбежать под покровом ночи в Эслинген.

Бегство это было настолько поспешным и тайным, что в городе остались даже их семьи. Никто не догадывался, что наместник и его советники больше не обретаются под прикрытием городских стен. Стронники же союза пребывали в спокойствии и не верили слухам о приближении герцога.

Рыночная площадь еще и тогда была сердцем Штутгарта. Вокруг рынка располагались два больших предместья, защищенные толстыми стенами, мощными воротами и рвами, за ними шли стены и ворота старого города, жители которого не без гордости смотрели сверху на обитателей предместий. На рыночной площади в чрезвычайных случаях, по старинному обычаю, собирались все горожане.

В знаменательный вечер перед Успением Богородицы люди стеклись на эту самую площадь со всех сторон города. Собралась огромная толпа. В ту пору, когда горожане с оружием в руках могли занять ту или иную позицию, живое слово имело больший вес, нежели перо, чернила и бумага, взявшие верх позднее.

Ночное сборище горожан отличалось от дневного их собрания. Некоторые из них по поводу герцога днем отвечали: «Какое

мне до этого дело! Я миролюбивый человек!» — однако вечером их голоса уже звенели металлом: «Мы хотим отпереть ворота герцогу. Пора покончить с союзниками! Кто настоящий вюртембержец?!»

Луна ярко освещала многоликое сборище, беспокойно бормотавшее и колыхавшееся туда-сюда.

В вечернем воздухе раздавался глухой гул. Толпа, казалось, пребывала в нерешительности, быть может, потому, что не находилось смельчака, который мог бы ее возглавить. Окна высоких домов, остроконечными крышами замыкавших площадь, были усеяны любопытными зрителями, прислушивающимися напряженно и боязливо к смутному говору толпы. То были жены и дочери, наблюдавшие за мужчинами. Штутгартские девушки в ту пору были любопытными, так как в глубине души сочувствовали герцогу-страдальцу.

Ропот толпы становился все громче и громче. Настойчивее и настойчивее слышался крик: «Убрать солдат от ворот! Дорогу герцогу!»

Вдруг на скамью у колодца вскочил высокий худой человек. Он яростно размахивал необыкновенно длинными руками и, широко раскрыв рот, неистово кричал хриплым голосом, требуя внимания. Мало-помалу площадь затихла. Из речи длинного человека можно было расслышать отдельные слова и фразы: «Как? Почтенные штутгартские горожане хотят нарушить свою клятву! Разве вы не клялись союзу в верности? Кому вы хотите открыть ворота? Герцогу? Он идет с малым количеством войск, ведь у него нет денег, чтобы платить солдатам. А вам придется открыть кошельки и за него расплачиваться! Штутгарту надо будет заплатить десять тысяч гульденов! Вы слышите? Десять тысяч гульденов вам придется платить!»

— Кто этот длинный малый? — спрашивали в народе. — Пожалуй, он говорит правду: заставят нас платить!

— Он что, горожанин? Этот, этот вон, наверху. Кто вы такой? — закричал самый смелый. — Откуда вы знаете, сколько мы должны будем платить?

— Я — знаменитый доктор Кальмус, — торжественно заявил оратор, — и точно обо всем знаю. Кого вы собираетесь низложить? Императора, империю, союз? Хотите бросить вызов такому количеству состоятельных людей? И из-за кого? Из-за нахала, дравшего с вас по три шкуры! Вспомните только о налогах,

о жестоком штрафе за незаконную охоту! А теперь у него вовсе нет денег, он прощелыга, все проиграл в своем Мемпельгарде.

— Замолчи! Заткнись! — кричали горожане. — Не твое это дело. Долой этого Кальмойзера! Он — не здешний! Смерть ему! В колодец его вниз головой! Да здравствует герцог!

Доктор попробовал было снова возвысить голос, но горожане перекричали его. В эту минуту из верхнего города подошли новые толпы.

— Герцог у ворот! — кричали они. — Прибыл со всадниками и с пехотой! Где наместник? Где городские советники? Если мы не откроем ворота, герцог будет стрелять по городу. Прочь союзников! Кто настоящие вюртембержцы?

Сумятица росла с каждой минутой. Горожане по-прежнему пребывали в нерешительности, когда на скамье появился новый оратор. Это был элегантный господин красивой наружности. Его приятное лицо, красивая одежда внушали невольное уважение.

— Подумайте, — воскликнул изящный человек тонким голосом, — что скажет на это светлейший союзный совет, если вы...

— Какое нам дело до вашего светлейшего! — перебили его неистовые крики. — Прочь! Тащите этого модника вниз вместе с его розовым пальтишком и прилизанными волосами! Он — ульмец! Вон его! Бей его! Он из Ульма!

Не успели горожане исполнить свое суровое решение, как к скамейке подошел довольно энергичный и крепкий человек. Одним ударом он отбросил знаменитого доктора Кальмуса вправо, а ульмца в розовом пальто — влево и замахал своей шапкой.

— Тише! Это же Хартман! — закричали несколько человек из толпы. — Он знает свое дело. Слушайте, что он скажет!

— Выслушайте меня, — обратился к толпе Хартман. — Наместника и союзных советников нигде нет. Они позорно сбежали, бросив нас на произвол судьбы. Поэтому хватайте этих двух, они будут заложниками. А теперь быстрее к воротам. Там стоит наш настоящий герцог. Лучше самим отворить ворота, не то он ворвется силой. Кто добрый вюртембержец, следуйте за мной!

Хартман слез со скамьи, толпа, ликуя, окружила его. Оба защитника союза, не успев опомниться, были связаны и уведены с площади. Поток горожан понесся с рыночной площади к городским воротам. Союзные солдаты, охранявшие ворота, были мгновенно сметены. Двери распахнулись, подъемный мост упал надорвом.

В это время на другой стороне рва предводители пехоты выставили вперед свои лучшие отряды, так как не знали, как поведет себя союзники при приближении герцога.

Ульрих тем временем объезжал посты. Напрасно убеждал его Георг фон Штурмфедер, что гарнизон союзников в Штутгарте — малочислен, что горожане добровольно откроют ворота. Герцог мрачно смотрел в черноту ночи, сжав плотно рот и скрипя зубами.

— Нет, ты не понимаешь, — бормотал он юноше, — ты плохо знаешь людей. Все они лживы. Не верь никому, кроме себя. Они колеблются, будто подбиты ветром. Но на этот раз им никуда не деться!

Георг никак не мог понять настроения герцога. В несчастье тот был тверд, ровен и даже нежен со своими спутниками, говорил о хороших нововведениях, которые он собирается предпринять, когда вернется в свою страну, никогда не выказывал гнева по поводу врагов. Но как только Ульрих увидел отеческие пределы, в нем пробудилось оскорбленное самолюбие, его больно ранило то, что знать и слышать о нем не хотела, не встречала с радостью и надеждой. Гордость и упрямство светились в его глазах, лицо было постоянно мрачным, строгость и твердость неизменно проявлялись в отношении к своему окружению, особенно к Георгу фон Штурмфедеру, который смотрел теперь на герцога новыми глазами.

Вот уже полчаса прошло с тех пор, как герцог передал горожанам свои условия, однако оттуда все еще не поступало никакого ответа. В городе заметно было лишь какое-то робкое, судорожное движение, которое нельзя было воспринимать ни как добрый, ни как плохой знак.

Герцог подъехал к ландскнехтам, стоявшим, опираясь на алебарды, в ожидании развязки. Их командиры — три рыцаря — находились у рва, своим присутствием внося в ряды вольного войска успокоение и порядок. При свете луны Георг опасно поглядел на герцога. Черты его лица заострились, щеки покраснелись, глаза горели.

— Хевен! — приказал герцог глухим голосом. — Велите притащить лестницы! Гром и молния! Я стою перед собственным домом, а эти псы не хотят меня впустить! Я протрублю тревогу и, если они сразу же не откроют ворота, выпущу огонь по городу, подожгу их клетки!

— *Santo sacramento!* Меня это радует! — тихо одобрил Длинный Петер, стоявший во главе своего отряда неподалеку от герцога, и посоветовал своим товарищам: — Как только принесут лестницы, мы вскарабкаемся как кошки и накинемся на тех, что внизу, в крепости. А там уже пустим в ход алебарды и бомбарды.

— О, мне это нравится, — прошептал Магдебуржец, — мы город подожжем по углам и как следует очистим горожан!

— Ради бога, герцог! — воскликнул Георг, услышав слова ландскнехтов и ощутив их злобную радость. — Подождем еще минут пятнадцать. Это ведь ваша столица, здесь ваша резиденция. Должно быть, они пока совещаются.

— О чем им так долго совещаться! — ответил раздраженно Ульрих. — Их господин стоит у ворот и требует его впустить. Я долго терпел, Георг! Разверни мое знамя, вели трубачам трубить и обратись к горожанам в последний раз. И если я сочту до тридцати после твоего обращения, а они еще не откроют, то, клянусь святым Хубертом, мы пойдем на приступ! Поторопись, Георг!

— О господин! Одумайтесь! Это же ведь ваш город, ваш лучший город. Вспомните, сколько лет прожили вы в этих стенах, которые теперь хотите разрушить! Дайте им еще срок.

— Ха-ха-ха! — мрачно рассмеялся герцог и ударил железной перчаткой по латам. Далеко в ночи раздался угрожающий звон. — Смотрю я, ты не торопишься войти в Штутгарт и тем самым завосвать невесту. Опасайся моей немилости. Больше ни слова, Георг фон Штурмфедер! Выполняй мой приказ. Повторяю: разворачивай знамя, вели трубачам трубить, разбуди всех ото сна, пусть видят: Вюртемберг у ворот и он хочет, несмотря на императора и всю империю, войти в свой дом. Я требую этого, Георг!

Георг молча подчинился приказу. Он подъехал к самому краю рва и развернул вюртембергское знамя. Луна приветливо осветила все, что было на нем изображено. На красном шелковом полотне горели гербы государства Вюртемберг. На одном поле красовались олени рога, на втором — игральная кость Тека, на третьем — боевое знамя, на четвертом — рыбки Мемпельгарда, шлем с короной и охотничий рог. Юноша энергично замахал тяжелым знаменем, три трубача, расположившись рядом с Георгом, грозно загремели перед закрытыми воротами.

В воротах открылось окно, стражники спросили, чего желают пришельцы. Георг фон Штурмфедер, возвысив голос, воскликнул:

— Ульрих, Божьей милостью, герцог Вюртембергский и Текский, граф Урахский и Мемпельгардский, требует во второй, и по-

следний, раз тотчас же добровольно отворить ему ворота. В противном случае он немедленно идет на приступ и рассматривает Штутгарт как вражеский город.

Георг еще не успел договорить, как за городской стеной слышался топот и смутные крики многочисленной толпы. Шум приближался.

— Накажи меня Бог, они идут на вылазку! — проговорил Длинный Петер так громко, что герцог услышал его слова.

— Пожалуй, ты прав, — согласился герцог, обернувшись к испуганному ландскнехту. — Сомкнитесь! Копья вперед! Приготовьте бомбарды! Они получат по заслугам.

Передняя линия ландскнехтов отступила ото рва, оставив лишь три отряда там, где должен был опуститься на землю подъемный мост. Волна копий ошетилилась остриями, грозя отразить самое отчаянное нападение. Стрелки опустили свои бомбарды на рогатки и приготовили фитили. Воцарилась мертвящая тишина ожидания. Тем сильнее казалась сумятица за городскими воротами.

Наконец мост опустился, но ни один солдат не вступил на него. Из городских ворот вышли три седых старика, они несли герб и ключи от города.

Увидев это, герцог смягчился и подъехал к депутатам. Георг наблюдал за передачей ключей. Двое из пришедших, видимо, были советниками ратуши или бургомистра. Они преклонили перед герцогом колени и вручили ему знаки своей покорности. Герцог, передав их служителям, сказал горожанам:

— Вы заставили меня долго ждать у ворот. Воистину, еще минута — и мы бы поднялись на стены города, и тогда для нашей встречи осветили бы город так, что дым бы выел вам глаза. Почему, черт побери, вы заставили нас так долго ждать?

— Господин герцог, — заговорил один из престарелых горожан, — что касается нас, благонамеренных бюргеров, мы давно были готовы встретить вас подобающим образом. Но некоторые знатные господа держали перед народом опасные речи, подстрекая людей против вас. Это нас и задержало.

— И кто ж эти господа? Надеюсь, вы не дали им скрыться? Я не прочь побеседовать с ними.

— Сохрани вас Бог, ваша светлость! Мы знаем, что перед вами виноваты. Мы тотчас же схватили их и связали. Прикажете их привести?

— Завтра утром, в замок. Хочу сам допросить негодяев. Да пришлите палача. Может, придется отрубить им головы.

— Скорый суд, но по заслугам! — произнес хриплый каркающий голос позади горожан.

— Кто это перебивает меня? — спросил герцог, осматриваясь.

Между депутатами выступила странная маленькая фигура, облаченная в черный шелковый плащ, который едва скрывал горб на спине. На скудной седой шевелюре лихо примостилась маленькая остроконечная шляпа; коварные глазки неприятно сверкали из-под косматых седых бровей, а жидкие усы, висевшие под выдающимися вперед орлиным носом, придавали человеку вид большого кота. Приторная слащавая улыбка залила сморщенное лицо горбуна, когда он, обнажив голову, униженно кланялся герцогу. Георга фон Штурмфедера с первого же взгляда на него охватило необъяснимое отвращение, смешанное с инстинктивным ужасом.

Герцог же, взглянув на маленького старичка, радостно воскликнул:

— А-а! Амброзиус Воланд, наш канцлер, бывший профессор! Ты еще жив? Хотя мог бы и пораньше прийти, узнав, что мы уже вступили в страну. Но тем не менее — добро пожаловать!

— Всесветлейший господин герцог, — засипел канцлер Амброзиус Воланд, — меня одолела подагра, скрутила так жестоко, что я не мог выйти из дому, поэтому прошу меня простить...

— Ладно-ладно, — рассмеялся герцог, — мы тебя вылечим от подагры. Приходи завтра утром в замок. А теперь я хочу насладиться встречей со Штутгартom. Сюда, мой верный знаменосец. — Герцог ласково посмотрел на Георга. — Ты сдержал свое слово, и мы входим в Штутгарт. Вознагражу тебя за это. Слава святому Хуберту, невеста теперь принадлежит тебе по праву. Неси передо мною мое знамя, мы водрузим его над дворцом, сбросив все союзные тряпки! Геминген и Хевен, сегодня вы — мои гости. Посмотрим, осталось ли вино от господ союзников.

Так вступил герцог Ульрих, окруженный верными ему рыцарями, в ворота Штутгарта, затем в свою резиденцию. Горожане восторженно кричали «Виват!», красивые девушки высовывались из окон, к неудовольствию своих мамаш и возлюбленных, которые думали, что те приветствуют прекрасного юного рыцаря, герцогского знаменосца. А он, освещенный факелами, выглядел, как святой Георгий, победивший дракона.

ГЛАВА 4

О крепость, где духи предков витают!
В ней жили творцы и бойцы.
Портреты их славу являют,
Что в жизни познали отцы.

Ф. Конц¹

Старый Штутгартский замок в ту пору, когда его после прибытия герцога поутру осматривал Георг фон Штурмфедер, выглядел не совсем так, как в наши дни. Достроен он был позже, сыном Ульриха герцогом Кристофом. Старый замок герцогов Вюртембергских стоял на том же самом месте, общие его очертания не слишком отличались от постройки Кристофа, но были в основном деревянными. Замок был окружен широкими и глубокими рвами, через которые в город вел подъемный мост.

Обширная красивая площадь перед замком в прежние времена служила веселому двору Ульриха ареной для рыцарских игр: не один рыцарь здесь пал на песок, сброшенный с коня могучей рукою герцога. Признаки процветавшего когда-то тут рыцарского культа обнаруживались и в самом здании.

Зал в нижней части замка был так просторен, сводчат и высок, что рыцари в непогоду могли проделывать здесь то же, что и на площади, то есть фехтовать, орудовать копьями, даже бросать дротики. О величине этого герцогского зала дают представление сообщения летописцев, которые говорят, что в торжественных случаях тут накрывали от двухсот до трехсот столов.

Из зала наверх вела каменная лестница, настолько широкая, что по ней могли ехать рядом два всадника. Величественному устройству замка соответствовала роскошь комнат, блеск рыцарского зала и богатые широкие галереи, устроенные для игр и танцев.

Георг с изумлением оглядывал исчезающее великолепие герцогского двора. Он сравнивал скромную обитель своих предков с этими залами, дворами. Как же те были малы и ничтожны! Юноша вспомнил рассказы о блестящем дворе Ульриха, о его пышной свадьбе, когда в замке угощали семь тысяч гостей со всех концов немецкого государства; под этими высокими сводами и на широком дворе целый месяц продолжались рыцарские турниры и пи-

¹ «Крепость».

ры, а с наступлением вечера в залах и галереях танцевали сотни графов, рыцарей, дворян, сотни прекраснейших дам Германии.

Георг взглянул вниз, на великолепный парк, прозванный раем. Его фантазия оживила аллеи и дорожки, наполнила их пестрой толпой веселого двора, могучими фигурами рыцарей, празднично разряженными дамами, тем ликованием, пением и музыкой, которые звучали некогда здесь. Но как пустынно и безлюдно показались ему теперь эти чертоги и сады в сравнении образов его фантазии с настоящей действительностью! «Свадебные гости, блестящий веселый двор исчезли, — подумал Георг, — царственная супруга сбежала; роскошное общество женщин рассеялось; рыцари, графы, пировавшие тут, проводившие жизнь, наполненную турнирами, пирами и танцами, отреклись от своего герцога: нежные отпрыски его рода находятся в дальних странах, а сам он, сидя в одиночестве в этом великолепном замке, замышляет месть своим врагам и не знает, долго ли ему придется оставаться в отчем доме, не придут ли снова враги, более могущественные, с новыми силами, и он будет несчастнее, чем раньше».

Понапрасну юноша отгонял от себя мрачные мысли, вызванные резительным контрастом между великолепием замка и несчастной судьбой герцога. Напрасно вызывал образ милой возлюбленной, которую вскоре назовет своею навеки. Тщетно рисовал себе радостные картины счастливой семейной жизни, печальные думы возвращались вновь. Величие души, которое явил герцог в несчастье, покорили сердце юноши, он готов был служить ему и охранять от грозящей беды.

— Отчего так серьезен молодой человек? — нарушил раздумье юноши бодрый голос. — Я думал, что Георг фон Штурмфедер имеет все основания быть счастливым!

Рыцарь обернулся и с удивлением увидел канцлера Амброзиуса Воланда. Притворное дружелюбие этого существа, похожего на хитрющего кота, было ему еще вчера неприятно, а сегодня его вычурный наряд буквально резал глаза. Сморщенное желчное лицо с постоянной, будто приклеенной, улыбкой, пронзительные зеленые глазки из-под длинных серых ресниц, воспаленные красные веки, тощие вислые ушишки резко выделялись на фоне красного бархатного берета и светло-желтого шелкового плаща, свисающего с горба маленького человечка. Из-под плаща виднелся ярко-зеленый костюм с розовыми шлицами и ярко-розовыми же подвязками с огромными бантами на коленях. Его

голова едва выступала из плечей, так что красный берет почти нависал над горбом. Штутгартский палач мог бы сказать, что нет ничего труднее, чем обезглавить такого человека, как канцлер Амброзиус Воланд.

Коротышка, все еще со сладкой улыбкой, продолжал:

— Возможно, вы меня не знаете, многоуважаемый юный друг. Я — Амброзиус Воланд, канцлер его светлости, пришел пожелать вам доброго утра.

— Благодарю вас, господин канцлер, слишком большая для меня честь, чтобы вы так себя утруждали.

— По заслугам и честь! Вы — образец и венец нашего юного рыцарства! Кто верно служит моему господину в несчастье и горе, тот достоин глубокой благодарности и необыкновенного уважения.

— Вам бы это дешевле обошлось, если бы вы явились в Мемпельгард, — ответил Георг, оскорбленный похвалами коротышки. — Верность не следует восхвалять прежде, чем порицать неверность.

Проблеск гнева промелькнул в зеленых глазах канцлера, но он, овладев собою, по-прежнему дружелюбно продолжал:

— О, абсолютно с вами согласен! Что же касается меня, то приступ подагры не позволил мне встать с постели и поехать в Мемпельгард. Но теперь передо мною забрезжил свет, и я могу служить своему господину верой и правдой.

Горбун примолк, ожидая ответа, но юноша молчал, пронзая говоруна таким взглядом, который тот не мог вынести.

— Ну а вас ждет большая радость. Удивительно, герцог так к вам привязан! Разумеется, вы заслужили подобную честь и достойны быть его любимцем. Позвольте же и Амброзиусу Воланду выразить вам свою признательность. Цените ли вы прекрасное оружие? Пойдемте же ко мне домой — я живу у рынка, — вы сможете выбрать себе из моего снаряжения кое-что по своему вкусу. Может, и мои книги, которых у меня полный шкаф, сослужат вам службу. Выберите что-нибудь для себя, как это бывает между друзьями. Пообедайте со мною. Хозяйство мое ведет кузина — прелестное дитя семнадцати лет, только, хи-хи-хи, не заглядывайте ей слишком глубоко в глаза.

— Не беспокойтесь, этого не произойдет.

— Вот как! Вы — настоящий христианин, вас можно за это похвалить. Такой добропорядочности не увидишь в современной молодежи. Скажу прямо: Штурмфедер — образец добродетели.

Что я вам еще хочу сказать. Мы сейчас только вдвоем — доверенные люди герцога должны держаться друг друга и подпускать к его светлости лишь того, кого захотим. Понимаете, хи-хи-хи, рука руку моет. Но об этом мы еще поговорим подробнее. Удостоите ли вы меня чести своим визитом?

— Когда позволит время, господин канцлер.

— Я бы еще побыл с вами — общение с таким прекрасным юношей мне по душе, но, увы, спешу к герцогу. Он устраивает сегодня утром суд над двумя арестантами, которые вчера подстрекали народ. Так вот, я уже вызвал палача.

— Как? Палача? — встревожился Георг.

— Да-да, настоящего палача, мой уважаемый юный друг.

— Прошу вас! Герцог не должен первый день своего правления омрачать кровью!

Канцлер мерзко рассмеялся.

— Ваше отзывчивое сердце делает вам честь. Но оно не подходит для данного случая. Их надо наказывать в назидание другим. Одного, — продолжил горбун нежным голосом, — обезглавят, потому что он дворянин, а другого повесят. Храни вас Господь, мой дорогой!

С этими словами канцлер Амброзиус Воланд покинул рыцаря и тихими шагами направился по галерее к покоям герцога.

Георг мрачно смотрел ему вслед. Он слышал, что этот человек раньше, то ли благодаря своему уму, то ли в силу невероятной хитрости, имел огромное влияние на герцога. Да и сам Ульрих часто упоминал в разговоре его необыкновенные государственные способности. Сейчас же Георг неосознанно испугался за герцога, так как прочитал в глазах горбуна лицемерие и коварство. Он увидел, как коротышка в развевающемся желтом плаще завернул за угол, и тут же услышал возле себя шепот:

— Не доверяйте Желтому!

То был незаметно подошедший Волынщик из Хардта.

— О, это ты, Ханс! — обрадовался Георг и протянул руку. — Пришел в замок нас навестить? Как здорово! Ты мне куда милее этого горбуна. А что ты имел в виду, говоря о Желтом, которому я не должен доверять?

— О, это коварный человек! Я уже предостерегал герцога, чтобы он не делал того, что горбун советует. Но герцог разгневался и сказал такое, что и повторять не хочется.

— Что же он сказал? Разве ты с ним сегодня уже успел поговорить?

— Я пришел, чтобы попрощаться, так как возвращаюсь домой, к своей жене и дочурке. Господин герцог был вначале очень тронут, вспоминал о том времени, когда ему приходилось скрываться, сказал, что хочет оказать мне милость. Но я ее не заслужил, потому что искупаю свою давнюю вину. Попросил лишь разрешения стрелять лис без штрафа. Герцог рассмеялся и проговорил, что я могу это делать, но то не будет милостью, я должен попросить что-нибудь посущественнее. Тут я набрался духу и сказал: «Тогда я прошу вас не доверять хитрому канцлеру и не следовать его советам, потому что, мне кажется, он лицемерит».

— И мне так кажется! — воскликнул Георг. — Будто душу буравит своими зелеными глазками, хочет выведать все, что у меня внутри. Но что ответил тебе герцог?

— «Тебе этого не понять, — сказал герцог, разозлившись. — Тебе ведомы пещеры и подземелья, а канцлер знает все ходы и выходы в государственных делах...» Может, конечно, я не прав и канцлер радеет за дело герцога... Прощайте, юнкер. Будьте счастливы! Благослови вас Господь!

— Значит, ты уходишь и не хочешь задержаться до моей свадьбы. Я сегодня ожидаю приезда отца с барышней. Останься еще на пару дней. Ты был у нас вестником любви и не должен отсутствовать на нашем празднике.

— Не место маленькому человеку на свадьбе рыцаря! Конечно, я могу подсесть к музыкантам и сыграть отличную музыку для торжественного танца, но ведь и другие сыграют не хуже. А меня ждут дома.

— Ну, тогда будь здоров! Передай привет своей жене и прелестной Бэрбель. Навести нас в Лихтенштайне. Храни тебя Бог!

Юноша со слезами на глазах пожал руку честного человека, который был преданным слугой герцога и его товарищей по несчастью. У него в голове вертелись вопросы по поводу необыкновенной привязанности крестьянина к его светлости, но он подавил в себе это желание.

— О! Еще одно, чуть не забыл! — воскликнул Ханс, отвечая на рукопожатие юнкера. — Вы не знаете, что ваш бывший гостеприимный хозяин в Ульме и будущий кузен — господин фон Крафт — находится здесь?

— Секретарь совета?! Как он сюда попал? Он ведь — союзник!

— Так вот, он здесь, и нельзя сказать, что чувствует себя хорошо, поскольку пребывает в заточении. Говорят, вчера вечером

секретарь подстрекал народ против герцога и открыто выступал за Швабский союз.

— Боже мой! Так это — Дитрих Крафт! Мне надо поскорей идти к герцогу. Там как раз сейчас судят, канцлер хочет его обезглавить. Будь здоров, дружище!

Юноша поспешил по коридору в покои герцога. В Мемпельгарде он входил к нему в любое время дня, потому и теперь слуги, охранявшие двери, почтительно его пропустили. Георг, запыхавшись, вошел в комнату. Герцог посмотрел на него с удивленным недовольством, а канцлер, как маску, напустил на себя вечную сладкую улыбку.

— Доброе утро, Штурмфедер! — воскликнул герцог.

Он сидел за столом. Шитый золотом зеленый плащ украшал его сильные плечи, голову покрывала зеленая охотничья шляпа.

— Хорошо ли ты спал в моем замке? Что тебя привело к нам в такую рань? Мы заняты, — продолжал герцог.

Глаза молодого человека беспокойно бродили по комнате и наконец отыскивали в одном из углов секретаря Ульмского совета.

Тот был бледен как смерть, его выхоленные волосы в беспорядке свисали на лоб, а розовое пальто, которое он носил поверх своей черной одежды, было изорвано в клочья. Секретарь жалобно взглянул на Георга, потом перевел взгляд вверх, в небо, как бы говоря: «Для меня все кончено!» Подле него стояли несколько человек, один из них длинный, тощий, вроде бы Георг где-то его видел. Пленников охраняли Длинный Петер, храбрый Магдебуржец и венец Штаберль. Ландскнехты, широко расставив ноги, опершись на алебарды, казалось, застыли на месте.

— Я говорю, что мы заняты, — продолжал герцог уже нетерпеливо. — Что ты уставился на этого розового господина? Он закоренелый преступник. Для него уже и меч отточен.

— Ваша светлость, позвольте мне кое-что сказать, — возразил Георг. — Я знаю этого господина. Клянусь всем своим достоянием, он мирный человек и никак не преступник, заслуживающий смерти.

— Святой Хуберт, как смело ты это утверждаешь! Все в мире изменилось! Мой канцлер, опытный юрист, разрядился в пух и прах, как молодой воин, а мой юный боец строит из себя адвоката. Что ты скажешь на это, Амброзиус Воланд?

— Хи-хи-хи! Я хотел немного посмешишь вашу светлость, зная с прежних времен, как вы любите шутки. Ну и юный Штурмфедер тоже решил поучаствовать в веселье, разыгрывая из себя

юриста. Хи-хи-хи! Но этому Розовому уже ничего не поможет. Оскорбление его величества! Он будет обезглавлен прямо в своем розовом пальтишке!

— Господин канцлер! — взорвался от возмущения юноша. — Господин герцог может подтвердить, что я никогда шутю не был, эту роль я оставляю для других. И человеческой жизнью я тоже не играю и не шучу над нею! Повторяю со всей серьезностью и клянусь своею жизнью, что перед вами дворянин фон Крафт, секретарь Ульмского совета. Надеюсь, мое поручительство достойно внимания.

— Как?! — изумился Ульрих. — Так этот нарядный господин и вправду твой гостеприимный хозяин, о котором ты мне так часто рассказывал? Жаль мне его. Но что делать? Он арестован как возмутитель народа.

— Да-да! — хрипло подтвердил Амброзиус. — Это настоящее *crimen laesae majestatis*¹.

— Позвольте, господин герцог. Я довольно долго изучал право, чтобы знать — в данном случае и речи быть не может о таком тяжком преступлении. Вчера вечером Штутгарт был еще под властью союза, наместник и советники были также здесь, и секретарь, не будучи подданным вашей милости, должен был выполнять свой долг: поступать как всякий союзный солдат, воюющий против нас по приказу своего начальства.

— Эх, молодость, молодость! — сокрушенно просипел Амброзиус. — Вы говорите споряча, мой юный, уважаемый друг! Как только герцог объявил свою волю городу, он уже *animam possidendi*² им и все, что находилось в стенах города, уже принадлежало его светлости. Следовательно, тот, кто замыслил заговор против герцога, виновен в оскорблении его величества. А господин фон Крафт держал перед народом очень опасные речи.

— Но это невозможно! Это так не похоже на него! Господин герцог, подобного не могло быть!

— Георг, — со всей серьезностью предостерег герцог, — мы терпеливо выслушали тебя. Твоему другу уже ничем не поможешь. Перед нами лежит протокол. Канцлер еще до моего прихода произвел допрос свидетелей, и они прояснили все. Мы должны наказать его, чтобы другим было неповадно. Врагов надо поражать в самое сердце. Канцлер прав, я не могу пощадить злоумышленника.

¹ Оскорбление его величества (лат.).

² Мысленно владел (лат.).

— Господин герцог! Позвольте всего один вопрос секретарю и свидетелям! Лишь два слова!

— Это против всяких правил правосудия! — вмешался канцлер. — Я вынужден протестовать, любезный мой! Расцениваю ваш поступок как вмешательство в мои обязанности.

— Оставь его, Амброзиус. Пожалуй, пусть он спросит бедного грешника, так и так тому конец.

— Дитрих фон Крафт, кто вас арестовал? — спросил Георг.

Объятый смертельным страхом, бедный секретарь растерянно тарашил глаза и стучал зубами. Наконец он кое-как овладел собой и выдал из себя несколько слов:

— Я прислан сюда советом, состою секретарем при наместнике.

— Почему вы вчера ночью появились перед горожанами?

— Наместник приказал мне вечером, когда народ стал проявлять недовольство, появиться перед горожанами и напомнить им о клятве.

— Вот видите, он выполнял высочайший приказ. А кто вас арестовал?

— Вот этот человек, который стоит подле вас.

— Так вы арестовали его? Значит, вы должны были слышать, что он говорил. Что же сказал этот человек?

— Да что он мог сказать! — ответил горожанин. — Не успел произнести и шести слов, как наш бургомистр Хартман сбросил его со скамьи. Я слышал только, как он произнес: «Подумайте, люди, что на это скажет светлейший союзный совет?» Вот и все, Хартман тут же схватил его за шиворот и швырнул на землю. А вот доктор Кальмус держал длинную речь.

Герцог расхохотался так, что комната задрожала. Он переводил взгляд с Георга на канцлера, который хоть и побледнел, но все же сохранял улыбочку на лице.

— Так... Вот, значит, какой опасной была эта речь и какое оскорбление его величества! «Что скажет на это союзный совет!» Бедный Крафт! Из-за такого энергичного слова ты чуть было не попал в руки палача! Ну, подобные речи частенько произносили и наши друзья: что скажут, мол, господа, когда узнают, что герцог уже здесь? Итак, он не будет наказан. Как ты на это смотришь, Штурмфедер?

— Не знаю, господин канцлер, — сдержанно заговорил юноша; глаза его все еще сверкали негодованием, — что у вас за причины доводить дело до крайности и советовать господину герцогу

предпринимать меры, которые везде, я повторяю, везде выставляют его тираном. Хотя у вас и наблюдается служебное рвение, но на этот раз вы сослужили плохую службу.

Канцлер молча пронзил юношу злобно-язвительным взглядом своих зеленых глаз, а герцог сказал, вставая:

— Оставь моего канцлера, на этот раз он был чересчур строг. Возьми с собой своего розового друга, пусть он выпьет чарочку, чтобы разгулять смертельный страх, а потом пускай отправляется куда захочет. А ты, собака-доктор, не способный даже собак лечить, для тебя вюртембергская виселица слишком хороша. Ты все равно будешь повешен, но я к этому усилий не приложу. Петер, возьми этого парня, усади его на осла задом наперед и провези по городу, потом отведи в Эслинген на высочайший совет, к которому он принадлежит. Хватит о нем!

Лицо доктора Кальмуса, на котором уже было проступил смертельный страх, прояснилось. Глубоко вздохнув, он поклонился. Петер, Штаберль и Магдебуржец со злорадством накинлись на доктора, взвалили его на свои широкие плечи и вынесли вон.

А ульмский секретарь проливал между тем слезы умиления и радости, он хотел даже поцеловать край плаща герцога, но тот отвернулся и дал знак Георгу удалить освобожденного.

ГЛАВА 5

Остановись! Молю!

В чертах лица, столь чистых, благородных,

Еще не отразился у тебя

Твой замысел, — он только

Твое воображенье запятнал.

Как ясно величавое чело!

Так выбрось же из сердца недостойный,

Клеймящий совесть умысел! То был

Недобрый сон, и пусть он впредь послужит

Для чистых душ благим остереженьем.

Ф. Шиллер¹

Секретарь совета, должно быть, не совсем пришел в себя, чтобы быть способным отвечать на вопросы своего спасителя, когда они шли по галереям и длинным переходам замка. Бедняга дрожал всем телом, колени у него подкашивались, он то и дело обо-

¹ «Смерть Валленштайна». Перев. Н. Славятинского.

рачивался и бросал растерянные взгляды назад, как бы опасаясь, что герцог может передумать и послать за ним коварного канцлера, который не раздумывая схватит его за шкирку.

Когда они вошли в комнату Георга, секретарь бессильно опустился на стул. Прошло довольно много времени, прежде чем он привел свои мысли в порядок и стал отвечать на вопросы.

— Ваша политика, дорогой кузен, сыграла с вами злую шутку, — сказал Георг. — Что вас заставило стать в Штутгарте народным трибуном? Как вы рискнули бросить налаженную жизнь с ее удобствами, внимательную заботу старой кормилицы, нежную близость Берты, чтобы служить здесь наместнику?

— Ах, она-то как раз и послала меня на смерть. Да-да, Берта во всем виновата. О, я никогда бы не покинул мой любимый Ульм! Пересеча его границы, я и угодил в неприятности.

— Берта вас послала? — удивился Георг. — Разве не она — предмет ваших устремлений? Она что, вам отказала, и вы с отчаяния решились...

— Сохрани меня Господь! Берта мне все равно что невеста. В том-то и беда! Как только вы уехали, у меня вышла ссора с госпожой Сабинной, моей кормилицей, и я решил остановиться у моего дядюшки и кузиночки. Девушка совсем с ума сошла от вашего военного пыла и заявила мне, что я должен сперва отправиться на войну, чтобы стать настоящим солдатом. Только после этого мы, мол, поженимся. Милосердный Боже!

— И вы отправились воевать с Вюртембергом? Однако же какие смелые мысли бродят в головах девушек!

— Да, я отправился на войну. Все связанные с этим лишения я вовеки не забуду. Я и мой старый Иоханн выступили вместе с союзным войском! О, какое горе! Ежедневно мы скакали по шесть-восемь часов. Платье было вечно в пыли, в беспорядке, латы давили грудь. Я уже не мог все это выносить. Иоханн возвратился домой в Ульм, я же попросил место писаря в военной канцелярии, нанял себе носилки, пару вьючных лошадей. Стало немного полегче.

— Значит, вас притащили на войну, как охотничьего пса на охоту. А вы привыкли к боевым стычкам?

— О да! У Тюбингена я угодил в переделку. В двадцати шагах от меня немилосердно стреляли. До самой смерти я не забуду этого ужаса. Лишь когда мы полностью завоевали страну, я получил почетное место при наместнике. Мы жили покойно и мирно.

И вот вновь появился этот беспокойный человек! О, если бы я послушался своего внутреннего голоса и поехал бы с союзными командирами на совет в Нердлинген. Но, увы, я убоился утомительного путешествия.

— Но почему вы не ушли вместе с наместником, когда появились мы? Он сейчас сидит в безопасности в Эслингене и будет сидеть, пока мы его не прогоним.

— Наместник кинул нас на произвол судьбы, взвалив все обязанности на мою бедную голову. Я готов с досады грызть свои локти. Я и не предполагал, что опасность столь велика, позволил доктору Кальмусу уговорить меня обратиться с речью к народу, призвать на защиту союза. Я, конечно, обратил на себя внимание, Берте бы это понравилось. Но люди в Вюртемберге — настоящие варвары, они даже не дали мне как следует высказаться, сбросили вниз, обращались грубо, даже жестоко. Посмотрите только на мое пальто, как же его изорвали! Жаль! Оно стоило четыре золотых гульдена. Берта утверждала, что розовый цвет мне к лицу.

Георг не знал: то ли ему смеяться над глупостью писаря, то ли удивляться его стоицизму. Едва избежав смертельной опасности, тот сокрушался по поводу разорванного пальто. Он хотел было еще расспросить Дитриха о превратностях судьбы, но его внимание привлек шум за окном. Юноша выглянул и позвал кивком секретаря, чтобы и тот увидел зрелище падшего величия. Доктор Кальмус начал свое печальное шествие по улицам города. Он сидел задом наперед на осле. Ландскнехты украсили его причудливым образом, натянув на голову остроконечную кожаную шапку, украшенную петушиными перьями. Впереди него шествовали два барабанщика, по бокам торжественно вышагивали Магдебуржец, Венец, бывший «капитан» Мукерле и бывший «полковник», побуждавшие ослас к смелым прыжкам кончиками своих алебард.

Секретарь, печально посмотрев на товарища по несчастью, вздохнул:

— Не очень-то приятно скакать таким образом на осле, но это все-таки лучше, чем быть повешенным.

Он отвернулся от грустного шествия и посмотрел в другую сторону парка.

— Кто это сюда прибыл? В таких же носилках я отбывал на войну.

Георг, подойдя к окну, увидел всадников, сопровождающих носилки. Впереди вооруженной группы ехал на коне пожилой господин. Георг присмотрелся.

— О, это они! — радостно воскликнул он. — Да-да, это отец, а в носилках, верно, она! — И ринулся к двери.

Секретарь с удивлением посмотрел на убегающего юношу.

— Кто это? Чей отец?

Но ответа не дождался. В окно он видел, как вновь прибывшие поднялись по мосту, и в тот же миг из ворот выскочил Георг. Двери носилок распахнулись. Оттуда вышла юная дама под вуалью. Она тут же откинула вуаль. Вот это новость! Оказывается, в замок прибыла его кузиночка Мария фон Лихтенштайн.

— Надо же! — удивился секретарь. — Он целует ее прямо на улице! — И покачал головой. — Какая неожиданность для старика! Есть чему изумиться. А вот и старуха вышла из носилок. Вот уж она вытаращит глаза! Вот уж разругается! Но нет, старик приветливо кивает юнкеру, спешивается и обнимает его. Что-то здесь не так!

Однако все было так, как и положено. Когда секретарь вышел из комнаты на галерею, чтобы собственными глазами убедиться в том, что он не обознался, на лестнице ему встретился его дядюшка — старый Лихтенштайн. По правую руку от него шел Георг фон Штурмфедер, по левую — кузиночка Мария. И как же она изменилась с тех пор, что он ее не видел!

В Ульме Мария казалась ему посланницей неведомых стран: таким возвышенным был взгляд ее прекрасней голубых глаз, таким благородным — высокий лоб над красивыми дугами темных бровей! Дитрих долго размышлял в ту пору над тем, в чем же секрет ее чар? У ульмских девушек были румяные щеки, живые глаза, лукавый смех, они обладали всем очарованием молодости и здоровья. А Мария среди ульмских красавиц казалась величественной и спокойной, как королева. Может, тому способствовала густая завеса ресниц, с неподражаемым очарованием прикрывающая ее глаза и скрывающая тайну тихих слез? А может, прелестный рот, тронутый сладкой печалью? Или нежная игра красок на ее лице, излучающая то величие, а то и чарующую загадку любовных страданий?

Веселость Берты, ее насмешливая любезность вытеснили из сердца секретаря серьезно-печальный образ Марии, но тут бедный Дитрих, увидев ее, почувствовал, что старая рана открылась и стала кровоточить. Однако какой неведомой силе приписать те изменения, которые произошли в знакомом лице? Неизменное достоинство по-прежнему сквозило в ее облике, но глаза светились незнакомой радостью, рот смеялся, а на щеках цвели яркие

розы. Безмолвно смотрел Дитрих на появление гостей, и тут его заметил старый рыцарь.

— О, не ошибаюсь ли я, — воскликнул он, — ведь это же Дитрих Крафт, мой племянник! Что привело тебя в Штутгарт? Ты прибыл на свадьбу моей дочери с Георгом фон Штурмфедером? Но как же ты выглядишь? Такой бледный, несчастный, одежда разорвана в лохмотья!

Секретарь посмотрел на свое несчастное розовое пальто и покраснел.

— Видит бог, я не смею показываться на глаза честным людям. Эти проклятые вюртембержцы, эти виноделы и сапожники истерзали меня в клочья! В моем лице они оскорбили весь светлейший союз!

— Вы должны радоваться, кузен, — стал его успокаивать Георг, в то время как он провожал приехавших в свои покои, — что дело закончилось именно так, а не иначе. Вы только подумайте, отец, вчерашней ночью, когда мы стояли уже у городских ворот, Дитрих держал перед народом речь и настраивал людей против нас. Канцлер хотел его сегодня утром за это обезглавить. С большим трудом мне удалось вырвать беднягу из жестоких рук палача, а он, видите ли, жалуется на вюртембержцев из-за разорванного пальто!

— Прошу милостивейшего соизволения, — перед секретарем трижды склонилась госпожа Розель, — если вы не против, могу вам помочь: починить и заштопать ваше пальто. Мне это доставит удовольствие. Как говорится: что разрушит молодежь, старики восстановят.

Господину Дитриху была приятна эта неожиданная помощь, он соблаговолил расположиться у окна подле госпожи Розель и протянул ей свою одежду. А та достала из огромной кожаной сумки разноцветную пряжу и принялась устранять беспорядок, учиненный вюртембержцами. При этом она с наслаждением болтала о домашнем хозяйстве и приготовлении разнообразных блюд, каких не было в поваренной книге госпожи Сабины.

Удалившись от этой пары, в противоположном углу комнаты в упоении любовного шепота расположились Георг с Марией. Прославленные авторы исторических хроник, оставившие нам бесценные свидетельства, не сообщают ничего о том, что было предметом обсуждения влюбленных. Поэтому мы можем только рассказать о покое, охватившем прелестную Марию, и о том, как она радостно вскидывала глаза, потом стыдливо их опускала,

смеялась, краснела и отвечала на вопросы любимого нежными поцелуями.

Читатель, возможно, будет нам благодарен, если мы отвлечем его от сцены, не имеющей исторической ценности, по современным понятиям — недостойной внимания, и обратимся к старому рыцарю Лихтенштайну. Тот, вверив свою дочь попечению Георга, а племянника — госпожи Розалии, отправился в покои герцога. Черты его лица, на которых отложили отпечаток прожитые годы и приобретенная жизненная мудрость, в этот миг стали еще серьезнее и одновременно печальнее. Этот человек унаследовал от своих предков любовь к герцогскому роду Вюртембергов, все его симпатии были на стороне правителей, и даже несчастье и клевета, обрушившиеся на Ульриха, не отвратили от него сердца мудрого старца, а, наоборот, еще крепче к нему привязали. С радостью жениха, торопящегося на свадьбу, с мужеством юноши отправился он в утомительный путь из своего замка в Штутгарт, когда ему сообщили, что герцог захватил Леонберг и пошел в сторону столицы. Ни на минуту не сомневался старый рыцарь в победе герцога, потому и оказался здесь в первый же день его воцарения.

Но нерадостными были вести, которые шепотом передал старику Георг, когда они с Марией поднимались по лестнице.

— Герцог совсем не такой, каким должен быть. Бог знает что он собирается делать со своей страной! В пути произносил странные речи, теперь боюсь, что попал в плохие руки. Канцлер Амброзиус Воланд...

Одно это имя ввергло Лихтенштайна в глубокую озабоченность. Он хорошо знал этого Воланда, признавал, что тот был человеком опытным в государственных вопросах, готовым разделить все тяготы общественного управления, но при этом зачастую вел опасную, если не предательскую, игру.

— Если герцог оказывает ему доверие, следует его советам, то благослови его Боже! Для Амброзиуса страна все равно что кусок кожи, которую можно обрезать как бог на душу положит: большой кусок для герцога, а обрезки для себя, любимого. Но как бы сказала в таком случае госпожа Розель: «Раскрой-то каждый дурак сможет, а вот как сшить?»

Так сам с собою рассуждал старый рыцарь Лихтенштайн, идя по галерее. От негодования он то и дело хватался за свою длинную седую бороду. Глаза его сверкали.

Рыцаря тут же пропустили в покои герцога, который как раз был занят обсуждением дел с Амброзиусом. Последний держал

в одной руке необыкновенное лебединое перо, а в другой — пергамент, весь исписанный черными, красными и синими чернилами вычурным почерком с причудливыми завитушками.

На лице герцога видны были следы внутренней борьбы, он то пристально смотрел на канцлера, то обращал свой взор на хлыст, который держал в руках. Каждый из них был так поглощен своими раздумьями, что ни один не заметил появления рыцаря в комнате. А тот молча стоял и с участием смотрел на благородное лицо герцога Вюртембергского. Выражение лица у того менялось. То он морщил лоб, хмурил брови, затем морщины на его лице разглаживались, строгий взгляд теплел, глаза добрели. Человечек в желтом плаще стоял перед ним, как змей-искуситель в раю: вечная, будто приклеенная, улыбка, выражение неподкупной честности, которое он придал своим зеленым глазкам, плавные, покачивающиеся движения — все это призывало отвесть запретный плод.

— Не понимаю, — после некоторого молчания мягко произнес канцлер, — почему вы не можете этого сделать! Разве Цезарь колебался, перед тем как перейти Рубикон? Великому человеку необходимо совершать великие поступки. Современники и потомки оценят тот факт, что вы сбросили с себя эти оковы.

— Ты в этом уверен, Амброзиус Воланд? — мрачно проговорил герцог. — Ведь люди, я уверен, скажут: герцог Ульрих — тиран, он опрокинул старый порядок, который его предки почитали священным, не соблюдал установленные самим же правила, обращался со своим народом как чужак, преступил законы...

— Позвольте, позвольте, — прервал его канцлер, — вопрос только в том: кто здесь хозяин — герцог или страна? Если хозяин — народ, то все будет по-другому. Тогда действительно необходимы законы, пакты, договоры, условия и прочее, прочее. Рыцарство, прелаты — словом, все сами себе господа, а вы, ваша светлость, только прикрываете все это своим именем. Но ежели вы — подлинный властитель, то тогда вы именно тот, кто устанавливает законы. Так что берите в руки пергамент и, как настоящий хозяин страны, подписывайте его. Долой старые права и законы! Вы издаете новые. Возьмите же перо и, во имя Господа, подпишите!

Герцог все еще пребывал в нерешительности, его лицо пылало, но глаза по-прежнему не отрывались от пола. Наконец он решительно выпрямился.

— Я ведь Вюртемберг, олицетворение страны и закона, так что подписываю!

И он протянул руку, чтобы взять у канцлера лебединое перо, но кто-то мягко и одновременно настойчиво ее отклонил.

Герцог с удивлением обернулся и увидел спокойно-серьезное лицо рыцаря Лихтенштайна.

— О! Добро пожаловать, мой верный Лихтенштайн, я выслушаю вас, но прежде подпишу сей пергамент.

— Позвольте, ваша светлость, — проговорил старый рыцарь, — вы мне пообещали право голоса в вашем совете. Разрешите же узнать о ваших первых предписаниях, которые вы обращаете к стране.

— С вашего высочайшего соизволения, — поспешно вмешался Амброзиус Воланд, — дело не терпит отлагательств. На лугу уже собрались граждане Штутгарта. Необходимо им зачитать данное послание. Мы действительно торопимся.

— Ну же, Амброзиус, — остановил его герцог, — не такое оно уж спешное, это послание, чтобы не рассказать о нем моему старому другу. Видите ли, Лихтенштайн, мы решили, чтобы нам присягали на верность по новым законам и правилам. Старые порядки теперь ничто. Прах!

— Вы уже решили? Ради всего святого, а вы подумали, к чему это приведет? Разве вы несколько дней назад не поклялись соблюдать Тюбингенский договор?

— Тюбинген! — воскликнул герцог страшным голосом, глаза его запылали гневом. — Тюбинген! Не произноси при мне этого слова! На этот город возлагал я все мои надежды, там была моя страна, мои дети. А они меня предали и продали. Я просил, умолял быть со мною, вместе делить горе и радость. Но нет! Они не нуждались в Ульрихе, новое правительство было им милее. Бросили меня в горе, допустили, чтобы их герцог стал изгнанником, терпели то, что во всех краях Германии имя их герцога подвергалось насмешкам; но теперь я вновь — повелитель и господин, в моих руках пергамент с указами, и я не выпущу его из своих рук. Они забыли свою клятву во имя святого Хуберта, тогда и моя память будет столь же короткой. Тюбингенский договор! Пусть катится к черту все, что связано с этим именем!

— Однако подумайте, ваша светлость, — промолвил потрясенный взрывом отчаяния Лихтенштайн, — подумайте, какое впечатление подобный указ произведет на всю страну. Вам пока при-

надлежит только Штутгарт и его окрестности, а ведь в Урахе, Асперге, Тюбингене, Геппингене — повсюду по-прежнему сидят союзники. Перейдут ли на вашу сторону эти части страны, когда они услышат, каким новым порядкам им придется присягать?

— Я повторяю: была ли со мною моя страна, когда мне пришлось повернуться спиной к Вюртембергу? Я вынужден был бежать, а они покорились союзу!

— Простите меня, господин герцог, — продолжал взволнованно старик, — это не совсем так. Я помню тот день под Блаубой-реном. Кто был около вас, когда ушли швейцарцы? Кто просил вас не покидать страну? Кто хотел пожертвовать своею жизнью? Восемь тысяч вюртембержцев шли на это. Неужели вы забыли тот день?

— Ай-ай-ай, уважаемый, — встрял канцлер, от которого не укрылось впечатление, которое произвели на герцога слова старого рыцаря. — Вы слишком дерзко разговариваете с государем. Помимо всего прочего, речь в данный момент идет не о «тогда», а о «сейчас». Страна освободилась от старой присяги, присягнула союзу. Его светлость можно рассматривать как нового правителя. Он силой отвоевал страну и может выставить союзу свои условия. Новый правитель — новые законы. Можно распоряжаться по собственному усмотрению. Могу я обмакнуть перо в чернила, господин герцог?

— Господин канцлер, — возразил твердым голосом Лихтенштайн, — я испытываю глубокое уважение к вашим знаниям и проницательности, но то, что вы сейчас предлагаете, в корне не верно. Вы даете плохой совет господину герцогу. Сейчас важно знать, кого любит народ. Союз восстановил против себя всю страну. Как раз и наступило время для вашего возвращения, все сердца принадлежат вам, ваша светлость, поэтому и не надо отпугивать их насильственными мерами, отречься от старых порядков и внедрять новые. О, подумайте, подумайте хорошо. Любовь народа — твердая поддержка!

Герцог стоял с опущенными руками, мрачно уставившись в пол, и молчал. Зато необыкновенно говорлив был канцлер в желтом плаще:

— Хи-хи-хи, откуда вы взяли эту поговорку, многоуважаемый? Любовь народа, говорите вы? Уже древние римляне знали, чего она стоит. Мыльные пузыри, мыльные пузыри! Я думал, вы умнее. Где страна, где государство? Вот перед вами персона, ко-

торая олицетворяет Вюртемберг. Герцог унаследовал эту страну, а сейчас еще и покорил. Народная любовь! Погода в апреле! Была бы эта любовь покрепче, они бы никогда не покорились союзу!

— Канцлер прав! — очнулся от своих раздумий Ульрих. — Ты можешь думать как хочешь, Лихтенштайн, но на этот раз он прав. Из-за моей снисходительности вынужден был я покинуть родину. Но сейчас я вновь здесь, и все должны почувствовать руку хозяина. Перо мне, канцлер! Я так хочу, и вы должны смириться!

— О господин! Не делайте этого сгоряча! Остыньте! Сзовите советников, обговорите изменения, какие вам хочется внести, но не делайте этого в сию же секунду. Войска союзников еще на земле Вюртемберга, и это обстоятельство вам повредит. Повремените немного.

— Вот как! — прервал его канцлер. — Чтобы они вернулись к старым порядкам и законам! Вы полагаете, когда остальные земли будут возвращены, они добровольно согласятся на новые правила? Нет и нет, придется применять силу, а это вызовет ненависть. Куй железо, пока горячо! Или вам больше нравится, ваша светлость, покорно тащить старое ярмо?

Герцог не ответил. Быстрым движением он вырвал из рук канцлера перо и пергамент, кинул пронзительный взгляд на рыцаря и, прежде чем тот успел ему помешать, поставил свою подпись.

Старик стоял как громом пораженный, понуро опустив голову. Канцлер же взглядом победителя окинул Лихтенштайна и герцога. А тот схватил со стола серебряный колокольчик и позвонил. На его зов явился за приказом слуга.

— Собрались ли горожане? — спросил герцог.

— Да, ваша светлость. На лугу уже стоят ремесленники и служащие, ландскнехты подтягиваются. Шесть отрядов.

— Ландскнехты? Кто им разрешил?

Канцлер у дверей задрожал от этого вопроса.

— Только ради порядка, — залепетал он. — Я подумал, что в таких случаях необходимо присутствие вооруженных солдат...

Герцог кивком приказал ему замолчать. Его взгляд встретился с вопрошающими глазами старого рыцаря. Герцог покраснел.

— Я не отдавал такого приказа, — сказал он, — но если мы их отзовем — это бросится всем в глаза. Подайте мне красный плащ и шляпу. Поскорей!

Герцог подошел к окну и молча посмотрел во двор. Канцлер не знал, рассердился ли на него государь, и потому не отваживался раскрыть рот, рыцарь Лихтенштайн тоже хранил упорное молчание. Так и стояли они безмолвно, пока не появились слуги.

В покои вошли четыре паж, один нес плащ, другой — шляпу, третий — золотую цепь, четвертый — герцогский боевой меч. Пажи накинули на его сиятельство княжеский плащ из пурпурного бархата, отороченный горностаем, протянули шляпу с красными и желтыми пышными перьями — цветами Вюртемберга. Перья скреплял изумительной красоты золотой аграф, украшенный драгоценными камнями, который, должно быть, имел цену целого графства. Герцог покрыл голову шляпой. В этом парадном наряде он выглядел величественнее, чем прежде. Царственный лоб, сверкающие под пышными перьями глаза внушали невольное почтение. Паж надел на герцога золотую цепь, привязал к поясу меч.

Рыцарь Лихтенштайн не проронил ни словечка во время этих приготовлений, лишь озабоченно следил за действиями Ульриха. Легким движением головы герцог попрощался с рыцарем, за ним с царственным величием последовал канцлер Амброзиус Воланд. То, что герцог не позвал рыцаря, явно понравилось канцлеру. Он бросил победный взгляд в ту сторону, где стоял старик, и его большой беззубый рот растянулся в высокомерной ухмылке. Однако в дверях герцог остановился — видно, все лучшее в нем взяло верх — и, к удивлению канцлера, вернулся назад, к заслуженному рыцарю.

— Старый друг, — обратился он к нему, пытаясь подавить волнение, — ты был единственным моим другом в несчастье, сотню раз доказал мне свою верность. Ты заботишься о будущем Вюртемберга. Но пойми, сейчас я делаю очень важный шаг в моей жизни, может быть чересчур рискованный, но, когда речь идет о высшей цели, всегда приходится рисковать.

Рыцарь Лихтенштайн поднял свою седую голову — на ресницах его повисли слезы — и схватил руку герцога.

— Остановитесь! На этот раз, только на этот, прислушайтесь к моему мнению. Голова моя увенчана сединой, я много прожил, а вам всего лишь тридцать лет...

Тут во дворе раздалась барабанная дробь ландскнехтов, прошелестела нетерпеливая поступь коней, трубы герольдов призвали народ на дачу присяги.

— *Jacta alea esto!*¹ — таковы слова Цезаря, — мужественно произнес герцог. — Сейчас и я перейду свой Рубикон. Но твоё благословение, старый друг, принесло бы пользу. Сейчас не до советов!

Рыцарь, страдая, обратил свой взор к небу и в знак верности герцогу прижал правую руку к груди.

Герцог помедлил, в этот миг канцлер протянул из-под желтого плаща свою длинную тощую руку и помахал подписанным пергаментом. Он был как змей-искуситель, который тянул за собой заблудшую душу. Ульрих Вюртембергский собрался с духом и стремительно пошел принимать присягу от жителей своей столицы.

ГЛАВА 6

Никакой огонь так не жарок,
как скрытая любовь.

Старинная поговорка

Озабоченность старого рыцаря не была столь безосновательной, как желал это представить Амброзиус Воланд. Большая часть страны присоединилась к Ульриху. Предпочтение наследственного правителя, гнет союза и вначале победоносное шествие Ульриха побудили многих забыть вынужденную присягу на верность союзу и объявить себя приверженцем Вюртемберга.

Но новая присяга, уничтожившая прежние договоры, слухи о том, что некоторые города принуждаются к ней насильственно, отняли у герцога возможность приобрести популярность среди своих подданных — недостаток весьма важный ввиду того шаткого положения, в котором Ульрих находился. Урах, Геппинген и Тюбинген ещё придерживались своих обязательств перед союзом, к сему их побуждали силой приставленные наместники. В Урахе хозяйничал Дитрих Шпет, злейший враг герцога. Он за короткое время собрал такое множество народу, что уже не только держал свою вотчину в узде, но и делал набеги на участки земли, отвоёванные герцогом. Ходил слух, что союзники формируют свежие войска, чтобы вторично сразиться с Ульрихом не на жизнь, а на смерть.

¹ Жребий брошен! (*лат.*) — слова Цезаря при переходе Рубикона, после которого началась война.

Сам Ульрих, казалось, мало заботился об этом. Он советовался при закрытых дверях с Амброзиусом Воландом, люди видели многих гонцов, прибывавших во дворец и оттуда выезжающих, но никто не знал содержания их сообщений. В Штутгарте были твердо уверены, что Ульрих пребывает в самом веселом расположении духа; проезжая со своею блестящей свитой по улицам города, он изящно приветствовал восторженных встречных девушек, смеялся и шутил с сопровождавшими его господами. Люди говорили: «Герцог Ульрих так же весел, как до восстания „Бедного Конрада“».

Герцог возобновил блестящую дворцовую жизнь: балы и рыцарские турниры вступили в свои права. Правда, на них не было, как прежде, баварской, швабской и франконской знати, отсутствовала прекрасная герцогиня, собиравшая вокруг себя целый букет благородных девушек, но красавиц все же хватало, они украшали собою герцогский двор. Сам воздух этого города способствовал концентрации красоты; пестрые группки, мелькавшие между колоннами и залами дворца, были не обычным собранием женщин, а явлением отборных представительниц женского пола, самых ярких красавиц страны.

Танцы и рыцарские турниры расцветали, как прежде, праздник следовал за праздником, — видимо, Ульрих ревностно хотел наверстать упущенное за время своего изгнания. Между торжествами не из последних была свадьба Георга фон Штурмфедера с наследницей Лихтенштайна.

Старый рыцарь никак не мог решиться сдержать свое слово, но не потому, что ему не нравился выбор его дочери, — он по-отцовски привязался к будущему зятю, видел в нем образ своей цветущей молодости, одобрял его поддержку герцога, — но горизонты счастливой жизни Ульриха, так же как размышления старого рыцаря, были подернуты облаками; он предполагал, что ситуация изменится, и глубоко страдал оттого, что герцог упускал некоторые возможности и не использовал его советов, предпочитая решать все тайком со своим канцлером. Потому-то отодвигал и отодвигал этот счастливый день. Однако милые глаза дочери, в которых старик читал молчаливый упрек, настойчивые просьбы Георга побудили его наконец назначить определенный срок.

Герцог решил принять самое деятельное участие в подготовке свадьбы. Он вспоминал те ночи, когда старый рыцарь выказывал ему свою привязанность, а его прелестная дочь, не страшась

непогоды и холода, еженощно встречала его у подъемного моста и кормила горячей пищей.

Герцог припомнил свои юные годы, период собственного жениховства, те жертвы, на которые пришлось идти, и то, как сам всегда ценил любовь и верность.

Старый рыцарь и его дочь были по-прежнему гостями в герцогском замке, теперь же Ульрих приказал обставить красивый дом рядом с церковью и вечером накануне свадьбы передал от него ключи барышне Лихтенштайн с пожеланием, чтобы она всегда жила в нем во время своих приездов в Штутгарт.

Наконец наступил день, о котором так страстно мечтал Георг. Он перебрал в памяти все перипетии своей любви и подивился тому, как неожиданно для него развивались события. Вспоминая свой путь из Ульма на родину, разве думал он, что счастье так близко? А герцог, с которым он собирался сражаться в рядах союзных войск, — кто мог предположить, что тот будет способствовать его счастью? С какой радостью он размышлял теперь о том дне, когда стало возможным прошептать Марии слова любви после пережитого страха, что отец ее — враг союза и она должна с ним уехать.

Живы были в его памяти и несчастливые часы грустного прощания с любимой в саду Берты, когда он полагал, что потерял ее, может быть, навсегда. Каждое слово возлюбленной Георг помнил, будто она произнесла его лишь вчера, и удивлялся ее уверенности в грядущем счастье, когда будущее было покрыто мрачной завесой и не было ни малейшего проблеска надежды.

«Эта вера не обманула ее, — подумал юноша, взволнованный воспоминаниями. — В ее чистой душе живет святое чувство, которое способно провидеть будущее и возвещать счастье, что выпадет на нашу долю...»

Деликатный стук в дверь прервал размышления Георга. Это был разряженный в пух и прах Дитрих фон Крафт.

— Как? — удивился секретарь Ульмского совета, всплеснув руками. — Неужели вы собираетесь венчаться в этой куртке? Скоро девять часов. На лестницах и галереях уже разгуливают свадебные гости, разряженные в шелка и бархат, а вы, главная персона на этом празднике, смотрите безразлично в окно, вместо того чтобы позаботиться о подходящем костюме!

— Вон лежит свадебный наряд, — рассмеялся Георг. — Берет с перьями, плащ и куртка — все подготовлено лучшим образом, только я совсем не думал о том, что придется надевать на

себя всю эту мишуру. Старая куртка мне дороже любой другой. Я в ней пережил тяжелые дни своей жизни, но одновременно и самые счастливые.

— Да-да! Вы носили ее в Ульме. Вспоминаю, как вас в этом голубом костюме Берта описывала так, что я почувствовал невольную ревность. Мишурой вы назвали свой новый наряд? Черт побери! Хотел бы я всю жизнь носить подобную мишуру! Белое платье, затканное золотом, голубой бархатный плащ! Ничего красивее я не видел. Вы выбирали все осматрительно: такой наряд очень подойдет к вашим каштановым волосам.

— Герцог мне его прислал, — ответил Георг, одеваясь, — для меня это слишком дорого.

— Какой замечательный человек этот герцог! Только сейчас, пробыв здесь некоторое время, я понял, как отличается тутошняя жизнь от нашей, ульмской. При дворе все не так, как в городе, и звание «герцог Вюртембергский» звучит гораздо возвышеннее, нежели бургомистр Ульма. Однако я не хотел бы быть в его шкуре. Вы не знаете, кузен, что дела его вновь пошли под гору.

— О, вы повторяете старую песню, господин Дитрих. Вспомните, как вы в Ульме рассуждали о политике и о том, как будете управлять Вюртембергом. И что же?

— А разве я не попал в самую точку? — с важной миной ответил секретарь. — То, что я предрекал, свершилось: швейцарцы отправились по домам, страна была нами завоевана, замки захвачены.

— Да-да, вы помогли их захватить, — рассмеялся Георг, — путешествуя в носилках. Но тогда вы еще сказали, что герцог никогда сюда не вернется. А он сидит в своей столице как ни в чем не бывало.

— Не совсем так, как вы думаете. Конечно, я хотел бы пожелать, чтобы он удержал свою страну, но заметьте, важные господа всё принимают на свой счет, нам же достается лишь честь сложить за них свои головы. Однако не все так гладко складывается, как думают здесь. Изгнанные союзники сообщили обо всем из Эслингена императору, союз возрождается, возле Ульма вновь собирается свежее войско.

— Не продолжайте. Я точно знаю: герцог собирается примириться с Баварией.

— Он-то хочет, но не сможет. Там слишком много загвоздок. Но что я вижу! Вы собираетесь надеть старую перевязь на великолепный свадебный костюм? Фи, кузен, она же к нему не подходит!

Жених с нежностью посмотрел на перевязь.

— Вы этого не поймете. На самом деле эта перевязь больше всего подходит к свадебному наряду. Это первый подарок Марии. Она ткала ее тайком по ночам в каморке, узнав о предстоящей разлуке. В перевязь впряжены ее слезы, она часто подносила ее к губам. Эта волшебная перевязь была моим утешением, в дни несчастья я обращал к ней свой взор. Она была со мною в несчастье, так должна оставаться и в счастье.

— Ну, как хотите, надевайте ее во имя Бога. А теперь поскорее берет на голову, да накиньте плащ, а то в церкви уже зазвонили. Поторопитесь, не заставляйте невесту ждать!

Секретарь окинул жениха придирчивым взглядом знатока, поправил пряжку, распрямил складочку, приподнял перо на берете и остался доволен произведенным осмотром. Стройный высокий юноша с мужественными глазами показался ему достойным его милой кузины.

— Видит бог, — проговорил он одобрительно, — вы выглядите так, будто созданы для подобного торжества. Какое счастье, что вас не видит Берта, а то бы у нее вновь закружилась голова! Идемте же, идемте! Я горжусь тем, что буду вашим дружкой, даже учитывая то, что вернусь в Ульм на две недели позже.

Щеки Георга разгорелись, сердце отчаянно стучало, когда он покидал свои покои. Невероятная радость, вызванная ожиданием исполнения самого заветного желания, охватила все его существо, когда он в сопровождении Дитриха шел по галереям замка.

Дверь распахнулась, и перед ним предстала Мария во всей своей красе, окруженная дамами и барышнями, приглашенными герцогом, чтобы быть сегодня в ее сопровождении. Мария залилась румянцем, увидев жениха, и разглядывала его с таким чувством, будто черты любимого лица приобрели новое очарование. Потом она опустила глаза, встретясь с восторженным взглядом любимого. Что бы только не отдал Георг за то, дабы привлечь милую к своему сердцу и запечатлеть на ее губах утренний поцелуй любви, но строгий рыцарский закон в этот день воздвигал между ними огромную пропасть. Жениху не разрешалось прикоснуться к невесте, прежде чем священник не соединит их руки, а невеста не смела даже взглянуть на своего жениха. Почтительно и скромно, опустив глаза долу, сложив руки под грудь, должна она безмолвно стоять — так предписывал рыцарский обычай. Конечно, подобная поза кажется вынужденной и неловкой, но природа всегда берет верх в печали и радости, красота и очаро-

вание пробиваются даже сквозь неестественную манеру поведения. Так было и с Марией. Нежный румянец играл на ее щеках, в уголках губ скрывалась легкая улыбка, сквозь длинные ресницы проскальзывал, подобно солнечному лучу, сияющий взгляд голубых глаз — все это создавало образ застенчивой любви, которая раскрывает объятия любимому, нежно произносит его имя и взглядом обещает исполнение желаний.

Скромная поза Марии, скрывающая величие ее облика, придавала ей новое очарование, опущенный взор и сомкнутые губы таили признание в любви, как будто оно было произнесено открыто и громко. Восхищенный Георг не мог оторвать свой взор от невесты, явившейся перед ним в необычайно волнующем облике; сердце его наполнила гордость оттого, что он назовет это милое дитя своим.

В этот момент в покои вошел герцог, ведя под руку старого рыцаря Лихтенштайна. Быстрым взглядом он окинул пестрый дамский круг и, кажется, признал, что Мария здесь была самой красивой.

— Штурмфедер, — торжественно произнес герцог, — этот день тебя вознаградит за многое. Помнишь ли ты ночь, когда навестил меня в пещере и не узнал, кто перед тобою? Тогда музыкант Ханс провозгласил замечательный тост за красоту барышни Лихтенштайн, чтобы она расцветала для тебя. И вот она твоя, и что не менее прекрасно — твой тост, твое пожелание тоже осуществилось: мы вернулись в замок моих предков.

— Наслаждайтесь же долго этим счастьем, ваша светлость, как я буду наслаждаться счастьем с Марией. Однако в этот чудесный день я должен поблагодарить вас за милость, оказанную мне. Без вас отец бы...

— По заслугам и честь. Ты верно служил мне, когда нам пришлось вновь завоевывать страну, теперь мы воздаем тебе должное. Сегодня я представляю твоего отца, и ты должен позволить мне после церкви поцеловать твою прекрасную супругу в лоб.

Георг вспомнил ту ночь, когда герцог у ворот замка Лихтенштайн хотел подобным же образом себя утешить, и невольно рассмеялся, припомнив, с каким достоинством его любимая отвергла эту попытку.

— Непременно, господин герцог, и не только в лоб, но и в губы, вы давно это заслужили вашей заботой и хлопотами. Думаю, что и Мария не будет тому противиться, как тогда у ворот замка.

— Как?! — покраснел Ульрих. — Барышня тебе что-то сказала?

— Ни словечком не обмолвилась, ваша светлость. Но я схоронился в нише у ворот и видел, что рыцарская дочка вам не уступила.

— Святой Хуберт! — рассмеялся герцог. — Как же ты ревнив, парень! Придется тебе привыкать, иначе жизнь будет сплошным мучением.

— Хорошо! Коли ваша светлость мне это советует, больше не буду ревновать.

Тон этих слов, содержащих легкую насмешливость, напомнил герцогу о том, что и он когда-то поддался чувству, которое привело его к кровавой мести. Однако герцог быстро подавил в себе воспоминания, он их не любил.

— Ну что ж, отлично! Настало время идти в церковь. Кто твои дружки? Кто поведет тебя к алтарю?

— Маркс Штумпф и ульмский секретарь, племянник рыцаря Лихтенштайна.

— Как? Галантный молодой человек, которого хотел обезглавить мой канцлер? Значит, слева от тебя будет воплощение элегантности, а справа — само мужество Швабии. Будь счастлив, юноша, но хочу тебе посоветовать — склоняйся больше направо, а не налево, и все будет у тебя в порядке, даже если останешься ревнивым, как турок. Смотри-смотри, твой правый дружка подходит. Видишь, как необычно выглядит в дамской комнате его плотная мощная фигура! И как же он вырядился! Выцветший зеленый плащ он надевал одиннадцать лет назад на нашу свадьбу с госпожой Сабинной.

— Мне некогда заниматься тряпками, — ответил мужественный рыцарь фон Швайнсберг, услышав последние слова герцога. — И с танцами у меня ничего не получается. Вы уж простите. Но зато я хочу вечером, во время турнира, скрестить с новобрачным копьё.

— Ты желаешь из чистой вежливости и любезности сломать ему пару ребер, — рассмеялся герцог. — Вот это настоящий дружка! Нет, Георг, в таком случае я тебе советую держаться левой стороны. Ульмец не сделает тебе больно.

Двери распахнулись, и все увидели на просторной галерее стройные ряды герцогской челяди. К ним примыкала кучка юных пажей с горящими свечами в руках, за ними следовала компания

прекрасных благородных дам, приглашенных к свадебному торжеству. Дамы были одеты в роскошные одежды, расшитые серебром и золотом, каждая с букетом в руке и лимоном.

Невесту вели Георг фон Хевен и Рейнхардт фон Геминген. Рыцари и дворяне присоединились к шествию, в центре которого шел Георг фон Штурмфедер, сопровождаемый справа Марксом Штумпфом, слева — Дитрихом Крафтом.

Душа Георга ликовала, глаза светились необыкновенной радостью, его поступь была поступью победителя. Он возвышался над толпой. Издалека были видны его длинные волосы и развевающиеся поверх берета перья. Люди с удовольствием рассматривали жениха. Мужчины хвалили его стройную мужественную фигуру, благородную осанку, девушки восторгались красивым лицом и прекрасными сияющими глазами. Свадебное шествие вышло из ворот замка и направилось к церкви, отделенной от него просторной площадью.

На площади стояли вплотную друг к другу молоденькие девушки и словоохотливые женщины. Они с интересом изучали наряды придворных дам, придирчиво осматривали прекрасную невесту и похваливали жениха.

Среди зрителей была и крепкая дородная крестьянка с дочерью. Толстуха без конца кланялась, к потехе горожан, удостоивших такого почтения только невесту и самого герцога. При этом женщина без остановки болтала со своей дочкой. Но прелестная девчушка, казалось, мало обращала внимания на речи матери, все ее внимание поглощала блестящая процессия нарядных дам, наконец ее светлые глаза устремились на приближавшуюся невесту. Чем ближе та подходила, тем ярче пылали девичьи щеки. Красный корсаж вздымался и опускался вместе со вздохами, а бьющееся сердце чуть не разрывало серебряную цепочку, стягивающую корсаж. Девушка впилась глазами в невесту и никак не отводила от нее взор. Красота невесты ее заорожила, по лицу девушки пробежала скорбная улыбка.

— Вот и она! — невольно вырвалось у нее, и девчушка тут же спрятала свое лицо за спиной матери, так как стоящие рядом зеваки с удивлением взглянули на деревенскую простушку.

— Да, это она, Бэрбель. Потрясающе красива! — прошептала грузная женщина и низко поклонилась. — Но ты смотри лучше на юнкера.

Девушка не нуждалась в совете матери, она давно уже высматривала жениха.

— Он идет! Идет! — прошептала соседка. — Вон тот, в белой одежде с голубым плащом, шагает впереди герцога.

Девушка бросила мимолетный взгляд на жениха и больше не могла на него смотреть. Ее лицо побледнело, она задрожала, на корсаж упала одинокая слеза. Когда же жених проходил мимо, девушка подняла прелестную головку и послала ему взгляд, который выражал больше, чем восхищение или простое любопытство.

Когда свадебный кортеж вошел в церковь, зеваки очертя голову ринулись туда же. Площадь, только что заполненная пестрой бурливой толпой, мгновенно опустела. Пухлая крестьянка все еще смотрела вслед разряженным городским красавицам, разглядывая парчовые чепчики, расшитые золотом корсажи, красивые длинные юбки, изящные кофточки, при изготовлении которых у ворота и на груди, казалось, сэкономили на ткани, и душа ее затосковала по такой красоте и великолепию.

Когда же она наконец обернулась, то с испугом увидела, как ее милое дитя, спрятав личико в ладони, безутешно плачет. Мать никак не могла взять в толк, что же расстроило ее девочку, попыталась отнять ее руки от лица, но та продолжала горько плакать.

— Что случилось, Бэрбель? — спросила крестьянка с участием. — Почему ты плачешь? Ты его видела? Перестань! Это же некрасиво. Кто-нибудь увидит и спросит: отчего она плачет?

— Я не знаю, матушка, — прошептала девушка, пытаясь унять свои слезы. — Мне больно на сердце, не знаю почему.

— Перестань, перестань, да давай пойдем, а то мы опоздаем в церковь. Слышишь, как там красиво играют и поют. Пойдем, а то мы ничего не увидим.

И женщина потащила девушку в церковь. Бэрбель закрыла глаза белым фартуком, чтобы городские модницы над нею не посмеялись, но глубокие вздохи, которые исторгала ее грудь, говорили о том, что она безуспешно пытается подавить свою боль.

Когда они подошли к дверям церкви, орган умолк, замолкло и пение, начиналось венчание прекрасной пары. Но напрасно старалась полная женщина протиснуться сквозь плотные ряды зрителей, стоящих в дверях, ее отодвигали с бранными словами.

— Пойдем, матушка, домой, — попросилась девушка. — Мы люди бедные, и в церковь нас не пускают. Вернемся домой!

— Что? Церковь существует для всех, для богатых и бедных. Вы, господа, подвиньтесь немного. Нам же ничего не видно!

— Чего-чего? — оборвал ее мужчина с красно-коричневым лицом и длиннющей бородой. — Убирайтесь отсюда, мы больше никого не пропустим. Мы — уважаемые герцогские ландскнехты. Капитан нам приказал не пропускать больше ни единой души в церковь. Mordbleu! Прости меня, Господи, что ругаюсь в церкви, но я повторяю: уходите отсюда!

— Старуха пусть убирается, а девушка пускай остается. Иди, сокровище, ты все увидишь. Смотри, священник протягивает кольцо, а сейчас он берет жениха и невесту за руки. Подари мне, дорогая, поцелуй, и ты все увидишь! — Штаберль из Вены с этими словами схватил девушку за руку и хотел пропустить ее вперед, но та, зарывшись, вырвалась и убежала. Пухлая крестьянка, проклиная горожан, городскую церковь и ландскнехтов, последовала за нею.

ГЛАВА 7

Тот миг настал,
И ты моя навеки.
Моя — навеки!
Единственная...

Л. Уланд¹

Герцог Ульрих Вюртембергский любил пиры, обожал застолья, и когда в приятном обществе пускал чашу по кругу, то не сразу подавал знак к завершению пиршества. Во время свадьбы Марии Лихтенштайн он тоже не нарушил своих привычек.

Когда кончился в церкви священный обряд, свадебные гости прогуливались по аллеям и искусно переплетающимся дорожкам замкового парка, забавляясь ручными оленями и косулями либо медведями, расхаживавшими в одном из замковых рвов.

В двенадцать часов, приглашая к обеду, загремели трубы. В рыцарском зале были накрыты столы для гостей. Зал этот был красой Штутгарта, длинный, просторный, высокий. С одной стороны огромные окна, выходившие в парк, впускали свет, преломлявшийся сквозь разноцветные стекла. Своды и колонны скорее напоминали церковь, нежели место гулянья. С трех сторон зал замыкали галереи, украшенные дорогими коврами. Здесь обыкновенно располагались музыканты и зрители. Когда же в зале на-

¹ «Усопшие».

чинались рыцарские турниры, сюда поднимались дамы, удалившиеся от звона мечей, скрежета пик и свиста копий, а также смеха и крика участников турнира.

Сегодня же за богато покрытыми столами пестрым кругом разместились красивые дамы, веселые, изящные рыцари. На галереях бойко размахивали смычками скрипачи, раздували щеки рожечники, выбивали дробь барабанщики. Им вторил радостными криками народ, допущенный на внешние части галерей, отзываясь таким образом на веселые тосты господ.

Герцог сидел на верхнем конце зала, под балдахином. Сдвинув шляпу на затылок, он весело наблюдал за происходящим вокруг и то и дело прикладывался к кубку. По правую его руку сидела Мария. Теперь рыцарский обычай не предписывал ей опускать глаза и держаться от жениха в шести шагах. Веселье царило в ее глазах, лицо освещала радостная улыбка, которую она обращала к супругу, сидящему напротив, как будто стараясь удостовериться, что это не сон, она действительно изменила фамилию, которую носила восемнадцать лет, стала госпожой Штурмфедер. Мария улыбалась, глядя на него, осознавая, что после церкви он как бы оделил ее качественно новым чувством собственного достоинства.

«Он — глава, — улыбнулась она сама себе, — мой господин, мой любимый, мой хозяин!»

Мария заметила, что и Георг чувствовал некоторую приподнятость от своего нового положения. Молодые юнкеры оказывали ему всяческое почтение, старые рыцари выказывали дружелюбие и расположение, сам же он уже осознал, что не одинок на свете, стал отцом семейства, основателем блестящего рыцарского рода, так как в старые добрые времена у дворянства были иные понятия: они высоко ценили семейную жизнь, свою жену, детей, оставляя обет безбрачия для монахов.

Неподалеку от герцога сидели рыцарь фон Лихтенштайн, Маркс Штумпф фон Швайнсберг и канцлер; секретарь Ульмского совета также находился невдалеке, он приобрел это почетное место в качестве дружки жениха.

Действие вина уже начало сказываться: глаза мужчин сияли, дамы разругнялись, когда герцог дал знак главному распорядителю. Кушанья вынесли и раздали в парке бедным; на столе появились прекрасные фрукты и роскошные пирожные, кувшины вновь наполнились лучшими сортами вин, дамам принесли

маленькие серебряные кубки со сладким испанским вином. Они отговаривались, убеждая что не могут выпить и капли, однако прихлебывали и прихлебывали нежный нектар, пока не осушили кубки до дна.

Настал момент, когда, по обычаю того времени, новобрачным стали подносить подарки. Возобновилась музыка, и вдоль зала двинулось длинное блестящее шествие. Впереди шли придворные пажы, они несли золотые кувшины, медали и украшения из драгоценных камней — подарки герцога.

— Пусть эти кубки, когда вы будете пировать на свадьбах ваших детей, на крестинах ваших внуков, напоминают вам человека, которому вы оказывали любовь и верность, когда он был несчастен, и герцога, который в счастье был неизменно благосклонен и верен вам.

Георг пораился богатству подарков.

— Ваша светлость! Вы смущаете нас. Если вы будете так щедро награждать за любовь и верность, то их слишком легко станут продавать за награду.

— Я редко их видел в чистом виде, — ответил Ульрих, окинув мимолетным взглядом праздничный стол и пожимая руку молодого человека, — и еще реже, дружище Штурмфедер, после перенесенных испытаний, поэтому-то мы, по справедливости, и хотим наградить бескорыстную верность — чистым золотом, благородную любовь — драгоценными камнями. Может, ваша прекрасная супруга позабудет свои слезы! О, я знаю причину! Слезы вызвали воспоминания о нашем несчастье. Слезы прочь, прекрасная дама! Это дурной знак во время свадьбы. Теперь же, с разрешения вашего супруга, хочу получить старый должок. Вы понимаете какой?

Мария, покраснев, вопросительно посмотрела на Георга, как бы опасаясь вызвать у него недовольство. Георг понимал, что имел в виду герцог; сцена, которую он тайком наблюдал, еще жила в его памяти, потому и проговорил, прежде чем кивнуть Марии:

— Господин герцог, мы теперь одно целое, и если моя жена когда-то прежде наделала долгов, то я должен за них расплатиться.

— О, вы замечательный юноша, — рассмеялся герцог, — многие из присутствующих здесь барышень с удовольствием бы запечатлели подобный долг на ваших губах. Но какой мне от этого прок? Я удостоверяю расплату печатью на алых губках вашей супруги.

С этими словами герцог встал и приблизился к Марии. Та, бледнея и краснея, с мольбой смотрела на Георга.

— Господин герцог, — прошептала она, опустив голову, — прошу вас, это всего лишь шутка!

Но Ульрих, не смутившись, все же сорвал свой долг с прекрасных губ невесты. Старый рыцарь Лихтенштайн мрачно наблюдал за этой сценой, переводя свой взор с герцога на дочку, потом на зятя. Вероятно, ему вспомнилась судьба Ульриха фон Хуттена. Канцлер Амброзиус Воланд злорадно сверкал зелеными глазками на молодого человека.

— Хи-хи-хи, — канцлер обратился к Георгу, — пью за ваше благополучие! Красивая жена — это своего рода прошение во всех невзгодах. Желаю счастья, дражайший! Хи-хи-хи! Когда такое происходит на глазах супруга, можно посчитать это невинной проделкой!

— Разумеется, господин канцлер, — с видимым спокойствием ответил Георг. — Тем более она невинна, что я сам присутствовал при том, когда моя жена пообещала его светлости эту награду. Господин герцог заверил ее, что будет просить отца взять меня в зятя и оговорил эту награду в день свадьбы.

Герцог с удивлением посмотрел на молодого человека, Мария вновь залилась краской, вспомнив ту сцену у ворот замка. Но никто из двух посвященных не возразил Георгу, не попрекнул его за ложь, так как они оба догадались, что он подслушал их разговор. Однако Ульрих не оставил без внимания слова Георга и, как только предоставилась возможность, шепотом спросил:

— Станный ты все-таки парень! Что бы ты сделал, если бы я ее тогда поцеловал?

— Я ведь не знал тогда, кто вы, — также шепотом ответил Георг. — Я бы убил вас на том же месте и повесил труп на ближайшем дубе.

Герцог закусил губу и с изумлением уставился на Георга, потом, помедлив, дружески пожал его руку и произнес:

— И был бы прав. А мы совершили бы грех. Однако посмотри, вновь несут подарки невесте.

Действительно, показались слуги рыцарей и дворян, приглашенных на свадьбу, они несли редкую по ценности и красоте домашнюю утварь, оружие, ткани.

В Штутгарте знали, что тот, ради кого затеяно это торжество, — любимец герцога, а потому явилась депутация и от горо-

жан — почтенные, уважаемые люди, в черной одежде, с короткими мечами на боку, коротко обстриженными волосами и длинными бородами. Один нес кувшин из чеканного серебра, другой — большую кружку из того же металла, украшенную вставленными в нее медалями.

С почтительными поклонами депутаты приблизились сначала к герцогу, потом подошли к Георгу фон Штурмфедеру и, дружелюбно улыбаясь, отдали и ему почтительный поклон.

Несший кружку начал:

Привет вам, милые супруги.
Живите дружно много лет!
И будьте счастливы друг с другом,
Храните верности обет.
Свой дар принес вам нынче Штутгарт —
Напиток жизни и богов.
Налей, дружище, в кубок,
Чтоб выпить каждый смог!

Другой депутат налил из своего кувшина полную кружку и, пока первый пил, проговорил:

Вина того — целую бочку
Вы найдете прямо у дома.
Согрейте им душу и тело,
Оно придаст вам здоровья и сил.
Живите в согласье —
Так штутгартский люд попросил.

Между тем первый депутат выпил свою кружку и, снова ее наполнив, проговорил, поднося молодому человеку:

И лишь начавши пить вино,
В честь герцога свой кубок поднимите,
Затем Штурмфедера вниманьем одарите,
За Лихтенштайна выпейте до дна,
За деток их и замок — весь из камня,
Да не забудьте наших горожан —
Такой наказ нам ими дап.

Георг протянул обоим руки, похвалил подарок и поблагодарил за него, а Мария просила передать их женам и дочерям ее дружеский поклон. Герцог тоже обласкал депутацию своим милостивым и приветливым обращением. Депутаты положили се-

ребряный кубок и кувшин в корзину с прочими подарками и степенными шагами оставили зал.

Но поднесение подарков на этом не закончилось. Едва штутгартские горожане вышли, как за дверью поднялся сильный шум. Слышались глухие голоса, ругательства, повелительные возгласы ландскнехтов, охранявших вход, между ними выделялись визгливые женские крики, из которых один голос, споривший горячее прочих, показался знакомым обществу, сидевшему на верхнем конце стола.

— Да ведь это Розель! — прошептал Лихтенштайн своему зятю. — Бог знает что она там затеяла!

Герцог послал пажа узнать, что означает этот шум, и получил такое разъяснение: несколько крестьянок хотели во что бы то ни стало проникнуть в зал, дабы поднести подарки новобрачным, но слуги ни за что не желают пропустить простонародье. Ульрих приказал тут же впустить их, ему понравились присказки горожан, он ожидал подобного развлечения и от крестьян. Слуги распахнули двери, и Георг, к своему немалому удивлению, увидел толстую жену хардтского музыканта с красавицей-дочкой, их сопровождала тетушка — госпожа Розель.

На пути к церкви он видел красивое личико девушки, которую еще не забыл, но священный обряд, переполнивший его душу новыми ощущениями и чувствами, вытеснил из головы мимолетную встречу. Теперь Георг объяснил обществу, кто были пришедшие женщины, и все с большим интересом глядели на дочь человека, верность которого отличалась редким постоянством, а помощь была неизменно действенной. Девушка была белокурой, похожей на отца открытостью лица, только его мужество и сила обратились в ней в дружелюбие и приветливость. Георг узнал знакомые черты, только ему показалось, что девушка застенялась в присутствии столь важных господ и, кажется, в ее облике появилось что-то новое — печать страдания в уголках глаз и губ.

Жена музыканта знала приличия: она от самых дверей зала непрерывно кланялась, пока не дошла до герцога. А на худых щеках госпожи Розель еще горел румянец гнева: Магдебуржец и Каспар Штаберль мало того что не пускали ее в зал, но еще и жестоко оскорбили, назвав сухою жердью.

Прежде чем она собралась по правилам приличия представить господам семью своего брата, толстая женщина уже схватила кончик герцогского плаща и прижала его к губам.

— Добрый вечер, господин герцог, — сказала она, глубоко приседая. — Как ваше здоровье с тех пор, как вы прибыли в Штутгарт? Мой муж велел вам кланяться. Но мы пришли не к вам, господин герцог, нет, нам нужен вон тот господин. У нас есть свадебный подарок для его жены. Да вот она сидит! Бэрбель, достань подарок из корзинки!

— Ах ты господи боже мой! — прервала госпожа Розель заторопившуюся невестку. — Покорнейше прошу прощения, ваша светлость, что привела сюда этих людей. Это жена и дочь Воынщика из Хардта. Ах ты господи боже мой! Не сердитесь, господин герцог, эта женщина пришла из добрых побуждений.

Герцог весело рассмеялся, ему пришлось по душе извинения госпожи Розель и речи ее невестки.

— А чем занят твой муж? — спросил он. — Скоро он нас навестит? И почему не пришел вместе с вами?

— На это у него свои причины, господин герцог, — заметила толстуха. — Во время войны он, вестимо, не станет сидеть дома, поскольку может понадобиться. А в мирное время он считает, что от знатных людей чем дальше, тем лучше.

Госпожа Розель готова была прийти в отчаяние от наивности своей невестки, она тянула ее за юбку, за длинную ленту в косе — ничего не помогало, жена музыканта, к большой забаве герцога и его гостей, продолжала в том же духе; бесконечный смех, вызываемый ее ответами, казалось, даже радовал крестьянку.

Между тем Бэрбель, теребя крышку корзинки, несколько раз осмеливалась поднять глаза и посмотреть на лицо, которое часто в пылу лихорадки склонялось к ней на грудь и находило у нее на руках успокоение, и увидеть глаза, свет которых навсегда останется в ее памяти, рот, к которому она тайком прикасалась губами, и тут же опускала свой взор, боясь встретиться с его взглядом.

— Посмотри, Мария, — услышала она знакомый голос, — эта прелестная девчушка ухаживала за мной, когда я лежал больной в доме ее отца, потом указала мне путь в замок Лихтенштайн.

Мария обернулась и нежно взяла девушку за руку, та задрожала, покрылась румянцем и, открыв корзинку, подала кусок прекрасного полотна и связку льняной пряжи, тонкой и нежной, как шелк. Она попыталась что-то сказать, но, так и не вымолвив ни слова, просто поцеловала руку молодой женщины. Горячая слеза скатилась на обручальное кольцо.

— Ай, Бэрбель, — вмешалась госпожа Розель, — не будь же такой застенчивой и боязливой! Уважаемая барышня, я хотела сказать уважаемая госпожа, простите ее неловкость: девушка редко встречается с благородными господами. Смелость города берет, гласит народная пословица. Дома она веселая, как птичка.

— Благодарю тебя, Бэрбель, — сказала Мария. — Какое у тебя прекрасное полотно! Ты сама его выткала?

Девушка улыбнулась сквозь слезы и прошептала застенчивое «да», большего она в этот миг вымолвить не смогла.

Герцог освободил девушку от этой неловкости, чтобы втянуть в еще большую.

— И в правду, прелестное дитя имеет наш Ханс-музыкант! — воскликнул он и подозвал Бэрбель к себе. — Высокая, стройная, красивая! Вы только посмотрите, господин канцлер, как ей идет короткая юбочка и красный корсаж! Не правда ли? Вам не кажется, Амброзиус Воланд, что вы должны специальным указом ввести эту милую одежду для всех наших красавиц в Штутгарте?

Канцлер, выдавив из себя одну из своих мерзких улыбочек, оглядел покрасневшую девушку с ног до головы и произнес:

— Можно подойти к этому еще радикальнее, например экономить и на рукавах. Представляете, ваша светлость, как тогда по всем законам логики будут укорочены женские наряды? И сколько окажется через несколько лет сбереженной ткани? Но кто знает, как воспримут нововведение наши красавицы? Хи-хи-хи, они ведь принадлежат к породе павлинов, которые неохотно смотрят на свои ноги.

— Ты прав, Амброзиус, — расхохотался герцог, — приятно разговаривать с образованным человеком! Но скажи же мне, дитя, есть ли у тебя дружок? Возлюбленный?

— Ай, что вы говорите, ваша светлость! — перебила его толстуха. — Как можно такое подумать о ребенке? Она честная девушка, господин герцог!

Но герцог, казалось, ее не слушал. Он с улыбкой смотрел на милое лицо девушки, которая, тихо вздыхая, теребила ленту в своей косе и изредка бросала на Георга Штурмфедера взгляды, полные любви, и тут же, покраснев, опускала глаза.

От герцога не ускользнули эти мимолетные взоры, он звонко рассмеялся, вызвав смех у окружающих мужчин.

— Вот так, молодая супруга, — Ульрих обратился к Марии, — теперь вы можете разделить чувство ревности с вашим супругом. Если бы вы видели то, что углядел я, то обо всем бы догадались.

Мария улыбнулась словам герцога и с участием посмотрела на юную девушку, понимая, как та страдает от мужских шуточек. Она тихонько посоветовала госпоже Розель увести своих родственниц. И это не ускользнуло от острого взгляда герцога. Его веселое настроение сменилось ощущением ревности. А Мария сняла со своей шеи роскошный, из золота и красных камней сработанный крестик и протянула его пораженной девушке.

— Благодарю тебя, Бэрбель. А это возьми на память обо мне. Кланяйся своему отцу да навещай нас почаще здесь и в Лихтенштайне. А может, ты пойдешь ко мне горничной? Тогда и тетуська твоя, госпожа Розель, будет с тобою рядом.

Девушка смешалась, казалось, она борется с собою. Утвердительное «да» готово было сорваться с ее губ, но благоразумие взяло верх.

— Благодарю вас, уважаемая госпожа, — Бэрбель поцеловала руку Марии. — храни вас Бог! Но я должна остаться дома, моя матушка уже в возрасте, ей нужна помощь. Будьте здоровы, живите счастливо с вашим супругом, он — добрый, хороший человек!

Девчушка еще раз наклонилась к руке Марии и удалилась со своею матерью и тетуськой.

— Послушай! — крикнул ей вслед герцог. — Когда ты признаешься матушке, что у тебя есть любимый, приведи его ко мне, я дам тебе приданое, милое дитя музыканта!

Время подошло к четырем часам. Герцог встал из-за стола. Это послужило знаком народу — удалиться с галерей, которые необходимо было застлать коврами и приготовить для дам. Столы внизу срочно убрали, а на их место принесли копыя, мечи, щиты, шлемы — все принадлежности рыцарского турнира. В одну минуту огромный обеденный зал превратился в рыцарский манеж.

Как в наши дни дамы любят слушать ученые прения и политические дискуссии славных мужей, так в доброе старое время для женщин было большим удовольствием следить за кровавыми схватками рыцарей. Их прекрасные глаза светились мужеством и сочувствием храбрецам. Милые лица полыхали румянцем, когда любимого подстерегала опасность или его удары оказывались не столь ловкими, как у противника.

В этот вечер в Рыцарский зал ввели еще и лошадей. Мария с чувством гордости вручила своему возлюбленному второй приз: Георг дважды заставил фон Хевена покачнуться в седле.

Но лучше всех действовал на турнире храбрейший боец — Ульрих Вюртембергский, украшение рыцарства того времени. Ведь не даром же повествует о нем предание, что в день своей свадьбы он сбросил на землю восемь сильнейших рыцарей Швабии и Франконии.

После нескольких часов рыцарских состязаний гости направились в танцевальный зал. Начались танцы. Победители в состязаниях пользовались преимуществом — они шли в первых рядах танцующих.

Веселая музыка раздавалась до поздней ночи. Казалось, герцог свалил все заботы тревожного будущего на горб своего канцлера, который сидел в стороне, у окна, и с горькой улыбкой наблюдал за весельем, в котором сам не мог принимать участия.

На последний танец Ульрих хотел пригласить царицу торжества — Марию. Но напрасно он и Георг отыскивали ее по всему залу. Смеющиеся дамы сообщили, что шесть самых красивых и благородных барышень увели ее в новый дом, чтобы там оказать ей, как требовал обычай, услуги горничных.

— *Sic transit gloria mundi!*¹ — сказал, улыбаясь, герцог. — Однако смотри, Георг, идут уже твои дружки с факелами и двенадцать юнкеров — хотят вести тебя домой. Но прежде мы должны осушить прощальный кубок. Ступай принеси самого лучшего вина! — обратился он к виночерпию.

Между тем почетное факельное шествие из двенадцати юношей во главе с Марксом Штумпфом и Дитрихом Крафтом приблизилось, предлагая Георгу следовать с ними. Так требовал рыцарский обычай.

Виночерпий, наполнив кубки, поднес их герцогу и Георгу фон Штурмфелеру.

Герцог долго с некоторым умилением смотрел в лицо молодого супруга, наконец, пожав ему руку, сказал:

— Ты выдержал испытание. Когда я был в подземелье, всеми покинутый и несчастный, ты объявил себя моим сторонником. Когда те сорок предателей сдали мою крепость и я уже не владел ни одним клочком любимого Вюртемберга, ты последовал за мною в изгнание, утешал меня и укреплял во мне надежду на будущее. Оставайся со мною, юный друг. Кто знает, что ждет нас впереди! Сейчас я вновь повелеваю своими подданными. Они

¹ Так проходит мирская слава! (*лат.*)

громко, во всеуслышание провозглашают славу моему дому и роду, желая многих лет счастья и благоденствия. Но мне всего дороже твой тост, произнесенный в подземелье, в мрачной пещере, на который отозвалось всего лишь одно эхо. Теперь я возвращаю его тебе. Будь счастлив со своею женой! Пусть род твой благоденствует и процветает во веки вечные! Пусть всегда будет богат Вюртемберг такими мужами, как ты, — храбрыми в счастье и верными в несчастье!

Герцог осушил бокал. Слеза радостного умиления скатилась на дно. Восторженный крик гостей дружно поддержал тост герцога. Факелоносцы построились в два ряда, и Георг с друзьями во главе торжественно покинул замок вюртембергского герцога.

ГЛАВА 8

С горных вершин неожиданный гром грянет,
И злая беда вслед за счастьем нагрянет.

Ф. Шиллер¹

Путь, которым следуют знаменитые романисты наших дней, описывающие былое и настоящее, не нуждается в дорожном указателе, он имеет вполне определенную конечную цель, а именно — свадьбу героев. Путь этот бывает извилист, заставляет отклониться в сторону, заглянуть в замок, трактир, на постоянный двор, неприлично долго скучать, затем сломя голову мчаться, поспешая к заветной цели. И когда наконец после долгих волнений действие приближается к развязке, например в комнате невесты, тут-то автор захлопывает дверь перед самым носом читателя и завершает книгу. Мы бы могли тоже остановиться на описании чудесной музыки в герцогском дворце или же факельном шествии жениха с друзьями, но стремление к правде и интерес к героям этой истории вынуждает попросить уважаемых читателей сопровождать нас еще некоторое время, чтобы проследить повороты судьбы, поначалу несчастливой, затем благоприятной и, наконец, вновь погруженной в бездну горя.

Эпиграфом к данной главе послужили предостерегающие слова духа, которые слышат многие, но не все им внемлют. Во все времена мрачный дух витает над землей. Люди часто чувствуют его шо-

¹ «Невеста из Мессины».

рох, но стараются заглушить неприятные предчувствия радостными воспоминаниями. Ульриху Вюртембергскому часто слышались странные ночные звуки во время бессонных ночей в замке. Он считал, что то — топот вооруженных людей, угрожающая поступь надвигавшегося войска. Герцог слышал, как она приближается, а когда убеждался, что это всего лишь движение ночного воздуха, блуждающего по башням крепости, в нем все равно оставалось мрачное ощущение грядущей перемены судьбы.

Предупреждение старого рыцаря Лихтенштайна было еще свежо в его памяти, напрасно он старался повторять про себя ловко сформулированные заключения своего канцлера, чтобы оправдать собственное поведение, которое теперь ему казалось необдуманным.

Старые враги герцога поднялись снова, образовав довольно внушительную силу. Союз собрал новое войско и проникал все глубже и глубже, в самое сердце Вюртемберга. Имперский город Эслинген служил союзникам точкой опоры. Он находился в нескольких часах езды от столицы, в центре страны, и мог стать при наличии хорошего сообщения мощным укреплением, откуда удобно совершать набеги на остальные части Вюртемберга. Во многих местах крестьяне, напуганные новыми крутыми мерами герцога, принимали союзников довольно благосклонно. Вюртембержцы уважали старину и древние обычаи.

Старые права, старые порядки были для них превыше всего, даже если нововведения сулили лучшую участь. Спокойствие, каковое они выказывали во всех случаях жизни, тут же покидало их, лишь они заговаривали о новшествах. Своенравие, даже упрямство толкали вюртембержцев на защиту старого с таким жаром и рвением, которые были вовсе не свойственны их уравновешенным натурам.

Эту приверженность традициям в своем народе герцог узнал давно, когда, по предложению советников, для улучшения финансового положения ввел новые налоги. Восстание «Бедного Конрада» заставило его призадуматься и заключить Тюбингенский договор. Но та же любовь к старым порядкам была выказана ему и самым волнующим образом, когда Швабский союз напал на Вюртемберг и захотел изгнать из родового гнезда главу этого герцогства. Отцы и деды нынешних горожан и крестьян всегда жили под началом герцогов и графов Вюртембергских, поэтому они ненавидели всякого, кто желал изменить этот порядок.

И вот наследный герцог, исконный вюртембержец, вновь вернулся на родину. Люди встретили его с радостью, убежденные в том, что все теперь будет по-старому. Они бы беспрекословно выплачивали десятину, многочисленные налоги, делали взносы, платежи, если бы все шло заведенным порядком. Но этого не случилось, старые правила вышли из употребления, налоги выплачивались по-иному; неудивительно, что на герцога стали смотреть как на нового властелина и принялись ворчать на его нововведения.

У народа не было больше доверия к Ульриху не столько потому, что рука его стала тяжелее и он хотел получить от них больше, чем прежде, а скорее в силу подозрительного отношения ко всякого рода новшествам.

Герцог, особенно когда ему в ухо нашептывал такой советник, как Амброзиус Воланд, конечно, не знал истинной правды о действии законов, которые тот вложил ему в руку.

И все-таки ясный взор Ульриха подметил недовольство народа. Он понял, что, в случае дурного оборота дел, раздраженные крестьяне не будут ему оплотом, не говоря уже о местном рыцарстве, безучастном к его несчастьям.

Свое беспокойство герцог укрывал от посторонних глаз. Он пытался излучать радость, порою даже сам забывал об опасности, старался внушить воинам и горожанам в Штутгарте доверие к себе, часто скрывая от них вести о вылазках, которые предпринимали союзники в Эслингене. Герцог отбивал атаки союзников, опустошая свою страну, однако про себя думал, что после таких побед воинская удача может ему изменить, а союзники как-нибудь выставят против него большое крепкое войско.

И вновь сказала свое слово переменчивая судьба. О приготовлениях союза в Штутгарте знали еще очень мало или совсем ничего. Как при дворе, так и во всем городе жило спокойно и весело. Вдруг двенадцатого октября прибежавшие ландскнехты, из тех, кого герцог поставил лагерем у Канштатта, сообщили, что их войско и лагерь почти уничтожены огромными силами союзников. Только тогда жители Штутгарта осознали, что они накануне решительных событий, поняли они также, что герцог давно предполагал наличие смертельной угрозы, так как он тотчас велел собрать отряды, расквартированные вокруг города, и вечером того же дня устроил смотр десяти тысячного войска. С большей частью воинов он выступил уже ночью, чтобы подоспеть к уцелевшим позициям между Канштаттом и Эслингеном.

Этой ночью прекрасные женские глаза в Штутгарте залились слезами, поскольку мужчины и юноши, способные держать оружие, отправлялись на битву. Однако шум, вызванный выступающим войском, перекрывал жалобы женщин. Горе Марии было большим и молчаливым, когда она провожала своего супруга к воротам, где стояли слуги, держа под уздцы лошадей для отца и Георга.

Молодые жили одиноко и тихо, занятые всецело своим счастьем. Они мало думали о будущем в тихой укромной гавани и, погруженные в нежные чувства, не воспринимали тревожных знаков, предвещающих бурю.

Георг с Марией привыкли видеть отца серьезным, даже мрачным, им не бросалось в глаза, что день ото дня глаза его становятся печальнее, а настроение все более угрюмым. Отец же видел счастье молодых, сочувствовал им и скрывал до поры до времени то, о чем давно догадывался. И этот час пробил. Герцог Баварский продвинулся в центр страны, призыв к оружию вырвал Георга из объятий любимой жены.

Природа наделила Марию твердым характером и возвышенной душой в сочетании с житейской сметливостью, способностью в решающий момент проявить необходимое мужество. Она знала, что Георг должен соблюсти рыцарскую честь, не запятнать свое славное имя. У него были обязательства перед герцогом, которые следовало выполнять. Ей оставалось лишь смириться и не позволять себе громких жалоб, но тихих, печальных слез она не сдержала.

— Видишь, я не верю в то, что мы прощаемся навсегда, — сказала Мария мужу, принудив себя улыбнуться. — Наша семейная жизнь только начинается; Небу неуютно, чтобы она сразу же оборвалась. Поэтому я спокойно тебя отпускаю, в уверенности, что ты ко мне вернешься.

Георг поцеловал заплаканные глаза, смотрящие на него с любовью и утешением. В данный момент он не думал о грозящей ему опасности, о том, что может не увидеть утреннюю зарю, лишь ощущал нежное любящее существо в своих объятиях, предчувствовал боль, которую нанесет его гибель, одинокую вдовью жизнь, окрашенную воспоминаниями о нескольких счастливых днях.

Он крепко обнял любимую жену, как бы стараясь отогнать от себя черные мысли. Его взгляд погрузился в глубину ее глаз, чтобы найти там забвение, и ему удалось заглушить печаль, унеся с собою надежду.

Рыцари присоединились к отряду у Кантшатта.

Была темная ночь первой декады новолуния, звезды слабым светом озаряли двигавшееся войско. Георгу показалось, что герцог находится в мрачном расположении духа: глаза его были опущены, лоб нахмурен, он продолжал быстро скакать, лишь коротко поприветствовав их рукой. В ночном походе всегда есть что-то многозначительное и таинственное. Ясным днем, когда светит солнце, радуют глаз окрестности, взбадривает дружеское окружение товарищей по оружию, — все это побуждает солдат к разговору, даже веселому пению. Внешние обстоятельства отвлекают, воины меньше думают о цели своего похода, о превратностях судьбы, изменчивости солдатского счастья.

Совсем по-иному протекает ночной поход: слышится только однообразный шум движения, мерный топот и фыркание коней, бряцание оружия. Душа, почти не воспринимающая образов действительности, серьезнее и строже реагирует на монотонное журчание людского потока. Шутки и смех замолкают, громкий говор понижается до робкого шепота, теряет свой обычный беспечный оттенок.

Так было и в эту ночь: монотонное движение не прерывалось ни одним веселым звуком.

Георг ехал рядом со старым рыцарем Лихтенштайном, бросая время от времени боязливый взгляд на согнувшуюся фигуру старца. Казалось, жизнь в нем едва теплится. Лишь легкие вздохи да мимолетные взгляды на облака, периодически затягивающие луну, выдавали его беспокойство.

— Думаете, завтра у нас будет бой, отец? — шепотом спросил Георг.

— Бой? Нет, битва.

— Как! Вы полагаете, что союзники так сильны и могут дать нам отпор? Но это невозможно. У герцога Вильгельма должны быть крылья, чтобы прилететь из Баварии, а Фрондсберг всегда осмотрителен в своих решениях. Я считаю, что у них не более шести тысяч солдат.

— Двадцать тысяч, — глухо отозвался старик.

— Боже мой! Я никак не мог этого предполагать! — удивился молодой рыцарь. — Нам тогда тяжело придется. Но у нас обученный народ, а глаз герцога острее, чем у кого бы то ни было из союзного войска, даже чем у Фрондсберга. Вы не уверены в нашей победе?

— Нет.

— А я не теряю надежды. Самое большое наше преимущество в том, что мы боремся за свою землю, это придаст мужества нашим отрядам. Вюртембергцы сражаются за свою родину!

— А я в это не верю. Если бы герцог вел себя по-другому, не настраивал народ против себя! Боюсь, люди не будут долго терпеть.

— Тогда это действительно плохо. Но ведь швабы — честный, порядочный народ, они не покинут герцога в несчастье. Как вы думаете, где мы встретим врага? Где станем лагерем?

— Между Эслингеном и Канштаттом, у Унтертюркхайма, некоторые ландскнехты покинули позиции, там мы к ним присоединимся.

Старик замолчал, и они ехали какое-то время молча.

— Послушай, Георг, — прервал молчание старец. — Я часто смотрел смерти в глаза и слишком стар, чтобы ее бояться. Но мой уход из жизни ляжет тяжелым горем на душу бедняжки Марии. Сумей же утешить тогда мое милое дитя.

— Отец! — воскликнул Георг, протягивая ему руку. — К чему подобные мысли? Вы будете жить с нами долго и счастливо.

— Может, да, — возразил старый рыцарь, — а может, и нет. С моей стороны было бы глупо просить тебя беречься в бою, ты этого не сделаешь. Однако прошу тебя: подумай о своей молодой жене и слепо не бросайся в опасность. Обещай мне это.

— Хорошо. Вот вам моя рука. Я не буду уклоняться от своих обязанностей и не буду легкомысленно подвергаться опасности. Но и вы, отец, тоже должны мне дать подобное обещание.

— Ладно. Оставим это. В случае если меня завтра убьют, должна быть исполнена моя последняя воля, о которой я уведомил герцога. Лихтенштайн переходит к тебе, будет дан тебе в лен. Со мной мое имя умрет в здешних краях, пусть же твое здесь долго звучит.

Только молодой рыцарь, горестно взволнованный речами старого Лихтенштайна, хотел ему ответить, как знакомый голос назвал его по имени — герцог требовал его к себе. Он пожал руку отцу Марии и быстро помчался к Ульриху Вюртембергскому.

— Доброе утро, Штурмфедер! — приветствовал его герцог, при этом лицо говорящего несколько прояснилось. — Я недаром сказал: «Доброе утро», — там, внизу, в деревне, уже запели петухи. Что делает твоя жена? Гореваала она, когда ты уезжал?

— Она плакала, хотя и не жаловалась, не обмолвилась ни намеком, ни единым словом.

— Это на нее похоже, клянусь святым Хубертом! Мужественная женщина — такая редкость! Если бы я мог видеть в темноте по твоим глазам, готов ли ты к битве, имеешь ли охоту сразиться с союзниками!

— Только скажите слово, и я брошусь в самую гущу! Может, вы думаете, ваша светлость, что я за время моего короткого супружества совсем забыл ваше правило: не падать духом ни в счастье, ни в несчастье?

— Ты прав: *impravidum ferient ruinae*¹. Я и не ожидал иного от нашего верного оруженосца. Но сегодня мое знамя будет нести другой — тебя я определил для более важного дела. Ты возьмешь под свою команду сто шестьдесят всадников, что едут впереди всех, велишь одному из них показывать дорогу и поедешь рысью к Унтертюркхайму. Возможно, что дорога не совсем свободна; быть может, нам закроют проход со стороны Эслингена. Что ты будешь делать в таком случае?

— Я брошусь на них с моими ста шестьюдесятью всадниками и пробьюсь, если там, конечно, не сосредоточена целая армия. А ежели они слишком сильны, то я заслоню дорогу и буду поджидать вас.

— Хорошо сказано! Ты настоящий воин! Если ты будешь колотить их так же, как меня в ту ночь в Лихтенштайне, то пробьешься и через шестьсот союзников. Я даю тебе испытанных людей. Это — мясники, шорники и оружейники из Штутгарта и других городов. Я знаю их по многим сражениям, они сильны настолько, что разрубая противника от темени до грудной кости. Лекаря тут уже не потребуется.

— Так я должен расположиться у Унтертюркхайма?

— Да, там, на пригорке, ты встретишь ландскнехтов под началом Георга фон Хевена и Швайнсберга. Пароль наш такой: «Ульрих навсегда». Скажи им обоим, чтобы держались до пяти часов. Прежде чем взойдет день, я буду у них с шестью тысячами человек. Мы будем вместе ждать союзников. Прощай, Георг!

Молодой человек почтительно поклонился и, став во главе храбрых всадников, рысью выехал из долины.

Отряд состоял из крепких, энергичных людей, широкоплечих, с сильными руками. Из-под шишаков на Георга смотрели откры-

¹ Руины поражают, но не утрушат (лат.). — Гораций. Ода.

тые, честные лица с дружелюбными, мужественными глазами. Георг гордился, что ему доверили такой отряд.

Приближался Ротенберг. С вершины горы в долину Неккара смотрел владетельный замок Вюртемберга, на него нисходил звездный свет. Георг различил крепостные стены предков, с высоты которых была видна земля, которая была полная чудесных даров природы и которую он называл своею. Он погрузился в мысли о несчастливой судьбе герцога, которому вновь придется бороться за свои владения, думал о странностях его характера, причудливом сплыве величия, упрямства, гневливости и негнбимой гордости.

— Видите, — прервал его размышления проводник. — там, внизу, между двумя деревьями, можно различить шпиль унтер-тюркхаймской церкви. Дорога отсюда пойдет ровная, и если мы поедем рысью, то скоро будем на месте.

Молодой рыцарь прищепил коня, отряд последовал его примеру, и вскоре они увидели деревню. Здесь располагалась двойная линия ландскнехтов, ошестинившаяся алебардами. То тут, то там виднелись красноватые огоньки горящих фитилей.

— Стой! Кто идет? — глухо крикнул кто-то из рядов ландскнехтов. — Пароль?

— Ульрих навсегда, — отозвался Георг. — Кто вы?

— Дорогой друг! — воскликнул Марк Штумп фон Швайнсберг, выезжая из рядов солдат. — Доброе утро, Георг. Вы долго заставили себя ждать, мы целую ночь на ногах, с нетерпением поджидаем подкрепления. В лесу заметно движение. Если бы Фрондсберг догадался о том, как мы малочисленны, то давно бы нас разбил.

— Герцог ведет с собою шесть тысяч человек, — ответил Георг, — он будет здесь самое позднее через два часа.

— Шесть тысяч, ты говоришь? Святой Непомук! Так мало! Нас тут две с половиной тысячи, стало быть, всего — около девяти тысяч, а у союзников — двадцать тысяч! А сколько орудий у герцога?

— Не знаю. Их вывозили без нас.

— Ну что ж! Дай своим всадникам отдых, — сказал Штумпф. — Им сегодня предстоит большая работа.

Всадники спешились и прилегли. Ландскнехты тоже расстроили свои ряды, выставив предварительно усиленные посты на пригорке и на берегу Неккара. Марк Штумпф отправился про-

верить посты, а Георг, завернувшись в плащ, прилег отдохнуть. Тишина ночи, лишь изредка прерываемая окликами часовых, навевала на него сон, унесший его вдаль от войны, в объятия милой жены.

ГЛАВА 9

В густом пороховом дыму
Смешались вместе кони, люди.
Над Неккаром гремят орудья,
И павшие бойцы кланут войну.

Г. Шваб¹

Георг проснулся от барабанного боя, призывавшего к оружию маленький отряд. Полоска утренней зари чуть занималась на горизонте. Вдали виднелось подходившее войско герцога. Молодой рыцарь надел шлем, латы и сел на коня, чтобы встретить герцога во главе своего отряда.

На лице Ульриха, хотя оно оставалось по-прежнему серьезным, уже не было давешней мрачности. Глаза его сверкали воинственным пылом, в них сквозило мужество и решимость. Он был весь закован в металл, тяжелое железо прикрывал зеленый, шитый золотом плащ. На большом пышном султানে различались цвета его герба. В остальном Ульрих не отличался от прочих окружавших его рыцарей и дворян, которые точно так же с головы до ног были закованы в железо.

Герцог дружелюбно приветствовал Хевена, Швайнсберга, Герорга фон Штурмфедера и тотчас же потребовал сведений о положении противника.

Противника пока не было видно, лишь по краю леса в направлении Эслингена виднелись там и сям выставленные посты.

Герцог решил оставить холм, занятый ландскнехтами, и отступить на равнину. У него было мало конницы, а у союзников, как сообщили перебежчики, ее насчитывалось до трех тысяч всадников. В долине же по правой стороне протекал Неккар, слева располагался лес, — таким образом, флангам не угрожало нападение неприятельской конницы.

Лихтенштайн и некоторые другие рыцари отсоветывали перемещаться в долину, с холма казалось удобнее обстреливать.

¹ «Романс о юности герцога Кристофа Вюртембергского».

Но у Ульриха было свое на уме, и отряд перебрался в долину. Георгу фон Штурмфедеру приказали держаться с вверенным ему отрядом вблизи герцога. Герцог пожелал, чтобы эта конница составляла отряд его телохранителей. К ним присоединился Лихтенштайн и еще двадцать четыре рыцаря, чтобы в случае нападения дать врагу решительный отпор.

В те времена общая стычка зачастую распадалась на множество мелких поединков: рыцари, следовавшие впереди пехоты, редко держались вместе при нападении, — выбрав быстрым глазом в неприятельских рядах противника, они сражались с ним, как на турнире, мечом и копьем. Такой же отряд образовался и при коннице Георга. Герцогу тоже хотелось позабавиться подобным поединком, дать развернуться во всю мощь своей прославленной ловкости, но настоятельные просьбы рыцарей удержали его от этой романтической идеи.

Подле герцога на высоком горячем лихом скакуне робко лепилась какая-то нелепая фигура, напоминающая черепаху. Громадный шлем с целым веером разноцветных перьев, панцирь, снабженный на спине громадной выпуклостью, — все это делало фигуру необыкновенно уморительной. Маленький всадник широко расставил колени и судорожно держался за лук седла. Опущенное забрало огромного шлема мешало видеть лицо этого странного существа. Георг подъехал поближе к герцогу и спросил:

— Право же, ваша светлость, вы выбрали себе необыкновенно могучего бойца. Посмотрите только на его сухонькие ноги, дрожащие руки, богатырский шлем на маленьких плечиках. Кто этот великан?

— Так ты не узнал горбуна? — рассмеялся герцог. — Обрати внимание, какой у него необыкновенный панцирь, на спине он выглядит гигантской ореховой скорлупой, чтобы прикрыть драгоценное тело во время бегства. Это же мой верный канцлер — Амброзиус Воланд!

— Святая Дева Мария! Я, кажется, обидел его. Я-то полагал, что канцлер никогда не обнажит меча и не сядет на коня, а он вдруг на животном высотой со слона и носит меч больше себя самого. Я и не предполагал в нем подобной воинственности.

— Ты думаешь, он сам решил отправиться в поход? Нет, это я принудил его. Канцлер слишком много насоветовал мне такого, что никому не пошло на пользу. Так вот, из опасения, что он устроил мне ловушку, я и заставляю его расхлебывать кашу,

которую он сам же и заварил. Когда я велел ему ехать со мною в поход, он страшно перепугался, расплакался, заговорил о подагре и миролюбии своей натуры, но я все-таки настоял на своем, приказал зашнуровать его в латы и посадить на самого горячего скакуна моей конюшни.

Между тем Рыцарь горба поднял забрало своего шлема и показал бледное, озабоченное лицо. Обычная улыбочка насмешливой злобы исчезла, злые, колючие глазки широко и неподвижно уставились на окружающих, холодный пот выступил на морщинистом лбу, а голос превратился в дрожащий шепот:

— Ради Божьего милосердия, дорогой, уважаемый господин фон Штурмфедер, друг мой и покровитель! Замошлите словечко всемилоштивейшему герцогу, чтобы он уволил меня от этого фарса. Хватит высочайших шуток. Езда в тяжеленном снаряжении вконец меня изнурила. Шлем так давит, что голова идет кругом, мои ноги искривлены подагрой и страшно ноют. Прошу вас, прошу! Замошлите словечко за вашего смиренного слугу Амброзиуса Воланда. Будьте уверены: я заплачу вам за это.

Молодой рыцарь с омерзением отвернулся от старого трусливого грешника.

— Господин герцог, — гневно краснея, обратился Георг, — позвольте ему удалиться. Рыцари уже обнажили мечи, укрепили на головах шлемы, воины потрясают копытами и ждут начала атаки. Труса не место в наших рядах!

— Нет, он останется, — твердо возразил герцог. — При первом же шаге назад я сам сброшу его с коня. Черт плясал на твоих синих губах, когда ты нам советовал пренебречь мнением народа и отбросить старые законы. Сегодня, когда свистят пули и грохочут мечи, пусть он посмотрит, как действуют его советы.

Глаза канцлера загорелись от ярости, губы задрожали, лицо исказилось.

— Я лишь советовал, а вот вы почему это делали? Вы ведь герцог и приказали присягать новым законам. Я-то тут при чем?

Герцог так рванул своего коня, что канцлер припал к гриве скакуна, опасаясь смертельного удара.

— Поражаюсь собственному долготерпению! — вскричал герцог страшным голосом, глаза его сверкали от ярости. — Ты воспользовался моим тогдашним гневом, втерся в доверие ко мне. Если бы я тебя не послушался, змея, то сегодня со мною бы были двадцать тысяч вюртембержцев и их сердца стали бы несокру-

шимым оплотом для их герцога. О мой Вюртемберг, мой Вюртемберг! О, если бы я последовал твоему совету, мой старый друг, народ бы меня любил!

— Отбросьте эти мысли накануне битвы, — проговорил старый рыцарь Лихтенштайн. — Есть еще время наверстать упущенное. Около вас шесть тысяч вюртембержцев. С Божьей помощью мы победим, если вы поведете нас на врага. Господин герцог, сейчас около вас друзья. Простите вашим врагам их прегрешения, отпустите канцлера, он не умеет сражаться!

— Нет! Ко мне, черепаха! Сюда, собака-писарь! Поближе, бок о бок со мной! Ты презирал мой народ в своей канцелярии, ты давал ему нелепые законы своими лебедиными перьями. Теперь ты посмотришь, как этот самый народ будет стоять за свой Вюртемберг. Он победит или умрет! А-а-а, видите там, на холме, знамена с красными крестами? Видите баварские флаги? Как сверкает на утренней заре вражье оружие! Как оцетинились алебарды! Как играет ветер их султанами! Добрый день, господа союзники. Недурное зрелище! Оно как раз по мне!

— Смотрите, они уже направляют сюда орудия! — перебил герцога Лихтенштайн. — Назад с этого места, господин! Здесь ваша жизнь в опасности. Назад! Посылайте нам ваши приказы из безопасного места.

Герцог, удивленно раскрыв глаза, проговорил:

— Где ты слышал, чтобы вюртембержец отступал, когда враг дает сигнал к атаке? Мои предки не знали страха, и мои внуки будут такими же — бесстрашными и верными! Смотри, гора темнеет от их полчищ. А ты видишь белые облака, черепаха? А слышишь ли грохот? Это палят орудия. Они бьют по нашим цепям. Теперь ты можешь вздохнуть спокойно, за твою жизнь никто не даст и пфеннига.

— Давайте помолимся, — проговорил Маркс фон Швайнсберг. — И потом — с Богом, вперед!

Герцог набожно сложил руки. Спутники последовали его примеру и усердно молились за счастливый исход битвы, как требовал обычай того времени.

Гром вражеских орудий разрывал тишину, в которой слышны были редкие вздохи да шепот молящихся. Канцлер тоже молитвенно сложил руки, но его глаза не обращались с верой к небу, они скользили по горам, а дрожь его тела, вызванная разрядами вражеских полевых орудий, свидетельствовала, что душа не воз-

носит к небу, излучавшему лучи утреннего солнца на друзей и врагов.

Помолившись, Ульрих Вюртембергский обнажил меч, рыцари и другие воины последовали его примеру. В одну минуту тысяча мечей заблестела стальной щетиной.

— Ландскнехты уже сражаются, — проговорил герцог, окинув долину орлиным взором. — Георг фон Хевен, вы двинетесь к ним на помощь с тысячью пехотинцев. Швайнсберг, возьмите восемьсот человек, встаньте у леса и ждите дальнейших приказаний. Рейнхардт фон Геминген, вы потрудитесь двинуться прямо и занять плацдарм между лесом и Неккаром. Штурмфедер, ты со своими всадниками останешься здесь, но будь готов в любую минуту двинуться на помощь. С Богом, господа! Если мы не увидимся более здесь, на земле, то тем радостнее будет встреча там, на небесах.

Герцог поклонился рыцарям и склонил перед ними меч. Рыцари, ответив на речь герцога, двинулись со своими отрядами навстречу врагу, и тысячеголосое «Ульрих навсегда!» продолжительным эхом разнеслось по долине.

Союзное войско, заняв холм, недавно оставленный вюртембержцами, приветствовало неприятеля залпом многочисленных орудий, затем мало-помалу стало двигаться вниз, в долину. Казалось, они раздавят своею численностью маленькое войско герцога.

Лишь только союзники оставили холм, герцог обернулся к Георгу Штурмфедеру.

— Видишь полевые орудия там, на холме?

— Вижу, они почти без охраны.

— Фрондсберг полагает, что орудия недоступны для нас. Но там, у леса, дорога сворачивает налево и ведет в поле, а поле примыкает к холму. Ты можешь со своими всадниками беспрепятственно добраться до этого поля и тогда окажешься в тылу у союзников. Там ты дашь лошадям немного передохнуть, а потом галопом — на холм. Орудия должны быть нашими.

Георг поклонился, герцог протянул ему руку на прощание.

— Будь счастлив, милый юноша! Хоть и жестоко посылать молодого супруга в такое опасное предприятие, но мы не знаем никого, кто был бы проворнее и удачливее тебя.

Лицо Георга покраснело от таких слов, глаза излучали мужество и решимость.

— Благодарю вас, господин герцог, за подобную честь. Вы награждаете меня большим подарком, чем я заслужил. Будьте счастливы, отец! Привет моей милой женоушке!

— Так мы не договаривались! — улыбнулся старый Лихтенштайн. — Я еду с тобой, под твоим началом.

— Нет, вы останетесь со мною, дружище! — попросил герцог. — Что же, канцлер мне будет давать советы по поводу битвы? Мне придется туго, как и с прочими его рекомендациями. Оставайтесь со мною. Попрощайтесь скорее, вашему сыну необходимо спешить.

Старик пожал руку Георга, тот улыбнулся на прощание и подал знак всадникам. «Ульрих навсегда!» — воскликнули штутгартцы, которых вел Георг на врага.

Молодой рыцарь, очутившись на краю леса, окинул взглядом поле битвы. У вюртембержцев сложилась хорошая диспозиция: лес и Неккар прикрывали их. Центр и фланги казались достаточно сильными, чтобы выдержать нападение конницы. Он отдавал себе отчет в том, что, если их отсюда выманят, они потеряют все преимущества. Между лесом и левым флангом возникнет значительное расстояние, или же, если его заполнить, линия боя неизбежно растянется, и тогда они ослабнут, враг сможет пробить брешь в их рядах. Их недостатком была малочисленность отряда — враг превосходил чуть ли не в три раза. Однако неприятель не мог развернуться в узкой долине во всю свою мощь и ввести одновременно большое количество войск, хотя и имел возможность подтягивать все новые и новые силы и тем самым довести шестьсот храбрых вюртембержцев до изнеможения.

Лес укрыл Георга и его отряд. Тихо и осторожно продвигались всадники. Георг хорошо знал, как скверно приходится кавалерии, атакованной пехотой в лесу. К их счастью, отряд без помех достиг поля, указанного герцогом. Справа, за лесом, громыало сражение. Оттуда доносились крики наступающих, бесконечная пальба полевых орудий, барабанный грохот.

Впереди лежал холм, с вершины которого по рядам вюртембержцев палило порядочное число орудий. Холм этот со стороны леса возвышался довольно отлого. Георг невольно подивился остроте взгляда герцога, который мгновенно подметил данное преимущество, так как с любой другой стороны нападение казалось немыслимым, особенно для конницы. Орудия, насколько удавалось разглядеть снизу, были слабо защищены.

Георг дал своим всадникам и их коням небольшой роздых, затем, построив их снова, приказал галопом подниматься по отлогому холму. В одну минуту отряд достиг вершины. Георг закричал неприятельским солдатам, чтобы те сдавались.

Солдаты союзников медлили. Тогда штутгартские мясники, шорники и оружейники навалились на неприятеля и так засыпали его ударами, что истребили почти без остатка.

Георг взглянул на равнину и услышал многоголосый радостный крик вюртембержцев: полевые орудия — главный их враг — замолчали. Однако рыцарю необходимо было спешить: оставалась вторая, более трудная половина задачи — возвращение. Едва орудия умолкли, союзники тотчас же догадались, в чем дело, и обратились к холму. Туда послали конный отряд. Уводить с собою отбитые орудия было уже некогда, поэтому Георг приказал забить их жерла землей и камнями.

Покончив с орудиями, отряд бросился в обратный путь. Между ними и остальными вюртембержцами с одной стороны лежал лес, с другой же наступал неприятель. Дорога через лес представлялась наиболее удобной: даже в том случае, если бы их атаковала неприятельская конница, она вынуждена была бы преодолевать те же трудности, что и отряд Георга. Но от зоркого взгляда юноши не укрылось, что в лес двинулся большой отряд союзной пехоты. Георг оказался отрезанным от леса. Пробриться через двадцатитысячное войско союзной пехоты посчиталось бы безумной дерзостью. Оставалась еще одна дорога, на которой гибель была бы гораздо вероятней, чем спасение. Слева от расположения неприятеля протекал Неккар. На другом берегу реки войск союзников не замечалось. Если бы он переправился на тот берег, то имел бы возможность пробраться и к герцогу.

К подошве холма прибыло уже около пятисот всадников союзников. Георгу показалось, что во главе их стоял стольник Вальдбург; ему совсем не хотелось сдаваться этому человеку — смерть была предпочтительней.

Он указал вюртембержцам на более крутую сторону холма, оттуда шел путь к Неккару. Храбрые горожане недоумевали: можно ожидать, что из десяти всадников восемь будут опрокинуты, так крута была та часть холма. А внизу, между холмом и рекою, стоял отряд неприятельской пехоты, который, видимо, поджидал свою добычу.

Георг поднял забрало, его красивое лицо дышало мужеством и воинским пылом. Самые робкие люди из его отряда отбросили

страх: не прошло и месяца с тех пор, как они видели этого юношу под венцом об руку со своею возлюбленной. Как же они могли думать о своих женах и детях, когда их предводитель оттринул мысли о юной красавице-жене?

— Вперед! Мы забьем их! — воскликнул мясник.

— Вперед! Мы отмолотим их как следует! — поддержал его кузнец.

— Вперед! Мы их измочалим! — откликнулся шорник.

— Вперед! С Богом! Ульрих навсегда! — воскликнул Георг, прищпорил коня и ринулся к обрыву.

Неприятельская конница, достигнув вершины холма, чтобы захватить отважный отряд, не поверила собственным глазам, увидев его внизу, среди пехоты. Многие поплатились жизнью за свою удалость молодецкую, кто-то был опрокинут вместе с конем, другие, израненные, попали в плен, но все-таки большинство накинuloсь на пехоту. В центре схватки развевался пышный султан их предводителя. Стройные ряды пехотинцев нарушились, большое количество всадников смогло пробиться к Неккару.

Георг прищпорил коня и первым очутился в воде. Конь его оказался достаточно крепким, но и ему стало не под силу долго выдерживать на своей спине закованного в железные доспехи всадника среди сильного течения вздувшейся от дождей реки, и он начал тонуть. Георг приказал своим воинам не обращать на него внимания, а пробиваться к герцогу и передать ему прощальный привет Штурмфедера. Но в этот миг два оружейника бросились с коней в реку, один схватил за руку молодого рыцаря, другой — повод его коня, и таким образом счастливо довели своего командира до противоположного берега.

Союзники обрушили на беглецов град пуль, однако ни одна из них не причинила серьезного вреда. На глазах того и другого войска, отделенный от них Неккаром, отважный отряд продолжал свой путь к герцогу. Неподалеку находился брод, где воины и переправились. Крики ликования встретили спасшихся смельчаков.

Хотя часть неприятельских орудий в результате молниеносной и отважной атаки Георга была вынуждена замолчать, однако рок, висевший над Ульрихом Вюртембергским, казалось, не признал пользы смелого поступка. Силы герцогского воинства изнурялись непрерывно возобновляющимися атаками превосходящего числом противника. Ландскнехты сражались с обычным своим воинским пылом, но их командиры посчитали необходи-

мым собрать отряды в несколько мощных кругов для отражения неприятельской кавалерии. Тем самым была разрушена линия обороны. Пехотинцы, совсем не обученные и только что вооруженные, плохо защищали оголенные участки обороны.

Между тем Ульриху донесли, что герцог Баварский внезапно напал на Штутгарт и взял его, свежее неприятельское войско идет из тыла вдоль реки и находится от них в получасе ходьбы.

Несчастный владыка понял, что вторично потерял свое государство. Дабы не попасть в руки врагов, ему оставался крайний выбор: бегство или смерть. Друзья советовали Ульриху броситься в родовой замок Вюртемберг и держаться там, пока не представится случай бежать. Герцог взглянул вверх, на освещенный солнечным светом замок своих предков, сумрачно смотрящий вниз, в долину, где внук его созидателей отчаянно, в последний раз бился за свои владения. Тут он, покрывшись смертельной бледностью, молча показал своим сподвижникам на башни и стены родового замка. Там взмывали вверх кроваво-красные флаги союзников.

Рыцари пригляделись и обнаружили, что флаги росли и умножались, а черноватый дым, появившийся тем временем во многих местах, показал, что это не союзники, а огонь водрузил на зубцах замка свои пылающие знамена. Замок горел со всех сторон, и его несчастный владелец смотрел на это зрелище с улыбкой мрачного отчаяния.

Пожар в замке не укрылся и от взоров сражавшихся. Союзники приветствовали его криками торжествующей радости, вюртембергцы потеряли остатки мужества; они ясно видели, что счастью и удаче их герцога пришел конец.

Звуки барабанов подходившего из тыла союзного войска раздавались все сильнее и сильнее, пехотинцы во многих местах уже отступали, когда герцог громким голосом воскликнул:

— Кто еще желает нам добра, следуйте за нами! Мы пробьемся сквозь тысячи их солдат либо же погибнем! Возьми мое знамя, храбрый Штурмфедер, и с Богом, на врага!

Георг схватил вюртембергское знамя. Герцог встал с ним рядом.

Рыцари и горожане окружили их плотным кольцом, готовясь отчаянно пробивать путь своему владыке. Герцог указал на слабейшее место в неприятельской боевой линии. Надо было воспользоваться подходящим случаем или все потерять. Недоставало лишь предводителя. Георг предложил себя, но рыцарь Лих-

тенштайн дал ему знак не оставлять своего места подле герцога и, став во главе отряда, обернулся напоследок к своему герцогу и зятю и с командой: «Вперед! Да здравствует Вюртемберг!» — опустил забрало.

Отряд насчитывал около двухсот всадников. Он несся рысью в форме клина.

Канцлер Амброзиус Воланд с радостным чувством облегчения смотрел на отъезд вюртембержцев. Казалось, герцог совсем о нем забыл. Амброзиусу оставалось только сообразить, как ему безопаснее слезть со своего длинноногого горячего скакуна. Но благородный конь из герцогской конюшни, терпеливо выждав, когда небольшой отряд удалится, слышал громкий барабанный бой, призывающий к атаке, увидел гордо реющее вюртембергское знамя и вдруг с места, гигантским галопом ринулся на врага. Скакун, казалось, только и ждал этой минуты; с быстротой птицы несся он теперь по равнине за отрядом всадников. У канцлера от такой скачки помутилось в голове. Судорожно приникнув к луке седла, он пробовал кричать, но встречный поток воздуха, рассекаемый конем, подавлял его голос. В один миг скакун нагнал отряд и даже перегнал его стремительный карьер. На какое-то время канцлер стал невольным предводителем отряда.

Неприятельские солдаты чрезвычайно недоумевали по поводу нелепой фигуры, похожей скорее на обезьяну в латах, нежели на воина. Не успели они опомниться, как странное существо уже врезалось в их ряды.

Несмотря на решительную минуту, вюртембержцы разразились дружным хохотом, который окончательно смутил оторопевшего неприятеля. Храбрые воины Ульма, Аалена, Нюрнберга и десятка других имперских городов отступили перед неведомой силой, рассыпались и обратились в бегство.

Две сотни вюртембергских всадников очутились в тылу расстроенного неприятеля.

Герцог в сопровождении нескольких спутников проскакал стороной, остальные поспешно продолжали свой путь.

Союзная конница, придя в себя, поскакала за смельчаками, но настигла вюртембержцев лишь у самых ворот Штутгарта. Однако среди пленных не нашлось ни герцога, ни кого-либо из важнейших его сторонников, кроме канцлера Амброзиуса Воланда, которого сняли с коня полумертвым. Союзные солдаты обошлись с ним жестоко, когда освободили его от тяжелых доспехов. Всю

вину за то, что от них ускользнула награда в тысячу гульденов, обещанная за поимку герцога, они приписали невероятной, превосходящей всяческие границы храбрости горбатого канцлера. Таким образом, герцог потерпел поражение в битве, а его канцлер — после битвы.

ГЛАВА 10

Упал герой, врагом сраженный.
И смерть его — живым упрек.
О родина, луч солнца над тобою!
А путь к тебе, увы, далек!

Л. Уланд¹

Ночь, наступившую вслед за этим решающим днем, герцог Ульрих и его спутники провели в узкой лесной лощине; окружающие ее скалы и густой кустарник создавали надежную защиту. Лощина эта и поныне называется Пещерой Ульриха.

Герцога вновь спас от беды хардтский музыкант: он отыскал пристанище, известное лишь местным крестьянам да пастухам. Ульрих решил передохнуть здесь, с тем чтобы, как только займется заря, со свежими силами продолжить бегство в Швейцарию.

Войска союзников захватили страну, проскользнуть мимо их глаз стало затруднительно. Удобнее ночью оставаться здесь, кроме того, лошади так утомились боевым днем, что герцогу и сопровождающим его лицам не было возможности выдержать дальнейшее преследование неприятельской конницы.

Воины расположились вокруг скудного огня. Герцог погрузился в тревожный сон и, быть может, в своих грезах забыл о потере владений. Спал и старый рыцарь фон Лихтенштайн. Маркс Штумпф, упершись могучими руками в колени, спрятал свое лицо: трудно было решить — спал он или, погруженный в горе, размышлял о судьбе герцога, разбитого в одночасье. Самый младший — Георг фон Штурмфедер, пересилив дрему, взялся караулить уснувших. Подле него сидел Ханс — Волынщик из Хардта, неотрывно смотревший на огонь. Все мысли крестьянина, казалось, сосредоточились на песенке, ее меланхоличную мелодию он напевал себе под нос тихим, подавленным голосом.

¹ «Умирающим героям».

— Какая печальная песня, Ханс! — перебил его Георг, которому становилось жутко от этой унылой мелодии. — Она звучит как прощальный плач или поминальная молитва. Не могу слушать без содрогания.

— В любую минуту мы можем помереть, — ответил, не отрывая мрачного взгляда от огня, музыкант. — Потому ее и пою, чтобы достойно отойти в мир иной.

— К чему эти мысли о смерти! Ханс, ведь ты всегда был веселым малым, твоя цитра радостно звучала на деревенских праздниках. Там-то ты не пел печальных песен.

— Была у меня радость, было во мне веселье, да все кончилось, — печально вздохнул музыкант, показав на герцога. — Все мои труды, все мои заботы оказались напрасными. Теперь же всему конец! Я старался ради него, был его тенью. Мне тоже приходит конец. Не будь у меня жены и ребенка, я бы уже сегодня ночью расстался с жизнью.

— Конечно, ты всегда был верной тенью герцога, — тихо вымолвил юноша. — И я часто дивился твоей верности. Послушай, Ханс! Мы, должно быть, не скоро свидимся, а теперь у нас есть время поговорить. Расскажи мне, что тебя так привязывает к герцогу, если, конечно, можешь.

Музыкант, поправив костер, некоторое время молчал. Беспокойный огонь бился в его глазах, то ли это были отблески костра, то ли его сжигал внутренний жар.

— Это дело особого рода, — начал он, — я не очень охотно говорю о нем. Однако вы правы, молодой рыцарь, мне тоже кажется, что мы не увидимся долго, потому я обо всем вам расскажу. Вы что-нибудь слышали о «Бедном Конраде»?

— О да! Слух об этом дошел до Франконии. Это было восстание крестьян. Тогда ведь, кажется, покушались на жизнь герцога?

— Совершенно верно. Восстание «Бедного Конрада» было ужасным. Лет семь тому назад случился жестокий неурожай. Среди крестьян появилось много недовольных своими правителями и поведением самого герцога. У богатых вышли все деньги, у бедных их давно уже не было, а нас все-таки заставляли платить, потому что герцогу то и дело надобились деньги на расходы по его блестящему двору, где постоянно жилось как в раю.

— А крестьяне соглашались с требованиями такого количества денег?

— Они не осмеливались говорить «нет». Но в кошельке герцога была такая дыра, какую крестьяне не могли заклеить своим потом. Многие в отчаянии бросали работу, так как хлеб, орошенный их слезами, вырастал не для них, не для них было и вино: оно обильными струями текло лишь в герцогские бочки. Те, кто знал, что у них уже нечего взять, кроме их несчастливой жизни, отчаянно веселились, называли себя графами Бездомными и с увлечением толковали о своих замках на Голодной горе, укреплениях на отвалах пустой породы, болтали о благородстве нищих. Это общество и называлось «Бедный Конрад».

Музыкант уронил на руки свою голову и замолчал.

— Ты хотел о себе рассказать, Ханс, — напомнил ему Георг. — О себе и герцоге.

— А я и забыл... Ну так вот, наконец дошло до того, что уменьшили меру и вес продуктов, а прибыль от этого отдали герцогу. Крестьянам стало вовсе невтерпеж — вокруг нас существовали прежние весы, а у нас ввели новые. В долине Ремса бедняки принесли новые весы на реку и решили им устроить испытание водой.

— Что за испытание? — удивился Георг.

— Ха-ха-ха! — улыбнулся музыкант. — Очень простое испытание. Фунтовую гирию под звуки барабана и пение свирелей отнесли на реку и сказали: «Будет гирия плавать — герцог прав, а коли потонет — правы мы». Гирия пошла ко дну, и «Бедный Конрад» взялся за оружие. В долинах Ремса и Неккара, вверху, до окрестностей Тюбингена и по ту сторону до Альп, — везде крестьяне поднялись и потребовали восстановления старинных прав. Собрали ландтаг, говорили много, но ничего не помогало. Крестьяне не расходились.

— Да, но почему же ты совсем ничего не рассказываешь о себе? — прервал его Георг.

— Короче говоря, я был одним из самых отчаянных, — продолжал Ханс, — был смел, упрям и не хотел понапрасну работать. Вскоре я был бесчеловечно наказан за незаконную охоту. Тогда-то и примкнул к «Бедному Конраду» и вскоре стал почтище Петера Козьего Пастуха и Брегенца — главных зачинщиков крестьянского восстания¹. Герцог, увидев, что возмущение разрослось не на шутку, сам приехал в Шорндорф. Нас созвали на

¹ Петер и Каспар Брегенц в 1514 году стали вожаками крестьян. В доме кузнеца Каспара в Шорндорфе был своего рода штаб восставших.

присягу, пришли сотни крестьян, и что характерно — вооруженные. Герцог говорил с нами, но мы его не слушали. Тогда встал имперский маршал, поднял свой золотой жезл и громко произнес: «Кто за герцога Ульриха Вюртембергского, подойдите к нему». Тут же Козий Петер поднялся на камень и крикнул в толпу: «Кто за „Бедного Конрада“ и Голодную гору — ко мне!» И что же? Герцог стоял, окруженный лишь своими слугами, а весь народ примкнул к «Бедному Конраду».

— Какой стыд! Какой позор! — поразился Георг. — Позор тем, кто довел дело до такого состояния! Тут, конечно, не обошлось без канцлера Амброзиуса Воланда?

— Вы, бесспорно, правы. Но слушайте дальше. Герцог, видя, что его дело проиграно, вскочил на коня. Мы с угрозами теснились вокруг него. Никто, однако, не посмел коснуться правителя. Его гордый, повелительный взор останавливал всякое покушение. «Что вам надо, негодяи?» — вскричал он и, дав шпоры своему коню, сшиб трех человек. Мы озлобились, схватились за поводья и нацелили копья на самого герцога. А я, я забылся до того, что схватил его за плащ и закричал: «Пристрелите его, мерзавца!»

— Это ты-то, Ханс? — воскликнул пораженный Георг.

— Да, это был я, — проговорил музыкант медленно и серьезно. — Но я достаточно заплатил за это. Герцог все-таки ускользнул из наших рук и вскоре собрал войско. Мы не смогли выдержатъ схватку и сдались на милость победителя почти без всяких условий. Двенадцать вожakov восстания были приведены на суд в Шорндорф, я в их числе. Когда я еще был в заключении и размышлял над своим положением, думая о предстоящей смерти, то, ужаснувшись, устыдился собственных деяний.

— И как же ты спасся? — участливо спросил Георг.

— Как я уже говорил вам в Ульме, благодаря чуду. Нас, двенадцать вожakov, повели на рыночную площадь. Там был сооружен эшафот, мы должны были сложить свои головы. Герцог сидел перед ратушей, он приказал еще раз подвести нас к нему. Мои одиннадцать товарищей бросились на колени, цепи гремели, они, жалобно вопя, молили о пощаде. Долго и пытливо смотрел на приговоренных герцог, потом взглянул на меня. «А почему ты не просишь?» — спросил он сурово. «Господин герцог, — ответил я, — я заслужил это. Но Бог помилует мою душу». Герцог еще раз посмотрел на нас и дал палачу знак начинать казнь. Нас поставили по возрасту, я, как самый младший, оказался последним. Смутно

помню я эти страшные минуты, но никогда не забуду того хряска, с каким рубили головы моих товарищей. Палач брал...

— Оставь, не надо, пропусти эти ужасы, — невольно вырвалось у Георга.

— Девять голов уже были надеты на копья, когда герцог воскликнул: «Умрут десять преступников, а остальные будут свободны. Принесите игральные кости, и пусть трое из них попытают себе счастья!» Принесли кости, герцог протянул их сперва мне, но я отказался: «Я потерял право на жизнь и не хочу гадать о ней». — «Ну, так я брошу за тебя!» — сказал герцог. Он подал кости двум другим обреченным. Дрожа, мертвенно-холодными руками те потрясли кости, у одного выпало девять, у другого — четырнадцать. Затем взял кости герцог, потряс их и окинул меня пронзительным взглядом. Клянусь, я не дрожал! Герцог кинул кости и мгновенно прикрыл их рукою. «Моли о пощаде!» — сказал он. — «Есть еще время!» — «Я прошу вас простить меня за содеянное, — сказал я, — но о пощаде молить не буду, я ее не заслужил, потому и должен умереть». Герцог поднял руку, и я увидел, что у него выпало восемнадцать. Странно было в этот миг на душе: мне казалось, что сам Бог в лице герцога меня судил. Я бросился на колени и дал обет служить герцогу не на жизнь, а на смерть. Десять мятежников были обезглавлены, двое остались живы.

С растущим участием слушал Георг речь хардтского музыканта, и, когда рассказ был закончен, обыкновенно лукаво-сметливый взор музыканта затуманился слезами, Георг в невольном порыве схватил руки этого доброго человека и сердечно пожал их.

— Да, правда, — сказал юный рыцарь, — ты тяжко провинился перед герцогом, но ты же и страшно поплатился за это, вытерпев душевные муки перед угрозой смерти. Молниеносный удар меча ничто по сравнению с тем тяжким чувством, которое ты должен был вынести, видя предсмертные муки и ужас твоих товарищей, тем более ожидая подобной участи и для себя! Разве ты своею верной службой, жертвами и риском, сопряженным с этой службой, не примирил с собою герцога? Как часто ты спасал его свободу, а быть может, и жизнь! Право же, ты с избытком загладил свою вину!

Несчастный музыкант после печального рассказа вновь замкнулся, ушел в себя, продолжая молча и мрачно смотреть в пылающий огонь. Казалось, он застыл в этом положении. Печальная улыбка кривила его губы, пока Георг произносил утешительные слова.

— Вы думаете, — музыкант нарушил молчание, — что я искупил свою вину? О нет, такие долги не уплачиваются так скоро; подаренная жизнь принадлежит тому, кто ее подарил. Тайком бродить по горам, приносить вести из неприятельского лагеря, показывать пещеры, где можно укрыться, — дело нетрудное, этого недостаточно для искупления вины. Я должен умереть за него, и тогда прошу вас, господин, позаботиться о моей жене и дочери.

Скупая слеза скатилась на бороду музыканта. Устыдившись своей слабости, он укрыл лицо руками и глухо продолжал:

— У меня еще достаточно сил, чтобы отдать за него жизнь. Но хотел бы, чтобы моя жертва послужила делу его жизни, чтобы он отвоевал свою страну. За это я готов умереть.

Между тем герцог проснулся и с удивлением осмотрелся. Как будто волшебством перенесенный в это ущелье, он только сейчас стал разглядывать скалы, деревья, скудный огонь и освещенных тусклым светом людей, своих спутников; он закрыл глаза рукой, потом опять открыл их, словно проверяя, не снится ли ему все это, не исчезнут ли странные видения; они не исчезли, и герцог с горестью смотрел то на одного, то на другого воина.

— Я сегодня потерял свою страну, — наконец вымолвил он. — Теперь, когда я проснулся, это ощущение еще мучительней, потому что во сне я опять владел ею, и она была прекраснее, чем сейчас.

— Будьте справедливы, господин герцог, — сказал Маркс фон Швайнсберг, — к этому благодению природы. Как были бы вы несчастны, чувствуя свою потерю даже во сне! А так вы подкрепили свои силы для мужественной борьбы с вашим несчастьем. Ваше лицо стало дружелюбным и спокойным, вы готовы к новым деяниям, так поблагодарим же за это спасительный сон!

— Мне даже не хотелось просыпаться. Так бы спал и спал столетия, настолько все было прекрасным во сне!

Герцог, смертельно страдая, подпер голову рукой. Голоса говорящих разбудили старого рыцаря Лихтенштайна. Тот хорошо знал своего повелителя и понимал, что его нельзя оставлять один на один с горькими размышлениями. Старик подошел поближе и обратился к герцогу:

— А вы не хотели бы, ваша светлость, рассказать нам о своем сне? Может, в этом мы найдем утешение и для себя? Я верю снам, которые приходят в роковые часы. Они снисходят на нас свыше для утешения и веры.

Герцог задумался над словами мудрого рыцаря и принялся рассказывать:

— Мой зять Вильгельм Баварский в качестве дружеского подарка сжег сегодня замок моих предков. Там жили с незапамятных времен Вюртемберги, потому и земля, которой мы владели, носила это имя. Тем самым он хотел разжечь факел смерти и в его пламени уничтожить не только герб, но и саму память о герцогстве Вюртембергском и его названии. Ему почти удалось это сделать, потому что единственный мой сын в дальних краях, у моего брата Георга¹ пока нет наследников, а я, я — разбитый, изгнанный, вынужден бежать. Они вновь оккупировали мою страну. Где же, где надежда на то, что я ее вновь завоюю?.. Когда я, несчастный, сидя здесь у костра, думал о мгновениях счастья и о том, что, верно, сам виноват в своих невзгодах, понимал, что крохотные проблески надежды чересчур слабы, имя Вюртембергов чуть ли не выброшено на свалку, остатки рода развеяны по свету, то меня охватило такое отчаяние от злых ударов мрачного рока, что, страдая, я невольно заснул. Но бодрствующая душа моя поднялась в тоске и печали к вершинам Ротенберга, горящим башням моего замка, и его духи слетелись ко мне во сне.

Ульрих погрузился в свои мысли, как будто прислушиваясь к волнениям души, таким величественным и чистым, что их не под силу описать простыми словами. Покой снизошел на лицо несчастного герцога, и его глаза наполнились чудным светом.

Воины с изумлением наблюдали за этими превращениями, и все обратились в слух, надеясь узнать что-то важное.

— Слушайте же, друзья, — продолжал герцог. — Будто с высоты озираю я во сне прекрасные долины Неккара. Река извивалась голубой полосой, горы и долины казались умиротворенными, леса на вершинах исчезли, не было и лугов, на горах раскинулся огромный сад, перемежающийся виноградниками, долины тоже казались сплошным цветущим садом. Восхищенный, я стоял и стоял, не в силах отвести взгляд от такой красоты и великолепия. Ярко светило солнце, небо было голубым и чистым, зелень виноградников и плодовых деревьев казалась такой же изумрудной, как и сейчас. Когда я поднял свой очарованный

¹ Граф *Георг фон Вюртемберг*, брат Ульриха, стал во главе рода Вюртембергов. Его сын *Фридрих VI* получил герцогство во владение, потому что у Людвига, сына Кристофа, не было наследников мужского пола.

взор вдаль, за Неккар, то увидел на холме приветливый замок, на стенах которого играли лучи утреннего солнца. Замок выглядел таким миролюбивым, что душа радовалась, так как ни могилы, ни высокие стены, ни башни, решетки, подъемные мосты не напоминали о раздорах и ссорах, о непредсказуемой судьбе смертных.

Когда же я с изумлением ощутил покой и мир неохранных долин, невооруженных крепостей, исчезли стены моего собственного замка. В этом по крайней мере меня мой сон не обманул, я ведь собственными глазами вчера видел, как рушились его башни. На том месте лишь развеялся мой флаг. От Вюртемберга не осталось и камня, но там стоял храм со сводом и колоннами, какие можно видеть в Греции и Риме. Я было подумал: как такое могло случиться? — и тут увидел людей в странных одеждах, стоящих неподалеку.

Один из них привлек мое внимание тем, что держал на руках прекрасного мальчика и показывал ему лежащие у ног долины, реку, города и деревеньки, горы вдаль. Я присмотрелся к этому человеку, заметил черты своего брата Георга и понял: ребенок принадлежит к нашему роду и является Вюртембергом. Мужчина с ребенком спустился в долину, остальные следовали за ним в почтительном отдалении. Последнего из них я задержал, спросив его, кто этот человек, показывающий ребенку окрестные дали. «Это король», — коротко ответил мне тот и спустился с холма.

Герцог умолк и испытующе посмотрел на рыцарей, как бы желая услышать их мнение о рассказанном. Те долго молчали, наконец старый рыцарь Лихтенштайн заговорил:

— Мне шестьдесят пять лет. Я многое повидал в своей жизни, о многом слышал. Человеческий дух совершает удивительные вещи, и в этом я вижу промысел Божий. Поверьте мне: сны исходят от Бога, потому что ничто на земле не случается без Его участия. В старые времена были провидцы и пророки, почему же в наши дни Господь не может послать своего святого, чтобы тот приоткрыл во сне несчастному завесу над будущим и показал ему грядущие счастливые дни? Утешьтесь, господин герцог! Враг сжег ваши крепости, вы в одночасье потеряли свои владения, но ваш род не угаснет, ваше имя не канет в безвестность, не сотрется в памяти народной. Вас не забудет народ Вюртемберга.

— Король... — задумчиво произнес герцог. — Как смею я, угодив в беду, думать о королевском звании для моего рода? Ведь

сам ад может морочить голову подобными снами, чтобы человеку было потом горше жить.

— К чему сомневаться в будущем? — улыбнулся Швайнсберг. — Предполагал ли кто из вашего рыцарского рода, что его внук станет герцогом, а прекрасная земля будет носить его имя? Воспринимайте ваш сон как знак судьбы и верьте в то, что ваше имя останется долго-долго на этой земле и новые князья Вюртемберга будут иметь ваши родовые черты.

— Хотелось бы в это верить, — глухо произнес Ульрих фон Вюртембергский, — хочется надеяться на то, что, как ни тяжела сегодняшняя потеря, наша земля останется с нами. Пусть у внуков будет более счастливая участь, нежели у нас, чтобы и о них говорили: «Они — неустрашимые...»

— И верные! — торжественно провозгласил хардтский музыкант, поднявшись во весь рост. — А сейчас вам, господин герцог, пора отправляться в путь, осталось недолго до рассвета. Мы до зари должны по крайней мере переправиться через Неккар.

Беглецы встали, вооружились и сели на коней. Музыкант пошел впереди, указывая выход из долины. Их бегство сопряжено было с большими трудностями: союзники искали по всем дорогам несчастного герцога. Чтобы удачно попасть на более удобную незаметную дорогу, следовало еще раз перейти Неккар. Переправа тоже казалась небезопасной. От сильного грозового дождя река вздулась так, что переплыть ее на лошадях представлялось рискованной затеей. Мосты же по большей части были заняты союзниками. Как всегда, добрый совет дал Ханс. Он выведал от верных людей, что Кенгенский мост еще свободен. Союзники не заняли его потому, что он располагался вблизи от их лагеря, трудно было предположить, что герцог осмелится им воспользоваться. Эта дорога казалась наименее опасной. Ульрих и избрал ее.

Когда они выбрались из леса, на горизонте забрезжили первые лучи утренней зари. Беглецы пробирались со всевозможными предосторожностями. Вскоре впереди заблестел Неккар, а невдалеке виднелся и мост. Вдруг, случайно обернувшись, Георг заметил в стороне кавалькаду всадников. Он сообщил об этом спутникам, те озабоченно оглянулись. Отряд состоял примерно человек из двадцати пяти. Скорее всего, то были союзники — рассеянные части герцога не могли разъезжать такими стройными рядами.

Конный отряд спокойно продолжал свой путь, казалось не обращая внимания на группу всадников. Беглецы же тем временем достигли моста. Музыкант что было мочи бежал впереди, всадники скакали во весь опор — они меньше всего думали о спасении собственной жизни, важнее была свобода герцога.

Беглецы поднялись на мост, и тут из укрытия выскочила дюжина крепких мужчин, вооруженных копьями, мечами, ружьями, и преградила им путь. Герцог понял, что они обнаружены, кивнул своим спутникам, чтобы те скакали назад. Последними ехали Лихтенштайн и Швайнсберг, они повернули своих коней, но было уже поздно: союзные рыцари, перейдя в галоп, их догнали и перекрыли мост.

— Сдавайтесь, герцог Вюртембергский! — закричал один из вооруженных людей, выскочивших из укрытия. — Видите: выхода нет, бежать некуда!

— Кто ты такой, чтобы тебе сдавался герцог Вюртембергский? — Ульрих со злобным смехом обнажил свой меч. — Ты даже не на коне, да и вообще, рыцарь ли?

— Я — доктор Кальмус, — ответил тот, — и готов отплатить вам за любезность, которую вы мне некогда оказали. Да, я — рыцарь, именно вы посвятили меня в рыцари осла. Теперь в благодарность за это я сделаю вас рыцарем без коня. Именем светлейшего Швабского союза приказываю вам слезть с коня!

— Дай место, Ханс! — шепнул герцог музыканту, который с поднятым топором угрожающе стоял между ним и доктором. — Отойди в сторону! Друзья, сомкнемся и бросимся на них все вместе. Может, нам удастся прорваться!

Один только Георг услышал этот сдержанный шепот, остальные рыцари держались шагах в десяти, занимая вход на мост. Они уже сражались с союзниками.

Георг примкнул к Ульриху и только собрался обрушиться вместе с ним на пресловутого доктора, как тот, угадав намерение герцога, крикнул слугам:

— Вперед, ребята! Он — в зеленом плаще, взять его живым или мертвым!

Длинные костлявые руки доктора напряженно целились большим, локтей в пять, копьем, которое, наверное, поразило бы жертву. Однако Ханс молниеносно взмахнул топором, и знаменитый Кальмус с ревом грохнулся на землю — топор музыканта глубоко пробил его череп. Солдаты оторопели: крестьянин, так

легко машущий тяжелым топором, внушал им ужас. Они отступили. Георг, воспользовавшись заминкой, сорвал с герцога зеленый плащ, накинул его на себя и шепнул тому, чтобы он бросился с моста вниз. Другого спасения не оставалось. Герцог поглядел на бурлящие волны Неккара, глянул в небо и решился прыгать. Однако зрелище, представшее перед ним в эту ужасную минуту, остановило его на мгновение.

Весь израненный, музыкант, обливаясь кровью, рубил топором нацеленные на него пики. Глаза его горели отвагой, лицо пылало, душа не трепетала в предчувствии близкой смерти, а наполнялась гордостью за содеянное — он отвлек на себя большую часть противников. Музыкант сбил с ног еще одного солдата, когда неприятельское копье глубоко поразило храбреца в грудь. Ханс покачнулся и рухнул. Угасающий взор его искал герцога.

— Господин герцог, мы — квиты! — в предсмертном усилии крикнул он.

Солдаты толпой хлынули мимо умирающего героя. Георг фон Штурмфедер бросился в их массу и отчаянно замахал мечом. Клинок его беспрерывно свистел в воздухе, поражая то одного, то другого из союзных солдат. Он оказался последним защитником Ульриха Вюртембергского от плена или неминуемой гибели. Ему пришлось прибегнуть к последнему средству.

Тем временем герцог поднял коня на дыбы, со слезами посмотрел на поверженное тело музыканта, доказавшего ему своею смертью неизменную верность, и заставил коня прыгнуть через парапет моста. Конь с всадником погрузились в воду. Георг видел герцога в реке. Его конь, поборов стремнину, плыл по течению.

Все это было делом коротких мгновений. Несколько солдат попытались спрыгнуть на берег, чтобы захватить отважного наездника, но один из них, находившийся ближе всех к Георгу, крикнул им:

— Пусть тот плывет, теперь уже не важно: зеленая-то птица ведь здесь! Хватайте его!

Юноша в душе поблагодарил Небо. Он опустил свой меч и сдался союзникам. Солдаты оцепили храброго рыцаря. Георг беспрепятственно сошел с коня, приблизился к неподвижно лежавшему Хансу и схватил его за руку, все еще крепко сжимавшую тяжелый окровавленный топор. Рука была холодна, мертва. Георг проверил, не бьется ли верное сердце, но меткий удар пики попал в самую точку. Мужественные глаза закатились, черты лица

•

Может ли он рассчитывать на то, что союзники так легко

¹ «Пикколомини».

о нем судить справедливее, чем стольник Вальдбург и многие другие, не симпатизирующие ему союзные начальники.

Солдат возвратился. Георга без особого шума должны были провести в большую палатку, где, по обыкновению, держали военный совет. Солдаты попросили молодого рыцаря опустить забрало, чтобы его не узнали, и окольными путями повели на совет.

Георг охотно удовлетворил их просьбу, ему самому было не по себе от любопытных либо злорадных глаз.

У большой палатки собралось множество служителей разного ранга. По их одежде и по перевязям можно было судить о том, сколько набилось в палатке рыцарей и советников. Весть о том, что солдаты захватили важного пленника, должно быть, уже докатилась до толпящихся у палатки людей. Георг едва продвигался сквозь массу любопытных, которые, казалось, были готовы проникнуть пытливым взором сквозь забрало именитого незнакомца. Паж с трудом расчищал перед ним дорогу и должен был наконец прибегнуть к имени главнокомандующего, чтобы прорвать густую толпу зевак и проложить Георгу путь.

Трое солдат, сопровождавших Георга, осмелились проникнуть внутрь палатки: они цвели от радости и надежды получить награду — тысячу золотых гульденов, назначенных за высочайшую особу.

Смелым, решительным шагом вошел Георг в высокое собрание, которому предстояло решать его судьбу. Перед ним предстали известные лица, смотрящие на него с ожиданием. Из памяти Георга еще не ушли мрачно-враждебные взгляды стольника; высокомерно-насмешливое выражение его лица и сейчас не предвещало ничего хорошего. Зикинген, Альбан фон Клозен, Хуттен сидели точь-в-точь как в тот день, когда он навсегда распрощался с союзом. Но как же все изменилось с тех пор! Слезы выступили у него на глазах, когда он увидел благородные черты человека, которому был так благодарен! Фрондсберг тоже смотрел на него, но в его взгляде не было ни высокомерия, ни злорадства. Георг прочитал лишь серьезное внимание и сострадание, с которым тот приветствовал мужественного, но побежденного врага.

Когда рыцарь остановился перед военачальниками, стольник фон Вальдбург начал свою речь:

— Наконец-то Швабский союз имеет честь видеть перед собою светлейшего герцога Вюртембергского, правда, наше приглашение выглядит недостаточно учтивым, однако...

— Вы ошибаетесь! — спокойно и внятно произнес Георг фон Штурмфедер и поднял забрало.

Собрание было поражено до крайности, будто они увидели голову Медузы-горгоны¹.

— А-а-а! Изменник! Бесчестный молокосос! А вы, собаки! — Стольник обратился к солдатам. — Зачем вы притащили к нам этого юнца, когда нам нужен герцог?! Говорите, где он? Ну, скорее!

Солдаты стояли ни живы ни мертвы.

— А это разве не он? — боязливо спросил один из них. — Ведь он в зеленом плаще.

Стольник, дрожа от бешеной ярости, готов был их задушить, но рыцари его удержали, а побледневший Хуттен, еле сдерживая гнев, спросил:

— Где доктор Кальмус, пусть он войдет. Он же вызвался поймать герцога.

— Ах, господин, — робко пролепетал солдат, — доктор Кальмус уже никого не поймает. Он убит на Кенгенском мосту.

— Убит?! — крикнул Зикинген. — А герцог ушел? Рассказывайте, подлецы, начистоту все, как было.

— Мы залегли в засаде, как приказал нам доктор, у моста. Было еще темно, когда раздался топот копыт. К мосту приближались всадники. И тут же мы получили знак от наших людей, которые должны были оповестить о приближении герцога со стороны леса. «Пора!» — сказал доктор Кальмус. Мы встали и заняли выход с моста. Хоть и было темновато, но мы разглядели четырех приближающихся рыцарей и их проводника, крестьянина. Двое конных повернули и напали на наших всадников, а двое других, те, что были впереди, вместе с крестьянином накинулись на нас. Мы выставили копыя. Кальмус приказал им сдаться. А они в ответ — давай драться! Доктор с самого начала указал нам на человека в зеленом плаще — этот, мол, и есть герцог. Мы бы сразу его схватили, да проклятый крестьянин помешал, дрался, как сам дьявол: убил доктора, потом еще двоих из нас. К счастью, кто-то всадил ему в грудь алебарду, наконец-то он упал. Мы тут же принялись за всадников, особенно наседая на того, в зеленом плаще. Другой же вдруг взял да прыгнул со своим конем в реку

¹ *Горгоны* — в греческой мифологии крылатые чудовища со змеями вместо волос. Взгляд горгоны превращал все живое в камень. Из трех горгон единственная смертная — Медуза, которой отрубил голову Персей.

и уплыл. Мы на него рукой махнули, потому что рыцарь в зеленом плаще оставался на наших глазах. Немного подравшись, он сдался. Мы его сюда и доставили.

— Тот, что бросился в реку, и был Ульрих! — воскликнул Альбан фон Клозен. — Каково? С моста в Неккар! В этом он не найдет себе соперника!

— Его непременно надо догнать! — вскипел стольник. — Вся конница — в седло и скакать вниз вдоль Неккара. Я сам отправлюсь...

— О господин! — возразил ему один из солдат. — Поздно! Слишком поздно! Ведь прошло три часа с тех пор, как мы оставили мост. Он ускакал, верно, далеко. Учтите, что и окрестности он знает лучше нашей кавалерии.

— Негодяй! Ты еще надо мною издеваешься! Вы упустили его, и вы мне ответите! Позвать стражу! Я повешу вас, мерзавцев!

— Успокойтесь, — сдержал его Фрондсберг, — бедные парни совсем не виноваты в этом промахе. Они с большою охотой получили бы за герцога награду. Но, увы, ошибся доктор, и он заплатился за это своею жизнью.

— Итак, вы сегодня изображали герцога? — Вальдбург обратился к Георгу, молча наблюдавшему эту сцену. — Вы все время перебегаете мне дорогу, молокосос! Вечно вас черт носит там, где не положено. Уже не в первый раз вы нарушаете мои планы!

— Если это вы, господин стольник, — ответил Георг, — велели весной предательски напасть на герцога возле Нойфена, то действительно я стал вам поперек дороги, так как ваши люди сбили с лошади не герцога, а меня.

Рыцари с удивлением переводили взгляд с Георга на стольника. Тот побагровел не то от гнева, не то от стыда и свирепо буркнул:

— Что вы там болтаете про Нойфен? Я об этом ничего не знаю! Однако если, как вы утверждаете, вас тогда сбили с лошади, то лучше бы вам и не подниматься, с тем чтобы вновь попасться мне на глаза! Вы — заклятый враг Швабского союза, тайно и явно действующий в интересах изгнанного герцога, следовательно, повинны в преступлениях против союза и целого государства, так же как и сам герцог. Помимо всего прочего, вас сегодня взяли с оружием в руках. За измену всесветлейшему союзу Швабии и Франконии вы и будете наказаны со всей строгостью.

— Такое обвинение мне кажется смешным, — мужественно возразил Георг. — Вы прекрасно знаете, когда и где я вышел из

союза. Вы заставили меня дать клятвенное обещание — не воевать в течение четырнадцати дней. Видит бог, я его сдержал. Поэтому вы не имеете права требовать у меня отчет о том, что я делал, как поступал после данного мне срока. А то, что меня взяли с оружием в руках, то позвольте вас спросить, господа, кто из вас, благородных рыцарей, не станет защищать свою жизнь, когда на него нападут шесть-восемь человек? Я требую у вас приличного для любого рыцаря плена и готов дать клятвенное обещание не воевать в течение шести недель. Большого вы не вправе от меня требовать.

— Вы еще будете устанавливать законы? Хорошо же вы учились у наглого герцога! Мы не пойдем ни на какие поблажки, пока вы не скажете, где находится старый лис, ваш тесть Лихтенштайн, и куда скрылся герцог.

— Рыцарь фон Лихтенштайн схвачен вашими всадниками, а куда направился герцог, мне неизвестно, могу в том поклясться.

— Плен, приличный для рыцаря, вы говорите? — язвительно улыбнулся стольник. — Вы заблуждаетесь. Сначала докажите, где вы заслужили золотые шпоры? Нет, такое отродье мы будем бросать в подземелье. И начнем именно с вас.

— Думаю, это излишне, — вмешался Фрондсберг. — Я точно знаю, что Георг фон Штурмфедер был посвящен в рыцари. Кроме того, он спас жизнь нашему дворянину. Вы, конечно, помните показания Дитриха фон Крафта. По настоянию пленного рыцаря тот избежал смерти и был отпущен на свободу. Поэтому сейчас достоин такого же отношения и к себе.

— Да-да, я знаю, вы всегда за него заступаетесь, это ваш любимчик. Но на этот раз это несколько не поможет. Доставить его в Эслинген и тотчас заточить в башню!

— Я ручаюсь за него! — вспыхнул Фрондсберг. — И имею такое же право голоса, что и вы. Приступим к совещанию, а пленника пусть пока отведут в мою палатку.

Георг с благодарностью взглянул на благородное лицо Фрондсберга, и в этот раз его спасшего. Стольник мрачно кивнул солдатам следовать приказу главнокомандующего, и Георг под конвоем отправился по тропкам лагеря, в палатку Фрондсберга.

Вскоре уже перед ним стоял человек, которому он так многим был обязан. Георг хотел его поблагодарить, не зная, как лучше выразить свою признательность, но тот, улыбаясь, взял его за руку.

— Ни слова благодарности, ни слова извинений! Все это я предвидел, когда прощался с тобою в Ульме. Но ты не верил моим словам, собирался спрятаться в родовом замке. Не хочу тебя упрекать. Поверь мне: бури многочисленных войн, в которых я участвовал, невзгоды походной жизни не очерствили моего сердца до такой степени, чтобы я мог позабыть, что такое любовь.

— О мой друг! Мой отец! — воскликнул Георг, покраснев от радости.

— Да, я друг твоего отца, гожусь тебе в отцы. Я часто тобою гордился, хотя ты и пребывал в лагере неприятеля. Твое имя произносили с уважением — верность и мужество невольно уважаешь даже и во враге. Поверь, большинство из нас хотело, чтобы герцог сбежал: что бы мы с ним стали делать? Стольник нанес поспешный удар, в чем все мы раскаиваемся.

— А что будет со мною? — спросил Георг. — Долго ли я буду содержаться в заключении? Где рыцарь фон Лихтенштайн? О моя жена! Может ли она меня навестить?

Фрондсберг таинственно улыбнулся.

— Это не так-то легко устроить. Тебя под надежным конвоем переведут в крепость и сдадут стражу, который станет строго охранять пленника и скоро не отпустит на волю. Но не бойся, там с тобою будет рыцарь фон Лихтенштайн. Вы оба должны дать обещание — не воевать в течение года.

Фрондсберг был прерван тремя воинами, стремительно вошедшими в палатку.

Это были: капитан Брайтенштайн и Дитрих фон Крафт, между ними шел старый Лихтенштайн.

— Вот мы и свиделись, храбрый юноша! — воскликнул Брайтенштайн, пожимая руку Георгу. — Ну и штучки ты выкидываешь! Твой старый дядя поручил мне племянника, чтобы я сделал из него подходящего союзу воина, а ты сбежал к неприятелю, чтобы нас же и поколотить. Ведь ты вчера чуть не выиграл битву благодаря своей проделке с нашими орудиями.

— Каждому свое, — заметил Фрондсберг. — Он делает нам честь, даже пребывая в стане врагов.

Рыцарь Лихтенштайн обнял своего нареченного сына.

— Он в безопасности, — прошептал ему Георг чуть слышно, и глаза обоих заблестели слезами радости от сознания, что они содействовали спасению несчастного герцога.

Взгляд старого рыцаря упал на зеленый плащ, который все еще укрывал плечи Георга. Сначала он удивился, подошел поближе, наконец проговорил со слезами на глазах:

— Теперь я понимаю, как все случилось. Тебя приняли за него. О, что бы с ним произошло, ежели бы мужество тебя хоть на мгновение покинуло! Ты сделал для него больше всех нас, вместе взятых. Ты победил, хотя мы все побеждены. Дай я прижму тебя к моему сердцу. Ты — мой достойный сын!

— А Маркс фон Швайнсберг? — спросил Георг. — Его тоже схватили?

— Он дрался как лев. Кто может вынести его удары? Мои старые кости уже не выдерживают подобных схваток. Но Швайнсберг рассеял нападающих и помчался за герцогом, его помощь стоит участия пятидесяти рыцарей. Да, а я что-то не вижу музыканта. Скажите мне, удалось ли ему выбраться из схватки?

— Как герою, — печально ответил юный рыцарь. — Он лежит поверженный на мосту.

— Он мертв? — Голос Лихтенштайна задрожал. — Верная душа! Мир праху его! Он держался как благородный рыцарь и был верен своему долгу, как и подобает мужчине!

Фрондсберг, приблизившись к ним, прервал их разговор:

— Будьте мужественны, старина! Кажется, вы безутешны. Но военное счастье так переменчиво. Ваш герцог еще вернется в свою страну. Кто знает, может, это к лучшему, что мы на некоторое время его изгнали! Снимите ваши шлемы и панцири. Утренняя стычка, надеюсь, не отняла у вас желания пообедать. Садитесь с нами за стол. К полудню я ожидаю стража, под присмотром которого вы будете доставлены в крепость. Ну а до тех пор повеселимся вместе.

— Вот это приглашение, которого я ждал! — обрадовался Брайтенштайн. — За стол, господа! Право, Георг, я не ел еще ни разу так сытно, как с тобою в ратуше Ульма. Пойдемте наверстаем упущенное.

И Ханс фон Брайтенштайн усадил возле себя молодого человека. Остальные тоже заняли свои места за столом. Слуги внесли угощение.

Благородное вино заставило рыцаря Лихтенштайна и его зятя забыть о том, что они в плену, что ждет их неизвестность и долгое заключение.

К концу обеда Фрондсберга вызвали.

Скоро вернувшись, он проговорил с серьезной миной на лице:

— Как ни охотно продлил бы я наслаждение вашим приятным обществом, милые друзья, но вам пора отправляться в путь. Страж, которому я собираюсь верить, уже здесь, и вы должны торопиться, если хотите сегодня же попасть в крепость.

— Этот страж — рыцарь? — спросил Лихтенштайн, нахмутив брови. — Надеюсь, будет принято во внимание наше рыцарское звание и нам дадут достойное сопровождение?

— Положим, ваш страж не рыцарь, — улыбнулся Фрондсберг, — но это приличный вашему званию конвой. Вы можете сами в том убедиться.

С этими словами Фрондсберг поднял полог палатки. Перед ними предстала трогательная фигурка Марии. С радостным плачем бросилась она на грудь своего милого супруга.

Старый Лихтенштайн, тронутый до глубины души, горячо и нежно целовал свое дорогое дитя.

— Вот ваш страж, — сказал Фрондсберг, принимая кренкое благодарственное рукопожатие Лихтенштайна. — А крепость, где этому стражу поручено вас содержать, — замок Лихтенштайн. По вашим глазам вижу, милый мой страж, что вы не очень строго будете обходиться с молодым рыцарем, да и старый рыцарь тоже, должно быть, не станет на вас жаловаться. Только прошу вас, дочка, тщательнее следить за вашими пленниками. Не выпускайте их из крепости, не позволяйте им завязывать отношения с опасными людьми. Вы поклялись своею головою!

— Но господин Фрондсберг, — улыбнулась Мария, — только подумайте: ведь он мой глава. Как могу я ему что-либо приказывать?

— Именно поэтому берегите себя, чтобы не потерять эту голову. Свяжите его узами любви, чтобы он не сбежал; он может изменить цвета своей воинской принадлежности.

— У меня есть и будет только один цвет, мой друг, мой отец, — возразил молодой рыцарь, взглянув на свою перевязь, вытканную некогда любимой. — Только один, и ему я останусь верен навсегда.

— Что ж, этого и я желаю! — Фрондсберг протянул руку на прощание. — Будьте счастливы. Лошади уже вас ждут. Доставьте, милая госпожа, своих пленных в сохранности и не забывайте старого Фрондсберга!

Со слезами на глазах Мария распрощалась с заслуженным воином, она знала, что без его содействия судьба не была бы столь милостива к ним.

Долго еще смотрел им вслед Георг фон Фрондсберг, пока они не скрылись из глаз.

— Он попал в хорошие руки, — сказал старый полководец, обернувшись к Брайтенштайну. — Благословение отца хранит его. Прекрасная жена, наследство, каких в Швабии мало.

— Да-да, — согласился Ханс фон Брайтенштайн, — ума и благородства в нашей жизни недостаточно. Необходимы счастье, удача, везенье. Не каждому достается такая невеста, мне вон уже пятьдесят, а я все еще в женихах. Согласны со мною, господин фон Крафт?

— В общем и целом, — ответил тот, будто очнувшись от сна. — Когдамотришь на такую пару, то знаешь, что нужно делать. Я сейчас же сажусь в носилки, еду в Ульм и ввожу кузиночку в свой дом. Будьте здоровы, господа!

Швабский союз вновь овладел Вюртембергом, снова учредил свое правление и угнетал несчастных подданных изгнанного Ульриха, как и летом 1519 года. Сторонникам изгнанного герцога пришлось дать клятву не воевать, после чего они были сосланы в свои замки.

Георг фон Штурмфедер уединенно жил со своею возлюбленной женою в Лихтенштайне. Для молодых супругов наступила новая жизнь — жизнь, полная тихого семейного счастья.

Часто, стоя вместе у окна и глядя вниз на прекрасные долины Вюртемберга, они думали о несчастном герцоге, смотревшем некогда отсюда на свою землю. Радость молодых омрачалась при мысли о том, что крестный отец их счастья, покровитель их супружества, пребывал все еще в изгнании, вдали от родины.

Только много лет спустя герцогу удалось отвоевать родной Вюртемберг. И когда он, умудренный от своих несчастий, возвратился в отчие края сердечным правителем и рачительным хозяином, стал уважать старые права и законы и приобрел расположение к себе своих подданных, донеся до них свет святого учения, которое было его утешением в годы несчастья, тогда Георг и Мария невольно увидели в переменах судьбы Ульриха Вюртембергского волю милостивого Провидения, ведущую из тьмы к свету.

Имя Лихтенштайн исчезло со смертью старого рыцаря. Ему посчастливилось увидеть внуков, готовых с оружием в руках защищать честь своего рода.

Так и ведется на земле от века — одно поколение сменяет другое, новое вытесняет старое, в короткий отрезок времени — пятьдесят—сто лет — забываются достойные люди, честные верные сердца, память о них заглушает стремительный поток времени, лишь немногие славные имена всплывают из Леты¹, освещая своим блеском ее волны. Их деяния не заслужили награды и не получили благодарности от окружающих, жизнь их не вызвала достойного отклика в тот момент, когда они исчезли. Так умолкло имя Волынщика из Хардта. Лишь слабые отзвуки его деяний возникают, когда пастухи показывают Пещеру Ульриха и рассказывают о человеке, укрывавшем здесь несчастного герцога. Романтические приключения Ульриха стали легендой. Серьезные историки пренебрегают ею как несущественной деталью. Однако она всплывает в памяти, если речь заходит о замке Лихтенштайн, куда еженощно приходил герцог, и когда на Кенгенском мосту показывают место, откуда Неустрасимый спрыгнул в реку.

Эти легенды являются перед нами как призрачные тени, накрывающие собою горы и долины. Холодный наблюдатель обычно смеется, когда подлинную жизнь обволакивают некою дымкой...

Старая крепость Лихтенштайн давно уже разрушена. На фундаменте замка возвышается теперь милый охотничий дом, напоминающий своею легкостью и приветливым видом испанские замки, какие в наши дни строят на развалинах Средневековья².

Вюртембергские поля выглядят такими же богатыми и цветущими, какими их видели влюбленные Мария и Георг, какими обозревал их скорбный взгляд державного изгнанника Ульриха. По-прежнему красуются в дивном великолепии подземные покои — бывший приют изгнанника, а журчащие струи, низвергающиеся в таинственную глубину, кажется, лепечут на неизвестном языке давно забытые саги.

¹ *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве.

² В 1841 году на месте старой крепости, затем охотничьего дома, вновь построен прекрасный замок Лихтенштайн.

ЛИХТЕНШТАЙН

У жителей края существует обычай: во время праздника Троицы ходить к замку Лихтенштайн и посещать Пещеру Ульриха. Сотни милых швабских детишек, сопровождаемые красивыми женщинами и крепкими мужчинами, спускаются в подземелье, на хрустальных стенах которого тогда играют тысячи огней.

Праздничные толпы наполняют пещеру веселым пением, которому вторит многократное эхо, к нему присоединяется журчание подземных вод. Люди восхищаются дивным творением природы, прекрасным в своем величии, несмотря на отсутствие живительного солнца и зелени плодородных полей. Потом они поднимаются к свету. Их путь лежит на вершину Лихтенштайн, и оттуда мужчины и женщины, собравшись в круг, смотрят на бескрайние просторы, любуются игрой красок и красотой природы, восхищаются своею благословенной родиной.

Тогда в Лихтенштайне, как в старину, раздается ликование, звучит веселый звон бокалов, им вторит горное эхо, и они вместе воскрешают предания былой жизни, будят постоянных обитателей замка, которые окружают гостей и ведут их в свою обитель, потом неслышно веют вокруг веселых посетителей и смотрят вниз, любуясь очаровательным Вюртембергом. Витает ли вместе с ними прелестная Мария фон Лихтенштайн, Георг и старый рыцарь? Выходит ли в дни весны из своей могилы верный музыкант Ханс, отправляется ли он, как и при жизни, в замок на праздник — спеть и поиграть свои веселые песни? Неизвестно! Но когда мы однажды, расположившись на скале, озирали в вечерних сумерках окрестности, говорили о добром старом времени и его преданиях, а солнце постепенно опускалось и лишь одинокий замок освещали его закатные, красноватые лучи, нам показалось, что в веянии вечернего воздуха, в шуме деревьев, шелесте листвы слышатся знакомые голоса, которые нашептывают привет, рассказывают старинные саги о своем житье-бытье.

Многое узнали мы в такие вечера, вереницы былых картин и образов прошлого возникли в воображении и как бы ожили. И те, кто создавал эти образы, кто нашептывал романтические предания, верно, были духи Лихтенштайна.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬМАНАХ СКАЗОК НА 1826 ГОД ДЛЯ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ОБРАЗОВАННЫХ СОСЛОВИЙ. Перевод Н. Касаткиной

Сказка под видом альманаха	7
Караван	11
Рассказ о калифе-аисте	14
Рассказ о корабле привидений	24
Рассказ об отрубленной руке	34
Спасение Фатьмы	48
Рассказ о Маленьком Муке	63
Сказка о мнимом принце	78

АЛЬМАНАХ СКАЗОК НА 1827 ГОД ДЛЯ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ОБРАЗОВАННЫХ СОСЛОВИЙ

Александрийский шейх и его невольники	
<i>Перевод И. Татариновой.</i>	101
Карлик Нос. <i>Перевод Э. Ивановой</i>	108
Еврей Абнер, который ничего не видел. <i>Перевод Э. Ивановой</i>	135
Молодой англичанин. <i>Перевод И. Татариновой</i>	144
История Альмансора. <i>Перевод И. Татариновой</i>	166

АЛЬМАНАХ СКАЗОК НА 1828 ГОД ДЛЯ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ОБРАЗОВАННЫХ СОСЛОВИЙ

Харчевня в Шпессарте. <i>Перевод И. Татариновой</i>	181
Сказание о гульдене с оленем. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	186
Холодное сердце. <i>Часть первая. Перевод С. Шлапоберской</i>	206
Приключения Саида. <i>Перевод И. Татариновой</i>	229
Стинфольская пещера (<i>Шотландская легенда</i>)	
<i>Перевод И. Татариновой</i>	265
Холодное сердце. <i>Часть вторая. Перевод С. Шлапоберской</i>	289

ФАНТАСМАГОРИИ В БРЕМЕНСКОМ ВИННОМ ПОГРЕБКЕ.

<i>Осенний подарок друзьям вина. Перевод И. Татариновой.</i>	315
--	-----

ЛИХТЕНШТАЙН. Романтическая сага из истории Вюртемберга.

<i>Перевод Э. Ивановой</i>	363
----------------------------------	-----

Гауф В.

- Г 24 Сказки, рассказанные на ночь : сказки, новелла, роман / Вильгельм Гауф ; пер. с нем. Э. Ивановой, Н. Касаткиной, И. Татариновой, С. Шлапоберской. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. — 672 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-09445-1

В сборнике представлены произведения выдающегося немецкого писателя-романтика Вильгельма Гауфа (1802–1827), отражающие различные грани его дарования: впервые публикуемые на русском языке в полном виде три авторских цикла волшебных сказок, среди которых вошедшие в сокровищницу мировой литературы истории о калифе-аисте, Карлике Носе, Маленьком Муке и Петере-угольщике; новелла «Фантазмагории в бременском винном погребке», проникнутая воспоминаниями о веселых студенческих годах, которые писатель провел в Тюбингене, и при этом полная невероятных происшествий; наконец, роман «Лихтенштайн», где на фоне бурных исторических событий — борьбы Ульриха, герцога Вюртембергского, с могущественным Швабским союзом и Баварским герцогством — разворачивается романтическая история любви дочери верного сторонника герцога Марии фон Лихтенштайн и рыцаря Георга фон Штурмфедера.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гер)-44

Литературно-художественное издание

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ
СКАЗКИ, РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Валерий Камендо, Ирина Киселева
Главный редактор Александр Жикаренцев
Сканирование и обработка Григорий Дерюгин

Подписано в печать 18.03.2015. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3500 экз. Усл. печ. л. 42. Заказ № 7646/1

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах, а также условия сотрудничества
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru



ARLN1746801R